

Brind  
7-12

~~Slav~~ 30.17



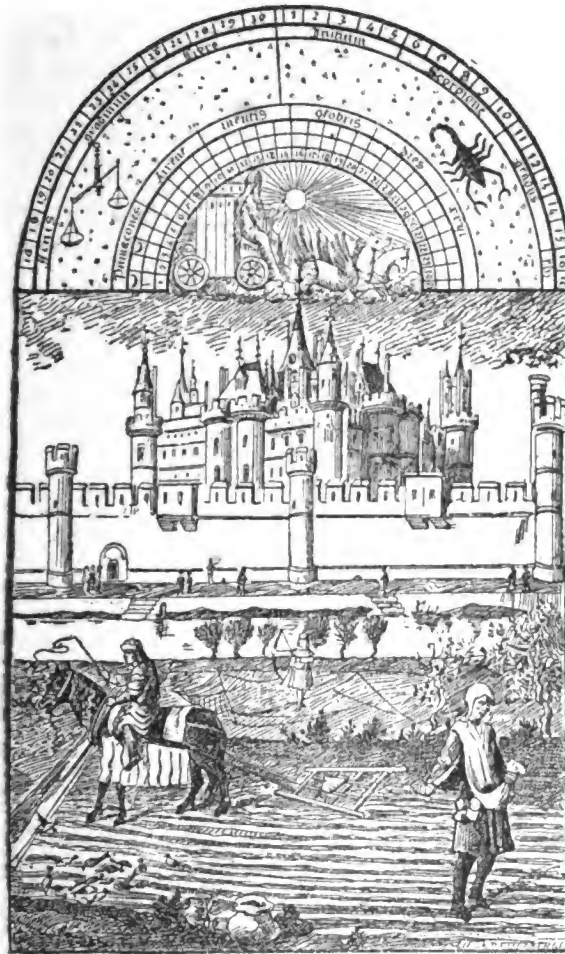




ВѢСЫ ☉ ЮЛЬ ☿ 1907

La Balance. Juillet. 1907

Годъ издавiя четвертый. Quatrième année.



Книгоиздательство «СКОРПИОНЪ»

Москва, Театральная пл., д. Метрополь, кз 23

Moscou, Place de Théâtre, m. Métropole, 23

KPF481  
~~Psk 172 30~~  
XP1289

HARVARD COLLEGE LIBRARY  
CITY OF  
ARCHAEOLOGY BUILDING  
NOV 14 1922

## «ВѢСЫ» ЕЖЕМѢСЯЧНИКЪ ИСКУССТВЪ И ЛИТЕРАТУРЫ.

Годъ изданія четвертый. 1907. N 7, июль.

### СОДЕРЖАНИЕ.

#### Стихи, повѣсти, драмы, статьи по общимъ вопросамъ.

Викторъ Гофманъ. Пѣсня къ лугу. Стихи. . . . .	7
Н. Гумилевъ. Императору Каракаллъ. Маскарадъ. Стихи. . . . .	9
Борисъ Садовской. Юньскій закатъ. Стихи. . . . .	15
Александръ Блокъ. Незнакомка. Пьеса въ 3 видѣнiяхъ. Видѣнiе III	17
Валерій Брюсовъ. Огненный Ангелъ. Повѣсть XVI в. Глава V...	25
Борисъ Бугаевъ. На перевалѣ. VIII. Синематографъ. . . . .	50
Аврелій. Памяти Георга Бахмана. . . . .	54

#### Литература. Русская литература.

Антонъ Крайній. Братская могила. (Леонидъ Андреевъ, Разказы; Л. Зиновьева-Аннибалъ, «Трицать три урода» и «Трагическiй звѣ- ринецъ»; Сборникъ «Знанiя» XVI; «Ссылнымъ и заключеннымъ» и др.). Съ послѣсловiемъ редакцiи. . . . .	57
Б. Садовской и Н. Лернеръ. Книги о Пушкинѣ. (Пушкинъ подъ ред. С. А. Венгерова; Валерій Брюсовъ, Лицейскiе стихи Пушкина). . . . .	65
Библиографiя. («Проталина». — «Бѣлыя ночи». — Шарль Бодлеръ «Цвѣты Зла», переводъ А. Панова. — О. Сологубъ «Мелкiй Бѣсъ» и «Исцѣвляющiя личины». — М. Кузминъ «Приключенiя Эме Ле- бефа» и «Пьесы». — С. Тухолка «Оккультизмъ и магiя»). . . . .	71
Товарищъ Германъ. Засоборились. . . . .	82
А. Курсинскiй. Слѣпой слѣпого. . . . .	84
Горестныя Замѣты. . . . .	85

#### Итальянская литература.

Джованни Папини. Джозуэ Кардуччи. . . . .	87
Библиографiя и замѣтки. (G. d'Annunzio, «Più che l'Amore». — G. Orsini, «Poesie edite ed inedite», — G. Papini, «Il Tragico Quotodi- ano». — Lo stesso, «Il Crepuscolo dei Filosofi». — A. Cervesato, «Eroi d'Occidente» — E. Prezzolini e G. Papini «La Cultura italiana») . . . . .	93

#### Искусства.

А. Ростиславовъ. Не опѣненный трудъ. . . . .	99
Библиографiя. (L. Delteil, Charles Meryon. — V. Van-Gogh, Briefe). . . . .	101

## СОДЕРЖАНИЕ.

### Рисунки.

Н. Зарѣцкій. «Ночь» и «Комета». Два рисунка . . .	Передъ стр. 33 и 49
Его-же. Виньетки . . . . .	24 и 59
Фр. Кристофъ Фронтисписъ . . . . .	5
Его-же. Заставки и виньетки. . . . .	12, 14, 16, 17, 25, 53
Обложка и надписи (стр. 57 и 96) Н. Теофилактова.	
Фронтисписъ—миниатюра XIV в.	

### SOMMAIRE.

Victor Hoffmann, Nicolas Goumileff et Boris Sadovskoy. Poèmes.—Alexandre Block. L'Inconnue. Drame en 3 visions. III.—Valère Brussov. L'Ange igné. Roman de la vie allemande du XVI siècle. Chap. V.—Boris Bougaeff. Le Cinématographe.—Aurèle. George Bachmann. Necrologie.

Littérature russe. Anton Krayny. Une Fosse commune.—Boris Sadovskoy et N. Lerner. Livres nouveaux sur Pouchkine.—Bibliographie. (Comptes-rendus sur les livres de MM. Kouzmine, F. Sologoub, sur une nouvelle traduction des «Fleurs du Mal» et sur divers almanachs).—Camrade Hermann. Encore un coup d'état à la «Toison d'Or».—A. Koursinsky. L'aveugle conduit par l'aveugle.—Sottisier.

Littérature italienne. Giovanni Papini. Giosuè Carducci.—Bibliographie. (Comptes-rendus sur les livres de MM. G. d'Annunzio, Giulio Orsini, A. Cervesato, Giovanni Papini et E. Prezzolini).

Beaux-arts. A. Rostislavov. Une œuvre qu'on n'a pas appréciée.—Bibliographie. (Comptes-rendus sur le livre de M. Meryon et le recueil des lettres de V. Van Gogh).

Dessins. N. Zaretzky. Deux dessins. (Hors texte).—Le même. Culs-de-lampe (p. 24 et 56).—Fr. Christophe. Frontispice, page 5.—Le même. Ornémentations, p. 12, 14, 16, 17, 25, 53.—Couverture et inscriptions (p. 57 et 96) par N. Théophilaktoff. — Frontispice générale — miniature du Livre d'Heures du duc de Berri.

### ОТЪ РЕДАКЦИИ.

Два рисунка Н. Зарѣцкаго (передъ стр. 33 и 49) воспроизведены нами съ оригиналовъ, доставленныхъ намъ авторомъ; въ другомъ вариантѣ эти рисунки были помѣщены въ журналѣ „Выставочный Вѣстникъ“. Двѣ виньетки того же автора (стр. 24 и 56) взяты изъ серіи его иллюстрацій (еще неизданныхъ) „Паяцъ“. Рисунки Фр. Кристофа воспроизведены съ оригиналовъ, доставленныхъ намъ авторомъ; нѣкоторые изъ нихъ ранѣе появились въ различныхъ нѣмецкихъ изданіяхъ.

ТИПОГРАФИЯ О-ВА РАСПР. ПОЛЕЗН. КНИГЪ, АРХИД. В. И. ВОРОНОВЫМЪ, МОХОВАЯ, Д. КИ. ГАГАРИНА.









## СТИХИ ВИКТОРА ГОФМАНА.

### ПѢСНЯ КЪ ЛУГУ.

Лугъ золотистый,  
Сонный и влажный,  
Тихій, лучистый,  
Какъ пѣсня протяжный,  
Ты все такой же,  
Какъ былъ и въ раю,—  
О, успокой же  
Душу мою!

Сонмы вѣковъ изступленною бурей  
Міръ сотрясали—и что жъ!  
Свѣтлое царство прозрачной лазури,  
Царство лазурн все то жъ,  
Такъ же надъ міромъ дрожать аметисты,  
Никто ихъ въ корону не вплелъ королю.  
Символь безбурности, лугъ золотистый,  
Влажно-лучистый, тебя я люблю!

Утромъ весь дышашій, сонный и свѣжій,  
Нѣжно на солнцѣ блестя,  
Съ спускомъ зеленымъ зеленыхъ побережій  
Ты радостенъ—словно дитя.

Взорами ясными бѣлыхъ кувшинокъ  
Смѣясь, ты на солнце глядишь.  
Сколько росинокъ, сколько слезинокъ  
Снова ему подаришь!

Но полдень становится душень,  
Пьянить тревожной мечтой.  
Какъ прежде, ты солнцу послушень,  
Днемъ золотымъ—золотой.  
Лежу, созерцая безбрежность,  
Едва пріоткрывши глаза,—  
Весь міръ—бирюзовая нѣжность,  
Весь міръ—одна бирюза.

Вечеромъ тихимъ ты смѣлый и желтый  
Съ огненно-красной каймой...  
Вечеръ, какъ радъ я, что снова пришелъ ты,  
Ласковый вечеръ, ты мой!  
Вотъ я—какъ слабый, поникнувшій колось,  
Больше борьбы не приму.  
Сердце устало, сердце боролось,  
Надо заснуть и ему.

Ночью ты—блѣдный, дымчато-сизый,  
Надъ тобою колдуетъ туманъ,  
Бѣлая, влажная ризы  
Протянулись отъ западныхъ странъ.  
Но снова настанетъ разсвѣтъ нѣжно-алый,  
Онъ будетъ такой же, какъ былъ и въ раю...  
Душа еле дышетъ—устала, устала,  
Лугъ успокой же душу мою!

Викторъ Гофманъ.



## СТИХИ Н. ГУМИЛЕВА.

### ИМПЕРАТОРУ КАРАКАЛЛЪ.

Призракъ какой-то невѣдомой силы,  
Ты ль, указавшій законы судьбѣ,  
Ты ль, императоръ, во мракъ могилы,  
Хочешь, чтобъ я говорилъ о тебѣ?

Горе мнѣ! Я не трибунъ, не сенаторъ,  
Я только бѣдный, бродячій пѣвецъ.  
О, для чего, для чего, императоръ,  
Ты на меня возлагаешь вѣнецъ!

Заперты мнѣ всѣ богатяя двери,  
И эти бѣдныя сказки-стихи  
Слушаютъ только бездомные звѣри,  
Да на высокихъ горахъ пастухи.

Руки мои безнадежно повисли,  
Тайныя думы мои смущены...  
Мнѣ ли воспѣть твои тонкія мысли?  
Мнѣ ли воспѣть твои знойные сны?

Старый хитонъ мой изодранъ и черенъ,  
Очи не зорки и голосъ мой слабъ,  
Но ты сказалъ, и я буду покоренъ,  
О, императоръ, я—вѣрный твой рабъ!

## 2. ИМПЕРАТОРЪ.

Императоръ, съ профилемъ орлинымъ,  
Съ черною курчавой бородой,  
О, какимъ бы быть ты властелиномъ,  
Если бъ не быть ты самимъ собой!

Любопытно-вдумчивая нѣжность,  
Словно тѣнь, на царственныхъ устахъ,  
Но какая дикая мятежность  
Затаилась въ сдвинутыхъ бровяхъ!

Образы властительные Рима,  
Цезарь, Юлій-Августъ и Помпей,  
Это—тѣнь, блѣдна и еле зрима,  
Передъ тихой тайною твоей!

Конченъ рядъ желѣзныхъ сновидѣній,  
Тихи гробы сумрачныхъ отцовъ,  
И лобзаетъ быстрый Тибръ ступени  
Гордо розовѣющихъ дворцовъ.

Жадность сновъ въ тебѣ неуголима:  
Ты бы могъ раскинуть ратный станъ,  
Бросить пламя въ храмъ Іерусалима,  
Укротить бунтующихъ пареянъ.

Но къ чему побѣды въ часть вечерній,  
Если тѣни упадаютъ ницъ,  
Если, точно золото на черни,  
Видны ноги стройныхъ танцовщицъ?

Страстная, какъ юная тигрица,  
Нѣжная, какъ лебедь синихъ водъ,  
Въ темной спальнѣ ждетъ императрица,  
Ждетъ, дрожа, того, кто не придетъ.

Тамъ, въ садахъ—торжественное небо,  
Звѣзды разбросались, какъ въ бреду,  
Тамъ, быть можетъ, ты увидѣлъ Феба,  
Трепетно бродящаго въ саду.

Какъ и ты, стрѣлою сновъ пронзенный,  
Съ любопытнымъ взоромъ онъ застылъ,  
Тамъ, гдѣ дремлетъ съ Нида привезенный  
Темно-изумрудный крокодилъ.

Словно прихотливыя камен,  
Тихіе, пустынные сады;  
Съ темныхъ пальмъ въ траву свисаютъ змѣи;  
Зрѣютъ небывалые плоды.

Безпокоенъ смутный сонъ растеній;  
Плаваютъ туманы, точно сны,  
Въ нихъ ночныя бабочки, какъ тѣни,  
Съ крыльями жемчужной бѣлизны.

И великой мукою вселенной  
На мгновенье грудь свою омывъ,  
Ты стоишь, божественно надменный...  
Императоръ, ты тогда счастливъ!

А потомъ, въ своемъ зеленомъ храмѣ,  
Медленно, какъ слѣдуетъ царю,  
Ты красиво-мѣрными стихами  
Вызываешь новую зарю.





## 3. МАСКАРАДЪ.

Баронессъ де Орвицъ-Занетти

Въ глухихъ коридорахъ и въ залахъ пустынныхъ  
Сегодня собрались веселыя маски,  
Въ увитыхъ ночными цвѣтами гостиныхъ  
Открылись ихъ странныя, дикія ласки.

Надъ ними повисли тяжелыя чары,  
Высокія свѣчи горѣли, краснѣя,  
И въ темные сны погружались пары,  
Монахъ, арлекинъ, или свѣтлая фея.

Гремѣла веселая музыка вальса  
И я танцевалъ съ куртизанкой Содома,  
О чемъ-то вздыхалъ я, чему-то смѣялся  
И что-то мнѣ было такъ близко знакомо.

Молилъ я подругу: сними свою маску!  
Меня такъ волнуютъ и дразнятъ напѣвы,  
Какую роскошную, дивную сказку  
Сплетемъ мы съ тобою, о, смуглая дѣва!

Для всѣхъ ты останешься странно-чужою  
И лишь для меня безконечно знакома,  
И я отъ людей и отъ масокъ сокрою,  
Что знаю тебя я, царица Содома!

Ты вся такъ прекрасна и такъ непонятна,  
Мнѣ душу измучила вѣчная тайна"...  
„Пойдемъ же“, она мнѣ шепнула чуть-внятно,  
Какъ будто невольно, какъ будто случайно.

И тамъ, гдѣ поднялись въ концѣ коридора  
Колонны, похожя больше на сказку,  
Она улыбулась мерцаніемъ взора  
И быстрымъ движеніемъ сняла свою маску.

Я вспомнилъ, я вспомнилъ... такія же тѣни,  
Такую же дикую дрожь сладострастья  
И ласковый, вкрадчивый шопотъ: „воскресни,  
Умри и воскресни для нѣги и счастья“.

Я многое понялъ въ тотъ мигъ сокровенный,  
Но страшную клятву мою не нарушу.  
Царица, царица! Ты видишь, я—плѣнный,  
Возьми мое тѣло, возьми мою душу!

Н. Гумилевъ.



# СТИХИ Б. САДОВСКОГО.

## 1. ИЮНСКИЙ ЗАКАТЪ.

### 1.

Июньскій закатъ преисполненъ блаженнымъ покоемъ.  
Въ немъ чудятся шопоть свиданья и вздохи разлуки.  
Колышется зарево—словно вожди передъ боемъ  
Къ послѣдней мечтѣ простирають багряныя руки.

Пылають и рдѣють, потупясь, стыдливыя зори.  
Румянецъ ихъ кротокъ; ихъ робкіе вздохи безмолвны.  
Колышется зарево—словно въ пурпурное море,  
Поднявъ паруса, устремляются алые челны.

Мечты заревыя нѣжны, ихъ роптанье печальнѣй.  
Съ трещаньемъ стрекозъ снизошли благодатныя росы.  
Колышется зарево—словно, склонясь надъ купальней,  
Багряная дѣва струить золотистыя косы.

### 2.

Послѣ полдня золотого  
Солнце ждетъ на полусклонѣ.  
Небо—жемчугъ·ясно-блѣдный—  
Утомленно замираетъ.  
Сквозь жемчужные покровы  
Проступаетъ щитъ пурпурный.  
Воздухъ звонокъ—въ этомъ звонѣ  
Дышитъ солнцу гимнъ побѣдный.

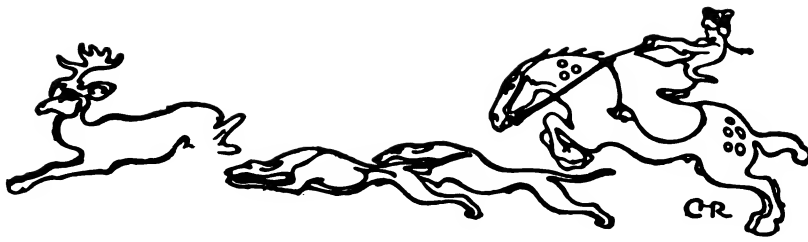
Красный щить спустился ниже.  
Склонъ небесный розовѣть,  
Льется ласковымъ багрянцемъ,  
Манить сердце къ вѣчной дали.  
Рѣютъ мошки легкимъ танцемъ.  
Провизжавъ, стрижи упали  
И рассыпались надъ рѣчкой.  
И темнѣть, и свѣжѣть...  
На рубиновомъ закатѣ  
Только красное колечко.

Гдѣ я?.. Въ царствѣ сновъ и сказокъ.  
Шелестъ лодки по купавамъ;  
Рѣчку ивы обступили;  
Стаи утокъ; блескъ заката;  
Весла шлепаютъ по травамъ,  
Рвутъ круги болотныхъ лилій.  
Встали призраки ночные.  
Тишиной земля объята,  
Небо крылья осынили.

Борисъ Садовской.







## НЕЗНАКОМКА.

Пьеса въ трехъ видѣнїяхъ.

### ТРЕТЬЕ ВИДѢНІЕ.

Большая гостиная комната съ бѣлыми стѣнами, на которыхъ ярко горятъ электрическія лампы. Дверь въ переднюю открыта. Тоненькій звонокъ часто извѣщаетъ о приходѣ гостей. На диванахъ, креслахъ и стульяхъ уже сидятъ хозяева и гости: хозяйка дома—пожилая дама, какъ бы проглотившая аршинъ; передъ нею—корзинка съ бисквитами, ваза съ фруктами и чашка дымящагося чаю; противъ нея—глухой старикъ съ глупымъ лицомъ жуесть и хлебаетъ. Молодые люди, въ безукоризненныхъ смокингахъ, частью разговариваютъ съ другими дамами, частью толпятся стадами въ углахъ. Общій гулъ бессмысленныхъ разговоровъ.

Хозяинъ дома встрѣчаетъ гостей въ передней и каждому сначала деревяннымъ голосомъ кричитъ: «А—а—а!», а потомъ говоритъ или пошлость, или общее мѣсто. Въ настоящій моментъ онъ занятъ тѣмъ же.

Хозяинъ дома въ передней. А—а—а! Ну и закутались же вы, батюшка!

Голосъ гостя. И холодъ же, доложу я вамъ! Въ шубѣ—и то замерзъ.

Гость сморкается. Такъ какъ разговоръ въ гостиной почему то исчерпался, слышно, какъ хозяинъ конфиденціально говоритъ гостю:

Хозяинъ. А гдѣ шили?

ВЪСЫ.

Гость. У Шевалье.

Изъ двери торчатъ фалды хозяйскаго сюртука. Хозяинъ разсматриваетъ шубу.

Хозяинъ. А сколько платили?

Гость. Тысячу.

Хозяйка, стараясь замаять разговоръ, кричитъ:

Хозяйка. Cher Иванъ Павловичъ! Идите скорѣе! Только васъ и ждали! Вотъ, Аркадій Романовичъ общался намъ сегодня спѣть!

Аркадій Романовичъ, подходя къ хозяйкѣ, дѣлаетъ различные жесты, долженствующіе показать, что онъ невысокаго о себѣ мнѣнія. Хозяйка жестами-же старается показать ему обратное.

Молодой человѣкъ Жоржъ другому. Совершенная дура твоя Серпантини, Миша. Такъ танцовать, какъ она вчера, значить—не имѣть никакого стыда.

Молодой человѣкъ Миша. Ты, Жоржъ, ровно ничего не понимаешь! Я совершенно влюбленъ. Это—для немногихъ. Вспомни, у нея совсѣмъ классическая фигура—руки, ноги...

Жоржъ. Я пошелъ туда затѣмъ, чтобы наслаждаться искусствомъ. На ножки я могу смотрѣть и въ другомъ мѣстѣ.

Хозяйка. О чемъ это вы тамъ, Георгій Николаевичъ? Ахъ, о Серпантини! Какой ужасъ, неправда ли? Во-первыхъ—интерпретировать музыку—это ужъ одно—наглость. Я такъ страстно люблю музыку и ни за что, ни за что не допущу, чтобъ надъ ней надругались. Потомъ—танцовать безъ костюма—это... это я не знаю, что! Я увела мою дочь.

Жоржъ. Я совершенно согласенъ съ вами. А вотъ, Михаилъ Ивановичъ—другого мнѣнія...

Хозяйка. Что вы, Михаилъ Ивановичъ! По-моему, здѣсь двухъ мнѣній не можетъ быть! Я понимаю, молодымъ людямъ свойственно увлекаться, но на публичномъ концертѣ... когда

ногами изображаютъ Баха... Я сама музыкантша... страстно люблю музыку... Какъ хотите...

Старикъ, сидящій противъ хозяйки, неожиданно и просто выпадиваетъ:

Старикъ. Публичный домъ.

Продолжаетъ хлебать чай и жевать бисквиты. Хозяйка краснѣетъ и обращается къ одной изъ дамъ.

Миша. Ахъ, Жоржъ, всѣ вы ничего не понимаете! Развѣ это—интерпретація музыки? Серпантины сама—воплощеніе музыки. Она плыветъ на волнахъ звуковъ и, кажется, самъ плывешь за нею. Неужели тѣло, его линіи, его гармоническія движенія—сами по себѣ не поютъ такъ-же, какъ звуки? Тотъ, кто истинно чувствуетъ музыку, не оскорбляется за нее. У васъ отвлеченное отношеніе къ музыкѣ...

Жоржъ. Мечтатель! Завелъ машину. Строишь какія-то теоріи и ничего не слушаешь и не видишь. Я о музыкѣ даже не говорю, и мнѣ, въ концѣ концовъ, наплевать! И я былъ бы очень радъ видѣть все это въ отдѣльномъ кабинетѣ. Но согласись же, не объявить на афишѣ, что Серпантины будетъ возвращена въ одну тряпку,—это значитъ поставить всѣхъ въ пренеловкое положеніе. Еслибъ я зналъ, я не повелъ бы туда мою невѣсту. Миша разсѣянно шаритъ въ корзинкѣ съ бисквитами. Послушай, оставь бисквиты. Вѣдь противно ѣсть, если все перетрогаешь. Смотри, какъ на тебя смотреть кузина. А все оттого, что ты разсѣянъ. Эхъ, мечтатели!

Миша, сконфуженно мыча, удаляется въ другой уголъ.

Старикъ, внезапно, хозяйкѣ. Нина! Сиди смирно. У тебя на спинѣ платье разстегнулось.

Хозяйка, вспыхнувъ. Да полно, дядя, нельзя же при всѣхъ! Вы слишкомъ... откровенны...

Старается незамѣтно застегнуть платье. Въ комнату впархиваетъ молодая дама, за ней идетъ огромный рыжій господинъ.

Дама. Ахъ, здравствуйте, здравствуйте! Вотъ, позвольте васъ познакомиться: мой женихъ.

Рыжій господинъ. Очень пріятно.

Угромо удаляется въ уголъ.

Дама. Пожалуйста, не обращайтесь на него вниманія. Онъ очень застѣнчивъ. Ахъ, представьте, какой случай!..

Торопливо пьетъ чай и шепотомъ рассказываетъ хозяйкѣ что то пикантное, судя по тому, что обѣ ерзаютъ по дивану и хихикаютъ.

Дама, вдругъ оборачивается къ жениху. У тебя мой платокъ?

Женихъ угромо вытаскиваетъ платокъ.

Дама. Тебѣ жалко что ли?

Рыжій господинъ неожиданно угромо. Пей, да помалкивай.

Молчать. Пьютъ. Вбѣгаетъ молодой человекъ и радостно бросается къ другому. Въ послѣднемъ легко узнать того, кто увелъ Незнакомку.

Молодой человекъ. Костя, другъ, да она у дверей дожидается....

Запинается на полусловѣ. Все становится необычайно страннымъ. Какъ будто всѣ эти глупые сытые люди внезапно вспомнили, что гдѣ-то произносились тѣ же слова и въ томъ же порядкѣ. Михаилъ Ивановичъ смотритъ странными глазами на Поэта, который входитъ въ эту минуту. Поэтъ, блѣдный, дѣлаетъ общій поклонъ на порогъ притихшей гостиной.

Хозяйка, съ натянутымъ видомъ. Мы только васъ и ждали. Надѣюсь, вы прочтете намъ что-нибудь. Сегодня престранный вечеръ! Наша мирная бесѣда не клеится.

Старикъ выпаливается. Точно кто-нибудь умеръ. Богу душу отдалъ.

Хозяйка. Ахъ, дядя, перестаньте! Вы всѣхъ окончательно спугнете... Господа! Обновимъ нашъ разговоръ... Поэту. Вы прочтете намъ что-нибудь, неправда ли?

Поэтъ. Съ удовольствіемъ... если это займетъ...

**Хозяйка.** Господа! Молчаніе! Нашъ прекрасный поэтъ прочтетъ намъ свое прекрасное стихотвореніе, и, надѣюсь, опять о прекрасной дамѣ...

Всѣ замолкаютъ. Поэтъ становится у стѣны, прямо противъ двери въ переднюю, и читаетъ:

**Поэтъ.**

Уже сбѣгали съ плитъ снѣга,  
Блестѣли, обнажаясь, крыши,  
Когда въ соборѣ, въ темной нишѣ,  
Ея блеснули жемчуга.  
И отъ иконы въ нѣжныхъ розахъ  
Медлительно сошла Она...

Тоненькій звонокъ въ передней. Хозяйка умоляюще складываетъ руки по направленію къ Поэту. Онъ прерываетъ чтеніе. Всѣ съ любопытствомъ заглядываютъ въ переднюю.

**Хозяинъ.** Сію минуту. Прошу извиненія.

Выходитъ въ переднюю, но не кричитъ тамъ: «А—а—а!» Молчаніе.

**Голосъ хозяина.** Чѣмъ могу служить?

Красивый женскій голосъ отвѣчаетъ что-то. Хозяинъ появляется на порогѣ.

**Хозяинъ.** Ниночка, какая-то дама. Ничего не могу разобратъ. Вѣроятно, къ тебѣ. Извините, господа, извините...

Сконфуженно улыбается во всѣ стороны. Хозяйка идетъ въ переднюю и запираетъ за собой дверь. Гости шепчутся.

**Молодой человѣкъ,** въ углу. Да не можетъ быть...

**Другой,** прячась за него. Да увѣрю тебя... вотъ скандалъ!..

**Я** слышалъ ея голосъ...

Поэтъ стоитъ неподвижно противъ дверей. Двери открываются. Хозяйка вводитъ Незнакомку—въ черномъ.

Хозяйка. Господа, пріятный сюрпризъ. Моя очаровательная новая знакомая. Надѣюсь, мы примемъ ее съ радостью въ нашъ дружескій кружокъ. Марія... извините, я не разслышала, какъ васъ называть?

Незнакомка. Марія.

Хозяйка. Но... ваше отчество?

Незнакомка. Марія. Я зову себя: Марія.

Хозяйка. Хорошо, милочка. Я буду звать васъ: Мэри. Въ васъ есть нѣкоторая эксцентричность, неправда-ли? Но тѣмъ веселѣе мы проведемъ сегодняшній вечеръ съ нашей восхитительной гостьей? Неправда ли, господа?

Всѣ сконфужены. Неловкое молчаніе. Хозяинъ замѣчаетъ, что одинъ изъ гостей проскользнулъ въ переднюю, и выходитъ за нимъ. Слышенъ извиняющійся шопотъ, слова: «не совсѣмъ здорово». Поэтъ стоитъ неподвижно.

Хозяйка. Итакъ, можетъ быть, нашъ прекрасный поэтъ продолжить прерванное чтеніе? Дорогая Мэри, когда вы вошли, нашъ извѣстный поэтъ какъ разъ читалъ намъ... читалъ намъ...

Поэтъ. Простите. Позвольте мнѣ прочесть въ другой разъ. Я такъ извиняюсь...

Никто не выражаетъ неудовольствія. Поэтъ подходитъ къ хозяйкѣ, которая нѣкоторое время дѣлаетъ умоляющіе жесты, но скоро перестаетъ. Поэтъ спокойно садится въ дальній уголъ. Задумчиво смотритъ на Незнакомку.

Горничная разноситъ, что полагается. Изъ общаго бессмысленнаго говора вырывается хохотъ, отдѣльными слова и цѣлыя фразы:

Нѣтъ, какъ она танцевала! Да ты послушай! Русская интеллигенція...

Кто-то особенно громко. Да и вамъ не поймать! Да и вамъ не поймать!

Всѣ забыли о Поэтѣ. Онъ медленно поднимается со своего мѣста. Онъ проводитъ рукою по лбу. Дѣлаетъ нѣсколько шаговъ взадъ и впередъ по комнатѣ. По лицу

его замѣтно, что онъ съ мучительнымъ усиліемъ припоминаетъ что-то. Въ это время, изъ общаго говора доносятся слова: «рокфоръ», «каманберъ». Вдругъ толстый человѣкъ, въ страшномъ увлеченіи, дѣлая кругообразные жесты, выскакиваетъ на середину комнаты съ крикомъ:

Бри!

Поэтъ сразу останавливается. Мгновеніе кажется, что онъ вспомнилъ все. Онъ дѣлаетъ нѣсколько быстрыхъ шаговъ въ сторону Незнакомки. Но дорогу ему заслоняетъ Звѣздочетъ, въ голубомъ вицъ-мундирѣ входящій изъ передней.

Звѣздочетъ. Извините, я въ вицъ-мундирѣ и запоздалъ. Прямо изъ засѣданія. Пришлось дѣлать докладъ. Астрономія...

Поднимаетъ палецъ кверху.

Хозяинъ, подходя. Вотъ и мы только что говорили о гастрономіи. Ниночка, не пора ли ужинать?

Хозяйка встаетъ. Господа! Прошу, васъ!

Всѣ выходятъ вслѣдъ за нею. Въ потемнѣвшей гостиной остаются нѣкоторое время Незнакомка, Звѣздочетъ и Поэтъ. Поэтъ и Звѣздочетъ стоятъ въ дверяхъ, готовые выйти. Незнакомка медлитъ въ глубинѣ у темной, полуоткрытой занавѣси окна.

Звѣздочетъ. Намъ опять привелось встрѣтиться съ вами. Я очень радъ. Но пусть обстоятельства нашей первой встрѣчи останутся между нами.

Поэтъ. Прошу о томъ же и васъ.

Звѣздочетъ. Я только что сдѣлалъ докладъ въ астрономическомъ обществѣ—о томъ, чему вы были невольнымъ свидѣтелемъ. Поразительный фактъ: звѣзда первой величины...

Поэтъ. Да, это очень интересно.

Звѣздочетъ восторженно. Да! Я занесъ въ мои списки новый параграфъ: «Пала звѣзда Марія!» Наука въ первый разъ... Ахъ, извините, что я не спрашиваю васъ о результатахъ вашихъ поисковъ...

Поэтъ. Поиски мои были безрезультатны.

Онъ оборачивается въ глубь комнаты. Безнадежно  
смотреть. На лицѣ его—томленіе, въ глазахъ пустота и  
мракъ. Онъ шатается отъ страшнаго напряженія. Но  
онъ все забылъ.

Хозяйка на порогѣ. Господа! Идите же въ столовую! Я  
не вижу Мэри... грозить имъ пальцемъ. Ахъ, молодые люди! Вы  
спрятали куда-нибудь мою Мэри? Всматривается въ глубь комнаты.  
Гдѣ же Мэри? Да гдѣ же Мэри?

У темной занавѣси уже нѣтъ никого. За окномъ  
горитъ яркая звѣзда. Падаетъ ласково голубой свѣтъ,  
такой же голубой, какъ виць-мундиръ исчезнувшаго  
Звѣздочета.

Александръ Блокъ.







## ОГНЕННЫЙ АНГЕЛЪ.

ГЛАВА V.

Какъ мы изучали магію.

Напрягая свою мысль, я скоро увидѣлъ, что доводы шли ко мнѣ съ двухъ разныхъ сторонъ, какъ воины двухъ враждебныхъ партій, и почувствовалъ, что мнѣ трудно склонить вѣсы моего разумѣнія на одну сторону, потому что на обѣ чаши ихъ я могъ класть все новыя и новыя соображенія.

Съ одной стороны многое говорило за то, что страшный мой полетъ на шабашъ былъ только соннымъ видѣніемъ, вызваннымъ ядовитыми испареніями мази, которой я натеръ свое тѣло. Плащъ, на которомъ я очнулся, былъ измятъ и скомканъ именно такъ, какъ это должно было случиться отъ продолжительнаго на немъ лежанія человѣческаго тѣла. Нигдѣ на моемъ тѣлѣ не было никакихъ слѣдовъ ночного путешествія, особенно же на ногахъ никакихъ царапинъ или ссадинъ отъ пляски босикомъ по лугу и отъ бѣга по лѣсу. Наконецъ,—и это самое важное,—на моей груди не было замѣтно знака отъ укола рогомъ, которымъ, какъ мнѣ казалось, мастеръ Леонардъ поставилъ на мнѣ вѣчное клеймо Дьявола, *sigillum diabolicum*.

Съ другой стороны, связность и послѣдовательность моихъ воспоминаній далеко превосходили все, что обычно имѣетъ мѣсто по отношенію ко сну. Память сообщала мнѣ такія подробности о бѣсовскихъ игрищахъ, которыя до того времени были мнѣ рѣшительно неизвѣстны и измыслить которыя не было у меня ни малѣйшихъ основаній. Кромѣ того, мнѣ совершенно

ясно представлялось, что участвовалъ я въ хороводѣ вѣдьмъ тѣлесно, а не духомъ, если даже допустить возможность прижизненнаго отдѣленія духа отъ тѣла, что охотно признаетъ божественный Платонъ, но въ чемъ сильно сомнѣвается большинство философовъ.

Наконецъ, пришло мнѣ въ голову, что есть вѣрный способъ разрѣшить мои сомнѣнія. Если все видѣнное мною было реальностью, то Рената, обманувъ меня, слѣдовала за мною въ воздушномъ перелетѣ, и теперь должна была или медлить еще внѣ дома или лежать въ своей постели, столь же утомленной какъ я. Въ новомъ припадкѣ гнѣва и ревности сталъ я поспѣшно приводить себя въ порядокъ и одѣваться, что было мнѣ сдѣлать не легко, такъ какъ руки у меня дрожали и въ глазахъ темнѣло. Черезъ нѣсколько минутъ я уже былъ въ коридорѣ, гдѣ свѣжій воздухъ, хлынувшій мнѣ въ грудь, нѣсколько оживилъ меня, и, съ бьющимся сердцемъ, я отворилъ дверь комнаты Ренаты. Рената спала спокойно на своей высокой кровати, и не было вокругъ никакихъ признаковъ, чтобы она провела эту ночь, подобно мнѣ, какъ не было и запаха мази, который показывалъ бы, что она тоже прибѣгала къ магическимъ натираніямъ.

Въ ту минуту представилось мнѣ это неопровержимымъ доводомъ въ пользу того, что я не покидалъ области сна, но не радость, что ночные мои поступки и слова, какими я губилъ вѣчное спасеніе своей души, были просто грезами,—но подавляющій стыдъ охватилъ тогда меня. Мнѣ представилось до послѣдней степени позорнымъ, что я не сумѣлъ исполнить порученія Ренаты, не смогъ проникнуть до дьявольскаго трона, хотя это такъ легко удастся лицамъ, повидимому, ничтожнымъ. Въ то же время я подумалъ, что мой сонъ былъ насланъ, можетъ быть, все-таки самимъ Дьяволомъ, который опять хотѣлъ посмѣяться и поиздѣваться надъ моимъ безсиліемъ,—и эта мысль обожгла меня какъ оскорбительная пощечина. И въ то единое мгновеніе, пока я смотрѣлъ на спящую Ренату, во мнѣ и зародилось и сразу окрѣпло то рѣшеніе, которое руководило затѣмъ моими поступками въ теченіе многихъ слѣдующихъ недѣль: попытать свои силы въ открытой борьбѣ съ духами Тьмы, съ ко-

торыми столкнулся я на жизненномъ пути и которые до сихъ поръ швырялись мною, какъ мячомъ.

Между тѣмъ Рената, пробужденная скрипомъ двери, пріоткрыла глаза. Другое чувство—раскаянья, что я могъ заподозрѣть Ренату въ обманѣ,—заставило меня кинуться къ ней стремительно, припасть поцѣлуемъ къ ея рукѣ и говорить ей слова, для нея непонятныя:

— Рената! милая! благодарю тебя! А ты прости меня!

Рената, сквозь сонъ, сначала не могла понять, въ чемъ дѣло, но потомъ вспомнила все и спросила быстро:

— Рупрехтъ, ты былъ? ты видѣлъ? ты спросилъ? Что онъ отвѣтилъ?

Эти жестокіе вопросы, показавшіе мнѣ, что Рената вовсе пренебрегаетъ мною, изнемогавшимъ отъ усталости, и думаетъ только о своемъ Генрихѣ, нѣсколько отрезвили меня. Я отвѣтилъ, что ея мазъ оказалась безсильной, что она только усыпила меня и дала мнѣ только видѣніе шабаша, вмѣсто того, чтобы перенести меня на мѣсто, гдѣ справляютъ свой праздникъ вѣдьмы. Но тутъ же, какъ въ бреду, сталъ я говорить, что теперь беру на себя исполненіе ея дѣла, что не многого добьешься, обращаясь къ Дьяволу, какъ нищій проситель къ заимодавцу, такъ какъ слушается онъ лишь тѣхъ, кто приказываетъ ему, какъ господинъ слугѣ, что, вообще, въ мірѣ бѣсовъ должно вступать силами знанія, а не сомнительными чарами волхвованія.

Въ томъ возбужденномъ состояніи, въ какомъ я тогда находился, я хотѣлъ немедленно изложить передъ Ренатою цѣлый планъ занятій тайными науками, и только по ея, не разъ повторенному требованію, почти противъ воли, согласился пересказать ей все то, что мнѣ казалось дурнымъ сномъ. Впрочемъ, въ этомъ сообщеніи я утаилъ два обстоятельства: что не устоялъ передъ соблазнами Сарраски и что образъ самой Ренаты привидѣлся мнѣ среди другихъ ночныхъ видѣній. Рената отнеслась къ моимъ воспоминаніямъ какъ къ полной дѣйствительности, никакъ не соглашалась со мною, что это только призракъ, и считала, что предсѣдатель ночного пира подтвердилъ слова геердтской ворожеи. Но я безудержно смѣялся и надъ собою, и

надъ Ренатою, и надъ моимъ полетомъ, говоря, что если все это реальность, то нелѣпая, если сонъ, то лживый, если предсказаніе, то изъ него вывести нельзя ровно ничего.

Я готовъ былъ сейчасъ же, безъ малѣйшаго промедленія, приняться за новую, возникшую передо мною задачу, но мнѣ помѣшала неодолимая усталость и послѣднее изнеможеніе. Въ скорости ломота во всѣхъ тѣлѣ и ожесточенная боль въ головѣ заставили меня даже лечь въ постель, и остатокъ того дня я провелъ въ полузабытій, въ которомъ непрерывнымъ колесомъ вертѣлись передъ моимъ взоромъ образы шабаша: голыя вѣдѣмы, безрукіе демоны, пляски, пиршество, ласки, мастеръ Леонардъ. Помню, черезъ сонъ, какъ время отъ времени подходила къ моей кровати Рената и клала свои холодныя руки на мой разгоряченный лобъ, и мнѣ тогда казалось, что эти невольно нѣжныя пальцы мгновенно испѣляли всю боль.

Утромъ, на слѣдующій день, я проснулся опять бодрымъ и сильнымъ, какъ всегда, но нашелъ въ душѣ свое вчерашнее рѣшеніе пустившимъ прочныя корни и раскинувшимъ далеко вѣтви, словно деревцо, въ нѣсколько часовъ выращенное индійскимъ гимнасофистомъ. Уже безо всякаго волненія, но совершенно опредѣленно я подтвердилъ Ренатѣ, что намѣренъ заняться изученіемъ магіи, такъ какъ не вижу другого способа оказать ей услугу, какую она ждетъ отъ меня. Рената выслушала меня очень внимательно, и, какъ ни неожиданно было это со стороны той, кто первая увлекла меня къ демономантіи, объявила мнѣ, что рѣшительно возстаеъ противъ моего замысла, и не замедлила поставить мнѣ на видъ, съ немалой убѣдительностью, всю трудность, всю опасность, а, можетъ быть, и всю ненужность затѣяннаго мною дѣла.

Такъ Рената говорила мнѣ, что занятія магіей требуютъ долгихъ годовъ и подготовительныхъ знаній, что сокровенныя тайны никогда не довѣряются книгамъ, а только передаются среди посвященныхъ изъ устъ въ уста, отъ учителя къ ученику, что, наконецъ, она не принимаетъ отъ меня такой жертвы, возвращаеъ мнѣ мои обѣщанія. Но у меня на всѣ эти доводы были возраженія: я говорилъ, что, какъ рыцарь, не могу поки-

нута даму, не использовавъ всѣ мыслимыя средства для ея спасенія; что для внимательнаго глаза и ума однихъ намековъ, сохранныхъ въ магическихъ сочиненіяхъ, достаточно; что я хочу постичь не всѣ тайны запретныхъ знаній, но лишь получить нѣкоторые свѣдѣнія для практическихъ цѣлей,—и подобное.

Когда же изъ разговора выяснилось, что я не хочу уступить, Рената попыталась напугать меня и, обличая свое близкое знакомство съ магіей, сказала мнѣ приблизительно такъ:

— Ты не знаешь, Рупрехтъ, той области, куда хочешь вступить. Тамъ нѣтъ ничего, кромѣ ужаса, и маги — это самые несчастные изъ людей. Магъ живетъ подъ постоянной угрозой мучительной смерти, только неусыпной дѣятельностью и крайнимъ напряженіемъ воли удерживая яростныхъ духовъ, готовыхъ каждую минуту растерзать его звѣриными челюстями. Цѣлый сонмъ враждебныхъ чудовищъ стережетъ каждый шагъ мага и слѣдить, не забудетъ ли онъ, не упуститъ ли онъ какую-либо маленькую предосторожность, чтобы хищно ринуться на него. Представь себѣ заклинателя, проводящаго дни и ночи въ клѣткѣ бѣшеныхъ собакъ или ядовитыхъ змѣй, ярость которыхъ онъ едва обуздываетъ ударами бича и каленымъ желѣзомъ,—вотъ, что такое жизнь мага. И въ награду за эту непрерывную пытку получаетъ онъ вынужденную службу мелкихъ бѣсовъ, малосвѣдушихъ, далеко не всесильныхъ, всегда коварныхъ, всегда готовыхъ на предательство и на всякую низость.

Эти возраженія Ренаты были мнѣ сладостны, какъ свѣтъ солнца сквозь дождь, потому что здѣсь, въ первый разъ, увидѣлъ я въ ней заботу о моей судьбѣ, но все же я, не колеблясь отвѣтилъ:

— Я готовъ согласиться, что все это такъ, но страхъ еще никогда не удерживалъ меня. Злые духи сотворены Богомъ, но лишены Его благодати и, какъ все въ природѣ, кромѣ личной и всемогущей воли Творца, не могутъ не быть подчинены естественнымъ законамъ. Остается только познать эти законы, и мы будемъ въ силахъ управлять демонами, какъ нынѣ пользуемся силами вѣтровъ для движенія кораблей. Нѣтъ сомнѣнія, что вѣтеръ безмѣрно сильнѣе человѣка, и порою буря разби-

ваетъ суда въ щепы, но обычно капитанъ приводитъ свой грузъ къ пристани. Знаю, что я подвергаю нашъ корабль, и тебя на немъ, большой опасности, увеличивая парусность подъ штурмомъ, но иного средства у насъ нѣтъ.

Послѣ этихъ моихъ словъ нашъ споръ прекратился.

Скоро пришлось мнѣ убѣдиться, что Рената, возражая мнѣ, говорила многое противъ своего убѣжденія и что магія и тайныя знанія имѣли для нея притягательную силу еще большую, нежели для меня. Однако, сохраняя свою роль, она довольно долгое время дѣлала видъ, что пренебрегаетъ моими занятіями, и не хотѣла оказать мнѣ ни малѣйшей помощи въ работѣ, такъ что приходилось мнѣ, совсѣмъ одному, и безо всякихъ совѣтовъ, преодолевать первые, какъ всегда самые трудные, повороты новаго пути.

Въ годы моей студенческой жизни былъ мнѣ знакомъ одинъ торговецъ книгами, жившій на Красной Горѣ, старый чудакъ, по имени Яковъ Глокъ, которому я, бывало, когда оставался безъ денегъ, сбывалъ или закладывалъ свои учебники. Въ его-то лавку и задумалъ я закинуть удочку рыбака, ибо помнилъ, что онъ интересовался книгами по астрологіи, по алхиміи и по магіи, кажется, и самъ погруженный въ изысканія философскаго камня.

Лавка Глока не перемѣнилась нисколько за десять лѣтъ, и я почувствовалъ себя опять студентомъ, когда, переступивъ порогъ, очутился въ темноватой каморкѣ, съ единственной дверью на улицу и безъ оконъ, набитой ворохами всевозможныхъ книгъ, то старыхъ, писанныхъ, то новыхъ, печатныхъ, то подержанныхъ, то свѣжихъ, то въ пестрыхъ обложкахъ, то въ кожаныхъ переплетахъ съ застежками. Самъ Яковъ Глокъ, среди многоярусныхъ полокъ, аккуратныхъ столбиковъ изъ in-quarto и беспорядочныхъ грудъ изъ боевыхъ листковъ, сидѣлъ на поломанной скамьѣ, владыкою всѣхъ этихъ манускриптовъ, опускуловъ и фоліантовъ, запертыхъ въ его лавкѣ, словно вѣтры въ пещерѣ Эола. Увидя меня, Глокъ опустилъ очки на носъ, положилъ гравюру, которую разсматривалъ, на колѣна, повернулъ ко мнѣ небритый подбородокъ и сталъ ждать, что я скажу, конечно, не признавая во мнѣ стараго знакомаго.

Припоминая характеръ Глока, я началъ издалека, назвался проѣзжимъ ученымъ, сказалъ, что много слышалъ о его богатомъ собраніи и что нарочно прибылъ въ городъ Кельнъ, имѣя въ виду написать сочиненіе по нѣкоторымъ вопросамъ богословія, соприкасающимся съ магіей, чтобы пріобрѣсти нужныя книги. Выслушавъ мою рѣчь, Глокъ долго смотрѣлъ на меня, по-стариковски шевеля губами, потомъ поднялъ опять очки на глаза, взялся за гравюру и сказалъ:

— Я торгую только книгами, одобренными Церковью. Поѣзжайте на ярмарку во Франкфуртъ: тамъ вы получите все, что вамъ нужно.

Я понялъ, что старикъ боится, не шпионъ ли я инквизитора, всячески постарался разуверить его въ этомъ и упомянулъ, что въ прежніе годы его торговля славилась на всю Германію тѣмъ, что въ ней, какъ въ сокровищницѣ лидійскаго Креза, можно было найти все на всѣ вкусы.

Поддавшись на лесть, Глокъ заворчалъ въ отвѣтъ:

— Мало ли что прежде бывало! Развѣ нашъ Кельнъ теперь тотъ же? У насъ здѣсь считалось студентовъ столько же, сколько во всѣхъ другихъ нѣмецкихъ университетахъ вмѣстѣ, а теперь меньше чѣмъ въ любомъ. На что теперь кельнцамъ книги, когда у насъ пошли такіе ректоры, какъ пьяница Боммельхенъ, или когда въ церкви св. Апостоловъ назначаютъ священника, какъ Рейсъ, который не знаетъ толкомъ латинской грамоты!

Такимъ образомъ разговоръ былъ завязанъ; я поддакнулъ старику, напомнилъ, ему счастливыя времена Кельна, навелъ его на разговоръ о книгахъ и издателяхъ, и покорно цѣлый часъ слушалъ его восхваленія славныхъ печатниковъ, отъ Ульриха Целля до Юганна Сотера, похвалы несравненнымъ изданіямъ Альдо Мануція и Генриха Этьенна, и разсужденія о преимуществахъ разныхъ почерковъ и разныхъ шрифтовъ, какъ готическій, римскій, антиква, батардъ, курсивъ. Въ награду за то, прощаясь со мною, старикъ сказалъ мнѣ болѣе добродушно:

— А вы, милостивый господинъ, заходите еще; мы съ вами пороемся въ этихъ горахъ, — можетъ, что-нибудь и найдемъ для васъ подходящее: мало ли что мнѣ въ лавку вѣтромъ заносить, хе-хе-хе!

На слѣдующій день я, конечно, не приминулъ опять быть у Глока, и онъ встрѣтилъ меня, какъ добраго пріятеля. Опять промучивъ меня разговорами немалое время, онъ потомъ продалъ мнѣ крохотное opusculum, отпечатанное въ Кельнѣ: «Das Geheimniß der heiligen Gertrudis zur Erlangung zeitlicher Schätze u. Güter», одно изъ самыхъ непонятныхъ сочиненій, какія я когда-либо читалъ, и мнѣ совершенно непригодное, причемъ взялъ съ меня за него несообразную цѣну въ пять гульденовъ. Зато еще черезъ день Глокъ уже позволилъ мнѣ рыться въ его сокровищахъ, и я выловилъ тамъ нѣсколько рукописей, наполненныхъ заклинаніями и магическими фигурами, подъ заманчивыми заглавіями: «Buch Mosis und dreifacher Hollenzwang», «Mächtige Beschwörungen der höllischen Geister», «Hauptzwang der Geister zu menschlichen Diensten» и т. под., за которыя всѣ мнѣ пришлось платить очень щедро. Потомъ, продолжая нырять изо дня въ день, какъ ловецъ жемчуга, въ волны книгъ, выловилъ я постепенно, съ благосклонной помощью Глока, чуть не цѣлую библиотеку, при чемъ онъ уговаривалъ меня не гнушаться даже сочиненіями, направленными противъ магіи, каковы, напримѣръ, нелѣпая старая книжка, со скверными рисунками, Ульриха Молитора «De laniis et phitonicis mulieribus», пустое opusculum Мартина Планташа «De sagis maleficiis», знаменитое сочиненіе Инститора и Якова Шпренгера «Malleus maleficarum», прямо имѣющее цѣлью облегчить судьямъ распознаваніе, обличеніе и наказаніе вѣдьмъ, и даже трактатъ знаменитаго плохой славой доминиканца, врага гуманистовъ, Якова Гогсратена: «Quam graviter peccant quaerentes auxilium a maleficis».

Когда же Глокъ нашелъ, что сбывъ мнѣ весь залежавшійся въ его лавкѣ товаръ, онъ растворилъ передо мною шкафъ, гдѣ хранились у него дѣйствительно научныя сочиненія по этой части, и для меня открылся словно Новый Свѣтъ, еще болѣе поразительный, чѣмъ поля и долины Новой Мексики. Тутъ, наконецъ, попали въ мои руки творенія Альберта Великаго, Арнольда де Вилланова и Рогерія Бакона, затѣмъ сочиненія аббата Триттемія и, послѣ всего, книга, которая какъ бы открыла мнѣ глаза на этотъ міръ: «Henrici Cornelii Agrippae ab Nettesheym,



de Occulta Philosophia libri tres» съ рукописной четвертой частью. Это послѣднее сочиненіе Глокъ продалъ мнѣ также по дорогой цѣнѣ, называя изданіе тайнымъ и ссылаясь на то, что на титулѣ не было означено ни мѣсто печатанія, ни годъ; но послѣ узнавъ я, что книга была отпечатана въ Кельнѣ, всего нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, и притомъ съ привилегіей Его Величества Императора,—и только дополнительная четвертая часть представляла нѣкоторую рѣдкость, такъ какъ авторъ, опасаясь преслѣдованій, не рѣшился предать ее типографскому станку.

Впрочемъ, я не сохранилъ дурныхъ чувствъ по отношенію къ Глоку, хотя онъ и много перетаскалъ у меня денегъ и не мало истомилъ меня своими бесѣдами. Въ концѣ концовъ, онъ все же снабдилъ меня всѣми нужными мнѣ пособіями, а въ старческой его болтовнѣ попадалось не мало вещей, для меня не только полезныхъ, но прямо необходимыхъ. Я пропускалъ сквозь уши его рѣчи объ «уксусѣ мудрецовъ», о «головѣ вороны», «львѣ зеленомъ» и «красномъ», о «парусахъ Тезея» и тому подобныхъ вещахъ, для меня лишніхъ, равно какъ и его рассказы о знаменитыхъ алхимикахъ и ихъ баснословныхъ обогащеніяхъ,—но зато ловилъ его драгоцѣнныя указанія по вопросамъ оперативной магіи, тщательно запоминалъ всѣ его объясненія магическихъ терминовъ и научился извлекать пользу изъ его анекдотовъ о славныхъ магахъ, некромантахъ и теургахъ. Если сдѣлалъ я нѣкоторые успѣхи въ изучаемой наукѣ, то во многомъ былъ я обязанъ доброму старику, который, хотя и мечталъ о превращеніи свинца въ золото, не забывалъ, однако, добывать серебро изъ чужихъ кармановъ болѣе обыкновенными способами.

Эти мои посѣщенія лавки Глока, которыя я здѣсь такъ бѣгло описалъ, продолжались нѣсколько недѣль, но, конечно, все это время я не терялъ даромъ, и, приходя домой, тотчасъ засаживался за столъ, склоняя глаза надъ страницами фоліанта. Рвеніе мое въ этой работѣ было такъ сильно, что, безъ сомнѣнія, если бы я съ такимъ же прилежаніемъ изучалъ въ свое время «Sententiae», «Processus», «Copulata», «Reparationes» и прочіе учебники, не пришлось бы мнѣ съ буйными лютеріан-

цами грабить городъ святого отца и не видалъ бы я луговъ Анагуака, но мирно читалъ бы лекціи, какъ магистръ, съ кафедръ одного изъ университетовъ. Поглащая книгу за книгой, переходя отъ трактата къ трактату, узнавая все новыя тайны, я постоянно чувствовалъ себя несатымъ, какъ Вергиліева Спилла, и умъ мой въ тѣ дни сдѣлался какимъ-то пожирателемъ исписанной или печатной бумаги.

Въ такой мѣрѣ былъ я увлеченъ своимъ дѣломъ, что на нѣкоторое время стихъ во мнѣ даже голосъ моей страсти: я какъ-то болѣе слѣпыми глазами смотрѣлъ на Ренату, и на меня меньшее впечатлѣніе производили ея слова. Мало того,—меня совсѣмъ не охватывало безпокойство, когда, нѣсколько разъ, проведя весь день въ задумчивости и уныніи, она вдругъ, не говоря ни слова, надѣвала плащъ и удалялась на долгіе часы, неизвѣстно куда, возвращаясь только поздно ночью. Меня нисколько не трогало, когда она намѣренно начинала высмѣивать мою работу и нарочно говорить мнѣ вещи обидныя, называя меня трудолюбивымъ, но лишеннымъ дара. Весь преданный разысканіямъ, размышленіямъ, выводамъ, я чувствовалъ свою душу какъ бы заживо заключенной въ глыбу льда, зналъ, что сердце моей любви бьется, но не страдалъ отъ того, что крылья ея недвижны.

Однако, однажды утромъ, послѣ одного изъ своихъ исчезновеній, Рената неожиданно, но съ такой простотой, какъ если бы она это дѣлала всегда, придвинула къ столу два стула и сказала мнѣ:

— Что же, Рупрехтъ, пора заниматься!

Я посмотрѣлъ на Ренату съ изумленіемъ и благодарностью, поцѣловалъ ея руку, и мы сѣли съ ней рядомъ. Съ того дня—было это въ концѣ сентября мѣсяца—мы продолжали изученіе тайной философіи и оперативной магіи вдвоемъ.

Такъ какъ я надѣюсь, что моя Повѣсть будетъ не только занимательнымъ чтеніемъ, но, быть можетъ, принесетъ пользу кому-либо, кто попадетъ въ такія же западни, какъ я, то и хочу я здѣсь, въ короткихъ словахъ, пересказать, что съ Ренатою узнали мы изъ прочитанныхъ нами книгъ, хотя, конечно,

не имѣю надежды исчерпать безмѣрный океанъ, именуемый областью тайныхъ или запретныхъ знаній.

Я полагаю, что позволено мнѣ будетъ совершенно оставить въ сторонѣ пустые рассказы теологовъ и схоластовъ, которые думаютъ, что на однѣхъ цитатахъ изъ Святого Писанія можно основать какую угодно науку. Писатели изъ этой бездѣльной толпы выказываютъ притязанія знать о демонахъ всѣ мельчайшія подробности, точное ихъ число, равно какъ и всѣ ихъ имена. Одни изъ этихъ всезнаекъ утверждаютъ, напримѣръ, что демоны дѣлятся на девять разрядовъ: первымъ, гдѣ собраны ложные боги, начальствуетъ Бельзевулъ, вторымъ, гдѣ ложные пророки,—Пионъ, третьимъ, гдѣ изобрѣтатели всего злого,—Беліалъ, четвертымъ, гдѣ мстители за преступленія, — Асмодей и т. д. Другіе сообщаютъ точную іерархію демоновъ, въ средѣ которыхъ, будто бы, есть императоръ — Бельзевулъ, семь королей: Бэлъ, Пурсанъ, Билэтъ, Паймонъ, Бэліалъ, Асмодей, Запанъ, двадцать три герцога, тринадцать маркграфовъ, десять графовъ, одиннадцать презусовъ и множество рыцарей, причемъ всѣ они приводятся по именамъ. Третьи изображаютъ дворъ адскаго владыки, сообщая точно, что при Бельзевулѣ великимъ канцлеромъ состоитъ Адрамелекъ, казначеемъ—Астаротъ, церемоніймейстеромъ—Верделетъ, главнымъ капелланомъ — Камоосъ, и не менѣе точно называя адскихъ министровъ и военачальниковъ, а также адскихъ представителей при разныхъ европейскихъ дворахъ. Слишкомъ ясно, что всѣ эти построенія исходятъ изъ общихъ соображеній и являются подражаніемъ современному государственному устройству на землѣ, тогда какъ истинная наука можетъ опираться только на опытъ, на наблюденія и на достойныя вѣры показанія очевидцевъ.

Напротивъ, въ книгахъ, дѣйствительно стоящихъ вниманія, мы часто не находили отвѣта на многіе вопросы, которые, по праву, могли быть нами поставлены, ибо серьезные изслѣдователи сообразуются не съ любопытствомъ читателя, но съ предѣлами своихъ знаній. Но природа и жизнь демоновъ въ такой мѣрѣ трудно поддаются изученію, что до сихъ поръ, несмотря на благородные и безкорыстные труды ученыхъ древнихъ и но-

выхъ, притомъ такихъ исполиновъ науки, какъ Альбертъ Великій, аббатъ Тритгеймъ, Агриппа фонъ Неттесгеймъ,—еще очень многое въ этой сферѣ остается сомнительнымъ или вовсе неизвѣстнымъ. И во главѣ всякаго разсужденія о демонахъ полезно было бы ставить справедливыя слова одной изъ прочитанныхъ нами рукописей: «*Daemonum naturam eorumque vim posse rem summe arduam ac difficilem semper extitisse neminem esse vel in litteris mediocriter tinctum qui ignoret pro comperto habeo*».

Вотъ, однако, какое общее представленіе объ этихъ вопросахъ составилось у насъ послѣ добросовѣстнаго изученія собранной библіотеки:

Демоны принадлежатъ къ числу разумныхъ существъ, сотворенныхъ Богомъ, и дѣлятся на три рода. Первые называются «небесными» (*coelestes*), обитаютъ въ сферахъ высшихъ и выполняютъ исключительно волю Бога, около Котораго и вращаются, какъ вокругъ нѣкотораго центра. Вторые называются «міровые» (*mundani*) ибо имъ порученъ надзоръ за мірами, почему и различаются въ ихъ числѣ демоны Сатурна, Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурія, Луны, также двѣнадцать знаковъ зодіака, тридцати шести небесныхъ декурій, семидесяти двухъ небесныхъ квинарій и т. под. Третьи называются «земные» (*terrestres*), дѣлятся на четыре порядка—огня, воды, воздуха, суши—и постоянно обитаютъ среди людей, незримо вмѣшиваясь въ наши дѣла, причѣмъ, какъ естественно ожидать, изъ нихъ демоны огня дѣйствуютъ преимущественно на нашъ умъ, воздуха — на наши чувства, воды—на наше воображеніе, земли—на наше тѣло и его похоти. Хотя ни одна часть земли не свободна отъ этихъ демоновъ, все же одни изъ нихъ проявляются больше въ одномъ мѣстѣ, другіе—въ другомъ, такъ что различаютъ еще демоновъ дневныхъ и ночныхъ, сѣверныхъ и южныхъ, восточныхъ и западныхъ, лѣсныхъ, горныхъ, полевыхъ, домашнихъ. Что же касается до общаго числа демоновъ, то изслѣдователи, въ этомъ вопросѣ, не согласны между собой, и можно сказать лишь одно, что это число должно быть очень велико, превышая сотни милліоновъ.

Относительно тѣла демоновъ существуютъ сильныя споры

между изслѣдователями, но приходится думать, что демоны обладают тѣломъ зыбкимъ, тонкаго состава, однако, безсмертнымъ, неподверженнымъ тлѣнію, невоспринимаемымъ, обычно, нашими чувствами—зрѣніемъ и осязаніемъ, способнымъ проникать сквозь всѣ вещества. Однако, тѣло высшихъ демоновъ, составленное изъ чистаго эѳира, болѣе тонко, нежели тѣло демоновъ низшихъ, въ составъ котораго входитъ огонь и воздухъ, и, тѣмъ болѣе, самыхъ низкихъ, состоящее также изъ элементовъ воды и земли. Чтобы стать видимыми, должны демоны образовывать для себя тѣло изъ болѣе твердыхъ веществъ, принимая облики то туманной фигуры, то огненного духа, то безкровнаго, подобнаго трупу, человѣка. Собственное тѣло демоновъ не нуждается въ пищѣ и посему не имѣетъ естественныхъ отправленій, равно какъ демоны и не могутъ размножаться естественнымъ путемъ, не имѣя пола и не будучи подвержены похоти. Однако, изъ злыхъ цѣлей, часто умѣютъ они сближаться тѣлесно съ мужчинами и женщинами, какъ суккубы и инкубы, при чемъ демонъ, являвшійся въ одномъ случаѣ суккубомъ, сберегаетъ принятое имъ сѣмя, дабы воспользоваться имъ въ другомъ мѣстѣ, гдѣ онъ будетъ играть роль инкуба.

Всѣ демоны могутъ вступать въ общенія съ людьми, но демоны небесные дѣлаютъ это только по своему желанію или по повелѣнію Божію, демоны же земные слишкомъ слабы и ничтожны, чтобы люди нуждались въ ихъ помощи, такъ что обычно обращаются маги къ вызыванію демоновъ міровыхъ. Для вызванія мірового демона необходимо знать его имя, его характеръ и его заклинаніе. Многіе демоны сами, бесѣдуя съ людьми, сообщали свои имена, почему мы и знаемъ ихъ, напримѣръ—двѣнадцать демоновъ зодіака: Мальхидаель, Асмодель, Амбриель, Муріель, Верхіель, Гамалиель, Зуріель, Бархіель, Адуахіель, Ганаль, Гамбіель, Бархіель. Но, по мнѣнію изслѣдователей, имена ихъ можно вычислять и искусственно: изъ буквъ еврейскихъ, соотвѣтствующихъ числамъ небесныхъ знаменъ, если, начиная отъ знака демона проходить, по градусамъ, весь небесный кругъ, причемъ въ направленіи восходящемъ получаютъ имена добрыхъ демоновъ, а нисходящемъ—злыхъ. Характеры

или печати демоновъ состоятъ изъ его знака, соединеннаго съ монограммою его имени. Знакъ образуется изъ шести корней, сообразно шести звѣзднымъ долготамъ, къ которымъ сводятся также планетныя долготы, и соединительныхъ линій, а монограмма пишется на одномъ изъ принятыхъ магами алфавитовъ: египетскими гіероглифами, древне-еврейскими буквами, особозмѣненными латинскими или, наконецъ, условными. Заклинанія, которыя и суть главный элементъ въ вызываніи, составлены магами по взаимному соглашенію съ демонами, причемъ въ заклинаніи точно означены всѣ свойства демона и содержится убѣдительный призывъ явиться и исполнить требуемое, все же это подкрѣплено властью тайныхъ божественныхъ именъ.

Сила заклинанія заключена въ магическомъ значеніи числъ, которое разъяснилъ еще Пифагоръ и которое не можетъ отрицать ни одинъ серьезный изслѣдователь, и въ томъ случаѣ, если весь порядокъ вызыванія совершенъ правильно, имя демона написано вѣрно и заклинаніе произнесено безъ ошибокъ, демонъ не можетъ не явиться магу и не подчиниться его повелѣнію, какъ не можетъ не обращаться къ сѣверу стальная игла, научнымъ образомъ намагниченная. Замѣчательно при этомъ, что различные демоны имѣютъ излюбленныя формы, въ которыхъ они обычно и появляются предъ заклинателемъ. Такъ, демоны Сатурна являются стройными и изящными, съ гнѣвнымъ взоромъ; цвѣтъ лица ихъ темный, движенія ихъ—какъ порывы вѣтра; передъ ихъ появленіемъ видно бываетъ бѣлое пространство, словно покрытое снѣгомъ; часто принимаютъ они образы—бородатого короля, ѣдущаго на драконѣ, или старой женщины, опирающейся на палку, или существа четырехликаго, или филина, или серпа, или можжевельника. Демоны Юпитера являются средняго роста, въ сангвиническомъ тѣлѣ; цвѣтъ лица ихъ ржавый, движенія стремительны, взоръ кротокъ, разговоръ угодливъ; передъ ихъ появленіемъ видны бываютъ люди, пожираемые львами; часто принимаютъ они образы—короля съ обнаженнымъ мечомъ, ѣдущаго на оленѣ, или человѣка въ митрѣ, въ длинной одеждѣ, или дѣвушки въ вѣницѣ, убранной цвѣтами, или быка, или павлина, или лазурнаго одѣянія. Демоны Луны явля-

ются громадными, полными, флегматичными; цвѣтъ лица ихъ—какъ темное облако, выраженіе—безпокойное, глаза—рубиновые и полные влаги; у нихъ кабаньи зубы, они лысы, и движенія ихъ подобны морской зыби; передъ появленіемъ ихъ льется дождь; часто принимаютъ они образы—короля съ лукомъ въ рукахъ, ѣдущаго на лани, или маленькаго мальчика, или стрѣлы, или лани, или громадной сороконожки—и т. д.

Таясь во всѣхъ этихъ разнообразныхъ формахъ, демоны вступаютъ въ бесѣду съ заклинателемъ, говоря на его языкѣ, сначала пытаются обмануть его, но потомъ, если онъ не уступаетъ имъ, подчиняются его хотѣніямъ и исполняютъ покорно все, что только доступно ихъ, довольно, впрочемъ, ограниченной силѣ.

Таковы, въ самыхъ общихъ чертахъ, свойства демоновъ и порядокъ ихъ заклинанія.

Тѣ свѣдѣнія, которыя я изложилъ здѣсь на четырехъ небольшихъ страницахъ, собирали мы съ Ренатою въ продолженіе почти двухъ мѣсяцевъ, до самаго конца октября, занимаясь прилежно, какъ самые примѣрные школяры. Рената не знала по-латыни, и поэтому книги, написанныя на этомъ языкѣ,—а такихъ было большинство,—мнѣ приходилось переводить ей слово за словомъ, но ни въ какомъ случаѣ ея соучастіе не было для меня затрудненіемъ. Наоборотъ, Рената очень во многомъ облегчила мнѣ изученіе, такъ какъ съ необыкновенной легкостью умѣла истолковывать скрытое значеніе иныхъ утвержденій или дополнять недосказанное въ книгѣ,—что тогда я относилъ къ ея змѣиной проницательности, а нынѣ согласенъ объяснить тѣмъ, что она уже не въ первый разъ приступала къ области тайныхъ наукъ, знала и слышала о магическихъ операціяхъ многое такое, что остается невѣдомымъ большинству. И я увѣренъ, что только эти воспоминанія Ренаты, вмѣстѣ со случайными намеками Якова Глока, дали мнѣ возможность овладѣть въ такой короткій срокъ, какъ десять недѣль, такой сложной наукой, какъ магія.

Замѣчательно, что присоединившись къ моей работѣ, Рената вдругъ какъ бы измѣнилась вся, и въ теченіе тѣхъ четырехъ или пяти недѣль, которыя мы трудились вмѣстѣ, она неизмѣнно

оставалась въ добромъ настроеніи духа, и въ поведеніи ея не было обычныхъ странностей. Рвеніемъ и прилежаніемъ она скоро превзошла меня, безъ утомленія проводила среди книжныхъ занятій цѣлые дни, отъ сѣраго утра до чернаго вечера, забывая и церковныя службы, и городскія празднества. Не разъ случалось, что, когда я уже падалъ отъ усталости и умъ мой отказывался воспринимать далѣе, Рената не хотѣла отойти отъ стола и, упрекая меня, раскрывала новый томъ. Она готова была стучать заступомъ мысли въ черныхъ шахтахъ печатныхъ строкъ безъ перерыва, ночью какъ днемъ, и никогда не ослабѣвала ея рука въ этой работѣ, и никогда не притуплялась ея радость, когда опять выносили мы на свѣтъ изъ этихъ глубинъ новый слитокъ золота.

Впрочемъ, у этой неутомимости Ренаты было и свое объясненіе, ибо, приблизившись къ тайнамъ магіи, она скоро увѣровала, какъ всегда, слѣпо и упрямо, что съ ихъ помощью дѣйствительно сумѣетъ вернуть любовь своего графа Генриха. Что же касается меня, то, наоборотъ, погружаясь въ изученіе тайныхъ наукъ, я постепенно терялъ изъ виду свою первоначальную цѣль и увлекался своей работой уже безкорыстно, какъ истинный адептъ. Покоренный величіемъ тѣхъ далей, которыя открывались передо мною—міра демоновъ, въ который нашъ міръ челоувѣковъ вброшенъ какъ малый островъ среди океана—я временно какъ бы забылъ о графѣ Генрихѣ и о клятвѣ, данной мною Ренатѣ. Мнѣ такъ хорошо было носиться, съ нею вмѣстѣ, по волнамъ книгъ, рукописей, чертежей, вычисленій, что, завидѣвъ, наконецъ, за гребнями волнъ, тотъ берегъ, къ которому самъ держалъ курсъ корабля, какъ-то не могъ я обрадоваться и не спѣшилъ войти въ гавань. И когда Рената, послѣ того какъ овладѣли мы основами оперативной магіи, уже торопила меня примѣнить наши знанія къ дѣлу, я долго еще находилъ предлоги, чтобы отложить рѣшительный день, ссылаясь на недостаточность этихъ знаній.

Наконецъ, въ первые дни ноября мѣсяца, подошедшаго къ намъ неслышно съ холодными вѣтрами и долгими сумерками, не осталось у меня никакихъ возраженій, и увидѣвъ я необходи-



мость уступить настойчивости Ренаты. Отъ книжныхъ и теоретическихъ занятій перешли мы къ практикѣ и взялись за послѣднія приготовленія къ небезопасному опыту, что было еще очень не легко, такъ какъ надо было, съ предосторожностями, приобрѣтать нужные, но рѣдкіе предметы, и, съ большой тщательностью, изготовлять необходимые инструменты. Рената и въ этомъ дѣлѣ помогала мнѣ такъ же терпѣливо и бодро, съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе увѣренная, что часъ ея свиданія съ графомъ Генрихомъ недалекъ, говоря мнѣ объ этомъ съ крайней безсердечностью, словно ни примѣчая, какую мнѣ это причиняло муку. Во мнѣ же, по мѣрѣ приближенія назначеннаго дня, выросали, какъ привѣдѣнія, дурныя предчувствія и, стоя въ углахъ моей души, угрюмо кивали головами и на слова Ренаты и на мои отвѣты ей.

Предполагалось сначала, что заклинателемъ выступлю я одинъ, такъ какъ Ренатѣ казалось, что ея участіе въ этомъ дѣлѣ запятнаетъ ея душу, которую хотѣла она сохранить чистой для своего Генриха. Я постарался опровергнуть это соображеніе, указавъ на то, что мы будемъ искать власти надъ демонами не для низменныхъ выгодъ, но съ благою цѣлью; заставлять же злыхъ духовъ трепетать и повиноваться, есть дѣло достойное, котораго не чуждались многіе изъ блаженныхъ, какъ, наприкладъ, св. Кипріанъ и св. Анастасій. Послѣ нѣкотораго колебанія Рената согласилась со мною, но, какъ мнѣ кажется, болѣе потому, что не совсѣмъ довѣряла моимъ способностямъ, какъ мага, и боялась, что я что-либо существенное забуду или не сумѣю исполнить. Такимъ образомъ, къ рѣшительному опыту приступили мы вдвоемъ, *magister cum socio*.

Самое заклинаніе, произведенное нами, я хочу описать во всѣхъ подробностяхъ, чтобы человѣкъ опытный и свѣдущій, если въ его руки попадетъ эта Повѣсть, могъ опредѣлить, что было нами упущено и чѣмъ объясняется жалкій и трагическій неуспѣхъ нашего предпріятія.

Днемъ, избраннымъ нами послѣ долгихъ обсужденій, была пятница, 13 числа ноября мѣсяца, потому что демонамъ пятницы, посвященной Венерѣ, особенно свойственно возвращать жен-

щинамъ любовь ихъ возлюбленныхъ; мѣстомъ же операциі— та самая комната, изъ которой пыталъ я свой неудачный полетъ на шабашъ. Къ сроку было нами собрано тамъ все, что могло быть необходимо для заклинанія, а также позаботились мы, чтобы въ цѣломъ домѣ, въ тотъ вечеръ, не было никого, кромѣ насъ, ибо сильный шумъ могъ возбудить подозрѣнія нашей Марты. Сами же мы готовились къ опыту воздержаніемъ въ пищѣ и сосредоточеніемъ мыслей на одномъ предметѣ.

Первой заботой заклинателя всегда является магическій кругъ, ибо онъ служитъ обороной отъ нападенія враждебныхъ силъ извнѣ, почему на исполненіе этого круга, согласно съ именемъ призываемаго демона, расположеніемъ звѣздъ, мѣстомъ опыта, временемъ года и часомъ, — всегда употребляется много заботъ. Нами магическій кругъ сначала былъ тщательно вычерченъ на бумагѣ, и лишь въ день опыта перенесенъ углемъ на полъ комнаты. Состоялъ онъ изъ четырехъ концентрическихъ окружностей, большая—съ діаметромъ въ девять локтей, образовавшихъ три замкнутыхъ, другъ въ друга включенныхъ круга: внѣшній, средній и внутренній, каждый шириною въ ладонь. Средній кругъ былъ раздѣленъ на девять равныхъ частей, и въ этихъ домахъ было написано: въ первомъ, обращенномъ прямо на Западъ, тайное названіе часа, избраннаго нами для заклинанія, именно пятничной полночи, *Nethos*; во второмъ— имя демона того часа, *Sachiel*; въ третьемъ— характеръ этого демона; въ четвертомъ— имя демона того дня, *Anael*, и его слугъ, *Rachiel* и *Sachiel*; въ пятомъ— тайное названіе того времени года, т. е. осени, *Ardarael*; въ шестомъ— имя демоновъ того времени года, *Tarquam* и *Guabarel*; въ седьмомъ— названіе корня того времени года, *Torquaret*; въ восьмомъ— имя земли въ то время года, *Rabianara*; въ девятомъ— имена солнца и луны, какія имѣютъ они въ то время года, *Abragini* и *Matasignais*. Внѣшній кругъ былъ раздѣленъ на четыре равныхъ части, и въ этихъ домахъ, обращенныхъ строго на Западъ, Сѣверъ, Востокъ и Югъ, были написаны: имена демона воздуха, начальствующаго въ тотъ день, *Sarabotes rex*, и его четырехъ слугъ: *Amabiel*, *Aba*, *Abalidoth*, *Flaef*. Внутренній кругъ былъ раздѣленъ также на четыре

части, и въ этихъ домахъ были написаны вѣчныя божественныя имена: Adonay, Eloy, Agla, Tetragrammaton. Наконецъ, то пространство, внутри трехъ круговъ, гдѣ должны были помѣщаться заклинатели, было раздѣлено крестомъ на четыре сектора, а внѣ круговъ, на четырехъ странахъ свѣта, были вычерчены пятиугольныя звѣзды.

Когда приблизилось время полночи, внимательно заперевъ всѣ входы дома и еще разъ удостовѣрившись, что въ немъ нѣтъ никого, кромѣ насъ, мы вошли въ комнату опыта. Здѣсь оба, и Рената и я, мы облачились въ новыя, нарочно приготовленныя одежды, изъ чистаго бѣлаго льна, длинныя, закрывавшія намъ ноги и перехваченныя поясомъ изъ такого же матеріала. На головы надѣли мы также льняные уборы, подобные митрамъ, на передней части которыхъ было написано божественное имя; ноги же наши остались босыми. При этомъ облаченіи произносили мы установленную молитву: Ancor, Amacor, Amides, Theodonias, Anitor, per merita angelorum tuorum sanctorum, Domine, induam vestimenta salutis, ut hoc, quod desidero, possim perducere ad effectum. Въ руки мы взяли по магическому жезлу, сдѣланному изъ дерева безъ сучьевъ и съ металлическимъ, подобнымъ маленькому мечу, оконечникомъ. Затѣмъ, не вступая еще въ кругъ, возложили на столъ, поставленный въ сторонѣ и покрытый бѣлой льняной скатертью, пергаментъ съ знакомъ пентаграммы и съ именемъ и характеромъ демона Aduachiel, ибо солнце было тогда въ знакѣ Стрѣльца, а на деревянный треножникъ, помѣщенный у самаго круга, съ его западной стороны, liber consecratum, т. е. тетрадь, гдѣ были тщательно вписаны всѣ заклинанія, которыя намѣревались мы произнести въ тотъ день. Около треножника зажгли двѣ свѣчи изъ чистаго воска, а на четырехъ пятиугольныхъ звѣздахъ—четыре глиняныхъ лампы, наполненныя чистымъ растительнымъ масломъ съ растительными же свѣтильнями.

Когда все было такъ приготовлено, я посмотрѣлъ на Ренату и увидѣлъ, что волненіе ея дошло до предѣла крайняго: руки ея дрожали, лицо было блѣдно и едва могла она держаться на ногахъ. Тогда я обратился къ ней какъ magister къ своему со-

сіо: «Другъ, помни важность этого часа», и поспѣшилъ съ началомъ опыта. Обрызгавъ все кругомъ нами освященной водой съ произнесеніемъ установленныхъ словъ: *Asperges me Domine*, я рѣшительно вступилъ въ магическій кругъ съ его западной стороны, черезъ оставленную тамъ въ чертежѣ дверь, и увидя, что Рената послѣдовала за мной, замкнулъ входъ знакомъ пентаграммы. Въ душѣ у меня въ этотъ мигъ былъ холодъ и была печаль, но я помнилъ твердо и ясно все, что долженъ былъ дѣлать. Обратившись на четыре страны свѣта, я призвалъ двадцать четыре имени демоновъ, сторожащихъ этотъ день, по шести съ каждой страны; затѣмъ имена семи демоновъ, управляющихъ семи планетами, затѣмъ еще семи демоновъ, которымъ поручены семь дней недѣли, семь цвѣтовъ радуги и семь металловъ. Рената тѣмъ временемъ, освоившись со своими обязанностями товарища, осыпала лампы заготовленными нами куреніями, въ которыя входили: лаванда, порошокъ папоротника и вервены, восточная стираксовая смола, особенно же мазь изъ растенія кость, посвященнаго дню Венеры, и отъ лампадъ поднялись струи ароматнаго дыма, которыя, постепенно разстилаясь, начали заволакивать всю комнату неопредѣленнымъ туманомъ.

Тутъ приступилъ я, собственно, къ заклинанію, стараясь говорить голосомъ привѣтливымъ, но властнымъ. Сначала прочелъ я нѣсколько церковныхъ молитвъ, оберегающихъ заклинателей, и затѣмъ совершилъ призываніе демоновъ воздуха, начинающееся словами: *Nos facti ad imaginem Dei, dotati potentia Dei et ejus facti voluntate per potentissimum et corroboratum nomen Dei, El, forte admirabile, vos exorcisamus*. Мнѣ былъ слышенъ голосъ Ренаты, подававшій мнѣ отвѣты на мои прошенія. Скоро замѣтилъ я, или мнѣ такъ привидѣлось, что въ колеблющемся дыму куреній образуются и мелькаютъ нѣкоторыя формы, вѣроятно низшіе духи, привлеченные запахомъ коста, и я устремилъ противъ нихъ остріе жезла, воспрещая имъ прикоснуться къ намъ. Полагая далѣе, что наступило время для крайняго заклинанія, я произнесъ послѣднія изъ подготовительныхъ словъ: *Ecce pentaculum Solomonis quod ante vestram adduxi praesentiam* и т. д.

Тутъ въ лицо мнѣ повѣялъ какъ бы нѣкоторый холодный

вѣтеръ, всколебавшій мои волосы, и въ эту минуту я не менѣе Ренаты увѣренъ былъ въ успѣхѣ опыта. Взглянувъ на нее, однако, я увидѣлъ, что дрожь ея не успокаивается и что она почти падаетъ отъ изнеможенія. Тогда, торопясь, началъ я обходить кругъ, идя съ запада на востокъ, и произнося основное заклинаніе, обращенное къ демону Анаэлю:

Audi, Anaël! ego indignus minister Dei, conjuro, posco, urgeo et voco te non mea potestate sed per vim, virtutem et potentiam Dei Patris, per totam redemptionem et salvificationem Dei Filii et per vim et devictionem Dei Sancti Spiritus. Per hoc devinco te, sis ubi velis, in alto vel abyssu, in aqua vel in igne, in aere vel in terra, ut tu, daemon Anaël, in momento coram me appareas in decora forma humana. Veni ergo cum festinatione in virtute nominum istorum Aye Saraye, Aye Saraye, Aye Saraye, ne differas venire per nomina aeterna Eloy, Archima, Rabur, festina venire per personam exorcitatoris conjurati, in omni tranquillitate et patientia, sine ullo tumulto, mei et omnium hominum corporis sine detrimento, sine falsitate, fallacia, dolo. Conjuro et cofirmo super te, daemon fortis, in nomine On, Hey, Heya, Ia, Ie, Adonay, et in nomine Saday, qui creavit quadrupedia et animalia reptilia et homines in sexto die, et per nomina angelorum servientium in tertio exercitu coram Dagiël angelo magno, et per nomen stellae quae est Venus et per sigillum ejus quod quidem est sanctum,—super te, Anaël, qui es praepositus diei saxtae, ut pro me labores. El, Aty, Titeip, Azia, Hyn, Ien, Minosel, Achadan! Val Val Val

Я трижды успѣлъ обойти кругомъ, произнося это заклинаніе. Въ синеватомъ дыму кругомъ колыхались дьявольскіе лики и вездѣ отъ полу комнаты поднялись струйки тумана, въ маломъ видѣ похожія на тѣ, какія я видѣлъ на шабашѣ. Но тщетно ждалъ я, что покажутся передо мною, въ видѣніи, играющія дѣвочки, что служило бы признакомъ появленія демона Венеры. Проходя трижды мимо Ренаты, видѣлъ я ее въ напряженіи крайнемъ, съ глазами, раскрытыми точно въ изступленіи, но съ усиліемъ опирающейся на свой магическій жезлъ, какъ на трость. Зная, однако, что часто нужны бываютъ труды многихъ часовъ, чтобы привлечь демона въ свою

сферу, я не терялъ надежды и сталъ произносить усиленные заклинанія:

— *Quid tardas? ne morare! obedito praeceptorі tuo in nomine Domini Bathat, super Abrac ruens, superveniens. Cito, cito, cito! Veni, veni, veni!*

Смутный гулъ наполнилъ въ это время всю комнату, словно бы по листьямъ высокихъ деревьевъ приближался къ намъ вѣтеръ или дождь. Ожиданіе невиданнаго и поразительнаго охватило меня со всей силой; все мое тѣло и вся моя мысль были напряжены и готовы къ оборонѣ или къ нападенію. Но въ эту минуту, когда я находился лицомъ къ треножнику, всматриваясь въ колыхающійся туманъ, раздался внезапно, сзади меня, тамъ, гдѣ была Рената, ударъ, столь оглушительный, словно весь нашъ домъ распадался. Съ невольнымъ вскрикомъ я обратился назадъ и увидѣлъ, что одна лампада, та, около которой стояла Рената, погасла. Я стремительно бросился туда съ магическимъ жезломъ, устремленнымъ впередъ, такъ какъ зналъ, что открывался такимъ образомъ доступъ внутрь нашего круга для злыхъ духовъ, но, вѣроятно, было уже поздно. Встрѣтивъ лицо Ренаты, я едва узналъ его, ибо было оно искажено и искривлено, и надо полагать, что одинъ или нѣсколько демоновъ, воспользовавшись прорывомъ круга, схватили ее и овладѣли ею. Рената, за минуту передъ тѣмъ едва имѣвшая силы стоять, вдругъ съ силой необыкновенной отстранила меня, и съ поднятымъ жезломъ кинулась къ другимъ лампадамъ. У меня не было ни воли, ни средствъ остановить ее, и она, при чемъ, конечно, дѣйствовала ея рукою тотъ, кто таился въ ней, — нѣсколькими ударами сокрушила и остальные три лампы и двѣ восковыхъ свѣчи. Мы оказались въ совершенномъ мракѣ, и вокругъ насъ поднялся, если то не было обманомъ чувствъ, дикій вой, и гоготаніе, и свистъ.

Въ эту минуту опасности я понялъ, что магическій кругъ уже не защититъ насъ, такъ какъ все равно онъ нарушенъ, и потому, громко твердя слова отпуски: *Abi festinanter, arape te, recede statim in continentil*—всею силой повлекъ Ренату прочь изъ комнаты. У порога, поспѣшно отпирая дверь, я произнесъ

последнее заклинаніе, считаемое особенно сильнымъ: *Per ipsum et cum ipso et in ipso*. Думаю, что никогда, ни въ какомъ, самомъ яромъ, сраженіи съ краснокожими, не подвергался я такой опасности, какъ въ этой комнатѣ, наполненной враждебными демонами, которая подобна была той клѣткѣ съ бѣшенными собаками и ядовитыми змѣями, о которой говорила Рената. Вѣроятно, только крайнее присутствіе духа спасло меня отъ смерти, потому что все-таки успѣлъ я отворить дрѣрь и вывести Ренату сначала на свѣжій воздухъ коридора, а потомъ и на лунный свѣтъ, вливавшійся въ ея комнату.

Но ликъ Ренаты продолжалъ оставаться страшнымъ и совершенно на себя непохожимъ, ибо мнѣ казалось даже, что глаза ея стали больше, подбородокъ болѣе вытянутымъ, виски гораздо сильнѣе выступающими, нежели обыкновенно. Рената билась въ моихъ рукахъ яростно, сорвала съ себя и митру, и льняное одѣяніе, и неустанно, грубымъ, почти мужскимъ, вовсе не своимъ, голосомъ выкрикивала какія-то слова. Прислушавшись, я понялъ, что она говорила по-латыни, хотя, какъ я упоминалъ, она этого языка не знала вовсе. Смыслъ ея словъ былъ ужасенъ, ибо Рената осыпала проклятіями и меня, и самое себя, и графа Генриха, произносила неистовыя богохуленія и грозила мнѣ и всему міру величайшими бѣдами.

Хотя никогда не довѣрялъ я особенно защитѣ святыхъ предметовъ, въ этомъ моемъ несчастномъ положеніи, когда я каждый мигъ ожидалъ, что на насъ ринутся всѣ раскованные дьяволы изъ комнаты заклинаній, мнѣ не оставалось ничего лучшаго, какъ привлечь Ренату къ маленькому алтарю, бывшему въ ея комнатѣ, и тамъ надѣяться на помощь Божію. Но Рената, въ изступленіи, не хотѣла приближаться ко святому Распятію, крича, что ненавидитъ и презираетъ его, подымая сжатые кулаки на образъ Христа и, наконецъ, упала на полъ, опять въ томъ же припадкѣ конвульсій, котораго я уже дважды былъ свидѣтелемъ. Но ни разу еще не проводилъ я часовъ надъ ней въ такомъ безнадежномъ безсиліи, наклонясь надъ мучимой и видя, какъ терзаютъ ея тѣло демоны, овладѣвшіе ею, можетъ быть, по моему попущенію.

Понемногу опасенія мои успокоились, и я почувствовалъ насъ уже внѣ опасности; также постепенно, естественнымъ образомъ, миновало и мучительство Ренаты, ибо демонъ, бывшій въ ней, въ послѣдній разъ крикнувъ мнѣ, что мы еще съ нимъ встрѣтимся, покинулъ ее. Но мы оба, простертые на полу, около Распятія, напоминали потерпѣвшихъ крушеніе въ морѣ, достигшихъ какой-то малой скалы, все потерявшихъ и увѣренныхъ, что слѣдующій водный валъ смоетъ ихъ и поглотитъ окончательно. Рената не могла говорить, и слезы, безмолвныя, катились по ея лицу, а у меня не было рѣчей, чтобы утѣшать или ободрять ее. Такъ оставались мы, молча, на полу до самаго разсвѣта, когда надо было озаботиться и уничтожить слѣды нашего ночного опыта. Я на рукахъ отнесъ Ренату въ постель, ибо не могла она ни ходить, ни стоять, а самъ, не безъ нѣкотораго трепета, вошелъ въ комнату заклинаній. Тамъ стоялъ дымъ отъ куреній, лежали разбитые черепки лампадъ, но больше не было никакихъ поврежденій, и никто не помѣшалъ мнѣ убрать комнату и стереть на полу слѣды магическихъ круговъ, съ такимъ тпаниемъ начертанныхъ мною.

Такъ окончился предпринятый нами опытъ оперативной магіи, къ которому готовились мы болѣе двухъ мѣсяцевъ и на который сначала я, а потомъ Рената—возлагали такія богатія надежды.

Послѣ этого дня Рената снова впала въ черное отчаянье, изъ котораго на нѣкоторое время была выведена занятіями и вѣрой въ успѣхъ; но этотъ ея припадокъ тоски далеко превзошелъ по силѣ всѣ предыдущіе. Въ прежніе дни она находила въ себѣ волю и охоту, споря, доказывать мнѣ, что у нея есть много причинъ для печали,—теперь же она не хотѣла ни говорить, ни слушать, ни отвѣчать. Первые дни, больная, она лежала въ постели неподвижно, обративъ лицо къ подушкѣ, не произнося ни слова, не шевеля ни однимъ мускуломъ, не открывая глазъ. Потомъ, все въ той же безучастности, она стала проводить часы, сидя на скамьѣ, устремивъ глаза на уголъ своей комнаты, занятая своими мыслями или ничѣмъ не занятая, но не слыша, когда ее звали по имени, словно деревянное изваяніе какого-нибудь



Донателло, только порою слабо вздыхая и тѣмъ обнаруживая признаки жизни. Такъ могла бы Рената просиживать и ночи, если бы я не убѣждалъ ее, съ наступленіемъ темноты, ложиться въ постель, но нѣсколько разъ мнѣ приходилось убѣждаться, что все же большую часть времени до утра она проводитъ безъ сна.

Всѣ мои попытки вызвать въ Ренатѣ интересъ къ существованію оставались въ тѣ дни безплодными. На магическія книги она не могла смотрѣть безъ отвращенія; когда же я заговаривалъ съ ней о повтореніи нашего опыта, она отрицательно и съ презрѣніемъ качала головой. На мои приглашенія итти въ городъ, на улицу, она только молча пожимала плечами. Пытался я, не безъ задней мысли, даже заговаривать съ нею о графѣ Генрихѣ, объ ангелѣ Мадіэлѣ, обо всемъ, самомъ завѣтномъ для нея, но Рената большею частью просто не слыхала моихъ словъ или, наконецъ, произносила, въ отвѣтъ, болѣзненно, все одно и то же: «Оставь меня!». Только одинъ разъ, когда я особенно настойчиво приступилъ къ ней съ просьбами, Рената сказала мнѣ: «Развѣ ты не понимаешь, что я х о ч у замучиться! На что мнѣ жизнь, если у меня нѣтъ и уже не будетъ никогда самаго главнаго? Мнѣ здѣсь сидѣть и вспоминать хорошо,—зачѣмъ же ты заставляешь меня куда-то итти, гдѣ мнѣ больно отъ каждаго впечатлѣнія?» И послѣ этой длинной рѣчи она опять впала въ свое оцѣпенѣніе.

Эта затворническая, неподвижная жизнь, при чемъ Рената почти не принимала пищи, быстро сдѣлала то, что глаза ея впали, какъ у мертвой, и обвилились черноватымъ вѣнцомъ, лицо посѣрѣло, а пальцы стали прозрачными, какъ тусклая слюда, такъ что я съ содраганіемъ сознавалъ, что она опредѣленно близится къ своему послѣднему часу. Скорбь безъ устали рыла въ душѣ Ренаты черный колодезь, все глубже и глубже вонзая лопаты, все ниже и ниже опускаая свою бадью, и не трудно было предвидѣть день, когда ударъ заступа долженъ былъ перерубить самую нить жизни.

Валерій Брюсовъ.

## НА ПЕРЕВАЛѢ.

### viii. СИНЕМАТОГРАФЪ.

„Синематографъ“ — сколько цѣломудренной грусти, надежды, сколько воспоминаній при этомъ словѣ! Синематографъ — чистое, невинное развлеченіе на сонъ грядущій послѣ трудового дня! Синематографъ — уютъ, трогательное поученіе! Синематографъ — предвѣстіе.

Онъ возвращаетъ намъ простыя истины, захватанныя грязными руками; возвращаетъ человѣческое милосердіе, незлобивость безъ всякой теоретики — просто, улыбчиво.

Синематографъ — клубъ: здѣсь соединяются для того, чтобы вывести нравоученіе, попутешествовать въ Америку, познакомиться съ производствомъ табаку на Филиппинскихъ островахъ, посмѣяться надъ глупостью полицейскаго, повздыхать надъ продающей себя модисткой, собираются, чтобы встрѣтить знакомыхъ — всѣ, всѣ: аристократы и демократы, солдаты, студенты, рабочіе, курсистки, поэты и проститутки. Онъ — точка единенія людей, разочарованныхъ въ возможности литературнаго, любовнаго единенія. Приходятъ усталые, одинокіе — и вдругъ соединяются въ созерцаніи жизни, видятъ, какъ она многообразна, прекрасна и уходятъ, обмѣнявшись другъ съ другомъ взглядомъ случайной, а потому и болѣе всего цѣнной, солидарности: эта солидарность не вытекаетъ изъ чего-либо предвзятаго, а изъ сущности человѣческой натуры. Быть можетъ, одинокіе, разочарованные люди только потому и вѣрятъ въ Свѣтъ, вопреки всему, что они ходятъ въ „Синематографъ“. Синематографъ возвращаетъ имъ любовь къ жизни. Да, это — несомнѣнно, и кто мнѣ докажетъ обратное?

Приходить человѣкъ, котораго обманули люди, предавали и топили друзья, — и вдругъ видить, какъ собака спасаетъ малютку; приходитъ и задумывается: если звѣрю не отказано въ томъ, въ чемъ отказано большиму, такъ называемымъ культурнымъ людямъ, то несомнѣнно: такой отказъ — только частное исключеніе. И вотъ въ

человѣкъ совершается мистерія очищенія, просвѣтленія. Она происходитъ не подъ аккомпаниментъ выкриковъ о „дерзающей, красотѣ“, нѣтъ, подъ звуки разбитаго рояля, надъ которымъ согнулся какой-нибудь неудачникъ-таперъ, или таперша съ подвязанной щекой (чаще всего—старая дѣва), происходитъ въ душѣ мистерія жизни.

Многіе посѣщаютъ Синематографъ только тогда, когда душа у нихъ въ синякахъ. Напрасно: приходили бы почаще—синяковъ бы не было. Но хорошо, что приходятъ, только пусть они учатся у Синематографа жизни (которую растеряли въ ложныхъ поискахъ ея), пусть учатся невинно, какъ дѣти, а, главное, безъ надрыва: охъ, ужъ и бѣда съ этими надрывниками да надрывницами! (Не съ жиру ли бѣсятся?) Нѣтъ: тотъ, кого спасаетъ Синематографъ, ужъ конечно, не позволитъ себѣ такого буржуазнаго времяпрепровожденія, какъ надрывъ. Надрывникамъ нуженъ Синематографъ исключительно для того, чтобы полюбоваться собой въ рамкѣ пошлости: и тутъ они попадаютъ впросакъ, потому что какая же пошлость въ Синематографѣ? Надрывники—пошлая рамка прекрасной живой фотографіи, и потому-то нужно ихъ безжалостно экспроприировать изъ комнаты, въ которой совершается дѣйство.

Синематографъ, сохраняя человѣку его индивидуальность, приобщаетъ его общему дѣйству въ гораздо большей мѣрѣ, чѣмъ всѣ теоретическія постройки — соборному индивидуализму. Синематографъ—демократическій театръ будущаго, балаганъ въ благородномъ и высокомъ смыслѣ этого слова. Все, что угодно, только не Балаганчикъ. Ужъ, пожалуйста, безъ „чикъ“; всѣ эти „чики“—ехидная и, признаться сказать, гадкая штука. Уменьшительныя слова выражаютъ нѣжность, будто достаточно къ любому слову приставить маниловское „чикъ“—и любое слово ласково такъ заглянетъ въ душу: „балаганчики“ мистерію превращаютъ въ Синематографъ; Синематографъ возвращаетъ намъ здоровую жизнь, безъ мистическаго „чиканья“, правда, но съ мистическимъ трепетомъ.

Синематографъ съ быстротой молніи обвезетъ васъ вокругъ земного шара—только глупо, если вы сосредоточитесь во время кругосвѣтнаго путешествія на пятнахъ, дрожаніи, трескѣ фонаря: это все устраняемые зрительные и иные техническіе дефекты, между тѣмъ какъ мистическое „чиканье“ наноситъ непоправимый дефектъ душѣ.

Послѣднее слово новѣйшей русской драмы, это—внесеніе пресловутаго „чика“ въ наиболѣе священную область—въ трагедію и мистерію. Слава Богу, такой драмы вы не встрѣтите въ синемаграфическомъ дѣйствѣ, которое не лѣзетъ туда, гдѣ все—святыня. И оттого-то изъ драмочки не выйдешь къ святынѣ, а Синематографъ возрождаетъ въ душѣ увѣренность въ томъ, что мистерія

остаётся неоскверненной: сквернятся кошуны. Но вернемся къ Сине-матографу.

Здѣсь все начинается съ кукольной жизни и далѣе: переходитъ къ жизни человѣческой, къ ея смыслу, цѣлямъ—и далѣе: exelsior! Въ литературѣ часто обратно: отъ человѣка къ сверхъ-человѣку и далѣе—къ маріонеткѣ; отъ мистеріи, храма—къ кукольному дѣйству подъ огромнымъ, какъ куполъ храма, дурацкимъ колпакомъ. Если бы такое кошуństwo происходило отъ потери вѣры въ жизнь, оно вело бы къ гибели: но отчего же никто не гибнетъ? Отчего кошуственное дерзновеніе сбѣгаетъ грудь смысленныхъ людей, спокойно дѣлающихъ свою литературную и прочую карьеру? Многіе изъ нихъ совершаютъ триумфальное шествіе по жизни—можетъ быть въ колесницѣ, везомые на костеръ? О, нѣтъ: просто въ удобныхъ телѣжкахъ въ видѣ корзиной развернутаго журнала, везомые тѣми бездарными критиками, которыхъ у нихъ хватаетъ смѣлости превозносить. Но выбирали бы они ужъ добрую колесницу, добрыхъ коней (орловскихъ рысаковъ, что ли), не дѣтскія телѣжки (мистическій анархизмъ, напимѣръ), запряженныхъ пѣгашками,—ей-ей смѣшно! Впрочемъ, пѣгашка, можетъ-быть, и не пѣгашка, а сивка-бурка-каурка? А вдругъ не каурка?

Но вернемся къ Синемаатографу.

Синемаатографъ освобождаетъ насъ отъ грязенькаго привкуса маріонеточной мистеріи; жизнь предстоитъ намъ очищенной. Въ мистеріяхъ все не люди, а странные „Му жи“, „Дѣ вы Ра ду ж н ы я“, „О бл е ч е н н ы я“ и т. д. Но часто они не выдерживаютъ своей роли, да въ серединѣ мистеріи такъ тупо, тупо улыбнутся: „гы, гы“—Наивные добряки поднимаютъ персты и гаркаютъ, какъ по командѣ: „Дерзнулъ, еще дерзнулъ! Дерзаетъ и еще“, словно дѣло идетъ о чизанѣ, невѣжествѣ, тринъ-гравизмѣ. И получается одно большое: „Ай-люли!“

Вернемся къ Синемаатографу.

Въ Синемаатографѣ извращенное косоглазіе остаётся у насъ за плечами. Вѣримъ въ мистерію только потому, что нѣтъ здѣсь покушеній на нее съ негодными средствами. Тамъ—наплевать! Здѣсь—цѣломудренное дыханіе жизни сквозь скудную, скудную обстановку (разбитое піанино, старая дѣва, меланхолическій вальсъ и собачка, спасающая ребенка). И въ душѣ снова радость: „Еще не все оплевано!“ И люди отдыхаютъ, смѣются и расходятся по домамъ.

Какъ-то я встрѣтилъ въ Синемаатографѣ барышню съ дѣтскими, милыми глазами—посѣтительницу концертовъ Олениной д'Альгеймъ, лекцій Бальмонта, Брюсова и т. д. Только-что передъ тѣмъ я видалъ ее у себя на лекціи, и мнѣ было пріятно во время чтенія замѣчать открытые, честные глаза. Но во сколько разъ мнѣ пріятнѣе

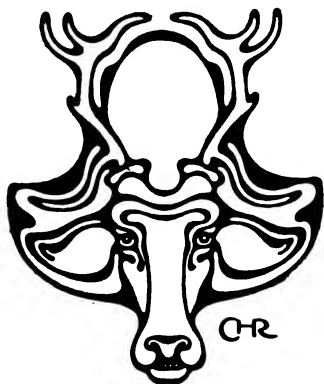
было встрѣтить мою незнакомку въ Синематографѣ! Мы переглянулись, какъ знакомые, и я мысленно ей говорилъ: „Милый ребенокъ, хорошо, что ты всеѣмъ интересуешься. Милый ребенокъ, только подалее отъ всякихъ мистерій; поменьше мистеріи, побольше Синематографа!“

Вернемся къ Синематографу.

Я случайно открылъ „Синематографъ“, уйдя съ обѣда французскихъ писателей въ Парижѣ, несшихъ пошлѣйшую ахинею словъ. Писатели, каждый въ отдѣльности, вѣроятно, были въ тысячу разъ умнѣе того, что они говорили, собравшись въ литературное стадо. Я хотѣлъ смыть налипшія въ мозгъ слова и зашелъ въ кафе-концертъ. Оголенные дамы на сценѣ и оголенные дамы въ фойе. Хотя это было уже гораздо лучше разговоровъ о литературѣ, но тутъ былъ надрывъ, а... зачѣмъ надрывъ? И пошелъ я безцѣльно шататься по залитымъ свѣтомъ бульварамъ. Непроизвольно попавъ въ Синематографъ, ушелъ изъ него, какъ изъ храма, съ молитвой въ сердцѣ: тамъ изображался крестный ходъ, а блѣдная француженка прекраснымъ, драматическимъ сопрано молитвенно пѣла изъ темнаго угла: „Ave Maria“. Я сталъ ревностнымъ посѣтителемъ Синематографа. Онъ избавилъ меня отъ многихъ минутъ унынія, всегда нараставашаго всеѣмъ послѣ разговоровъ о мистеріи. Какъ хотѣлъ бы я передать свое отношеніе къ Синематографу часто нервнымъ, неопытнымъ юнымъ литераторамъ: „Да будетъ съ вами Тайна подъ маской бережнаго отношенія къ слову! Да краска стыда залетъ ваши щеки при встрѣчахъ со сверхъ-литераторами: перебѣгайте улицу скорѣй и Духа не угашайте—

ходите въ Синематографъ!“.

Борисъ Вугаевъ.



## ПАМЯТИ ГЕОРГА БАХМАНА.

† 15 іюня 1907 г.

15 іюня, въ Москвѣ, въ Евангелической больницѣ, скончался Георгъ Бахманъ. Почти всю свою жизнь Бахманъ провелъ въ Москвѣ гдѣ былъ преподавателемъ нѣмецкаго языка въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ, и его имя, конечно, памятно его многочисленнымъ ученикамъ. Въ Москвѣ же Бахманъ собиралъ, книжка за книжкой свою великолѣпную бібліотеку, въ которой считалось до 10000 томовъ часто рѣдкихъ и интересныхъ изданій, — и объ немъ, можетъ быть еще долго будутъ вспоминать московскіе букинисты. Но врядъ ли знали Бахмана его истинные товарищи, среди которыхъ онъ имѣлъ право на почетное мѣсто, — современные нѣмецкіе поэты. Вѣроятно, громадное большинство ихъ о Георгѣ Бахманѣ ничего не слыхало, и только очень немногіе могли бы вспомнить, что подъ этимъ именемъ, лѣтъ десять назадъ, была издана небольшая книжка стиховъ („Gestalten und Töne“. Berlin, 1897), въ которой прекрасныя стихотворенія терялись среди вещей, явно несовершенныхъ, незрѣлыхъ.

Дѣйствительно цѣнили и любили Бахмана только тѣ немногіе друзья, которые знали его лично, которые собирались у него изъ году въ годъ, на его привѣтливыхъ „субботахъ“, и въ томъ числѣ К. Д. Бальмонтъ, Ю. Балтрушайтисъ, Валерій Брюсовъ, М. Дурновъ, Г. Торъ-Ланге, А. Лютеръ... Только этому небольшому кругу вѣрныхъ открывался истинный обликъ поэта Георга Бахмана, еще далеко не отчетливо выступающій въ его напечатанныхъ раннихъ произведеніяхъ. За десять лѣтъ, прошедшихъ со времени сборника „Gestalten und Töne“, дарованіе Бахмана распцѣло, раскрылось, заискрилось, какъ хорошо ограненный алмазъ. Въ своихъ послѣднихъ созданіяхъ, по формѣ безукоризненныхъ, Бахманъ сумѣлъ выразить свою душу, — душу романтика, заброшеннаго въ XX вѣкъ, однако, усвоившую себѣ все, ей доступное, изъ

творчества послѣднихъ десятилѣтій. Работая медленно, довольствуясь какъ „наградой“ своимъ трудомъ, Бахманъ довелъ до высшей степени совершенства свой стихъ и до высшей степени отчетливости свою манеру творчества. Нѣтъ сомнѣнія, что, наконецъ обнародованныя, послѣднія созданія Георга Бахмана образуютъ книгу, не боящуюся соперничества.

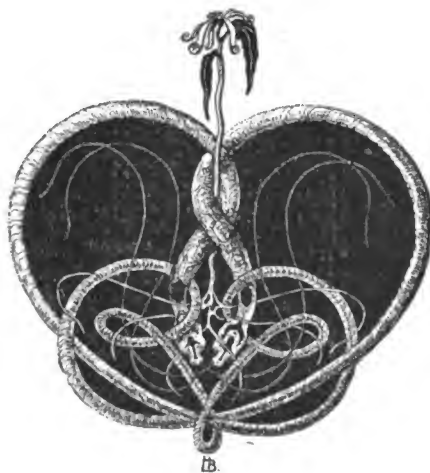
Но близкимъ друзьямъ Бахмана открывался не только прекрасный поэтъ,—открывалась еще прекрасная душа человѣка, которую трудно было не полюбить и которой нельзя было не восхищаться. О Бахманѣ хочется сказать, какъ Тургеневъ объ одномъ изъ своихъ героевъ: „его душа во всякое время была готова предстать предъ святынею красоты“. У Бахмана была только одна истинная страсть: поэзія; одна любовь: къ поэтамъ. Поражая своимъ знаніемъ литературы, всѣхъ народовъ, всѣхъ странъ, всѣхъ эпохъ, Бахманъ поражалъ еще болѣе своей способностью видѣть красоту во всѣхъ ея проявленіяхъ, и не только видѣть, но и открывать ее другимъ. Его душа была обширнѣйшій пандемоніумъ, въ которомъ встрѣчались Викторъ Гюго съ Бодлеромъ, Теннисонъ съ О. Уайльдомъ, Шиллеръ съ Демелемъ, Пушкинъ съ Фофановымъ, и всѣ поэты, древніе, старые, новые и новѣйшіе, съ его первымъ кумиромъ, съ обожествляемымъ имъ Гете. Только къ философамъ относилась непріязненно и несправедливо чисто-артистическая натура Бахмана, и ихъ сочиненія сослалъ онъ изъ своей бібліотеки въ изгнаніе,—въ прихожую.

Съ Бахманомъ странно было бы говорить о чемъ-либо другомъ, какъ не о стихахъ, о поэтахъ, о книгахъ. Вотъ почему собранія у него всегда превращались въ „литературные вечера“. И никто, изъ бывавшихъ на „субботахъ“, не забудетъ, какъ легко и какъ естественно звучали стихи на всѣхъ языкахъ, среди высокихъ шкафовъ, заполненныхъ книгами, любовно собранными, любовно разставленными и дорогими ихъ владѣльцу. Ни передъ какой залой, ни съ какой эстрады нельзя было съ большимъ удовлетвореніемъ читать свои строфы, какъ въ тишинѣ этого кабинета, передъ этимъ внимательнымъ и чуткимъ слушателемъ, которому поэзія была дѣйствительно священна, для котораго прекрасный стихъ былъ дѣйствительно наслажденіемъ.

Бахманъ совсѣмъ не былъ „литераторомъ“. Живя вдали отъ нѣмецкихъ литературныхъ центровъ, онъ и не стремился завязывать съ ними болѣе близкія отношенія; очень рѣдко посылалъ Бахманъ свои стихи въ редакціи журналовъ, и проходили цѣлые годы безъ того, чтобы въ печати появилась хотя бы одна его строка. Теперь друзьямъ Бахмана предстоитъ разобратъ въ оставшемся послѣ него литературномъ наслѣдствѣ, не обширномъ, но драгоценномъ. Кромѣ оригинальныхъ стиховъ Бахмана, притомъ не только

на нѣмецкомъ языкѣ\*, сохранились еще его прекрасные переводы изъ поэтовъ англійскихъ, нѣмецкихъ, русскихъ (въ томъ числѣ Тютчева, Фета, Фофанова, Бальмонта, Брюсова). Заслуживаютъ также вниманія письма Бахмана, написанныя всегда внимательно, изящно, съ интересными сужденіями о современныхъ явленіяхъ литературы. Надо надѣяться, что все это станетъ, наконецъ, общимъ достояніемъ читателей.

А в р е л ѣ.



\* Намъ известна французская поэма Бахмана «Julie» и нѣсколько его русскихъ стихотвореній, изъ которыхъ одно было помѣщено въ «Сѣверныхъ Пѣтахъ» на 1901 г. безъ подписи. Кромѣ того, на русскомъ языкѣ была напечатана Бахманомъ въ «Русскомъ Архивѣ» небольшая статья «Гете и русскія иконы».





## РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

### БРАТСКАЯ МОГИЛА.

Леонидъ Андреевъ, Разсказы. Л. Зиновьева Анибалъ. Трагическій Звѣринецъ, Тридцать три урода. Сборникъ Знанія XVI, „Ссылнымъ и заключеннымъ“ (изд. „Шиповника“) и многіе, многіе другіе.

#### 1.

Мнѣ всегда казались неинтересными рецензіи въ видѣ отчетовъ: такое-то содержаніе, написано плохо или хорошо, издано такъ-то. Я и писать эти отчетныя рецензіи не умѣю, и читать не люблю: лучше я самую книгу прочту, чѣмъ узнаю содержаніе въ пересказѣ. Могутъ быть интересны только общія мысли, возникающія у критика „по поводу“ книги, о которой онъ говоритъ.

Руководствуясь этимъ принципомъ, я и писалъ до сихъ поръ мои рецензіи. Но вотъ, случилось, что „по поводу“ русскихъ книгъ самаго послѣдняго времени у меня какъ будто нѣтъ никакихъ общихъ мыслей. Меня влечетъ къ самой краткой, казенной отчетности. Какія мысли даетъ благотворительный сборникъ „Шиповника“? Скорѣе чувства возбуждаетъ, чѣмъ мысли. Терновый вѣнокъ на обложкѣ... Цѣль сборника—въ самомъ дѣлѣ прекрасная цѣль, и невольно хочется остаться лишь въ области этики, судить и хвалить людей, принявшихъ въ немъ участіе,—именно какъ прекрасныхъ людей, а не какъ литераторовъ. Тѣмъ болѣе, что въ книгѣ много вещей старыхъ, даже очень старыхъ, давно оцѣненныхъ съ литературной

точки зрѣнія. О слабой, вымученной и некультурной вещи Л. Андреева „Елеазаръ“ я, кажется, упоминалъ даже на этихъ самыхъ страницахъ. „Жизнь человѣка“ еще слабѣе, но самой слабой, уже не слабой, а прямо позорной, пошло-грубой до скверности, надо назвать драму этого писателя „Къ звѣздамъ“, которую онъ только что выпустилъ въ своемъ собственномъ „Сборникѣ рассказовъ“. Драма, кажется, написана давно. Во всякомъ случаѣ прошло достаточно времени, чтобы опомниться и, если не уничтожить, то спрятать рукопись въ столъ. А онъ ее печатаетъ и выпускаетъ! Какъ мало друзей у русскаго литератора! Никто ему во время не дастъ душевнаго совѣта! Единственная недурная вещь Андреева въ его сборникѣ, это—рассказъ „Губернаторъ“, испорченный только тѣмъ, что неизмѣнно портитъ нашу послѣднюю беллетристику,—тѣмъ, что это—„картинка революціоннаго времени“. Да, нечего себя обманывать, нечего скрывать: революція не удалась... въ литературѣ. Я это утверждаю; и какъ литераторъ — печалюсь немного, но какъ революціонеръ—радуюсь: вѣдь это можетъ означать, что революція наша еще не кончилась, не отлилась въ форму и не застыла, она—еще не искусство, она—еще только жизнь. Безчисленные и упорные попытки ввести ее въ литературу -- лишь вредятъ ей, ей самой, и вредятъ литературѣ: потому что кто за эту задачу теперь ни берется, — всякій, независимо отъ своего художественнаго таланта, даетъ, непременно, бездарную вещь. И революція, преподнесенная подъ соусомъ лже-искусства, невольно раздражаетъ, незамѣтно надоедаетъ. Повѣстямъ, рассказамъ, поэмамъ и трагедіямъ наступаетъ время, когда проходятъ времена прокламацій. Что-нибудь одно изъ двухъ.

А прошли ли эти времена? Посмотримъ... Что дастъ намъ ближайшій сборникъ „Знанія“? Можетъ быть, ослѣпительно прекраснѣе будетъ конецъ повѣсти Горькаго „Мать“. Я сочту это чудомъ. Начало (въ Сборникѣ 16-омъ)—до жалости наивно. Какая ужъ это литература! Даже не революція, а русская социаль-демократическая партія сжевала Горькаго безъ остатка. Я еще помню времена Великаго Максима, „властителя думъ“, и безчисленныхъ „подмаксимковъ“... Былъ же въ немъ писатель. А теперь, посмотрите, послѣ воа всякихъ „Дачниковъ“, „Варваровъ“, которыхъ трудно прочесть и нельзя упомянуть, — послѣдній шедевръ: добродѣтельный молодой рабочій просвѣщается и возвышается, сходясь съ еще болѣе добродѣтельными, честными работниками социаль-демократической партіи. У добродѣтельнаго рабочаго добродѣтельнѣйшая, хотя еще не „сознательная“, мать. Но она уже и въ первомъ сборникѣ, благодаря сыну, который намѣренъ ее окончательно „распропагандировать“, чувствуетъ силу „истины, добра и красоты“. Помогаютъ дѣлу, ко-

нечно, грубые злодѣи—солдаты, являющіеся, какъ водится, съ обыскомъ. Боюсь, что, если не чудо,—то и конецъ этого „художественнаго“ произведенія будетъ соотвѣтственный. Невыгодная пропаганда для социаль-демократической партіи! Ни дѣло, ни бездѣлье. Людей съ наивной душой, но съ художественнымъ чутьемъ,—такая проповѣдь только оттолкнетъ.

Что еще прибавить о данныхъ двухъ (трехъ, включая Андреевскій) сборникахъ? Да больше, пожалуй, и нечего. Или честное, благородное, анти-художественное революціонство извѣстныхъ и неизвѣстныхъ авторовъ или полуграмотные пустяки. Что же хотѣлъ сказать Андреевъ своимъ „Иудой“,—я такъ и не понялъ. Современный жидъ изъ Вильны,—тщательно современный,—хорошо. Я готовъ простить Андрееву такое поправленіе вѣковъ: оно для него обычно. Но что же онъ все-таки хотѣлъ сказать? Убѣдить насъ, сдѣлавъ Иуду благороднѣе другихъ учениковъ, что современные евреи изъ Вильны благороднѣе древнихъ евреевъ? Какъ хотите, много смысла для разсказа не подберу.

Надѣ всѣми этими литературными произведеніями, революционными и пустяковыми, надѣ талантливыми авторами и полуграмотными,—стоитъ общій чадъ русской некультурности... Впрочемъ, не надѣ ними одними, не въ единственномъ только углу русской литературы стоитъ этотъ предательскій, вонючій чадъ. Посмотримъ въ другую сторону...

## II.

Хочу признаться откровенно: еще не такъ давно я упрекалъ „Вѣсы“ за ихъ излишнее, какъ мнѣ казалось, тяготѣніе къ европеизму, за слишкомъ явно выражаемое почтеніе къ западной литературѣ въ ущербъ нашимъ доморощеннымъ художникамъ. Я и теперь не согласенъ съ „Вѣсами“ въ ихъ „тактикѣ“; но я понимаю сущность и правду влеченія къ истинной культурѣ, и, если въ чемъ упрекать „Вѣсы“,—то, скорѣе, въ томъ,—что они этого влеченія въ строгости не выдерживаютъ, не достаточно вѣрны ему, и часто, ослѣпленные... „патріотизмомъ“—ли, или чѣмъ другимъ,—готовы поощрить самую отвѣтную русскую некультурность. Хулигана въ горьковскомъ отрпѣ они отвергнуть,—но развѣ такъ трудно распознать хулигана въ александрійской тогѣ новомоднаго „экса“—въ смокингѣ? У „Вѣсовъ“ долженъ быть острый взоръ и тонкій нюхъ, если ужъ они дѣйствительно поняли всю плѣнительность и всю необходимость для насъ—культуры

Русскія общественныя событія, вмѣстѣ съ фактомъ относительнаго освобожденія печати, очень ярко отразились на нашей „изящной“ литературѣ. Она раздѣлилась на менѣе „изящную“, гдѣ пошло, главнымъ образомъ, изображеніе революціи, и на болѣе „изящную“: эта послѣдняя воспользовалась снятіемъ цензуры для того, для чего покойнички въ разсказахъ Достоевскаго воспользовались „послѣднимъ милосердіемъ“: для заголенія и обнаженія. Она сдѣлалась сплошь „эротической“ (какъ называетъ ее Е. Семеновъ, впрочемъ малоознающій и вообще комическій русскій рецензентъ *Mercure de France*). Вѣрнѣе же не эротической, а просто порнографической. При нашей общей некультурности, какой-то повальной, атмосферной — не могла въ наше эротическое заголеніе и обнаженіе не влиться явная струя хулиганская. Революционное антихудожество, какъ ни какъ иногда спасается „благородствомъ чувствъ“, старыми, добрыми устоями морали, и хулиганству вольготнѣе тамъ, гдѣ „все позволено“, гдѣ цѣль въ томъ, чтобы повыше заголиться.

Конечно, было бы грубой несправедливостью втиснуть всѣхъ и вся непременно въ эти два русла. Я не говорю о безчисленныхъ исключеніяхъ, объ отгѣнкахъ, какъ не говорю о случаяхъ, тоже нерѣдкихъ, гдѣ слиты и революціонство, и порнографія; я лишь указываю, въ общемъ, на эти два главныхъ теченія новѣйшей литературы. И отмѣчаю расцвѣтъ хулиганства (т. е. самой яркой антикультурности), наплывъ хулигановъ именно въ той сторонѣ, гдѣ преимущество отдается „эротическому“ заголенію.

Есть между ними и такіе, которые едва умѣютъ пролепетать „бобокъ, бобокъ“; есть невинные, закрученные въ столбъ поднявшейся пыли; есть „талантливые“... Мнѣ, впрочемъ, совѣстно употреблять это слово. „Талантливость“ у насъ теперь рѣшительно общедоступна. Надо быть выдающейся бездарностью, надо имѣть особый даръ бездарности, чтобы при нѣкоторомъ желаніи и смѣткѣ не заслужить названія „талантливаго“ поэта или беллетриста. И — замѣтите! — совершенно справедливо. Удовлетвореніе въ мѣру требованія. Я не знаю, оказались ли бы „талантливыми“ многіе изъ теперешнихъ талантливыхъ писателей передъ судомъ тѣхъ, кто въ слово „талантъ“ влагаетъ болѣе широкое содержаніе. Но пока — дѣло стоитъ попрежнему: несомнѣнна куча „талантливыхъ“ писателей изъ которыхъ очень много талантливыхъ хулигановъ.

Сознаюсь, мнѣ какъ-то непріятно, неловко, переходить къ конкретнымъ примѣрамъ, къ именамъ, которыя носятъ живые люди. Вѣдь это — пусть невольное, вынужденное, обусловленное общей нашей некультурностью, но все-таки нехорошее дѣло: подмѣнять искусство — физиологіей и патологіей (послѣдней отдается усиленное преимущество), художественное творчество — заголеніемъ.

Заголеніе можетъ быть и талантливымъ, и бездарнымъ, съ аксессуарами и безъ оныхъ. Можно пуститься въ плясъ безъ склонности къ неприличнымъ жѣстамъ, покорствуя другимъ. И это лучше, это невинно. Чѣмъ бездариѣ такое „произведеніе искусства“, тѣмъ авторъ его невиннѣе. Очень невинна, на примѣръ, г-жа Зиновьева-Аннибалъ со своими „33-мя уродами“, лесбійскимъ романомъ. Даже моралистъ не почувствуетъ тамъ никакихъ „гадостей“, не успѣетъ,—такъ ему станетъ жалко г-жу Зиновьеву-Аннибалъ. И зачѣмъ ей было все это писать! Ей Богу, она неглупая, прекрасная, простая женщина, и даже писать она умѣетъ недурно, во всякомъ случаѣ „талантливѣе“, нежели написаны „Уроды“, которые вовсе не написаны. Въ ея разсказахъ изъ дѣтской жизни („Трагическій Звѣринецъ“) есть мѣста милыя, искреннія, женски-теплыя,—безпретенціозные кусочки подлинной жизни. Особенно въ началѣ книги, гдѣ рѣже попадаются чужія, вымученныя слова и „порочные“ завياги. И далась же нашему варварству эта „порочность“! Точно мода на черныя зубы; у кого и бѣлыя—стыдливо чернять. Стихи тоже напрасно пишетъ г-жа Зиновьева-Аннибалъ: она и тутъ чернить зубы, танцуетъ безъ экстаза, вредить себѣ. Впрочемъ, повторяю: она невинна по существу; она только повлеклась за другими, туда, куда не одинъ конь поскакалъ съ копытомъ; г-жа Аннибалъ не замѣтила, что копыта у этихъ коней—раздвоенныя...

Вотъ другой романъ, другого автора, стоящій въ соотвѣтствіи съ „33-мя уродами“. „Уроды“—романъ женоложный, этотъ—мужеложный. Онъ, однако, иного аспекта: съ аксессуарами, со вчерашнимъ „эстетизмомъ“, съ „талантливостью“. Именно благодаря своимъ аксессуарамъ, претензіямъ на культурность—онъ обнажаетъ во всю ширину язву нашей некультурности, напоминаетъ о ней рѣзче, нежели романъ Аннибалъ. Послѣдній никого не обманетъ даже въ Саратовѣ—а романчикъ съ аксессуарами въ Саратовѣ, пожалуй, сойдетъ за „культуру“. Авторъ, несомнѣнно, „подчиталъ“, чтобы засыпать нашу сѣрую широкую публику разными „художественными именами“, бывшими en vogue въ 80—90 годахъ. Имена уже подкисли, но сюжетъ „новъ“ (раньше не позволяли!), въ Саратовѣ сойдетъ. Языкъ неумѣлъ, скверно-баналенъ и неловокъ,—но это лишь для чуть внимательнаго уха. Я могъ бы выписать съ десятокъ перловъ, не будъ такъ скучно заглядывать лишній разъ въ эту скучную книгу.—Но что—языкъ? Зачѣмъ языкъ? Въ Саратовѣ сойдетъ за отмѣннѣйшій, а не въ Саратовѣ... пора бы прійти къ пониманію, что высшій стиль—это плевать на стиль. Безпардонность внутренняя должна и облекаться въ свою, безпардонную же, форму.

Авторъ и стихи пишетъ; и такъ пишетъ, словно все время говорить намъ: „я могу лучше, да вотъ не хочу!“. Одинъ школьникъ,

борецъ за свободу, когда его вызывали, всегда твердо отвѣчалъ учителю: „я анаю урокъ, да не скажу!“. Не упомяну, чѣмъ это кончилось. Стихи попадаются полные смѣлости: „Уста, цѣлованныя многими, многими устами, стами...“ Или „Евдокія, Евдокія. Какія...“ и такъ идетъ на двухъ страницахъ, сплошь (честное слово, взгляните въ „Кошницу“ Орѣ). Все время:

Евдокія, Евдокія,  
Какія.

Выдержана эта анти-стильность почти вездѣ, кромѣ тѣхъ рѣдкихъ случаевъ, когда къ автору сами приходятъ двѣ-три хорошихъ строки. Это, вѣдь, со всѣми бываетъ.

Мнѣ какъ-то уже приходилось говорить, что для культуры необходима долгая работа, годы терпѣливаго, медленнаго труда. Еще вопросъ, винить-ли Россію въ томъ, что нѣтъ у нея культурности, что возможны въ русской литературѣ такія теченія, такіе „художники“, какъ тѣ, о которыхъ у насъ шла рѣчь... Можетъ быть, у Россіи для работы еще не было времени... Хочу вѣрить; но вѣра въ грядущее не мѣшаетъ, однако, видѣть настоящее во всей его неприглядности, сознать то, что есть. На грязное тѣло надѣвается чужой, и уже выцвѣтающій плащъ. Съ чѣмъ мы пойдемъ надѣвать опрятной, работающей, можетъ быть, умѣренной, можетъ быть, буржуазной, но спокойной и красиво причесанной Европѣ? Какъ мы смѣемъ негодовать на ея добродушно-убійственное равнодушіе къ намъ, къ нашимъ дѣламъ, къ нашей литературѣ? Чѣмъ намъ передъ ней хвастаться, что предлагать? Чѣмъ хотимъ мы заставить ее обратить на насъ вниманіе, дать намъ мѣсто рядомъ съ ней?

Вотъ непродуманныя гимназическія „философіи“ новѣйшихъ мистиковъ-факельщиковъ; вотъ тюфяки, на которыхъ разваливаются, прижимая свои груди, глупыя лесбіянки г-жи Аннибалъ, вотъ банщики-проституты, которыми „свято“ пользуется загадочно-плѣнительный герой-мужеловецъ другого романа, могущаго претендовать на просвѣщеніе Саратова, но врядъ ли Европы; вотъ, съ другой стороны, добродѣтельный рабочій социаль-демократъ съ добродѣтельной социальной матерью или „сѣрый Нѣкто“, экспропрированный у Метерлинка; вотъ всѣ произведенія нашей „культурной среды“, роскошные плоды нашей „работы духа“ за послѣднее время. Менѣе всего хочу я умалить значеніе отдѣльныхъ русскихъ писателей и творцовъ. Но геніи были во всѣхъ странахъ, во всѣхъ литературахъ. Вопросомъ, гдѣ ихъ было больше, и гдѣ они больше, я сейчасъ не занимаюсь. Я говорю не о литераторахъ, а о литературѣ, объ общемъ уровнѣ духа и мысли, объ общемъ движеніи впередъ, о ростѣ,—о культурѣ.

Съ этой точки зрѣнія—объ наши „литературы“ одинаковы, и революціонная, и эротическая. Но послѣдняя горше, во-первыхъ, потому, что въ ней замѣтнѣе претензіи на искусство, а во-вторыхъ—она старательнѣе поощряетъ, воспитываетъ безпардонное хулиганство, разрушаетъ человѣка. Я ничего не имѣю противъ существованія мужеложнаго романа и его автора. Но я имѣю много противъ его тенденціи, его несомнѣнной, (хоть и безсознательной) проповѣди патологическаго заголенія, полной самодовольства, и мнѣ больно за всѣхъ тѣхъ, кто эту тенденцію можетъ принять какъ художественную проповѣдь культуры. „Все во мнѣ провалилось, —говорить какой-то старый горьковскій босакъ,—точно я не человѣкъ, а оврагъ бездонный“. Какія ужъ художества оврагу бездонному? Все провалилось, только и осталось, что

Евдокія, Евдокія,  
Какія.

И опять:

Какія,  
Евдокія, Евдокія.

Хулиганы эти, съ проваломъ, вмѣсто души, конечно, прейдутъ,—ихъ нечего бояться. Я хочу вѣрить въ будущую культурную Россію. Вѣдь есть-же зерна этой культуры!.. Должны же они быть! Намъ важно только не обманываться, не принимать кусты чертополоха за всходящую пшеницу, а упорно поливать хотя бы еще голую, молчаливую землю и... ждать.

Какъ-то давно, не помню въ какомъ журналѣ, недовольные критики полемизировали съ „Вѣсами“ и упрекали ихъ въ „академичности“. Приходилось мнѣ слышать тотъ-же упрекъ и поодиѣ. Ахъ, если бъ онъ былъ справедливъ! Ахъ, если бы „Вѣсы“ дѣйствительно были академичны!

И побольше бы намъ... Академій.

Антонъ Крайній.

#### ПОСЛѢСЛОВІЕ РЕДАКЦИИ.

Мы давно оцѣнили и полюбили острое,—можетъ быть, слишкомъ колючее,—перо Антона Крайняго. Его статьи порою казались намъ желчными, но всегда были интересны и умны. Начавъ свою дѣятельность въ „Новомъ Пути“, онъ сразу выказалъ себя непримиримымъ и безпощаднымъ, направляя свои стрѣлы не только во враждебные станы, но часто и въ сотоварищей по журналу. Несмотря на то,

когда въ прошломъ году Антонъ Крайній выразилъ согласіе участвовать въ „Вѣсахъ“, мы, не колеблясь, предоставили ему полную свободу слова. Мы были увѣрены, что всегда будемъ съ нимъ согласны во всемъ главномъ, основномъ, хотя, конечно, и можемъ разойтись въ оцѣнкѣ отдѣльныхъ явленій.

„Братская могила“ оправдываетъ наше мнѣніе. Мы всецѣло присоединяемся къ „вѣрѣ“ Антона Крайняго „въ будущую культурную Россію“ и готовы повторять вмѣстѣ съ нимъ: „вѣдь есть же зерна этой культуры!.. Должны же они быть!“ Но мы думаемъ, что Антонъ Крайній очень ошибается, когда, бичуя враговъ этой будущей культуры, относитъ къ ихъ числу и автора другого романа, „стоящаго въ соотвѣтствіи съ 33-мя уродами“. Рѣчь идетъ, конечно, о М. Кузминѣ и его романѣ „Крылья“, впервые напечатанномъ въ „Вѣсахъ“. Наше глубокое убѣжденіе, — что М. Кузминъ идетъ въ рядахъ передовыхъ борцовъ за ту самую культуру, за которую ратуетъ и Антонъ Крайній. Именно, какъ такому культурному дѣятелю (а не только какъ талантливому поэту), „Вѣсы“ до сихъ поръ широко открывали М. Кузмину свои страницы и намѣрены столь же широко открывать ихъ впредь.

Что же касается того „эротизма“, въ которомъ повинно будто-бы, цѣлое теченіе русской литературы, мы должны напомнить Антону Крайнему давнія слова Ст. Пшибышевскаго: „Такъ же, какъ я ничего не могу подѣлать противъ того, что въ продолженіе всѣхъ Среднихъ Вѣковъ откровенія души бывали исключительно въ области религіозной жизни, такъ же мало могу я измѣнить что-либо въ томъ фактѣ, что въ наше время душа проявляется только въ отношеніяхъ половъ другъ другу. Пусть дѣлаютъ упреки за это душѣ, но не мнѣ“ (Сочиненія, т. II, стр. 6—7). Но, конечно, говоря такъ, мы нисколько не хотимъ оправдывать легкомысленнаго отношенія къ вопросамъ глубокимъ и опаснымъ, — того, что Пшибышевскій называетъ немного далѣе „пошлой, молодежаватой, комически-пикантной эротикой“ и „слащаво-противной юбочной поэзіей“.

«В ѣ с ы».



Библіотека великихъ писателей, подъ редакціей С. А. Венгерова. Пушкинъ. Вып. I и II. Изданіе Брокгаузъ-Ефрона. Спб. 1907.

Новое изданіе сочиненій Пушкина, предпринятое издательствомъ Брокгаузъ - Ефрона, имѣетъ въ основѣ широко задуманный планъ „Пушкинской энциклопедіи“. Два первыхъ выпуска, обнимающіе жизнь и сочиненія Пушкина съ 1812 по 1815 годъ, отличаются совершенной полнотой и точностью текста. Огромный, тщательно составленный комментарий даетъ читателю всѣ нужныя свѣдѣнія о раннемъ творчествѣ величайшаго русскаго поэта. Къ участию въ изданіи приглашенъ цѣлый рядъ выдающихся знатоковъ дѣла, извѣстныхъ „пушкинистовъ“, филологовъ и ученыхъ. Каждое стихотвореніе печатается съ точнымъ соблюденіемъ пушкинской орфографіи, по рукописямъ, или по первымъ печатнымъ текстамъ. Въ примѣчаніяхъ даны критико - біографическіе этюды о русскихъ и иностранныхъ писателяхъ, вліявшихъ на творчество Пушкина. Съ внѣшней стороны изданіе можетъ быть названо роскошнымъ. Прекрасная бумага, особо заказанный шрифтъ, тщательно воспроизведенные рисунки и портреты (иные въ краскахъ) сообщаютъ двумъ первымъ выпускамъ рѣдкую и оригинальную красоту. Общая редакція поручена С. А. Венгерову. Кромѣ того, въ первыхъ выпускахъ приняли участіе: С. Браиловскій, Б. Модзалевскій, П. Морозовъ, Н. Лернеръ, Валерій Брюсовъ и многіе другіе.

Однако, при всѣхъ своихъ неоспоримыхъ достоинствахъ, брокгаузовское изданіе не лишено извѣстныхъ недостатковъ, такъ сказать общаго характера. Въ нихъ повиненъ, главнымъ образомъ, самъ редакторъ, г. Венгеровъ. Стремясь къ елико возможней, энциклопедической полнотѣ, онъ загромодилъ пушкинскій текстъ обширными матеріалами, изъ которыхъ многіе надо признать лишнимъ балластомъ. Таковы, напримѣръ, статьи объ Оссіанѣ и о второстепенныхъ поэтахъ XVIII вѣка, изъ-за которыхъ почти не виденъ Пушкинъ. Помѣщая портреты Грекура, Маро, Шолье, даже Клеронъ, г. Венгеровъ пропускаетъ В. Θ. Малиновскаго, А. И. Галича, кн. Д. П. Горчакова. Вообще въ расположеніи матеріала, въ его разработкѣ за-

мѣтна нѣкоторая хаотичность; такъ, комментаторы часто неумышленно повторяютъ другъ друга. Видно, что сложная система изданія еще не разработана вполне. Редакторскіе приемы г. Венгерова не всегда научны. Привыкшій работать въ широкой историко-литературной области, не столько библиографъ, сколько публицистъ-критикъ, онъ мало подходитъ къ кропотливой, узкой роли издателя классическихъ писателей. Въ собственныхъ статьяхъ г. Венгеровъ почти никогда не даетъ краткаго и точнаго изложенія фактовъ: но непременно стремится многорѣчиво „объяснить“ ихъ и, вѣвѣсивъ, дать собственное истолкованіе. Приходя подчасъ къ совершенно неожиданнымъ выводамъ, г. Венгеровъ иногда навязываетъ ихъ Пушкину; такъ, комментируя „Посланіе къ Натальѣ“, онъ ех abrupto замѣчаетъ: „Въ цѣломъ рядѣ лицейскихъ стихотвореній мы встрѣтимся съ нелюбовью Пушкина къ военщинѣ“ (стр. 130). Не говоря о томъ, что именно въ данной пьесѣ нѣтъ вовсе „нелюбви къ военщинѣ“, приходится напомнить тотъ фактъ, что какъ разъ во всѣхъ лицейскихъ стихотвореніяхъ, и даже позже, у Пушкина яркимъ мотивомъ звучитъ любовь къ „бранной славѣ“ и къ „звуку мечей“, причемъ, все время мечтая о военной службѣ, поэтъ нерѣдко проводилъ свободное время въ кругу царскосельскихъ гусаръ. Пренебрежительно относясь къ „описанію“ Пушкина, по поводу „Воспоминаній въ Царскомъ Селѣ“ и „Наполеона на Эльбѣ“, г. Венгеровъ подозреваетъ Пушкина въ „неискренности творчества“, напоминающаго Державина „холодностью и напыщенностью“ (стр. 222). Пора бы взглянуть на Державина съ исторической точки зрѣнія. Критикъ, сомнѣвающійся въ искренности пѣвца Фелицы, обнаруживаетъ явную близорукость. Не безукоризненъ и самый стиль г. Венгерова. Часто онъ на полустраницу размазываетъ то, что можно было бы уложить въ десяти строкахъ; попадаютъ у него неряшливыя выраженія, какъ: „страшно размахисто“, „корректорá“ (стр. VI — VII) и т. д.

Надо замѣтить, что комментаріи къ старымъ писателямъ для большинства библиографовъ представляютъ извѣстный соблазнъ: многихъ увлекаетъ мысль сказать нѣчто новое, по иному передвинуть историческія кулисы. Въ настоящемъ изданіи г. Щеголевъ пожелалъ по-своему освѣтить отношенія между Пушкинымъ и кн. А. М. Горчаковымъ. По мнѣнію г. Щеголева, Горчаковъ былъ только бездушнымъ карьеристомъ, котораго Пушкинъ не любилъ и не уважалъ, хотя, неизвѣстно почему, посвятилъ ему нѣсколько посланій. Доказательство всему этому г. Щеголевъ видитъ въ слѣдующихъ отрывкахъ изъ писемъ Пушкина къ кн. П. А. Вяземскому (1825 г.): 1) „Мы встрѣтились и разстались довольно холодно — по крайней мѣрѣ, съ моей стороны. Онъ ужасно высохъ — впрочемъ, такъ и должно: аръ-

лости нѣтъ у насъ на сѣверѣ, мы или сохнемъ или гниемъ; первое все-таки лучше". 2) „Горчаковъ мнѣ живо напомнилъ Лицей; кажется, онъ не перемѣнился во многомъ -- хоть и созрѣлъ и слѣдственно подсохъ". Что Горчаковъ для Пушкина не перемѣнился во многомъ, видно изъ задушевныхъ строкъ вскорѣ послѣ того написаннаго „19 октября", да и приведенные отзѣвы изъ писемъ къ Вяземскому въ сущности не заключаютъ въ себѣ ничего обиднаго. „Итакъ, они разошлись", — замѣчаетъ Щеголевъ. На дѣлѣ же они никогда особенно ни сходились, ни расходились. Сомнѣваться въ рассказахъ князя о Пушкинѣ мы также не имѣемъ права. Г. Щеголевъ называетъ эти рассказы „болтовней" (стр. 236), а, между тѣмъ, ничего неправдоподобнаго въ нихъ нѣтъ. Горчаковъ вспоминаетъ, что Пушкинъ читалъ ему отрывки изъ „Бориса Годунова" — и самъ Пушкинъ въ вышецитированномъ письмѣ къ Вяземскому подтверждаетъ: „Я прочелъ ему нѣсколько сценъ изъ моей комедіи". Далѣе, Горчаковъ рассказываетъ, что ему очень не понравилось въ „Годуновѣ" „грубое выраженіе о слюняхъ" — и дѣйствительно, въ III-ей сценѣ находимъ полустихъ: „А я слюной намажу". Вполнѣ возможно и то, что Горчаковъ уничтожилъ данную ему для прочтенія „непристойную" поэмѣ „Монахъ".

Что касается, собственно, текста, онъ почти безукоризненъ. Только двѣ вещи, какъ недостоверно пушкинскія, лучше было бы напечатать въ комментаріяхъ: эпиграмму на графа А. К. Разумовскаго (стр. 188) и „Вишню", которую Л. Н. Майковъ вовсе исключилъ изъ первого тома Академическаго изданія. Въ „Посланіи къ Батюшкову" (1814) въ стихѣ 74-мъ (стр. 197) есть важная опечатка: „чтобъ пересталъ писать", вмѣсто „чтобъ пересталъ совсѣмъ писать". Въ статьѣ г. Модзалевскаго „Родъ Пушкина" Болдино именуется селомъ Арзамасскаго уѣзда, тогда какъ оно Лукояновскаго. Абрамъ Петровичъ Ганнибалъ, по словамъ редактора, изображенъ на портретѣ девяносто двухлѣтнимъ старцемъ (стр. 17), а на самомъ дѣлѣ онъ умеръ 84-хъ лѣтъ. Сына его, Петра Абрамовича, Пушкинъ посѣтилъ не въ 1812 г., какъ говоритъ г. Модзалевскій (стр. 20), а гораздо позже, такъ какъ листокъ съ замѣткой отъ 19 ноября 1824, описывающій свиданіе Пушкина съ Ганнибаломъ, говоритъ о событіяхъ 1817 — 1822 (годъ смерти Петра Абрамовича). Портретъ пожилого С. Л. Пушкина (стр. 29) изображаетъ его далеко не „въ старости" (онъ умеръ 78-ми лѣтъ). Картина Стефана Торелли „Екатерина въ образѣ Минервы" (вып. II) воспроизводится не впервые, какъ говорить С. Венгеровъ: снимокъ съ нея былъ помѣщенъ въ № 2 журнала „Сѣверъ" за 1890 г., Б. Пиксановъ въ статьѣ о Н. Ѳ. Кошанскомъ приводитъ безъ поправки слова Селезнева (Ист. Оч. Лицея), что у Пушкина и Дельвига въ 1816 г. было изъ русской поэзіи по 1.

(стр. 256). Баллъ 1 по лицейской системѣ былъ равенъ 5 и наоборотъ. Въ примѣчаніи къ „Усамъ“ г. Лернеръ замѣчаетъ, что усы были „тогдашней (1815) привиллегіей военного класса“ (стр. 308). На дѣлѣ же при Александрѣ I носить усы имѣли право только гусары, — и вотъ почему у Пушкина представленіе обь усахъ почти нераздѣльно связано съ фигурой гусара.

Все это, разумѣется, мелочи, какъ и двѣ-три замѣченныя нами незначительныя опечатки. Гораздо важнѣе, что со стороны полноты и вѣрности текста изданіе Брокгаузъ-Ефрона обѣщаетъ быть лучшимъ изъ существующихъ доннынъ собраній сочиненій Пушкина.

Ворисъ Садовской.

**Валерій Брюсовъ.** Лицейскіе стихи Пушкина. По рукописямъ московскаго Румянцовскаго музея и другимъ источникамъ. Къ критикѣ текста. М. 1907 г. Книгоиздательство „Скорпіонъ“. Ц. 1 р.

Новая книга г. Брюсова если не прямо, то косвенно, но зато рѣшительно ставитъ вопросъ о критикѣ пушкинскаго текста, вопросъ, который пора, наконецъ, распутать въ наши дни, когда сознано не только первостепенное эстетическое значеніе всего оставленнаго Пушкинымъ, но и научная его цѣнность, когда уже выяснена необходимость пушкинскаго словаря и сдѣланы попытки изученія пушкинской версификаціи (проф. Ѳ. Е. Коршъ) и пушкинской грамматики (проф. Е. Ѳ. Будде). Еще Бѣлинскій заявилъ, что нѣтъ мелочей тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о Пушкинѣ, и что всякая строка Пушкина—священна. Не давая никакихъ опредѣленныхъ, методическихъ указаній для критики пушкинскаго текста, г. Брюсовъ производитъ сличенія показаній перваго тома академическаго изданія съ данными, почерпаемыми имъ изъ главнаго источника для выработки текста лицейскихъ стиховъ Пушкина—его извѣстной черновой тетради, хранящейся въ Румянцовскомъ музеѣ, № 2364. Благодаря исполненной изслѣдователемъ нелегкой, сотканной изъ пристальныхъ, мелочныхъ наблюденій, работѣ, г. Брюсову нетрудно было обнаружить цѣлый рядъ ошибокъ покойнаго редактора перваго академическаго тома, который, какъ оказывается, подчасъ сообщалъ невѣрные даты, несуществующія помѣты, невѣрно списывалъ заглавія и даже извращалъ печатный текстъ; приводимые г. Брюсовымъ примѣры подобныхъ промаховъ довольно краснорѣчивы. Къ тому же—и это главное—Л. Н. Майковъ въ изученіе текста не внесъ никакого опредѣленнаго приѣма; варианты изучалъ небрежно, одни почему-то отбрасывалъ, другіе, тоже неизвѣстно почему, принимая, проявлялъ излишнюю свободу въ пунктуациі... Все это вынуж-

даетъ согласиться съ заключеніемъ г. Брюсова, что „первый томъ академическаго изданія не можетъ-быть признанъ авторитетомъ“.

Будущимъ издателямъ Пушкина придется считаться съ работою г. Брюсова, дающей цѣлый рядъ немаловажныхъ указаній и предостерегающей отъ многихъ ошибокъ. Она является образцомъ того, какъ слѣдуетъ изучать классика. Любовь къ Пушкину и уваженіе къ слову говорятъ въ каждой строкѣ небольшого изслѣдованія, съ виду сухого и формальнаго. Высокія достоинства работы только заставляютъ пожалѣть о томъ, что г. Брюсовъ ограничился критикою майковской редакціи и не коснулся вообще вопроса о текстѣ изданій Пушкина, не рекомендовалъ своихъ методовъ, не указалъ точныхъ, приближающихся къ научности, приѣмовъ.

Въ интересахъ того дѣла, которому служить и г. Брюсовъ, я позволю себѣ указать на одну сторону его работы, кажущуюся мнѣ слабою. Въ книгѣ его бросаются въ глаза, какъ „новинки“, редакціи лицейскихъ стихотвореній Пушкина, не появлявшіяся въ печати. Редакціи эти составлены самимъ г. Брюсовымъ: онъ извлечены изъ пушкинскихъ черновиковъ, возможно точную (черновики кое-гдѣ трудно поддаются разбору) транскрипцію которыхъ даетъ г. Брюсовъ. „Извлечения“ эти пошли въ ходъ съ легкой руки И. А. Шляпкина, надѣлавшаго ихъ немало въ своей книгѣ „Изъ неизданныхъ бумагъ А. С. Пушкина“. Несмотря на то, что П. Е. Щеголевымъ („Ненаписанныя стихотворенія Пушкина“—„Историч. Вѣстн.“ 1904, январь) была хорошо показана вся несостоятельность этихъ „извлеченій“, неудачный опытъ г. Шляпкина не остановилъ другихъ изслѣдователей, которые въ погонѣ за „новыми стихами Пушкина“ не устояли противъ соблазна. Такіе примѣры находимъ въ работѣ г. Якушкина (II томъ академич. изданія) и въ разбираемой книгѣ г. Брюсова. Мы думаемъ, что принципиально недопустимо вмѣшательство въ оставленную всякимъ авторомъ (не только Пушкинымъ) работу. Оставленные Пушкинымъ безъ отдѣлки стихи пусть такъ и остаются: у Пушкина немало вполне отдѣланныхъ стиховъ,—и въ числѣ ихъ имѣются окончательныя бѣловыя редакціи двухъ „извлеченныхъ“ г. Брюсовымъ пьесъ, напечатанныя самимъ Пушкинымъ. Странно, что столь добросовѣстный и точный изслѣдователь, какъ г. Брюсовъ, требующій благоговѣйнаго уваженія къ пушкинскому тексту, позволяетъ себѣ дѣлать извлеченія, вродѣ слѣдующаго (стр. 89):

Не спрашивай, зачѣмъ съ унылой душой  
Въ кругу друзей я вѣчно омраченъ.

Не по-пушкински это сказано, нескладно, тяжело. А вотъ что даетъ транскрипція (стр. 77):

Не спрашивай за чѣмъ (я молчаливо)  
 Не спрашивай за чѣмъ (съ унылой) думой  
 Не спрашивай за чѣмъ (я вѣчной) думой  
 (Любовницы) (въ объятіяхъ) лежу  
 (Любовницы) въ объятіяхъ я томлюсь  
 (Я на груди подруги) омраченъ  
 (Въ кругу друзей) я вѣчно омраченъ

Вмѣсто извлеченнаго г. Брюсовымъ чтенія вѣдь можно избрать и другое, болѣе сносное, напримѣръ:

Не спрашивай, зачѣмъ съ унылой думой  
 Любовницы въ объятіяхъ я томлюсь.

А еще лучше было бы вовсе этого не дѣлать, довольствуясь тѣмъ, что далъ самъ Пушкинъ въ окончательной, напечатанной имъ редакціи:

Не спрашивай, зачѣмъ унылой думой  
 Среди забавъ я часто омраченъ.

Описаніе пушкинскихъ рукописей, сдѣланное столь небрежно и слабо въ извѣстномъ трудѣ В. Е. Якушкина („Русс. Стар.“ 1884 г.), далеко подвинулось впередъ въ изслѣдованіи г. Брюсова, но самое лучшее описаніе только свидѣтельствуетъ о необходимости фототипическаго воспроизведенія ихъ. Описывая одинъ черновикъ стр. 40), г. Брюсовъ говоритъ: „первые четыре стиха, а1—а4, зачеркнуты горизонтальными чертами; вторые четыре стиха, а5—а8,—вертикальными; затѣмъ всѣ восемь стиховъ перечеркнуты накрестъ, но при стихахъ а5 — а8 поставленъ знакъ, словно Пушкинъ хотѣлъ возстановить ихъ“. Передавать такимъ образомъ рукописи не только трудно, но подчасъ даже просто невозможно: иная черточка, иной значекъ, не будучи уловлены описаніемъ, смогутъ внести нѣчто свое, когда читатель непосредственно увидитъ ихъ на снимкѣ.

Въ книжкѣ г. Брюсова есть опечатки. „Легкій“ читаемъ мы въ „извлеченной“ имъ редакціи „Посланія къ Кривцову“ (стихъ 19-й), а въ транскрипціи подлинника, гдѣ это слово написано два раза, два раза напечатано: „легкой“. Не опечатка ли на стр. 42:

Въ лѣсахъ веселья Цитеры?

И по размѣру пьесы и по смыслу, и по складу пушкинской музыки, вѣроятно, должно быть:

Въ лѣсахъ веселья Цитеры,

гдѣ слово „веселья“—родительный падежъ прилагательнаго, согласованнаго съ опредѣляемымъ имъ словомъ „Цитеры“.

Н. Дернеръ.

## БИБЛЮГРАФІЯ.

„Проталина“. Альманахъ I. Подъ ред. Н. Я. Абрамовича и Вл. Ленскаго. С.-Петербургъ. Весна 1907 г. Цѣна 75 коп.

Бѣлыя ночи. Петербургскій Альманахъ. 1907. Изд-во „Вольная типографія“. Цѣна 1 р. 35 к.

Говорятъ, что рецензіи развращаютъ вкусъ. Можно провести въ рецензіи какое угодно сужденіе, какъ угодно оцѣнить разбираемый матеріалъ. Но рецензія—только краткое резюме. Рецензентъ, помня разбираемыхъ авторовъ, ихъ художественное развитіе, уподобляется стрѣлочнику; стрѣлочникъ сигнализируетъ и читателямъ, и авторамъ: „Путь свободенъ! Путь заложенъ!“ О, какъ хотѣлъ бы я, чтобы голоса нѣкоторыхъ изъ насъ услышали тѣ немногіе лица, къ которымъ мы привыкли относиться съ уваженіемъ! Видя ихъ, со-влеченныхъ въ ложную тенденціозность, видя обманъ и провокацію, которые совершаются вокругъ нихъ, мы настойчиво предостерегаемъ отъ катастрофы ихъ творчество, ихъ идейный багажъ, ихъ достоинство, какъ писателей: „Берегитесь—задній ходъ: вы сходите уже съ рельсъ“. Но участь всѣхъ предостерегателей одна: ихъ не слышатъ...

Вотъ „Проталина“. Тутъ Абрамовичъ, Андрусонъ, Бронинъ, Василевскій, Гурвичъ, Зиновьева-Аннибалъ, Ленскій, Менжинскій, Маршакъ и т. д. Это—жалкіе подражатели. Тутъ же ярко выраженные М. Кузминъ, С. Ауслендеръ, А. Блокъ, А. Ремизовъ. Тутъ же подчасъ интересные С. Маковский, Я. Гординъ и еще нѣкоторые. Прежде всего мораль: нельзя тонуть въ толпѣ ничтожностей. Чрезмѣрное стремленіе къ общенію и сліянію со всѣми въ литературѣ—явный признакъ ослабленія художественнаго чутія. Можно ли печататься подъ редакціей г. Абрамовича, нѣкогда отвергнутаго серьезными цѣнителями новаго искусства? Теперь онъ редактируетъ сборникъ новѣйшихъ поэтовъ и писателей и спѣшитъ напечатать себя на первой страницѣ.

Самъ г. Абрамовичъ настолько не владѣетъ стихомъ, что его едва хватило на два стихотворенія съ правильнымъ размѣромъ, жалкими приемами, еще болѣе жалкими образами. Остальное—гимназическое упражненіе, гдѣ неумѣіе писать стихи маскируется свободнымъ размѣромъ. На свободный размѣръ надо имѣть права! А то можно сказать,

что и вирши четырехлѣтняго младенца писаны свободнымъ размѣромъ. А. Бронинъ жалко крысится на „великихъ“! „Я ненавижу васъ, великіе (ну еще бы!)... за то, что мнѣ... дано въ удѣлъ... сознаніе жалкаго ничтожества“. Л. М. Василевскій живописуетъ бѣлыя ночи: „тревожны ласки ихъ“ и т. д. Можно было бы сказать, что и „безтревожны“: все случайно, ассоціаціи неврастеническія, формы никакой. И. Гурвичъ нанизалъ ожерелье словъ; я понимаю ожерелье изъ словъ-жемчужинъ, словъ-ракушекъ; но ожерелье Гурвича состоитъ изъ Содомъ, кургановъ, кроваваго моря и пьедесталовъ (?). Зиновьевой-Аннибалъ хочется подвига-жертвы и любви-страсти. „И все это вмѣстѣ и сейчасъ“. Вотъ тутъ-то и бѣда, что имъ хочется все сразу, а пишутъ они обо всемъ вмѣстѣ. Тамъ, гдѣ они перестаютъ быть самими собой (гдѣ кончаются ихъ слова о ненависти къ прекрасному), они—жалкіе подражатели. Нѣкоторыя строки были бы недурны у Ленскаго, если-бы это не былъ четвертый сортъ изъ Бальмонта. То же у него и въ прозѣ, гдѣ въ короткихъ строчкахъ á la Ремизовъ или Шибышевскій—заемная субстанція чужихъ переживаній. Маршакъ даже не могъ придумать сюжета для стихотворенія, не позаимствовавъ его цѣликомъ. Ну, а форма этихъ кропаній? Форма—жалкая, скучная. У того же Маршака читаемъ, напримѣръ: „Гдѣ-то мы настигнули (?)“ (стр. 85). Господинъ Маршакъ, вы и грамматику собственную придумали? Менжинскій изъ Евангелія создаетъ жалкую прозу. А. Морской восклицаетъ: „Моя душа летитъ съ вами, сѣрые дикіе гуси“. Ему остается воскликнуть: „О, если-бы мнѣ стать гусемъ и не писать объ улетающихъ гусяхъ!“. Довольно объ этихъ, довольно!

Болѣе интересенъ (относительно) Годинъ. У него въ „Вечернемъ городѣ“ подчасъ приличное подражаніе В. Брюсову и отчасти А. Блоку. Есть недурныя строчки (впрочемъ, заемныя римы, заемное словорасположеніе). Возбуждаетъ нѣкоторыя ожиданія П. Потемкинъ... С. Маковский вѣренъ себѣ: гладкій стихъ, красивая реторика; но субстанція его творчества не мраморъ, какъ у Брюсова, не лепестки и зори, какъ иногда у Блока, а кондитерское бэээ. Образъ, вытѣпленный изъ бэээ — можетъ быть и плѣнительнъ для неопытныхъ поклонниковъ „модерна“, но не для истинныхъ цѣнителей.

Ты не можешь быть, какъ люди,

Оскверненные грѣхомъ.

Ты—земная вѣсть о чудѣ міровомъ.

Изготовлено недурно, съ „шикомъ“.

Какъ всегда, талантливъ М. Кузминъ со своими ужимками веселаго озорства въ полутонахъ юмора и сентиментальности:



Рѣки, вы рѣки, веселыя рѣки,  
Съ вами разстаться я долженъ навѣки!

Не умѣстенъ изящный Ауслендеръ въ этой книгѣ манернаго производства. А. Блокъ выдѣляется среди прочихъ, какъ гранитный камень, среди рухляковъ и песчаниковъ. Послѣ вялыхъ стиховъ въ „О рахъ“ у него чувствуется опять подъемъ. А. Ремизовъ, какъ всегда, грустенъ, нѣженъ, истериченъ; онъ разсыпается въ отдѣльных отрывкахъ; общій рисунокъ у него часто слабъ, но на общемъ фонѣ сборника его повѣсть—цѣнная жемчужина.

Напрасно искать объединяющей идеи сборника: тутъ и анархо-реализмъ, и мистико-народничество, и мистико-хулиганство — чего душа просить. (На всякіе вкусы: оптомъ и въ розницу по дешевымъ цѣнамъ).

Интереснѣе и строже по выбору альманахъ „Бѣлыя ночи“.

И тутъ останавливаютъ вниманіе А. Блокъ и М. Кузминъ. „Петербургская поэма“ перваго заслуживаетъ самаго строгаго интереса. Стихъ его подчасъ звучитъ силой и твердостью, столь несвойственными Блоку послѣдняго періода.

Онъ спитъ, пока закатъ румянъ,  
И сонно розовѣютъ латы.  
И съ тихимъ свистомъ сквозь туманъ  
Глядятся змѣй, копытомъ сжатый. (Петръ)

Но твердость стиха не выдержана у Блока. Нѣтъ-нѣтъ и сорвется. Такъ и въ цитируемомъ стихотвореніи, послѣ двухъ звучныхъ строфъ, строчки начинаютъ какъ-то мякнуть, ускользать изъ-подъ власти художника. Такъ у Блока всегда: подъемъ къ Пушкину и — срывъ; дерзновеніе, захватывающее дыханіе, и тутъ же рядомъ жалкій наборъ словъ. Глубина переживаній, исключительныхъ и влекущихъ, и — тутъ же ихъ фальсификація; крикъ раздирающаго душу страданія, и — поддѣлка подъ гримасу и д і о т и з м а. Все же Блокъ одинъ изъ нашихъ лучшихъ современныхъ поэтовъ.

Послѣ Блока наиболѣе интересенъ М. Кузминъ. Его циклъ стиховъ „Прерванная повѣсть“—это дерзкое нарушеніе всѣхъ стилей; Кузминъ держаетъ съ легкой веселостью, и ему удается то, въ чемъ сорвались бы многіе и многіе. Отсюда его право: быть нарушителемъ стиля (а что стилемъ онъ владѣетъ—тому ручательство „Александрійскія пѣсни“, „Комедія о Евдокіи“). Слѣдуетъ отмѣтить и то обстоятельство, что свершеній онъ еще намъ не далъ; но путь имъ указанъ. Слабѣе его повѣсть „Картонный домикъ“, напечатанная безъ окончанія вслѣдствіе небрежности редакторовъ.

Но проза Кузмина, какъ всегда, отличается интересомъ фабулы, умомъ, остротой вкуса и легкостью, почти небрежностью письма.

Какъ всегда, интересенъ Ауслендеръ.

Очень слабъ С. Городецкій, послѣ „Яри“ летящій по наклонной плоскости. Хороши были его короткія, повторныя строчки и напряженный ритмъ (я бы сказалъ: „хлыстовскій“) темной, задорной поэзіи. Теперь у него часто нѣтъ и этого плѣняющаго насъ ритма, а безъ него хлыстовскія выкликанія все чаще разсыпаются наборомъ словъ.

Захочешь—полюбишь, захочешь—убьешь!

Знаешь сама: это—бѣлая ночь.

„Потому что какъ же иначе?“—хочется прибавить. „Воздухъ давитъ, какъ удавъ“. Почему воздухъ—удавъ. г. Городецкій? „Потому что какъ же иначе?“—отвѣчаетъ бойко поэтъ. Я боюсь, что развязность и явный отбѣнокъ некультурности (скинскаго „барыбства“) погубить С. Городецкаго, если на вопросы о формѣ, и смыслѣ, и о мукѣ творчества онъ будетъ отвѣчать своимъ „какъ же иначе“.

Вяч. Ивановъ далъ два стихотворенія. Одно изъ нихъ, пожалуй, и недурно. Второе стихотвореніе начинается словомъ „волшба“ (съ мѣста въ карьеръ) и кончается словами „улыбчивы и яры“. Между началомъ и концомъ—цѣпь случайныхъ ассоціацій даже безъ „словечекъ“. Плохо, очень плохо!

Стоитъ еще отмѣтить разсужденіе Евгенія Иванова „Всадникъ“, какъ смѣсь дикой истерики, ужимокъ, почти фиглярничества съ чѣмъ-то дѣйствительно глубокимъ; но и жордировые говорить правду. Я не люблю жордства. Можно, пожалуй, выдѣлить еще М. Волошина. Вотъ все, чѣмъ могутъ заинтересовать „Бѣлая ночь“. Остальное для комплекта, ни шатко, ни валко; иногда прилично, чаще—слабо.

Но даже и на этомъ блѣдномъ фонѣ грязной кляксой усаживается Чулковъ (ну, прямо изъ юрты!). И рады бы петербургскіе писатели обойтись безъ него, да его не исклочишь: если В. Ивановъ составляетъ проекты путешествія къ Солнцу, г. Чулковъ ихъ приводитъ въ исполненіе. Онъ—Язонъ, везущій петербуржцевъ къ Солнцу—Золотому руно. Добраго плаванія!

Ахъ, господа,—когда же вы проведете цѣпи между рекламой и искусствомъ, между поэзіей и карьерой? Пока этой границы у васъ нѣтъ, ваша участь—принимать микстуры чулковской поэзіи да получать толчки въ абрамовическомъ омнибусѣ отъ злыхъ Брониныхъ, ненавидящихъ великихъ и лежащихъ талантливыхъ.

А ндрей Вѣлыи.

**Шарль Бодлэръ.** Цвѣты Зла. Полный переводъ А. А. Панова съ французскаго. Изданіе Ѳ. И. Булгакова. 2 тома. Спб. 1907.

Говорить о Бодлэрѣ—значить прежде всего говорить о прекрасномъ стилѣ. „Цвѣты Зла“,—книга, которая появляются разъ въ тысячелѣтіе. Много ли можемъ мы назвать „сборниковъ стиховъ“, въ которыхъ не было бы ни одной посредственной строфы, ни одного банальнаго образа, ни одного ненужнаго слова? Такимъ сборникомъ, безспорно, являются „Цвѣты Зла“. Не будемъ говорить въ краткой замѣткѣ о внутреннемъ, эстетическомъ значеніи этой поразительной книги, существо которой до сихъ поръ остается неразрѣшимой загадкой для человѣчества и, конечно, на долгое время будетъ достояніемъ лишь немногихъ, отдѣльныхъ душъ. Но, оставаясь на чисто-формальной точкѣ зрѣнія, мы должны, прежде всего, отмѣтить, что основная антиномія души Бодлэра, самое глубокое противорѣчіе всѣхъ его произведеній это—небывало-яркое отраженіе общей роковой антиноміи Добра и Красоты въ величайшемъ созданіи его генія, въ „Цвѣтахъ Зла“, принимающее опредѣленную форму борьбы двухъ началъ, двухъ идеаловъ, „Воп“ и „Веаи“. Въ каждой строкѣ „Цвѣтовъ Зла“ чувствуется вся напряженность этой борьбы, въ каждомъ завершеномъ отдѣлѣ, въ каждомъ отдѣльномъ стихотвореніи—явна побѣда второго начала; въ цѣломъ „Цвѣты Зла“—поэтическая исповѣдь души, побѣдившей въ себѣ „доброе“ во имя „прекраснаго“—принесшей въ жертву единому кумиру, Красотѣ, всю вселенную и самого себя.

Внѣшнимъ образомъ это нашло выраженіе въ томъ, что „Цвѣты Зла“ явились художественнымъ произведеніемъ недосыгаемой красоты слога, невыразимой, магической силы и прелести стиля. Изъ этого съ необходимостью слѣдуетъ, что переводъ „Цвѣтовъ Зла“—трудъ исключительной важности и непосильной тяжести. Скажемъ прямо, — „Цвѣты Зла“ едва ли переводимы, особенно на русскій языкъ, какъ бы лишенный діезовъ и бемолей. Поэтому неудивительно, что всѣ попытки перевода „Цвѣтовъ Зла“ рѣшительно неудачны. Ни далекій, произвольный, неповоротливо-грубый переводъ П. Я., ни отдѣльныя попытки передачи разныхъ частей „Цвѣтовъ Зла“ со стороны Бальмонта, Брюсова, В. Иванова, Элліса\*—въ общемъ не могутъ быть признаны удовлетворительными. Но иногда даже неудачный, т. е. не передающій всѣхъ цѣнностей подлинника, переводъ имѣетъ право на существованіе, если мы признаемъ

\* Изъ выпущенныхъ мною 4 года тому назадъ 80 моихъ переводовъ изъ „Цвѣтовъ Зла“ я считаю рѣшительно неудачными по крайней мѣрѣ 50 и сколько-нибудь удовлетворительными не болѣе 3—5...

доказанной законность литературныхъ переводовъ вообще! Но что же должны испытать всѣ, привыкшіе цѣнить неуловимый, загадочный и дивно изобразительный стиль Бодлэра, натолкнувшись на смѣшное до карикатурности и граничащее съ явнымъ кощунствомъ переложеніе божественныхъ строкъ „Цвѣты Зла“ на языкъ пошлыхъ куплетовъ, достойныхъ самой сомнительной лѣтней сцены!.. Для всякаго, даже слегка перелиставшаго лежащій передъ нами переводъ г. Панова, станетъ ясно, что онъ имѣетъ дѣло съ литературнымъ хулиганствомъ!..

Начнемъ съ того, что самое имя автора „переведено“ невѣрно: вопреки литературной традиціи, установившей форму „Бодлэръ“, г. Пановъ ставитъ „Боделэръ“, забывая, что французское „e muet“ не имѣетъ соотвѣтствующаго звука по-русски. Затѣмъ и въ переводѣ Посвященія „Цвѣтовъ Зла“ тоже—рядъ грубыхъ ошибокъ: слово „impressable“ переведено „истинный“, „parfait“—„дивный“, „très cher“ передано нелитературнымъ, тяжеловѣснымъ „многолюбимый“, „très vénéré“ почему-то „нѣжно-дорогой“, Théophile Gautier сталъ „Теофилъ Готье“ и т. д.

По этому уже можно догадаться, насколько близки къ подлиннику стихотворные переводы г. Панова: „Ah! que n'ai-je mis bas tout un poeud de vipères“, т.-е. „Зачѣмъ не породила я клубокъ эхиднъ!“, переведено: „Зачѣмъ клубокъ эхиднъ на свѣтъ родилъ я“, т.-е. обратно смыслу (стр. 67). „L'homme passe à travers des forêts de symboles qui l'observent“, т.-е. „Человѣкъ проходитъ черезъ лѣса символовъ, которые смотрятъ на него“, переведено: „Лѣсъ символовъ мрачный, гдѣ каждый при встрѣчѣ (?) съ другимъ, какъ знакомымъ, вести рѣчь готовъ“ (стр. 72). „Je suis belle, ô mortels! comme un rêve de pierre“, т.-е. „Я прекрасна, о смертные, какъ мечта изъ камня“, переведено: „Я... прекраснѣй, чѣмъ греза неясная“ (стр. 87). „Je hais le mouvement qui déplace les lignes“, т.-е. „Я презираю движеніе, перемѣщающее линіи“, переведено: „У меня тѣла линіи строгія, чистыя, нѣжныя...“ (тамъ же) „Une fleur qui ressemble à mon rouge idéal“, т.-е. „Цвѣтокъ, подобный моему красному идеалу“, переведено: „Мнѣ надо идеаль роскошный, розовый (!) и полный силы“ (?) (стр. 88) и т. д. и т. д.

Но еще болѣе, чѣмъ искаженія смысла, ужасны самый языкъ, стиль и стихъ г. Панова. Его образы всегда лишены всякой поэзіи, его стихъ лишенъ всякой техники. У г. Панова можно встрѣтить сколько угодно строкъ, лишенныхъ размѣра, напр.: „И въюга взовеетъ,—вымолятъ ли твои слезы...“ (стр. 77), „Тебя, Котораго единственно люблю, я умоляю...“ (стр. 103), „И въ этомъ ужасѣ, который ужасы всѣ превосходитъ...“ (тамъ же) и еще больше строкъ, имѣющихъ цезуру посреди слова, напримѣръ: „И скуки жажду уто-

ляють твои очи" (стр. 98). Число стопъ въ стихахъ г. Панова не выдержано почти нигдѣ, а одно стихотвореніе—притомъ сонетъ!—написано мѣсивомъ изъ 9 и 8 стопныхъ ямбовъ! Риема г. Панова неудовлетворительна со всѣхъ точекъ зрѣнія. Такъ, у него не рѣдкость риемы, вродѣ: „доски“ и „плоско“ (стр. 70), „отвратительныхъ“ и „живительномъ“ (стр. 71), „ясныхъ“ и „безгласную“ (стр. 71), „гадливостью“ и „стыдливости“, „кринолинахъ“ и „картины“ (стр. 73), „опахаломъ“ и „опала“ (стр. 81), „тебѣ“ и „нищетѣ“ (стр. 261).—Безъ преувеличенія подобныя риемы преобладають надъ риемами, хотя и бѣдными, но согласными съ законами метрики, не говоря уже о риемахъ красивыхъ, которыхъ нѣтъ вовсе.

Но самое ужасное въ переводѣ г. Панова — это его комическій, неуклюжій до каррикатурности слогъ. На каждой строчкѣ мы находимъ перлы, вродѣ слѣдующихъ: „О ты, крошка—Исусъ! я подкинулъ тебя высоко! Но когда бъ захотѣлъ, мнѣ спихнуть тебя было бъ легко“ (стр. 86). Или: „О, женщина, о, амазонка алая! мчись безъ угрызения чрезъ тотъ оврагъ, чрезъ памятникъ позора вождельній“ (стр. 108).

Остается добавить, что книга издана отвратительно, испещрена чудовищными опечатками и снабжена предисловіемъ переводчика, въ которомъ невѣжество соперничаетъ съ пошлостью выражений.

Э л л с ъ.

**Евдоръ Сологубъ.** Мелкій Бѣсъ. Романъ. Изд. „Шиповникъ“. Спб. 1907. Ц. 1 р. 75 к.

**Евдоръ Сологубъ.** Истлѣвающія Личины. Книга разсказовъ. К-во „Грифъ“ М. 1907. Ц. 1 р.

Если мы выдѣлимъ въ романѣ г. Сологуба главное дѣйствующее лицо, испошливагося и подъ конецъ свихнувагося съ ума учителя Передонова, то въ романѣ „Мелкій Бѣсъ“ передъ нами остается не болѣе, какъ живая, бойко и по временамъ фотографически вѣрно написанная картина нашей захолустной провинціальной жизни, по которой намъ предоставляется приходить къ печальному заключенію, что жизнь эта съ ея неизбежными, словно препарированными въ эфирѣ типами, не измѣнилась въ основныхъ чертахъ и ни на юту не продвинулась впередъ со временемъ, если не Гоголя, то, по крайней мѣрѣ, Щедрина или Достоевскаго.

Но картина эта все же слишкомъ узка и обнимаетъ слишкомъ небольшой уголокъ отъ вѣка богоспасаемой російской глуши, чтобы ее можно было поставить въ параллель со всеохватывающей панорамой „Мертвыхъ Душъ“ и позднѣйшихъ произведеній того же рода, за которыми можно, не колеблясь, признать значеніе поэмы или ро-

мана. Авторъ ни разу не вывелъ своего читателя за околицу своего N-ска, этого всюду и всегда съ неизбежной повторностью описываемаго захолустнаго городишка,—и вмѣстѣ съ тѣмъ не успѣлъ сдѣлать этотъ N-скъ средоточіемъ, отражающимъ какъ въ фокусъ всю совокупность характерныхъ явленій и волненій провинціальной жизни; не успѣлъ выбрать достаточно удобнаго пункта для установки своей камеръ-обскуры, и въ объективъ ея попала только незначительная часть того поля, которое, лишь будучи схвачено въ цѣломъ, могло бы оправдать за книгой отвѣтственное названіе „романа“.

Мелкій Бѣсъ г. Сологуба, въ смыслѣ проявленія его въ жизни массъ, вышелъ блѣденъ и мало замѣтенъ. Попытки автора пропустить снопъ рентгеновскихъ лучей въ темныя дебри отдѣльныхъ мертвыхъ душъ подобны мимолетнымъ, случайнымъ психологическимъ эскурсіямъ, какъ случайны и мимолетны посѣщенія уѣзднаго „олимпа“ его героемъ, Передоновымъ. Его массовыя сцены, въ родѣ описанія маскарада въ общественномъ клубѣ,—законченныя въ себѣ страницы незаурядной художественной цѣнности, написанныя мѣткой и смѣлой рукой, но въ ихъ самодовлѣющей законченности и роковая для автора обособленность ихъ отъ того, что составляетъ центральный моментъ произведенія въ цѣломъ.

И въ результатъ сущность романа сводится къ опредѣленной психической единицѣ, поставленной, какъ на извѣстномъ фонѣ, въ измѣнчивомъ калейдоскопѣ мелькающихъ группъ и фигуръ.

Въ Передоновѣ — альфа и омега художественной силы романа. Но Передоновъ, и какъ цѣль въ самомъ себѣ, тоже не вполне удовлетворяетъ насъ, какъ и Передоновъ — часть всеохватывающей передоновщины. Онъ двойствененъ прежде всего, и въ его расколотости, словно клинъ, загнанный въ расщелину, пропадаетъ „мелкій бѣсъ“, идейный герой Сологуба. Хлестаковъ и Чичиковъ въѣдъ также носители мелкаго бѣса, хоть и не столь мелкаго, какъ бѣсъ Передонова. Однако, у Гоголя сразу видимъ отношенія реальныхъ образовъ къ образу символическому. Авторъ „Мелкаго Бѣса“, доведя своего реального героя до эффектовъ несомнѣннаго безумія, тѣмъ самымъ поднялъ Передонова на высоту жертвы, раздвоилъ воспріятіе читателемъ его міра и показалъ трагедію духа, неизбежно великую. Мелкій бѣсъ становится тутъ уже не мелкимъ бѣсомъ, котораго затравливалъ Гоголь, а грознымъ коршуномъ, клюющимъ печень кавказскаго узника. Мѣсто инспектора, мечта о которомъ даетъ направленіе душѣ Передонова въ ея полетѣ по орбитѣ земнаго существованія, теряетъ для насъ свое абсолютное значеніе ничтожнаго, мелочнаго интереса и вырастаетъ въ исполинскіе размеры символа. Красный цвѣтокъ, къ которому рвется черезъ всѣ

ужасы препятствій герой Гаршина, въ себѣ самомъ—также ничтожная вещь и, однако, мы принимаемъ его какъ средоточіе мірового зла, діавола!.. И вотъ также, съ тѣхъ поръ, какъ въ заблудившихся глазахъ пошленькаго уѣднаго учителя, лгушаго, клеветущаго, предающаго себя ради тепленькаго мѣстечка, мелькнула „сѣрая, юркая Недотыкомка“ — вся психологическая картина уже освѣщена новымъ неожиданнымъ свѣтомъ. Ибо больной умъ прежде всего одержимъ жестокимъ бѣсомъ Страданія, за которымъ отступаютъ далеко въ туманѣ всѣ прочіе всѣхъ калибровъ бѣсы и бѣсенята.

Много выше по мастерству выполненія представляются намъ рассказы г. Сологуба, составившіе книгу „Истлѣвающія личины“, хоть не понимаемъ, какимъ образомъ добрая ихъ половина могла быть подведена подъ этотъ общій заголовокъ.

Всѣ 10 рассказовъ можно смѣло раздѣлить на три совершенно обособленныхъ, не имѣющихъ никакихъ точекъ соприкосновенія отдѣла. И лучшими въ нихъ являются именно тѣ, которые чужды предвзятымъ задачамъ обличенія личинъ, свободны отъ искусственности въ воспроизведеніи образовъ и даютъ намъ вѣрное отраженіе, какъ изображаемаго, такъ и изображающаго.

Міръ дѣтской души особенно удается Ѳ. Сологубу, и такія его созданія, какъ „Въ плѣну“, „Два готика“, „Январскій рассказъ“ (первая половина)—рѣдкіе шедевры своего рода. Не менѣе художественными являются и рассказы второй категоріи, въ которыхъ авторъ со смѣлымъ факеломъ перваго искателя погружается въ мрачныя, неизвѣданныя глубины расчлененной, но вѣчно единой міровой души. Таковы рассказы „Тѣло и Душа“, „Соединяющій души“. И, наконецъ, значительно слабѣе „Дикій богъ“ и „Чудо отрока Лина“, приближающіеся къ типу фельетона „передовой“ газеты, хотя въ частностяхъ и здѣсь сказывается мастерская рука автора,—напримѣръ, въ созданіи такого образа, какъ убиваемый и неумертвимый отрокъ, неустанно преслѣдующій замучившихъ его всадниковъ и вгоняющій ихъ, объятыхъ ужасомъ, въ море. Хотѣлось бы видѣть этотъ высокохудожественный, полный мистическаго ужаса образъ перенесеннымъ въ какой-либо иной рассказъ, не имѣющій прямого отношенія къ истлѣвающимъ личинамъ. Во всякомъ случаѣ мы отмѣчаемъ этотъ образъ, какъ примѣръ идеальнаго сочетанія художественнаго съ тенденціознымъ.

Изданы обѣ книги прилично, хотя и не безъ претенціозности. Неудаченъ рисунокъ на обложкѣ „Мелкаго Бѣса“, подписанный М. Д.

А. Курскій.

**М. Кузминъ.** Приключенія Эме Лебефа. Спб. 1907. Ц. 1 р.

**М. Кузминъ.** Три пьесы. Спб. 1907. Ц. 50 к.

Среди молодыхъ русскихъ беллетристовъ есть цѣлая группа, которая думаетъ, что въ „разсказѣ“ именно разсказа-то и не должно быть. Самый видный среди этихъ писателей — Борисъ Зайцевъ, который всячески старается обратить свои разсказы въ лирику. Въ его произведеніяхъ, по большей части, ничего не происходитъ, ни о чемъ не повѣствуется, и форма разсказа служитъ для него только предлогомъ, чтобы нанизать рядъ образовъ, рядъ картинъ, связанныхъ между собою только общимъ настроеніемъ. Нѣтъ причинъ относиться враждебно къ этой формѣ творчества, отрицать эту „лирику въ прозѣ“, и, можетъ быть, она способна достичь высокой степени совершенства, особенно подъ перомъ писателя болѣе даровитаго, нежели Борисъ Зайцевъ. Но, конечно, „лирика въ прозѣ“ никогда не можетъ замѣнить и замѣститъ настоящаго разсказа, въ которомъ сила впечатлѣнія зависитъ отъ логики развивающихся событій и отъ яркости изображаемыхъ характеровъ,—разсказа, образцы котораго намъ дали всѣ великіе романисты, начиная отъ Апулея, черезъ автора Манонъ Леско, до Диккенса, Флобера, Достоевскаго, Л. Толстого... Къ такимъ истиннымъ разсказчикамъ принадлежитъ и М. Кузминъ. Сила и прелесть его разсказовъ не въ лирическихъ отступленіяхъ, не въ отдѣльных образахъ и эпитетахъ, но въ самомъ замыслѣ повѣствованія, въ его интригѣ и въ развитіи характеровъ.

Никто среди современныхъ русскихъ писателей не обладаетъ такой властью надъ стилемъ, какъ М. Кузминъ. Его „Александрійскія пѣсни“ могутъ быть сочтены переводами изъ какого-нибудь греческаго поэта II вѣка до Р. Х. и, во всякомъ случаѣ, гораздо вѣрнѣе и живѣе передаютъ эпоху, чѣмъ слащавыя „Chansons de Bilitis“ Пьера Луиса (недавно появившіяся въ русскомъ переводѣ). Подобно этому „Приключенія Эме Лебефа“ можно выдать за отрывки старо-французскаго романа середины XVIII вѣка. Я говорю „отрывки“, потому что авторы того времени не позволяли себѣ такихъ быстрыхъ переходовъ отъ одного событія къ другому, какіе дѣлаетъ г. Кузминъ, и имѣли обыкновеніе вести свое повѣствованіе послѣдовательно, почти день за днемъ. Сознавая утомительность этой манеры для современнаго читателя, г. Кузминъ, какъ истинный художникъ, не захотѣлъ принести въ жертву модѣ духъ эпохи. Онъ строго выдержалъ стиль того времени во всѣхъ написанныхъ частяхъ повѣсти, позволивъ себѣ не написать нѣкоторыя ея части, которыя непременно стояли бы на своемъ мѣстѣ у писателя XVIII в., но которыя современный авторъ безъ опасенія предоставляетъ воображенію читателя. Читая „Приключенія Эме Лебефа“ мы словно умѣло выбираемъ глазами изъ нѣскольکو растянутой повѣсти Ле-



сажа или аббата Прево отдѣльныя и притомъ наиболѣе существенныя страницы. И, конечно, тѣмъ, что авторъ усвоилъ самую манеру говорить и мыслить рассказчика XVIII в., онъ гораздо интимнѣе вводитъ своего читателя въ изображаемый вѣкъ, чѣмъ могъ бы достичь этого разными внѣшними описаніями.

Въ „Приключеніяхъ Эме Лебефа“ изображена та безпечная, легкомысленная жизнь XVIII в., которая была пляской на вулканѣ готовящейся революціи. Тихая жизнь маленькихъ французскихъ городковъ, парижскіе притоны, быстро возникающія дуэли на шпагахъ, мимолетныя связи съ женщинами, ищущими скромныхъ любовниковъ, Италія и ея своеобразные типы, Германія и ея маленькіе версальчики съ маленькими королями-солнце, веселыя воровскія сообщества, куда женщины увлекаютъ богатыхъ дураковъ и гдѣ мужчины обыгрываютъ ихъ краплеными картами, гадалки и прорицательницы, послѣдніе алхимики, первые мечтатели о гражданской свободѣ,—все это быстро мелькаетъ передъ читателемъ, какъ въ пестромъ вертящемся калейдоскопѣ. Характеры едва намѣчены какъ то всегда и было у писателей XVIII в.; авторъ, не задумываясь, выводитъ все новыя и новыя лица и, безъ сожалѣнія, бросаетъ, забывъ объ ихъ судьбѣ. И весь романъ кончается на полусловѣ, потому что у такихъ романовъ не могло быть своего конца; они всѣ кончились въ одинъ и тотъ же день: 21 января 1793 года, когда скапталась съ эшафота голова Людовика XVI.

Въ „Трехъ пьесахъ“ М. Кузмина на первомъ мѣстѣ надо поставить то же умѣніе перенять желаемый стиль. Эти три пьесы могутъ считаться типическими образчиками старинной французской комедіи, пасторали XVIII в., и современнаго балета. На четырехъ крохотныхъ страничкахъ „Выбора Невѣсты“, съ блестящимъ мастерствомъ и не безъ тонкой ироніи, сконцентрированы всѣ милыя нелѣпости обычныхъ балетныхъ либретто.

Валерій Брюсовъ.

**С. Тухолка.** Оккультизмъ и магія. Изд. А. С. Суворина. Спб. 1907. Ц. 1 р.

Ясный и сравнительно обстоятельный обзоръ явленій, которыми занимаются „оккультныя“ науки. Однако, многіе вопросы разобраны слишкомъ поверхностно и, такъ сказать, „упрощены“, въ ущербъ ихъ серьезности. Вѣроятно, это объясняется незначительными размѣрами сочиненія. Во всякомъ случаѣ книга г. Тухолки, хотя и короче аналогичнаго сочиненія Папюса (имѣющагося въ русскомъ переводѣ: „Первоначальныя свѣдѣнія по оккультизму“), даетъ начинающему читателю нисколько не меньше. Къ сожалѣнію, г. Тухолка пользовался исключительно французскими источниками.

А р е л ѣ.

вѣсы.

6

## ЗАСОБОРИЛИСЬ.

Новый *сoup d'état* въ „Золотомъ Руно“.

Журналъ „Золотое Руно“ недоволенъ „Вѣсами“. И въ смутной, робкой, очень безпомощной статейкѣ (въ № 4, за подписью „Эмпирикъ“) онъ упрекаетъ „Вѣсы“... въ чемъ? На то статейка и смутная, чтобы нельзя было понять, въ чемъ именно „Руно“ упрекаетъ „Вѣсы“. Сначала какъ будто въ томъ, что они мѣняются. Были прежде хорошіе „Вѣсы“, а теперь измѣнились,—зачѣмъ? Но, однако, не „Руно“ упрекать кого-либо въ перемѣнахъ, въ *сoup d'état*. „Золотое Руно“ въ этомъ отношеніи—самый удивительный журналъ: онъ въ каждомъ номерѣ, почти подрядъ, объявляетъ о какомъ-нибудь *сoup d'état*, о „самомъ коренномъ измѣненіи“. За годъ съ лишнимъ существованія журнала перемѣнъ этихъ объявлено видимо-невидимо. Правда, объявленія о перемѣнахъ и перемѣны ничего до сихъ поръ не перемѣнили: на зло всей своей суетѣ „Руно“ осталось на томъ-же мѣстѣ, на какомъ родилось. Только пыль даромъ поднимало. Есть въ Москвѣ поговорка: „скачетъ баба... а дѣло идетъ своимъ чередомъ“. Такъ и „Руно“. Впрочемъ, врядъ-ли почтенный журналъ самъ знаетъ это. Онъ увѣренъ, что все время не только „скачетъ“, но и измѣняется. И даже измѣняется... къ лучшему.

Вотъ и въ послѣднемъ номерѣ, „Руно“ объявляетъ свою новѣйшую реформу... „къ лучшему“,—указывая „кстати“ на „паденіе“ „Вѣсовъ“. „Имъ время тлѣть, а мнѣ цвѣсти“. Я не думаю, чтобы эта послѣдняя реформа „Золотого Руна“ какъ-нибудь повліяла на мірозданье или что нибудь существенно измѣнила даже для узкаго кружка лицъ, причастныхъ къ журналу. Ничего не произошло. Но какъ ни мало существенно это измѣненіе,—для самого „Руна“ тутъ, конечно, измѣненіе „къ худшему“. Яблочко подгниваетъ изнутри; на взглядъ, какъ будто, все та-же анисовка,—кто пожелаетъ ее разломить? — а внутри червячокъ.

„Золотое Руно“ уничтожило библиографическій отдѣлъ и поручило всю литературную критику—А. Блоку. Я понимаю, что „Руно“ могло соблазниться обѣщаніями, которые надавалъ Блокъ. Блокъ прямо объявилъ, что онъ уже „въ каждомъ изъ первыхъ очерковъ намѣренъ объединить *taximum*“ всего, что можно объединить, и бу-

детъ „охватывать большой кругъ очень разнообразныхъ писателей“. „Исчерпавъ-же, такимъ образомъ, объединяющіе очерки“, онъ приметъ за новую, ежемѣсячную работу.

„Руно“ могло быть очаровано, подавлено такимъ сообщеніемъ... Но я, по-совѣсти, долженъ признаться, — только огорченъ. Не за „Руно“, — что намъ „Руно“? Горбатаго исправить могила, — а за Блока. При глубочайшемъ къ нему уваженіи, какъ къ поэту, — я считаю, однако, всѣ опыты его въ критикѣ — ниже всякой критики. И это мнѣніе мое, насколько я знаю, раздѣляется всей, болѣе или менѣе, культурной литературой. Для критики, да еще „всеобъединяющей“, мало интуиціи, нѣжности, вдохновенія: нужны мысли. А мысли Блока — это мухи, безпомощно мечущіяся подъ проволоочной кондитерской сѣткой. Выступая, какъ критикъ, онъ каждый разъ роняетъ себя. Что-то жалобное, спутанное и гимназически-напыщенное — всѣ его „критики“, вплоть до объявленія въ „Рунѣ“. И зачѣмъ онъ это дѣлаетъ? Какая досада!

Во всякомъ случаѣ, прочтя заявленіе Блока, припомнивъ разные безпорядочные намеки и всѣ хаотическіе бреды „Золотого Руна“, а также немножко зная атмосферу, которой дышатъ „декадентскіе“ журналы, — можно, наконецъ, догадаться и въ чемъ Эмпирикъ упрекаетъ „Вѣсы“ и что за новый *coup d'état* совершается въ „Рунѣ“. Скажу кратко. Для непосвященныхъ будетъ непонятно — я не виноватъ. Впрочемъ, мнѣ кажется, всѣ, болѣе или менѣе, уже посвящены въ эту „тайну“ „Золотыхъ Рунъ“, „Переваловъ“, Чулковыхъ, и т. д., — въ тайну „собо-рованія“. Мнѣ чудится, что „Эмпирикъ“ — несомнѣнно изъ числа тѣхъ, кто настойчиво совѣтуетъ:

О, соборуйтесь, народы!  
Въ хороводы, въ хороводы...

Можетъ быть, готовъ прибавить:

Глѣ захватишь, тамъ бери,  
Всѣхъ уроловъ тридцать три,  
О, соборуйтесь, уроды!  
Въ хороводы, въ хороводы!

Упреки „Золотого Руна“ сводятся, по моимъ догадкамъ, къ тому, что оно хочетъ сказать:

О, соборуйтесь, „Вѣсы“!

Недаромъ статья кончается характерными для такихъ совѣтчиковъ словами: „сидѣнье — грѣхъ противъ Духа Святаго“. Да, мы „юношей влюбленныхъ узнаемъ по ихъ глазамъ“, — а „сборниковъ“ новѣй-

шихъ—по кощунственнымъ словамъ: безъ „грѣха“, безъ „Духа Святаго“—они не обойдутся.

Я—человѣкъ, „Вѣсамъ“ почти столь-же посторонній, какъ „Золотому Руно“, „Перевалу“ и „соборующемуся“ нынѣ антикультурному теченію новѣйшей литературы. Но, глядя со стороны, не могу, однако, не порадоваться, что упреки „Золотого Руна“ справедливы, что со-вѣты „Эмпирика“ тщетны, и что „Вѣсы“ держатся попрежнему своего спокойнаго обще-культурнаго направленія: уклона къ „соборности“ у нихъ не замѣчается. Если-же и въ „Вѣсы“ порою проникаетъ кто-нибудь изъ „варварскихъ мальчиковъ“, то эти пятна лишь замедляютъ общій ходъ журнала, но существенно его отнюдь не измѣняютъ.

Врядъ-ли, впрочемъ, заплещетъ въ хороводахъ и „Руно“, хотя уже совсѣмъ по другимъ причинамъ. „Руно“ радо-бы, „Руно“ нечего терять, „Руно“ старается... но, однако, и этого не сможетъ. „Руно“ слишкомъ доступно для всяческаго невѣжества, чтобы одна кака-нибудь опредѣленная часть варварства, извѣстное антикультурное направленіе, — могло въ этомъ журналѣ восторжествовать. „Золотое Руно“ до конца своихъ дней останется самымъ мажорнымъ цвѣткомъ — подозрительнаго запаха. И ужъ, конечно, не Блокъ, со своимъ „объединеніями“, сдѣлаетъ что-нибудь въ этомъ хаотическомъ мос-ковскомъ „складѣ“ возможныхъ и невозможныхъ „литературныхъ“ произведеній. Хаосъ не очень вредный,—но скучный и досадный.

Товарищъ Германъ.

### СЛѢПОЙ СЛѢПОГО...

Въ № 3 „Вѣсовъ“ г. Чуковский, оцѣнивая переводы Шелли Бальмонта и говоря о переводѣ послѣдней строфы „Облака“, замѣчаетъ что г. Бальмонтъ „создалъ бессмыслицу“, переведя:

I silently laugh at my own cenotaph.

словами:

Я молча смѣюсь. Въ саркофагѣ таюсь.

Въ этомъ переводѣ можно указать на невѣрность, но нельзя говорить о бессмыслицѣ, такъ какъ таится въ саркофагѣ все же возможно. Возможно сказать и о дождѣ, который просачивается въ землю, что онъ „таится въ саркофагѣ“. Шелли, конечно, далъ иной образъ, но вотъ именно бессмыслицей является истолкованіе этого обра-за, которое тутъ же даетъ поправляющій г. Бальмонта г. Чуковский.

Г. Чуковский пишетъ, будто образъ Шелли таковъ: „Туча, возникающая изъ дождя, смѣется надъ своей могилой“. Естественно, что дождь возникаетъ изъ тучи, но можно ли сказать, что туча возникаетъ изъ дождя?—Въ будущемъ, конечно, но Шелли имѣлъ не это въ виду. Онъ говоритъ отъ лица своего Облака, что оно „after the rain“ (послѣ дождя) молчаливо смѣется. Надъ чѣмъ же оно смѣется? Г. Чуковский увѣряетъ: „надъ своей могилой“. Едва ли кто-нибудь можетъ смѣяться надъ своей могилой, ибо если дѣйствительно могила—ею, то онъ мертвъ и ему не до смѣха. А вотъ надъ кенотафіей своей, дѣйствительно, посмѣяться можно. Если въ древности кто-нибудь исчезалъ безъ вѣсти, то его родственники, полагая его погибшимъ, дѣлали въ честь его кенотафію—пустую могилу, которой онъ былъ бы почтенъ, если бы можно было разыскать его тѣло. Такую-то кенотафію прямо и называетъ Шелли. Облако его иронизируетъ надъ тѣмъ, что, пролившись дождемъ, оно въ землѣ находитъ не могилу, а лишь кенотафію, такъ какъ оно изъ мнимой могилы выходитъ (I arise), подобно ребенку, выходящему изъ утробы матери, или привидѣнію, встающему изъ гроба.

А. Курскій.

## ГОРЕСТНЫЯ ЗАМѢТЫ.

Петербургская газета „Сегодня“ (4 іюля) недовольна *Дневникомъ натуралиста*. „Нѣтъ въ немъ,—восклицаетъ газета,—той широкой социальной идеи, какою пропитаемъ (?) *Дневникъ горничной Марселя Превю!*“. Бѣдный Октавъ Мирбо, истинный авторъ *Дневника горничной* поймалъ бы, какъ низко онъ палъ за последнее время, если бы узналъ, что въ Россіи его путаютъ съ авторомъ лубочныхъ *Полуднѣвъ*.

\*

Московское „Столичное Утро“ нерѣдко цитируетъ поэтовъ, но неудачно: „Словомъ,—пишетъ газета,—какъ у Некрасова:

Богъ морозовъ, Богъ метелей,  
Богъ—проселочныхъ дорогъ,  
Богъ—ночлеговъ безъ постелей...

Во-первыхъ, стихи приведены невѣрно, а, во-вторыхъ, они не Некрасова, а кн. П. Вяземскаго.

\*

Впрочемъ, та же газета, когда еще называлась „Утро Свободы“ (24 мая), такъ цитировала стихи извѣстнѣйшей басни:

Ужъ тѣмъ ты виноватъ,  
Что кушать я хочу.

Басню Крылова, печатаемую во всѣхъ хрестоматіяхъ, знать слѣдовало бы!

\*

Въ № 5 „Вѣсовъ“ Товарищъ Германъ приводитъ слова „тургеневской Бизюкиной“. Бизюкина — дѣйствующее лицо въ одномъ произведеніи не Тургенева, а Лѣскова (въ „Соборнахъ“).

\*

Кіевскій журналъ „Въ мірѣ искусствъ“ (№ 11-12) пишетъ: „До сихъ поръ, кромѣ Монны Ванны, изъ пьесъ Матерлинка на русской сценѣ были только Тайны души и Втируша“. Неужели журналъ, такъ много мѣста удѣляющій театру, имѣющій даже особый режиссерскій отдѣлъ, не знаетъ замѣчательныхъ постановокъ Московскаго художественнаго театра (Слѣпые), петербургской постановки Новаго театра (Пеллеасъ и Мелизанда), тифлисской постановки т-ва Новой драмы (Смерть Тентажиля) и мн. др!

\*

Петербургскій сатирическій журналъ „Сѣрый Волкъ“ издаваемый А. А. Суворинымъ, печатая три рисунка Обри Бердслея, поясняетъ своимъ читателямъ, что это—„современный (?) англійскій каррикатуристъ (!)“. Творчество Бердслея, умершаго почти десять лѣтъ тому наадъ (въ 1898 г.), извѣстно всей Европѣ; рисунки его у насъ воспроизводились въ „Мірѣ Искусства“, „Вѣсахъ“ и другихъ журналахъ; русское изданіе цѣлаго ряда его произведеній сдѣлано „Шиповникомъ“,—и всего этого оказывается недостаточнымъ, чтобы освѣдомить органъ г. А. А. Суворина.

#### Поправки.

Редакція „Вѣсовъ“ проситъ читателей исправить въ № 6 слѣдующія опечатки. На стр. 3, въ строкѣ 16 сверху, надо читать: „des Neuges“; на стр. 58, въ строкѣ 10-11,—„того безпощаднаго механическаго міровоззрѣнія, какое“; на стр. 60, въ строкѣ 23,—„aeternitatis“; на стр. 61, въ строкѣ 1— „и весьма много“. Въ № 5, на стр. 19, невѣрно напечатана фамилія С. Рафаловича. Въ этомъ № на стр. 43, стр. 10 снизу, надо читать: *librum consecratum*.

# ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

ДЖОЗУЭ КАРДУЧЧИ.

† 16 февраля 1907.

## I.

Внѣ предѣловъ Италіи невозможно, мнѣ кажется, понять вполнѣ значеніе, которое имѣла для насъ душа Джозуэ Кардуччи. Хотя нѣкоторые изъ его стихотвореній были переведены на наиболѣе распространенные европейскіе языки и хотя въ послѣднее время, послѣ того, какъ ему была присуждена премія Нобеля, его имя сдѣлалось извѣстнымъ всѣмъ и каждому, однако, многіе иностранцы были очень удивлены обильными и неистовыми проявленіями печали и энтузіазма, свидѣтелями которыхъ, близкими или отдаленными, они были послѣ того, какъ поэтъ—въ ночь на 16 февраля—угасъ въ тѣни Болонскихъ башенъ.

Это удивленіе иностранцевъ, къ которому, быть можетъ, присоединилась нѣкоторая доля ироническаго сочувствія,—естественно. Со смерти и апогеоза Виктора Гюго не было больше видано, чтобы цѣлая нація была такъ глубоко и на такое продолжительное время потрясена смертью поэта. Когда подумаешь о томъ, что даже такой старшій чиновникъ, циническій государственный человѣкъ, какъ президентъ министровъ Джолити, почувствовалъ необходимость выдать вдругъ значительную сумму на національный памятникъ въ Римѣ въ честь Джозуэ Кардуччи, въ то время, какъ даже самъ Данте до сихъ поръ не удостоился подобной чести; когда подумаешь о томъ, что болѣе двухсотъ тысячъ народу слѣдовали за простымъ гробомъ, заключавшимъ въ себѣ маленькое тѣло поэта, и что изъ каждого окна падали цвѣты и изъ многихъ глазъ—слезы; когда узнаешь, что три города, Болонья, Флоренція и Римъ—оспаривали другъ у друга честь дать мѣсто его могилѣ, какъ греческіе города спорили изъ-за славы назваться мѣстомъ рожденія Божественнаго Слѣпца; когда узнаешь о всѣхъ разсужденіяхъ, стихахъ, статьяхъ, книгахъ, манифестахъ, которые въ эти дни переполнили Италію, всю Италію, всѣ большіе и маленькіе города Италіи, — то, конечно, приходится признать удивленіе вполнѣ законнымъ, потому что иностранцы, которые

читали Кардуччи, мало находили въ немъ такого, что могло бы глубоко затронуть ихъ душу.

Невольно спрашиваешь себя, не имѣемъ ли мы дѣло съ нѣкоторой коллективной галлюцинаціей? Можетъ быть, извѣстный патріотизмъ итальянцевъ, соединенный съ ихъ способностью возбуждать себя до энтузіазма,—возвеличилъ и превознесъ выше мѣры заслуги Кардуччи? Или еще, всѣ эти проявленія скорби и посмертнаго поклоненія, можетъ быть, только литературная поза?

И, надо сознаться, что въ шумной скорби итальянцевъ по Кардуччи было не мало риторики и не мало суетнаго. Многіе постарались воспользоваться смертью великаго, чтобы выставить на видъ самихъ себя, и ученики Кардуччи заняли не послѣднее мѣсто въ этомъ состязаніи надмогильнаго паразитизма. Многіе дѣлали видъ, что они глубоко потрясены „по долгу службы“, многіе—изъ приличія, или изъ подражанія, или ради заработка, или, чтобы снискать себѣ популярность. Многіе, но не всѣ. Не для всѣхъ печаль была только словесная. Не малая часть итальянцевъ,—и, между прочимъ, часто тѣ, которые ничего о томъ не писали и ничего не говорили,—въ самомъ дѣлѣ почувствовала, что нѣкоторая часть души Италіи, нѣкоторая часть ихъ самихъ, и притомъ наиболѣе благородная, умерла съ Джозуэ Кардуччи. Но даже и тѣ, которые писали риторическія статьи и рѣчи, въ глубинѣ чувствовали истину, что исчезла та душа, которая наиболѣе полно представляла собою Италію; что Кардуччи былъ въ нѣкоторомъ родѣ идеальнымъ отцомъ родины, торжественнымъ голосомъ своего народа и богомъ-покровителемъ нашего племени.

Однако, хотя и можно сказать, что итальянцы нисколько не преувеличивали, устроивъ родъ апофеоза умершему поэту, все же приходится признать, что значеніе этой смерти не можетъ быть ни понято, ни оцѣнено иностранцами. Возможно только дать понять, какъ итальянцы любили своего Кардуччи.

## II.

Можетъ быть, Джозуэ Кардуччи былъ послѣднимъ великимъ національнымъ поэтомъ на землѣ. Нѣтъ никакой возможности оцѣнить его поэзію безъ глубокаго знанія Италіи, и не только ея литературы, начинающейся съ Эннія, но и всей ея исторіи, начинающейся съ этрусковъ, и всѣхъ ея горъ, ея рѣкъ, ея легендъ и ея надеждъ.

Это объясняется отчасти происхожденіемъ Кардуччи. Онъ родился въ 1835 г., въ маленькомъ мѣстечкѣ, въ Тосканѣ, близъ Піетра-



Санта, и, слѣдовательно, началъ жить сознательно въ ту эпоху, когда Италія была охвачена первымъ великимъ пожаромъ націонализма, около 1848 г. Въ 1859 г., когда началось дѣйствительное освобожденіе Италіи отъ ига чужеземцевъ, Кардуччи было 24 года и, хотя онъ не могъ слѣдовать за своими друзьями на поля битвы, чтобы не умерла съ голоду его семья,—онъ въ мысляхъ и стихахъ, конечно, пережилъ всѣ тѣ бурные годы. Въ то время въ Италіи было мѣсто только для патріотическихъ чувствъ, и душа Кардуччи, сформировавшаяся въ тѣ годы, уже не могла никогда измѣниться существенно. Онъ зналъ только одинъ міръ—Италію и, такъ какъ для него Италія была воистину центромъ вселенной и должна была обрѣсти вновь все свое величіе, то ему и не казалось, что онъ ограничилъ свой кругозоръ слишкомъ тѣснымъ горизонтомъ.

Но онъ не былъ—замѣтьте это—изъ числа тѣхъ націоналистовъ, которые воспѣваютъ и позыры своей страны и знаютъ только гимны и славословіе для своихъ согражданъ. Энтузіазмъ у Кардуччи современной Италіи длился очень недолго. За героическимъ періодомъ Восстанія, слѣдовалъ періодъ злосчастный и менѣе благородный. Настало время поражений 1866 г., унижений 1870 г., дурного правленія послѣ 1876 г., и Кардуччи сдѣлался сатирикомъ—поэтомъ, суровымъ, саркастическимъ, мятежнымъ, республиканскимъ.

Первые сборники стиховъ Джозуэ Кардуччи, въ особенности „*Levia Gravia*“ (1861—1871) и „*Giambi ed Epodi*“ (1867—1879), полны упрековъ современной Италіи и страстныхъ вызываній Италіи прощлаго. Эти стихи уже становятся мало понятными даже для итальянцевъ и въ художественномъ отношеніи стоятъ гораздо ниже, чѣмъ два великихъ позднѣйшихъ сборника Кардуччи, дающихъ полное представленіе о его поэзіи: „*Rime Nuove*“ (1861—1887) и „*Odi Variaghe*“. Слава античной родины, Римъ и Данте, низость министровъ и ничтожество новыхъ дѣятелей—вотъ обычные темы въ поэзіи Кардуччи ранняго періода.

Позднѣе, вплоть до послѣднихъ лѣтъ жизни, Кардуччи не выходилъ изъ роли ворчливаго, но страстнаго поклонника родной страны; только его поэтический міръ, оставаясь итальянскимъ, расширился и сталъ, скорѣе, латинскимъ. Полнаго выраженія своего генія Кардуччи достигъ въ своихъ языческихъ пѣсняхъ, первой изъ которыхъ былъ знаменитый Гимнъ къ Сатанѣ, который доставилъ ему популярность, но въ то же время возбудилъ противъ него всѣхъ „добромыслящихъ“.

Съ ранней юности Кардуччи любилъ болѣе всѣхъ другихъ поэтовъ — поэтовъ классическихъ и даже, — увы! — лже-классическихъ. Въмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ своихъ друзей онъ основалъ „*La Società degli Amici Pedentila*“, которая изъ Флоренціи своимъ примѣромъ и

язвительными насмѣшками боролась съ плаксивымъ романтизмомъ, который наводнялъ тогда Италію. Слишкомъ силенъ и мощенъ былъ Кардуччи, чтобы онъ могъ сочувствовать слезамъ и всхлипываніямъ и моральнымъ исторіямъ. Скорѣе въ Гомерѣ, чѣмъ въ Новомъ Завѣтѣ, находилъ онъ поэзію своего сердца, и кроткому Иисусу всегда предпочиталъ онъ мягкаго Вергилія. Онъ былъ всегда противъ христіанства и только въ послѣдніе годы обратился не ко Христу, а къ Богу. Но Иисусу онъ не сочувствовалъ никогда и была извѣстна во всей Италіи строфа одного изъ прекрасѣйшихъ его стихотвореній „Alli fonti del clitunno“, гдѣ, намекая на паденіе Рима, онъ говорить:

Più non trionfa, poi che un galileo  
di rosse chiome il Campidoglio ascese,  
gittole in braccio una sua croce, e disse:  
«Portale, e servi».

Поэзія Кардуччи была итальянской и языческой, и оба эти термина значили для него почти одно и то же, потому что язычество казалось ему представителемъ Рима и отреченье отъ христіанскаго духа—національной обязанностью, необходимою, чтобы спасти суровый латинскій духъ отъ нездоровыхъ разслабляющихъ вліяній Востока.

Заклученная въ двойной кругъ язычества и латинизма, поэзія Кардуччи ни въ какомъ случаѣ не однообразна, всѣ человѣческія чувства и поступки воплощены въ ней со всѣми ихъ оттѣнками. Кардуччи—не поэтъ единой пѣсни, какъ его два великихъ современника XIX в., Фосколо и Лепарди, онъ не поэтъ, напримѣръ, только любви, какъ столько другихъ итальянскихъ поэтовъ, и, прежде всего, Петрарка. Въ стихотвореніи „Congedo“, въ „Rime Nuove“, онъ самъ въ быстрыхъ и сильныхъ стихахъ сказалъ, что такое, по его мнѣнію, поэтъ. Это—не нищій и не тунеядецъ, но великій работникъ, трудящійся въ пламенной кузницѣ, подъ взглядомъ Бога.

Ne le fiamme così ardenti  
Gli elementi  
De l'amore e del pensiero  
Egli gitta, e le memorie  
E le glorie  
De' suoi padri e di sua genta.  
Il passato e l'avvenire  
A fluire  
Va nel masso incandescente  
Ei l'afferra, e poi del maglio  
Co' l travaglio  
Ei lo doma su l'incude.

Picchia e canta. Il sole ascende,  
 E risplende  
 Su la fronte e l'opra rude.  
 Picchia. E per la libertade  
 Ecco spade,  
 Ecco scudi di fortezza;  
 Ecco serti di vittoria  
 Per la gloria  
 E diademi a la bellezza...  
 Per sè il pover manuale  
 Fa uno strale  
 D'oro, e il lancia contro il sole;  
 Guarda come in alto ascenda  
 E risplenda  
 Guarda e gode, e più non vuole.

Если можно такъ выразиться, это не составляетъ новой программы; но врядъ ли возможно установить новыя программы для поэзіи. Джозуэ Кардуччи былъ послѣднимъ изъ тѣхъ, кто пѣлъ славу и любовь на „латинскій“ и „итальянскій“ ладъ, обновляя и обогащая эти лады, какъ это дѣлаютъ всѣ гени-традиціоналисты.

Но, въ концѣ-концовъ, нашъ поэтъ вовсе не былъ такъ чуждъ вліяніямъ Сѣвера, какъ то можно заключить на основаніи моихъ словъ. Кромѣ латинскихъ и итальянскихъ писателей, на него имѣли вліяніе и французы, какъ Викторъ Гюго, и нѣмцы, какъ Генрихъ Гейне, и англичане, какъ Перси Биши Шелли. У Гюго взялъ онъ торжественность рѣчи, когда въ его стихахъ являются лирико-историческіе образы; у Гейне—ту сентиментальную иронию, которая такъ странно сочетается съ обычно мужественнымъ и опредѣленнымъ тономъ Кардуччи; Шелли подсказалъ ему одно изъ его прекраснѣйшихъ видѣній: островъ поэтовъ и влюбленныхъ, чудесный островъ по срединѣ моря, гдѣ живутъ вмѣстѣ Ахиллъ и Зигфридъ, Гекторъ и Роландъ, король Лиръ и Эдипъ, Корделія и Антигона, Елена и Изотта.

### III.

Но Джозуэ Кардуччи не былъ только поэтъ. Онъ былъ — и еще болѣе, чѣмъ поэтъ—учитель, и его вліяніе, какъ учителя, на итальянскіе умы второй половины XIX вѣка было особенно сильно. И его собственная поэзія, часто, есть только средство поученія и его приемованные упреки легко могли бы быть изложены въ прозаической проповѣди какого-нибудь пламеннаго Карлейля.

Кардуччи былъ учитель, но не только профессоръ опредѣленной науки. Правда, изъ 16 томовъ его „Сочиненій“ многіе—въ прозѣ и содержатъ въ себѣ труды, обновившіе изученіе нашей исторіи литературы. Кромѣ того, въ теченіе болѣе чѣмъ 40 лѣтъ, Кардуччи читалъ лекціи по итальянской литературѣ въ Болонскомъ университетѣ и не въ формѣ болтовни о томъ и о семъ, но преподавая филологію, объясняя методы, обсуждая варианты рукописей и давая подробные комментаріи къ Данте и другимъ поэтамъ.

Однако, не въ этомъ заключалась его главная роль учителя. Онъ, кромѣ всего этого, былъ, и не словомъ только, но примѣромъ, учитель доблести. Въ странѣ, которая, послѣ обновленія, показала себя низкой, ничтожной, жадной только до выгодъ и способной только къ интригамъ, онъ далъ примѣръ достоинства, твердости, мужества, величія замысловъ. Онъ сталъ обличителемъ Италіи лѣнивой, великимъ учителемъ гнѣва, ночной гвардіей итальянскаго вырожденія. При всѣхъ обстоятельствахъ онъ помнилъ своихъ согражданъ, которые оставались богатыми, но которымъ должно было жить для духовныхъ интересовъ; у которыхъ была родина, но которые должны были сдѣлать ее великой; у которыхъ была славная исторія, но которые должны были продолжать ее,—и онъ кричалъ противъ лицемѣровъ, онъ поносилъ трусовъ, онъ обличалъ льстецовъ, онъ нападалъ съ открытымъ лицомъ и съ силой неодолимаго остроумія на своихъ враговъ; онъ отказывался отъ милости и отъ наградъ и далъ почувствовать даже самымъ жалкимъ литераторамъ красоту великой личности, которая всегда ровна сама себѣ въ своихъ существенныхъ чертахъ даже при смѣнѣ различныхъ убѣжденій. Кардуччи обладалъ именно тѣми добродѣтелями, которыхъ всего болѣе не доставало итальянцамъ, его современникамъ; но, не смотря на то, Италія любила его суровый голосъ, его рѣзкія фразы, его неожиданные приговоры. Если теперь встаетъ въ Италіи молодое поколѣніе писателей, которое всей душой презираетъ толпу интригановъ и дилетантовъ, завладѣвшихъ родной страной,—этимъ мы во многомъ обязаны Джозуэ Кардуччи.

Великій поэтъ язычества и великій воспитатель своего народа,—таковы были благородныя профессіи Кардуччи. Ими онъ и стяжалъ себѣ благодарность всей Италіи. Онъ оставилъ послѣ себя нѣсколько стихотвореній классической красоты, почти совершенныхъ, и онъ оставилъ послѣ себя своихъ согражданъ лучшими, чѣмъ онъ ихъ нашелъ. Теперь понятно, что иностранцы не могутъ такъ любить Кардуччи, какъ мы его любимъ. Но мы никогда его не забудемъ, потому что только изъ его устъ еще разъ прозвучалъ голосъ Алигіери.

Firenze.

Giovanni Papini.

**Gabriele d'Annunzio. Più che l'amore. Fr. Treves. Milano. 1907.**

Въ этой драмѣ д'Аннунціо еще разъ предстаетъ передъ нами во всемъ блескѣ своего ослѣпительнаго дарованія. Онъ выбираетъ своимъ героемъ того, въ комъ горитъ „желаніе быть не человѣкомъ, но чѣмъ-то высшимъ, нежели человѣкъ“, онъ славитъ „непобѣдимую волю“, которая „выше любви“, più che l'amore! Дѣйствіе драмы раскрывается передъ нами въ огненныхъ діалогахъ трехъ главныхъ лицъ, Коррадо Брандо, Маріи и ея брата. И такъ гармонично сливаются съ титаническими чувствами дѣйствующихъ лицъ воспоминанія Брандо о дикой жизни въ Африкѣ, объ охотахъ на львовъ, объ неистовствахъ дикарей, о величавой красотѣ страны пустынь, лѣсовъ и вулкановъ... И не изумляетъ рядомъ съ этимъ многозначительная помѣта автора: „Мѣсто дѣйствія—третій Римъ“.

Въ новой драмѣ д'Аннунціо не сдѣлалъ новыхъ завоеваній: онъ не явилъ новаго лика, сравнительно съ тѣмъ, который выступаетъ въ его великолѣпныхъ „Хвалахъ“ (Laudi), но онъ остался равенъ себѣ, сумѣлъ создать еще одинъ совершенный образецъ своей нѣсколько риторической, но дѣйствительно сильной поэзіи. Какъ извѣстно, „Прелюдія“, „Интермеццо“ и „Эксодъ“—драмы, въ которыхъ д'Аннунціо говорить въ нѣсколько повышенномъ тонѣ о поэтѣ, вызвали цѣлую бурю негодованія въ итальянской печати, — но и въ нихъ д'Аннунціо только вѣренъ самъ себѣ.

Е n r i c o В.

**Giulio Orsini (Domenico Gnoli). Poesie edite ed inedite. Soc. Tip. Ed. Nazionale. Roma—Torino. 1907.**

Доминико Ньоли былъ одинъ изъ наиболѣе серьезныхъ поэтовъ міра Италіи, во времена, когда властвовалъ надъ умами поэтъ-политикъ Кардуччи, ослѣпляя всѣхъ силой своего стиха и достоинствомъ стиля. Но вотъ ужъ нѣсколько лѣтъ Доминико Ньоли, подъ новымъ именемъ Джуліо Орсини, пересталъ быть поэтомъ второго порядка. Болѣе гибкій, чѣмъ д'Аннунціо, болѣе нервный и вдохновенный, чѣмъ Пасколи, Орсини въ своемъ творчествѣ оказался мо-

ложе ихъ, хотя по годамъ онъ и старше. Въ свою лирику онъ бросаетъ полными пригоршнями тѣ сокровища изысканнаго мышленія, тѣ сверкающіе камни философской воли, которые, кажется, являются основнымъ свойствомъ молодого поколѣнія итальянскихъ поэтовъ.

Въ томъ „Poesie edite ed inedite“ собраны всѣ произведенія этого страннаго великаго художника. Какъ извѣстно, раньше другихъ появились стихотворенія за туманной подписью Даріо Галди. Затѣмъ пришла очередь „Тиберійскимъ одамъ“, подписанныхъ настоящимъ именемъ поэта, и въ которыхъ, не извѣстно почему, критика упорно не хотѣла признать ту идеальную и выразительную гибкость, которая такъ характерна для послѣднихъ произведеній поэта. Позже появился „Эросъ“, подъ женскимъ псевдонимомъ Джина д'Арко, содержащій простыя, нѣжно влюбленныя стихотворенія, написанныя, какъ казалось, дѣйствительно женщиной, у которой, подъ вліяніемъ литературы, развилась утонченная чувственная тоска. Наконецъ появилась книга „Между землей и звѣздами“, которая такъ ошеломила и заинтриговала критику таинственностью, окружавшей ея автора. Эта часть сборника, подписанная Джуліо Орсини, хронологически-послѣднее, что далъ намъ пока Доминико Ньюли. Въ ней мы снова видимъ яркій расцвѣтъ поэта и все величіе его романтизма, основное свойство котораго не въ логическомъ изобиліи и рыцарскихъ доблестяхъ великихъ французскихъ романтиковъ прошлаго столѣтія, — но въ утонченномъ слишкомъ безпокойномъ мышленіи поэта.

(Messager de France)

**Arnaldo Cervasato.** *Piccolo Libro degli eroi d'occidente.* Editrice „La Nuova Parola“. Roma 1907.

Въ предисловіи авторъ говоритъ, что для него понятія „герой“ и „мистикъ“ совпадаютъ, только первое менѣе опредѣленно... Въ книгѣ дано 30 портретовъ разныхъ героевъ, или мистиковъ Запада, не столько—характеристикъ, сколько лирическихъ обращеній. Рядомъ съ портретомъ Сократа, Данта, Шекспира, Наполеона, Эдг. По, Рескина, Вагнера, Ибсена, Сегантини—стоятъ портреты Иисуса и Сесилия Родса, Вильгельмини Шредеръ и Маріи Спиридоновой, даже Антигоны и „неизвѣстнаго мистика“. Всѣ характеристики очень коротки, въ 2—3 страницы, но многія написаны ярко и съ одушевленіемъ.

Enrico K:

**G. Papini.** *Il Tragico Quotidiano.* Ed. Lumachi. Firenze 1906.

Рядъ коротенькихъ рассказовъ, не столько художественныхъ, сколько остроумныхъ. Во всемъ сказывается, что Дж. Папини — не

поэтъ, а, скорѣе, мыслитель и публицистъ. Но книга читается съ интересомъ неослабѣвающимъ, и охотно прощаешь автору, что онъ облекъ свои живыя статьи въ несвойственную имъ беллетристическую форму.

Авреліа.

G. Papini. Il Crepuscolo dei Filosofi. Società editrice Lombarda. Milano. 1906.

Книга Дж. Папини направлена вообще противъ философіи, и авторъ „развѣнчиваетъ“ въ ней Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Конта, Спенсера, Ницше... Какъ все написанное Папини, эти страницы обличаютъ перо остроумнаго мыслителя и тонкаго полемиста. Книга кончается словами: я иду, иными путями, къ завоеванію моей божественности.

L.

E. Prezzolini e G. Papini. La Cultura Italiana. F. Lu-  
machi. Firenze 1907.

Книга эта, принадлежащая двумъ „столпамъ“ извѣстнаго передового итальянскаго журнала „Il Leonardo“, Э. Преццолини и Дж. Папини,—вызвала цѣлую бурю въ итальянскихъ литературныхъ кругахъ. Въ ней авторы раскрываютъ жалкое состояніе итальянской культуры, указывая на причины зла и на возможные способы его искорененія, въ связи съ обновленіемъ итальянскаго духа. Для этого необходимо, по мнѣнію авторовъ, пробудить новыя силы, зародить новые бунты противъ архаическаго абсолютизма литературныхъ школъ и вождей, культъ которыхъ слѣпо принять народомъ. Движеніе, во главѣ котораго стоятъ гг. Папини и Преццолини, находитъ все больше и больше приверженцевъ въ Италіи.

(Mereure de France)

# ИСКУССТВА

НЕ ОЦѢНЕННЫЙ ТРУДЪ.

Александръ Бенуа—историкъ искусства.

Недавно только закончилось превосходное изданіе „Русской школы живописи“ съ текстомъ Александра Бенуа. По мѣрѣ выхода выпусковъ приходилось знакомиться съ этимъ текстомъ. Начавъ какъ-то просматривать первые выпуски, я не могъ оторваться и прочелъ опять весь текстъ до конца. Думаю, многіе ловили себя на подобномъ увлеченіи, развернувъ страницы чего-бы то ни было, написаннаго талантливымъ писателемъ и художникомъ.

По своей выдающейся разносторонней талантливости онъ, несомнѣнно,—одна изъ самыхъ крупныхъ величинъ въ современномъ русскомъ искусствѣ. Напримѣръ, его превосходныя иллюстраціи къ „Мѣдному Всаднику“ по прелести и силѣ передачи эпохи, пушкинской поэзіи, по красотѣ, сжатости, гармоніи композиціи, линій, пятенъ—не превзойденный образецъ, образецъ въ буквальномъ смыслѣ, ибо появилось уже не мало подражателей и самое изображеніе эпохи какъ-бы навсегда вылилось въ данную форму. Талантъ и знанія Александра Бенуа, какъ писателя по искусству, какъ цѣнителя и знатока такъ велики, отъ всей его дѣятельности вѣетъ такимъ ароматомъ тонкой художественности и широкой культурности, что не боишься его переоцѣнивать, перехваливать, чувствуя себя ему во многомъ обязаннымъ. И, можетъ быть, именно теперь наступило время говорить о немъ.

Въ самомъ дѣлѣ, именно теперь какъ-то особенно замѣтно проявляется враждебность къ автору „Исторія живописи“, не только принципиальная, но и личная. Я не буду останавливаться на нападкахъ по поводу устройства напумѣвшей „Парижской выставки“: принци-



пiальное и личное здѣсь слишкомъ перепутались и во всякомъ случаѣ личная отвѣтственность должна быть установлена фактически. Но странный характеръ приняли нападки по поводу помѣщенной въ „Золотомъ Рунѣ“ теоретической статьи „Художественныя ереси“, узко и, можетъ быть, преднамѣренно узко понятой. Странно усматривать въ жаждѣ школы, „церковности“—возвращеніе къ академизму и пр., а не исканіе того общаго глубокаго начала, той общей законности, которыя какъ-бы заложены въ основѣ искусства и которыя, если не отрицаютъ, то нарушаютъ крайній индивидуализмъ, связанный съ традиціями въ силу неизбежной преемственности, а не въ силу сознательнаго признанія ихъ основной законности. Въ постановкѣ, можетъ быть слишкомъ категорической, вѣчнаго и животрепещущаго вопроса о сущности искусства усмотрѣли чуть-ли не измѣну своему знамени. Появилась всѣмъ извѣстная некрасивая газетная выходка, гдѣ идейныя исканія были связаны грубо, злобно бездоказательно съ личностью. Нельзя даже полемизировать съ этимъ „опытомъ характеристики“, благодаря его слишкомъ инсинуирующему характеру.

Я понимаю „лакейскій свистъ толпы“—эту своего рода неизбежную музыку, не только встрѣчающую, но и провожающую до конца оригинальный талантъ. Въдѣ у насъ въ особенности, перифразируя Оскара Уайльда, никто не нагибается, чтобы поднять кисть художнику, но такъ охотно нагибаются, чтобы забросать его грязью. Еще понятнѣй, пожалуй, свистъ „низинъ“ художества и „наѣздниковъ прессы“. Но какъ дышать, жить таланту, если и на „вершинахъ“ онъ встрѣчаетъ недостойное отношеніе? Какъ, съ другой стороны, можно, любя, понимая и чувствуя искусство, не любить талантливыхъ людей, не цѣнить ихъ, какъ драгоценность? А, между тѣмъ, замѣчательные труды Александра Бенуа по исторіи живописи даже въ дружественныхъ кругахъ были признаны съ оговорками, а въ обществѣ, среди многочисленныхъ художниковъ другихъ лагерей, встрѣтили мѣстами сильное, рѣзкое порицаніе, и до сихъ поръ далеко не оцѣнены по достоинству.

Краткій текстъ „Русской школы живописи“, конечно, разнится отъ текста „Исторіи живописи въ XIX ст.“ и по общему тону большей исторической безпристрастности, и по самому плану изложенія, и по характеристикамъ нѣкоторыхъ художниковъ, въ особенности современныхъ, и особенно по заключительнымъ страницамъ послѣдняго выпуска, но внутренняя основа, конечно, та же самая и, не претендуя на подробное изслѣдованіе, а задаваясь, главнымъ образомъ, апологитическими цѣлями, оба эти труда можно разсматривать какъ одно цѣлое. Прошло уже пять лѣтъ со времени выхода второго выпуска „Исторіи живописи въ XIX ст.“ Среди появившихся въ

свое время рецензій, отъ обычнаго Буренинскаго „крещенія“, до жалкой по своему полному непониманію живописи и одновременно самоувѣренной ограниченности статьи покойнаго Михайловскаго въ „Русскомъ Богатствѣ“—самой выдающейся была прекрасная статья С. П. Дягилева въ 11-ой книжкѣ „Міра Искусства“ за 1902 г. Но, мнѣ думается, и С. П. Дягилевъ, превосходно оцѣнивъ достоинство труда А. Бенуа и искренно стараясь быть безпристрастнымъ, оказался не вполне правъ въ оцѣнкѣ его недостатковъ; вѣрнѣе сказать, онъ какъ-бы тоже отнесся къ труду съ формальной стороны, упрекая его въ невыдержанности масштаба, исторической перспективы, почти въ уродливости архитектуры, понимая исторію въ общепринятомъ смыслѣ и придавъ, такимъ образомъ слишкомъ большое формальное значеніе заглавію, а не самой сущности.

А вѣдь трудъ Бенуа, прежде всего—превосходный эстетическій и вмѣстѣ историческій трактатъ о русской живописи, и съ этой точки зрѣнія для будущаго историка можетъ быть будущъ драгоцѣненъ даже перспективныя ошибки, какъ яркое выраженіе и искренняго взгляда одареннаго и понимающаго человѣка на современное искусство въ связи съ исторіей. Революціонный свѣтъ новыхъ формъ въ искусствѣ (въ данномъ случаѣ индивидуалистическое теченіе) неминуемо долженъ ослѣплять современниковъ, ибо, вбирая въ себя всѣ предыдущіе лучи, онъ снопомъ падаетъ на современность, оставляя въ тѣни исторію. Удивительно ли, что при подобномъ свѣтѣ многія фигуры должны казаться ярче и крупнѣй, чѣмъ это есть въ дѣйствительности? С. П. Дягилевъ правъ только съ формальной стороны, приводя остроумныя параллели между не лестными или умѣренными оцѣнками знаменитыхъ „стариковъ“ у Бенуа и очень лестными оцѣнками современныхъ и близкихъ ему художниковъ. Ибо для посвященныхъ очевидны абсолютныя оцѣнки первыхъ и относительность послѣднихъ, которыя цѣнятся прежде всего благодаря новому свѣту; очевидно, что здѣсь два неизбѣжныхъ масштаба.

Пусть это незаконно съ точки зрѣнія исторической стройности, историческаго безпристрастія, но, въ противоположность мнѣнію Дягилева, было бы очень печально, если бы Бенуа остановился въ своемъ трудѣ на товариществѣ передвижниковъ и Кіевскомъ Соборѣ. Теперь уже исторически несомнѣнно, что на чисто художественный путь наша живопись вступила только въ нашу эпоху, эпоху сознательнаго торжества индивидуализма, не связаннаго посторонними художеству формулами и задачами. И, въ извѣстной степени, оставляя въ сторонѣ общую мѣрку отдѣльныхъ талантовъ, все предшествовавшее, конечно, было подготовленіемъ настоящаго. Странно было бы, если бы авторъ историко-критическаго труда самъ себя кастрировалъ и не постарался оцѣнить, хотя бы и съ роковымъ преувеличен-

нымъ масштабомъ, огромное уже совершившееся явленіе въ жизни нашего искусства (впрочемъ, въ послѣднемъ его трудѣ — текстѣ „Русской живописи“ и этотъ масштабъ является уже другимъ).

Что-же сказать о нападеніяхъ изъ недружелюбныхъ и прямо враждебныхъ лагерей, изъ „общества“? Здѣсь, какъ водится, цѣплялись за отдѣльныя характеристики, за смѣлыя и страстныя переоцѣнки, даже за неуваженіе къ знаменитымъ именамъ (одинъ знаменитый и „переоцѣненный“ художникъ называлъ даже весь трудъ А. Бенуа пасквилемъ) и уже, конечно, за пристрастіе къ „своимъ“, за подражательность Мутеру, за ненаучность, журнализмъ и пр. Если размѣры дарованій многихъ нашихъ знаменитыхъ художниковъ могутъ возбуждать разногласіе, то размѣры отдѣльныхъ самолюбій почти всегда равны крыловскому волу. Весьма естественно, что здѣсь не только желаніе поставить на свое мѣсто, а даже не абсолютное признаніе, признаніе съ оговорками, считается чуть ли не личнымъ оскорбленіемъ. Трогательная, страстная любовь къ искусству, тонкое пониманіе его, несомнѣнное стремленіе къ добросовѣстной, всесторонней и безпристрастной оцѣнкѣ, здѣсь ни во что не цѣнятся, ибо для cadaго изъ самолюбій *l'art—c'est moi*. Я не стану ссылаться на общія, превосходныя, въ большинствѣ глубоко вѣрныя характеристики эпохъ и направленій въ нашемъ искусствѣ, на поразительно любовныя, превосходныя характеристики отдѣльныхъ художниковъ, особенно старыхъ мастеровъ, гдѣ, какъ въ классическихъ изданіяхъ, ничего нельзя ни прибавить, ни убавить, и ограничусь только однимъ, но за то блестящимъ примѣромъ критическаго чутья Бенуа, а именно—переоцѣнкой В. Васнецова. Въ свое время эта переоцѣнка казалась почти крайней дерзостью, вызвала особенно много нареканій на автора „Исторіи“, и, какъ извѣстно, была недружелюбно встрѣчена даже въ родномъ гнѣздѣ, т. е. въ кружкѣ „Міра Искусства“. И что же? Не стало ли многое изъ переоцѣнки Бенуа сейчасъ общимъ мѣстомъ, не подтвердилъ ли многое самъ Васнецовъ своими послѣдними работами? Относительность и неправильность масштаба со временемъ выяснятся, но правильная абсолютность оцѣнки останется навсегда одинакова въ характеристикахъ „своихъ“ и чужихъ.

Страстность, субъективизмъ, эстетизмъ изслѣдованія вызывали тоже не мало нареканій, особенно среди „людей науки“, отъ которыхъ и исходили обвиненія въ ненаучности, журнализмѣ и пр. Какъ извѣстно, существуетъ особая разновидность ученыхъ специалистовъ—специалистовъ по искусству, не понимающихъ искусства. Признаками научнаго труда для нихъ являются прежде всего—буквоедство, сухость изложенія, безпристрастіе, сводящееся къ безразличію въ оцѣнкѣ памятниковъ искусства вслѣдствіе внутренняго

непониманія того, что хорошо и что дурно, обширныя „введенія“ и общія компилятивныя историческія обозрѣнія, біографическія даты, проявленія эрудиціи въ видѣ ссылокъ, выносокъ, перечисленій „трудовъ“ и прочій, безъ нужды загромождающій балластъ, часто свидѣтельствующій только о томъ, что авторъ—весьма туго набитый чемоданъ. Подобные признаки не бросаются въ глаза въ компактныхъ книгахъ Бенуа. Но развѣ не чувствуется при ихъ чтеніи, что въ нихъ сказано очень много, что онѣ—результаты именно большихъ познаній, большой эрудиціи, что самая сжатость ихъ, такъ сказать, очень полна, что основная подкладка здѣсь, общая широкая образованность и культурность? Развѣ не чаруютъ онѣ, помимо проникающей ихъ художественности, именно отсутствіемъ черстватаго педантизма, научной сухости, того научнаго балласта, который дѣйствительно такъ напоминаетъ сыпавшуюся изъ набитаго чемодана труху, ровно ничего не говорящую о существѣ дѣла?

Александръ Бенуа—прежде всего художникъ. Его книга—широкая историческая картина русской живописи, написанная чуткимъ, даровитымъ, искреннимъ, влюбленнымъ въ искусство и очень свѣдущимъ художникомъ, и въ этомъ смыслѣ она является первымъ и единственнымъ пока у насъ произведеніемъ и никогда не потеряетъ цѣны, какъ попытка освѣтить исторію свѣтомъ эстетики, какъ попытка новой системы, гдѣ научный трудъ тѣсно сливается съ художественнымъ. Отсюда, помимо прелести изложенія,—ея обаятельность, отсюда необходимость относиться къ ней не только какъ къ исторіи, но и какъ къ критическому изслѣдованію и своего рода художественному произведенію. Смѣшно при такомъ пониманіи чисто формальное отношеніе съ обычными требованіями сухой и мертвой историчности, пресловутаго безпристрастія и пр.

Пора-же, наконецъ, цѣнить дѣйствительно цѣнное, „воздавать должное“. Пора въ данномъ случаѣ не только пить изъ источника, а и благодарно указывать на него, охранять его. Пора сказать, что многіе взгляды, характеристики и оцѣнки Бенуа сдѣлались общими, что о русской живописи, о русскихъ художникахъ сплошь и рядомъ судятъ и говорятъ „по Бенуа“ даже многіе его хулители.

А. Ростиславовъ.

## БИБЛЮГРАФІЯ.

**Louis Delteil.** Le peintre-graveur illustré. Tome Second. **Charles Meryon.** Paris. 1907. Chez l'auteur, 22 Rue des Bons-Enfants.

Въ прошломъ году мы имѣли здѣсь случай набросать краткую характеристику Меріона по поводу изданія „Etchings of Charles Meryon“. Теперь передъ нами лежитъ полный catalogue raisonné всѣхъ произведеній знаменитаго графика, составленный г. Дельтейлемъ съ большимъ умѣніемъ и любовью. А трудъ былъ тѣмъ болѣе кропотливъ, что самыя полныя коллекціи меріоновскихъ офортовъ находятся по ту сторону канала и даже океана. Дельтейль подробнѣйшимъ образомъ описываетъ всѣ офорты Меріона во всѣхъ états,— а послѣднихъ у мастера иногда бывало до 10,—съ указаніемъ ихъ теперешнихъ владѣльцевъ и цѣнъ, послѣдовательно достигнутыхъ на большихъ художественныхъ аукціонахъ, начиная съ первыхъ опытовъ и копій, вплоть до мелкихъ эстамповъ, въ родѣ шутиловыхъ политическихъ ребусовъ, не пропуская даже мало интересныхъ заказныхъ работъ. Гравюры воспроизведены цинкографіей, подчасъ даже въ нѣсколькихъ états, а иногда съ прибавленіемъ чрезвычайно интересныхъ подготовительныхъ рисунковъ-набросковъ.

Текстъ каталога ограничивается лишь сжатымъ, но обстоятельнымъ біографическимъ очеркомъ Меріона. Къ нему приложены отрывки изъ писемъ Бодлера, бросающихъ свѣтъ на нѣкоторыя стороны психики одинокаго графика и тяжелыя условія его матеріальной жизни, и отрывки изъ нежданной до сихъ поръ рукописи Меріона „Mes observations sur l'article de la Gazette des Beaux-Arts“, написанный по поводу статьи Филиппа Бюрти (Burthy) объ офортахъ мастера. Эти послѣднія замѣтки,—чрезвычайно интересная автокритика,—были найдены у одного парижскаго торговца эстамповъ и теперь принадлежатъ нѣкому г. Бенедикту въ Америкѣ.

П. Эттингеръ.

**Vincent Van Gogh.** Briefe. Deutsche Ausgabe besorgt von M. Mauthner. Berlin. 1907. Verlag Bruno-Cassirer.

Почитатели и цѣнители художника Ванъ Гога, по прочтеніи этого сборника его писемъ, безъ сомнѣнія, полюбятъ и человѣка Ванъ Гога. А кто теперь не цѣнитъ произведеній этого оригинальнаго живописца-колориста и рисовальщика, подкупающаго такимъ своеобразнымъ горячимъ темпераментомъ и принадлежащаго къ тѣмъ типамъ художниковъ, которые въ своихъ картинахъ, по словамъ

Миллэ, у mettent leur peau! Жаль, что этотъ первый сборникъ его писемъ, часть которыхъ уже появлялась въ „Mercure de France“ и „Kunst und Künstler“, изданъ такъ отрывочно, такъ мало любовно и безъ настоящаго пѣтета. Письма направлены къ брату художника, Теодору Ванъ Гогу, торговцу картинъ въ Парижѣ, и къ живописцу Эмилю Бернару, другу Гогэна. Это—единственныя указанія, которыя дѣлаетъ издатель; но—увы!—нигдѣ нѣтъ намека на мѣсто и время отправки писемъ и отрывковъ, и лишь по содержанию знакомый съ главными этапами жизни Ванъ Гога можетъ приблизительно возстановить ихъ хронологію. Такъ, первыя письма, очевидно, писаны изъ Голландіи и Фландріи, въ первой половинѣ восьмидесятыхъ годовъ, остальные—послѣ пребыванія художника въ Парижѣ въ 1886 г. изъ Арля и Санъ Реми, въ Провансѣ, вплоть до прибытія Гогэна, имѣвшаго мѣсто въ концѣ 1888 г. за два года до насильственной кончины Ванъ Гога въ больницѣ.

Но даже въ такомъ отрывочномъ, сокращенномъ видѣ письма Ванъ Гога прямо обаятельны своей глубокой искренностью и проникновенностью, и изъ нихъ вырисовывается удивительно привлекательная художественная личность съ неизмѣнно высокимъ діапазономъ творческаго идеала и со всѣмъ трагизмомъ неизбежнаго одиночества крупной индивидуальности. Сынъ Сѣвера, выросшій среди гладкихъ равнинъ Голландіи и ея мягкой прибрежной атмосферы, воспитанный на живописи старыхъ голландскихъ мастеровъ, Ванъ Гогъ чувствуетъ непреодолимое тяготѣніе къ ярко-солнечному Югу, какъ будто болѣе близкому его пламенной душѣ, и среди ослѣпительно красочныхъ симфоній южной Франціи окончательно находитъ самого себя, какъ живописца. Переписка краснорѣчиво отражаетъ весь восторгъ, испытываемый прирожденнымъ колористомъ отъ залитаго солнцемъ, живописнаго и жизнерадостнаго Прованса. Рядомъ съ этимъ рисуются огромныя техническія трудности, выдвигаемая трактовкой небывало смѣлыхъ задачъ, которыя ставитъ себѣ Ванъ Гогъ. Не смотря на частыя физическія страданія, онъ въ этотъ періодъ работалъ лихорадочно, какъ будто предчувствуя, что ему не много осталось времени для довершенія своего творчества. Съ какой-то яростью онъ набрасывался на обожаемый югъ, стараясь силой вырвать всѣ тайны его солнечныхъ чаръ. Эта страстность одинаково выражена въ бѣшеныхъ мазкахъ и линіяхъ его этюдовъ, какъ и въ письмахъ, испещренныхъ техническими деталями. Какъ нельзя лучше, здѣсь можно къ самому Ванъ Гогу примѣнить цитату, приведенную имъ въ одномъ изъ писемъ: „Делакруа пишетъ какъ левъ, который пожираетъ кусокъ мяса.“

П. Эттингеръ.

---

Редакторъ-издатель С. А. ПОЛЯКОВЪ.

## КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „СКОРПИОНЪ“.

Москва, Театральная пл., д. Метрополь, кв. 23.

## Книги К. Д. Бальмонта.

Жаръ Птица. Свирѣль Славянина. Обложка К. Сомова (хромолитографія въ 14 красокъ). М. 1907. Ц. 2 р., для подписчиковъ „Вѣсовъ“ 1 р. 70 к. съ пересылкой.

Книга только-что появилась въ продажѣ.

Полное собраніе стиховъ. Томъ I. („Подъ Сѣвернымъ Небомъ“, „Въ безбрежности“, „Тишина“). М. 1905. Ц. 2 р., для подписчиковъ „Вѣсовъ“ 1 р. 70 к. съ пересылкой.

Полное собраніе стиховъ. Томъ II. („Горящіа Зданія“, „Будемъ, какъ солнце“). М. 1904. Ц. 3 р., для подписчиковъ „Вѣсовъ“ 2 р. 55 к. съ пересылкой.

Эдгаръ По. Собраніе сочиненій въ переводѣ К. Д. Бальмонта. Томъ II. Разказы, статьи. М. 1905. Ц. 1 р. 30 к., для подписчиковъ „Вѣсовъ“ 1 р. 10 к.

Оскаръ Уайльдъ. Тюремная баллада. Переводъ размыромъ подлинника К. Д. Бальмонта. Обложка (портретъ О. Уайльда) М. Дурнова. М. 1904. Ц. 50 к., для подписчиковъ „Вѣсовъ“ 35 к. съ пересылкой.

## Сѣверные Цвѣты Ассирійскіе.

Альманахъ четвертый, книгоиздательства „Скорпионъ“. Стихи, разказы, драмы К. Бальмонта, Валерія Брксова, Вяч. Иванова, З. Гиппіусъ, Н. Минскаго, Ѳ. Сологуба, А. Ремизова, М. Криницкаго и др. Обложка, пять рисунковъ во всю страницу и концовки работы Н. Теофилактова по образцамъ ассирійскаго искусства. Рисунки воспроизведены въ 3 краски. М. 1905. Стр. 252+VIII. Цѣна понижена—3 р. (вмѣсто 6 р.); для подписчиковъ „Вѣсовъ“ пересылка бесплатно.

Въ альманахѣ помѣщена драма въ 3 картинахъ К. Д. Бальмонта „Три Расцвѣта“.

Подписчиковъ „Вѣсовъ“, желающихъ воспользоваться скидкой съ цѣны, просятъ обращаться непосредственно въ книгоиздательство.

Полный иллюстрированный каталогъ к-ва „Скорпионъ“ (№ 5), по первому требованію высылается бесплатно.

## «В Ъ С Ы»

1907. ГОДЪ ИЗДАНІЯ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Въ „Вѣсахъ“ печатаются романы, повѣсти, рассказы, сказки, драматическія произведенія, стихотворенія и т. под., какъ оригинальные и переводные. Имѣя собственныхъ корреспондентовъ во всѣхъ центрахъ умственной жизни, „Вѣсы“ могутъ давать своевременные и самостоятельные отчеты о всѣхъ выдающихся художественныхъ выставкахъ, лекціяхъ, театральныхъ и музыкальныхъ исполненіяхъ и т. под. Въ подробной библиографіи ежемѣсячно даются отзывы о новыхъ книгахъ, появившихся на русскомъ, польскомъ, чешскомъ, французскомъ, нѣмецкомъ, англійскомъ, итальянскомъ, шведскомъ, норвежскомъ, ново-греческомъ и другихъ европейскихъ языкахъ.

Въ области художественной „Вѣсы“ стараются знакомить читателей съ произведеніями современной живописи и графики, русской и иностранной. „Вѣсы“ стремятся къ тому, чтобы помѣщаемые рисунки по возможности, точно, fac-simile, воспроизводили оригиналы. Въ каждомъ № „Вѣсы“ даютъ отъ одного до четырехъ рисунковъ на отдельныхъ листахъ, исполненныхъ въ одинъ тонъ или въ нѣсколько красокъ литографіей, фототипіей, цвѣтной автотипіей и др. способами печатанія. Текстъ, кромѣ того, украшается художественными заставками и концовками.

Въ „Вѣсахъ“ участвуютъ писатели: Ю. Айхенвальдъ, пр.-доц. Е. Аничковъ, Ю. Балтрушайтисъ, К. Бальмонтъ, Н. Бердяевъ, А. Блокъ, И. Бороздинъ, Валерій Брюсовъ, А. Бѣлый, М. Волошинъ, Эсмеръ-Вальдоръ, Ренэ Гиль (Парижъ), Э. Гиппиусъ, С. Городецкій, И. Грабаръ, Жанъ и Реми де Гурмонъ (Парижъ), О. Дымовъ, С. Ещбюевъ, Вяч. Ивановъ, А. Кондратьевъ, А. Курсинскій, М. Кузминъ, Н. Лернеръ, М. Ликіардопуло, А. Лютеръ, Д. Мережковский, Н. Мнискій, В. Морфилъ (Оксфордъ), П. Муратовъ, С. Мазонъ (Лондонъ), П. Нирванна (Авиньонъ), Дж. Папини (Флоренція), Н. Петровская, Ст. Пшибышевскій, В. Розановъ, Б. Садовской, В. Саводникъ, Арт. Симонъ (Лондонъ), С. Соловьевъ, Э. Сологубъ, Евг. Тарасовъ, М. Шикъ (Берлинъ), Д. Философовъ, К. Чуковский, Эллисъ, П. Эттингеръ, пр. доц. А. Яценко и мн. др.

Художники: Л. Бакстъ, К. Брунелески, К. Вальзеръ, Ф. Кристофъ, П. Кузнецовъ, Гордонъ Крагъ, Ш. Лакостъ, В. Миліоти, Л. Пастернакъ, Н. Рерихъ, Т. ванъ Риссельбергъ, Од. Радонъ, Н. Сапуновъ, К. Сомовъ, С. Судейкинъ, Фидусъ, М. Шестеркинъ, Н. Теофилактъ и мн. др.

„Вѣсы“ печатаются на лучшей бумагѣ верже, специально изготовленной для этого изданія, и выходятъ ежемѣсячно (12 №№ въ годъ) тетрадями отъ 80 до 100 и болѣе страницъ.

Условія подписки: годъ съ доставкой и пересылкой по всей Россіи—пять руб., полгода—три рубль. Заграницу—семь рублей.

Всѣ подписчики „Вѣсовъ“ на 1907 годъ пользуются при выпискѣ изъ редакціи изданій к-ва „Скорпіонъ“—скидкой отъ 15 до 50%. Подписка на „Вѣсы“ принимается: 1) въ Москвѣ, въ главной конторѣ жупала—Театральная площадь, домъ Метрополь, кв. 23, книгоиздательство „Скорпіонъ“, тел. 50-89; 2) въ С.-Петербургѣ, въ отдѣленіи конторы—Садовая, 18, книжный складъ „Комиссіонеръ“; 3) въ Кіевѣ—въ магазинѣ Л. Издиковскаго, Крестьянскъ, 29; 4) въ Берлинѣ—у Edm. Meyer, Buchhandl., Berlin W. Potsdamerstrasse 24 в.; 5) во всѣхъ большихъ книжныхъ магазинахъ Москвы, С.-Петербурга и провинціи.

Редакторъ-издатель С. А. ПОЛЯКОВЪ.



Slav 30.17

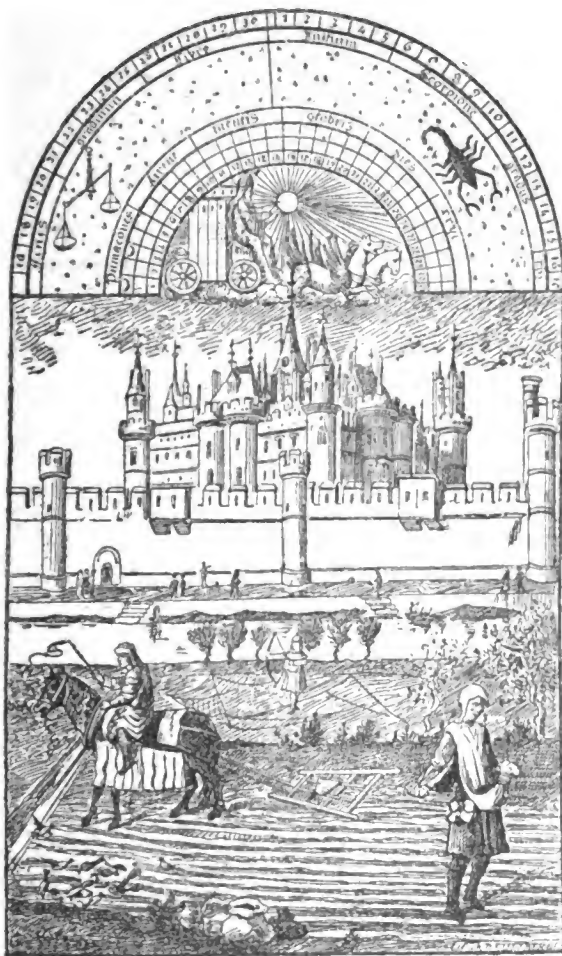




ВѢСЫ ☉ АВГУСТЪ ☉ 1907

**La Balance. Août. 1907.**

Годъ изданія четвертый. Quatrième année.



**Библиоиздательство «СКОРПИОНЪ»**

Москва, Театральная пл., д. Метрополь, кв 23  
Moscou, Place de Théâtre, m. Métropole, 23

# «ВѢСЫ» ЕЖЕМѢСЯЧНИКЪ ИСКУССТВЪ И ЛИТЕРАТУРЫ.

Годъ изданія четвертый. 1907. N 8, августъ.

## СОДЕРЖАНІЕ.

### Стихи, повѣсти, статьи по общимъ вопросамъ.

Евдоръ Сологубъ. Стихи. . . . .	5
Сергѣй Соловьевъ. Стихи. . . . .	9
Евгеній Тарасовъ. Стихи. . . . .	15
З. Гиппіусъ. Сокатиль. Разсказъ. . . . .	17
Валерій Брюсовъ. Огненный Ангелъ. Повѣсть XVI в. Глава VI. . .	25
Борисъ Бугаевъ. На перевалѣ. VI. Дѣтская свистулька. . . . .	54

### Литература. Русская литература.

С. Городецкій. Тѣнь прочтенной книги. (К. Бальмонтъ «Жарь-птица».) . . . . .	59
Эллисъ. Поворотъ. (Альманахи изд. «Шиповникъ», кн. II). . . . .	65
Эллисъ. Въ защиту декадентства. (По поводу статьи Н. Бердяева). . .	69
Антонъ Крайній. Анекдотъ объ испанскомъ королѣ. . . . .	72
А. Курсинскій. Веселая книга. («Сполохи»). . . . .	75
Замѣтки. Некрологъ. — Rossica.—«Золотое Руно». — О Горестныхъ Замѣтахъ. . . . .	78
Новыя книги. . . . .	81

### Французская литература.

Ренэ Гиль. Новая книга Верлена. . . . .	83
Ренэ Гиль. По поводу новой книги Верхарна. . . . .	89
Библиографія. (Péladan. Le Nimbe noir.—Paul Claudel. Art poétique.—Le même. Connaissance de l'Est.—Publications récentes). . .	96

### Искусства.

Н. Чуриковъ. Московскій балетъ. . . . .	99
---	----

### Рисунки.

Е. Инго. «Бубенчики» и «Огни» Два неизданныхъ рисунка. Передъ стр. 33 и 49	
Ф. Косси. Портретъ Э. Верхарна. . . . .	95
Автопортретъ П. Верлена. . . . .	88
Виньетки—со старинныхъ гравюръ, воспроизводящихъ античныя камни.	
Обложка и надписи (стр. 59 и 99) Н. Теофилактова.	
Фронтисписъ—миниатюра XIV в.	

HARVARD COLLEGE LIBRARY  
GIFT OF  
ARCHIBALD CARY COOLIDGE  
NOV 14 1922

## СОДЕРЖАНИЕ.

### SOMMAIRE.

F. Sologoub, S. Solovieff et E. Tarassoff. Poèmes.—Z. Hippus. Il est descendu, Nouvelle.—Valère Brussov, L'Ange igné, Roman de la vie allemande du XVI siècle, Chap. VI.—Boris Bougaëff, L'appau d'enfant.

Littérature russe. S. Gorodetzky, Le nouveau livre de C. Balmont.—Ellis, L'Almanach de la librairie «Chipovnik».—Le même, En défense de la «décadance».—Anton Kraïny, M. Georges Tchoulkoff et l'Europe.—A. Koursinsky, Un livre amusant.—Notes.—Accusés de réceptions.

Littérature française. René Ghil, Un nouveau livre de Verlaine. — Le même, A propos d'un livre de Verhaeren. — Bibliographie. (Comptes-rendus sur les livres de MM. Péladan et Paul Claudel).—Publications récentes.

Théâtre. N. Tchurikoff, Le ballet à Moscou.

Dessins. E. Ingo, «Les Feux» et «Les Grelots». Deux dessins inédits, (Hors texte). — Autoportrait de P. Verlaine (p. 88).—F. Caussey, Portrait d'E. Verhaeren (p. 95). — En-têtes et culs de lampe d'après les gravures anciennes des camées antiques. — Couverture et inscriptions (pages 59 et 99) par N. Théophilaktoff.—Frontispice—miniature du Livre d'Heures du duc de Berri.







## СТИХИ Θ. СОЛОГУБА.

### 1. ЧОРТОВЫ КАЧЕЛИ.

Въ тѣни косматой ели,  
Надъ шумною рѣкой  
Качаетъ чортъ качели  
Мохнатою рукой.

Качаетъ и смѣется,—  
Впередъ,—назадъ,—  
Впередъ,—назадъ,—  
Доска скрипитъ и гнется,  
О сукъ тяжелый трется  
Натянутый канатъ.

Снуетъ съ протяжнымъ скрипомъ  
Шатучая доска,  
И чортъ хохочетъ съ хрипомъ,  
Хватаясь за бока.

Дѣржусь, томлюсь, качаюсь,  
Впередъ,—назадъ,—  
Впередъ,—назадъ,—  
Хватаюсь и мотаюсь,  
И отвести стараюсь  
Отъ чорта томный взглядъ.

Надъ верхомъ темной ели  
Хохочетъ голубой:  
— Попался на качели,  
Качайся, чортъ съ тобой!

Въ тѣни косматой ели  
Визжать, кружась гурьбой:  
— Попался на качели,  
Качайся, чортъ съ тобой!

Я знаю, чортъ не бросить  
Стремительной доски,  
Пока меня не скосить  
Грозящій взмахъ руки,

Пока не перетрется,  
Крутяся, конопля,  
Пока не подвернется  
Ко мнѣ моя земля.

Взлечу я выше ели  
И лбомъ о землю—трахъ!  
Качай же, чортъ, качели,  
Все выше,—выше,—ахъ!



## СТИХИ.

2

Что было, будетъ вновь.  
Что было, будетъ не однажды.  
Съ водой смѣшаю кровь  
Устамъ, томящимся отъ жажды.

Придетъ съ высокихъ горъ.  
Я жду. Я знаю,—не обманеть.  
Глубокъ зовущій взоръ.  
Стилетъ остеръ, и сладко ранить.

Моихъ коснется плечъ,  
Приникнетъ въ тайнѣ бездыханной,  
Потомъ затопить печь,  
И тихо сядетъ ждать за ванной.

Звѣнящія струи  
Прольетъ, открывъ неспѣшно краны,  
И брызнетъ на мои  
Легко означенныя раны.

И дверь мою замкнетъ,  
И тайной зачаруетъ стѣны,  
И, томная, войдетъ  
Въ мои пустѣющія вены.

Съ водой смѣшаю кровь  
Устамъ, изсохнувшимъ отъ жажды.  
Что было, будетъ вновь.  
Что было, будетъ не однажды.

Федоръ Сологубъ.





## СТИХИ С. СОЛОВЬЕВА.

І.

Ты взманила къ вешнимъ трелямъ,  
Воззывающая вновь  
Дни, когда, хмѣлень апрѣлемъ,  
Я ввѣрялъ лѣснымъ свирѣлямъ  
Запѣвавшую любовь.

Для мечты моей бездомной  
Дверь былого отперта.  
Ты склонилась въ нѣгѣ томной:  
Взоръ зеленый, голосъ дремный,  
Лепестковая уста.

Снова счастья отголоски  
Вняты сердцу моему:  
Ты, дитя, въ простой причесѣ,  
Рѣзво мчишься, гдѣ березки  
Внизъ сбѣгаютъ по холму.

Словно льдина раскололась  
Отъ весенняго огня.  
Золотится зыбкій волосъ,  
И звенить свирѣльный голось,  
Призывающій меня.



## 2.

Я блуждалъ въ лѣсу родимомъ,  
Гдѣ звенѣла тишина;  
Гдѣ зеленымъ сладкимъ дымомъ  
Разливалась по полянамъ  
Грустно-синяя весна.

Ты ль, дитя, съ глазами нимфы,  
Мнѣ являлась въ тѣ часы,  
Отряхая гіацинѣы,  
Вѣя запахомъ медвянымъ  
Золотой твоей косы?

Въ небѣ, ласково-хрустальномъ,  
Таялъ трепетный апрѣль.  
Шель я отрокомъ печальнымъ,  
И томилась такъ напѣвно  
Сердца нѣжная свирѣль.

Солнце низилось къ березѣ.  
Шель я, плача и любя...  
Въ этой отроческой грезѣ,  
Узкоокая царевна,  
Я предчувствовалъ тебя!



3.

Таюгъ тайныя печали  
О красѣ твоихъ очей.  
Всѣ свирѣли отзвучали!  
Только будить долъ молчаній  
Гулко-люющійся ручей.

Какъ прозрачно, какъ лазурно  
Въ звонкой грусти хрусталей!  
И небесъ широкихъ урна  
Въ золотыя каплетъ чаши  
Синій, тающій елей.

Здѣсь я шелъ съ тобою, нѣжной,  
Гдѣ теперь разоблаченъ  
Рай далекій, рай безбрежный.  
Кто воздвигъ въ осеннемъ храмѣ  
Сводъ серебряныхъ колоннъ?

На берегахъ бѣлоствольныхъ  
Никнуть листья, не дыша.  
И въ лобзаніяхъ безбольныхъ  
Овѣвается вѣтрами  
Утомленная душа.

Сергѣй Соловьевъ.







## СТИХИ Е. ТАРАСОВА.

### АЗІЯ.

Уводятъ взоръ ряды отроговъ Камня.  
Простерты вверхъ зубцы и острія.  
За Камнемъ—ночь. Тамъ родина моя,  
Тамъ Азія, которая дала мнѣ,  
Во тѣмъ вѣковъ, святыню бытія.

На гребняхъ горъ—дозорные—деревья,  
Шумятъ, шуршатъ и смотрятъ на востокъ.  
Тамъ виденъ имъ запруженный потокъ,  
Тамъ видятся имъ дальнія кочевья  
Тѣхъ, чей приходъ, быть можетъ, не далекъ.

О, Азія, не разъ уже позоромъ  
Покрывшая двуликаго орла!  
Быть можетъ, вновь отточена стрѣла,  
И видятъ тѣ, кто выставленъ дозоромъ,  
Какъ движется твоя живая мгла.

Быть можетъ, вновь губительныя орды  
Извергнешь ты изъ тѣсной имъ тюрьмы—  
И рухнетъ храмъ, что долго строимъ мы,  
И сгинетъ все, чѣмъ были мы такъ горды,  
О, Азія, дочь мрака и чумы!

Быть можетъ, вновь, святая, изъ-за Камня  
Ты въ грудь мою направишь лезвія—  
Но миръ тебѣ, о, родина моя,  
Но миръ тебѣ, которая дала мнѣ  
Проклятіе и радость бытія!

Евгеній Тарасовъ.



## СОКАТИЛЬ.



РАЗСКАЗЪ.

Собираются.

Метелица мететь, на улицѣ зги не видать. Въ калитку идутъ Василь-Силантьичеву. На крыльцѣ снѣгу натоптали, и въ сѣняхъ натоптали. Идутъ и въ одиночку, и парами, и тройками.

Ночь темная, метельная, да хоть бы и не такъ—опаситься да хорониться много нечего: вся Ефремовка—все свои, вѣрные. А село Крутое—шесть верстъ. Да и тамъ своихъ много. Семень Дорофеичъ самъ въ Крутомъ проживаетъ. Въ Ефремовку ѣздитъ, потому что у Василь-Силантьича изба очень приспособленная.

Горница такая есть, пристроена, во дворъ вся, и безъ оконъ.

Тамъ и собираются.

Дарьюшка пришла съ мужемъ, Иванъ Оедотычемъ. Во дворѣ съ другими повстрѣчались. Идутъ всѣ, закутанные, съ узелками.

Въ передней избѣ у Василья Силантьича ужъ былъ народъ. Рядомъ съ хозяиномъ, впереди,—сидѣлъ самъ батюшка, Семень Дорофеичъ, рослый, не старый,—да и не молодой, борода вся сѣрая.

Кто приходилъ—низко кланялись, здоровались.

Сѣла и Дарьюшка на лавку, въ рядъ, гдѣ бабы сидѣли. Темный платокъ пониже подвинула.

Молчали. Да и дверь все хлопала: все новые братцы и сестрицы приходили, кланялись, здоровались и садились поодаль.

вѣсы.

Потомъ дверь перестала хлопать. Иванушка, сынъ Василья Силантыча, вышелъ на дворъ, — посмотрѣть, неидетъ ли еще кто, и замкнуть ворота.

Съ нимъ вошелъ одинъ запоздалый. А больше ужъ никто не приходилъ,—всѣ.

— Всѣ ли?—еще спросилъ Семень Дорофеичъ.

А потомъ всталъ, за нимъ мужчины встали, придерживая узелки, и пошли черезъ сѣни въ дальнюю дверь.

Тамъ—другія сѣни, теплыя, и боковушка, гдѣ одѣвались.

Всѣмъ порядки были привычны, всякъ зналъ дѣло, а потому не случилось ни суеты, ни неустройства. Сестры остались смирно сидѣть, и, когда мужчины одѣлись,—пошли тоже въ боковушку одѣваться.

Разговоровъ пустыхъ не было. Торопились, молчали.

Дарьюшка проворно скинула съ себя все: чулки, башмаки, скинула и рубашку,—и привычно и ловко набросила на себя другую, вынутую изъ узелка, съ широкими и длинными, до самыхъ пятъ, рукавами. Поверхъ еще завязала бѣлую юбку. Въ узелкѣ все было: и платокъ, и косынка. Старая Анфисушка не скинула чулокъ, потому что у нея ноги были больныя; а прочія сестры всѣ босикомъ.

Свѣчки позажигали одна у другой, и пошли молча черезъ сѣни въ радѣльную.

Лица у всѣхъ, и у старыхъ, и у молодыхъ, теперь были не такія строгія и скучныя, какъ въ избѣ подъ темными платками. Отъ зажженныхъ свѣчей, вѣрно,—засвѣтились, потеплѣли.

А въ радѣльной было еще теплѣе и свѣтлѣе. Свѣтлѣе, чѣмъ церковь въ Христовскую заутреню. По бревенчатымъ стѣнамъ безъ оконъ горѣли пуки свѣчей, и сверху, съ потолка,—«люстра» со свѣчьми. На полу—холстъ чистый крѣпко натянутъ.

Братья сидѣли на лавочкахъ, по стѣнамъ. Семень Дорофеичъ—на лавкѣ, въ углу, у стола, перекрещеннаго длинными платками, на которыхъ лежалъ мѣдный крестъ.

Дарьюшка знала, что не во многихъ корабляхъ есть такія устроенныя, обширныя радѣльныя,—и радовалась. Она привычно и крѣпко вѣрила, что ходитъ въ истинѣ и любила радѣнья.

Сама, впрочемъ, хотъ и кружилась много, и въ одиночку, и въ схватку знала, и круговыя и стѣнчныя у нихъ случались, и веселье и умиленіе утомленное, бывало, сходили въ нее, — но сама никогда еще въ духѣ не хаживала и не пророчествовала. «По недостоинству моему», говаривала она привычно. Въ Дарьюшкѣ, какъ она ни кружилась и ни пьянѣла, все оставалось что-то будто неподвижное, невсколыхнутое, туповатое.

У нея и лицо было такое: ясное, лѣнивое, круглое, какъ яичко, не по лѣтамъ молодежавое. А ей ужъ шель двадцать восьмой годъ.

Когда «празднички удавались», когда много радѣли, много пророчествовали, пьянѣли отъ святаго «пивушка», — случалось и «грѣхъ истреблять грѣхомъ»; Дарьюшка со всѣми, изнеможенная, падала на полъ и, когда гасли свѣчи, — принимала жениха, «какого духъ укажетъ». Принимала просто, просто вѣруя, что такъ надо. Но и этотъ «святой грѣхъ» никогда еще не растапливалъ въ конецъ ея неподвижнаго спокойствія; а ужъ про грѣхъ не святой, плотскій, мірской, — говорить нечего. Дарьюшка совсѣмъ дѣвченкой вышла за пожилого Ивана Ѳедотыча. Онъ тогда только присматривался къ истинной вѣрѣ. Ну, самое первое время и жили, какъ всѣ живутъ. Да въ скорости Иванъ Ѳедотычъ позналъ истину и — «женимыйся» — разженился; и Дарьюшка познала; и такъ ей казалось куда лучше! Былъ у Дарьюшки и мірской грѣшокъ тайный: заѣзжій парень въ Крутомъ понравился ей, ну, и завелъ разъ въ перелѣсокъ. Такъ хотъ и нравился парень, — а тутъ точно отшибло отъ него, — грѣхъ замучилъ. Въ грѣхъ Дарьюшка кораблю не каялась, а сама себѣ руки сѣрой жгла; и парень тотъ ей хуже недобраго, хуже врага сталъ противенъ. А къ радѣньямъ она съ той поры еще ближе потянулась.

Увидала Дарьюшка свѣтлую горницу, — и съ чего то въ этотъ разъ вспомнила о своемъ мірскомъ грѣхѣ; и стала ей стыдно и страшно. И весело, что давно это было, а здѣсь такъ опять свѣтло и осіянно.

Стали подходить, въ ноги другъ другу кланяться, цѣловаться.

Сѣли всѣ, съ платомъ на колѣняхъ. Молчать... Свѣчи горять,

потрескиваютъ, за беззаконными стѣнами глухо-глухо метель стонетъ, а они, бѣлые, сидятъ, молчатъ, ждутъ, и точно копится что-то въ каждой душѣ.

Всталъ Семенъ Дорофеичъ, кланяется хозяину.

— Ну-кося, благоволите-ка намъ, господинъ хозяинъ, съ государемъ - батюшкой повеселиться, питіемъ небеснымъ усладиться, богомъ-свѣтомъ завладѣть, на святъ кругъ его покатыть...

Отвѣчаетъ ему Василій Силантычъ длинной рѣчью, и крестятся всѣ, и вотъ запѣли, вразъ, стройно, медленно-тягуче, гулко въ высокой пустой горницѣ. Запѣли молитву Іисусову:

Дай намъ, Господи,  
Къ намъ Іисуса Христа,  
Дай намъ Сына Своего,  
Господь Богъ, помилуй насъ!

И пошли распѣвцы, одинъ за другимъ, не прекращаясь. У Дарьюшки былъ хорошій голосъ, и распѣвцы она почти всѣ знала, любила всегда пѣть. А сегодня еще какъ то особенно хорошо ей поется. И Варварушка, что съ ней рядомъ, такъ и заливается. Медленно, медленно заунывное пѣніе, — и незамѣтно дѣлается оно скорѣе:

О, любовь, любовь,  
Ты сладчайшая,  
Твоя силушка величайшая!  
Ты виновница всѣхъ спасаемыхъ,  
О, любовь, любовь,  
Любовь чистая!..

Дарьюшка ничего не представляетъ себѣ, когда поетъ о любви, но на глазахъ у нея уже слезы.

Ты течешь, любовь,  
Въ сердце Божіе,  
Вопіешь, любовь,  
Слушай всѣ меня!

Колеблются свѣчные огоньки, нагрѣвая горницу; теплый, синій дымъ изъ кадилъницы застилаетъ глаза. Мѣрно, какъ

волны пѣсни, раскачиваются бѣлые люди. И вдругъ, сразу, точно визгъ вырвался, часто-часто:

Богу порадѣйте,  
Плотей не жалѣйте,  
Марѳеу не падите,  
Богу послужите...

Выскочила на кругъ... Это—Домнушка, она всегда первая. Завертѣлось бѣлое, закружилось, разлетѣлись бѣлые, длинные рукава, теплымъ вѣтромъ понесло отъ нагнувшихся огней.

Вотъ ужъ не одна Домнушка, вотъ уже четыре крыла рѣютъ, я не четыре, шесть, восемь...

Точно не сама, а горячимъ воздухомъ подхваченная,—кинулась и Дарьюшка въ кругъ. Никогда съ ней такого не бывало. Но и всѣ были точно не сами. Удался очень праздничекъ.

Кому впору—надѣвай,  
А не впору—прочь ступай...

Роспѣвцы лились; въ кругу кто-то уже пророчествовалъ. Дарьюшка, задыхающаяся, точно летящая внизъ на своихъ бѣлыхъ парусахъ, говорила, кричала что-то, сама себя не слыша. Потомъ услышала, но будто чужой былъ голосъ:

— Походи съ нами, Христе, сокати съ небесе, Сударь Духъ Святый... Сокатиль, сокатиль! Я, Святый Духъ, вамъ скажу, всю любовь укажу, на путь васъ поставлю, христіанъ прославлю! Во грѣхахъ своихъ кайтесь, мнѣ, Духу Святому, отдавайтесь. Со грѣхами развяжу, всю правду покажу!

Дарьюшку слушали многіе, стѣснившись. Потомъ, когда она снова завертѣлась,—закружились, заплясали всѣ, не переставая пѣть, изнемогая, истаявая, какъ горячій воскъ.

Вспомнимъ апостольско время,  
Когда Духъ Святый сокаталъ.  
И отъ сильнаго дыханья  
Разносился шумный гласъ...

Свистъ шелъ по комнатѣ отъ разлетающихся одеждъ. Одна, другая, третья свѣча потухли. И вдругъ стали гаснуть всѣ, быстро, одна за другой, точно кто-то гасилъ ихъ, точно слыш-

комъ много стало свѣта и огня въ горницѣ, и онѣ уже были не нужны.

Любовь, любовь...  
 Всѣ мною живутъ,  
 Всѣ міры міровъ.  
 Красотой моею  
 Полны небеса...

Дарьюшка помнила себя. Помнила, что она, посреди круженія, легко упала, опустилась на полъ, точно птица сѣла на вѣтку. Роспѣвцы еще продолжались, но таяли, замирали. Шорохъ, шопотъ, вздохи шелестѣли подъ ними. Дарьюшку сначала тѣснили, но потомъ, вдругъ, — кто-то одинъ обнялъ ее, крѣпко, властно, какъ никто еще никогда не обнималъ. И она сразу поняла и почувствовала, что это—онъ; ея первый и единственный женихъ, тотъ, кого Духъ ей указалъ. И все растопилось въ ней, какъ отъ солнечнаго луча, и она отдалась жениху, ни о чемъ не думая и ничего не зная,—этому тайному, вѣчному, навѣки единственному суженому, по Господнему указанію...

—  
 Когда начали опять зажигать свѣчи,—всѣ уже стояли, сидѣли или прохаживались по комнатѣ.

Еще радѣли долго, до свѣту.

Семень Дорофеичъ пророчествовалъ. Пѣли. Потомъ трапезовали.

Потомъ поликовались, попрощались. Переодѣлись быстро, молча, пошатываясь и улыбаясь. Разошлись не какъ пришли, а больше въ одиночку, точно не узнавая другъ друга.

Метель стихла, только сугробы намела. Слабый разсвѣтъ голубилъ снѣга.

Дарьюшка пришла въ избу, оглядѣлась въ ней, какъ въ чужой, потомъ, все улыбаясь чему-то, пошла къ кровати, прилегла и тотчасъ же заснула мертвымъ сномъ. Не слышала, какъ и мужъ пришелъ и тоже легъ.

На утро не изъ всякаго дома пошли въ Крутое къ обѣднѣ, хоть и большой былъ праздникъ. Не у всѣхъ силъ хватило подняться. Пошли, кто пободрѣе. А въ Крутомъ и не удивились: снѣжно очень, такіе сугробы намело—дороги не видать.



Собирались послѣ обѣдни, молитвы пѣли, читали. Утишились еще всѣ; у сестрицъ подъ платками точно вовсе лицъ не стало. Съ Дарьюшкой встрѣчаясь,—какъ будто ниже кланялись. Она въ Духъ ходила.

И Дарьюшка утишилась вся. Ничего она не думала, а вошла въ себя, глядѣла внутрь, а внутри у нея тихо-тихо все улыбалось.

За метелью стали ясные дни, морозные, хрустяще-звонкіе. Снѣгъ да небо, снѣгъ да небо, и небо огъ снѣга еще свѣтлѣло, бѣлѣло,—а снѣгъ отъ неба весь мерпалъ голубыми огнями.

Пошла Дарьюшка съ ведрами на рѣку, на прорубь. Спустилась въ низокъ, одна... Снѣгъ, да небо, да сіяніе...

Поставила ведра, смотреть, хоть и смотрѣть нечего. Поме-рилось ей, что будто неладно что-то. Давно ужъ думается о чемъ-то, и безпокойно.

Не грѣхъ вѣдь, а святость, осіяніе, полнота Духа Святаго облекла ее. Указалъ ей Духъ Святой жениха.

Указалъ... А кого? Кто онъ?

Сама не вѣдая, Дарьюшка ужъ не въ первый день гадала, кто онъ? Всѣхъ она братьевъ знаетъ. Кто жъ былъ? Романушка? Никитушка? Иль, можетъ, батюшка Семенъ Дорофеичъ? Можетъ, и батюшка. Можетъ, и Никитушка. Можетъ, и Романушка. Она не знаетъ и никогда не узнаетъ, а вотъ чувствуетъ съ жадной тоской, что нельзя ей не знать, не можетъ она не хотѣть знать. Ей все равно, кто бы ни оказался,—хоть Никитушка, хоть Романушка,—но только бы оказался. А оказаться-то ему и нельзя. И каждый день она будетъ встрѣчаться съ духовнымъ супругомъ—и никогда не узнаетъ его; и онъ ее не узнаетъ, потому что и онъ не знаетъ,—кто она.

Испугалась Дарьюшка, сѣла у проруби, сидитъ, смотреть на снѣгъ. Грѣхъ-то, Господи! Иль не грѣхъ? Что такое?

И опять думается, назойливо, жалобно: не Романушка ли? Можетъ, и Савельюшка... И зачѣмъ ей? Вѣдь никогда не узнать. Можетъ, и Савельюшка... Набрала воды, пошла по тропкѣ прочь. Ведра тяжелы, внизъ давятъ; капаетъ и стынетъ длинными се-режками вода...

Говорятъ, опять скоро будетъ радѣнье. Опять...

И вдругъ Дарьюшка такъ испугалась, что не снесла ведеръ, поставила ихъ на снѣгъ и сѣла рядомъ. Духъ Святый указалъ ей жениха, истиннаго, единаго, вѣрнаго. Указалъ навсегда. А она, какъ слѣпая, опять будетъ просить Его, Батюшку, опять о томъ же. Воззрѣть ли Онъ на недостойнство ея? А если грѣхъ это? Если не сойдетъ Духъ въ сей разъ за слѣпоту ея? И покорится она не ему, жениху, указанному въ истинѣ, ачужому, другому, кто попадется... какъ раньше бывало.

Заплакала Дарьюшка отъ страха. Не можетъ этого больше быть! Грѣхъ, грѣхъ великій! Вотъ онъ, грѣхъ - то смрадный, страшный! Нельзя этого никакъ.

Думала она не словами, а слезами, жалобными, бабьими. И казалось ей, что нѣтъ помощи и ждать неоткуда. Откуда же? Кто—не узнать, а Духъ указалъ, и надо Духу вѣрной быть. Повѣдать кораблю? Да что? Не умѣетъ она про это.

И есть женихъ,—и нѣтъ его. И невѣста она,—и не знаетъ онъ ее. Духъ сошелъ,—и не вняла, утеряла она, слѣпая.

Какой помощи ждать отъ людей? Да и откуда?

Кругомъ искристо, снѣгъ да небо, небо да снѣгъ.

Опять взялась Дарьюшка за коромысло, потащилась къ дому. Одно знала она, что на радѣнье ни за что не пойдетъ теперь, хоть убей ее, изъ-за страха одного не пойдетъ.

«Отпрошусь у батюшки въ странствіе,—подумала она.—Пусть. Многіе странствуютъ. Такъ и на радѣнье не пойду. Пропадать ужъ мнѣ, видно! Все одно—не минувешь. Пропадать, такъ пропадать!».

Шла и плакала глупая баба; падали капли воды съ ведеръ и стыли; солнце играло въ длинныхъ ледяныхъ сережкахъ. А она шла и, ужъ забывая про свое рѣшеніе на счетъ странствій, опять думала, тупо, упорно, бессмысленно, безысходно, все одно и то же:

«Кто? Не Романушка ли? А можетъ, Оедосѣюшка? Иль Никитушка? Не Михайлушка ли?».

Можетъ быть, и Михайлушка. Есть кто-то, но онъ—никто.

З. Гиппіусъ.

# ОГНЕННЫЙ АНГЕЛЪ.



## ГЛАВА VI.

О моей поездкѣ въ Боннѣ  
къ Агриппѣ Неттестеймскому.

Нелегко остановить повозку, раскатившуюся по одной дорогѣ; такъ и я не могъ сразу свернуть съ того пути, по которому, въ теченіе послѣднихъ мѣсяцевъ, неуклонно стремилась моя жизнь. Послѣ неудачи нашего опыта я все еще не въ силахъ былъ думать ни о чемъ иномъ, какъ о заклинаніяхъ, магическихкихъ кругахъ, пентаграммахъ, пентакулахъ, именахъ и характерахъ демоновъ... Тщательно пересматривалъ я страницы изученныхъ книгъ, стараясь найти причину неспѣха, но только убѣждался, что нами все было исполнено правильно и согласно съ указаніями науки. Конечно, не преминулъ бы я повторить вызваніе и безъ помощи Ренаты, если бы не останавливала меня мысль, что ничего новаго въ свои пріемы внести я не могу и что, слѣдовательно, ничего новаго не въ правѣ и ожидать.

Въ этой моей неувѣренности, какъ огонь маяка въ бѣломъ береговомъ туманѣ, сталъ мерцать мнѣ одинъ замыселъ, который сначала отгонялъ я, какъ неисполнимый и безнадежный, но который потомъ, когда мечта съ нимъ освоилась, показался достигаемымъ. Отъ Якова Глока зналъ я, что тотъ писатель, сочиненіе котораго о магіи было для меня самой цѣнной находкой среди всего собраннаго мною книжнаго богатства и который далъ

мнѣ, наконецъ, аriadнину нить, выведшую меня изъ лабиринта формулъ, именъ и непонятныхъ афоризмовъ, — докторъ, Агриппа Неттестеймскій, проживалъ всего въ нѣсколькихъ часахъ ѣзды отъ моего мѣстопробыванія: въ городѣ Боннѣ, на Рейнѣ же. И вотъ, все болѣе и все болѣе, сталъ я задумываться надъ тѣмъ, что могъ бы за разрѣшеніемъ своихъ сомнѣній обратиться къ этому человѣку, посвященному во всѣ тайны герметическихъ наукъ, и, дѣйствительно, знавшему изъ опыта и изъ сношеній съ другими учеными многое такое, что неумѣстно было бы передавать черезъ печать *profano vulgo*. Казалось мнѣ дерзкимъ личными своими дѣлами встревожить работу или отдыхъ мудреца, но въ тайнѣ сердца не почиталъ я себя недостойнымъ встрѣчи съ нимъ и не думалъ, что моя бесѣда покажется ему смѣшной и нелюбопытной.

За совѣтомъ, еще не рѣшивъ какъ поступить, я отправился въ лавку къ Глоку, у котораго не бывалъ уже давно и который, увидя меня, весьма обрадовался, такъ какъ любилъ во мнѣ покорнаго слушателя. На этотъ разъ пришлось мнѣ выдержать многорѣчивый панегирикъ Бернарду Тревизанскому, одному изъ немногихъ, нашедшихъ камень философовъ, — и только когда у Глока изсякъ запасъ восторженныхъ словъ или, можетъ быть, пересохло въ глоткѣ, приступилъ я къ изложенію своего дѣла. Осторожно объяснилъ я, что мои занятія магіей приближаются къ концу, что, однако, выводы, къ которымъ я пришелъ, сильно уклоняются отъ обычныхъ воззрѣній, и что я, прежде нежели изложить свои мнѣнія въ сочиненіи, желалъ бы представить ихъ на обсужденіе истинному авторитету въ этихъ вопросахъ; при этомъ я назвалъ имя Агриппы и высказалъ предположеніе, что Глокъ, благотворная дѣятельность котораго извѣстна всей Германіи, можетъ оказать мнѣ въ этомъ дѣлѣ нѣкоторую помощь. Къ немалому моему удивленію, Глокъ не только съ настоящимъ вниманіемъ отнесся къ моему замыслу, но изъявилъ готовность ему способствовать и тутъ же пообѣщалъ достать мнѣ рекомендательное письмо къ Агриппѣ отъ его издателя, съ которымъ былъ самъ въ отношеніяхъ дружескихъ. Это обѣщаніе принялъ я какъ *open bonum* и подумалъ,

не сама ли богиня Фортуна приняла на сегодня дряхлый образъ стараго книгопродавца, чтобы подвигнуть меня въ путь, какъ принимала въ пѣсняхъ божественнаго слѣпца богиня Минерва образъ стараго Ментора.

Черезъ два дня послѣ этого Глокъ, сдержавъ свое слово, въ самомъ дѣлѣ прислалъ мнѣ письмо, на которомъ была сдѣлана надпись: *Doctissimo ac ornatissimo viro, Henrico Cornelio Agrippae, comprimis amico Godefridus Hetorpius*,—и тогда показалось мнѣ даже неприличнымъ отказаться отъ своего предпріятія. Разумѣется, смущало меня то, что я долженъ былъ покинуть Ренату, но вѣдь, находясь близъ нея, ничѣмъ не въ силахъ былъ я помочь ея тягостному недугу, у корня подрѣзавшему ея жизнь. Пытался было я переговорить съ Ренатою о своемъ планѣ, но она не хотѣла вникнуть въ смыслъ моихъ словъ и жалобнымъ знакомъ руки просила меня не мучить ее объясненіями, такъ что, сжавъ губы, рѣшилъ я дѣйствовать на свой страхъ, отправился покупать себѣ лошадь и досталъ изъ угла свой запылившійся дорожный мѣшокъ. Когда же, въ самый день отъѣзда, раннимъ утромъ, пришелъ я къ Ренатѣ въ комнату проститься и сказалъ ей, что, все-таки, ѣду по общему нашему дѣлу, она мнѣ отвѣтила такъ:

— У насъ съ тобою общаго дѣла быть не можетъ: ты—живой, я—мертвая. Прощай.

Я поцѣловалъ руку у Ренаты и вышелъ, словно, дѣйствительно, изъ комнаты, гдѣ стоитъ гробъ и дымятся похоронныя свѣчи.

Между городами Кельномъ и Бонномъ всего нѣсколько часовъ хорошей верховой ѣзды по имперской дорогѣ, но, такъ какъ началась уже зимняя погода и каждый часъ можно было ожидать снѣга, то дорога была испорчена жестоко и мнѣ пришлось путешествовать цѣлый день, отъ зари до темноты, не разъ отдыхая во многочисленныхъ деревенскихъ гостиницахъ, въ Годорфѣ, Весселингѣ, Виддигѣ, Герзелѣ, и даже едва не заночевавъ въ самомъ близкомъ разстояніи отъ города. Скажу также, что новая моя одежда, изъ темнокоричневаго сукна, которую я сшилъ себѣ уже въ Кельнѣ и впервые надѣлъ для

этого посѣщенія Агриппы, пришла въ очень плачевный видъ, и нисколько не защитилъ ее мой вѣрный товарищъ—морской плащъ, выдавшій бури Атлантического океана. Однако, все время пути былъ я въ такомъ бодромъ настроеніи духа, какого не знавалъ уже давно, ибо, впервые послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ покинувъ Ремату, я какъ будто обрѣлъ потеряннаго самого себя. Испытывалъ я такое ощущеніе, словно изъ темнаго погреба вдругъ вышелъ на ясный свѣтъ, и мой одинокій путь вдоль Рейна въ Боннъ казался мнѣ непосредственнымъ продолженіемъ моего одинокаго пути изъ Брабанта, а недавніе дни съ Ренатою—мучительнымъ сновидѣніемъ на одной изъ дорожныхъ станцій.

Впрочемъ, никакъ не забывалъ я о цѣли своей поѣздки, и меня очень тѣшила мысль увидѣть Агриппу Неттестеймскаго, одного изъ величайшихъ ученыхъ и замѣчательнѣйшихъ писателей новаго времени. Поддаваясь игрѣ воображенія, знакомой, вѣроятно, каждому, представлялъ я себѣ во всѣхъ подробностяхъ мое посѣщеніе Агриппы, и, слово за словомъ, повторялъ я себѣ мысленно тѣ рѣчи, которыя я ему скажу и какія услышу въ отвѣтъ, причемъ инныя изъ нихъ, не безъ затрудненія, составлялъ даже по-латыни. Мнѣ хотѣлось вѣрить, что явлюсь я передъ Агриппою не какъ неопытный ученикъ, но какъ скромный молодой ученый, не лишенный знаній и опытности, но ищущій указаній и наставленій въ тѣхъ высшихъ областяхъ науки, которыя еще не достаточно разработаны и гдѣ не стыдно спрашивать о дорогѣ. Я воображалъ себѣ, какъ Агриппа будетъ сначала слушать мои разсужденія не безъ недоумѣнія, потомъ—съ радостнымъ вниманіемъ и какъ, наконецъ, пораженный моимъ умомъ и богатымъ запасомъ моихъ свѣдѣній, въ удивленіи спросить, какъ успѣлъ я въ мои годы достичь такой рѣдкой и разносторонней учености, а я ему отвѣчу, что лучшимъ моимъ руководителемъ были его сочиненія... И не мало другихъ, не менѣе вздорныхъ, невѣроятныхъ и просто немыслимыхъ разговоровъ подсказывало мнѣ дѣтское тщеславіе, неожиданно вынырнувшее со дна моей души въ часы труднаго пути по холоднымъ и пустыннымъ зимнимъ полямъ архіепископства.

Издрогшій и усталый, но не потерявшій бодрости, добрался я

до воротъ Бонна уже послѣ третьяго звона съ башни, совсѣмъ въ темнотѣ, и не безъ труда добился пропуска у ночной стражи, такъ что пришлось мнѣ не быть особенно разборчивымъ въ выборѣ мѣста для ночлега и охотно принять комнату въ первой попавшейся гостиницѣ, помнится, подъ вывѣской «Золотой Лозы».

Утромъ слѣдующаго дня, какъ то всегда водится въ маленькихъ гостиницахъ, хозяинъ ея пришелъ ко мнѣ освѣδο-миться, не нуждаюсь ли я въ чемъ, а больше изъ любопытства, чтобы вывѣдать, кто такой его новый постоялецъ. Я встрѣтилъ его не безъ удовольствия, ибо надо мнѣ было разспросить, гдѣ именно живетъ Агриппа, да и пріятно мнѣ было показать, что пріѣхалъ я къ такому человѣку. А такъ какъ хозяинъ оказался мѣстнымъ старожиломъ, то, въ придачу къ свѣдѣніямъ объ улицѣ, на кото-рой стоитъ домъ Агриппы, услышалъ я и городскіе толки про него.

— Какъ не знать Агриппы?—сказалъ мнѣ хозяинъ.—Его всякій мальчишка у насъ давно запримѣтилъ, и, правду сказать, избѣ-гаетъ! Хорошаго про него говорятъ мало, а дурного — много. Рассказываютъ, что занимается онъ чернокнижіемъ и знается съ дьяволомъ... Во всякомъ же случаѣ, сидитъ онъ въ своемъ гнѣздѣ, какъ сытъ, и иногда недѣлями не показывается на улицѣ. Что не больно-то онъ хорошій человѣкъ, можно судить уже потому, что двухъ своихъ женъ онъ уморилъ, а третья вотъ только-что, мѣсяца не прошло, какъ развелась съ нимъ. Но, впрочемъ, я прошу вашу милость простить меня, если это вашъ добрый зна-комый, потому что рассказываю я это все только по слухамъ, а мало ли что люди говорятъ: всѣхъ не переслушаешь!

Я поспѣшилъ завѣрить, что съ Агриппою нѣтъ у меня дружбы никакой, а только денежныя дѣла, и хозяинъ, пріобод-рясь, но голосъ понизивъ, сталъ мнѣ передавать уже всякія небылицы про славнаго гостя ихъ города. Такъ, рассказалъ онъ, что у Агриппы всегда есть нѣсколько домашнихъ демоновъ, которые живутъ съ нимъ подъ видомъ собакъ; что Агриппа на дискѣ луны читаетъ обо всемъ, что совершается на разныхъ концахъ земли, и потому знаетъ всѣ новости безъ пословъ; что, владѣя тайной превращенія металловъ, часто расплачивается онъ

монетами, которыя имѣють всю видимость добрыхъ, но впоследствии превращаются въ куски рога или навоза; что знатымъ людямъ въ магическомъ зеркалѣ показываетъ онъ все ихъ будущее; что въ молодые годы, состоя въ Италіи при испанскомъ генералѣ Антоніо де Лейва, магическими силами обезпечивалъ своему начальнику успѣхъ во всѣхъ предпріятіяхъ; что однажды видѣли Агриппу въ городѣ Фрибургѣ кончающимъ публичную лекцію ровно въ десять часовъ утра, въ тотъ самый мигъ, когда онъ же начиналъ другую публичную лекцію за много миль оттуда, въ городѣ Понтимуссахъ, — и множество другихъ, столь же сомнительныхъ исторій.

Эти пустыя розказни слушалъ я съ удовольствіемъ, не потому, чтобы вѣрилъ имъ, но потому, что мнѣ казалось лестнымъ итти въ домъ къ столь поразительному человѣку. И когда, по моимъ соображеніямъ, настала часть, удобный для посѣщенія, я, еще разъ оправивъ свое платье, вышелъ изъ гостиницы съ видомъ гордымъ и, идя по улицамъ, втайнѣ желалъ, чтобы прохожіе замѣтили, куда я направляюсь. Вспоминая теперь тѣ свои самодовольныя мечтанія, не могу я не улыбнуться, горько и грустно, ибо Судьба, играющая съ человѣкомъ, какъ котъ съ мышью, сумѣла тутъ посмѣяться надо мною съ тонкой жестокостью. Въмѣсто роли триумфатора, которую мнѣ присваивало мое самолюбіе, заставила она меня разыгрывать роли, гораздо менѣе почетныя: уличнаго буяна, пустого кутилы и школьника, которому учитель дѣлаетъ выговоръ.

По даннымъ мнѣ указаніямъ, я довольно легко отыскалъ домъ Агриппы, — на краю города, у самой стѣны, довольно большой, хотя только въ три этажа, со многими пристройками, старинный, суровый и строго-обособленный отъ другихъ зданій. Я постучалъ у входа, потомъ, не получивъ отвѣта, повторилъ стукъ, и, наконецъ, толкнувъ дверь, оказавшуюся незапертой, вошелъ въ обширныя и пустыя сѣни, и, на звукъ голосовъ, проникъ дальше, во вторую комнату. Тамъ, за широкимъ столомъ, вокругъ миски съ какимъ-то дымящимся блюдомъ, сидѣло, весело болтая и хохоча, четверо молодыхъ людей, которыхъ я принялъ за домовыхъ слугъ. Услышавъ скрипъ



растворяемой двери, они смолкли и обернулись ко мнѣ, а изъ-подъ стола, съ ворчаніемъ и скаля на меня зубы, вышли двѣ или три породистыхъ собаки.

Я спросилъ вѣжливо:

— Могу ли я видѣть доктора Агриппу Неттесгеймскаго, который, кажется, живетъ въ этомъ домѣ?

Одинъ изъ полдничавшихъ, рослый малый, съ лицомъ итальянца и съ итальянскимъ выговоромъ рѣчи, крикнулъ мнѣ въ отвѣтъ грубо:

— Какъ вы смѣете входить въ чужой домъ, не постучавшись? Это—не пивная и не ратуша! Уходите, пока мы не указали вамъ дороги къ двери!

Этотъ окрикъ до такой степени противорѣчилъ всѣмъ моимъ ожиданіямъ, что подѣйствовалъ на меня, какъ ударъ по лицу,— сразу потерялъ я обладаніе собою и, въ порывѣ безотчетнаго гнѣва, крикнулъ въ отвѣтъ тоже неосмотрительныя и рѣзкія слова, что-то вродѣ слѣдующихъ:

— Ты ошибаешься, пріятель, говоря, что я вошелъ безъ стука! Но въ этомъ домѣ лакеи бражничаютъ, вмѣсто того, чтобы исполнять свои обязанности! Ступай и освѣдомься у своего господина, какъ тебѣ обращаться съ его гостемъ, потому что вотъ у меня къ нему рекомендательное письмо отъ его друга.

Слова мои произвели впечатлѣніе сильнѣйшее. Одинъ изъ сидѣвшихъ вскочилъ съ яростнымъ ругательствомъ и устремился на меня съ сжатыми кулаками, опрокинувъ скамью, другой бросился ему на помощь, третій, напротивъ, пытался удержать товарищей, а собаки начали кидаться на меня съ лаемъ и рычаніемъ. Я, видя себя неожиданно вовлеченнымъ въ безславную схватку, обнажилъ свою испытанную шпагу и, размахивая ею, отступилъ къ стѣнѣ, повторяя, что проколю насквозь перваго, кто приблизится на разстояніе удара. Въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ все вокругъ напоминало покой царя Улисса передъ началомъ избіенія жениховъ, и легко могло статься, что, въ виду неравенства силъ, за свою заносчивость расплатился бы я жизнью, и никто, конечно, не поинтересовался бы убійствомъ неизвестнаго проѣзжаго.

По счастью, однако, исходъ распри былъ болѣе мирнымъ, потому что одержали верхъ голоса болѣе благоразумныхъ, которые убѣждали, что у насъ нѣтъ никакого повода къ кровавому столкновенію. Тотъ изъ молодыхъ людей, котораго, какъ я узналъ вскорѣ, звали Авреліемъ, принудилъ насъ разойтись, сказавъ намъ такую рѣчь:

— Господинъ пріѣзжій и товарищи! Не давайте богу войны — Марсу—торжествовать въ этомъ домѣ, посвященномъ богинѣ мудрости—Минервѣ! Господинъ пріѣзжій виноватъ, обращаясь съ нами, какъ съ челядью, но и мы виноваты, встрѣтивъ челоуѣка благороднаго столь пренебрежительно и невѣжливо. Принесемъ взаимныя извиненія и выяснимъ, въ чемъ недоразумѣніе, трезво, какъ подобаетъ людямъ мыслящимъ.

Говоря правду, я былъ радъ подобному обороту дѣлъ, избавлявшему меня отъ бессмысленной, но опасной драки, и, понявъ, что вижу передъ собою не слугъ Агриппы, но его учениковъ, вторично въ учтивыхъ выраженіяхъ изложилъ поводы моего посѣщенія, назвалъ свое имя, показалъ рекомендательное письмо и объяснилъ, что нарочно пріѣхалъ изъ другого города, чтобы переговорить съ Агриппою.

Аврелій отвѣтилъ мнѣ:

— Не знаю, удастся ли вамъ увидѣть учителя. Онъ имѣетъ обычай работать въ своемъ кабинетѣ, не выходя изъ него, по нѣскольку сутокъ подрядъ, и никто въ домѣ не смѣетъ въ это время его тревожить, такъ что даже обѣдъ и питье ставятъ для него въ сосѣдней комнатѣ. Тамъ же кладутъ ему и всѣ присылаемыя письма, такъ что, если вы передадите намъ ваше, мы его включимъ въ то же число.

Послѣ такого заявленія не оставалось мнѣ ничего лучшаго, какъ вручить Аврелію письмо Геторпія и откланяться, довольствуясь тѣмъ, что такъ счастливо разрѣшилось мое первое въ домѣ Агриппы приключеніе, въ которомъ велъ я себя не совсѣмъ достойно. Однако, надо думать, что тотъ день принадлежалъ къ числу несчастныхъ, *dies nefasti*, потому что и Аврелій и я, оба мы вздумали загладить слѣды нелѣпой ссоры, забывая пословицу, что кто отыгрывается, проигрываетъ вдвое. Такъ

Аврелій убѣдилъ всѣхъ своихъ товарищей подать мнѣ руку и по одному представляя ихъ мнѣ.

— Это,—говорилъ онъ, указывая на того, съ кѣмъ началась у меня перебранка,—самый изъ насъ старшій, родомъ изъ Италіи, и мы зовемъ его Эммануэлемъ; какъ уроженецъ юга, онъ вспыльчивъ и необузданъ; а это—маленькій Гансъ, самый младшій изъ насъ, не по имени только Іоаннъ, но и по любви къ нему учителя; а это—дѣльный малый, голова и кулакъ, какихъ немного, по прозвищу Августинъ; наконецъ, передъ вами я самъ—Аврелій, человѣкъ кроткій и миротворецъ, какъ вы сами видѣли, а потому надѣющійся наслѣдить землю.

Я же не только пожалъ всѣмъ руки, но, на бѣду, предложилъ, въ знакъ того, что не осталось между нами никакого недоразумѣнія, выпить вмѣстѣ кварту вина въ одномъ изъ трактировъ. Посовѣтовавшись между собою вполголоса, ученики согласились на мой зовъ, и безъ промедленія всѣ, впятеромъ, отправились мы изъ дома Агриппы подъ гостепріимный кровъ лучшей въ городѣ гостиницы подъ вывѣской «Жирныхъ Пѣтуховъ».

Расположившись въ большой и еще совершенно пустой въ тотъ ранній часъ комнатѣ трактира за стаканами, въ которыхъ искрился радостный шарলেখбергеръ, и за кругомъ добраго южнаго сыру, мы очень скоро забыли недавнія вражескіе другъ на друга взгляды. Вино, по выраженію Горація Флакка, *explicit contractae seriae frontis*, разгладило на нашихъ лбахъ морщины, и голоса наши стали громкими, живыми и радостными, такъ что сторонній наблюдатель могъ бы принять насъ за обычныхъ собутельниковъ, не знающихъ тайнъ между собой. Но напрасно старался я навести разговоръ на сокровенныя знанія и на магію, думая, что ученики великаго чародѣя, за бокалами, будутъ похваляться своими частыми сношеніями съ демонами,—ихъ мысли были всего дальше отъ этихъ предметовъ. Здоровые и веселые, болтали они обо всемъ на свѣтѣ: объ успѣхахъ лютеріанства, о своихъ любовныхъ похожденіяхъ, о приближавшихся праздникахъ св. Катарины и св. Андрея съ ихъ забавными обрядами,—и я почувствовалъ себя опять студентомъ среди

своихъ давнихъ кельнскихъ собутельниковъ. И только одинъ юный Гансъ держался среди насъ особнякомъ, пилъ мало и былъ похожъ на дѣвушку, которая, по стыдливости, говоритъ «спутники» вмѣсто «пantalоны».

Когда, наконецъ, прямо сталъ я разспрашивать объ Агриппѣ и его теперешней жизни, изъ всѣхъ устъ посыпались жалобы, для меня очень неожиданныя. Августинъ признался, что переживаютъ они время очень плачевное, что учителя тѣснятъ кредиторы, а у него почти нѣтъ другихъ доходовъ, кромѣ прибыли отъ продажи его сочиненій. Аврелій добавилъ, что изъ-за этой тѣсненности въ деньгахъ принужденъ былъ Агриппа вступить на службу къ нашему архіепископу, а тотъ поручаетъ ему такія недостойныя занятія, какъ устройство праздниковъ и присмотръ за ними. Наконецъ, Эммануэль съ бранными словами напалъ на третью жену Агриппы, съ которой онъ только что развелся, находя, что всѣ бѣды принесла съ собой эта женщина и всячески выхваляя его покойную жену, Жанну-Луизу, къ которой кажется былъ не равнодушенъ. Началъ Эммануэль также рассказывать мнѣ о прекрасныхъ дняхъ, какіе знали они всѣ въ Антверпенѣ, когда Агриппа процвѣталъ подъ покровительствомъ, нынѣ уже покойной, принцессы Маргариты Австрійской; когда домъ ихъ былъ оживленнымъ, веселымъ, вѣчно наполненнымъ смѣхомъ и шутками; когда учитель, его жена, его дѣти и его ученики составляли одну дружную семью... Къ сожалѣнію, скиперомъ нашей бесѣды былъ богъ Вакхъ, и конецъ рассказа, не достигнувъ пристани, затонулъ гдѣ-то подъ штормомъ неожиданныхъ шутокъ и насмѣшекъ Августина. Одно только могъ я заключить съ достовѣрностью: что Агриппа, если и умѣлъ дѣлать золото для другихъ и доставлять успѣхъ другимъ, не пользовался своимъ искусствомъ для самого себя.

Однако, нѣсколько времени спустя, мы опять повернули къ интереснымъ берегамъ, потому что захмѣлѣвшіе собесѣдники стали настойчиво добиваться отъ меня, съ какимъ дѣломъ пріѣхалъ я къ Агриппѣ. Я не въ силахъ былъ сказать ни слова этимъ безпечнымъ ребятамъ о Ренатѣ и потому отозвался кратко, что хочу спросить нѣкоторыхъ совѣтовъ по вопросамъ оперативной магіи.

Къ моему справедливому удивленію, этотъ отвѣтъ былъ встрѣченъ дружнымъ смѣхомъ.

— Ну, другъ,—сказалъ Аврелій,—попали вы не мѣтко въ цѣль! Придется вамъ ѣхать назадъ съ тѣмъ же багажомъ, съ какимъ пріѣхали!

— Неужели Агриппа,—спросилъ я,—до такой степени оберегаетъ свои свѣдѣнія въ тайныхъ наукахъ и такъ не охотно дѣлится ими?

Тутъ въ разговоръ виѣшался Гансъ, молчавшій почти все время:

— Какъ обидно, — воскликнулъ онъ, — что на учителя всегда смотрятъ какъ на чародѣя! Неужели всегда Агриппа Неттесгеймскій, одинъ изъ самыхъ свѣтлыхъ умовъ своего вѣка, долженъ будетъ платиться за увлеченія своей молодости, и его будутъ знать только, какъ автора слабой и неудачной книги «О сокровенной философіи»?

Изумленный, я указалъ, что книгу Агриппы по магіи никакъ не могу почитать неудачной, что, кромѣ того, она только-что вышла изъ печати и что, слѣдовательно, самъ авторъ придаетъ ей, еще теперь, нѣкоторое значеніе.

Гансъ отвѣтилъ мнѣ, негодуя:

— Развѣ же вы не читали предисловія къ книгѣ, гдѣ учитель объясняетъ это? Его книга распространилась по всей Европѣ въ спискахъ невѣрныхъ, со вздорными дополненіями, вродѣ нелѣпой ея «четвертой части», и учитель предпочелъ напечатать свой подлинный текстъ, чтобы отвѣчать только за свои слова. Но въ самой книгѣ нѣтъ ничего, кромѣ изложенія разныхъ теорій, которыя учитель изучалъ какъ философъ. Насъ онъ самъ завѣрилъ, что никогда, ни одного раза въ жизни не приходило ему въ голову заниматься такими пустяками или такими нелѣпостями, какъ вызываніе демоновъ!

Едва Гансъ произнесъ эти запальчивыя слова, какъ товарищи стали потѣшаться уже надъ нимъ, напоминая, что еще очень недавно онъ самъ вѣрилъ въ заклинанія. Смѣшавшись и покраснѣвъ, Гансъ, чуть не со слезами на глазахъ, просилъ замолчать, говоря, что тогда онъ былъ еще слишкомъ молодъ и глупъ. Но я, какъ

лицо постороннее, настаивалъ, чтобы мнѣ объяснили, о чемъ рѣчь, и Августинъ, хохоча, разсказалъ мнѣ, что Гансъ, только что вступивъ въ домъ Агриппы, тайно унесъ изъ его кабинета книгу заклинаній и гримуаровъ и хотѣлъ, начертивъ кругъ, непременно вызвать духа.

— Забавнѣе всего то,—добавилъ оправившійся Гансъ,—что теперь въ народѣ разсказываютъ про этотъ случай. Увѣряютъ, будто ученикъ, укравшій книгу, дѣйствительно вызвалъ демона, но не умѣлъ отогнать его. Тогда демонъ умертвилъ ученика. Агриппа какъ разъ въ эту минуту вернулся домой. Чтобы не сочли его самого виновникомъ этой смерти, велѣлъ онъ демону войти въ тѣло ученика и отправиться на людную площадь. Тамъ, будто бы, демонъ и покинулъ мертвое тѣло, оживленное имъ, такъ что оказалось много свидѣтелей скоростижной смерти ученика. И я убѣжденъ, что эту вздорную басню включать въ послѣдствіи въ біографію учителя и будутъ ей вѣрить больше, чѣмъ правдивымъ разсказамъ о его работахъ и несчастіяхъ!

Послѣ этого всѣ четверо еще нѣсколько минутъ говорили о демонахъ и вызваніяхъ, но все время въ тонѣ пренебрежительной шутки и не безъ лукавства разспрашивали меня, въ какой отдаленной мѣстности подобралъ я на нивѣ брошенную за ненужностью вѣру въ магію. Я же, слушая эти легкомысленныя рѣчи, дѣйствительно, чувствовалъ себя какъ Лютеръ, пріѣхавшій изъ своего глухого городка въ Римъ, гдѣ ждалъ онъ найти сосредоточіе благочестія, а нашелъ только развратъ и безбожіе.

Тѣмъ временемъ хозяинъ «Жирныхъ Пѣтуховъ» усердно смѣнялъ опустѣвшія квартиры полными, собесѣдники мои пили отъ чистаго сердца, съ ненасытимой жаждой молодости, а я пилъ, чтобы заглушить чувство стыда и неловкости передъ самимъ собой,—и наша веселая болтовня переходила понемногу въ буйное веселіе. Языки наши стали выговаривать слова не отчетливо, а въ головахъ закружились розовые смерчи, отъ которыхъ все стало казаться пріятнымъ, милымъ и легкимъ. Покинувъ темы о магахъ и заклинаніяхъ, перешли мы къ бесѣдамъ, болѣе подходящимъ къ состоянію нашей мыслительной способности.

Такъ, сначала поднялся у насъ споръ о преимуществахъ разныхъ сортовъ винъ: итальянскаго рейнфала и испанскаго канарскаго, шпейерскаго генсфюссера и виртембергскаго эйльфингера, а также многихъ другихъ, причемъ ученики Агриппы проявили себя знатоками не хуже монаховъ. Споръ грозилъ перейти въ драку, потому что Эммануэль кричалъ, что лучшее вино идетъ изъ Истріи и грозилъ разбить черепъ всякому, кто думаетъ иначе; но всѣхъ пятерыхъ примирилъ Аврелій, предложившій спѣть пѣсенку:

Klingenberg am Main,  
Würtzburg am Stein,  
Bacharach am Rhein  
Wachsen die besten Wein!

Стихи, должно быть, какъ голосъ Музы, успокоили всѣхъ, но черезъ минуту поднялась другая ссора о томъ, гдѣ женщины лучше. Эммануэль опять выхвалялъ свою Италію и особенно дома веселія въ Венеціи, но Августинъ увѣрялъ, что нѣтъ мѣста лучше Нюренберга, такъ какъ тамъ недавно закрыли женскій монастырь, и всѣ монахини перешли въ публичные дома. Впрочемъ, споръ велся безо всякихъ правилъ диспутовъ, и когда я только упомянулъ, что былъ въ Римѣ, Эммануэль пришелъ въ неистовый восторгъ, схватилъ меня въ объятія, и цѣловалъ крича: «Онъ былъ въ Италиі! Слышите,—онъ былъ въ Италиі!» Чтобъ и въ этомъ случаѣ успокоить страсти, Аврелій предложилъ такое рѣшеніе, что лучшія женщины—въ Боннѣ, и что въ этомъ надо немедленно удостовѣриться. Товарищи съ криками радости согласились на доводы Аврелія и объявили, что никогда не видѣли болѣе ловкаго кводлибетарія.

Запѣвъ какую-то веселую пѣсню, но не очень твердо стоя на ногахъ, отправились мы подъ предводительствомъ Аврелія куда-то на другой край города, пугая мирныхъ прохожихъ. Однако, свѣжесть зимняго воздуха довольно скоро отрезвила меня, и, когда на одномъ поворотѣ маленькій Гансъ сдѣлалъ мнѣ знакъ глазами, я тотчасъ его понялъ и поспѣшилъ послѣдовать сиг-

налу. Задуманная военная диверсія намъ удалась счастливо, и скоро мы остались одни въ пустынномъ переулкѣ.

— Мнѣ показалось,—сказалъ Гансъ,—что вамъ не было заманчивымъ продолжать попойку, а я считаю такое времяпрепровожденіе и вреднымъ, и бесполезнымъ. Хотите поэтому я провожу васъ къ вамъ домой?

Я отвѣтилъ:

— Вы совершенно правы. Я васъ благодарю, и очень прошу въ самомъ дѣлѣ оказать мнѣ услугу, потому что вино въ этомъ городѣ, кажется, вдвое крѣпче, чѣмъ на всемъ свѣтѣ, и безъ васъ я не найду другой дороги, какъ въ ближайшій ровъ.

Маленькій Гансъ добродушно засмѣялся и принялъ во мнѣ самое близкое участіе. Не только онъ проводилъ меня въ мою гостиницу, но и уложилъ въ постель, гдѣ тотчасъ же придавилъ меня мутный сонъ. А когда, спустя нѣсколько часовъ, я проснулся, не совсѣмъ, конечно, освѣженный, съ сильной еще головной болью, но съ провѣтреннымъ сознаніемъ, — я увидѣлъ, что Гансъ не покидалъ меня, и заготовилъ мнѣ какое-то питье и ужинъ.

— Я—медикъ,—объяснилъ мнѣ Гансъ,—и не счелъ хорошимъ покинуть больного въ томъ видѣ, въ какомъ вы находились, хотя и помнилъ изрѣченіе Гиппократы: *Si quis ebrius repente obmutescat...*

Случайно то былъ одинъ изъ тѣхъ афоризмовъ, который еще съ дѣтскаго возраста прочно уложился у меня въ памяти, и я могъ продолжать:

— ... *quo tempore crapulae solvi solent vocem edat.*

Оба мы засмѣялись на такую школьную истину, и смѣхъ этотъ сблизилъ насъ больше, нежели всѣ предшествовавшіе разговоры.

Гансу было лѣтъ двадцать, а, можетъ быть, меньше. Онъ былъ невысокъ ростомъ и некрасивъ лицомъ, которому нѣсколько смѣшной видъ придавали кругловатые глаза на выкатѣ подъ круто-изогнутыми бровями, но молодое лицо изобличало умъ и было пріятно. Въ разговорѣ, который завязался у насъ тотчасъ, этотъ безбородый юноша выказалъ проникательность, большія



свѣдѣнія въ наукахъ и даже знаніе жизни. И вотъ, подъ впечатлѣніемъ минутнаго порыва, который управляетъ нашими поступками чаще, чѣмъ рука холоднаго соображенія, а, можетъ быть, и не безъ вліянія еще не вполнѣ миновавшаго опьяненія, я рассказалъ маленькому Гансу то, что утаилъ отъ его старшихъ товарищей: зачѣмъ я пріѣхалъ къ Агриппѣ и вообще, что пришлось мнѣ пережить за послѣдніе мѣсяцы, умолчавъ, конечно, только объ имени Ренаты и о нашемъ мѣстопробываніи. Надо, впрочемъ, въ мое оправданіе, вспомнить, что въ теченіе долгаго времени я не имѣлъ возможности ни съ однимъ человѣческимъ существомъ поговорить откровенно и что все то мучительное, что испытывалъ я, оставалось въ моей душѣ, какъ нѣкая тяжесть, давившая ее и давно искавшая исхода.

Гансъ выслушалъ мою длинную и, страстную исповѣдь со вниманіемъ, какъ врачъ принимаетъ признанія больного, и, послѣ недолгаго обдумыванія, отвѣтилъ мнѣ такъ, говоря, словно наставникъ къ младшему:

— Я не сомнѣваюсь въ справедливости ни одного изъ вашихъ словъ. Но вы, повидимому, мало изучали медицину и во всякомъ случаѣ не знаете новыхъ и весьма замѣчательныхъ открытій, сдѣланныхъ въ этой области. Я же былъ счастливъ, имѣвъ руководителемъ по этой наукѣ такого ученаго, какъ нашъ учитель, который, хотя и прекратилъ практику, но остается однимъ изъ величайшихъ медиковъ своего вѣка. Теперь мы знаемъ, что существуетъ особая болѣзнь, которую нельзя признать помѣшательствомъ, но которая близка къ нему, и можетъ быть названа старымъ именемъ—меланхолія. Болѣзнь эта, чаще, чѣмъ мужчинъ, поражаетъ женщинъ,—существо болѣе слабое, какъ показываетъ самое слово *mulier*, производимое Варрономъ отъ *mollis*, нѣжный. Въ состояніи меланхоліи всѣ чувствованія бываютъ измѣнены подъ давленіемъ особаго флюида, распространившагося по всему тѣлу, такъ что больныя совершаютъ поступки, которыхъ нельзя объяснить никакой разумной цѣлью, и бываютъ подвержены самымъ необъяснимымъ и самымъ быстрымъ смѣнамъ настроеній. То онѣ веселы, то печальны, то бодры, то безвольны до крайности,—и все это безо всякой видимой причины. Точно

такъ же безъ надобности онѣ лгутъ: выдаютъ себя не за то, что онѣ есть, возводятъ сами на себя или на другихъ вымышленныя преступленія, особенно же любятъ играть роль преслѣдуемыхъ, жертвы. Эти женщины искренно вѣрятъ въ свои рассказы и искренно страдаютъ отъ призрачныхъ бѣдъ; воображая, что одержимы демонами, онѣ дѣйствительно мучатся и бьются въ конвульсіяхъ, причемъ заставляютъ такъ изгибаться свое тѣло, какъ это имъ невозможно сдѣлать сознательно, и вообще своимъ воображеніемъ могутъ довести себя и до смерти. Изъ числа именно этихъ несчастныхъ пополняются ряды, такъ называемыхъ, вѣдьмъ, которыхъ надо бы пользоваться успокоительнымъ питьемъ, но противъ которыхъ папы издають буллы, а инквизиторы воздвигаютъ костры. Я полагаю, что и вы повстрѣчались съ одной изъ подобныхъ женщинъ. Конечно, она вамъ рассказала о своей жизни басню, и никакого графа Генриха не существовало никогда; позднѣе же, всѣми доступными ей средствами, она стремилась къ тому, чтобы остаться въ вашихъ глазахъ необыкновенной и несчастной, за что, впрочемъ, никакъ нельзя ее винить, такъ какъ тутъ дѣйствовала ея болѣзнь.

Выслушавъ эту лекцію, я напомнилъ Гансу то, что рассказывалъ ему о своемъ полетѣ на шабашъ и о нашемъ вызваніи демона Анаэля, но Гансъ возразилъ мнѣ такъ:

— Пора бы перестать вѣрить въ такія бабьи сказки, какъ шабашъ: помраченіе чувствъ, воображеніе—вотъ что такое шабашъ! Вы, конечно, были во власти сильнаго снотворнаго средства, которое дала вамъ ваша знакомая, и я тотчасъ скажу вамъ составъ этого зелья: въ него входило—масло, петрушка, пасленъ, волкозубъ, ибунка, можетъ быть, соки и другихъ растений, но главными элементами были—трава, называемая итальянцами белладонна, затѣмъ бѣлена и немного оиванскаго опіума. Составленная такимъ образомъ мазь, при втираніи ея въ тѣло, всегда вызываетъ глубокой летаргическій сонъ, въ которомъ являются съ большой яркостью видѣнія тѣхъ вещей, о которыхъ вы думали, засыпая. Нѣкоторые мелики уже дѣлали опыты и заставляли женщинъ, которыя почитали себя вѣдьмами, натираться волшебной мазью подъ своимъ присмотромъ. И что же! ока-

зывалось, что эти несчастныя лежали простертыми во снѣ на одномъ мѣстѣ, хотя проснувшись съ полнымъ убѣжденіемъ и повѣствовали разныя небылицы о своихъ полетахъ и пляскахъ. Точно такъ же нелѣпо вѣрить, будто какія-то слова, халдейскія или латинскія, которыя ничѣмъ не лучше нашихъ нѣмецкихъ, и какія-то линіи, называемыя характерами, имѣютъ власть надъ силами природы и Дьяволомъ. Я увѣренъ, что въ вашемъ опытѣ вызванія ни что иное, какъ дымъ отъ куренія приняли вы за образы демоновъ, и что разбилъ у васъ первую лампаду не одинъ изъ злыхъ духовъ, но та же ваша помощница, конечно, находясь въ припадкѣ изступленія.

На всѣ эти разсужденія у меня тогда не нашлось возраженій, какъ потому, что моя голова была утомлена въ тотъ день, такъ и потому, что я отвыкъ отъ ученыхъ споровъ, и я стоялъ передъ маленькимъ Гансомъ, какъ противникъ, выронившій шпагу изъ рукъ, или какъ пристыженный ученикъ, котораго наставникъ бьетъ линейкой. Такое положеніе не помѣшало мнѣ, однако, воздать должное остроумію доводовъ Ганса, и я тутъ же сказалъ ему, что, если онъ сумѣетъ обосновать свои мнѣнія и подкрѣпить ихъ достаточнымъ числомъ примѣровъ, ему удастся написать очень примѣчательное и, можетъ быть, полезное сочиненіе. И понынѣ продолжаю я надѣяться повстрѣчать такую книгу, которая и сдѣлаетъ извѣстнымъ имя моего молодого друга—Іоганна Вейера.

Прощаясь со мною Гансъ убѣдительно совѣтовалъ мнѣ прійти на слѣдующій день къ нимъ въ домъ, такъ какъ это былъ воскресный день и можно было ожидать, что Агриппа покинетъ свой кабинетъ. Я тоже согласился, что неприлично мнѣ, оставивъ рекомендательное письмо, самому въ домѣ не появиться, но послѣ всего, что слышалъ я отъ учениковъ Агриппы, уже не могъ ждать ничего важнаго для себя и отъ встрѣчи съ нимъ. Эту вторую ночь въ Боннѣ провелъ я совсѣмъ не съ такими весенними мечтами, какъ первую, и всѣ мои пустоцвѣтныя надежды, словно отъ засухи, поникли головами къ самой землѣ.

Все-таки на слѣдующій день, въ часъ послѣ обѣдни, я опять постучаться подъ дверями Агриппы, и на этотъ разъ Эммануэль,

Августинъ и Аврелій встрѣтили меня, какъ добраго пріятеля, только добродушно выговаривая мнѣ, что я не по-товарищески покинулъ ихъ вчера «въ бѣдѣ». Вчера меня ждали въ домѣ Агриппы дреколья и собачьи зубы, а сегодня меня похлопывали по плечу, называли, шутя, *amicissime*, и я на дѣлѣ могъ убѣдиться, что нѣтъ лучшей свахи, чѣмъ Вакхъ. Мало того, потому ли, что Аврелій и его товарищи, дѣйствительно, почувствовали ко мнѣ расположеніе, или они хотѣли загладить вчерашній свой пріемъ, или, наконецъ, они просто рады были новому человѣку, скучая въ уединеніи,—но только весь тотъ день они посвятили мнѣ и наперерывъ заботились, чтобы доставить мнѣ развлеченія.

Аврелій взялся показать мнѣ весь домъ, и мы обошли двѣнадцать или пятнадцать комнатъ, изъ которыхъ нѣкоторыя были совершенно нежилыми и не обставленными никакой мебелью. Въ другихъ обстановка была самая разнообразная, отъ вещей роскошныхъ, хотя и обветшалыхъ, до совершенно дешевыхъ, купленныхъ по нуждѣ и разставленныхъ какъ попало, безо всякаго изящества. Въ комнатахъ, которыя недавно занимала третья жена Агриппы, все оставалось въ крайнемъ беспорядкѣ, словно жилище только-что было разграблено нѣмецкими ландскнехтами; но и наиболѣе прибранныя напоминали скорѣе лавку столяра, нежели домъ философа.

Аврелій познакомилъ меня и со всѣми обитателями дома, а, прежде всего, съ двумя сыновьями Агриппы, Генрихомъ и Іоганномъ, мальчиками лѣтъ по десяти, не произведшими на меня впечатлѣнія ни умныхъ, ни воспитанныхъ; два другихъ сына Агриппы были тогда въ отсутствіи. Съ дѣтьми жила старая служанка Марія, добродушная и простоватая, не покидавшая Агриппу въ теченіе послѣднихъ пятнадцати лѣтъ, но, кажется, неспособная связать трехъ словъ подъ рядъ. Другая служанка, Маргарита, была лишь немногимъ помоложе, но зато лишь немногимъ и поумнѣе, а слуга, рослый парень, по прозвищу Антей, производилъ впечатлѣніе совершеннаго идіота. Такимъ образомъ легко можно было догадаться, что жизнь въ этомъ домѣ была невеселая, и послѣ учениковъ я долженъ былъ признать самыми живыми его обитателями шесть или семь собакъ,

большихъ, породистыхъ, со звучными кличками: Таро, Цикониусъ, Баласса, Муза, которыя важно бродили по всѣмъ комнатамъ, какъ по своимъ исконнымъ владѣніямъ.

Аврелій, не упускавшій нигдѣ случая увѣрить меня, что Агриппа не занимается чародѣйствомъ, сказалъ мнѣ объ этихъ собакахъ:

— Учитель такъ любить собакъ, что съ иными не разлучается даже ночью и спитъ съ ними въ одной постели. На смерть одной изъ его любимыхъ собакъ Filiolus'a, его друзья даже написали нѣсколько латинскихъ эпитафій въ стихахъ. А въ народѣ по этому поводу ходятъ вздорные слухи, будто Агриппа держитъ у себя въ видѣ собакъ домашнихъ демоновъ.

Точно такъ же, показывая мнѣ комнату, смежную съ кабинетомъ Агриппы, гдѣ ставилась ему пища и клались новыя письма, Аврелій сказалъ мнѣ:

— Имперская почта получаетъ хорошій доходъ съ учителя, такъ какъ ему ежедневно приходитъ нѣсколько писемъ. Онъ въ перепискѣ и съ Эразмомъ, и со многими коронованными лицами, и съ архіепископами, и даже съ самимъ папою, не говоря о простыхъ ученыхъ и безчисленныхъ его почитателяхъ. Отъ нихъ-то узнаетъ онъ новости со всѣхъ краевъ Европы, а суетвы воображаютъ, будто онъ получаетъ ихъ магическими способами.

Послѣ осмотра дома и сытнаго, хотя довольно скромнаго обѣда, новые пріятели повели меня гулять по городу, изъ улицы въ улицу, при чемъ мы очень скоро обошли его весь, такъ какъ Боннъ очень невеликъ. Между прочимъ, полюбовался я и его церквами, особенно же пятибашеннымъ соборомъ—поистинѣ однимъ изъ прекраснѣйшихъ созданій нашей старинной архитектуры. Улицы въ тотъ день были по праздничному полны народомъ, и было пріятно медленно брести въ толпѣ, разодѣтой въ яркія, разноцвѣтныя платья, перемигиваться съ незнакомыми дѣвушками и разсматривать молодыхъ людей, въ зимнихъ плащахъ и шляпахъ съ перьями. Августинъ зналъ по именамъ весь городъ и чуть не о каждомъ прохожемъ и не о каждой женщинѣ успѣвалъ шепнуть намъ на ухо веселую исторію, напоминавшую Гасетіае Поджо и заставлявшую насъ смѣяться.

Часовъ около пяти мы вернулись домой, и Аврелій, узнавъ, что Агриппа все еще не отворялъ дверей кабинета, предложилъ играть въ шахматы. Я предоставилъ доску Аврелію съ Эммануэлемъ, а самъ вызвался биться съ Августиномъ объ закладъ за выигрышъ того или другого. Смотрѣть на игру пришли мальчики изъ своей дѣтской, а съ ними и Марія, которая почитала себя членомъ семьи. Всѣ мы столпились вокругъ стола, за которымъ сидѣли игроки, и двѣ собаки, помѣстившись подлѣ, не съ меньшимъ вниманіемъ слѣдили за передвиженіемъ пѣшекъ и коней. И никто, глядя на двухъ шахматистовъ, увлеченныхъ своими ходами, на слѣдящихъ за ними закладчиковъ, на двухъ мальчишекъ, сосущихъ свои пальцы, и на старую добрую няньку,—не подумалъ бы, что эта идиллическая семейная сцена, достойная пера Саннацаро, совершается въ домѣ великаго чародѣя Агриппы, который, по рассказамъ, сводитъ луну съ неба и выводитъ тѣла мертвыхъ изъ ихъ могилъ.

Я держалъ пари за Эммануэля, надѣясь на его изобрѣтательность, но Аврелій оказался гораздо болѣе ловкимъ въ искусствѣ Даміана и, дѣйствуя медленно и обдуманно, очень рѣшительно тѣснилъ своего противника. Играя безъ хладнокровія, Эммануэль сердился и ни за что не хотѣлъ признать себя побѣжденнымъ, но, вѣроятно, не избѣгъ бы мата, если бы вдругъ изъ комнаты Агриппы не раздался звукъ колокольчика, призывающій къ нему. Всѣ, бывшіе въ нашей комнатѣ, пришли въ движеніе: мальчики испуганно шмыгнули за двери, Марія побѣжала за ними, Гансъ кинулся наверхъ по зову, а Эммануэль, пользуясь общимъ смятеніемъ, словно въ минутномъ порывѣ, смѣшалъ фигуры на доскѣ, и никто не узналъ, чѣмъ должна была кончиться та партія.

Черезъ нѣсколько минутъ Гансъ вернулся отъ учителя и объявилъ, что Агриппа читалъ мое письмо и готовъ принять меня немедленно, и что, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ зоветъ къ себѣ и всѣхъ учениковъ.

Такимъ образомъ исполнилось мое завѣтное желаніе и осуществилась цѣль, ради которой я прибылъ въ Боннъ,—но уже не надежда получить разрѣшеніе томившихъ меня недоумѣ-

ній, а только любопытство путешественника, осматривающаго мѣстныя достопримѣчательности, владѣло мною, когда взбирался я по узкой лѣстницѣ во второй этажъ, гдѣ былъ кабинетъ Агриппы. Ученики же, принимая во мнѣ дружеское участіе, наперерывъ давали мнѣ совѣты, какъ вести себя съ Агриппою, то напоминая, чтобы я говорилъ громче, ибо учитель нѣсколько туго на ухо, то предупреждая, что учитель терпѣть не можетъ монаховъ и т. под. Передъ самой дверью въ комнату Агриппы пришлось еще разъ остановиться, Гансъ опять побѣждалъ впередъ, и только послѣ этого, наконецъ, дверь отворилась, и я вступилъ въ святую святыхъ.

Кабинетъ Агриппы съ перваго взгляда напоминалъ скорѣе музей или монастырскую библіотеку,—такъ былъ онъ весь загроможденъ шкафами съ книгами и съ папками, а также чучелами животныхъ и разными физическими приборами и инструментами; даже на скамьяхъ и на полу были разбросаны рукописи, рисунки, бумаги всякаго рода. Тамъ и сямъ лежали слои пыли, пахло какой-то затхлостью, но солнце, проникая въ узкое готическое окно комнаты, озаряло ее довольно привѣтливо и ярко. У широкаго стола, тоже заваленнаго фоліантами и тетрадями, самъ словно погребенный въ бумагахъ, сидѣлъ въ высокомъ креслѣ человѣкъ небольшого роста, не старый еще, худой и бритый, въ малиновой шапочкѣ на сѣдыхъ волосахъ и широкомъ плащѣ, отороченномъ мѣхомъ. Я узналъ Агриппу, ибо онъ очень похожъ на свой портретъ, напечатанный на обложкѣ книги «De Occulta Philosophia»; только выраженіе лица показалось мнѣ нѣсколько инымъ: на портретѣ оно добродушное и откровенное,—у Агриппы же было въ лицѣ что-то пренебрежительное или брезгливое, можетъ быть, оттого, что губы его какъ-то старчески свисали, а усталыя вѣки на половину прикрывали взглядъ живыхъ и острыхъ глазъ. У ногъ Агриппы, положивъ ему морду на колѣни, сидѣла его любимая черная собака, небольшая, съ мохнатой шерстью и поразительно умными, словно человѣческими, глазами, которую, какъ я узналъ позже, звали «Монсеньеромъ».

Войдя, я съ поклономъ остановился на порогѣ, но Агриппа,

привѣтствуя меня наклономъ головы, словно государь, привыкшій давать аудіенціи, сказалъ мнѣ:

— Добро пожаловать, господинъ пріѣзжій! Мнѣ о васъ пишетъ мой другъ Геторпій. Въ старости у меня друзей осталось немного, очень немного, но зато каждое ихъ слово для меня—обязательство. Садитесь и будьте другомъ въ этомъ домѣ, хотя вы и привезли мнѣ дурныя новости.

Послѣднія слова чуть-чуть смутили меня и, занимая мѣсто среди учениковъ около стола, я не зналъ, что сказать, но Агриппа снова заговорилъ самъ. Взявъ со стола привезенное мною рекомендательное письмо и показывая его намъ, онъ произнесъ, не безъ риторскаго искусства, цѣлую рѣчь, которую, повидимому, предназначалъ исключительно для меня, такъ какъ ученикамъ не сообщалъ ничего новаго.

— Геторпій, представляя васъ,—сказалъ онъ,—пишетъ мнѣ въ то же время, что онъ не рѣшается печатать моего «Апологетическаго письма къ Кельнскому сенату» и что вообще ни одна типографія въ Кельнѣ не приметъ его подъ свой прессъ! Узнаю обычное оружіе моихъ противниковъ, такъ какъ происки ихъ преслѣдовали меня всю мою жизни! Въ Антверпенѣ тамошніе ученые добились запрещенія мнѣ практиковать, какъ медику, хотя я лѣчилъ людей въ дни язвы, когда городскіе лѣкаря всѣ разбѣжались! Въ Кельнѣ мнѣ не позволили читать лекцій, хотя въ Долѣ, въ Туринѣ, въ Павіи у меня было больше слушателей, чѣмъ у всѣхъ другихъ магистровъ! Императоръ, у котораго я состоялъ исторіографомъ, не находилъ нужнымъ платить мнѣ жалованье, и въ Брюсселѣ кредиторы бросили меня за долги въ тюрьму! Наконецъ, едва попытался я печатать свои сочиненія, какъ обрушились на меня еще худшія угрозы: въ Парижѣ мою книгу сожгли, по приговору Сорбонны, а въ Германіи противился ея напечатанію самъ инквизиторъ, пренебрегая данною мнѣ привилегіей. Противъ моихъ сочиненій кричатъ доктора, лиценціаты, учителя, бакалавры, риторы всѣхъ родовъ и вся несчетная толпа бездѣльниковъ въ рясахъ, капюшонахъ, мантияхъ, босоногихъ и въ сандаляхъ, черныхъ, бѣлыхъ, сѣрыхъ, всѣхъ мастей: однимъ словомъ всѣ



дѣлатели силлогизмовъ и наемные софисты, которымъ истина слѣпить глаза, какъ совамъ. Но я не боюсь нападеній, сумѣю оборониться и противъ явныхъ обвиненій и противъ клеветы тайной. Они теперь не даютъ мнѣ напечатать письма, въ достаточной степени сдержаннаго. Что жъ, я напишу другое, безпощадное, подбавлю туда уксусу и горчицы, но поуменьшу масла, и напечатаю-таки его въ другомъ городѣ, хоть въ Лондонѣ, хоть въ Константинополѣ!

Произнося эти грозныя діатрибы въ моемъ присутствіи, Агриппа, вѣроятно, надѣялся, что черезъ меня онѣ станутъ извѣстными разнымъ кругамъ лицъ, такъ какъ почиталъ меня другомъ Геторпія. Но я, видя необходимость отвѣтить, сказалъ осмотрительно, что не берусь быть судьей въ спорѣ Агриппы съ клиромъ, ни, тѣмъ болѣе, съ его величествомъ Императоромъ, но что, конечно, всѣ тѣ преслѣдованія, о которыхъ говоритъ Агриппа, дѣлаютъ ему честь, ибо на незначительнаго человѣка не направили бы нападеній ни инквизиція, ни теологи, ни ученые.

Воспользовавшись минутою молчанія, Аврелій напомнилъ учителю, что я пріѣхалъ съ опредѣленною цѣлью просить у него совѣта. Агриппа, словно бы онъ только неожиданно вспомнилъ обо мнѣ, обернулся въ мою сторону и, гнѣвно кинувъ письмо Геторпія на столъ, спросилъ:

— Что же, молодой другъ, хотите вы отъ меня? Чѣмъ можете помочь вамъ Агриппа, котораго, какъ вы видите, травятъ, словно свора собакъ лису?

Я поспѣшилъ отвѣтить, что чувствую себя, какъ Марсіасъ, вопрошаемый Аполлономъ, и что оправданія своей смѣлости ищу только въ славѣ Агриппы, распространенной по всей Европѣ, но что за разъясненіемъ вопросовъ, на которые отвѣта нельзя найти въ книгахъ, во всей Германіи обратиться можно только къ его познаніямъ, къ его уму, къ его опытности. Далѣе разсказалъ, что нѣкоторыя обстоятельства моей личной жизни привели меня къ занятіямъ оперативной магіей, что среди всѣхъ книгъ, написанныхъ по этому вопросу, я не могъ не выдѣлить сочиненіе Агриппы, что, изучивъ основательно все,

изложенное въ его трудѣ, я нахожу еще множество темныхъ пунктовъ и хочу о нихъ отдѣльно просить разъясненія у самого автора.

Агриппа, выслушавъ меня, нахмурился и произнесъ съ досадливостью:

— Вы, должно быть, мою книгу читали не очень внимательно или ее не поняли, иначе бы не обратились ко мнѣ съ такими вопросами! Въ предисловіи у меня сказано ясно и твердо, что магъ долженъ быть не 'сுவѣтромъ, не кознодѣемъ и не демо-ніакомъ, но мудрецомъ, священнослужителемъ и пророкомъ. Истиннымъ магомъ почитаю я сибиллу, пророчившую въ язычествѣ о Христѣ, и тѣхъ трехъ царей, которые, узнавъ изъ давнихъ міровыхъ тайнъ о рожденіи Спасителя міра, поспѣшили съ дарами къ колыбели-яслямъ. Вы же, повидимому, ищите въ магіи, какъ и большинство, не сокровеннаго знанія о природѣ, но разныхъ ловкихъ средствъ, чтобы вредить ближнимъ, чтобы добывать богатства, чтобы разузнавать о завтрашнемъ днѣ: но за такими свѣдѣніями надо итти къ фокусникамъ и шарлатанамъ, а не къ философу. Книга моя «О сокровенной философіи» написана мною въ юности и содержитъ много несовершеннаго, но все же представляетъ только обзоръ всего сказаннаго о магіи, дабы любознательный умъ могъ прослѣдить всѣ отрасли этой науки, но никогда никого не приглашалъ я пускаться въ темныя и не заслуживающія одобренія опыты гостейи!

Видя, что Агриппа отъ прямого отвѣта уклоняется, я рѣшился его, однако, принудить къ тому хотя бы и героическими средствами, и потому сказалъ такъ:

— Почему же, учитель, изслѣдовавъ внимательно области магіи и найдя въ нихъ одни заблужденія, не постарались вы другихъ отклонить отъ бесплодныхъ занятій этою наукою, а, напротивъ, поспѣшили напечатать свой трудъ, который сами считаете несовершеннымъ? Онъ, можетъ быть, и составленъ вами въ юности, но, не забудьте, что присоединили вы къ нему два предисловія, которыя написаны совѣмъ недавно и въ которыхъ о магіи говорите вы съ большимъ почтеніемъ и своего

презрительнаго къ ней отношенія не проявляете ничѣмъ. Не подаете ли вы этимъ великій соблазнъ любознательнымъ читателямъ, и не правъ ли буду я, напомнивъ вамъ слова евангелія, что лучше было бы человѣку, соблазнившемуся единого изъ малыхъ сихъ, если бы повѣсили ему на шею мельничный жерновъ и утопили его въ морской пучинѣ?

Во время этой моей рѣчи Аврелій дѣлалъ мнѣ глазами знаки, чтобы я замолчалъ; но я не привыкъ оставаться осмѣяннымъ и спокойно договорилъ до конца. Агриппа тоже былъ живо затронутъ моими словами, весь видъ его рѣзко перемѣнился,—такъ какъ его самоувѣренность и надменность какъ бы погасли, и онъ сказалъ мнѣ раздражительно:

— Чтобы напечатать мое сочиненіе, у меня были важныя причины, о которыхъ вы, молодой человѣкъ, не имѣете, вѣроятно, никакого понятія. Объяснять ихъ вамъ сейчасъ было бы совсѣмъ неумѣстно, не говоря о томъ, что клятва воспрещаетъ мнѣ касаться нѣкоторыхъ вопросовъ передъ непосвященнымъ.

Суровость отвѣта могла только возбудить мою настойчивость, и я, не побоявшійся задавать вопросы предсѣдателю шабаша, конечно, не отступилъ передъ гнѣвомъ Агриппы Неттестеймскаго. Продолжая тѣснить его, я тотчасъ бросилъ ему новый вопросъ, и, мнѣ самому показалось, что мой голосъ застучалъ, какъ дѣтъ игральныхъ кости, прыгающія по столу при рѣшительной ставкѣ:

— *Magister doctissime!* Но вѣдь я не имѣю никакихъ притязаній, чтобы вы открывали предо мной сокровенныя тайны! Но, будучи однимъ изъ соблазненныхъ вашей книгой, я только скромно прошу отвѣтить мнѣ, что же такое магія: истина или заблужденіе, наука или нѣтъ?

Агриппа вскинулъ на меня глаза, но я не опустилъ своихъ, и, пока наши взоры были сопряжены, испытывалъ я такое чувство, словно бы, держась за руки, мы оба стояли надъ пропастью. Одну минуту вѣрилось мнѣ, что Агриппа сейчасъ-сейчасъ скажетъ мнѣ что-то исключительное и вдохновенное,—но вотъ уже предо мной опять сидѣлъ въ высокомъ креслѣ пожилой ученый, въ широкомъ плащѣ и малиновой шапочкѣ, который, сдержавъ свое негодованіе на мои дерзкія требованія, отвѣтилъ

мнѣ чуть-чуть недовольнымъ, но строгимъ и ровнымъ голо-  
сомъ:

— Есть два рода науки, молодой человѣкъ. Одна — это та, которую практикуютъ въ наши дни въ университетахъ, которая всѣ предметы разсматриваетъ отдѣльно, разрывая единый цвѣтокъ вселенной на части, на корень, стебель, листь, лепестокъ, и которая, вмѣсто познанія, даетъ силлогизмы и комментаріи. Въ моей книгѣ «О недостовѣрности познанія», стоявшей мнѣ многихъ лѣтъ работы, но принесшей мнѣ однѣ насмѣшки и обвиненія въ ереси, выяснено подробно, что называю я псевдо-наукой. Адепты ея—псевдо-философы—сдѣлали изъ грамматики и риторики инструменты для своихъ ложныхъ выводовъ, превратили поэзію въ ребяческія выдумки, на арифметикѣ основали пустыя гаданія, а также музыку, которая развращаетъ и расслабляетъ, вмѣсто того, чтобы укрѣплять, превратили политику въ искусство обмановъ, а теологіей пользуются, какъ ареной для логомахи, для словесной борьбы безо всякаго содержанія! Эти-то псевдо-философы исказили и магію, которую древніе почитали вершиной человѣческаго познанія, такъ что въ наши дни натуральная магія не болѣе, какъ рецепты отравъ, усыпительныхъ напитковъ, потѣшныхъ огней и всего подобнаго, а магія церемоніальная — только совѣты, какъ войти въ сношеніе съ низшими силами духовнаго міра или какъ пользоваться ими разбойнически и врасплохъ. Какъ не устану я оспаривать и осмѣивать ложную науку, такъ постоянно буду отвергать и ложную магію. Но въ человѣкѣ, все же, нѣтъ ничего болѣе благороднаго, какъ его мысль, и возвышаться силой мысли до созерцанія сущностей и Самого Бога — это прекраснѣйшая цѣль жизни. Надо только помнить, что все въ мірѣ устремлено къ одному, все обращается вокругъ единой точки и черезъ то все связано, одно съ другимъ, все въ опредѣленныхъ отношеніяхъ между собою: звѣзды, ангелы, люди, звѣри и травы! Единая душа движетъ и Солнце въ его бѣгѣ вокругъ земли, и небеснаго духа, покорнаго велѣнію Божію, и мятущагося человѣка, и простой камень, скатившійся съ горы,—лишь въ разной степени напряженности проявляется эта душа въ разныхъ вещахъ. Наука, которая раз-

сматриваетъ и изучаетъ эти вселенскія отношенія, которая устанавливаетъ связь всѣхъ вещей и пути, которыми они вліяютъ другъ на друга, и есть магія, истинная магія древнихъ. Она ставитъ себѣ задачею согласовать слѣпую жизнь своей души, а по возможности — и другихъ душъ, съ божественнымъ планомъ Создателя Мира, и требуетъ для своего выполненія возвышенной жизни, чистой вѣры и сильной воли, — ибо нѣтъ силы болѣе мощной въ нашемъ мірѣ, чѣмъ воля, которая способна совершать и невозможное, и чудеса! Истинная магія есть наука наукъ, полное воплощеніе совершеннѣйшей философіи, объясненіе всѣхъ тайнъ, полученное въ откровеніяхъ посвященными разныхъ вѣковъ, разныхъ странъ и разныхъ народовъ. Объ этой магіи, молодой другъ, какъ кажется вы, ничего не знали до сихъ поръ и, въ заключеніе нашей бесѣды, я желаю вамъ обратиться отъ гаданій и волхвованій къ истинному источнику познанія.

Послѣ этой двусмысленной рѣчи не оставалось мнѣ дѣлать ничего другого, какъ, вставъ, еще разъ просить извиненія за причиненное безпокойство и проститься. Я бросилъ послѣдній взглядъ на Агриппу, на его учениковъ, тѣснившихся вокругъ его кресла съ изъявленіями восторга, — и вышелъ изъ комнаты, думая, что покидаю этотъ кругъ навсегда, не подозрѣвая вовсе, что мнѣ еще придется повстрѣчать великаго чародѣя, и при какихъ странныхъ обстоятельствахъ!

На площадкѣ лѣстницы меня догнали Гансъ и Аврелій, которымъ хотѣлось, должно быть, загладить непріятное впечатлѣніе аудіенціи, такъ какъ они старались объяснить суровость Агриппы тѣмъ, что онъ очень былъ разстроенъ письмомъ Геторпія. Въ краткомъ разговорѣ, происшедшемъ у насъ тутъ, Аврелій сказалъ:

— Вотъ не ожидалъ я, что учитель еще втайнѣ вѣруетъ въ магію.

А Гансъ, съ заносчивостью юности, добавилъ:

— Великій онъ человѣкъ и ученый, но другого, нежели мы, поколѣнія.

И Гансъ и Аврелій убѣдительно просили меня остаться въ Боннѣ еще на день, увѣряя, что завтра учитель отнесется ко мнѣ доброжелательнѣе, но я рѣшительно отказался еще разъ

тревожить Агриппу, тѣмъ болѣе, что потерялъ всякую надежду на его помощь въ моемъ дѣлѣ. Впрочемъ, я благодарилъ обоихъ юношей за содѣйствіе, ими оказанное мнѣ, а Гансъ дружески проводилъ меня до дверей дома, и мы, разставаясь, дали другъ другу обѣщаніе обмѣниваться письмами.

На слѣдующее утро я выѣхалъ обратно на сѣверъ. Въ поляхъ выпалъ снѣгъ и было довольно холодно, но дорога значительно исправилась и ѣхать было гораздо легче, нежели три дня назадъ. Лошадь бодро бѣжала по мягкому бѣлому ковра, прикрывавшему промерзшую твердую почву.

Когда впослѣдствіи я тщательно обсудилъ все свое посѣщеніе Агриппы и внимательно обдумалъ всѣ его рѣчи, я пришелъ къ выводу, что не каждому сказанному имъ слову должно придавать вѣру. Въ тѣ краткія минуты, которыя я, пріѣзжій незнакомецъ, стоялъ передъ Агриппою, не было у него причинъ открывать свою душу и высказывать прямо свои сокровенныя мысли о предметѣ, столь отвѣтственномъ, какъ магія. Похоже было, что не высказывалъ онъ ихъ и передъ своими учениками, такъ что въ ихъ скептическихъ рѣчахъ, можетъ быть, отражалось не окончательное мнѣніе философа, а то одиночество, на которое всегда обречены великіе люди, принужденные таиться даже отъ самыхъ близкихъ!

Но эти соображенія вовсе еще не приходили мнѣ въ голову во время моего возвратнаго пути изъ Бонна. Напротивъ, мнѣ тогда казалось, что строгая рѣчь Агриппы и трезвыя догадки Ганса, какъ свѣжіе вѣтеръ, разогнали тотъ туманъ таинственнаго и чудеснаго, въ которомъ я блуждалъ послѣдніе три мѣсяца. Съ настоящимъ удивленіемъ спрашивалъ я себя, какъ могъ я въ теченіе четверти года не выходить изъ круга демоновъ и дьяволовъ,—я, привыкшій къ ясному и отчетливому міру корабельныхъ снастей и военныхъ передвиженій. Съ такимъ же недоумѣніемъ искалъ я отвѣта, почему оказался я, не разъ прежде залѣчивавшій въ сердцѣ раны отъ стрѣлы крылатаго божка, привязаннымъ такими прочными узами къ стану женщины, отвѣчавшей мнѣ только пренебреженіемъ или снисходительною холодною. Пересматривая, не безъ краски

стыда на щекахъ, свою жизнь съ Ренатою, находилъ я теперь свое поведеніе смѣшнымъ и глупымъ и негодовалъ на себя, что такъ рабски подчинялся причудамъ дамы, о которой даже не зналъ съ точностью, кто она, и имѣетъ ли право на вниманіе. А чтобы нѣсколько оправдать себя, я, съ немалой непослѣдовательностью, опять готовъ былъ думать, что Рената удерживала меня близъ себя какимъ-нибудь магическимъ фильтромъ или наговоромъ.

Наконецъ, вспомнилась мнѣ и та клятва, которую я далъ самому себѣ въ Дюссельдорфѣ и о которой совсѣмъ не думалъ послѣднія недѣли: не оставаться близъ Ренаты долѣ трехъ мѣсяцевъ и больше, чѣмъ то время, въ какое истрачу я треть собранныхъ мною денегъ. Три мѣсяца съ того утра истекли уже шесть дней тому назадъ и предѣльная сумма денегъ тоже была почти вся израсходована. Подъ вліяніемъ этихъ раздумій мелькнула у меня мысль вовсе не возвращаться въ Кельнъ, но, повернувъ свою лошадь, ѣхать южнѣ Бонна по направленію къ родному Лозгейму, а Ренату предоставить ея одинокой судьбѣ. Однако, сдѣлать этого у меня не достало духу, прежде всего потому, что меня томила тоска по Ренатѣ, но и честь не позволяла мнѣ такого предательства.

Тогда я сказалъ себѣ: пріѣхавъ домой, я поговорю съ Ренатою открыто и чистосердечно, укажу ей, что ея исканія графа Генриха—безуміе, напомню ей, что полюбилъ ее страстно и сердечно, и предложу ей стать моею женою. Если можетъ она предъ Богомъ и людьми дать мнѣ клятву быть женою вѣрной и преданной, мы направимся въ Лозгеймъ вдвоемъ и, получивъ благословеніе моихъ родителей, поѣдемъ жить за Океанъ, въ Новую Испанію, гдѣ все прошлое Ренаты забудется какъ предутренній сонъ.

Убаюканному этими мечтами о мирномъ счастіи, мнѣ было легко и вольно; я напѣвалъ вполголоса веселую испанскую пѣсенку «*A Mingo Revulgo, Mingo*» и безъ усталости понукалъ свою лошадь, такъ что еще засвѣтло выступили передъ мною городскія стѣны Кельна, темнѣя надъ бѣлымъ снѣгомъ.

Валерій Брюсовъ.

## НА ПЕРЕВАЛѢ.

IX. ДѢТСКАЯ СВИСТУЛЬКА.

Et vous, vallons mouillés de moelleuses rivières...

Iwan Gilkin.

Символизмъ въ широкомъ смыслѣ не есть школа въ искусствѣ. Символизмъ—это и есть искусство. Романтическая, классическая, реалистическая и сама символическая школа—только способъ символизации образами переживаемаго содержанія сознанія. И потому-то смѣшны противоположенія реализма символизму, т. е. метода тому, что этотъ методъ оформливаетъ. Всѣ слова о смѣнѣ символизма реализмомъ напоминаютъ дѣтскую свистульку, въ которую дуютъ мальчики, воображающіе себя мудрецами. Всѣ эти выходки новаго стиля противъ символизма показываютъ полное невѣжество свистуновъ въ вопросахъ психологіи, психофизиологіи и теоріи познанія. Прежде нападали на символизмъ только справа: это были нападки добродушныхъ людей, часто ничего общаго съ искусствомъ не имѣвшихъ. Эти добрые люди прикрывали свое зѣвающее благодушіе именами великихъ художниковъ прошлаго; но мы всегда помнили слова Уайльда о томъ, что геній прошлаго въ рукахъ обывателя—только средство глушить творчество.

Теперь нападаютъ на символизмъ слѣва эпигоны символизма, сами обязанные ему развитіемъ своего творчества. Этихъ символистовъ на часъ, вышедшихъ на зовъ Ницше, Ибсена, Мережковского изъ своихъ душныхъ келій, только и хватило на то, чтобы похвалить ихъ зовущую зарю; но идти ей на встрѣчу—это ужъ подвигъ! И вотъ они закупились снова въ своихъ жалкихъ хатахъ и теперь говорятъ, что заря угасла.

Они говорятъ, что циклъ развитія символизма оконченъ, и ему-де, идетъ на смѣну нео-реализмъ. Когда нечего сказать, обыкновенно берутъ первый попавшійся терминъ и приставляютъ къ нему пресловутое „нео“. Для этого не нужно творчества мысли. Нѣкогда символистовъ характеризовали, какъ „нео“-романтиковъ. Но среди нихъ оказались и классики; тогда придумали „нео“-классицизмъ.



Теперь на лицо оказывается „не о“-реализмъ. Но вотъ что мы видимъ: корни „не о“-движенія въ добромъ старомъ символизмѣ. Въмѣсто того, чтобы опредѣлить эволюцію символизма, раскрыть механизмъ этой эволюціи, показать структуру образованія символическихъ понятій, дать классификацію формъ символизаціи,—наклеиваютъ, какъ попало, „не о“-извѣстные ярлычки и на этой „не о“-глупости строятъ школу. Мы не возставали бы противъ такого занятія съ клеемъ (сидить человекъ—свиститъ въ свистульку, клеить ярлычки), если бы здѣсь не чувствовался апломбъ невѣжества, теоретически всѣмъ обязаннаго другимъ и палецъ о палецъ не ударившаго, чтобы уяснить себѣ хотя въ общихъ чертахъ дѣйствительныя проблемы символизма.

Мнѣ возражать, что нападки на символизмъ со стороны эпигоновъ символизма направлены на особый видъ символизма, родоначальниками котораго можно считать Ницше, Ибсена, Бодлѣра, Уайльда (у насъ Мережковскаго, Брюсова) и др. Названные художники ничѣмъ не отличаются отъ крупныхъ художниковъ всѣхъ временъ. Они только осознали символизмъ всякаго творчества и съ достаточной рѣшимостью сказали объ этомъ вслухъ. Мнѣ неоднократно приходилось высказываться о демократизаціи символовъ въ такъ называемомъ новомъ искусствѣ. Ницше и Гёте связаны субстанціей творчества. Только Гёте часто набрасывалъ на свои символы покровъ обыденности (аристократизма ради), какъ, напримѣръ, въ „Юношескихъ годахъ Вильгельма Мейстера“, въ „Избирательномъ сродствѣ“ и т. д. Но измѣненіе въ техникахъ пріемовъ не касается субстанціи творчества.

Символизмъ въ искусствѣ не касается техники письма. И потому-то борьба художественныхъ школъ вовсе не касается проблемъ символизма. Когда мы уединимся въ тишину и будемъ размышлять о проблемахъ искусства, будемъ анализировать формы творчества (въ базарныхъ крикахъ модернъ-комиссіонеровъ по поставкѣ толпъ новинокъ); когда мы освѣтимъ поставленные проблемы въ свѣтѣ психологіи и теоріи познанія,—только тогда мы поймемъ, что такое проблемы символизма. Но на этихъ вершинахъ мысли слышенъ свистъ холоднаго урагана, котораго такъ боятся Митрофанушки модерна, вѣжно насвистывающіе похоронный маршъ символизму.

Во второй половинѣ XIX столѣтія наиболѣе крупные художники осознали символизмъ всякаго творчества вообще. Осознать объекты творчества, символы, значить—вознести эти объекты надъ гамомъ базарной критики. Великіе символисты второй половины XIX столѣтія указали намъ съ достаточной ясностью, что безъ разрѣшенія проблемы творчества мы не разрѣшимъ ни соціальной, ни религіозной проблемы, ни проблемы познанія. И техникой письма, и поставлен-

ными задачами они показали намъ, что искусство—глубже и независимѣе, нежели полагали художники (въ своихъ заявленіяхъ о свободѣ), и толпа (въ ея заявленіи о подчиненіи творчества интересамъ эпохи). Первые символисты (въ узкомъ смыслѣ этого слова) были и художниками-символистами (какъ всѣ художники), и борцами за право символизма. Этотъ оттѣнокъ проповѣди, быть можетъ, болѣе всего вліялъ на технику ихъ письма, на экспозицію темъ творчества.

Я согласенъ: первые борцы и теоретики разъ осознаннаго символизма творчества увлекались, быть можетъ, борьбой и съ базарными шутами повседневной критики, и съ озадаченными буржуа, покой которыхъ смутило искусство того времени. Въмѣсто того, чтобы всесторонне обсудить вопросы творчества въ свѣтѣ науки, психологій, философіи, религій, мистики и социальныхъ отношеній, борцы за индивидуализмъ и символизмъ часто формулировали свое „сгедо“ въ краткихъ, афористическихъ положеніяхъ; эти положенія имѣли видъ непосредственной убѣдительности, а не строгой доказанности. Но въдѣ великіе проповѣдники символизма второй половины XIX столѣтія были лишь первыми піонерами проповѣди символизма. Они высказали вѣрную мысль о томъ, что творчество, будучи фокусомъ человѣческой дѣятельности вообще, въ искусствѣ пока проявляется съ особенной яркостью, и что искусство поэтому не есть только искусство, а оболочка, изъ которой вылетитъ фениксъ новой жизни. Первые проповѣдники набросали лишь краткій конспектъ программы: реализовать эту программу задачи не только нашей эпохи, но и всего будущаго.

Передъ нами лежитъ задача разработки вопросовъ искусства въ свѣтѣ современной философіи. Быстрыми шагами наиболѣе серьезные (и, повидимому, наиболѣе далекіе отъ искусства) изслѣдователи вопросовъ познанія подходятъ къ рѣшенію задачъ, затронутыхъ независимо отъ нихъ теоретиками символизма, наводя, такъ сказать, инженерные мосты тамъ, гдѣ видѣли лишь радужныя арки изъ символовъ и афоризмовъ. Дается возможность облечь проповѣдь символизма броней несокрушимыхъ методовъ. Но развѣ подозрѣваютъ все это современные элигоны символизма, занятые поставкой на рынокъ нео-реалистическихъ свистулেকъ? Развѣ интересно имъ знать, что „красивые“ афоризмы Ницше (которые они по обязанности, съ зѣвкомъ, читали) не только красивы, а и во многихъ отношеніяхъ убійственно вѣрны? Что и вопросъ о цѣнности въ свѣтѣ школы Риккерта и Ласка становится центральнымъ вопросомъ и символизма и теоретико-познавательныхъ выводовъ?

Передъ нами задача—обосновать независимую эстетику, какъ точную науку. Наконецъ, задачи личности и общества только въ свѣтѣ символическаго міросозерцанія получаютъ удовлетворяющее

насть рѣшеніе. Словомъ, — вопросы символизма такъ относятся къ вопросамъ эстетики, религіи и мистики, какъ теорія познанія къ другимъ философскимъ дисциплинамъ. И если выводы изъ теоріи познанія касаются наиболѣе сокровенныхъ вопросовъ морали, то и выводы символизма предопредѣляютъ единственно вѣрный путь искусства и религіи.

Только въ символизмѣ художникъ обрѣтаетъ право свое быть свободнымъ изслѣдователемъ во всѣхъ сферахъ человѣческой дѣятельности: изъ узкихъ, подзаемныхъ нѣдръ своего „н у т р а“, изъ подъ тисковъ отжившихъ и узкихъ догматовъ (какъ-то: догматы теологіи, идеализма, реализма, позитивизма и т. д.) онъ выходитъ къ широкому морю жизни, и ему предоставляется право, какъ отвертываться отъ оставленныхъ догматовъ, такъ и освѣщать ихъ дѣйствительнымъ свѣтомъ. Здѣсь художникъ не можетъ, не смѣетъ насильно отворачиваться отъ того, къ чему неминуемо приводитъ его размышленіе надъ дорогими ему предметами. Здѣсь получаетъ онъ не мнимыя, а дѣйствительныя права на свободу. Здѣсь получаетъ онъ возможность изучать образованіе въ сознаніи символическихъ представленій разнообразныхъ методологій, механизмъ сложенія и классификаціи символовъ; а отысканіе нормы, предопредѣляющей развитіе символическихъ представленій, ведетъ къ рѣшенію коренного вопроса творчества: какъ возможны символическія представленія. А это и есть вопросъ о томъ, какъ возможна религія. Задачи религіи изнутри соприкасаются съ задачами символизма, какъ теорія символизма извнѣ предопредѣляется теоріей психологіи и теоріей знанія. Впереди—громадная культурная задача, требующая многихъ поколѣній, чтобы реализовать программу, намѣченную символистами XIX столѣтія.

И вотъ эпигоны символизма жалкими „нео“-вадорными свистульками желаютъ похоронить эту задачу, отказаться отъ великаго наслѣдства... Но успокоимся: вѣдь говорить въ нихъ только безграмотность! Кто эти эпигоны? Если это не шарлатаны, стремящіеся изъ ярлычка создать себѣ имя провозглашеніемъ какой угодно фиктивной школы въ искусствѣ, то часто это просто „пѣвчія птицы“, насвистывающія птичьи пѣсенки и отстоящія за тридевять земель отъ какихъ бы то ни было теоретическихъ задачъ. Но если ты — „пѣвчая птица“, если тебѣ дороже всего твое безсловесное, „н у т р о“, — ты и пой свои пѣсенки: мы тебѣ благодарны за это. Только не иди ты къ намъ съ указаніями и поученіями „соловиной трелью“, ты не заслонишь намъ страдальческое распятіе Уайльда, Ницше, Бодлера; „дѣтской свистулькой“ не заглушишь ураганы познанія, ревушаго намъ въ уши изъ будущаго.

Можно быть символистомъ по творчеству, какъ всѣ художники, независимо отъ техники письма. Можно быть теоретикомъ задачъ творчества. Наконецъ, можно быть художникомъ и овладѣть сложностью интересовъ познанія: сочетать въ сложномъ взаимодействіи разнообразіе методовъ и всѣ ихъ использовать, какъ средства воздѣйствія. Образъ такого художника-мудреца намѣтили символисты, какъ идеаль. И великіе художники всѣхъ временъ стремились приблизиться по мѣрѣ силъ къ такому идеалу художника. Вспомнимъ Леонардо (художникъ-естествоиспытатель - инженеръ), Данте (поэтъ-теологъ - мистикъ), Гете (натуралистъ - поэтъ - философъ-мистикъ), Шиллеръ (поэтъ-кантианецъ-ученый), Пушкинъ (поэтъ-критикъ-историкъ), Ницше (поэтъ-профессоръ-философъ-мистикъ). Художники символисты осознали право художника быть руководителемъ и устройтелемъ жизни. Но это высшее право нужно приобрести рядомъ систематическихъ завоеваній и въ творчествѣ, и въ знаніи. Символизмъ, это—знанія, вокругъ котораго должны отнынѣ группироваться всѣ силы, борющіяся за высоту искусства, за тѣ, всѣмъ нужныя, тайны мудрости, которыя заключены въ творчествѣ. Символизмъ—кульминаціонная точка роста искусства: отклоненія вправо и влево въ настоящее время ведутъ къ профанации творчества. И не „пѣвчимъ птица мъ“, не провокаторамъ символизма, въ родѣ гг. Чулковыхъ, колебать достоинство русскаго символизма. Пусть себѣ хоронятъ дѣтскими свистульками достоинство русскаго символизма. Они хоронятъ, прежде всего, себя, свое достоинство, обнажая неподготовленность занимать то мѣсто, которое не принадлежитъ имъ по праву.

Пѣвчая птица, качайся себѣ на вѣточкѣ, но, Бога ради, не подражай свистомъ фугѣ Баха, которую ты могла услышать изъ окна! Чтобы быть музыкантомъ мысли, мало еще дуть: „дуть—не значитъ играть на флейтѣ; для игры нужно двигать пальцами“ (Гете).

Ворисъ Бугаевъ.



## РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

### ТѢНЬ ПРОЧТЕННОЙ КНИГИ.

**К. Бальмонтъ.** Ж а р ь-П т и ц а. Свирѣль славянина. К-во „Скорпионъ“. Обложка (хромолитографіи) К. Сомова. М. 1907. Ц. 2 р.\*

Такъ и приходится назвать „Жарь-Птицу“ Бальмонта, точнѣе, большую часть ея. Да и прочтена еще книга плохо, черезъ страницу, черезъ строчку, черезъ слово. Про что въ одномъ мѣстѣ прочтено, про то въ другое мѣсто не смотрѣлось. А книга читалась великая—древняя народная душа. Да и задача была великая: собрать „неполныя страницы“ народныхъ повѣрій, по „разрозненнымъ перьямъ“ воссоздать „улетѣвшую птицу“. Задача Гомера и Данте. Но еще труднѣе, чѣмъ греку и итальянцу, пришлось бы русскому баяну, не родившемуся въ свое время (ужь теперь и не родится), потому что на полпути было остановлено развитіе славянской души принятіемъ чужой вѣры, и еще не слившіеся въ одинъ костеръ языки огня были залиты заморскимъ крещеніемъ. Оттого читающіе книгу народной души становятся либо тѣнями ея, либо... Но сначала о тѣняхъ, потому что и тѣни бываютъ разныя. Хорошая тѣнь говоритъ своему бросателю: „Меня нѣтъ. Только ты. Слѣдить за тобой, всякую мелочь передавать, отражать малѣйшее измѣненіе, ничего не мѣнять, ни увеличивать, ни прибавлять, быть только тѣнью—вотъ жизнь тѣни“. Дурная тѣнь говоритъ: „Я—твоя тѣнь. Но все же это—я. По моему, вотъ тутъ надо прибавить, вотъ тутъ убавить. Это ничего,

\* Помѣщая статью г. С. Городецкаго, посвященную сравненію „Жарь-Птицы“ К. Бальмонта съ народнымъ творчествомъ, редакція имѣетъ въ виду дать въ слѣдующемъ № вторую статью о той же книгѣ, анализирующую ее и съ другихъ точекъ зрѣнія.

что ты измѣнишься, а то и я буду видна. „Жарь-Птица“ Бальмонта— дурная тѣнь народной души. Она прибавляетъ и убавляетъ, какъ ей вадумается, главнаго не замѣчаетъ, мелкое выдвигаетъ, передаетъ невѣрно.

Въ простые рассказы о богатыряхъ, гдѣ каждое лишнее слово— грѣхъ (у дикарей—смертная казнь), вставляются мудрыя, но всѣмъ извѣстныя, изреченія, вродѣ: „но тайны есть въ могилахъ“, „еще есть міръ наравѣданный“, „что красиво? Жить въ борбѣ“, „міръ богатъ, міръ широкъ“, „вѣчно молодость хвастливою была“, „хотѣнье сердца не мертво“ и т. д. Почти постоянны пропуски существеннаго. Въ пересказѣ былины о Святогорѣ пропущено описаніе его силы, безъ чего пропадаетъ эпизодъ съ земной тягой. Въ былинѣ о Вольгѣ пропущено обученіе Вольги „ко премудростямъ“, т. е. „обертываться яснымъ соколомъ, сѣрымъ волкомъ“ и т. д. Въ связи съ этимъ искажено описаніе побѣды надъ индѣйскимъ войскомъ. Въ былинѣ Вольга „самъ обернулся мурашикомъ и всѣхъ добрыхъ молодцовъ (обернулъ) мурашками“ и, такимъ образомъ, пробравшись за стѣны, „царемъ насѣлъ“. У Бальмонта: „склонилися предъ силой молодецкою Царь-Санталъ съ своей царицею Турецкою“.

Но лучше нѣсколько подстрочныхъ сравненій.

#### Заговоръ матери:

У Бальмонта:

Разрыдалась я во теремѣ родительскомъ высокомъ  
 Съ красной утренней зари  
 Въ чисто поле, въ тоскованьи одинокомъ,  
 Все смотря, смотря, какъ въ Небѣ, въ тучкахъ тають  
 янтари,  
 Досидѣлася до поздней, до вечерней я зари,  
 До сырой росы въ бѣдѣ,  
 Стало ясно и звѣздисто, стало тихо такъ вездѣ.  
 Не взмилось мнѣ о дитяткѣ тоской себя крушить,  
 Гробовую я придумала тоску заговорить

У народа:

Разрыдалась я, родная, раба такая-то, въ высокомъ теремѣ  
 родительскомъ, съ красной утренней зари, во чисто поле глядѣчи, на  
 закатъ ненагляднаго дитятки своего, яснаго солнышка,  
 — такого-то. Досидѣла я до поздней вечерней зари, до сырой росы,  
 въ тоскѣ, въ бѣдѣ. Не взмилось мнѣ крушить себя, а придумалось  
 заговорить тоску лютую, гробовую.

Подчеркнувъ разнорѣчія, изслѣдуемъ ихъ. У Бальмонта вездѣ пропущено очень характерное для заговора упоминаніе своего имени, безъ котораго вся магическая сила заговора теряетъ конкретность и расплывается. Прибавлено „въ тоскованьи одинокомъ“ (въ источникѣ упомянутое ниже), приведенное сюда, очевидно, приемой. Далѣе—просто невѣроятно. Данный заговоръ употребляется при „разлукѣ съ милымъ дитяткою“. Образомъ этой разлуки въ заговорѣ является закатъ. И вотъ слова заговора „глядя на закатъ ненагляднаго дитятки“, т. е. при отъѣздѣ его, Бальмонтъ замѣмѣняетъ ничего не значущимъ: „смотря, какъ въ Небѣ, въ тучкахъ таютъ янтари“. Одна ошибка ведетъ другую: у Бальмонта быстро наступаетъ ночь: „стало ясно и звѣдисто“, чего нѣтъ въ заговорѣ.

Далѣе, въ перечисленіи нечисти, отъ которой мать ограждаетъ сына, пропускается цѣлая картина, одна изъ главныхъ: мать ограждаетъ „отъ чужою домового“, вмѣсто чего у Бальмонта просто отъ „домовыхъ“, что нелѣпо, потому что с в о й домовый спасаетъ и защищаетъ. Въ концѣ заговора опять нелѣпость. Мать говоритъ уважающему сыну:

У Бальмонта:

А какъ часть твой смертный глянетъ...  
Ты на родину вернись,  
Съ кровнымъ, съ близкимъ распростися,  
И къ сырой землѣ прильни,  
Непробуднымъ сномъ засни.

У народа:

А придетъ часть твой смертный... обернись на родину славную,  
ударь ей челомъ селмержлы семь, распрости съ родными и кровными,  
припали къ сырой землѣ и засни сномъ сладкимъ, непробуднымъ.

Только, измѣненъ префиксъ, вмѣсто „об“ поставлено „в“, но тутъ-то и обнаруживаются свойства дурной тѣни.

Въ былинахъ то-же самое:

Отчего перевелись витязи на Руси:

У Бальмонта:

А безвѣстная рать все растетъ и растетъ,  
Все на бьющихся витязей съ боемъ идетъ...  
Испугались бойцы тутъ могучіе,  
Побѣжали къ горамъ,

Побѣжали къ пещерамъ, къ ущельямъ, гдѣ чаши дремучія,  
 Подбѣжить одинъ витязъ къ горѣ—и останется тамъ,  
 Каменѣть,  
 Подбѣгаетъ другой—и, какъ камень, причтется къ камнямъ,  
 Третій, всѣ,—подбѣжить изумленный—нѣмѣть.  
 Съ этихъ поръ на Руси уже болѣе витязей нѣтъ,  
 Съ этихъ поръ въ сумракъ горъ углубиться не всякій  
 посмѣетъ,  
 Страненъ глыбъ ихъ узоръ, и таинственный свѣтъ  
 Надъ провалами часто бѣлѣтъ.

У народа:

А сила все растетъ да растетъ,  
 Все на витязей съ боемъ идетъ,  
 Испугались могучіе витязи,  
 Побѣжали въ каменныя горы,  
 Въ темныя пещеры:  
 Какъ подбѣжить витязъ къ горѣ,  
 Такъ и окаменѣть;  
 Какъ подбѣжить другой,  
 Такъ и окаменѣть;  
 Какъ подбѣжить третій,  
 Такъ и окаменѣть;  
 Съ тѣхъ поръ и перевелись витязи на Святой Руси.

Если оставить незначительныя измѣненія (вмѣсто „сила“—„ратъ“) и прибавленные и пропущенные (очень важно—„каменные“) эпитеты, и обратить вниманіе на конецъ, то развѣ останется сомнѣніе, гдѣ лучше передано повторяющееся окаменѣніе витязей,—простымъ—ли повтореніемъ главной строки, или пустословными вариантами, и нужно ли еще описаніе трусости туристов?

Еще:

Соловей Будимировичъ:

У Бальмонта:

Изъ-за Моря, Моря синяго, что плещетъ безъ конца,  
 Изъ того-ли глухоморья изумруднаго,  
 И отъ славнаго отъ города, отъ града Леденца,  
 Отъ заморскаго царя, въ рѣшеньяхъ чуднаго,  
 Выбѣгали, выгребали ровно тридцать кораблей.



## У НАРОДА:

Изъ-за моря, моря синяго,  
 Изъ глухоморя зеленаго,  
 Отъ славнаго города Леденца  
 Отъ того де царя, вѣдѣ, заморскаго  
 Выбѣгали, выгребали тридцать кораблей.

Написать море съ большой буквы, прибавить ненужный союзъ, предлогъ, предложенье, повторить слово въ другой формѣ и пропустить слово „вѣдѣ“ (=замѣтъ, обрати вниманіе), поставленное для обновленія эпитета „заморскій“, а самый эпитетъ переставить и совершенно обезцвѣтить—вотъ образецъ поведенія дурной тѣни.

Хорошая тѣнь должна была бы собрать всѣ варианты, сличить ихъ, составить наиболѣе характерный изводъ, сберегая каждое словечко, намекъ, обмолвку и,—если она дерзнула бы,—попытаться соединить отдѣльные произведенія въ цѣлое, выслѣживая еле замѣтныя нити, ихъ соединяющія. Нѣчто подобное сдѣлали курсистки Бестужевскихъ курсовъ, и ихъ книжка цѣнна... для дѣтей.

„Жарь-Птица“ не имѣла бы и такой цѣнности, если бы состояла изъ однихъ пересказовъ заговоровъ, былинъ и духовныхъ стиховъ. Но въ ней есть нѣчто живое, то, чѣмъ еще могутъ быть читающіе книгу народной души: не только тѣнью ея, но и свѣтомъ отъ ея свѣта.

Это—свѣтъ лирическаго восторга.

Здѣсь совершается чудо. Железъ ударяетъ въ скалу, и течетъ живая вода. Сразу слова находятъ, образы растворяются, углубляются. Илья расширяется до „генія сѣрой нищеты, что безгласно ждетъ до назначенной черты, рвущей твердый ледъ“. Польская дѣвушка вмѣщаетъ всепобѣждающую красоту. Славяне славятъ своей жизнью дикую волю. Въ родныхъ богатыряхъ „свѣтятъ небеса“ и „водные, степные, лѣсные голоса“. Оживаютъ „боги свѣтлоглазые“. Славянское древо плѣняется всѣми своими разновидностями, звенитъ „зеленымъ звономъ“, „нашъ славянскій цвѣтъ“, поетъ на поляхъ всѣми цвѣтами. Голубой и звѣздный Сварогъ свѣтитъ сверху. Ярило „въ вѣнкѣ изъ весеннихъ цвѣтовъ“ „на бѣломъ конѣ тропюю свою“ ѣдетъ, какъ и теперь еще ѣздить парни въ Бѣлоруссіи. Стрибогъ внуки дальше уносятся, „слѣдомъ клубится лишь пыль“. Перунъ „вылетаетъ“, „огневзорный, веселый, пѣвучій“. Звенятъ гусли-самогуды. Велесъ, „богъ мирныхъ дней“, „богъ сочныхъ травъ“, „богъ тучныхъ нивъ“, слушаетъ своего внука, пастуха-поэта. Богъ Погода, „юный, малый“, „въ васильковомъ вѣнкѣ“, мчитъ въ лѣсъ хохотать съ касаткой. Богъ Посвистъ „шелеститъ“ „въ лѣсной тиши“.

Водяной „сидитъ, весь голый, въ тинѣ, въ шапкѣ, свитой изъ стеблей“. Домовой „забираетъ въ домовитый свой плѣнь“. Лѣшій „лапти вывернулъ“, „въ человѣчій ликъ вмѣстился, какъ мужикъ идетъ, поетъ“. Три полудницы сходятся, когда полдень роняетъ „последнюю минутку, „въ лѣсной родникъ“. „Нѣжныя лѣсунки веселятъ полдневный лѣсъ“, „стебли тонкіе качаютъ, говорятъ всему: живи“. Поютъ Сиринь и Гамаюнъ. Богъ Свѣтовитъ „льнетъ... къ степямъ Небесъ“. И „Славянской мірь, объять пожаромъ“ вопрошаетъ: „Къ какимъ ты насъ уводишь чарамъ, Богъ Свѣтовитъ?“ „Воистину Жарь-Птица“ взлетаетъ и дразнить сверканьемъ „разрозненныхъ перьевъ“.

Таково должно быть отношеніе современной поэзіи къ народной, если она не хочетъ быть дурной или хорошей, все равно—литературой. Не пересказывать, а брать образъ и вмѣщать въ него свое содержаніе. Въ одномъ словѣ угадывать поэму. Весь фольклоръ пустить на сѣмя и вырастить небывалый лѣсъ. „Жарь-Птица“ Бальмонта частью дѣлаетъ это, и въ томъ ея значеніе.

Сергѣй Городецкій.



## ПОВОРОТЪ.

Литературно-художественные альманахи изд. „Шиповникъ“. Книга II. Спб. 1907.

Пробѣгая страницы этой 2-й книги альманаховъ „Шиповника“, невольно ставишь себѣ вопросъ: что же такое книга вообще? Неужели все, схваченное одной обложкой,—уже книга? или альманакъ—нѣчто, стоящее внѣ всякихъ законовъ логики, всякихъ литературныхъ требованій? Конечно, мы уже имѣли рядъ пресловутыхъ сборниковъ „Знанія“, совмѣщающихъ въ себѣ рыцарскіе діалоги Максима Горькаго съ Франціей, съ однимъ изъ величайшихъ произведеній XIX в.: „Искушеніемъ“ Г. Флобера, дубовыя вирши въ семинарскомъ вкусѣ Скитальца съ твореніями Верхарна (хотя—увъ!—въ переводѣ г. Чулкова!). Но къ чему же еще цѣлый зарядъ толстыхъ и лишенныхъ всякаго стиля, всякаго единства альманаховъ?

Неужели нужны эти внушительныя и увѣсистыя кипы печатной бумаги, соединяющія подъ одной черно-красной обложкой мистикореалистическое повѣствованіе какого-то Муйжеля о томъ, какъ нѣкій мужикъ пытался изнасиловать цыганку и какъ за то былъ обруганъ „сукинымъ сыномъ“ и избитъ по шеѣ,—съ занимательнѣйшимъ разсказикомъ Б. Зайцева о томъ же, все о томъ же, тысячу разъ о томъ же ничтожномъ, незамѣтномъ, обыденно-скучномъ, который оканчивается разрушающимъ впечатлѣніе фальшивымъ аккордомъ: „Спятъ Машура, Комарикъ, Штюцваге, Пронечка, Соня, луна (?), тетя и Коля“... (стр. 101), и съ изысканно-утонченными и безконечно-грустными, слегка капризными, рисунками Ал. Бенуа, этого исключительнаго въ наши дни строгаго артиста въ искусствѣ, этого настоящаго стилиста и эстета въ серьезномъ европейскомъ смыслѣ слова, и съ романтически-музыкальными строфами А. Блока, которыя, впрочемъ, перемѣшаны съ визгливыми, какъ звуки гармоники, стихами С. Городецкаго? Гдѣ единая идея, гдѣ общій порывъ, гдѣ совпаденіе путей или общность враговъ,—дающіе оправданіе появленію подобныхъ изданій, рассчитанныхъ на вкусы толпы?

Конечно, для всякаго, кто вдумывался въ примѣры прошлаго, не можетъ быть удивительнымъ или неожиданнымъ тотъ процессъ вульгаризаціи, который мы переживаемъ уже не первый годъ въ сферѣ литературы.

Такъ было всегда и такъ всегда будетъ! Вся міровая исторія религій и художественнаго творчества—не что иное, какъ чередованіе стадій трагическаго созиданія немногихъ и преступное низведеніе всѣхъ.—Этотъ законъ не знаетъ исключеній.

Поэтому мы, не раздѣляя ни одного убѣжденія современнаго нео-христіанства, не можемъ не относиться съ глубочайшимъ уваженіемъ къ тѣмъ, кто первые выдвинули идею о воплощеніи символа, о творествѣ новыхъ формъ бытія черезъ мистическое служеніе,—къ Д. Мережковскому и Андрею Бѣлому, и съ тѣмъ большимъ негодованіемъ къ тѣмъ пастырямъ новаго религіознаго сознанія, которые размѣняли на мѣдныя деньги обыденности и общедоступности то чистое золото, которое накоплено годами уединенныхъ, трагическихъ исканій и реализовано въ цѣлыхъ специальныхъ трактатахъ \*.

Равнымъ образомъ, стоя на строго-индивидуалистической точкѣ зрѣнія современнаго эстетизма, мы понимаемъ и цѣнимъ строгій и цѣльный р е а л и з м ъ, хотя бы Толстого и Чехова. Но тѣмъ болѣе мы вооружаемся и рѣшительно отвергаемъ современный вульгарно-утонченный, реально-символическій, общественно-мистическій стиль „эпигоновъ“, какъ декадентства, такъ и реализма, которые выработали особый трафаретъ, сводящійся къ черезполосицѣ ультра-символическихъ обобщеній и грубо-детальныхъ натуралистическихъ подчеркиваній. Этотъ трафаретъ заставилъ договориться Л. Андреева до „нѣкоего въ сѣромъ“, а Зайцева даже до „матово-бирюзоваго поручика“ (стр. 100).

2-й альманахъ „Шиповника“ именно и представляетъ собой подобное скучно-черезполосное поле.

Скучнѣйшій и длинный рассказъ Муйжеля, неизвѣстно почему озаглавленный „Пика“, составленный изъ лубочныхъ описаній природы въ стилѣ разводненнаго Чехова, похожихъ на пыльные фотографіи, испещренъ неожиданностями въ стилѣ Андрея Бѣлаго, которые умѣстны въ „Симфоніяхъ“, но, какъ коровѣ сѣдло, идутъ г. Муйжелю. Такъ, послѣ длинныхъ разговоровъ мужиковъ на тему о томъ, что „праздникъ сдѣланъ, чтобъ отдохнуть“ (стр. 17) или

\* Напримѣръ, II томъ книги Д. Мережковскаго «Толстой и Достоевскій», откуда теперь, какъ изъ бассейна, черпаютъ всѣ стремящіеся во что бы то ни стало примирить «декадентство» съ «революціей» и «божественностью» съ «общественностью».

„сработалъ—съѣлъ, опять сработалъ—опять съѣлъ!..“ (стр. 18), вдругъ слѣдуетъ фраза, какъ бы вырванная изъ Ст. Пшибышевскаго: „Темная, колеблющаяся мгла заслонила мозгъ Василя“ (стр. 19); или, вмѣсто того, чтобы сказать, что мужикъ заснулъ, авторъ пишетъ: „потомъ вдругъ качнулся, взмахнулъ руками и — низко и быстро—какъ куликъ надъ отмелью, полетѣлъ въ черную пустоту“ (стр. 20).

Цыгане поэтизируются за двѣ страницы до описанія сцены „чистороссійскаго мордобитія“ въ такихъ строкахъ, достойныхъ пера любого волостного писаря: „не было у этихъ людей ни работы, ни долговъ, не было томительнаго ожиданія будущаго, потому что вчера переливалось у нихъ въ завтра сегодняшнимъ солнцемъ, пляской и смѣхомъ“ (стр. 39). Кто эти полу-эльфы, полу-хулиганы? Сцена изнасилованія Василемъ цыганки Груньки также не лишена демонизма и даже (о, ужасъ!) романтизма. Въ результатѣ оказывается, что „драка наарѣвала въ воядухъ“ (стр. 58).

Разсказикъ А. Койранскаго совершенно ничтоженъ, напоминаетъ фельетонъ маленькой газетки, но милъ своими небольшими размѣрами.

Разсказъ И. Бунина недуренъ, но на немъ замѣтно сильное вліяніе одной изъ самыхъ изумительныхъ прозаическихъ вещей Вал. Брюсова, а именно—его разсказа „Въ зеркалѣ“ (сборникъ „Земная Ось“). Только тамъ, гдѣ у В. Брюсова чувствуется сила настроеній Э. По и четкая бѣглость мѣткихъ строкъ, не уступающая, быть можетъ, „Petits poèmes“ Бодлера, у Бунина—просто „неудурно“. А тамъ, гдѣ у Брюсова ужасное—оказывается высшей ступенью прекраснаго, у Бунина—только риторика.

Въ альманахѣ есть отдѣлъ стиховъ. Бунинъ-стихотворецъ все болѣе и болѣе впадаетъ въ крикливую риторику; стихи его претенціозны, но страдаютъ промахами самыми существенными; такъ, „змѣй“, напримѣръ, у него „идетъ“ и т. под. Городецкій, въ плохихъ стихахъ, исполненныхъ самаго низкопробнаго патріотизма, восклицаетъ:

Русь? Что больше, и что ярче,  
Что сильнѣй, и что смѣлѣй?  
Гдѣ сіяетъ солнце ярче,  
Гдѣ сіяетъ ему милѣй?

Гдѣ „сіяетъ солнце ярче“, чѣмъ на Руси?—Да почти вездѣ! Мы что-то не слышали, чтобы тропики были перенесены въ Россію!

Пріятное исключеніе составляютъ стихи А. Блока, искренніе, изящные, очень интересные.

Длинная пьеса одного изъ современныхъ третьестепенныхъ

французскихъ писателей С. Ж. де-Буэлье читается не безъ насилія надъ волей.

Такіе сборники явно говорятъ о томъ, что первое дѣтское поголовное увлеченіе „символизмомъ“ уже проходить, постепенно замѣняясь болѣе грубой пищей,—поворотомъ къ р е а л и з м у, который, конечно, скоро сброситъ свою полу-символическую маску и превратится въ нормально-здоровую пищу для огромнаго желудка вѣчно-голодной до дешевой красоты толпы. Все болѣе и болѣе очищаются ряды истинныхъ служителей П р е к р а с н а г о, поклонниковъ искусства, какъ самостоятельной сферы духа, быть можетъ,—вышей изъ всѣхъ... Корреспонденты и комми-воажеры перестаютъ дѣлать видъ, что понимаютъ Бодлера, что плачутъ надъ „Вѣнкомъ“ Брюсова, что отравляются вмѣстѣ съ О. Уайльдомъ; средніе, рядовые, такъ называемые, „интеллигенты“, чувствуютъ, что пришло время отдохнуть отъ непосильной тяжести „декадентскихъ“ переживаній, и опять, уже во второй разъ, зная новаго (т. е. оригинальнаго и ставшаго в ы ш е ж и з н и) искусства, искусства, говорящаго о вѣчномъ, сходящемъ съ неба огненными языками, зная, водруженное на недосыгаемой высотѣ и украшенное амфой Заратустры, вѣется высоко надъ ними.

Въ добрый часъ!

Э л л и с ъ.



## ВЪ ЗАЩИТУ ДЕКАДЕНТСТВА.

По поводу статьи Н. Бердяева

«Декадентство и общественность» («Русская Мысль», 1907, № 6).

Какъ извѣстно, съ начала этого года „Русская Мысль“ издается подъ новой редакціей. Если съ художественными вкусами „прежней“ редакціи мы и не могли согласиться ни въ чемъ, то, по крайней мѣрѣ, знали ихъ опредѣленность. Художественные же вкусы „новой“ редакціи отличаются необыкновенной гибкостью и противорѣчивостью. Повидимому, эта новая редакція сама не знаетъ, чего она хочетъ, или старается, помощью компромиссовъ, примирить непримиримое. Такъ, новая „Русская Мысль“ печатаетъ статью Д. Мережковского, но дѣлаетъ примѣчаніе, что съ ней не согласна; печатаетъ стихи Валерія Брюсова, но рядомъ куплеты Сергѣя Кречетова и даже quasi-разказы разныхъ литературныхъ безличностей; жалуется на паденіе Бальмонта, но умиляется на сладенькіе стишки Виктора Стражева и т. д.

Помѣщеніе въ „Русской Мысли“ статьи Н. Бердяева „Декадентство и общественность“, на этотъ разъ безо всякаго примѣчанія, является неожиданнымъ выступленіемъ уже прямо противъ искусства, которому журналъ какъ будто бы и пытался, хотя съ запинками, служить.

Когда, четыре года назадъ, появилась первая книжка „Вѣсовъ“, они, прежде всего, поспѣшили провозгласить, какъ итогъ всей предыдущей дѣятельности передовой группы писателей, полную свободу художественнаго творчества. „Исторія новаго искусства,—писалъ Валерій Брюсовъ\*,—есть, прежде всего, исторія его освобожденія... Нынѣ искусство, наконецъ, свободно!“ Свобода искусства—означаетъ признаніе за нимъ самостоятельной роли, признаніе за нимъ права на постановку цѣлей и задачъ, не подчиненныхъ никакимъ другимъ цѣлямъ и задачамъ. Въ статьѣ Н. Бердяева мы опять встрѣчаемъ требованіе поработить искусство, правда, на этотъ разъ не „жизни“ (понятой въ узкомъ смыслѣ слова,—жизни, т. е. ближайшимъ нуждамъ человѣка), но—„бытіеиственной“

\* Валерій Брюсовъ, «Ключи Тайны». «Вѣсы», 1904 г. № 1.

красотѣ“, „мистической реальности“, „теургическому дѣйствованію“, „новой плоти“ и т. д. Искусство, конечно, ничего не выигрываетъ отъ такой подмѣны, потому что опять изъ него хотятъ сдѣлать только средство, только особаго рода „муку-Геркулесъ“ для выраживанія мистиковъ.

Большая часть статьи г. Бердяева занята критикой декадентства. Однако, г. Бердяевъ пишетъ: „Декадентство—единственная у насъ теперь литература и искусство“, и еще: „Я очень высоко ставлю такъ называемое декадентское искусство, считаю его единственнымъ \* настоящимъ искусствомъ въ нашу эпоху“. Такимъ образомъ, критика декадентства, какъ искусства настоящаго, подлиннаго, превращается у г. Бердяева въ критику искусства вообще. А такъ какъ дальше оказывается, что декадентство повинно въ самыхъ непростительныхъ грѣхахъ, то остается непонятнымъ, за что именно г. Бердяевъ „высоко ставить декадентское искусство“? Не написаны ли имъ эти слова только затѣмъ, чтобы не показаться отставшимъ отъ вѣка? Правда, г. Бердяевъ, чтобы смягчить противорѣчіе, подмѣняетъ слова „декадентское искусство“ другими, заявляя, напр.: „я буду говорить о декадентскомъ состояніи современной души, о декадентскомъ міроощущеніи и міроотношеніи“,—но какимъ образомъ „декадентское искусство“ можетъ быть не выраженіемъ „декадентскаго состоянія души“ и т. под.?

Въ чемъ же обвиняетъ г. Бердяевъ декадентство? Онъ находитъ, что „декадентство есть отраженіе иллюзорности бытія“, что „ужасъ декадентства—въ потерѣ ощущенія и сознанія реальности, въ крайнемъ анти-реализмѣ“. Но не всякое ли искусство, отрекаясь отъ данной дѣйствительности, даетъ ощущеніе иной реальности, возвышаясь надъ реальнымъ бытіемъ (даннымъ въ опытѣ), сообщаетъ чувство иного бытія? Въ проникновеніи въ иную реальность и заключается трагизмъ, которымъ живетъ душа истиннаго художника. И г. Бердяевъ напрасно противопоставляетъ „декадентскимъ переживаніямъ“, будто бы иллюзорнымъ, переживанія мистическія, которыя, по его утвержденію, реальны въ томъ смыслѣ, что они „сопро-вождаются ощущеніемъ и сознаніемъ реальности предмета, объекта своего усмотрѣнія“. Говорить такъ, значить—нечестно играть словами, употребляя „реальность“ то въ одномъ, то въ другомъ смыслѣ.

\* Кстати, врядъ ли сами „декаденты“ (гдѣ они?) согласятся съ такимъ расширеніемъ понятія декадентства до безпредѣльности. Неужели Толстой и Чеховъ уже утратили свое значеніе „въ нашу эпоху“? Неужели можно назвать „декадентскими“ такіа произведенія „нашей эпохи“, какъ „Огненный Ангелъ“ В. Брюсова?



Мы спрашиваемъ г. Бердяева, можно ли одинаково назвать реальными блоху, стаканъ съ виномъ, вѣчность и Бога? А, вѣдь, каждый изъ этихъ объектовъ можетъ „сопровождаться ощущеніемъ реальности предметовъ своего усмотрѣнія“. Мистическія откровенія, конечно, дѣйствительны, но въ той же мѣрѣ, въ какой дѣйствительны, т. е. реальны, а не иллюзорны, „декадентскія переживанія“. Иначе можно было бы намѣрять безконечность кускомъ веревки и ставить въ вазу букеты изъ „вѣчныхъ розъ“!

Помимо избитыхъ аргументовъ quasi-философскаго характера, г. Бердяевъ не погнушался воскресить и тѣ обвиненія противъ новаго искусства, которыя создали славу Герострата Максѹ Нордау, а затѣмъ цѣлые годы расцвѣтали на страницахъ „Новаго Времени“: „декадентству грозитъ вырожденіе“... „декадентскую литературу и искусство я адѣсь беру лишь какъ симптомъ болѣзни духа“ и т. д. Поэтому г. Бердяевъ привѣтствуетъ мнимый „уклонъ В. Брюсова къ классицизму“, забывая, что самъ только что призналъ единственно-цѣннымъ искусствомъ „въ нашу эпоху“ такъ называемое „декадентство“. \* Поэтому же г. Бердяевъ считаетъ нужнымъ „преодолѣть“ искусство, въ то же время заявляя: „Теургія—есть идеалъ искусства религіознаго,—теургическое искусство есть уже религіозное дѣйствіе“, и, произвольно называя Тютчева и Достоевскаго „мистическими реалистами“, оказываетъ сомнительную услугу какъ искусству, такъ и самой теургіи.

Таковы аргументы противъ искусства, идущіе со стороны нашихъ „теократовъ“, мечтающихъ о полетахъ всего человѣчества и отнимающихъ у него то, безъ чего невозможна даже самая первая идея о полетѣ!.. Но Демонъ исторіи, самый реальный и самый могучій изъ всѣхъ демоновъ, охраняющихъ нашу землю, не замедлитъ завтра же превратить вашу мистику и теократію въ клерикализмъ, подобно тому, какъ онъ вчера еще превратилъ вашъ „реализмъ“ въ полу-декадентство!

Э л и с ъ .

\* Впрочемъ, у насъ теперь стало почти обыкновеніемъ со стороны всякаго, лишеннаго доступа на Парнасъ, обвинять всѣхъ, достигшихъ высотъ творчества, въ „парнасизмъ“, всѣхъ, сознательно-творившихъ, въ „академизмъ“.

## АНЕКДОТЪ ОБЪ ИСПАНСКОМЪ КОРОЛѢ.

«Mercure de France», 15 juin. Lettres russes.

Замерло, закостенѣло... Журналистамъ - политикамъ заклепали ротъ деревянной клепкой, и что они тамъ, сквозь нее, мычатъ—не разберешь: не то „птичка Божія не знаетъ“, не то „многострадальный русскій народъ“... Признаться, и намъ, литературнымъ журналистамъ, сейчасъ какъ будто нечего дѣлать. Говорятъ, что когда спадаетъ общественная волна — поднимается литературная; другіе утверждаютъ, наоборотъ, что стоитъ замереть общественной жизни—тотчасъ замереть и литература. Я склоняюсь ко второму мнѣнію: данный моментъ его оправдываетъ. Просто не о чемъ говорить. Большинство „молодыхъ талантовъ“, выросшихъ за послѣднее время, какъ грибы, оказалось изъ породы несъѣдобныхъ; не стоитъ и трогать ихъ; сами табакомъ разсыплутся. Впрочемъ, какъ въ революціи, появились экспроприаторы, такъ появились они и въ литературѣ, съ тою разницею, что вторые — экспроприаторы и притомъ рекламисты. Отчего жъ было не появиться? Безопасно. Въ тюрьму за этотъ сортъ экспроприаторства не сажаютъ. Да оно и, дѣйствительно, безвинно. Такъ безвинно, что и этими господами, въ сущности, не стоило-бы заниматься. Но отъ нечего дѣлать, проходя мертвую полосу жизни, можно, на досугѣ, заняться которымъ-нибудь изъ нихъ, рассказать нѣсколько анекдотовъ изъ жизни такого литературнаго экспроприатора-рекламиста.

Конечно, это не совсѣмъ осторожно, не расчетливо: рекламистъ вѣдь только того и добивается, чтобы о немъ говорили. Ему рѣшительно все равно, что говорить, какъ говорятъ: лишь бы въ Петербургѣ знали, что живетъ такой-то Добчинскій. Онъ отъ cadaго упоминанія его имени разцвѣтаетъ, раздувается. Примѣръ—Георгій Чулковъ. Его раздуванію я лично придаю необыкновенно мало значенія; оттого и произношу его имя безстрашно еще одинъ разъ. Однако, раздуваніе это и разцвѣтаніе — фактъ, и въ большой мѣрѣ сей рекламистъ обязанъ тутъ неосторожности нашихъ художественныхъ журналовъ, бранившихъ его изъ номера въ номеръ. Оцѣнка была справедливая и яркая, но слишкомъ яркая, слишкомъ энергичная. Зачѣмъ? Давно бы его бросить!

Ну, да, повторяю, бѣды не особенно много. А недавній анекдотъ, случившійся съ французскимъ журналомъ „Mercure de France“ и съ

Чулковымъ, благодаря раздутію и осмѣлѣнію послѣдняго, — рѣшительно стоитъ отмѣтить.

Въ іюльской книжкѣ вышеназваннаго журнала нѣкто г. Семеновъ озаглавилъ свой отчетъ о русской литературѣ прямо „Le mysticisme anarchique“. Не будучи въ силахъ ни разобрать въ этомъ дѣлѣ, ни опредѣлить, что это такое, но, однако, наивно подавленный „движеніемъ“, — онъ предоставляетъ слово самому Чулкову. Чулковъ радостно распространился передъ „Европой“ и написалъ свое объявленіе съ неменьшей убѣдительностью, нежели пишутся анонсы о шоколадѣ Suchard и Milk. „Русское культурное общество переживаетъ религіозный и философскій кризисъ, — говоритъ Чулковъ; — оно — на перепутьи; поэтому я и счелъ необходимымъ выдвинуть (обществу на помощь и спасеніе) мою теорію мистическаго анархизма“.

Слѣдуетъ безсвязный и невѣжественный наборъ обычныхъ словъ, весьма знакомый русскимъ читателямъ и давно имъ надоевшій. Но любопытенъ „тонъ“ объявленія. Вспоминается уже не Хлестаковъ, а прямо испанскій король, Поприщинъ I. „Не нужно никакихъ знаковъ подданничества“, — какъ будто прибавляетъ Чулковъ въ концѣ изложенія своей „теоріи“. Дѣло сдѣлано. Европа поняла, что Чулковъ — испанскій король.

Весь этотъ анекдотъ произошелъ, я думаю, такъ. Пріѣхалъ въ Петербургъ, послѣ многолѣтняго отсутствія, ото всего отставшій и по природѣ неспособный, г. Семеновъ. Тотчасъ же его, какъ ловкій гидъ и коммиссіонеръ, захватилъ Чулковъ и сталъ расхваливать свою фирму, старательно не допуская до него другихъ агентовъ. Это, молъ, самое новое, самое важное, и это — я. Я — испанскій король. У рекламистовъ особенный нюхъ на людей, которые имъ могутъ пригодиться; они въ этихъ случаяхъ никѣмъ не брезгаютъ. Семеновъ, по неспособности, и попался. Его положеніе весьма комическое и даже не безъ позора; хотя врядъ ли онъ это понимаетъ. Что касается журнала „Mercure de France“, — то онъ даже и не замѣтилъ, вѣроятно, какія штучки напечаталъ Семеновъ въ своихъ „Lettres russes“. Все можетъ быть въ этой далекой „русской литературѣ“. Рядомъ стоятъ „Lettres Hongroises“, „Lettres Tchèques“, — мало ли какія своеобразныя дикости могутъ встрѣтиться и въ этихъ странахъ? Благородная невозмутимость „Mercure de France“ вполне оставляетъ всѣ анархическіе мистицизмы на нашей отвѣтственности. Ни вѣрить, ни не вѣрить, а окончательно проходитъ мимо. И съ этой стороны — реклама, несомнѣнно, не удалась. Получился только нѣкоторый „пассажъ“ для Семенова, а Чулкову — тому и терять нечего. Миѣ кажется, впрочемъ, что эта неудача его не остановитъ: онъ непременно еще съѣздитъ въ Европу со своими marchandises'ами. Я бы по-

совѣтовалъ ему обратиться лучше въ „Matin“—газету распространенную, смакующую скандалы, отлично рекламирующую пилюли Pink и чрезвычайно любящую всякихъ королевъ, и сіамскихъ, и испанскихъ. Одна бѣда: для „Matin“ мало самоувѣренности, да и корреспонденты его посмышленѣе Семенова; тамъ, хочешь рекламироваться, — подавай денежки!

Журналъ „Mercure“ трудно винить. Въ самомъ дѣлѣ, русскіе литераторы давно приучили французовъ не удивляться никакимъ кунштюкамъ, проходить мимо съ благосклоннымъ невниманіемъ. Въ частности-же, если бы и наша литература съ бѣльшимъ равнодушіемъ и небрежностью прошла мимо такого, по совѣсти нелитературнаго, явленія, какъ Чулковъ съ его анархизмами, — то, вѣроятно, рекламистъ этотъ давно сошелъ бы со сцены, и сквернаго анекдота съ его пророчествомъ на французскомъ языкѣ — тоже не вышло бы. Такъ что мы сами немножко виноваты. Да и въ томъ еще мы виноваты, что замкнули себя въ свой кругъ, судимъ у себя, да рядимъ, а Европа просвѣщается черезъ Семенова и юркихъ факторовъ — Чулковыхъ. Правда, у русскаго человѣка въ крови отвращеніе ко всему, что пахнетъ рекламой; онъ тутъ щепетилень и брезгливъ. Но не слѣдуетъ этого хорошаго чувства преувеличивать и доводить до полной небрежности. Нашей небрежностью пользуются Чулковы.

Аллюры послѣдняго, конечно, вызываютъ брезгливость, какъ неспособность Семенова — сожалѣніе; но вѣдь можно рассказывать иностранцамъ о томъ, что у насъ дѣлается и совершенно просто. Пока мы за это серьезно не примемся—нечего и дуться на Европу за ея спокойное къ намъ невниманіе.

Германія, кажется, болѣе освѣдомлена; тамъ, пожалуй, порядочный журналъ не помѣстилъ бы объявленія Семенова объ испанскомъ королѣ въ Россіи. Франція же, въ общемъ, совершенно ничего не знаетъ о нашей литературѣ и какъ-то привычно ею не заинтересована. Но нѣтъ худа безъ добра, и въ данномъ случаѣ какъ разъ это худо и послужило къ добру, къ тому, что реклама Чулкова не удалась. Вѣдь печальнѣе было-бы, если-бъ хоть одинъ французъ повѣрилъ, что въ Россіи есть какое-то мистико-анархическое „литературное теченіе“, что въ натасканныхъ отовсюду и безпомощно-грубо связанныхъ словахъ Чулкова есть какая-то „теорія“, и что вообще Чулковъ—имѣетъ какое-то отношеніе къ литературѣ, кромѣ факторства и попутнаго рекламизма!

Этимъ, кажется, исчерпывается и Чулковъ, и весь скверный анекдотъ его съ Семеновымъ. Я, по крайней мѣрѣ, къ Чулкову больше не вернусь, да и другимъ не совѣтую. Позабавились на досугъ—и довольно. Предоставимъ мертвымъ схоронить его окончательно.

Антонъ Крайній.

## ВЕСЕЛАЯ КНИГА.

„Сполохи“. Альманахъ I. Изд. „Стожары“. Москва.

Появилась книга, прежде всего—веселая. Этимъ оправдываю себя, что, вопреки данному обѣщанію не останавливаться впредь на перлахъ революціонной беллетристики, удѣляю „Сполохамъ“ нѣкоторое вниманіе. Конечно, было бы цѣлесообразнѣе ограничиться библиографической шуткой или пародіей, гдѣ ловко риемовалось бы „плохи-сполохи-чертополохи“, да, право, жаль отнять у читателя минутку освѣжающаго беззаботнаго смѣха.

Развѣ не весело, напр., послушать, какъ нѣкій г. Гольденовъ, завѣряя насъ, что

Послѣдніе цвѣты поэзіи р о д и м о й  
Увяли, отцвѣли...

сообщаетъ объ этомъ въ восьми риемованныхъ строчкахъ и, считая свое скудное виршеплетеніе за „сполохъ“ творчества, тѣмъ самымъ требуетъ себѣ мѣста на Парнасъ увядшей и отцвѣтшей р о д и м о й поэзіи?

Развѣ не интересно послушать, какъ нѣкій В. Ю. лепечетъ о прохладномъ воздухѣ, одновременно льющемъ и бодрость и... нѣгу?

Развѣ не любопытно взглянуть на г. Никанорова-Каринскаго, который заявляетъ, что онъ не только родился, но даже „зародился“ пѣвцомъ, вслѣдствіе чего обладаетъ слухомъ, столь тонкимъ, что слышитъ даже „какъ тѣма поглощается свѣтомъ“, т.-е. то, въ чемъ, какъ въ явленіи не звуковомъ, и слушать-то нечего. Сей мужъ собирается не только пѣть (за Бальмонтомъ?) солнце и огонь мірозданья, но также

И эти (?) ушедшія въ землю страданья  
Съ трепещущимъ свѣтомъ рабочей свѣчи. (?)

Г. Я. Р-тъ, въ противоположность г. Каринскому неспособный даже разслышать, что изъ 12-ти строкъ его стихотворенія въ трехъ стихахъ затесалось по лишнему трохею (впрочемъ, вообще знаетъ

ли онъ, что такое трохей?), даетъ зато очаровательную риѣму „утра—синева“. У г. Георгіева оригинальное сравненіе олицетвореннаго Времени съ возницей, посѣдѣлымъ въ разъѣздахъ. Развѣ же это „разъѣжающее“ туда-сюда, впередъ и назадъ, время, какъ образъ, не достойно войти въ историческую коллекцію ему подобныхъ, гдѣ давно уже имѣются, напримѣръ, Іуда „сперва весь красный, послѣ синій“ или „торжество“, совершившееся, когда „арестовали божество“?

Г. Ардовъ, прилежный ученикъ Сергѣя Кречетова, по примѣру послѣдняго чередуетъ двухстопные стихи съ двухаршинными и заливаетъ ихъ трескучей ррррадикальнѣйшей риторикой (о, Чуковский!), но зато онъ вполне самостоятельно подглядѣлъ преступленія, похожія на „з м ѣ й“, и, однако, „скребущихся въ окна когтями“, ложь, висящую надъ землей, и мысль, которая „билась“. Два послѣднихъ явленія мы бы посовѣтовали сфотографировать.

Г. Волобуевъ прорицаетъ, что

Въ счастья можно долго жить

и симъ стихомъ едва ли не достигаетъ Байрона, подмѣтившаго, что люди, обезпеченные пожизненной пенсіей, живутъ чрезвычайно долго.

Г. Арнольдъ, у котораго, даже когда онъ пишетъ о „травмахъ“ и о томъ „какъ съ камышомъ туманы спорили (?)“, въ глазахъ „тапцуетъ окровавленный погромъ“, оказывается способнымъ передать въ картинѣ потѣпѣвшую воду.

Но кому первый призъ по части изобрѣтенія курьезовъ, это, безспорно, г. Лобачеву! Не даромъ онъ и преподнесенъ, какъ десертъ, на послѣдней страницѣ. Дѣло было, изволите видѣть, вотъ какъ:

Утромъ раннимъ мартовскимъ было ярко весело.

Вдругъ...

(NB: все тѣмъ же раннимъ мартовскимъ утромъ!)

Высоту лазурную облакомъ завѣсило.

Затѣмъ

Потянуло свѣжестью...

Далѣе, и опять-таки раннимъ мартовскимъ утромъ,

Потемнѣло въ воздухѣ, у крыльца застучала

... частая капель

И... о, чудо!—

Съ первымъ вешнимъ дождикомъ наступалъ апрѣль.

И на этомъ кончается. Если даже событіе сіе совершилось въ самый послѣдній 31 день марта, то все же лобачевскій апрѣль сталъ наступать.

пять часовъ за двадцать до срока,—а ну какъ это было не 31-го, а числа 20-го?—Впрочемъ, 20-го числа чего не возможно!

Такова поэзія альманаха. О революціонныхъ разсказахъ его, въ родѣ тѣхъ, гдѣ описывается, какъ чрезъ огромныя трубы фабрикъ „трудящійся людъ молилъ небо о заступничествѣ“ (вообразите себѣ: въ печкѣ, у нижняго отверстія трубы, группу этого люда, а у верхняго—блюдечко видимаго неба, которое эта группа умоляетъ!), да... такъ о художественныхъ достоинствахъ этихъ разсказовъ пусть ужъ кто другой пишетъ, кому придетъ охота. Скажу только, что плохую, по истинѣ, медвѣжьёу услугу оказываютъ всѣ эти рррадикальные беллетристы-политики русской революціи. — если ужъ они думаютъ, что услугами революціи оправдываются ихъ экспроприаторскія вторженія въ область художественнаго слова. Писаніями своими они только опощляютъ ея лучшія идеи. А пошлость ни въ какой области, кромѣ вреда, ничего принести не можетъ,—будетъ ли то область изящныхъ искусствъ или точанія сапогъ. И въ послѣдней требуется мастерство и знаніе, а ужъ и тѣмъ болѣе въ сферѣ дѣятельности политико-литературной.

Всѣ эти семь радикальныхъ разсказовъ сборника—дѣтскій лепетъ. Выводы изъ нихъ можно сдѣлать какіе угодно, только не тѣ, которые силятся навязать ихъ авторы. Вотъ, напримѣръ, нѣкто г. Линскій разсказываетъ, какъ былъ подстрѣленъ во время безпорядковъ приговаривающаго, шедшій въ гимназію. Мать приговаривающаго утромъ говорила ему, чтобы не ходилъ: „время тревожное... забастовки... проводить даже некому“. И все-таки отпустила приговаривающаго, которому хотѣлось заглядить двойку изъ русскаго. А его и подстрѣлили въ толпѣ. Сюжетъ, освобожденный отъ художественныхъ достоинствъ, перенесенъ изъ „Январскаго разсказа“ Ѳ. Сологуба. Но все же изъ разсказа г. Линскаго нельзя сдѣлать иного вывода, кромѣ того, что не слѣдуетъ пускать приговаривающаго на улицу, когда тамъ даже пушки стрѣляютъ...

А въ общемъ, повторяю,—книга веселая. Вѣроятно, за первымъ послѣдуютъ и прочіе выпуски. Жду съ нетерпѣніемъ...

А. Курскіиіа.

**Некрологъ.** † 12 апрѣля В. П. Горленко, этнографъ и художественный критикъ.—22 іюня, въ Петербургѣ, Н. А. Александровъ, литераторъ.—28 іюля М. А. Марковичъ (Марко - Вовчокъ), писательница.—21 августа, въ Петербургѣ, О. Н. Попова, издательница.

**Rossica.**

Въ № отъ 1 августа „*Mercur de France*“ помѣщенъ рассказъ З. Гиппиусъ: „*Il est descendu*“. Русский его текстъ напечатанъ въ настоящемъ № „Вѣсовъ“.

Въ армянскомъ журналѣ „Норъ-Кянкъ“ помѣщенъ переводъ стихотворенія Ю. Балтрушайтиса „Гдѣ-то къ молитвѣ труба призываетъ“.

Въ голландскомъ журналѣ „*Den Gulden Winckel*“ (№ 8) Анни де Граафъ помѣстила обширную статью о „Земной Оси“ Валерія Брюсова съ его портретомъ.

Намъ указываютъ на рядъ не отмѣченныхъ нами своевременно переводовъ на нѣмецкій языкъ стиховъ Валерія Брюсова, К. Бальмонта, З. Гиппиусъ, М. Лохвицкой и др. современныхъ поэтовъ. Переводы эти исполнены Ф. Ф. Фидлеромъ и большая ихъ часть помѣщена въ „*Herold*“.

У издателя R. Piper (München und Leipzig) только что появилась книга: „*Russische Lyrik der Gegenwart, deutsch von Alexander Eliasberg*“. Въ книгѣ помѣщенъ рядъ переводовъ изъ современныхъ русскихъ поэтовъ, вступительная статья о новой русской поэзіи и четыре портрета: К. Бальмонта, Валерія Брюсова, З. Гиппиусъ и Н. Минскаго.

**„Золотое Руно“.**

Въ августовскихъ №№ большинства московскихъ и петербургскихъ и въ нѣкоторыхъ №№ провинціальныхъ газетъ было напечатано два слѣдующихъ „письма въ редакцію“.

I.

„Позвольте черезъ вашу уважаемую газету довести до свѣдѣнія нашихъ читателей, что мы болѣе не считаемъ возможнымъ сотрудничать въ „Золотомъ Руно“ г. Н. Рябушинскаго и никакого участія въ



этомъ журналѣ болѣе не принимаемъ. Д. Мережковский, З. Гиппиусъ, Валерій Брюсовъ, Андрей Вѣлый."

## II.

"Вполнѣ присоединяясь къ письму Д. Мережковского, З. Гиппиусъ, Валерія Брюсова и Андрея Вѣлаго, мы также болѣе не считаемъ возможнымъ сотрудничать въ „Золотомъ Рунѣ“ г. Н. Рябушинскаго и никакого участія въ этомъ журналѣ болѣе не принимаемъ. М. Кузминъ, Ю. Балтрушайтисъ, М. Ликиардопуло".

### О „Горестныхъ Замѣтахъ“.

Письмо въ редакцію.

Пушкинъ писалъ брату въ 1823 году: „Душа моя, должно бы издавать у насъ журналъ „Révue des Bévues“; мы печатали бы тамъ выписки изъ критикъ Воейкова, полуденную денницу Рылѣва, его же гербъ російскій на вратахъ византійскихъ... Повѣришь ли, мой милый, что нельзя прочесть ни одной статьи вашихъ журналовъ, чтобы не найти съ десятокъ этихъ бévues"... Горестныя Замѣты „Вѣсовъ“ и есть скромная попытка осуществить ту révue, о которой мечталъ Пушкинъ, потому что черезъ 80 слишкомъ лѣтъ послѣ него число бévues въ журналахъ ничуть не уменьшилось... Однако, меня, какъ читателя (слѣдовательно, человѣка, чуждаго партійныхъ счетовъ), удивляетъ тотъ нисколько не „горестный“, а скорѣе торжествующій тонъ, какимъ написаны нѣкоторыя изъ „замѣтъ“ „Вѣсовъ“. Понятна была бы насмѣшка надъ невѣждами, корчащими изъ себя знатоковъ, но такихъ примѣровъ въ „Вѣсахъ“ всего меньше и понятно почему: „Вѣсы“ не охотно спускаются на задворки литературы, гдѣ только и можно повстрѣчать подобныя явленія. Большая часть „Горестныхъ Замѣтъ“ указываетъ на ошибки случайныя, скорѣе на промахи, на недосмотры, въ худшемъ случаѣ—на небрежности. Поправить ихъ должно, улыбнуться на нихъ иногда можно, но дѣлать видъ, что обличаешь чье-то невѣжество—неумѣстно. Неужели же Рылѣвъ, напр., не зналъ, что денница бываетъ раньше полдня? —Конечно, зналъ и только по недосмотру написалъ, что въ темницу

...лишь въ полдень проникалъ,  
Скользя по сводамъ, лучъ денницы.

Уберечься отъ такихъ промаховъ очень трудно, вѣроятно, даже невозможно. Не ошибается только тотъ, кто ничего не дѣлаетъ. Лучшимъ доказательствомъ этого служить то, что изданія, ведущія счетъ этимъ bévues, зачастую должны бывають заносить въ списокъ... собственное имя. Такъ, „Mercure de France“, дающій въ каждомъ № отдѣлъ „Sottisier Universel“, нерѣдко приводитъ примѣры изъ своихъ предыдущихъ №№. „Вѣсамъ“ въ прошломъ № пришлось посмѣяться надъ „Вѣсами“ же—и т. д. Изъ многолѣтнихъ наблюденій я знаю, что трудно найти такой № журнала (такъ какъ при изданіи журнала неизбежна нѣкоторая спѣшка), въ которомъ нельзя было бы выудить болѣе или менѣе значительнаго промаха. Какъ примѣръ, беру три послѣднихъ №№ трехъ нашихъ журналовъ, посвященныхъ „новому искусству.“

Въ „Перевалѣ“ нѣкій Alexander, критикуя переводъ Б. Зайцева, пишетъ: „Нельзя переводить слово sorcier черезъ магъ, волшебникъ, а sârin черезъ ель“. Увы! слово sorcier именно значить магъ, волшебникъ, а слово sârin—ель! Въ „Золотомъ Рунѣ“ г. Вячеславъ Ивановъ увѣряетъ, что какимъ-то „преобразителямъ міра“ особенно запали въ душу слова Пушкина „и для молитвъ“. У Пушкина такихъ словъ нѣтъ, у него сказано: „и молитвъ“. Наконецъ, въ „Вѣсахъ“ г. Антонъ Крайній пишетъ: „да, мы юношей влюбленныхъ узнаемъ по ихъ глазамъ“. Если почтенный полемистъ имѣетъ въ виду сходные стихи Пушкина, онъ цитируетъ неточно: у Пушкина сказано куда лучше: „Мы любовниковъ счастливыхъ узнаемъ по ихъ глазамъ“!

Но, разумѣется, изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что редакція „Перевала“ не знаетъ французскаго языка, а Вячеславъ Ивановъ и Антонъ Крайній—Пушкина. Мы имѣемъ дѣло просто съ промахомъ или съ небрежностью писателя. И, желая „Вѣсамъ“ не только вести далѣе, но и расширить ихъ „Sottisier“, я, однако, былъ бы очень доволенъ, если бы находилъ въ ней не полемическія выходки, а, дѣйствительно,—

слѣдъ

Ума холодныхъ наблюденій

И сердца горестныхъ замѣтъ.

Доброжелатель.

## ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

М. Г., г. редакторъ!

Прошу васъ помѣстить въ вашемъ уважаемомъ журналѣ ниже-  
слѣдующее: въ № „Mercure de France“, отъ 16 іюля этого года,  
г. Семеновъ приводитъ какую-то тенденціозную схему, въ которой  
современные русскіе поэты-символисты разсажены въ клѣтки „де-  
кадентства“, „нео-христіанской мистики“ и „мистическаго анар-  
хизма“. Не говоря о томъ, что авторъ схемы выказалъ яркую нена-  
висть къ поэтамъ, раздѣливъ близкихъ и соединивъ далекихъ, о  
томъ, что вся схема, по моему мнѣнію, совершенно произвольна, и  
о томъ, что къ поэтамъ причислены Философовъ и Бердяевъ,—я  
считаю своимъ долгомъ заявить: высоко цѣня творчество Вячеслава  
Иванова и Сергѣя Городецкаго, съ которыми я попалъ въ одну  
клѣтку, я никогда не имѣлъ и не имѣю ничего общаго съ „мисти-  
ческимъ анархизмомъ“, о чемъ свидѣлствуютъ мои стихи и проза.

Примите и пр.

Александръ Блокъ.

26 августа 1907.

## НОВЫЯ КНИГИ,

доставляемыя въ редакцію «Вѣстовъ» съ 10 мая по 15 августа.

Изд. Ѳ. Булгакова.

Шарль Боделеръ. Цвѣты Зла. Перев. Н. А. Попова. Спб.

К-во „Дѣло“.

В. Башкинъ. Стихотворенія. Спб. Ц. 50 к.

К-во „Еос“.

А. Рославлевъ. Сказка о трехъ царскихъ дивахъ. Спб. 20 к.

К-во „Колоколь“.

И. Н. Бородинъ. Очерки по исторіи социальнаго движенія.  
Спб. 30 к.

К-во „Лѣтописецъ“.

Революціонное движеніе въ Россіи въ докладахъ Муравьева. Спб. 75 к.

Кіевскій и Одесскій погромы. Съ предисл. И. Непомнящаго. Спб. 70 к.

К-во „Міръ Божій“.

А. Купринъ. Разказы. Т. I, изд. 3-е. Т. III, изд. 2-е. Спб. Ц. по 1 р.

К-во „Оры“.

Сергѣй Городецкій. Перунъ. Стихотворенія лирическія и  
лиро-эпическія. Фронтисписъ Л. Бакста. Спб. 1 р.

вѣсы

Изд. Парамонова.

В. Чернышевъ. Школьникъ. Учебная хрестоматія. Спб. 60 к.

Изд. „Посредника“.

Ө. Страхъвъ. По ту сторону политическихъ интересовъ. М. 65 к.

К-во „Распространитель“.

Перека ти - по ле. Пѣсни босяка. Спб. 50 к.

Библіотека „Свѣточа“.

С. Венгеровъ. Очерки по исторіи русской литературы. Спб. 2 р. 50 к.

С. Степнякъ—Кравчинскій. Собраніе сочиненій. Спб. Ц. по 1 р.

Ж. Ж. Руссо. О причинахъ неравенства. Пер. Южакова. Спб. 75 к.

Максъ Штирнеръ. Единственный и его собственность. I. Спб. 1 р.

К-во „Скорпіонъ“.

Валерій Брюсовъ. Лицейскіе стихи Пушкина по рукописямъ Румянцовскаго музея и другимъ источникамъ. М. 1 р.

К. Бальмонтъ. Жаръ-птица. Свирѣль Славянина. Обложка (хромолитографія) К. Сомова. М. 2 р.

К-во „Тѣни“.

В. Васильевъ. Пастухъ. Повѣсть. Спб. 75 к.

Изд. „Шиповникъ“

Литературные Альманахи. II. Спб. 1 р.

Шеломъ Ашъ. Времена Мессіи. Пер. Е. Троповскаго. Спб. 50 к.

Разныхъ издателей.

М. Кузминъ. Приключенія Эме Лебефа. Виньетки К. Сомова. Спб. 1 р.

М. Кузминъ. Три пьесы Виньетки К. Сомова. Спб. 50 к.

А. Агатовъ. Искусство и актеры. Спб. 1 р. 30 к.

И. Генишъ. Зарница. Рига. 45 к.

В. Кротковъ. Современные вопросы. Спб. 30 к.

М. Сукенниковъ. 9-ое термидора. Спб. 15 к.

К. Станюковичъ. Пережитое. Спб. 75 к.

Лордъ Байронъ. Шильонскій узникъ. Новый переводъ. Спб.

Пьеръ Луисъ. Пѣсни Билитисъ. Пер. Ал. Кондратьева. Спб. Ц. 1 р.

## ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

### НОВАЯ КНИГА ВЕРЛЭНА.

Paul Verlaine. Voyage en France par un français. Avec préface de Louis Loviot. A. Messein éditeur. P. 1907.

Вниманіе читателей не только не уклоняется отъ Поля Верлэна и его произведеній, но, напротивъ, обращается все болѣе и болѣе къ этой странной и сложной жизни и къ этому творчеству, столько разъ мѣнявшему свою оріентировку, но сильному своей непосредственностью и своей инстинктивностью,—и съ каждымъ годомъ появляются все новые біографическіе документы, все болѣе точные и полные, объясняющіе различные этапы жизни и поэзіи Верлэна, можетъ быть, съ болѣе большими подробностями, нежели того желалъ бы онъ самъ. \*

Вотъ передъ нами посмертная книга Верлэна.. Книга, которую надо прочесть, хотя бы она и не прибавляла ничего къ его славі, — а это такъ и есть. Ее надо прочесть со вниманіемъ, потому что это— историческій документъ, нельзя сказать, чтобы особенно неожиданный, но чрезвычайно важный въ своей крайней причудливости для объясненія одной изъ двухъ сущностей, которыя боролись и поочередно господствовали въ душѣ Поля Верлэна. Эта книга съ необыкновенной ясностью освѣщаетъ намъ душевное состояніе автора. „Sagesse“. Именно въ тѣ дни, когда писалось большинство стихотвореній, составившихъ „Sagesse“, въ тюрьмѣ Монсъ, тотчасъ послѣ религіознаго обращенія Верлэна, въ 1874 году, было написано имъ „Путешествіе по Франціи“. Правда, г. Ловіо, получившій рукопись книги отъ

\* Издательство «Mercure de France» только что выпустило любопытную книгу Эдмона Лепеллетъ: «Paul Verlaine. Sa vie et son oeuvre», которой мы пользуемся въ этомъ очеркѣ, но къ анализу которой еще вернемся. Скажемъ пока, что, не лишенная достоинства, она заключаетъ въ себѣ серьезные промахи, не достаточно документирована, и поражаетъ нѣсколько пренебрежительнымъ тономъ по отношенію къ другимъ поэтамъ, напримѣръ, къ Маллармэ. Конечно, это — Верлэнъ, но не забудемъ, что то Маллармэ!

одного изъ родственниковъ, увѣряетъ въ предисловіи, что она была написана въ 1880 году, такъ какъ „Sagesse“ помѣчена 1881, но, судя по книгѣ г. Лепеллетье, эти цифры совершенно не вѣрны. Вся пятая глава „Путешествія“ посвящена совѣтамъ сыну, котораго авторъ представляетъ себѣ уже взрослымъ и поступающимъ въ полкъ. Но г. Лепеллетье, который тогда поддерживалъ постоянную переписку съ Верленомъ, выражается объ этой главѣ слѣдующимъ образомъ, кстати сказать, съ преувеличенной снисходительностью: „Какая захватывающая страница то мѣсто, гдѣ поэтъ, воображая своего сына солдатомъ, представляетъ себѣ, что даетъ ему совѣты! Эту гражданскую клятву Верленъ писалъ въ 1874 году, въ камерѣ тюрьмы Монсъ“. Несомнѣнно, что въ 1874 г. Лепеллетье уже зналъ цѣликомъ или въ отрывкахъ ту книгу, которую дали теперь читателямъ г. Ловіо и г. Мессень.

Исторія рукописи довольно занимательна. Верленъ, послѣ различныхъ приключеній въ годы, слѣдовавшіе за его освобожденіемъ, попытался предложить ее издателямъ, хотя жизнь автора уже далеко не соответствовала его проповѣдямъ. Издатели отказались отъ рукописи, и только въ 1891 году Верленъ нашелъ ей примѣненіе, отдавъ ее своему квартирохозяину вмѣсто тѣхъ двухсотъ франковъ, которые былъ ему долженъ. Новый владѣлецъ—увы!—тоже никуда не могъ пристроить рукопись, и уже терялъ всякую надежду, пока не купилъ ее внезапно, предупредивъ о томъ автора, родственникъ г. Ловіо, у котораго она съ тѣхъ поръ и хранилась.

Допустимъ, что, принимая поэзію Верлена, мы не придаемъ важнѣйшаго значенія обновляющимъ элементамъ такихъ книгъ, какъ „Les Fêtes Galantes“, „Romances sans paroles“, „Jadis et Naguère“. Допустимъ, что мѣстами мы находимъ слишкомъ порочными „Parallèlement“ и его другіе подобные сборники; что мы относимся со справедливымъ отвращеніемъ къ его двумъ тайнымъ брошюркамъ, плоскимъ и грязнымъ, „Femmes“ и „Hommes“—и что, больше всего, мы цѣнимъ у Верлена „Sagesse“, книгу его обращенія, его возвращенія къ религіознымъ чувствамъ. Но если мы сами при этомъ не будемъ проникнуты той особой набожностью, которой былъ исполненъ авторъ „Sagesse“, мы все же не будемъ въ состояніи понять его „Путешествія“. Каково бы ни было наше преклоненіе предъ Верленомъ, эту книгу трудно читать безъ гнѣва или безъ сожалѣнія, приближающагося къ презрѣнію. Если бы не было несомнѣнныхъ доказательствъ подлинности рукописи, можно было бы даже усомниться въ ея принадлежности Верлену,—до такой степени мало таланта и индивидуальности въ этихъ блѣдныхъ страницахъ, въ этихъ разсужденіяхъ, полныхъ повтореніями, въ которыхъ фразы неловко приставлены къ фразамъ. Впрочемъ, позднѣйшая книга „Les Inves-

tives" написана такимъ же способомъ, а книги „Memoires d'un Veuf“, „Mes hôpitaux“ и т. п. показываютъ, что Верленъ не владѣлъ прозой.

Въ своемъ психологическомъ очеркѣ о Верленѣ („Вѣсы“ 1905 г. № 7) я говорилъ, что его религиозное чувство рѣдко возвышалось надъ простымъ порывомъ, т. е. надъ экстатическимъ ощущеніемъ общенія съ Богомъ и воспріятіи благодати. Я говорилъ, что молитва Верлена была похожа на молитву взрослого ребенка, твердо помнящаго свой катехизисъ. Я не ожидалъ, что мое опредѣленіе было такъ точно. Теперь Верленъ самъ до надоедливости твердитъ намъ о какомъ-то катехизисѣ монашенъера Гома, книгѣ, которая, среди другихъ сочиненій подобнаго рода, сдѣлалась, повидимому, его обычнымъ чтеніемъ въ теченіе 18-ти мѣсяцевъ заключенія. Верленъ говоритъ объ этой книгѣ, что это—„ученый и назидательный компендіумъ, сіяющее помазаніе котораго проникло во столько сердецъ, а логика во столько умовъ“. „Это—скромная и сильная книга,—говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ,—въ которой я въ первые дни медленнаго, но рѣшительнаго возвращенія къ вѣрѣ почерпалъ помощь и духовное утѣшеніе“.

Въ подобныхъ утвержденіяхъ сказывается ревность новопосвященнаго прозелита, усердіе мальчика изъ католической семьи, котораго готовить къ первому причастію.

Въ годы отрочества, когда преувеличенная чувствительность совпадаетъ съ первымъ еще неустойчивымъ ощущеніемъ личности,—дѣти легко поддаются экзальтаци и, въ страстной жадѣ жертвы, готовы бывають всецѣло посвятить себя одному чувству или одному лицу, особенно занимающему ихъ въ то время. Эти характерныя черты мы находимъ въ письмѣ Верлена къ Лепеллетье 1874 г.: „Достань,—пишетъ Верленъ,—прекрасную книжку, которая заинтересуетъ тебя даже съ исторической точки зрѣнія, а, можетъ быть, и покорить тебя. Не пугайся слишкомъ скромнаго заглавія: „Catéchisme de persévérance par Monseigneur Gaume“. Если у тебя спросятъ новостей обо мнѣ, скажи, что я совершенно обратился къ католической религіи, послѣ зрѣлыхъ размышленій, въ полномъ обладаніи моею нравственной свободы и здравыхъ чувствъ. Это ты можешь говорить открыто. Мои постуки не опровергнуть тебя. О, ты можешь говорить это, если тебя спросятъ!“.

Въ „Sagesse“ непосредственный геній поэта, возбужденный всѣми пережитыми имъ страданіями, всѣми его нравственными злополучіями и горестнымъ раскаяніемъ, въ цѣломъ рядѣ страницъ расширяетъ эту дѣтскую, экзальтированную религиозность до священнаго трепета, общаго всему человѣчеству. Но даже въ „Sagesse“, въ книгѣ, содержащей такія высоты какъ бы неземнаго экстаза, какъ поразительная „Весѣда“ съ Богомъ,—даже въ „Sagesse“ встрѣчаются про-

стые пересказы того же самого „Катехизиса“ и другихъ подобныхъ книжекъ. Въ „Путешествіи по Франціи“ нѣтъ ничего, кромѣ любопытнѣйшихъ документовъ того, до какой степени Верленъ былъ неответствененъ за свое творчество, а также и за поступки своей случайной противорѣчивой жизни. Всѣ вліянія захватывали всецѣло существо Верлена, неспособнаго отнестись къ нимъ критически, подчиняли его, опредѣляли его. Я настаиваю, что „Путешествіе“ не болѣе, какъ „отвѣтъ“ прилежно и съ убѣжденіемъ выученнаго урока, неловкое и дѣтское усердіе ученика, а также инстинктивное исканіе помощи и защиты. Это—просто резюме, лишенное единой индивидуальной черты, благочестивыхъ и апологетическихъ книгъ, принесенныхъ въ камеру Верлена господиномъ директоромъ тюрьмы...

Первую часть книги образуетъ яростная діатриба, опирающаяся на статьи мелкой клерикальной прессы, — направленная противъ всей современной Франціи: „противъ Франціи, подстрекающей къ современному упадку (décadence),—говоритъ Верленъ,—къ общему нечестію, къ забвенію старыхъ религіозныхъ и монархическихъ принциповъ, противъ Франціи, изгнавшей іезуитовъ и поднявшей руку на духовную власть, противъ Франціи, нечестивой и презрѣнной со временъ Революціи“. Языкъ, которымъ говоритъ Верленъ, это—языкъ плохихъ проповѣдниковъ со всѣми ихъ обычными приемами: „Боже-ство,—пишетъ онъ,—оскорбляютъ ежедневно, поносятъ и распинаютъ въ его церквахъ, заушаютъ въ лицѣ Христа“. Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ „о томъ священномъ источникѣ, который вернетъ намъ энергію вмѣстѣ съ надеждой,—о Лурдѣ!“

Далѣе во „взглядѣ назадъ“ (а, вѣрнѣе, на нѣкоторыя страницы „Катехизиса“ г. Гома, интереснаго „даже съ исторической точки зрѣнія“) Верленъ возлагаетъ отвѣтственность за революцію и черезъ то за всѣ современные безпорядки, на яansenизмъ, возставшій на „великихъ іезуитовъ, болѣе славныхъ, чѣмъ когда-либо“, и на философовъ Энциклопедіи, особенно заслуживающихъ негодованія. Не много раньше осуждаетъ онъ и Возрожденіе,—эпоху, „получившую ложное названіе, потому что она была реакціонной“. Затѣмъ Верленъ возстаетъ противъ всеобщаго голосованія, которому онъ противопоставляетъ слова Жозефа де Мэстра: „Уничтоженіе частныхъ волей необходимо для утвержденія общей воли“. Точно также возстаетъ Верленъ и противъ конкордата 1801 года, помѣшавшаго, по его мнѣнію, религіозному развитію Франціи.—„Стыдъ Франціи!“—воскликаетъ онъ въ концѣ слѣдующей главы, трактующей о томъ, что во Франціи не чтутъ, какъ должно, воскресенье. Преуспѣянія Англіи Верленъ всецѣло приписываетъ воскресному отдыху, говоря, что „матеріальное преуспѣянье, неизмѣнно вѣнчающее всѣ предпріятія этой импе-



рин, явнымъ образомъ проистекаетъ отъ особаго Божія благословенія, связаннаго съ этимъ добрымъ обычаемъ“.

Далѣе слѣдуетъ глава, посвященная совѣтамъ сыну, „гражданская клятва“, по выраженію Лепеллетье,—вѣрнѣе, просто присяга, состоящая изъ общихъ мѣстъ, безъ настоящаго отческаго чувства, написанная казеннымъ и лицемѣрнымъ языкомъ. Говоря, напримѣръ, о женщинѣ, Верленъ, — онъ! — пишетъ: „Каждодневная молитва къ Дѣвѣ Маріи, имѣющая специально въ виду эту опасность, поможетъ тебѣ избѣжать несчастія и преодолѣть горестныя влеченія плоти“. Въ этихъ словахъ, поистинѣ, есть звукъ голоса Тартюфа!

Вторая часть книги, можетъ быть, удивительна еще болѣе, такъ какъ въ ней Верленъ, лишенный всякаго критическаго чутія, подчиняющийся перемѣнчивымъ и противорѣчивымъ мнѣніямъ подвліяніемъ дружбы, вражды, интересовъ минуты,—Верленъ разбираетъ въ ней французскій романъ съ точки зрѣнія религіи.

Для Верлена есть „два писателя, поднявшіеся на крыльяхъ Вѣры много выше современнаго литературнаго и моральнаго уровня“, это — Барбей д' Оревилли и... и Поль Феваль! „Два неоспоримыхъ учителя,—настаиваетъ Верленъ,—два сіяющихъ и страшныхъ имени, добрые хранители земнаго эдема Ортодоксіи, во имя которой я хочу изслѣдовать и судить, сообразно сознанію, данному мнѣ Богомъ“.

Далѣе Верленъ говоритъ о „натуралистахъ“, „имя, которое даютъ сами себѣ эти адамы своей собственной животности“, и особенно ставитъ имъ въ укоръ, что они не „веселы“. Флобера, Гонкуровъ, Золя, Валлеса и Додэ, о которыхъ онъ говоритъ, выдаетъ прежде всего отсутствіе въ нихъ религіи, доходящее до „непобѣдимаго невѣжества“. Онъ говоритъ о Флоберѣ: „Непризнанный, осмѣянный имъ катехизисъ, удаляется изъ этого неблагоразумнаго ума, исчезаетъ изъ этой памяти, перегруженной столькими суетностями, и солнце очевидности только съ насмѣшкой ударить въ эти зрачки, сгорѣвшіе отъ позорнаго сіянія плоти и міра!“ Верленъ предпочитаетъ Валлеса и неприличному Золя, и мрачному Гонкуру, и Флоберу, въ которомъ находитъ „что-то Поль-де-Кокковское“. Что касается Альфонса Додэ, то этотъ неудачникъ „по счастью, не существуетъ болѣе“.

Свою критику Верленъ заканчиваетъ словами, которыя поражаютъ отсутствіемъ сознательности, словно это дѣтскія слова ребенка, желающаго непремѣнно добиться, чтобы позабыли его шалости, но все же словами, въ которыхъ чувствуется и что-то лживое, желаніе мужчины разыграть роль ангела: „Я не хочу говорить объ отвратительномъ сластолюбіи, лющемся черезъ край изъ всѣхъ произведеній этихъ господъ, точно такъ же, какъ и о колоссальномъ уныніи, нераздѣлимомъ отъ этого печальнѣйшаго изъ грѣховъ. Это двойное наказаніе и подобной литературы и читателей, питающихся ею“.

Скажемъ еще разъ, что въ этой книгѣ Верленъ, какъ бѣднякъ, выбитый изъ колеи, который въ тюремномъ одиночествѣ поддался вліянію самаго ложнаго, партійнаго и нечестнаго ума,—покорно пересказываетъ, съ полной безотвѣтственностью, затверженные уроки, которые, быть можетъ, утѣшали его, въ чемъ и заключается единственное оправданіе его вдохновителей! „Путешествіе по Франціи“ надо принять какъ драгоцѣнный психологическій документъ, не имѣющій ничего общаго съ поэтическимъ даромъ Верлена и его творчествомъ, которое остается незатронутымъ, прекраснымъ и долго сохранить свое значеніе, какъ новое выраженіе человѣческаго чувства.

Bené Ghil.



Поль Верленъ.  
Автопортретъ.

**Emile Verhaeren. Toute la Flandre. La Guirlande des Dunes. E. Deman éd. Bruxelles.**

На долгие вѣка Эмиль Верхарнъ останется великимъ поэтомъ своей фламандской родины, потому что роковымъ образомъ воплотилъ онъ въ себѣ душу своей расы,—мятежную, но терпѣливую, упорную, но страстную, и выразилъ эту душу въ своей поэзіи, въ которой мечта смѣшана съ темной религіозностью, и которая полна благородныхъ порывовъ, хотя преувеличенныхъ и отягощенныхъ слишкомъ близкими цѣлями. Верхарнъ — самое вѣрное выраженіе фламандскаго гения, и хотѣлось бы назвать его не только величайшимъ, но и единственнымъ поэтомъ Фландріи, если бы ея душу не выражали вмѣстѣ съ нимъ, хотя болѣе поверхностно и не безъ иностраннаго вліянія, двое другихъ: Жоржъ Роденбахъ и Максъ Эльсканъ (Elskamp). Оба они отдавали первенство неопредѣленной меланхоліи и той мистической чистотѣ, которая особенно отчетливо означилась въ творчествѣ Макса Эльскана, умѣющаго видѣть Фландрію въ повседневной жизни маленькихъ людей и передавать свои впечатлѣнія съ очаровательной наивностью миниатюриста-примитива, какихъ-нибудь Livres d'Heures.

Эмиль Верхарнъ, тоже мистикъ, но совсѣмъ въ другомъ родѣ, какъ бы противъ своей воли и, прежде всего, потому, что онъ болѣе представитель расы, чѣмъ личность. Мистицизмъ Верхарна—мучительный, вынесенный во внѣ, подобный мускульной энергіи, симболизирующійся въ тѣхъ непроизвольныхъ порывахъ, которые составляли вѣрующихъ во фламандскихъ церквахъ прежняго времени (а, можетъ быть, и теперь) проводить цѣлые часы въ молитвахъ, въ пламенномъ и дикомъ экстазѣ. И самого Верхарна часто называли дикимъ, варваромъ — по темпераменту его творчества: еще очень недавно Леонъ Базальжеть повторялъ по отношеніи къ Верхарну это слово „варваръ“; раньше такимъ именемъ привѣтствовалъ его Вьеле Гриффинъ, а еще раньше, въ 1887 г., уже употребилъ его Анри де-Ренъе. Да! Это, въ самомъ дѣлѣ,—варваръ, внезапно явившійся со страннаго сѣвера, однако, съ тонкой нервной чувствительностью

къ явленіямъ и идеямъ, которыя охватываетъ онъ съ мощной и скорбной страстностью, хотя и безъ желанія анализировать, оцѣнить ихъ. Выраженіе удачно, чтобы передать великолѣпную стремительность этого поэта, въ то же время какъ и его почти безсознательную жажду—усвоить себѣ все подходящее къ его темпераменту, которая напоминаетъ инстинктъ добычи!

Но, мнѣ кажется, необходимо добавить, что Верхарнъ—варваръ-мистикъ, исполненный атаквистической религіозностью, становящейся въ немъ то нѣжной, то суровой, такъ властно вліяющей на него, что часто заставляетъ его галлюцинировать. Вещи и существа не только ему являются, но онъ прямо одержимъ ими! Онъ испытываетъ при зрѣлищѣ вселенной какъ бы эманацию какихъ-то злыхъ силъ: его исключительно нервное существо все охвачено древней религіозной дрожью въ предчувствіи отовсюду грозящихъ чаръ и волхвованій. И эта атмосфера неопредѣленной галлюцинаціи—всего характернѣе для творчества Верхарна, и ее чувствуешь только въ этомъ творествѣ. Такъ, напримѣръ, ея вовсе нѣтъ въ произведеніяхъ Роллинá, гдѣ мы находимъ только видѣнія кошмара, только болѣзненное и лишенное связи преувеличеніе образовъ Бодлера, а порой—просто методы запугиванія, къ которымъ скоро привыкаешь...

Мнѣ вспоминается одинъ мой разговоръ съ Эмилемъ Верхарномъ, если не ошибаюсь, въ 1890 г., который особенно отчетливо озаирлъ мнѣ глубокое существо этого поэта. Верхарнъ сказалъ мнѣ, что онъ понимаетъ и вполне принимаетъ эволюціонистическія основы моей философіи и всѣ выводы, которые изъ нихъ слѣдуютъ, но тутъ же, не безъ горестнаго чувства, признался мнѣ, что его творчество стоитъ особнякомъ отъ его философскихъ убѣжденій, подчиненное темной силѣ мистическихъ переживаній, полученныхъ имъ какъ отдаленное наслѣдіе его расы! Послѣ того Верхарнъ сумѣлъ пересоздать свой языкъ сообразно съ моей теоріей „словесной инструментовки“, а въ своей предыдущей книгѣ, „La Multiple Splendeur“, приблизился (какъ я уже показалъ на страницахъ этого журнала) къ границамъ „научной поэзіи“, стараясь выразить отношенія Человѣка и Вселенной согласно съ данными эволюціонизма. Но все же можно сказать, что Верхарнъ самъ понялъ особенности своего генія, не захотѣлъ бороться съ ними и покорно подчинился роковому атаквизму, придавшему величественную красоту его поэзіи, предъ которой нельзя не преклоняться...

Что Верхарнъ, какъ варваръ и мистикъ, долженъ видѣть и ощущать все на свѣтѣ обвѣяннымъ какой-то злой и враждебной атмосферой, порой удвояющей дѣйствительность въ человѣкоподобныхъ образахъ, искривленныхъ въ томленіи, что Верхарнъ не въ силахъ проникнуть къ сложную ткань вселенскаго дѣйствования, это—ясно.

Все видится ему какъ бы при вспышкѣ молніи, въ громадномъ, преувеличенномъ видѣ, и онъ все воплощаетъ именно такимъ въ своемъ словѣ,—тоже преувеличенномъ, тоже громадномъ. Его искусство, столь широкое, никакъ не синтезъ въ собственномъ смыслѣ, потому что ему не достаетъ анализа, никогда не дающагося Верхарну. Если онъ и разлагаетъ на части свои видѣнія, то это никогда не бываетъ правильнымъ дѣленіемъ и выборомъ дѣйствительно характернаго и существеннаго: онъ даетъ ихъ приблизительно въ томъ самомъ порядкѣ, какъ они поражали его чувства, одно за другимъ... Поэзія Верхарна, это—поразительное богатство послѣдовательныхъ вспышекъ молніи, рядъ экстеріоризаций въ образахъ, дивно исполненныхъ жизни, и въ выкрикахъ, непобѣдимо проникающихъ въ душу; поэзія, болѣе всего напоминающая творчество Родэна, высѣкающаго изъ мрамора и изъ мощныхъ грезъ своего „Бальзака“!

Но эти видѣнія, эти обобщающія воплощенія — часто соприкасаются съ упрощеніемъ, предательски искажающимъ истинную природу вещей и идей, ибо оно не передаетъ ихъ сложности, ихъ соотношенія между собой, и такой недостатокъ (если только можно назвать недостаткомъ необходимую черту прекраснѣйшей изъ особенностей Верхарна) особенно чувствуется тамъ, гдѣ Верхарнъ слѣдуетъ за мною. Такъ, мы ясно находимъ эту черту въ его пѣсняхъ Новой Энергіи, пересоздающей нашъ социальный строй, въ его пѣсняхъ о деревнѣ, подавляемой чудовищнымъ и непобѣдимымъ механизмомъ современной промышленности, въ его пѣсняхъ о трагическомъ и неодолимомъ шествіи Труда и Золота... Да! Самое Золото, поражая взглядъ варвара и звукомъ слова и своимъ яркимъ сверканіемъ, остается для него не только пышнымъ, но и таинственнымъ! Но тамъ, гдѣ поэту приходится говорить о силахъ, созидających современную жизнь, онъ по необходимости долженъ оперировать синтезомъ! И въ этомъ синтезѣ, болѣе или менѣе явственно, должна просвѣчивать философская мысль, дающая возможность поэту воспринять въ сложности отношеній общее состояніе социальной души и извлечь изъ него красоту настоящаго мига, которая, для меня, совпадаетъ съ возможностью духовнаго совершенствованія.

Въ этой части своего творчества Верхарнъ примѣнилъ и обычные приемы своего творчества: великолѣпіе выраженій и молніиую яркость быстро-смѣняющихся видѣній; но между этими „фрагментами“ каждый разъ остается пустое пространство и ничто не связываетъ, не синтезируетъ ихъ въ единое цѣлое. Изложеніе по-неволѣ становится краснорѣчивымъ развитіемъ послѣдовательно смѣняющихся темъ, но изъ него не выступаетъ ни единого личнаго міросозерцанія, которое, чтобы имѣть широкое общечеловѣческое значеніе, дол-

жно было бы, насколько это возможно, быть универсальнымъ, приемлемымъ для всѣхъ...

Возьмемъ, какъ примѣръ, пѣсни одной изъ послѣднихъ книгъ Верхарна: „La Multiple Splendeur“. Это—гимны промышленному Западу, это—міровыя грезы о мощи золота, это—славословія человѣческой Мысли и европейской Наукъ, служащимъ всему человѣчеству. Все это, дѣйствительно, вѣрно, величественно и дышетъ новой красотой, но и адѣсь Верхарнъ видитъ дѣйствительность только при вспышкахъ молніи. Лишенный анализа, Верхарнъ въ этомъ Западѣ, пышный закатный пурпуръ котораго прорѣзанъ сіяніемъ стальныхъ механизмовъ, слѣпыхъ и торжественныхъ,—не усмотрѣлъ великаго безпокойства индивидуализма, не удвоилъ философскимъ раздуміемъ своего варварскаго удивленія предъ современной наукой, побѣждающей пространство и тяжесть, но въ своемъ, ничѣмъ не урегулированномъ шествіи ведущей къ безмѣрному эгоизму, къ нравственному паденію, къ презрительному отношенію, къ чистому мышленію! — Верхарнъ—визіонеръ и въ этимологическомъ смыслѣ слова и въ болѣе широкомъ, какъ бы священномъ: какъ волшебникъ и какъ пророкъ.

Вотъ почему во всемъ творествѣ Верхарна я особенно цѣню тѣ его части, гдѣ онъ обращается къ мѣстностямъ и людямъ, еще смущаемымъ проходомъ волшебника и пророка: къ деревнѣ. (Причемъ, конечно, я не имѣю въ виду то преклоненіе, какое вообще вызываетъ мощное творчество Верхарна, особенно въ дни, когда столько другихъ поэтовъ, его сверстниковъ, смолкло, а иные только слабо повторяютъ сами себя).

Въ „Гирляндѣ Дюнъ“, изящно и со вкусомъ изданной Деманомъ, мы находимъ всѣ характерныя черты творчества Верхарна: безмѣрные видѣнія галлюцината, неожиданныя, поразительныя аналогіи, часто сближающія вещи, казалось бы, безконечно далекія другъ отъ друга, и какую-то странную несоразмѣрность частей, происходящую отъ того, что образы часто не адекватны дѣйствительности. Все это выражено стилемъ Верхарна, массивнымъ, сжатымъ. Такимъ образомъ, это—книга того же самаго вдохновенія, того же значенія, какъ счастливыя книги Верхарна „Les Debacles“, „Les Flambeaux noirs“, „Les Campragnes hallucinées“, въ которыхъ выразился поэтъ, не знающій соперниковъ по силѣ чувства и которыя создали ему заслуженную и широкую извѣстность. Передъ нами снова Фландрія,—но на этотъ разъ въ стихотвореніяхъ, тѣсно связанныхъ между собой, Верхарнъ поетъ ея море подъ вѣтромъ и въ тишину, и его суровыя дюны, съ ихъ населеніемъ, и жителей ея береговъ: моряковъ, простыхъ и набожныхъ, и ихъ женъ, съ тѣломъ суровымъ и краснымъ, съ мускулами, вскормленными дикими морскими вѣтрами.

Вотъ, со строгой простотой, можетъ быть, только слишкомъ обнаженной (мнѣ кажется, что ритмъ и окраска гласныхъ не достаточно выразительны и многообразны), Верхарнъ вызываетъ передъ нами на пустомъ фонѣ неба и песка передъ моремъ, сѣро-зеленымъ, постоянные призраки этихъ прибрежій:

Ainsi peinent les pêcheurs vieux,  
 Contents de rien, heureux de peu,  
 Usant dans le malheur ou dans la chance  
     Dans la contrainte et dans l'effort,  
     Les sabots creux de l'existence  
 Qui se brisent un jour et réveillent la mort...

Или вотъ еще два облика дюнъ и моря лѣтомъ и зимой, нарисованные съ той неопредѣленной широтой, которая составляетъ характерную особенность таланта Верхарна:

Et puis au loin, le vol en fête  
 Des pailles-en-queue et des mouettes  
 Qui s'effeuille, ainsi qu'un bouquet blanc  
     Dans l'air étincelant.

—  
 Et les vagues qui continuent autour du monde  
     Immensément et sans repos,  
 Sous la clarté miroitante et profonde,  
     Le rythme ailé de ces oiseaux...

—  
 On écoute rouler comme un tonnerre d'eau  
     Là-bas, au loin, sur la mer grise;  
 Et les vagues, ainsi que des blocs d'eau  
     Monumentaux,  
 Sur le sable se brisent...

Такой изобразительностью поражаетъ большая часть стихотвореній этой книги, напримѣръ, „L'hiver dans les Dunes“, „Les Tours“, „Le Peril“, „Un Vieux“, особенно же „Les Fenêtres et les Bateaux“, поэма, которая, вмѣстѣ съ другой „Ceux des Fermes“, рассказываетъ о глубоко затаенной тоскѣ по морскимъ приключеніямъ, поднимающейся въ душѣ изъ темныхъ глубинъ наслѣдственного. О томъ же говорятъ еще стихотворенія „La Côte Flamande“ и „Bateau de Flandre“. Это послѣднее, въ которомъ описывается старая брошенная лодка, гниющая у тѣхъ самыхъ Дюнъ, отъ которыхъ отправлялась она, бывало,

въ открытое море, принадлежить къ числу прекраснѣйшихъ созданий, поистинѣ великихъ.

Однако, я долженъ поставить въ укоръ этой книгѣ, какъ и предыдущимъ книгамъ Верхарна, что авторъ ихъ слишкомъ охотно пользуется словаремъ и трафаретными образами романтиковъ. Такъ, напримѣръ, въ poemѣ „Les Pêcheurs à cheval“ начинается онъ съ великолѣпнаго описанія возвращающихся домой рыбаковъ.

Pourtant, tels soirs d'été, quand, aux levers de lune,  
Sur leurs chevaux pesants, ils remontent les dunes,  
Et apparaissent, au loin, sur les crêtes, à contre ciel,  
Chargés de filets et de toiles  
On croirait voir de grands insectes irréels

Вотъ образъ ярко встающій передъ читателемъ, вѣрный дѣйствительности, вотъ прекрасные стихи, изъ которыхъ третій самымъ своимъ строеніемъ какъ бы наглядно изображаетъ гребни отвердѣвшаго песка. Но поэтъ продолжаетъ:

On croirait voir de grands insectes irréels,  
Qui reviennent de l'infini,  
Après besogne faite et butin pris,  
Dans les étoiles!

И все испорчено на мой взглядъ этимъ риторическимъ прибавленіемъ, этимъ новымъ образомъ, который не соответствуетъ дѣйствительности, не подходитъ къ ней и только умаляетъ первоначальный образъ, не найденный вѣрно.

Я долженъ также еще разъ возстать противъ антропоморфическихъ образовъ изображенія природы, которые почти всегда принимаютъ то, о чемъ идетъ рѣчь; такъ, напримѣръ, намъ не очень нравится стихотвореніе „Un Saule“, открывающее книгу, это—старая ива „со своими ножами вѣтра въ груди“, „съ волосатымъ лбомъ, какъ лобъ быка“, у которой, однако, немного далѣе, оказывается тѣло атлета. Намъ не нравятся такіе стихи, какъ:

Ainsi, dans sa crasse sanglante,  
Git le hameau, sous le ciel bleu,  
Laissant puer, au nez de Dieu,  
Sa vie infecte et violente...

Впрочемъ, эти небрежности или эти лишніе стихи легко простить Верхарну, который о той же ивѣ найдетъ далѣе стихи поразитель-



ной силы. Это лишній раз ~~доказываетъ~~, что, когда мы дѣйстви-  
тельно понимаемъ вещи и явленія сначала интуитивно, потомъ раз-  
судочно, мы не нуждаемся болѣе для ихъ изображеній въ анало-  
гійхъ, всегда болѣе или менѣе натянутыхъ. Истинная красота образа  
основана на синтезѣ большого числа признаковъ, взаимное отно-  
шеніе которыхъ сознано поэтомъ.

Я попытался по поводу послѣдней книги Верхарна высказать  
свое основное мнѣніе объ этомъ поэтѣ, стараясь, чтобы моя критика  
подчеркнула характерныя особенности его творчества и выдвинула  
на первое мѣсто тѣ его стороны, на которыхъ основана вся его  
сила.

René Ghi.



Эмиль Верхарнъ.  
По рисунку Ф. Косси.

## БИБЛОГРАФІЯ.

Péladan. Le Nimbe noir. Roman. Mercure de France. Paris 1907. Pr. 3 fr. 50.

Романъ на „русскую тему“, изъ тѣхъ, къ которымъ приступаешь не безъ опаски: вдругъ опять des moujiks russes сидятъ подъ тѣнью развѣсистой клюквы и запиваютъ ломти избы стаканами горячаго самовара. На этотъ разъ дѣло обстоитъ немного лучше, такихъ вопіющихъ нелѣпостей нѣтъ, — французы за послѣдніе годы и посѣщали и изучали Россію; узнали, что избы не съѣдобны и трудно глотать самовары. Все же въ книгѣ Пеладана не обошлось безъ курьезовъ. Митя становится именемъ женскимъ, въ Петербургѣ, оказывается, существуетъ цѣлое предмѣстіе „Воля“—гнѣздо „нигилистовъ“, русскіе сановники, князья, аристократы и бюрократы, презабавно братаются и пируютъ съ рабочими и революціонерами и единогласно, хоромъ, поносятъ правящую власть и т. д. Фабула романа задумана не безъ интереса: княжна Софія Нарышкина-Меньшикова, поразительной красоты, одна изъ руководительницъ революціоннаго кружка въ С-Петербургѣ, пожертвовала все свое состояніе на „дѣло“; наконецъ продаетъ себя и свою красоту старому сановнику за милліонъ рублей (которые, конечно, идутъ на то же „дѣло“) и кончаетъ съ собою. Этимъ сочетаніемъ святости цѣли съ циничностью приносимой жертвы авторъ хотѣлъ создать образъ новой Шарлотты Кордэ, святой, окруженной ореоломъ, но не свѣтящимся, а... чернымъ, символомъ, „который соединилъ бы въ себѣ понятіе героизма и грѣха, и въ то же время не противорѣчилъ бы традиціямъ и правдѣ нашего поколѣнія“... Но романъ написанъ такъ приторно-трогательно, съ такимъ абсолютнымъ непониманіемъ психологіи русской революціи, революціонеровъ, сановниковъ, бюрократіи и т. п., что вызываетъ при чтеніи только улыбку. Въ книгѣ есть страницы—общихъ разсужденій—дѣйствительно интересныя, но онѣ находятся внѣ зависимости отъ основной фабулы.

М. Ричардсъ.

**Paul Claudel.** *Connaissance de l'Est.* Mercure de France. Paris. 1907.

**Paul Claudel.** *Art poétique.* Mercure de France. Paris. 1907.

Поль Клодель—одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ писателей современности, хотя и не пользовавшийся извѣстностью въ широкихъ кругахъ. Последнее объясняется, можетъ быть, тѣмъ, что, проведя значительную часть своей жизни на Дальнемъ Востоку, онъ печаталъ еще мало. Впрочемъ, „*Connaissance de l'Est*“ появляется уже вторымъ изданіемъ. Это—рядъ поэмъ въ прозѣ, яркихъ и прекрасно написанныхъ. „*Art poétique*“, напротивъ, философскій трактатъ. По мысли автора, онъ долженъ создать новую теорію познанія или „вселенское искусство поэзіи“. „Прежняя логика,—пишетъ между прочимъ Клодель,—имѣла своимъ органомъ силлогизмъ; новая будетъ имѣть—метафору, новыя слова, то впечатлѣніе, какое производитъ неожиданное сопоставленіе двухъ различныхъ вещей“...

Enrico R.

# PUBLICATIONS RECENTES.

Les livres parvenus à la rédaction  
sont marqués d'un astérisque.

## Poésie.

- \* **Edouard Dulac.** *De Cœur à Cœur.* Plon. P. 3 fr.
- Remy de Gourmont.** *Simone.* Poème champêtre orné de 11 compositions par G. d'Espagnat. Mercure de France. P. 3 fr. 50.
- \* **Louis Mandin.** *Ombres Voluptueuses.* E. Sansot. P. 3 fr. 50.
- \* **Jean Martineau.** *La Route au Soleil.* Beffroi. Roubaix. 3 fr. 50.
- \* **François Porché.** *A chaque jour.* Mercure de France. P. 3 fr. 50.
- Ch. Regismanset.** *Philosophie des Parfums.* Sansot. P. 1 fr.
- Saint-Paul-Roux.** *Les Reposoirs de la Procession.* Mercure de France. P. 3 fr. 50.
- \* **Gaston Syffert.** *Les Brumes de la Vie.* Beffroi. Roubaix. 2 fr. 50.
- \* **E. Verhaeren.** *La Guirlande des Dunes.* Deman éd. Bruxelles. 3 fr.

## Roman.

- \* **O. de Bezobrazow.** *Batailles de l'idée.* P. Leymaire. P. 3 fr. 50.
- \* **Charles Derennes.** *Le Peuple du Pôle.* M. de F. P. 3 fr. 50.
- \* **Louis Dumont.** *La Louve.* Bibl. des auteurs modernes. P. 3 fr. 50.
- Léon Frappié.** *La Boîte aux gosses.* Calmann-Levy. P. 3 fr. 50.
- Remy de Gourmont.** *Un Cœur Virginal.* Couverture par G. d'Espagnat. Mercure de France. P. 3 fr. 50.
- \* **D-r Henry Labonne.** *Salvör.* Nouvelle Islandaise. P. 2 fr. 50.
- Camille Lemonnier.** *Quand j'étais homme.* Michaud. P. 3 fr. 50.

\* Péladan. Le Nimbe noir. Mercure de France. P. 3 fr. 50.

\* Gaston-Denys. Périer. Proses à Gilles-Luijck. L'édition artistique. P. 2 fr.

Pierre de Querlon. La Boule de vermeil. Mercure de France. P. 3 fr. 50.

#### Littérature.

Jules Barbey d'Aurevilly. Lettres à une amie 1880--1887. Mercure de France. P. 3 fr. 50.

Paul Claudel. Art poétique. Mercure de France. P. 3 fr. 50.

Paul Claudel. Connaissance de l'Est. Mercure de France. P. 3 fr. 50.

Alfred Jarry. Albert Samain. Souvenirs. Lemasle. P. 1 fr.

Etienne Jodelle. Les Amours et autres poésies. Publiées par Ad van Bever. Sansot. P. 3 fr. 50.

\* Edmond Lepelletier. Paul Verlaine. Sa vie, son œuvre. Mercure de France. P. 3 fr. 50.

Maurice Maeterlinck. L'intelligence des fleurs. Fasquelle. P. 3 fr. 50.

Alfred de Musset. Correspondance 1827--1857. Annotée par Léon Seché. Mercure de France. P. 3 fr. 50.

Alphonse Seché. Alfred de Musset anecdotique. Sansot. P. 1 fr.

\* Arthur Symons. Portraits anglais. Arthur Herbert. Bruges. 4 fr.

\* Paul Verlaine. Voyage en France par un français. Messein. P. 3 fr. 50.

Emile Zola. Correspondance. Lettres de jeunesse. Fasquelle. P. 3 fr. 50.

\* Oscar Wilde. L'Âme de l'homme. Arthur Herbert. Brugges. 4 fr. Art.

Eugène Carrière. Ecrits et lettres choisies. Mercure de France. P. 3 fr. 50.

H. Marcel. Daumier. Laurens. P. 2 fr. 50.

E. Michel. Paul Potter. Laurens. P. 2 fr. 50.

Péladan. De la sensation d'art. Sansot. P. 1 fr.

Albert Samain. Le Chariot d'or. 27 compositions par Charles Chessa. Ferrould. P. 60 fr.

T. de Wyzewa. L'Œuvre peintre de L. D. Ingres. Calmann-Levy. P. 3 fr. 50.

#### Sciences.

Jules Bois. Le Miracle moderne. Ollendorff. P. 3 fr. 50.

D-r H. Baraduc. La Force curatrice de Lourdes et la psychologie du Miracle. Blond. P. — fr. 60.

Camille Flammarion. Les Forces naturelles inconnues. Flammarion. P. 3 fr. 50.

# ИСКУССТВА

## МОСКОВСКИЙ БАЛЕТЪ.

Постановки 1906 года.

Странная судьба танца!.. Когда-то онъ былъ искусствомъ народнымъ, даже религіознымъ. Народъ его созерцалъ съ благоговѣніемъ, народъ молился, танцуя. Танецъ былъ для людей и для боговъ. Онъ казался, какъ солнце, какъ любовь, необходимою радостью міра, виномъ міра. Но время шло... Человѣчество забыло танецъ. И танецъ, какъ искусство, уединился. Онъ сталъ искусствомъ для немногихъ и, быть можетъ, самымъ аристократическимъ изъ искусствъ.

Лишь съ появленіемъ Дѣнканъ о танцѣ немного задумались.

Къ сожалѣнію, говорить о танцѣ въ Москвѣ,—значить, говорить только о балетѣ.

Правда, московскій балетъ хорошъ.

Въ немъ много талантливыхъ людей. Въ немъ такія силы, какъ гг. Горскій, Мордкинъ, Волининъ, какъ г-жи Гельцеръ, Коралли и Федорова 2-я. У него декораторомъ такой художникъ, какъ г. Корвинъ, уже много лѣтъ.

Московскій балетъ живетъ, создаетъ, ищетъ. Онъ на крестномъ пути творчества и о его дѣятельности грѣшно молчать.

За истекшій годъ поставлено четыре новыхъ балета. „Дочь Фараона“ я причисляю къ нимъ же.

Однако, прежде чѣмъ говорить о постановкахъ, я бы хотѣлъ перейти къ самимъ артистамъ, нѣсколько характеризовать ихъ.

Самый талантливый изъ артистовъ, несомнѣнно, г. Мордкинъ. Онъ часто художникъ, а, какъ истинный художникъ, и поэтъ. Главное его качество—стихійность. Въ стихійномъ онъ ослѣпительнъ и мощенъ. Его испанскій танецъ обжигаетъ, какъ лезвіе ножа. Г. Морд-

кинъ танцуетъ образами. Онъ чувствуетъ фантастическое. Многіе фантастическія роли написаны точно для него.

Ало-красный, съ сладострастными ногами, съ черными вѣсками, точно обугленными отъ взглядовъ, Мордкинъ-Осиль классическій танецъ дѣлаетъ характернымъ, мало выразительныя па обращаетъ въ огненный вихрь. Въ „Спящей Красавицѣ“ г. Мордкинъ былъ лучшей птицей. Изгибистыми полетами, великолѣпными замахами крыльевъ, онъ заставляетъ вѣрить, что всѣ мы ихъ когда-то имѣли, что всѣ мы умѣли летать.

Разумѣется, на ряду съ достоинствами у него есть свои недостатки. Нѣкоторая разнузданность, преувеличенный драматизмъ. Впрочемъ, отъ перваго недостатка артистъ почти освободился. Онъ замѣтенъ лишь въ мимическихъ сценахъ. Въ отдѣльныхъ танцахъ его нѣтъ.

Полная противоположность г-ну Мордкину г. Волининъ. Въ немъ нѣтъ ни жизни г. Мордкина, ни мордкинской стали: онъ нѣсколько напоминаетъ женщину, онъ немного гермафродитъ. Если въ этомъ его недостатокъ, такъ и особенная прелесть, и я, скорѣе, хвалю его. Въ его движеніяхъ есть ласкающая змѣистость, есть что-то видное, напоминающее колебаніе морскихъ травъ.

Танцы плавные, истомные, изгибистые, — всегда прекрасны, когда онъ исполняетъ ихъ. Вальсъ Волинина—лучшій вальсъ. Хорощъ г. Волининъ и въ роляхъ балетно-классическихъ—онъ точно купается въ воздухѣ во время скачковъ. Въ общемъ дарованіе Волинина красиво,—очень красиво, хотя и нѣсколько узко.

Г. Мордкинъ, танцуя,—танцуетъ тѣломъ, мыслью и воображеніемъ. Г. Волининъ—только тѣломъ; но его тѣло не можетъ не танцовать. Гг. Мордкинъ и Волининъ созданы природою для танца. Для танцали создала природа г. Коалова 1-го—трудно сказать. Г. Коаловъ строенъ, изященъ. Г. Коаловъ, одинъ изъ желанныхъ артистовъ: онъ хорошо танцуетъ; но онъ мало танцоръ. Сила г. Коалова не въ танцѣ. Его сила въ своеобразной внѣшности: въ отроческой хрупкости, въ едва уловимой грусти, которая, кажется, никогда не покидаетъ его.

Его сила и въ своеобразномъ пониманіи.

Неяркій Вакхъ („Дочь Гудулы“), онъ плѣняетъ интимностью, онъ показываетъ главную сущность Вакха—мистическую глубину. Какъ онъ прекрасенъ, когда становится на колѣни передъ Геліосомъ, передъ солнечнымъ Волининымъ, почти религіозно опуская взглядъ! Какъ онъ прекрасенъ и въ поклоненіи Лотосу! Кто не видѣлъ г. Коалова Вакхомъ или египетскимъ юношею—не знаетъ его.

О г. Тихомировѣ можно было-бы и не упоминать. Всѣмъ извѣстно, что у него красивыя ноги, что у него высокій прыжокъ.

Изъ остальныхъ артистовъ надо выдѣлить г-на Коалова 2-го, г. Рябцова (оба они и танцоры, и хорошіе мимики) и г. Сидорова (лучшее: славянскій танецъ въ „Конькъ Горбункъ“).

Красиво смотрѣтъ на зеленую денницу, красиво смотрѣтъ на стройный лунный серпъ. Когда на нихъ глядишь, впиваешь необъяснимую прелесть и боишься дня и не хочешь лунныхъ ночей. Тонкой поэзіей окружёнъ образъ г-жи Коралли. Какъ газель, легкая, она едва касается земли, едва касается васъ, когда скользитъ передъ вами.

Въ ней есть несовершенство, недостатокъ техники, пластическія неровности, въ „adagio“—изобиліе точекъ, незначительность переходовъ изъ одной ноги къ другой. Въ ней нѣтъ страсти, нѣтъ сверканія—и все-же она прекрасна, какъ еще зеленоватая денница, какъ ярко-отточенный стройный лунный серпъ.

Г-жа Гельцеръ танцуетъ давно. Нѣсколько лѣтъ выступаетъ прямою, созерцаетъ свой пышный полдень и, быть можетъ, уже сказала вся. Я говорю „быть можетъ“, имѣя въ виду попытку г-жи Гельцеръ выступить въ вальсѣ à la Duncan (балъ-маскарадъ Художественно-Литературнаго Кружка).

Разслабляющая знойность, какое-то тягучее сладострастіе—ея отличительныя черты. Сама она не солнце,—она лишь опьянена солнцемъ. Она не богиня, а вакханка, изнывающая отъ любви. Только истома, только жаръ полдня могутъ вызвать то изнеможеніе, ту мелодичность движеній, которыя у г-жи Гельцеръ въ „pas de deux“.

Другая особенность г-жи Гельцеръ— кокетство. Нельзя смотрѣтъ на нее и не осязать ея ласкъ. Не умѣя остаться изваяніемъ, г-жа Гельцеръ играетъ съ публикой; какъ женщина, увлекаетъ ее. Быть можетъ, въ этомъ есть своя прелесть,—но это не искусство, и за кокетство г-жу Гельцеръ скорѣе надо осуждать.

Такова г-жа Гельцеръ въ классическомъ танцѣ. Характерныя танцы не ея амплуа. Лучшій изъ нихъ у нея—испанскій.

Очень хорошая артистка г-жа Федорова 2-я. Она всегда интересна, всегда ярка. То прелестный ребенокъ, то типичная старуха, то дѣвушка невинная, какъ распускающійся цвѣтокъ,—она въ каждой роли живетъ, въ каждомъ танцѣ сверкаетъ. Ея чардашъ, мазурка, краковякъ, испанскій—цѣлое ожереліе драгоценныхъ камней. Здѣсь и изумрудъ, и рубинъ, и сапфиръ, и янтарь. Здѣсь весь радужный спектръ. Конечно, камни неодинаковы: одни болѣе чистой воды, болѣе совершенной формы, другіе—тусклѣе, меньше. Однако, ихъ недостатки всегда слабѣе достоинствъ и фальшивыми они не бывають никогда.

Послѣднее время г-жа Федорова 2-ая мало выступаетъ, о чемъ приходится очень и очень жалѣть.

Въ минувшемъ году выдвинулись еще двѣ артистки: г-жа Балашева и г-жа Балдина. Г-жа Балашева не разъ выступала въ „Конькъ-Горбункъ“ и въ „Волшебномъ Зеркальцѣ“; у нея есть пластика, въ рас де деухъ мягкость движеній, непринужденность въ игрѣ. Г-жа Балдина хорошо проводитъ роль „Золотой Рыбки“. „Золотая Рыбка“ въ ея толкованіи очень изящна и гибка. Г-жа Балдина обращаетъ на себя серьезное вниманіе; ея успѣхи по пріѣздѣ изъ Петербурга очень велики.

Изъ остальныхъ артистокъ хочется отмѣтить: г-жу Павлову, танцы которой ароматны, какъ бѣлыя лиліи, и нѣжны, какъ ихъ лепестки; г-жу Станиславскую прелестную въ балетныхъ scherzo, беззаботную, какъ огонекъ;—г-жѣ Ножицкую и Домашеву, прекрасныхъ въ танцахъ молитвенныхъ;—г-жѣ Мендесъ, Грекову 17-ю, Ѳедорову 3-ю и Мосолову съ хорошей техникой ногъ.

Вотъ лучшія силы нашего балета. Онѣ—цѣнны.

Цѣненъ и талантъ г. Горскаго. Онѣ временами ошибается,—иной разъ очень рѣзко (смѣхъ г-жи Коралли въ „Жизели“); но безъ ошибокъ не бываетъ нововведеній, а новаго онѣ не мало внесъ въ балетъ. Въ постановкахъ „Золотой Рыбки“, „Дочери Гудулы“, „Двухъ воровъ“ (танецъ г-жи Ѳедотовой 2-й и тѣни), „Дочери Фараона“—много неожиданныхъ эффектовъ и смѣлыхъ красотъ. Г. Горскій сперва нѣсколько распустилъ балетъ, внесъ излишнюю размахистость въ танцы, но теперь, что ни годъ, онѣ все становится строже, и его постановки пріобрѣтаютъ своеобразный стиль.

Самая сложная постановка истекшаго сезона „Дочь Фараона“. Въ „Дочери Фараона“, какъ ни въ одномъ балетѣ, сказался серьезный вкусъ г. Горскаго и его вдумчивое отношеніе къ нововведеніямъ Айседоры Дѣнканъ. Все здѣсь цѣльно и почти все интересно.

Здѣсь три интереснѣйшихъ пластическихъ шедевра.

Первый изъ нихъ—танецъ рабыни. Бинтъ-Анта устала; устали и ея подруги. Онѣ не то дремлютъ, не то забылись въ сладкой истомѣ. Не спать рабыня. Она чуть колеблетъ струны и пляшетъ передъ своею госпожею,—она чуть колеблетъ струны. Едва изгибаются пальцы, зыблются, какъ жемчужины, звуки, а движенія пляски колышатъ складки одежды, вздуваютъ, завиваютъ ихъ, точно солнце горячіе пальмовые листья.

Другой танецъ—поклоненіе лотосу. Онѣ серьезнѣе и по психологій глубже; онѣ—цѣлая мистерія; онѣ—культъ бѣлизны. Толпа неподвижна, толпа замерла. Отдѣлившись отъ нея, стоитъ юноша. Онѣ простеръ впередъ руки, онѣ напряженно вытянулся всѣмъ тѣломъ; онѣ точно ждетъ чуда. Подъ трепещущіе звуки,—какъ трепетъ крыльевъ эти звуки,—появляется дѣвушка. Она въ бѣломъ, она—лотосъ, она—та бѣлизна, которую ждуть. Юноша порывается впередъ. Его



широкіе глаза еще шире. Онъ ихъ не можетъ отвести отъ нея, такъ какъ онъ весь въ ней, весь въ жадѣ ея.

Она медленно скользитъ. Онъ благоговѣнно становится передъ ней на колѣни и молится, молится ея бѣлизнѣ.

Описывая молящагося юношу, я вижу г. Козлова 1-го. Г. Волинъ въ поклоненіе лотосу только танцевалъ.

Третій танецъ—со стрѣлами и лукомъ (варіація, послѣдній актъ); впрочемъ, онъ поставленъ г. Мордкинымъ, а не г-номъ Горскимъ.

Я сейчасъ вижу всю варіацію; съ ослѣпительной яркостью вижу г. Мордкина, его торсъ, классически очерченный, его твердыя бронзовыя ноги и зубы, точно брилліанты между алыхъ раздвоенныхъ устъ. Три этихъ танца—только самое яркое. Это въ гириандѣ танцевъ лишь лучшіе цвѣты.

Но въ „Дочери Фараона“ значительны не одни только танцы. Въ ней мимика и драма играютъ замѣтную роль. И съ этой стороны много удачнаго. Очень сжата и сильна сцена въ залѣ суда. Красива борьба Бинтъ-Анты на берегу Нила. Кромѣ того, въ балетѣ есть красивая картина: шествіе Фараона и свиты на торжество и пр.

Недостатки постановки: нѣкоторая растянутость, громоздкость, не всегда удачно выбранные исполнители (напр., исполнительницы жрицъ), не на мѣстѣ поставленный, хотя красивый, но излишній танецъ бабочки и пр. Хотѣлось-бы и небольшой передѣлки сюжета. Спасеніе Бинтъ-Анты отъ пчелъ—положительно смѣшно. Какъ хорошо было-бы опустить эту сцену!

„Донъ-Кихотъ“.

Раскаленная лаазурь, золотистый воздухъ, радужныя одежды, смѣющаяся нагота—Испанія, настоящая Испанія, во второй картинѣ „Донъ Кихота“. Испанія, настоящая Испанія, и въ третьей.

Но тамъ ночь испанская, тамъ сапфировое небо, розовые узоры фонарей.

Испанія, испанская огненность и въ исполнителяхъ. Г. Мордкинъ—эспада—испанецъ въ каждомъ движеніи мышцъ. Онъ дикъ, онъ кровожаденъ, какъ хищникъ. Хорошо онъ и въ роли Базиліо. Ему идутъ золотыя серьги, ему идутъ голыя руки, сжатые жилами, точно сътью скрещивающихся brasletъ.

Много испанскаго и въ г-жѣ Оедоровой 2-й. Прелестна среди ножей,—ножи, какъ языки серебрянаго пламени,—прелестна на коврѣ, какъ-будто утомленная и изгибистая,—она прелестна и надъ столомъ, въ дождѣ алыхъ, буйствующихъ розъ.

Мнѣ нравится и г-жа Гельцеръ. Въ ея испанскомъ танцѣ есть своеобразіе и ей удается испанскій колоритъ.

Однако, колоритъ Испаніи не во всемъ „Донъ Кихотъ“.

Донъ Кихотъ умѣлъ грезить и его грезы и кошмары представ-

ляютъ особый міръ. Садъ Дульциней—поэтичѣйшая изъ грезъ. Въ ней растенья, фонтаны, и лица, и ткани—одинъ утонченный аккордъ. Въ ней утончено все. Утончены образы, линіи. Утончены краски. Онѣ утончены, какъ звуки гитары, какъ шелковистыя брызги ракетъ.

Оригинальны танцы пней и корней.

Оригиналенъ кошмаръ перваго дѣйствія. На самомъ дѣлѣ кошмарна фигура, повисающая у Донъ-Кихота на рукѣ.

Самая неудачная картина—у мельницъ. Мало интересны декорации, а танцы положительно скучны.

Точно отъ моря къ хрустальнымъ водамъ рѣки, отъ „Донъ-Кихота“ перехожу я къ „Жизели“. И вотъ образъ Жизели кажется еще нѣжнѣй и самъ балетъ еще поэтичѣй.

Жизель—г-жа Коралли. Она—перль балета. Она—тотъ утренникъ, который придаетъ ему своеобразную свѣжесть и жизнь. Г-жа Коралли хороша. Она чаруетъ невинностью и дѣлаетъ непорочной мечту. Ея игра не совсѣмъ свободна, но за то и не вульгарна и никогда не груба. Стилъ Денканъ (второе дѣйствіе) ей мало удастся, но этотъ стилъ долженъ быть и ея стилемъ и ей надо работать надъ нимъ.

Рядомъ съ г-жей Коралли необходимо упомянуть о г-жѣ Балдиной. Роль вилиссы должна остаться за ней навсегда.

Танцы вилиссы безупречны. Сами вилиссы легки и печальны, легки, какъ полеты бабочекъ, печальны, какъ бѣлокрылые анемоны, что расцвѣтаютъ ранней весной. Красиво ихъ появленіе. Красиво ихъ ускользаніе при расцвѣтѣ. Художественно задумано обмиранье Жизели. Оно мнѣ напоминало двѣ картины Уотса: „Любовь и смерть“ и „Орфей и Эвридика“. Можно было бы подумать, что вторую г-нъ Горскій имѣлъ ввиду. Нелзя не упомянуть и о костюмахъ. На вилиссахъ нѣтъ пачекъ, а ровная бѣлая складка спадаютъ ниже колѣнъ.

Слабѣ другихъ балетовъ поставлена „Арлекинада“. Въ первомъ дѣйствіи наборъ скучныхъ сценъ. Кромѣ серенады, да двухъ-трехъ танцевъ въ немъ нечего и выдѣлить. Во второмъ—дивертисментъ. Онъ—красивъ. Характеренъ танецъ г-жи Федоровой 2-ой съ г. Рябцовымъ и очень мила Арлекинада. Арлекинаду исполняютъ дѣти. „Арлекинада“—изящная миниатюра, которую хотѣлось-бы еще не разъ посмотреть.

Имѣется во второмъ актѣ и классическій номеръ—танецъ жаворонковъ. Онъ построенъ живописно и сложно и не лишенъ тонкой граціи и аромата весны.

Я перечислилъ постановки 1905—6 года. Онѣ—интересны. Въ нихъ есть ошибки, но эти ошибки появились, главнымъ образомъ, благодаря поискамъ новизны.

Ждемъ наступающаго сезона.

Н. Чуриковъ.

---

Редакторъ-издатель С. А. ПОЛЯКОВЪ.

Slav 30.17

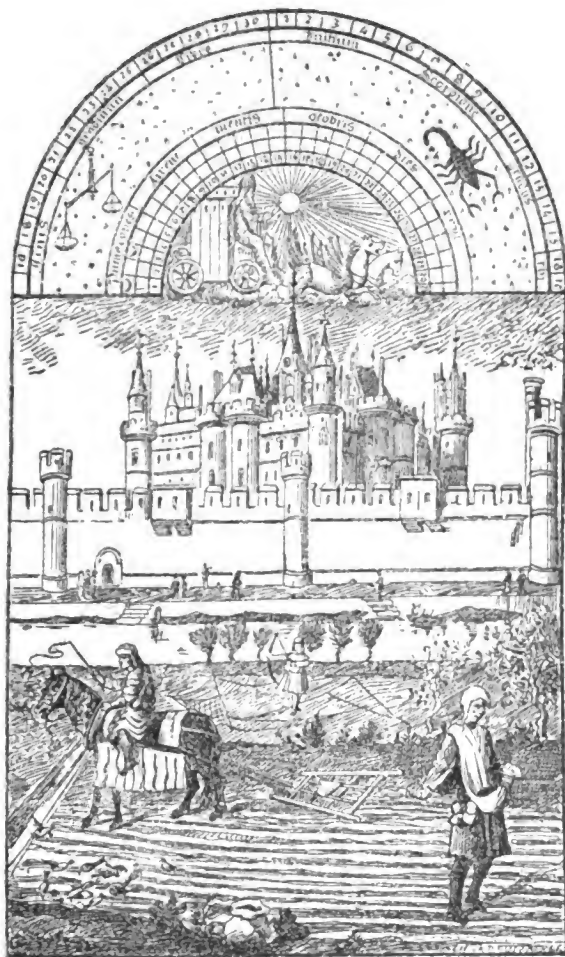




ВѢСЫ ☉ СЕНТЯБРЬ ☉ 1907

La Balance. Septembre. 1907

Годъ изданія четвертый. Quatrième année.



**Книгоиздательство «СКОРПИОНЪ».**

Москва, Театральная пл., л. Метрополь, кв. 23;  
Moscou, Place de Théâtre, m. Métropole, 23

# «ВѢСЫ» ЕЖЕМѢСЯЧНИКЪ ИСКУССТВЪ И ЛИТЕРАТУРЫ.

Годъ изданія четвертый. 1907. N 9, сентябрь.

## СОДЕРЖАНІЕ.

### Стихи, повѣсти, статьи по общимъ вопросамъ.

К. Бальмонтъ. Радѣнья бѣлыхъ голубей. 21 стихотвореніе. . . . .	7
Валерій Брюсовъ. Огненный Ангель. Повѣсть XVI в. Глава VII. . . . .	25
Максъ Мелль. Разсказъ монастырскаго пастуха. Новелла. . . . .	43
Эллисъ. Объ афоризмахъ. . . . .	50

### Литература. Русская литература.

В. Бакулинъ. Торжество побѣдителей. . . . .	53
И. Бороздинъ. Русская историческая литература. . . . .	58
Библиографія. (А. Купринъ. Разсказы, т. I и III.—С. М. Степнякъ-Кравчинскій. Собраніе сочиненій.—Петръ Пильскій. Разсказы.—А. Радищевъ. Собраніе сочиненій. Ред. С. Тройницкаго.—Письма темныхъ людей. Перев. Н. Куна.—О. Уайльдъ. Флорентинская трагедія. Пер. А. Курсинскаго и М. Ликиардопуло). . . . .	64
Письма въ редакцію (Антонъ Крайняго, Вячеслава Иванова и С. Соловьева). . . . .	74
Поправки. . . . .	76

### Нѣмецкая литература.

Александръ Эліасбергъ. Современные нѣмецкіе поэты. 2 статьи (Максъ Мелль. — Христіанъ Моргенштернъ). . . . .	77
В. Гофманъ. Русская лирика въ Германіи. (О книгѣ А. Eliasberg. Russische Lyrick der Gegenwart). . . . .	85
Библиографія (Stefan Zweig. Die frühen Kränze. — Karl Henckel. Schwingungen.—Julius Bab. Wege zum Drama.—Gustav Kühl, Richard Dehmel.—Das Lustwäldchen. Herausg. v. Franz Blei.) . . . . .	89
Изъ журналовъ. (О Рильке изъ «Litterarisches Echo». — О Верхарнъ изъ «Neue Rundschau») . . . . .	96

### Рисунки.

К. Сомовъ. Фронтиспись къ книгѣ «Goethe's Tagebuch». Передъ стр. . . . .	33
Его-же. Фронтиспись къ книгѣ К. Бальмонта «Жаръ-Птица» (Хромо-литографія въ 12 красокъ). . . . .	Передъ стр. 49
Виньетки и фронтиспись (стр. 5)—его-же. . . . .	
Обложка и надпись (стр. 53) Н. Теофилактова. . . . .	
Фронтиспись—миніатюра XIV в. . . . .	

HARVARD COLLEGE LIBRARY  
GIFT OF  
ARCHIBALD SMITH COOLIDGE  
NOV 14 1922

## СОДЕРЖАНИЕ.

### СОММАIRE.

C. Balmont. Poèmes.—Valère Brussov. L'Ange igné. Roman de la vie allemande du XVI siècle. Chap. VII.—Max Mell. Le recit d'un berger-Nouvelle. (Trad. d'allemand)—Ellis. Aphorismes.

Littérature russe. V. Bakouline. Le Triomphe des décadents.—I. Borzodine. La littérature historique russe en 1906-07.—Bibliographie. (Comptes-rendus sur les livres de MM. A. Kouprine et P. Pilsky, sur les éditions des œuvres de Radistcheff et Stépniack-Kravtchinsky et sur les traductions d'«Une Tragédie Florentine» d'O. Wilde et d'«Epistola obscurorum viro- rum».)—Lettres à la rédaction.—Errata.

Littérature allemande. Alexander Eliasberg. Les poètes allemands contemporains. (Art. I—II: Max Mell et Christian Morgenstern.) — Victor Hoffmann. Les poètes russes en Allemagne. (Analyse du livre de A. Eliasberg «Russische Lyrik der Gegenwart».)—Bibliographie. (Comptes-rendus sur les livres de St. Zweig, Karl Henckel, Julius Bab, Gustav Kühl et Franz Blei).—Les revues. («Das Litterarische Echo» et «Die Neue Rundschau»).

Dessins. C. Somoff. Frontispice pour le livre «Goethes Tagebuch» (Hors texte).—Le même. Frontispice pour le livre de C. Balmont. Lithographie en 12 couleurs. (Hors texte).—Vignettes et frontispice (page 5) par le même.—Couverture et inscription (page 53) par N. Théophilaktoff.—Frontispice générale (page 1)—miniature du Livre d'Heures du duc de Berri.

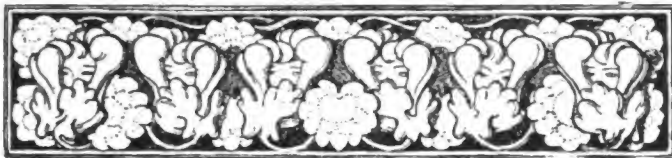
Рисунки и виньетки К. Сомова, помещенные в этомъ №, избраны по указанію автора.



ТАПОГРАФИЯ О-ВА Р. П. КНИГЪ, АРЕНДУЮЩАЯ И. Я. ВОРОБЬЕВЪ, МОСКВА, МОГОЛАЯ, Д. КН. ГАГАРИНА.







## РАДѢННЯ БѢЛЫХЪ ГОЛУБЕЙ.

### 1. ГОЛУБИЦА.

Во саду, саду зеленомъ,  
Подъ широкимъ небосклономъ,  
Отъ Земли и до Небесъ,  
Возносилось чудо-древо,  
Съ блескомъ яблоковъ-чудесъ.

Прилетѣвъ на это древо,  
Съ воркованіемъ напѣва,  
Въ изумрудностяхъ вѣтвей,  
Молодая Голубица  
Выводила тамъ дѣтей

Молодица, Голубица,  
Эта ласковая птица,  
Ворковала къ молодымъ,  
Говорила имъ загадки  
Тамъ, подъ Древомъ вѣковымъ.

Говорила имъ загадки:

„Ужь, вы, дѣтки-голубятки,  
Клюйте вы пшеничку здѣсь,  
А въ пыли вы не пылитесь,—  
Міръ далекій пыленъ весь“.

„А въ пыли вы не пылитесь,  
А въ ростъ вы не роситесь“,—  
Ворковала имъ она.  
Только дѣтки не стерпѣли,  
Заманила ширина.

Голубятки не стерпѣли,  
Въ міръ широкій полетѣли,  
Запылилися въ пыли,  
Заросилися росою,  
Удержаться не могли.

Заросилися росою,  
Застыдилися виною.  
Голубица же нѣжна  
Тамъ, подъ яблонью живою,  
Оправдала ихъ она.

## 2. БРАТЪ И СЕСТРА.

— Кто ты, милый бѣлый братъ?  
Какъ свѣча твой свѣтлый взглядъ.  
— Кто ты, блѣдная сестра?  
Говорить давно пора.  
— Первый ты, откройся мнѣ,  
Очень страшно при Лунѣ.

— Ты мнѣ первая скажи,  
Кто ты, что ты, Расскажи.  
— Я сестра, твоя сестра,  
Вѣстѣ вышли со двора,  
Какъ оставили свой домъ,  
Что Небесностью зовемъ.  
— Я твой братъ, твой бѣлый братъ,  
Ангель, что ли, говорятъ,  
Все хочу я побороть  
На землѣ земную плоть.  
— Я сестра, твоя сестра,  
Я—душа, я—звѣздъ игра,  
Если плоть мы освятимъ,  
Безъ обиды побѣдимъ.

### 3. АДАМЪ И ЕВА.

Адамъ, первично-красный,  
Ликующая плоть.  
Изъ глыбы темно-страстной  
Слѣпилъ его Господь.

Узвчивая Ева,  
Прозрачная душа,  
На первый зовъ напѣва  
Пришла къ нему, спѣша.

Пришла къ нему въ невинный,  
Сіяющій Эдемъ.  
Но этотъ садъ пустынный  
Для разума былъ нѣмъ.

И Ева воздохнула,  
И поглядѣлъ Адамъ.  
И долгій ропоть гула  
Прошелъ по Небесамъ.

Совсѣмъ въ срединѣ Рая  
Красивый кусть расцвѣлъ.  
Адамъ сказалъ, не зная,  
Что это—женскій полъ.

И раковина Моря  
Раскрылась на кусть,  
Съ зарею цвѣтомъ споря  
И споря въ красотѣ.

И въ страсти обоюдной  
Адамъ склонился къ ней.  
Обвилъ ихъ изумрудный  
Алмазноокій Змѣй.

Такъ пламенно горѣнье  
Струилъ на нихъ алмазъ,  
Что скрылъ онъ выраженье  
Змѣиныхъ этихъ глазъ.

И дерево средь Рая,  
Багряное, на снѣдь  
Растеть,—тѣла сжигая,  
И жожеть,—чтобы горѣть.

Мѣнять ужъ невозможно,  
Цвѣти, кто раньше цвѣлъ.  
Адамъ сказать неложно,  
Что это—женскій полъ.

## 4. ДВА ШЕСТИКРЫЛЫХЪ.

Я сижу и я гляжу  
На великую межу.  
Справа— поле, слѣва—лѣсъ,  
Много тутъ и тамъ чудесь.

Я гляжу. А за спиной  
Шестикрылый Неземной.  
Не одинъ стоитъ, ихъ два,  
И растеть, поеть трава.

Тотъ, направо, свѣтлый онъ,  
Словно день воспламенень.  
А другой еще свѣтлѣй,  
Какъ пожаръ среди ночей.

И одинъ—хорошъ, какъ тишь,  
Какъ загрезившій камышъ.  
У другого же глаза—  
Грозовая бирюза.

И одинъ—свѣтло поеть,  
Какъ напѣвность тихихъ водъ.  
А другой—молчить, молчить,  
И какъ къ битвѣ закричить.

И одинъ крыломъ взмахнетъ,  
Шестикратностью блеснетъ,  
И мгновенно для очей—  
Годовыхъ три сотни дней.

И другой крыломъ взмахнетъ,  
Шестимолнійно сверкнетъ,  
И внезапно для очей—  
Триста огненныхъ ночей.

Справа поле, слѣва лѣсъ,  
Живо поле, лѣсъ воскресъ.  
Свѣтель день и ночь свѣтла,  
Богу вѣчному хвала.

## 5. ВТАЙ-РЪКА.

Изъ глубокаго колодца, изъ-подъ той крутой горы,  
Гдѣ гнѣзда не строить птица, гдѣ не строить звѣрь норы,  
Протекала полноводно и течетъ-поетъ вѣка  
Непослушная, живая, влага-пламя, Втай-Рѣка.

Тамъ, на днѣ,—лишь бѣлый сахаръ, алый бархатъ, жемчуга,  
Изъ глазастыхъ изумрудовъ расписные берега,  
А порой, за крутизнами, поровнѣе бережки,  
На отлогостяхъ сверкаютъ желто-рдяные пески.

Отъ Востока до Заката Втай-Рѣки идетъ длина,  
Отъ холодныхъ странъ до жаркихъ растянулась ширина,  
Глубину никто не знаетъ,—измѣряли мудрецы,  
Опускали въ воду тяжесть, потеряли всѣ концы.

А и что жъ намъ вѣдать тайны—тѣхъ, кто хочетъ тайну скрыть,  
Втай-Рѣка не съ мудрецами,—хочетъ съ сердцемъ говорить,  
Прикатилась и вселилась въ полнозвучныя сердца,  
Изъ глубокаго колодца, безъ начала и конца.

## 6. ЗОЛОТЫЯ ЗЕРНА.

Смотрите, братья-голуби, смотрите, сестры-горлицы,  
Какъ много вамъ различного пшеничнаго зерна.  
Намъ зерна эти свѣтлыя, о, духи свѣтловзорные,  
Вечерняя, разсвѣтная послала вышина.

Отъ той Звѣзды, что первая въ вечерней свѣтитъ горницѣ,  
Отъ той Звѣзды, что первая сіяетъ поутру,  
Ниспосланъ этотъ колось намъ, и зерна въ немъ повторныя,  
Берите это золото, я самъ его беру.

Вы, облачные голуби, покорливыя горлицы,  
Снѣжите взоры крыльями, бѣлѣйтесь въ золотомъ.  
Вамъ зерна золотистыя, вамъ облаки узорныя,  
Вамъ солнечный, вамъ мѣсячный, небесный Божій Домъ.

## 7. КАКЪ СОНЪ.

Я какъ сонъ къ тебѣ ходилъ,  
Оставлялъ свой цвѣтикъ аль,  
Я какъ сонъ къ тебѣ ходилъ,  
Я какъ лучъ тебя ласкалъ,  
И въ живомъ игрании сидѣ  
Изъ потопа выводилъ.

Изъ потопа, изъ волны,  
Изъ прибрежныхъ вязкихъ травъ,  
Изъ мятущейся волны,

Изъ осоки и купавъ,  
Изъ великой глубины.  
Къ свѣту Солнца и Луны.

Становиль тебя, сестра,  
Во зеленымъ саду,  
Говориль тебѣ, сестра,  
Что вездѣ съ тобой пойду.  
Говориль тебѣ: „Пора,  
Есть священная игра.“

И Луною золотой  
Осіянь въ живомъ саду,  
Подъ Луною золотой  
Я съ душою рѣчь веду.  
Я съ своею молодой,  
Мы подъ яблонью святой.

И зеленый садъ шумѣлъ,  
Какъ тебя я цѣловаль,  
И зеленый садъ шумѣлъ,  
И раскрылся цвѣтикъ аль,  
И кружился голубъ бѣлъ,  
Въ часъ, какъ Міръ намъ пѣсню пѣлъ.

### 8. ГОЛУБЬ.

Голубъ къ терему припаль,  
Кто тамъ, что тамъ, подсмотрѣлъ,  
Голубъ тѣломъ нѣжно-бѣлъ,  
На оконцѣ жъ цвѣтикъ аль.



Бѣлый голубь ворковалъ,  
Онъ цвѣточкомъ завладѣлъ,  
Онъ его зачаровалъ,  
Насладился, улетѣлъ.  
Ахъ ты, бѣлый голубокъ,  
Позабылъ ты аль цвѣтокъ!  
Ахъ ты, бѣлый голубокъ,  
Воротись хоть на часокъ!

## 9. ВОРКУНОКЪ.

Ужъ очень, голубокъ,  
Ты хитрый воркунокъ:  
Затянешь, зажурчишь,  
Разрушишь въ сердцѣ тишь,  
Разломишь въ немъ ледокъ,  
И манишь, и пьянишь,  
О чемъ-то говоришь,  
О чемъ и невдомекъ,  
Заставишь воздыхать,  
И стыднаго желать,  
Заноетъ сердце,—глядь,  
Вспорхнешь и улетишь.

## 10. ПОСЛАНИЕ КЪ ГОЛУБИЦѢ.

Ужъ ты, птица-голубица,  
Нѣжна горлица моя!  
Ты—предивная страница  
Въ Благовѣсти бытія!

Ты—пресвѣтлая картина  
 Между всѣхъ живыхъ картинъ!  
 Ты—слиянье воедино  
 Всѣхъ созвѣздій и вершинъ!  
 Ты—открывшая мнѣ дверцу  
 Въ нашъ волшебный теремокъ!  
 Ты явившаяся сердцу  
 Какъ божественный намекъ!  
 Ты—явившаяся взору  
 Какъ живой родникъ въ пути!  
 Ты—возведшая на гору,  
 Намъ съ которой не сойти!  
 Ты—проведшая чрезъ рѣки  
 На высокое крыльцо!  
 Подарившая навѣки  
 Звѣздотканное кольцо!  
 Къ голубицѣ—голубочекъ,  
 Благовонная камедь!  
 Исписался весь листочекъ,  
 Не сумѣлъ тебя воспѣть!

# 11. ГОЛУБКА СЪ ГОЛУБКОМЪ.

— Отчего, сестра, молчишь,  
 Ничего не говоришь?  
 — Мнѣ, мой братикъ, очень вновь  
 Свѣтъ цвѣтовъ, хождение въ словѣ.  
 То раскроюсь, то сожмусь,  
 Братьевъ, братика боюсь.  
 — Ты не вѣрь себѣ, сестрица,  
 Будь какъ въ Небѣ голубица.  
 Со цвѣтами будь цвѣтокъ,  
 Говорить для насъ Пророкъ.

И Пророчица намъ пѣла,  
 Говорить—любитеcь смѣло.  
 — Милый братикъ, я люблю,  
 Довѣряю Кораблю.  
 Да сама душа пророчить,  
 Вдругъ уйти отъ братьевъ хочетъ.  
 Не на вове, на часокъ.—

Засмѣялся голубокъ.  
 Встрепенулись, поглядѣли,  
 Улетѣли, въ самомъ дѣлѣ,  
 Улетѣли въ темноту,  
 Засвѣтили тамъ мечту.  
 Сестры, братья замѣчали,  
 Ничего имъ не сказали.  
 Коли хочется, такъ что жъ,  
 Уходи, опять придешь.

## 12. СВАДЬБА.

Я вѣнчалася съ дружкой  
 Подъ кусточкомъ, подъ кустомъ.  
 Платье свадебно Луна  
 Убѣлила съ высоты,  
 Наша церковь—тишина,  
 Гости свадебны—цвѣты.

Подъ кусточкомъ, подъ кустомъ  
 Тамъ и свадебный былъ домъ.  
 Были пѣвчіе у насъ  
 Между ладанныхъ вѣтвей,  
 Всю-то ночь пѣлъ—какъ разъ  
 Надо мною—соловей.

Обручала насъ весна,  
Обвѣнчала тишина,  
И на яблонѣ лѣсной  
Осыпались лепестки.  
Хорошо-ль тебѣ со мной?  
Вѣчно-ль будемъ мы дружки?

### 13. ГОЛУБАЯ ЗАУТРЕНЯ.

Пловучими туманами  
Одѣтъ подѣ утро лѣсъ.  
За бѣлыми полянами  
Ужъ ликъ Луны исчезъ.

И бѣлыми полянами  
Проходимъ мы съ тобой.  
Зоветь гостями зваными  
Насъ цвѣтикъ голубой.

Велитъ намъ быть веселыми,  
Еще притти съ тобой.  
Свѣтло звонитъ надъ долами  
Заутреней цвѣтной.

Надъ синими, надъ долами  
Звонитъ онъ Кораблю.  
Равняетъ мысли съ пчелами,  
„Люблю“, поетъ, „люблю“.

## 14. НЕЗАБУДОЧКА.

Незабудочка-цвѣточекъ  
Очень ласково цвѣтетъ,  
Для тебя, мой другъ-дружочекъ,  
Надъ водицею растеть.

Надъ водицей, надъ криницей,  
Надъ водою ключевой,  
На зарѣ съ звѣздой-звѣздицей  
Говорить—ты, будто, мой.

Незабудочка-цвѣточекъ  
Нѣжно-синенькій глазокъ,  
Все зоветъ тебя, дружочекъ,  
Слышишь тонкій голосокъ?

## 15. АНГЕЛЫ НЕБЕСНЫЕ.

Ангелы Небесные  
Писанье ли читаютъ?  
Ангелы Небесные  
Не въ Небѣ ли летаютъ?

Птицы поднебесныя  
Не звонко ли поютъ?  
Помыслы чудесныя  
Не въ цвѣтикахъ ли ждуть?

## 16. ЦВѢТОЧКИ.

Я по рощицѣ ходила,  
Въ ней бродила по утру,  
Про себя я размышляла,  
Что цвѣточковъ наберу,  
Что цвѣточковъ я не мало  
Заманю въ свою игру.  
А ужь силушка-то—сила  
Въ сердцѣ выхода просила!

Я лазоревыхъ цвѣточковъ  
Межъ листочковъ набрала,  
Я сама не замѣчала,  
Какъ далеко я ушла.  
Я златой цвѣтокъ срывала,  
И душа была свѣтла,  
Вдругъ увидѣла кусточекъ,—  
Подъ кусточкомъ мой дружокъ.

Ужъ такой ли алъ цвѣточекъ  
Мой дружокъ мнѣ сорвалъ!  
Я дрожала и не знала,  
Какъ мнѣ скрыть тотъ цвѣтикъ алъ.  
Такъ ужъ стыдно, небывало  
Тотъ цвѣточекъ расцвѣталъ!  
Не могу теперъ дружочка  
Отпустить изъ-подъ кусточка.

## 17. ПОГОНЯ.

Чей это топотъ?—Чей это шопотъ?—Чей это свѣтитса глазъ?  
 Кто это въ кругѣ—въ бѣшеной вьюгѣ—пляшетъ и путаетъ насъ?  
 Чьи это крылья—въ дрожи безсилья—бьются—и снова летятъ?  
 Чьи это хоры?—Чьи это взоры?—Чей это блещущій взглядъ?  
 Чье это слово,—вѣчно и ново,—въ сердцѣ поетъ какъ гроза?  
 Чьи неотступно—можетъ, преступно,—смотреть и смотреть глаза?  
 Кто измѣнился?—Кто это свился—въ полный змѣиности—жгутъ?  
 Чьи это кони—бѣлые кони—въ дикой погонѣ—бѣгутъ?

## 18. ВЕРХОВНЫЙ ГОСТЬ.

Пресвѣтлый Гость, Верховный Гость  
 Сойди, сойди, сойди!  
 Ты насъ таи, мы всѣ твои,  
 Гляди, гляди, гляди!  
 Ты насъ храни, а мы огни  
 Заожемъ, заожемъ, заожемъ!  
 Въ живую плоть войди, Господь,  
 Огнемъ, огнемъ, огнемъ!  
 На свѣтлый лугъ, въ нашъ быстрый кругъ  
 Сойди, сойди, сойди!  
 Ты любъ намъ, Гость, Верховный Гость,  
 Гляди, гляди, гляди!

## 19. РАДѢНІЕ.

Дѣти Солнца въ часть полночный,  
Собрались въ игръ урочной,  
Слитно-дружное вращенье,  
Перекрестности круженья,  
Плотно слажены ряды,  
Мы во имя возрожденья  
Ждемъ въ душѣ живой воды.

Жерновъ крутится упорный,  
Бѣлый праздникъ ночью черной,  
Быстро, посолонь, стремленье,  
Звѣзды, въ жаждѣ обновленья,  
Прорѣзаютъ такъ туманъ,  
Въ кругѣ, знаменье радѣнья,  
Со святой водою чанъ.

Ногъ босыхъ все глуше топоть,  
Устъ сухихъ не слышенъ ропоть,  
За одной живой стѣною  
Двѣ и три идутъ волною,  
Близъ рубахи—сарафанъ,  
И напѣвной тишиною  
Зачарованъ водный чанъ.

Въ глубинѣ явился Кто-то,  
Въ ликѣ свѣтлая дремота,  
Пробуждается въ купели,  
Мы не даромъ здѣсь радѣли,  
И пропѣли заговоръ,  
Въ вихрь слышенъ зовъ свирѣли,  
Въ чанѣ темномъ яркій взоръ.



Хороводъ нашъ содрогнулся,  
 Съ неземнымъ соприкоснулся,  
 Мы истомнымъ взяты раемъ,  
 Въ пляскѣ мы изнемогаемъ,  
 Мы блѣднѣй, чѣмъ полотно,  
 Духъ сошелъ, мы знаемъ, знаемъ,  
 Это было суждено.

## 20. БѢЛЫЙ ПАРУСЪ.

Прости, Солнце, прости, Мѣсяцъ, Звѣзды ясныя, простите.  
 Если что не такъ я молвилъ про волшебность Корабля,  
 Если что не досмотрѣлъ я, вы меня ужъ просвѣтите,  
 Ты прости мои распѣвцы, Мать моя, Сыра Земля.

Можетъ, я хожденье въ словѣ и постигъ, да не довольно,  
 Можетъ, слишкомъ я въ круженьи полюбилъ одну сестру,  
 Какъ тутъ быть мнѣ, я не знаю, сердце плачетъ богомольно,  
 Но не всѣхъ ли я прославлю, если ей цвѣты сберу?

Солнце, Мѣсяцъ, Звѣзды ясны, Мать Земля, меня простите,  
 Ленъ въ поляхъ я возвращаю, дамъ обильно коноплю,  
 А моя сестра сумѣетъ изъ цвѣточковъ выткать нити,  
 И сплететъ намъ бѣлый парусъ съ голубымъ цвѣткомъ „Люблю“.

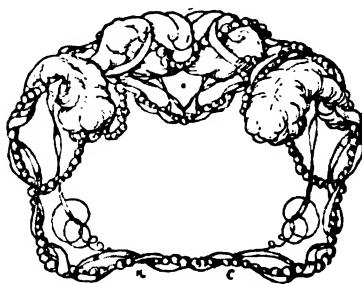
## 21. ЗВѢЗДОЛИКІЙ.

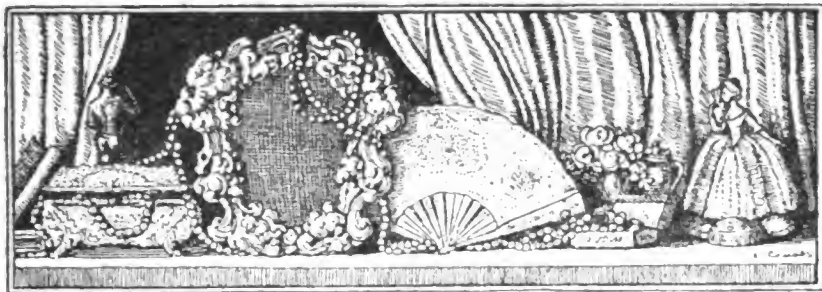
Лицо его было какъ Солнце—въ тотъ часъ, когда Солнце въ зенитѣ,  
 Глаза его были какъ звѣзды—предъ тѣмъ какъ сорваться съ Небесъ,  
 И краски изъ радугъ служили какъ ткани, узоры и нити,  
 Для пышныхъ его одѣяній, въ которыхъ онъ снова воскресъ.

Кругомъ него рдѣнились громы въ обрывныхъ разгнѣванныхъ тучахъ,  
И семь золотыхъ семизвѣздй, какъ свѣчи, горѣли предъ нимъ,  
И гроздья пылающихъ молній цвѣтами раскрылись на кручахъ.  
„Храните-ли Слово?“—онъ молвилъ,—мы крикнули съ воплемъ: „Хранимъ“.

„Я первый“,—онъ рекъ,—„и послѣдній“,—и гулко отвѣтили громы.  
„Часъ жатвы“,—сказалъ Звѣздоокй.—„Серпы приготовьте. Аминь“.  
Мы вѣрной толпою возстали. На Небѣ алѣли изломы,  
И семь золотыхъ семизвѣздй вели насъ къ предѣламъ пустынь.

К. Бальмонтъ.





## ОГНЕННЫЙ АНГЕЛЪ.

### ГЛАВА VII.

КАКЪ Я ВСТРѢТИЛСЯ СЪ ГРАФОМЪ ГЕВРИХОМЪ.

Добравшись до нашего дома, усталый, но веселый, я стукнул въ ворота вызвалъ Луизу, передалъ ей поводья лошади и спросилъ:

— Что госпожа Рената?

Къ моему удивленію, Луиза отвѣтила мнѣ:

— Ей, кажется, лучше, господинъ Рупрехтъ. Безъ васъ она всѣ дни гуляла по городу и вчера возвратилась только поздно вечеромъ.

Конечно, въ словахъ Луизы было затаенное остріе, такъ какъ давно уже относилась она къ Ренатѣ недоброжелательно,—и ударъ не пришелся мимо. «Какъ,—сказалъ я себѣ,—Рената, которая при мнѣ дѣлаетъ видъ, что не можетъ подняться съ постели, какъ параличная, Рената, которая цѣлыми недѣлями не хочетъ переступить порога своей комнаты, словно она отказалась отъ этого по объѣту,—едва осталась одна, гуляетъ по зимнимъ улицамъ до темной ночи! Можно ли не вѣрить послѣ этого догадкамъ Ганса Вейера, что вся ея болѣзнь—только воображеніе, что всѣ ея страданія—только роль на театрѣ!»

Негодуя, почти въ гнѣвѣ, вбѣжалъ я по лѣстницѣ во второй этажъ, гдѣ на площадкѣ, опираясь на перила, Рената уже

ждала меня; лицо ея было блѣдно и обличало волненіе необыкновенное. Завидѣвъ меня, она протянула ко мнѣ руки, взяла меня за плечи и, не давая мнѣ вымолвить ни слова, сама не произнося привѣтствія, сказала:

— Рупрехтъ, онъ—здѣсь.

Я переспросилъ:

— Кто здѣсь?

Она подтвердила:

— Генрихъ—здѣсь! Я его видѣла. Я говорила съ нимъ.

Еще не совсѣмъ довѣряя словамъ Ренаты, я сталъ ее спрашивать:

— Ты не ошиблась? Тебѣ это, быть можетъ, показалось? Это былъ кто-нибудь другой. Онъ самъ признался тебѣ, что онъ—графъ Генрихъ?

Рената же увлекла меня въ свою комнату, заставила сѣсть и, почти прильнувъ ко мнѣ, наклонивъ лицо близко-близко, стала, задыхаясь, рассказывать мнѣ, что произошло съ нею въ Кельнѣ за эти два дня.

По ея словамъ, въ субботу, въ часъ вечерней службы, ей, когда она обычно изнемогала у окна въ холодной тоскѣ, вдругъ послышался тихій, но явственный голосъ, какъ бы ангельскій, который повторилъ трижды: «Онъ—здѣсь, около Собора. Онъ—здѣсь, около Собора. Онъ—здѣсь, около Собора». Послѣ этого Рената не могла ни разсуждать, ни медлить, но, вставъ и накинувъ плащъ, тотчасъ поспѣшила къ Собору на площадь, въ то время полную народомъ. Не прошло и пяти минутъ, какъ въ толпѣ она различила графа Генриха, шедшаго съ другимъ молодымъ человѣкомъ, обнявшись. Отъ волненія при этомъ видѣніи, о которомъ она слишкомъ долго мечтала, Рената едва не упала безъ чувствъ, но нѣкая сила, какъ бы извнѣ, поддерживала ее, и она послѣдовала за идущими, черезъ весь городъ, пока они не вошли въ одинъ домъ, принадлежащій Эдуарду Штейну, другу гуманистовъ.

На другой день, въ воскресенье, съ ранней зари, Рената была на стражѣ близъ этого дома, твердо рѣшивъ дожидаться появленія Генриха. Ей пришлось ждать долго, весь день, но она не

обращала вниманія на изумленные взгляды прохожихъ и подозрительные—рейтаровъ, и только мысль, что Генрихъ могъ ночью покинуть городъ, заставляла ея дрожать. Вдругъ, уже около сумерокъ, дверь растворилась и появился Генрихъ съ тѣмъ же юношей, какъ вчера, оживленно бесѣдуя. Рената пошла за ними, прячась у стѣнъ, и прослѣдила весь ихъ путь до Рейна, гдѣ друзья распрощались: незнакомецъ направился къ судамъ, а Генрихъ хотѣлъ возвратиться. Тогда Рената вышла изъ тѣни и назвала его по имени.

По словамъ Ренаты, Генрихъ сразу узналъ ее, но она была бы счастлива, если бы не было такъ, ибо лицо его, едва онъ понялъ, кто передъ нимъ, исказилось негодованіемъ и ненавистью. Рената схватила его за руку; онъ освободился, съ дрожью безразличности, и, отстраняя протянутые къ нему пальцы, пытался удалиться прочь. Тогда Рената стала передъ нимъ на колѣни на грязной набережной, цѣловала край его плаща и сказала ему всѣ тѣ слова, которыя такъ много разъ твердила мнѣ: какъ она его ждала, какъ она его искала, какъ она его любитъ, и умоляла здѣсь же убить ее, потому что отъ его удара умерла бы съ блаженствомъ, какъ святая. Но Генрихъ отвѣтилъ ей, что не хочетъ ни говорить съ ней, ни видѣть ее, что даже не имѣетъ права простить ее; наконецъ, вырвавшись изъ ея рукъ, онъ скрылся, почти убѣгая, оставивъ ее одну, въ темнотѣ и безлюдіи.

Весь этотъ разсказъ Рената провела однимъ духомъ, говоря голосомъ твердымъ и выбирая выраженія вѣрныя и картинныя, но, дойдя до конца, она вдругъ сразу потеряла силы и волю, и залилась слезами: словно бы спалъ вѣтеръ, гнавшій корабль ея души, и паруса жалостно захлопали по снастямъ. И тотчасъ тяжело опустилась она на полъ, такъ какъ отчаяніе всегда влекло ее къ землѣ, и, клонясь ничкомъ, начала рыдать и биться, повторяя безпомощно одни и тѣ же слова, не слушая ни моихъ ласковыхъ утѣшеній, ни моихъ пытливыхъ вопросовъ.

Признаюсь, что на меня разсказъ Ренаты, хотя въ тотъ день я и былъ отъ нея болѣе далекъ, чѣмъ всегда,—произвелъ впечатлѣніе ошеломляющее: у меня забилося сердце прерывисто и

вся душа словно наполнилась чернымъ дымомъ отъ взрыва. Мысль, что кто-то смѣлъ обращаться надменно и презрительно съ женщиной, передъ которой я привыкъ стоять на колѣняхъ, была мнѣ нестерпима. Однако, я не позволялъ себѣ поддаться гнѣву и ревности, но постарался отчетливо разобраться въ томъ, что произошло, хотя оно и представлялось мнѣ безпорядочнымъ и стремительнымъ вихремъ. Какъ только Рената получила опять хоть нѣкоторую возможность говорить связно, я попросилъ ее повторить мнѣ точнѣе слова Генриха.

Все еще захлебываясь слезами, она воскликнула:

— Какъ онъ оскорблялъ меня! Какъ онъ меня оскорблялъ! Онъ говорилъ мнѣ, что я была злымъ гениемъ его жизни. Что я погубила всю его судьбу. Что я отняла его у Неба. Что я—отъ Дьявола. Онъ сказалъ мнѣ, что презираетъ меня. Что воспоминаніе о нашей любви ему отвратительно. Что наша любовь была мерзость и грѣхъ, въ которые я завлекла его постыднымъ обманомъ. Что онъ, что онъ... плюетъ на нашу любовь!

Тогда я спросилъ, почему графъ Генрихъ могъ говорить, что Рената отняла его у Неба? развѣ не самъ онъ, добровольно, увезъ ее въ свой замокъ, чтобы жить съ ней, какъ съ женой и какъ съ близкой? И такъ какъ въ тотъ часъ всѣ обычныя плотины въ душѣ Ренаты были сломаны стремительнымъ потокомъ ея горя, то, не дѣлая даже попытки защищаться, она упала лицомъ мнѣ на колѣни и воскликнула съ какой-то послѣдней искренностью, такъ для нея непривычной:

— Рупрехтъ! Рупрехтъ! Я утаила отъ тебя самое важное! Генрихъ никогда не искалъ человѣческой любви! Онъ не долженъ былъ никогда въ жизни прикасаться къ женщинѣ! Это я, это я, заставила его измѣнить клятвѣ. Да, я отняла его у неба, я у него отняла лучшія мечты, и за это онъ меня теперь презираетъ и ненавидитъ!

Продолжая осторожно подкрадываться къ истинѣ, какъ звѣрь къ добычѣ, я, вопросъ за вопросомъ, вывѣдалъ затѣмъ у Ренаты все то, что она утаила отъ меня о Генрихѣ въ своемъ первомъ разсказѣ и о чемъ не обмолвилась ни разу за три мѣсяца нашей общей жизни. Я узналъ, что Генрихъ былъ участникомъ

одного тайнаго общества, вступая въ которое дають обѣтъ цѣломудрія. Это общество должно было скрѣпить христіанскій міръ болѣе тѣснымъ обручемъ, нежели Церковь, и стать во главѣ всей земли болѣе властно, нежели Императоръ и Святѣйшій отецъ. Генрихъ мечталъ, что онъ будетъ избранъ грессмейстеромъ этого ордена и выведетъ ладью челоуѣчества изъ пучины зла на путь правды и свѣта. Ренату позвалъ онъ за собой, лишь какъ помощнику въ его опытахъ новой, божественной магіи, ибо ему нужна была особая сила, таящаяся въ нѣкоторыхъ людяхъ. Но Рената, почитая Генриха воплощеніемъ своего Мадіэля, приблизилась къ нему съ одной цѣлью—владѣть имъ, и, не пренебрегая никакими средствами, достигла торжества своихъ желаній. Однако, Генрихъ, послѣ недолгаго времени, въ которое умъ его былъ ослѣпленъ любовью, пришелъ въ ужасъ отъ совершеннаго и, въ горькомъ раскаяніи, бѣжалъ изъ роднаго замка, какъ изъ зачумленной страны.

Такое истолкованіе событій показалось мнѣ гораздо болѣе правдоподобнымъ, нежели то, которое Рената давала мнѣ раньше,—и я, соединивъ, наконецъ, въ одно цѣлое отдѣльныя нити ея разсказа, спросилъ у нея:

— Если ты сама сознаешь, что виновата передъ графомъ Генрихомъ, что ты лишила его лучшей надежды и отняла у него святую цѣль жизни, какъ же ты удивляешься, что онъ ненавидитъ тебя?

Рената медленно приподнялась съ полу, посмотрѣла на меня вдругъ высохшими глазами и потомъ сказала, совершенно новымъ, твердымъ, стальнымъ голосомъ:

— Я, можетъ быть, не удивляюсь вовсе. Я, можетъ быть, рада тому, что Генрихъ меня ненавидитъ. Я плачу не по немъ, но по себѣ. Мнѣ не его жалко потерять, но стыдно и горько, что я могла такъ любить его, такъ предаваться ему. Я сама его ненавижу! Теперь я узнала точно, о чемъ догадывалась давно. Генрихъ обманулъ меня! Онъ—только челоуѣкъ, простой челоуѣкъ, котораго можно соблазнить и котораго можно погубить, а я, въ безуміи, воображала, что онъ—мой ангелъ! Нѣтъ, нѣтъ, Генрихъ—только графъ Оттергеймъ, неудавшійся грессмейстеръ

своего ордена, а мой Мадіэль — на небесахъ, вѣчно чистый, вѣчно прекрасный, вѣчно недоступный!

Рената сложила руки, какъ для молитвы, а я почелъ это мгновеніе подходящимъ для того, чтобы высказать ей все то, о чемъ мечталъ и раздумывалъ на возвратномъ пути изъ Бонна. Я сказалъ:

— Рената! Итакъ, ты убѣдилась, что графъ Генрихъ — не твой ангелъ Мадіэль, но простой смертный, который нѣкоторое время любилъ тебя и котораго ты любила едва ли не по заблужденію. Нынѣ любовь эта погасла въ немъ, равно какъ и въ тебѣ, и твое сердце, Рената, свободно. Вспомни же, что близъ тебя есть другой, кому это сердце дороже всѣхъ золотыхъ розсыпей Мексики! Если со спокойной душой, хотя бы и безъ страсти, ты можешь протянуть мнѣ свою руку и дать мнѣ на будущее обѣщаніе вѣрности, я приму это, какъ несчастный нищій королевскую милостыню, какъ пустынный благодать съ неба! Вотъ, еще разъ, Рената, я на колѣняхъ передъ тобой, — и отъ тебя зависитъ обратить все свое страшное прошлое въ забывающійся сонъ.

Рената, послѣ моихъ словъ, встала, выпрямилась, опустила мнѣ руки на плечи и сказала такъ:

— Я буду твоей женой, но ты долженъ убить Генриха!

Отступивъ на шагъ, я переспросилъ, такъ ли я разслышалъ, потому что еще разъ Рената нѣсколькими словами перевернула все мое представленіе о ней, словно ребенокъ, перевертывающій мѣшокъ, изъ котораго сыплется на землю всѣ лежавшія тамъ вещи, — и Рената повторила мнѣ, голосомъ спокойнымъ, но, повидимому, въ крайнемъ волненіи:

— Ты долженъ убить Генриха! Онъ не смѣетъ жить, послѣ того, какъ выдавалъ себя за другого, за высшаго. Онъ укралъ у меня мои ласки и мою любовь. Убей его, убей его, Рупрехтъ, и я буду твоей! Я буду тебѣ вѣрна, я буду тебя любить, я пойду за тобой всюду — и въ этой жизни, и въ вѣчномъ огнѣ, куда откроется путь намъ обоимъ!

Я возразилъ:

— Я — не наемный убійца, Рената, не неаполитанецъ, я не



могу поджидать графа за угломъ и ударить его кинжаломъ въ спину: мнѣ честь не позволить этого!

Рената отвѣтила:

— Неужели ты не найдешь поводовъ вызвать его на бой? Ступай къ нему, какъ ты пошелъ къ Агриппѣ, оскорби его или заставь его оскорбить тебя, — развѣ мало у мужчины средствъ, чтобы убить другого?

Меня въ этой рѣчи поразило, прежде всего, упоминаніе объ Агриппѣ, такъ какъ до той минуты я былъ увѣренъ, что Рената, относясь безучастно ко всему на свѣтѣ, не знала о цѣли моей поѣздки. Что же касается самаго требованія—убить графа Генриха, то я лицомърилъ бы, если бы сталъ утверждать, что оно меня ужаснуло. Смutila меня лишь неожиданность словъ Ренаты, но въ глубинахъ души моей они сразу нашли сочувственный отзвукъ, словно бы кто-то ударилъ въ мѣдный щитъ передъ глубокими гротами и многогласное эхо, замирая далеко, долго повторяло этотъ звукъ. И, когда Рената начала тѣснить меня, какъ противникъ врага, загнаннаго въ ущелье, вырывать у меня согласіе, какъ пантера кусокъ мяса изъ чужихъ когтей,—я сопротивлялся не очень упорно, почти для виду, и далъ ту клятву, которой она ждала.

Едва я произнесъ рѣшающія слова, какъ Рената перемѣнила все свое поведеніе. Внезапно замѣтила она, что я изнемогаю отъ усталости послѣ довольно продолжительнаго пути; съ заботливостью, которая до того времени проявлялась въ ней такъ рѣдко, бросилась она снимать съ меня дорожное платье, принесла мнѣ воды, чтобы умыться, разыскала мнѣ ужинъ и вина. Она вдругъ стала со мною какъ самая добрая, домовитая жена съ любимымъ супругомъ, или какъ старшая сестра съ захворавшимъ младшимъ братомъ. Переставъ говорить о графѣ Генрихѣ, словно позабывъ весь нашъ ожесточенный разговоръ и мою клятву, Рената, за ужиномъ, начала спрашивать меня о моей поѣздкѣ, интересуясь всѣмъ, что со мною случилось, обсуждая со мною слова Агриппы, какъ въ счастливые дни нашихъ общихъ занятій. Когда я, видя сквозь окна совершенно черное небо, сознавая внутреннимъ чувствомъ, что мы уже переступили

черезъ порогъ полночи, хотѣлъ, поцѣловавъ руку Ренаты, удалиться къ себѣ,—она тихо сказала мнѣ, опустивъ глаза, какъ невѣста:

— Почему ты сегодня не хочешь остаться со мной?

Почему я не хотѣлъ остаться! Да развѣ я смѣлъ объ этомъ мечтать! Уже очень давно, въ теченіе многихъ недѣль, не суждено мнѣ было проводить ночи близъ Ренаты, и я вспоминалъ о былой близости съ ней, какъ о чемъ-то призрачномъ и недоступномъ.

Этотъ разъ Рената не хотѣла, чтобы я устроился на деревянномъ помостѣ близъ ея постели, но позвала меня лечь съ ней рядомъ, опять какъ въ первые дни. Этотъ разъ Рената прижималась ко мнѣ всѣмъ тѣломъ, какъ любовница, цѣловала меня, искала моихъ губъ, моихъ рукъ, всего меня. И, когда я, отстраняясь, сказалъ ей, что она не должна искушать меня, Рената отвѣчала мнѣ:

— Должна! Должна! Я хочу быть съ тобой! Сегодня я хочу тебя!

Такъ, неожиданно, совершилось наше первое соединеніе съ Ренатою, какъ мужчины съ женщиною, въ день, когда я всего менѣе ждалъ этого, послѣ разговора, который всего менѣе велъ къ этому. Та ночь стала нашей первой брачной ночью, послѣ того, какъ не мало часовъ мы провели на одной постели, словно братъ и сестра, и послѣ того, какъ нѣсколько мѣсяцевъ мы жили рядомъ, словно скромные друзья. Но, когда, въ мукѣ неожиданнаго счастья, почти опьянѣвъ отъ свершенія всего, что уже казалось невозможнымъ, приникъ я, истомленный, къ губамъ Ренаты, чтобы поцѣлуемъ благодарить ее за свой трепетъ,—вдругъ увидѣлъ я, что ея глаза вновь полны слезами, что слезы текутъ по ея щекамъ и что губы ея искривлены улыбкой боли и безнадежности. Я воскликнулъ:

— Рената! Рената! Неужели ты плачешь?

Она отвѣтила мнѣ сдавленнымъ голосомъ:

— Цѣлуй меня, Рупрехтъ! Ласкай меня, Рупрехтъ! Вѣдь я же отдалась тебѣ! Вѣдь я же отдала тебѣ все мое тѣло! Еще! Еще!

Почти въ страхѣ, упалъ я ницъ на подушки, самъ готовый плакать и скрежетать зубами, но Рената съ насиліемъ влекла меня къ себѣ, заставляя быть живымъ орудіемъ ея пытки, добровольнымъ, но содрогающимся палачемъ, терзая и распиная себя, съ ненасытимой жаждой, на колесѣ ласкъ и крестѣ сладострастія. Она обманывала меня, снова и снова, притворной нѣжностью, соблазняла страстью, можетъ быть, и не искусственной, но предназначавшейся не мнѣ, и, вбросивъ свое тѣло въ пламя и въ пилю, стонала отъ блаженства—чувствовать боль, плакала отъ послѣдней радости — презирать себя. И до самаго утра длилась эта чудовищная игра въ любовь и счастье, въ которой поцѣлуи были острыми клинками, призывы къ наслажденію — угрозами судьи, влага страсти — кровью, а вся наша брачная постель — чернымъ застѣнкомъ.

Этотъ вечеръ, когда во имя любви отъ меня потребовали убійства, и эта ночь, когда во имя любви отъ меня потребовали мукъ, остались самымъ страшнымъ изъ моихъ брезовъ, и сонъ изнеможенія, избавившій меня отъ дьявольскихъ видѣній, оказалъ мнѣ милость большую, чѣмъ то могли всѣ владыки міра.

Я утромъ проснулся измученный больше, чѣмъ былъ бы послѣ полугодового заключенія въ подземной тюрьмѣ: мои глаза едва въ силахъ были смотрѣть на свѣтъ и сознаніе мое было тускло, словно плохое стекло. Но Рената, порой, бывала какъ изъ металла, твердая и упругая, не знающая никакого утомленія, и когда я впервые встрѣтилъ ея взглядъ — онъ былъ все тотъ же, что наканунѣ. Для меня все было еще такъ смутно, что я готовъ былъ сомнѣваться, живы ли мы оба, а Рената уже звала меня съ безжалостной настойчивостью.

— Рупрехтъ! пора! пора! Мы должны итти къ Генриху сейчасъ же! Я хочу, чтобы ты убилъ его скоро, завтра же!

Она не давала мнѣ одуматься, она торопила меня, словно на кораблѣ въ часъ крушенія, когда каждая минута дорога, — и теперь это я подчинился съ покорностью андроида Альберта Великаго. Не споря, принарядился я, какъ могъ лучше, надѣлъ свою шпату и послѣдовалъ за Ренатою, которая повела меня по пустыннымъ утреннимъ улицамъ, — молча, не откликаясь на

всѣмъ.

3

мои слова, точно исполняя чью-то неодолимую волю. Наконецъ, подошли мы къ дому Эдуарда Штейна, большому и роскошному, съ хитрыми балконами и лѣпными обводами у оконъ, и, съ однимъ только словомъ «здѣсь», Рената, указавъ мнѣ желыя, рѣзныя двери, быстро повернулась и пошла прочь, какъ бы оставляя меня наединѣ съ моей совѣстью. Впрочемъ, и не смотря вслѣдъ Ренаты, я тотчасъ почувствовалъ, что она не уйдетъ далеко, но укроется за первымъ поворотомъ и будетъ ждать моего вторичнаго появленія у этой двери, чтобы, кинувшись, выхватить у меня тотчасъ извѣстіе объ успѣхѣ.

Сказать правду, я былъ такъ оглушенъ закрутившимъ меня смерчемъ событій, что, противъ своего обыкновенія, совѣтъ не успѣлъ внимательно и строго обсудить свое положеніе. Только взявшись, чтобы постучаться, за дверную ручку, массивную и утонченной работы, вспомнилъ я, что не подготовилъ словъ для разговора съ Генрихомъ, что вообще не знаю, чтó я буду дѣлать, войдя въ этотъ богатый домъ. Медлить, однако, было не время, и съ тою рѣшимостью, съ какой, зажмуривъ глаза, бросаются въ пучину, я ударилъ твердо и громко металломъ по металлу, и, когда слуга отворилъ мнѣ дверь, сказалъ, что долженъ непременно видѣть остановившагося въ этомъ домѣ графа Генриха фонъ-Оттергеймъ, по дѣлу важному и не терпящему отлагательства.

Слуга провелъ меня черезъ переднюю, уставленную высокими, но изящными шкафами, потомъ по широкой лѣстницѣ съ красивыми перилами, далѣе еще черезъ входную комнату, гдѣ висѣли картины, изображавшія разныхъ животныхъ, и, наконецъ, постучавшись, отворилъ мнѣ маленькую дверь. Я увидѣлъ передъ собой узкую комнату съ деревяннымъ, разукрашеннымъ потолкомъ, съ рѣзными фризами по стѣнамъ, всю заставленную деревянными для книгъ аналоями,—изъ-за которыхъ и выступилъ мнѣ навстрѣчу молодой человѣкъ, одѣтый изысканно, какъ рыцарь, въ шелкъ, съ прорѣзными рукавами, съ золотой цѣпью на груди и множествомъ мелкихъ золотыхъ украшеній. Я понялъ, что это — графъ Генрихъ.

Нѣсколько мгновеній, прежде чѣмъ заговорить, всматривался

я въ этого человѣка, съ которымъ, безъ его вѣдома, уже такъ давно была чудеснымъ образомъ связана моя судьба, образъ котораго такъ часто силился я представить, котораго, порою, считалъ то небеснымъ духомъ, то созданіемъ больного воображенія. Генриху на видъ было не болѣе двадцати лѣтъ и во всемъ существѣ его былъ такой избытокъ свѣжести и юности, что, казалось, ихъ не можетъ сокрушить ничто въ мірѣ, такъ что становилось почти страшно и невольно вспоминалось о вѣчной молодости, какую, будто бы, даетъ людямъ таинственный напитокъ, растворившій въ себѣ алхимическій камень мудрецовъ. Лицо Генриха, безбородое и полу-юношеское, было не столько красиво, сколько поразительно: голубые глаза его, сидѣвшіе глубоко подъ нѣскольکو рѣдкими рѣсницами, казались осколками лазурнаго неба, губы, можетъ быть, слишкомъ полныя, складывались невольно въ улыбку такую же, какъ у ангеловъ на иконахъ, а волосы, дѣйствительно, похожіе на золотыя нити, такъ какъ были они тонки, остры и сухи и до странности лежали каждый отдѣльно, возносились надъ его челою, словно нимбъ святыхъ. Во всѣхъ движеніяхъ Генриха была стремительность не бѣга, но полета, и если бы продолжали настаивать, что онъ — житель неба, принявшій человѣческій обликъ, я бы, можетъ быть, увидѣлъ за его дѣтскими плечами два бѣлыхъ лебединыхъ крыла.

Первымъ графъ Генрихъ прервалъ мочаніе, конечно, недолгое, но казавшееся длительнымъ, спросивъ меня, какую можетъ онъ оказать мнѣ услугу, — и голосъ его, который я слышалъ здѣсь въ первый разъ, показался мнѣ самымъ прекраснымъ въ его существѣ, — пѣвучій, легко и быстро переходящій всѣ ступени музыкальныхъ тоновъ.

Собравъ всѣ силы своей сообразительности, стараясь говорить плавно и свободно, но даже не зная, чѣмъ закончу предложенія, первыя слова которыхъ произношу, — я началъ почтительную рѣчь. Я сказалъ, что много слышалъ о графѣ, какъ о замѣчательномъ ученомъ, въ молодые годы проникшемъ въ запретныя тайны природы и во всѣ сокровенныя ученія, отъ Пифагора и Платона до учителей нашихъ дней; что съ ранняго

дѣтства влекло меня неутолимое желаніе къ познанію высшей мудрости, къ исканію перво-причины всѣхъ вещей; что усерднымъ и прилежнымъ изученіемъ достигъ я нѣкоторой высоты пониманія, но увѣрился съ несомнѣнностью, что личными усиліями нельзя проникнуть въ послѣднія тайны, ибо посвященные, еще со временъ Хирама, строителя Соломонова, передають основныя истины лишь устно ученикамъ; что только въ обществахъ, гдѣ, какъ благодать въ Церкви, преемственно передаются откровенія древнѣйшихъ народовъ: евреевъ, халдеевъ, египтянъ и грековъ, возможно прійти къ цѣли на пути познанія; что, зная графа за лицо вліятельное и важное въ самомъ значительномъ изъ этихъ обществъ, которыя всѣ связаны между собою единствомъ задачъ и единствомъ дѣла, я и приближаю теперь къ нему съ просьбою — помочь мнѣ вступить, покорнымъ ученикомъ, въ одно изъ нихъ.

Къ моему удивленію, эта рѣчь, наполовину хвастливая и наполовину лицемѣрная, въ которой я постарался выставить на показъ всѣ свои скудныя свѣдѣнія о таинственныхъ орденѣхъ посвященныхъ,—была встрѣчена графомъ Генрихомъ какъ что-то, достойное вниманія. Принявъ меня, кажется, за одного изъ посвященныхъ, хотя и стоящаго внѣ обществъ, Генрихъ поспѣшно и съ крайней вѣжливостью указалъ мнѣ на скамью, сѣлъ самъ и, глядя мнѣ въ лицо грустными и откровенными глазами, заговорилъ со мною какъ близкій съ близкимъ.

— Отвѣтите сначала,—сказалъ мнѣ онъ,—родственны ли вы къ намъ по основнымъ устремленіямъ своего духа? Одушевлены ли вы, какъ и мы, ненавистью къ звѣрямъ Востока и Запада? Приняли ли вы, какъ первое и вѣчное руководство, эмблему Сына Господня, озаренную свѣтомъ? Жаждете ли подняться къ небеснымъ вратамъ по семи ступенямъ изъ свинца, латуни, мѣди, желѣза, бронзы, серебра и золота?

По правдѣ, я мало, что понялъ изъ этихъ странныхъ вопросовъ, но подобныя выраженія были не въ новостъ мнѣ, только-что прочитавшему множество книгъ по магіи, и хотя тотъ часъ казался мнѣ тогда важнѣйшимъ въ жизни, не преодолѣлъ я лукаваго соблазна, который поманилъ меня испытать, насколько

сами посвященные понимаютъ другъ друга. Припомнивъ нѣсколько загадочныхъ выраженій, встрѣченныхъ мною въ «Пэ-мандрѣ» и другихъ подобныхъ сочиненіяхъ, постарался я отвѣтить Генриху въ тонѣ его рѣчи и озаботился при этомъ всего болѣе, чтобы слова мои не имѣли никакого отношенія къ его, ибо такую особенность подмѣтилъ я во всѣхъ таинственныхъ вопросахъ и отвѣтахъ. Я сказалъ:

— Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста гласитъ: то, что вверху, подобно тому, что внизу. Но пентаграмма, съ главою, устремленной вверхъ, знаменуетъ побѣду тернера надъ двумя, духовнаго надъ тѣломъ; съ главою же, устремленной внизъ, — побѣду грѣха надъ добромъ. Всѣ числа таинственны, но простыя выражаютъ преимущественно божественное, десятки — небесное, сотни — земное, тысячи — будущее. Какъ же думаете вы, что пришелъ бы я къ вамъ, если бы не умѣлъ различать бездны верхней отъ бездны нижней?

Едва произнесъ я эти совершенно пустыя слова, какъ тотчасъ раскаялся въ своей шуткѣ, потому что Генрихъ устремился на нихъ съ довѣрчивостью ребенка и воскликнулъ въ такомъ восторгѣ, словно я открылъ ему что-то невѣдомое и что-то поразительное:

— Ахъ, вы правы, вы правы! конечно, конечно! Я сразу понималъ, что мы съ вами — объ одномъ. И я васъ вовсе не испытывалъ! Я только хочу предупредить васъ, что на томъ пути, куда вы порываетесь, больше терній, чѣмъ сладкихъ ягодъ. На тайныхъ собраніяхъ не открываютъ, словно какой-то ларчикъ, истину истинъ. Первое слово, которое должны мы говорить новоприбывшему, это — жертва. Лишь тотъ, кто жаждетъ принести себя въ жертву, можетъ стать ученикомъ. Вдумались ли вы въ примѣры: свѣтлаго Озириса, погубленного темнымъ Тифономъ? божественнаго Орфея, растерзаннаго вакханками? дивнаго Діониса, умерщвленнаго титанами? нашего Бальдура, сына свѣта, павшаго отъ стрѣлы хитраго Локи? Авеля, убитаго рукою Каина? Христа распятаго? Рыцари Храма, двѣсти лѣтъ тому назадъ, заплатили жизнью за возвышенность своихъ цѣлей и за благородство, съ какимъ они говорили владыкамъ: «ты будешь королемъ, пока справедливъ». Вергилій Маронъ описы-

ваеть двѣ двери изъ міра тѣней: первая изъ слоновой кости, но сквозь нея вылетаютъ лишь обманчивые призраки; вторая изъ рога. Я только спрашиваю васъ, добровольно ли вы идете въ мѣнѣе украшенную дверь?

Генрихъ проговорилъ все это со страстнымъ увлеченіемъ, произнося каждое слово такъ, словно оно было ему особенно дорого или словно оно въ первый разъ въ жизни пришло ему на уста. Смотря на этого полу-юношу, полу-ребенка, въ которомъ было такъ много внутренняго огня, что ничтожнаго повода, вродѣ легкомысленныхъ вопросовъ случайнаго посѣтителя, было ему достаточно, чтобы вспыхнуть огненными языками,—чувствовалъ я, что падаетъ и замираетъ во мнѣ вся къ нему ненависть, всякое къ нему недоброжелательство. Я слушалъ удивительные переливы его голоса, словно открывавшіе голубыя дали, вглядывался въ его глаза, которые, какъ мнѣ казалось, оставались, несмотря на оживленность рѣчи, печальными, какъ бы тая на своемъ двѣ канувшее туда отчаяніе, — и былъ какъ змѣя, выползшая изъ-подъ камня, чтобы ужалить, но зачарованная напѣвомъ африканскаго заклинателя. Былъ одинъ мигъ, когда я почти готовъ былъ воскликнуть: «Простите меня, графъ, вѣдь я недостойно посмѣялся надъ вами!». Но съ ужасомъ, поймавъ свою мысль на такой опасной тропинкѣ, я самъ крикнулъ себѣ «берегись!» и поспѣшилъ овладѣть своею душою, какъ всадникъ понесшей лошадыю. И тотчасъ, чтобы дать себѣ возможность оправиться, бросилъ я еще нѣсколько словъ Генриху, сказавъ ему:

— Я не боюсь испытаній, ибо мнѣ давно нестерпимо наше знаніе, которое есть, по выраженію одного ученаго, уподобленіе познающаго познаваемому, *assimilatio scientis ad rem scitam*. Я ишу того познанія, о которомъ говоритъ тотъ же Гермесь Трисмегистъ, какъ о разумной жертвѣ души и сердца. А тому ли, кто ее ищетъ, бояться дорожныхъ шиповъ?

Генрихъ схватилъ и эти слова, какъ драгоцѣнную находку, и, словно бы по всякому поводу могъ онъ говорить безъ конца, тотчасъ разлился передо мною въ длинной и опять воодушевленной рѣчи. И опять, противъ моей воли, эта рѣчь, какъ буд-



то произнесенная съ желаніемъ убѣдить и уговорить своего лучшаго друга, отпечатлѣлась въ моей памяти такъ рѣзко, что сейчасъ не составляетъ мнѣ труда воскресить ее, едва ли не отъ слова до слова.

— Я васъ понимаю, я васъ понимаю,—сказалъ онъ.—Только вы все-таки ошибаетесь, думая, что мы въ силахъ раздавать истинное познаніе, какъ дары. Сокровенныя знанія называются такъ не потому, что ихъ скрываютъ, но потому, что они сами скрыты въ символахъ. У насъ нѣтъ никакихъ истинъ, но есть эмблемы, завѣщанныя намъ древностью, тѣмъ первымъ народомъ земли, который жилъ въ общеніи съ Богомъ и ангелами. Эти люди знали не тѣни вещей, но самыя вещи, и потому оставленные ими символы точно выражаютъ самую сущность бытія. Вѣчной Справедливости, однако, надо было, чтобы мы, утративъ это непосредственное знаніе, пришли къ блаженству черезъ купель слѣпоты и незнанія. Теперь мы должны соединить все, что добыли нашимъ разумомъ, — съ древнимъ откровеніемъ, и только изъ этого соединенія получится совершенное познаніе. Но, вѣрьте мнѣ, чистая душа и чистое сердце помогутъ въ этомъ болѣе, чѣмъ всѣ совѣты мудрыхъ. Добродѣтель — вотъ истинный камень мудрецовъ!

Въ этомъ мѣстѣ рѣчи Генрихъ сдѣлалъ остановку, потомъ съ совершенно измѣненнымъ лицомъ и немного блуждающимъ взоромъ, добавилъ тихо и раздѣльно:

— Вѣдь вы тоже знаете, что времена и сроки исполнились. Вѣдь вы тоже, какъ только наступаетъ тишина, слышите раскрываемыя двери. Тише, тише, прислушайтесь! Слышите: шаги приближаются? слышите: падаютъ листья съ деревьевъ?

Послѣднія слова Генрихъ произнесъ совѣмъ замирающимъ голосомъ, дѣлая знакъ мнѣ соблюдать тишину, весь насторожившись, словно дѣйствительно слышалъ онъ шумъ шаговъ и паденіе листьевъ, и наклонивъ ко мнѣ близко-близко свои глаза, большіе и безумные, такъ что стало мнѣ жутко и не по себѣ. Я оторвалъ свой взглядъ отъ взгляда Генриха и, вдругъ откинувшись назадъ на спинку скамьи, перемѣнилъ тонъ и сказалъ ему твердо и жестко:

— Довольно, графъ, теперь я все понялъ, что желалъ узнать.

Генрихъ посмотрѣлъ на меня недоумѣвающе и спросилъ:

— Что вы поняли и что вы желали узнать?

Я отвѣтилъ:

— Я окончательно узналъ, что вы—обманщикъ и шарлатанъ, который гдѣ-то укралъ обрывки сокровенныхъ знаній и пользуется наворованнымъ, чтобы выдавать себя за посвященнаго и учителя!

При такомъ неожиданномъ нападеніи Генрихъ невольно поднялся со скамьи и, продолжая глядѣть прямо на меня, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ, словно желая потребовать отъ меня объясненій. Я ждалъ, не двигаясь, не опуская взгляда, но, не дойдя до меня, Генрихъ переломилъ свое волненіе и произнесъ кротко:

— Если вы такъ думаете, намъ не о чемъ больше разговаривать! Прощайте!..

Но я, толкая самого себя внизъ по склону, крикнулъ ему:

— Теперь это вы ошибаетесь, думая, что за обманъ заплатите такъ дешево! Есть святыни, которыми нельзя шутить, и есть слова, которыя нельзя произносить легкомысленно! Я призываю васъ къ отвѣту, графъ Генрихъ фонъ-Оттергеймъ!

Съ гнѣвнымъ лицомъ Генрихъ отвѣтилъ мнѣ:

— Кто вы такой, что приходите ко мнѣ и вдругъ начинаете говорить такимъ голосомъ? Я могу не слушать васъ!

Я возразилъ съ торжественностью:

— Кто я? Я—голосъ вашей совѣсти и голосъ мести!

Говоря такъ, я себѣ показывалъ на глаза Генриха, и напоминалъ, что ихъ любила Рената,—на его руки, и говорилъ, что она ихъ цѣловала,—на все его тѣло, и старался представить, какъ она ласкала его съ упоеніемъ. Словно большими мѣхами раздувалъ я въ своей душѣ огонь ревности и, словно полководецъ солдатамъ, приказывалъ я своимъ словамъ: «смѣлѣ!»

Между тѣмъ, Генрихъ, сочтя меня, должно быть, за помѣшаннаго, сказалъ мнѣ:—«Мы поговоримъ послѣ!»—и хотѣлъ выйти изъ комнаты. Но я, въ страхѣ, что не использовалъ этой встрѣ-

чи, которая может не повториться, загородилъ Генриху дорогу и крикнулъ, уже въ самомъ дѣлѣ со страстью:

— Вы, говорящій о добродѣтели, я васъ обвиняю въ безчестности! Я васъ обвиняю, что вы по отношенію къ дамѣ вели себя не какъ рыцарь! Вы обманомъ увезли въ свой замокъ дѣвушку для цѣлей низкихъ и едва ли не преступныхъ. Вы потомъ пренебрегли ею и покинули ее. Когда же она здѣсь, на улицѣ, молила васъ о снисхожденіи, вы оскорбили ее, какъ мужчина не долженъ оскорблять женщину. Я вамъ бросаю перчатку, и вы подымите ее, если вы рыцарь!

Впечатлѣніе моихъ словъ, необдуманныхъ, которыхъ, по вѣсѣмъ соображеніямъ, говорить мнѣ не слѣдовало, было выше моихъ ожиданій, потому что Генрихъ метнулся отъ меня въ сторону, какъ раненый олень; потомъ, въ крайнемъ волненіи, схватилъ какую-то книгу съ аналоя и безвольно, дрожащими пальцами, сталъ ее перелистывать; наконецъ, обернулся и спросилъ меня подавленнымъ голосомъ:

— Я не знаю васъ, кто вы такой. Я могу принять вызовъ только отъ равнаго себѣ...

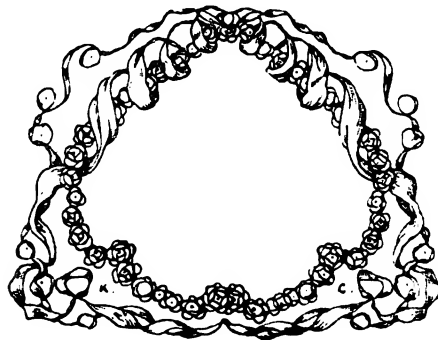
Эти слова заставили меня потерять послѣднее самообладаніе, ибо, хотя я и не имѣю никакихъ причинъ стыдиться своего происхожденія отъ честнаго медика маленькаго городка, однако, въ вопросѣ Генриха узналъ я незаслуженное оскорбленіе, которое клеймило меня уже не разъ, какъ человѣка не изъ рыцарской семьи. И въ тотъ мигъ не нашелъ я ничего болѣе достойнаго, какъ, откинувъ голову, сказать съ холодной гордостью:

— Я такой же рыцарь, какъ вы, и вамъ не можетъ быть стыда сойтись со мною въ честномъ поединкѣ. Пришлите же завтра вашихъ товарищей, въ полдень, къ Собору, условиться съ моими. Иначе мнѣ останется убить васъ, какъ труса и не знающаго чести.

Уже произнеся эти слова, понялъ я, какъ позорно было мнѣ лгать въ ту минуту, и меня охватилъ и стыдъ и раздраженіе, такъ что, не добавивъ болѣе ничего, почти выбѣжалъ я изъ комнаты Генриха, быстро спустился внизъ по роскошной лѣстницѣ и гнѣвнымъ движеніемъ заставилъ растворить передо мною вы-

ходную дверь. Лицо мое въ свѣжій вѣтеръ свѣтлаго зимняго дня и глаза мои въ ясное синее небо упали какъ въ водоемъ съ ключевой водой, и я долго стоялъ, не увѣренный, было ли въ дѣйствительности все, что произошло. Потомъ я пошелъ по улицѣ, какъ-то невольно касаясь рукой стѣнъ, словно слѣпой, нащупывающій свою дорогу. Вдругъ прямо передо мною означилось лицо Ренаты, испуганное, блѣдное, съ расширенными зрачками. Она хотѣла что-то спросить у меня, но я отстранилъ ее съ такой силой, что она едва не упала, ударившись о выступъ дома, а самъ пробѣжалъ дальше, не произнеся ни слова.

Валерій Брюсовъ.



## РАЗСКАЗЪ МОНАСТЫРСКАГО ПАСТУХА.

Макса Мелля.

Мать игуменья! Ты — владычица надъ монастыремъ и его землями; ты — госпожа надъ всѣми инокинями, служанками и работниками, пасущими твои стада. Я — же простой, грязный пастухъ и на меня никто не обращаетъ вниманія, когда я по вечерамъ направляюсь къ часовнѣ молиться, или когда я во время молитвы встаю съ колѣнъ, чтобы образумить какого-нибудь упрямаго быка изъ моего стада. Ночной ангелъ несетъ твою молитву къ престолу Божьему въ серебрянной чашѣ, и Всевышній благосклонно принимаетъ твое моленье изъ его руки. Для моей же молитвы Ангелъ имѣетъ только простую глиняную миску, и я не долженъ гнѣваться, если онъ иногда во время полета проливаетъ мою молитву на землю. Тебѣ во снѣ является Пресвятая Дѣва съ улыбающимся Младенцемъ; я же сплю слишкомъ крѣпко, чтобы видѣть сны; если же мнѣ иногда и приснится что-нибудь, то мое сновидѣніе безсвязно и безсмысленно, какъ сновидѣнья всѣхъ тѣхъ, кто днемъ изъ-за обилія работы не успѣваетъ ни разу кинуть благочестиваго взгляда на небо.

Столь же безсвязнымъ и безсмысленнымъ тебѣ покажется, вѣроятно, и мой рассказъ: ты, вѣдь, видишь и постигаешь все происходящее быстрымъ окомъ сокола, паряшаго надъ озеромъ; мы же подобны дикимъ уткамъ, живущимъ въ тростникахъ и не знающимъ, какъ велико озеро и какъ ясно оно отражаетъ всѣ предметы. И все же мнѣ пришлось пережить нѣчто чудес-

ное (если ты позволишь мнѣ назвать это чудомъ), огибающее обычный прямой путь судьбы и ломающее ея законы, какъ будто бы они были тонкими былинками. Прости мнѣ, мать игуменя. Если ты даже найдешь, что то, что я тебѣ расскажу, просто и естественно, то я все же не перестану смотрѣть на это, какъ на чудо; вѣдь я же, а не кто-нибудь другой, пережилъ все это и поэтому оно полно особаго значенія, для м е н я, а не для кого-нибудь иного: не правда-ли?

Итакъ, вчера въ обѣдъ,—если ты хочешь милостиво выслушать многія и черезъ-чуръ обильныя подробности моего разсказа,—вчера въ обѣдъ я шелъ въ ожиданіи церковнаго звона по пастбищу, покрытому высокой травой и изобилующему пестрыми цвѣтами. И вдругъ я замѣтилъ у плетня, отдѣляющаго монастырскія владѣнія отъ сосѣднихъ полей, дѣвушку, которую я сперва принялъ за одну изъ монастырскихъ работницъ. Но когда я разглядѣлъ ее пристальнѣе и когда моя собака начала на нее лаять, я рѣшилъ, что она чужая и что она пришла издалека: ея бѣдная одежда была изорвана и покрыта цѣпкими травами, приставшими къ ней, вѣроятно, во время странствій по лугамъ.—Она стояла неподвижно и смотрѣла, какъ я успокаивалъ лаявшую собаку. Ея ротъ имѣлъ столь трогательную форму, какъ если бы на немъ застыла скромная просьба; пряди ея рыжеватыхъ волосъ колебались на вѣтру, который, вѣдь, на лугахъ никогда не спитъ, и сверкали на солнцѣ. Я спросилъ ее, наконецъ, кто она такая и чего она желаетъ, и, когда она мнѣ отвѣтила: «Я голодна»,—я велѣлъ ей перескочить черезъ плетень, что она и исполнила однимъ ловкимъ и изящнымъ прыжкомъ. При этомъ я, никогда не удостоивающій взглядомъ ни одной изъ монастырскихъ женщинъ, постоянно надо мной издѣвающихся, не могъ оторвать взгляда отъ красивыхъ линій ея молодого, гибкаго тѣла. Я протянулъ ей свою собственную опорожненную миску и сказалъ: «Возьми себѣ столько, сколько тебѣ нужно.». Она подоила корову и принялась съ большой жадностью за молоко,—но какъ только раздался монастырскій звонъ, она поставила миску на землю и погрузилась, подобно мнѣ, въ молитву; этотъ поступокъ мнѣ чрезвычайно понравился.

Когда она насытилась, я сказалъ ей: «Ты можешь быть рада, что не попала на другихъ парней; они не оставили бы тебя въ покоѣ». — «Я и такъ не знаю покоя!» — отвѣтила она, — и всякій разъ, когда я вижу развѣсистое дерево съ прохладной тѣнью внизу у ствола, я начинаю плакать». — Говоря это, она устремила на меня сверкающій взглядъ своихъ сѣрыхъ глазъ. «Куда же ты удержишь путь?» — спросилъ я ее. — «У меня нѣтъ цѣли. Я не знаю, откуда я пришла и гдѣ мой путь завершится. Я боюсь только одного: какъ бы не набрести на море, которое отрѣжетъ мнѣ дальнѣйшій путь. Я должна была бы тамъ остановиться и ждать, наблюдая вѣчный хороводъ свѣтилъ, своей смерти». — Она встала и отправилась въ путь. Вѣтеръ, пробѣгавшій по склону холма, бережно укладывалъ травы и цвѣты въ стройные ряды, разсматривалъ сѣрую изнанку листьевъ и разрывалъ всѣ тѣни въ клочья, такъ что солнечныя пятна не могли найти себѣ покоя. Она же шла по вѣтру, отсвѣчивая сѣрыми и рыжеватыми пятнами, и казалось, что въ ней есть нѣчто, родственное вѣтру: онъ ее, вѣроятно, очень любилъ, потому что сыпалъ солнечныя блестки ей въ волосы и осторожно переносилъ ее черезъ густыя заросли. Нѣкоторое время меня преслѣдовали еще мысли о ней и о томъ, что она никогда не находитъ покоя, но потомъ я принялся опять за свою работу. Когда же я вечеромъ гналъ свое стадо домой, я былъ опять спокоенъ, беззаботенъ и усталъ, какъ всегда.

Между тѣмъ, монастырская челядь освѣтила большую горницу и разставила дымящіяся блюда съ бараниной, кувшины пива и большія миски каши на широкихъ столахъ. И затѣмъ всѣ они принялись ѣсть и пить и всѣ были очень веселы. Послѣ ѣды выступилъ на середину горницы дворецкій; онъ игралъ на арфѣ и пѣлъ пѣсню о королѣ, погибшемъ въ кровавой битвѣ. Его смѣнилъ ключникъ, который тоже игралъ на арфѣ и пѣлъ о дѣвушкѣ, которая была обезчещена въ темномъ лѣсу и потомъ утопилась въ пруду подъ ветлами. Потомъ игралъ садовникъ, и онъ пѣлъ про даму, которая подкупила слугу, убившаго потомъ во время охоты своего господина и его вѣрнаго пса. Потомъ игралъ поваръ, а двѣ дѣвушки спѣли въ два го-

лоса пѣсню о состязаніи лѣта и зимы. Послѣ этого они всѣ захотѣли, чтобы и я усѣлся за арфу и спѣлъ имъ что-нибудь: они, вѣдь, пристають ко мнѣ съ такими просьбами каждый вечеръ, хотя и знаютъ, что мои пальцы неуклюжи и что мой языкъ слишкомъ тяжелъ для звуковъ пѣсни. Но вчера мнѣ показалось, что на этотъ разъ мнѣ удастся сложить и спѣть пѣсню: мнѣ опять припомнилась дѣвушка, которую я накормилъ и которая все идетъ и идетъ впередъ и боится встрѣтить море, черезъ которое она не сможетъ итти дальше. Итакъ, я взялся за арфу; но мои пальцы были утомлены дневной работой и мой языкъ не хотѣлъ мнѣ повиноваться. А они всѣ стали надо мной потѣшаться, и дѣвушки старались хохотать еще оглушительнѣе, чѣмъ парни. Одна же изъ дѣвушекъ, которая мнѣ, впрочемъ, и раньше была противна, спѣла очень обидную пѣсенку про глупаго пастуха, который не умѣетъ пѣть, а все же поетъ. Тогда я незамѣтно ушелъ изъ горницы; мнѣ было жутко и неудобно, и мои щеки горѣли.

Я усѣлся передъ хлѣвомъ и съ грустью глядѣлъ въ темноту, наблюдая мигавшія звѣзды и медленное движеніе луны. Я слышалъ, какъ челядь продолжала шумѣть, какъ кто-то изъ пастуховъ заладилъ плясовую пѣсню и какъ серебряный звонъ струнъ съ трудомъ пробивалъ себѣ дорогу сквозь глухой топотъ танцующихъ паръ. И вдругъ я подумалъ, что, вѣдь, еще никто, никогда не обратился ко мнѣ съ ласковой рѣчью и что ни одна женщина еще ни разу не обратила на меня вниманія. Мѣсяцъ, между тѣмъ, значительно передвинулся, такъ что я очутился въ тѣни хлѣва и могъ незамѣченнымъ наблюдать, какъ челядь стала расходиться изъ горницы: они сворачивали въ узкіе проходы между сараями, нѣкоторые—въ одиночку, нѣкоторые—громко смѣясь и разговаривая; иногда же мелькала парочка, которая безмолвно и поспѣшно исчезала. Потомъ все замолкло; лишь изрѣдка раздавались глухіе звуки изъ хлѣва, или шуршалъ вѣтеръ. Мнѣ же было очень грустно на душѣ, такъ какъ я повѣрилъ людямъ, утверждавшимъ, что я не умѣю пѣть.

Я улегся на голой землѣ и заснулъ. Но меня скоро разбу-



диль собачій лай. Тогда я привсталъ и услыхалъ легкіе шаги. Чья-то фигура вошла въ тѣнь и остановилась вблизи моего изголовья; я узналъ въ ней чужую дѣвушку. Я успокоилъ собаку и сказалъ: «Что ты тутъ бродишь? кто ты?». Она отвѣтила: — «Мнѣ сегодня какъ-то не удалось уйти отсюда; у меня такое чувство, какъ будто бы меня кто-то здѣсь удерживаетъ». — Я говорю: «Берегись! Вѣдь теперь ночь!» А она въ отвѣтъ: — «Я не знаю страха. Здѣсь всѣ спятъ. Я очень рада, что ты не спишь: я съ обѣда еще ничего не ѣла. Дай мнѣ чего-нибудь! Я, вѣдь, больше не вернусь сюда!» — Мнѣ очень хотѣлось спать, и я сказалъ: «Ступай въ хлѣвъ и возьми себѣ, сколько хочешь». Она вошла въ хлѣвъ, а я тотчасъ же заснулъ. Скоро я почувствовалъ во снѣ что-то теплое у своего лица и подумалъ, что это собака меня лижетъ. Но это была чужая дѣвушка, тѣло которой сверкало возлѣ меня и прижималось къ моему тѣлу. Когда же я простиралъ свои руки, то я каждый разъ встрѣчалъ нѣчто теплое и мягкое, окутывавшее меня, какъ облакомъ. Это мягкое облако походило на убаюкивающую пѣсню, и я тонулъ въ немъ, прислушиваясь къ равномерному біенію ея сердца, напоминавшему мнѣ о жизни. Я спѣшилъ утолить свою жажду и долго пилъ...

Потомъ я лежалъ, утомленный, и видѣлъ, какъ все тотъ же потокъ несъ мимо меня свои серебристыя струи. Тогда я началъ невольно шептать: «Отчего же я не умѣю пѣть? отчего мнѣ это не дано?». И я видѣлъ склонившееся надъ мною лицо и испугался, такъ какъ оно казалось голубымъ въ лунномъ сіяніи, а пряди ея волосъ дрожали вокругъ лица и на щекахъ и глаза сіяли такимъ страннымъ мистическимъ свѣтомъ, что, казалось, что весь свѣтъ въ природѣ только изъ нихъ исходитъ, и я боялся воспринять этотъ свѣтъ своими глазами. — «Пой же! Ты вѣдь умѣешь пѣть!» — сказалъ мнѣ знакомый голосъ, но я отвѣтилъ съ отчаяніемъ: «У меня нѣтъ словъ, я не знаю, о чемъ мнѣ пѣть!» — «Ты не знаешь, о чемъ тебѣ пѣть?» — Сіяющіе глаза нѣсколько удалились, а ея опущенное лицо было невыразимо-сладостно, и оно дрожало въ улыбкѣ. — «Пой пѣсню о мірозданіи!» — Тогда я всталъ и почувствовалъ, что вся моя жизнь, лежащая позади, опять проносится предъ моими

глазами, какъ въ зеркалѣ! Я выпрямился, и мое чело почти коснулось луны, а у ногъ моихъ стояла на колѣняхъ бѣлая дѣвушка. Всѣ ясные часы, пронесившіеся когда-либо надо мной на пастбищѣ, всѣ напѣвы и проповѣди изъ часовни и вся прелесть послѣдняго волшебнаго часа, — все это явилось вновь предъ моимъ взоромъ и съ легкостью давалось въ мои руки, подобно ручной птицѣ. Число звѣздъ было въ тысячу разъ больше, чѣмъ въ другія ночи, и гдѣ-то виталъ Господь. Съ Бога я и началъ свою пѣсню, и она свободно полилась изъ моихъ устъ.

Я пѣлъ о томъ, какъ Онъ всегда и всюду былъ и все заполнялъ Собой; какъ Онъ разъ почувствовалъ, что что-то растетъ и разцвѣтаетъ въ Его сердцѣ, и какъ Онъ понялъ, что это есть Любовь; какъ эта Любовь росла и развѣтвлялась и начала даже бросать свою тѣнь на Него, хотя Онъ и все заполнялъ и ни для чего иного не было больше мѣста. И какъ раздался шумъ, какъ бы отъ тысячи лѣсовъ, когда Онъ сказалъ: «Да будетъ свѣтъ!». Какъ этотъ свѣтъ явился, освѣщая Ему все то, что Онъ творилъ; какъ Онъ простеръ Свою десницу — и явилась земля; какъ небо явилось подъ Его дыханіемъ, подобно полному вѣтрострую парусу; и какъ Онъ началъ плакать, Самъ не зная о чемъ, и какъ изъ Его слезъ явилось море. Какъ земля разступилась, давая дорогу тонкимъ, слабымъ былинкамъ, звѣздоподобнымъ цвѣткамъ и легкимъ стволамъ молодыхъ деревьевъ. И Онъ сотворилъ свѣтила и укрѣпилъ ихъ на небѣ, дабы они показывали время: и надъ травами стали проноситься въ длинныхъ одѣяніяхъ, которыя тянулись за ними, годы, дни и часы, и они не знали, что имъ дѣлать. А изъ морскихъ волнъ выступили огромныя, черныя животныя и малыя рыбки плескались между ними. На деревьяхъ-же порхали пестрыя птицы съ длинными разноцвѣтными хвостами; онѣ щебетали и пѣли, такъ что годы остановились въ своемъ теченіи и стали прислушиваться къ ихъ пѣнію. На лугахъ появились стройныя животныя, и они скакали на своихъ тонкихъ ногахъ и лакомились листьями; они быстро размножались, и между ними были и совсѣмъ большія, и совсѣмъ маленькія, исчезавшія сейчасъ-же, послѣ своего появленія, въ высокой травѣ. И такъ заполнилась земля, и Господь

съ радостью оглядывалъ Свое созданіе. Его взглядъ упалъ на гладь моря, и Онъ увидѣлъ на ней отраженіе Своего лика. Тогда въ Немъ еще разъ проснулась творческая мысль, и Онъ создалъ существо, которому отдалъ во владѣніе всю землю и все, что на ней было. И тогда Онъ опочилъ и глядѣлъ внизъ на землю, взоромъ, который притягивалъ къ себѣ и деревья, и горы, и травы, морскія волны, глаза первой человѣческой четы и руки ея.

И я выросъ до неба и замѣтилъ, что чужая дѣвушка выросла, подобно мнѣ, и что она стоитъ возлѣ меня, восхваляя вмѣстѣ со мной Бога и Его твореніе. Но ростъ мой мнѣ казался слишкомъ исполинскимъ и я, желая опять стать малымъ, скользнулъ внизъ вдоль тѣла дѣвушки, опустился предъ ней на колѣни и заплакалъ, пѣлуя ея ноги. Она же гладила мои волосы, и я чувствовалъ, что ея нѣжный взоръ съ улыбкою покоится на мнѣ. Луна мнѣ тоже улыбалась, и вся природа явилась мнѣ въ новомъ свѣтѣ, потому что я чувствовалъ, что я о ней только-что пѣлъ.

Мать игуменья, я болѣе—не пастухъ! Я пришелъ къ этому заключенію сегодня утромъ, когда я проснулся и замѣтилъ, что все вчерашнее еще существуетъ и что всѣ слова и звуки все еще такъ расположены предо мной, какъ будто бы я разложилъ ихъ вчера во время своей пѣсни въ томъ порядкѣ, въ которомъ я ими пользовался. И, проснувшись, я почувствовалъ, что на моихъ устахъ покоится утренняя заря, готовая перейти въ солнечное сіяніе; что на моей ладони лежитъ капля росы, которую я долженъ превратить въ море. Въ море... Дѣвушки я больше не видѣлъ, такъ какъ она удалилась въ то время, когда я спалъ. Но я не боюсь за нее: мнѣ кажется, что она никогда не встрѣтитъ моря, черезъ которое она не могла бы перейти.

Перев. А. Эліасбергъ.

# ОБЪ АФОРИЗМАХЪ.

Изъ книги «Мысли-оводы».

## I.

Афоризмъ весьма часто уживался рядомъ съ силлогизмомъ, хотя и не разъ побѣждалъ его, какъ Давидъ Голіаевъ. Только то, что боится электрической силы мысли, тысячекратно разросшейся въ своемъ пути черезъ всю цѣпь логическихъ звеньевъ, только то, что оказывается плохимъ проводникомъ мысли, этой непобѣжденной нами электрической искры, боится живой цѣпи силлогизмовъ. За это мы и клеймимъ такую мысль позорнымъ названіемъ „парадоксъ“!

## II.

Афоризмъ — лишь форма выраженія мысли; афоризмъ — это импрессионизмъ мышленія, это—логика пятень, изломанныхъ линій, это—стиль, одаренный жестикуляціей. Между тѣмъ, какъ ритмическое теченіе стройнаго, стремящагося къ симметріи, потока мыслей—всегда отзывается чѣмъ-то классическимъ...

## III.

Афоризмъ всегда выражалъ или слишкомъ мало или слишкомъ много. Онъ всегда или совершенно точенъ, сообщая намъ какъ бы самый трепетъ еще не вызванной изъ мозга мысли, или туманенъ и негоденъ, какъ всякая случайная форма. Но онъ всегда субъективенъ, онъ болѣе правдивъ и почти всегда болѣе живописенъ, даже пластиченъ. Быть можетъ, сложный потокъ мыслей болѣе музыкаленъ, но слову легче быть музыкальнымъ (сущность слова—ритмъ), чѣмъ пластичнымъ; слову и мысли всего труднѣе быть живописнымъ, ибо слово — не болѣе, какъ звукъ, еще труднѣе быть пластичнымъ, ибо слово — не болѣе, какъ символъ, а возможны ли пластическіе символы и притомъ живые, трепетные, сохраняющіе въ себѣ всю теплоту воспламененнаго мозга? Поэтому мы и любимъ афоризмъ, какъ самую рѣдкую форму мышленія.

## IV.

Искусство творить афоризмы—уже импровизація, уже послѣдняя власть доступнаго намъ творчества. Афоризмъ—отдѣльный аккордъ, столь необходимый современной душѣ, переполненной музыкой и, что еще существеннѣе, музыкальностью. Душѣ осенней, гибнущей отъ чрезмѣрности, уму, слишкомъ арѣлому, который всего болѣе боится упасть съ древа познанія Добра и Зла при малѣйшемъ прикосновеніи къ нему, — афоризмъ дорогъ и даже единственно-

понятенъ, именно тѣмъ, что онъ одновременно говорить и слишкомъ много и слишкомъ мало!

v.

Есть еще несравненное свойство афоризма; это — его глубочайшая интимность. Развѣ не кажется намъ, пробѣгая вереницы этихъ самостоятельныхъ мыслей, завитыхъ въ кольца, что это — наши собственные мысли? Мы не можемъ, даже безсознательно, не прибавлять къ нимъ недостающія звенья... Афоризмъ стираетъ границу между писателемъ и читателемъ, онъ всего болѣе и всего острѣе будитъ и волнуетъ нашу собственную мысль. — Лишь тотъ, кто позналъ весь ужасъ необходимости доказывать свою мысль и доказывать неизвѣстному лицу, словомъ — всякій, кто знаетъ, что въ 90 случаяхъ изъ 100 всѣ доказательства лишь—стѣна, воздвигаемая между нами и нашими читателями, за которой не легко различить звуки словъ, всякій, кто сознаетъ великую опасность современнаго писателя „многострунной культуры“ утонуть въ собственной рѣчи, — согласится со мной, что афоризмъ — единственный путь къ интимному общенію душъ.

vi.

Каждая двѣ, рядомъ стоящія, мысли или затѣняютъ или слишкомъ освѣщаютъ другъ друга; зажигая сразу люстру, мы не можемъ опредѣлить силу свѣта каждой свѣчи. Между тѣмъ, каждая отдѣльная мысль — самобытна, не повторяема и имѣетъ право на единичное бытіе. Между всѣми мыслями—врожденный антагонизмъ. Замыкая ихъ въ стройныя фигуры, мы насилуемъ ихъ, обезцвѣчиваемъ ихъ, мы лишаемъ ихъ первой свѣжести, дѣвственности и естественной формы; срывая и сплетая ихъ, мы стряхиваемъ съ нихъ росу, мы мнемъ ихъ нѣжнѣйшіе лепестки... и онѣ увядаютъ. Огромное большинство нашихъ книгъ въ лучшемъ случаѣ — гербаріи, въ худшемъ—стога стѣна, и весьма часто уже подгнивающаго.

vii.

Кто любитъ въ природѣ каждый отдѣльный цвѣтокъ, станетъ ли тотъ собирать букетъ? Развѣ букетъ не стремится стать самъ однимъ исполинскимъ цвѣткомъ, превращая всѣ цвѣты въ свои лепестки? Развѣ самыя роскошныя ожерелья не извращаютъ мельчайшіе оттѣнки въ блескъ каждаго отдѣльнаго камня? Развѣ оправы не лишаетъ аметисты, брилліанты и опалы ихъ естественнаго блеска, который—единственно-возможная форма для выясненія скрытой въ нихъ идеи?... Развѣ гирлянды и букеты отдѣльныхъ мыслей, искусственно связанные, развѣ самыя удивительныя ожерелья, нанизанныя и вправленные въ холодъ чувствъ, уже остывшихъ мыслей,

не искажаютъ цвѣта, вида и единственнаго смысла каждой изъ нихъ? Для насъ, людей „осенней культуры“, поэтовъ увядающей красоты, уже давно пережившихъ и первые, бѣлые, весенніе букеты и стройные, пышные золотые снопы, желанны и дороги лишь наши свободно-несущіяся въ предсмертной пляскѣ — наши послѣднія чувства и мысли, подобныя листьямъ осени. Пусть же наши предсмертныя мысли соткутъ золотой саванъ человѣчеству.

viii.

Афоризмъ всего болѣе опьяняетъ; онъ же обладаетъ даромъ и отрезвлять... Онъ подобенъ то глотку самаго крѣпкаго вина, то внезапному прикосновенію льда.

ix.

Развѣ не въ формѣ афоризма вошло въ міръ все безсмертное? Притчи, эпиграфы, всѣ заповѣди и всѣ лучшіе законы, всѣ боевые лозунги и всѣ самыя злыя эпиграммы — развѣ это не безконечное разнообразіе все той же афористической рѣчи?

x.

Развѣ „дьяволъ извращенности“ могъ бы войти въ нашъ разумнымъ путемъ, какъ не черезъ сложнѣйшія сочетанія отдѣльных звеньевъ логической цѣпи, черезъ технику и механику мысли? Развѣ не въ сочетаніи мыслей — корень всякой с о ф и с т и к и?

xi.

Э. По утверждалъ, что „длинная поэма“ не должна и не можетъ существовать. Поэтому онъ не могъ высоко цѣнить эпосъ, всегда полный приливовъ и отливовъ поэтическаго настроенія, всегда лишенный единства сужденія. Развѣ не въ правѣ мы то же самое сказать и о длинныхъ трактатахъ всѣхъ вѣковъ? Этому „эпосу мысли“ мы должны противопоставить „лирику мысли“, т.-е. афоризмъ. Развѣ „эпосъ мысли“ не исчерпалъ себя въ наши дни? Развѣ не правъ былъ Ф. Ницше, противопоставившій „міру“ Шопенгауэра свое „философствованіе съ помощью молотка“?

xii.

Итакъ, хвала афоризму! Хвала ему, какъ самой интимной, самой живописной, самой изысканной и самой понятной намъ рѣчи! Гордость современнаго человѣка въ томъ, чтобы говорить кратко и изысканно, ибо ему всего болѣе приходится говорить о своихъ страданіяхъ. Развѣ любой мудрецъ не въ правѣ считать себя удовлетвореннымъ, если послѣ него не умретъ хотя бы одинъ, единственный, созданный имъ афоризмъ?

Э х л и с ъ.



## РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

### ТОРЖЕСТВО ПОБѢДИТЕЛЕЙ.

#### 1.

Въ „Товарищѣ“ (№ 352 отъ 23 авг.) помѣщена знаменательная статья А. Горнфельда „Торжество побѣдителей“—о побѣдахъ „декадентовъ“. Г. Горнфельдъ признаетъ, что ихъ побѣда—„внѣ сомнѣнія“, если, конечно, считать побѣдой то, что „левѣеяны прессы начинаютъ заигрывать съ символистами“, что о К. Бальмонтѣ, Валеріи Брюсовѣ, Андреѣ Бѣломѣ, А. Блокѣ и др. пишутъ хвалебные фельетоны, что ихъ произведенія появляются на страницахъ „Образованія“, „Мира Божія“, „Русской Мысли“, даже „Нивы“ и разныхъ распространенныхъ газетъ... Однако, г. Горнфельдъ тотчасъ указываетъ, что цѣна такой побѣды не велика. „Если „чернь непросвѣщенная“,—пишетъ онъ, — заблуждалась, не признавая декадентовъ, то какая цѣна ея признанія? Стоило ли такъ долго объявлять себя поэтами для немногихъ, чтобы затѣмъ такъ радоваться вниманію толпы? Толпа все та же. Если она теперь цитируетъ Брюсова, то не потому, что пришла къ нему отъ Фета. Она безъ вчерашняго дня. Не многого стоитъ легкая и поверхностная побѣда надъ нею: это побѣда моды“.

Въ оцѣнкѣ побѣды „декадентовъ“ г. Горнфельдъ, на нашъ взглядъ, правъ безусловно. Дѣйствительно, читатели, пришедшіе къ Бальмонту и Брюсову не черезъ Пушкина, Баратынскаго, Тютчева, Фета,—не ихъ читатели, хотя бы и знали стихи Бальмонта и Брюсова наизусть. Творчество „декадентовъ“ было необходимой стадіей въ развитіи литературы XIX вѣка, и внѣ связи съ основными явленіями

этой литературы понято быть не можетъ. Надо привить себѣ цѣлебные яды Эдгара По, Бодлера, Ницше; надо не по-школьному, а всей душой усвоить себѣ созданія величайшихъ поэтовъ прошлаго, чтобы получить право читать „декадентовъ“. Отъ Скитальца къ Сологубу легко перейти въ библіотекъ,—можетъ быть, они и стоятъ тамъ даже на одной полкѣ,—но, чтобы наполнить пропасть между стишками Скитальца и творчествомъ Ѳ. Сологуба, надо прожить жизни!

Однако, г. Горнфельдъ, правильно оцѣнивъ побѣду „декадентовъ“, очень ошибается, думая, что сами „декаденты“ цѣнятъ ее иначе и готовы думать, что „чернь“ внезапно стала культурной, только потому, что покупаетъ „Нечаянную Радость“. Г. Горнфельда, повидимому, ввели въ заблужденія хвастливыя выходки той части „декадентовъ“, которую всего справедливѣе было бы назвать „декадентскою чернью“ (ибо и „декадентство“ оказалось не избавленнымъ отъ этого класса людей). Эти низы группы, можетъ быть, и исполнены ликованія, но у серьезныхъ дѣятелей „новаго искусства“ нѣтъ иного отношенія къ „побѣдѣ“, какъ то, которое, семь лѣтъ назадъ, было предсказано Вал. Брюсовымъ (въ „Tertia Vigilia“):

Но настанетъ мигъ—я вѣдаю—  
Побѣдятъ мои друзья,  
И надъ жалкой ихъ побѣдою  
Засмѣюся первымъ я.

„Побѣда декадентовъ внѣ сомнѣнія!“ Публика, презрительно бросавшая лучшія книги „декадентскихъ“ поэтовъ, теперь охотно раскупаетъ ихъ новые сборники, гдѣ многіе—увы!—только слабо повторяютъ себя... Настало время тѣмъ изъ нихъ, кто сохранилъ смѣлость взгляда и готовность на новую борьбу,—горько смѣяться!

## II.

Оставляя въ сторонѣ „побѣду“ „декадентовъ“, г. Горнфельдъ останавливается въ своей статьѣ на другомъ явленіи, совершающемся въ „декадентствѣ“ — на его дифференціаціи. „Признакомъ болѣе глубокаго торжества,—пишетъ г. Горнфельдъ,—могъ бы быть принципиальный расколъ, дифференціація внутри школы. Это существенно. Безпочвенные не дифференцируются, единообразны только слабые. Дифференцируется только то, что уже отстояло свое мѣсто въ исторіи“. Этой дифференціаціи г. Горнфельдъ въ средѣ „декадентовъ“ не видитъ. „Дифференціація поэтическихъ школъ, — по



его мнѣнію,—есть дифференціація стилей. Радикальничаютъ ли въ политикѣ декаденты или служатъ реакціи, богословствуютъ они или кощунствуютъ, порнографятъ по сю или по ту сторону истинной поэзіи—это ихъ домашнее дѣло: это не дѣлаетъ разницы литературныхъ школъ. А въ стилѣ разницы нѣтъ.“

Мы опять можемъ согласиться только съ первой половиной утвержденій г. Горнфельда, но совершенно отрицаемъ вторую. Мы тоже думаемъ, что дифференціація внутри литературной школы есть признакъ ея силы, доказательство того, что изъ „партіи“ она стала „міромъ“,—но это явленіе мы въ „декадентствѣ“ видимъ съ несомнѣнностью. Если дифференціація есть „знакъ отличія“, какъ говоритъ г. Горнфельдъ, то этотъ орденъ всенародно приколотъ къ груди „декадентства“. Ибо ни въ какомъ случаѣ разница поэтическихъ школъ не есть разница стилей.

Мы называемъ романтиками Новалиса и Байрона, Виктора Гюго и Генриха Гейне, а можно ли, съ самой крайней натяжкой, сказать, что у этихъ четырехъ одинъ стиль? Что общаго въ стилѣ—у Маллармэ, съ его классически правильнымъ стихомъ и намѣренной темнотой изложенія, и у Верлена, съ его наивно-прозрачными, но, зачистую, плохо-написанными пѣснями? Или у Ѳ. Сологуба, съ его строгой чеканкой образовъ, и А. Блока, съ полной расплывчатостью его выражений? А, между тѣмъ, двухъ первыхъ — французскіе, а двухъ вторыхъ—русскіе критики всегда относили къ одной и той же литературной школѣ, — къ „декадентамъ“! Конечно, подъ „стилемъ“ можно разумѣть не только слогъ, но и всю манеру писать, всѣ приемы творчества; но, какъ ни расширять это понятіе, оно лишь тогда станетъ вѣрнымъ признакомъ для литературныхъ группировокъ, когда совпадетъ съ совершенно другимъ понятіемъ: міросозерцаніе.

Романтики образовывали одну группу не потому, что у нихъ былъ одинъ стиль, а потому, что ихъ настроенія были сходны. „Декадентовъ“ единитъ не стиль, но сходство и сродство міровоззрѣній. То міровоззрѣніе, которое было дорого всѣмъ „декадентамъ“, уже достаточно выяснено: это—крайній индивидуализмъ. Это міросозерцаніе и сблизало людей, казалось бы, столь различныхъ, какъ, напр., (у насъ) З. Гиппіусъ и К. Бальмонта, А. Блока и Валерія Брюсова. Конечно, оно отражалось и на „стилѣ“ (въ нѣкоторыхъ случаяхъ оправдывая, напримѣръ, пресловутую „непонятность“ декадентскихъ произведеній), но, вѣдь, не на стилѣ же преимущественно! И мы вправѣ всѣхъ крайнихъ индивидуалистовъ называть „декадентами“ и, наоборотъ, всѣхъ отрекшихся отъ индивидуализма — не считать „декадентами“, хотя бы они и сохраняли свой старый, „декадентскій“ стиль.

Теперь спрашивается: сохранили ли „декаденты“ свое прежнее

отношеніе къ индивидуализму? Нѣтъ. Именно вопросъ объ индивидуализмѣ и былъ той точкой, съ которой началось расхожденіе между членами прежде „единой“ школы. Такъ, напримѣръ, „неохристиане“, первые отдѣлившіеся отъ прежняго ядра „декадентства“, искали въ Церкви именно преодоленія индивидуализма. И, поскольку міросозерцаніе „крайняго индивидуализма“ дѣйствительно переживаетъ кризисъ, постольку неизбежна дифференціація въ средѣ „декадентовъ“. Внутреннія противорѣчія того міросозерцанія, которое недавно казалось непреложнымъ, вскрыты: настаетъ время новыхъ переоцѣнокъ и, черезъ то самое—раздѣленія, раскола.

„Декадентство“, наперекоръ мнѣнію г. Горнфельда, дѣйствительно дифференцируется, не потому, что отдѣльные его дѣятели вдругъ записали какимъ-то новымъ „стилемъ“, но потому, что вожаки его за достигнутыми высотами завидѣли новыя дали.

### III.

Слѣдуетъ, однако, отличать „дифференціацію“ отъ „отступничества“, отъ „хулиганства“ и отъ „провокаціи“. Въ эпоху дифференціаціи—широкій просторъ открывается для разныхъ шарлатановъ и самозванцевъ, и, къ сожалѣнію, ихъ не мало вынырнуло со дна нашего „декадентства“. Лучшая часть дѣятелей новаго искусства, по словамъ Андрея Бѣлаго (см. „Вѣсы“ 1907, № 6, стр. 66)—„не настаивая на вѣчности индивидуализма, трезво сознаетъ трудность его преодоленія безъ профанаціи завѣтовъ великихъ индивидуалистовъ XIX вѣка“. А въ это самое время изъ низовъ доносится каннибальскій вопль: „Мы преодолѣли, мы уже все преодолѣли!“.

Выходъ изъ „декадентства“ нуженъ, но будетъ ли выходомъ, если кто-нибудь, просунувъ носъ въ дверь, тотчасъ выскочитъ обратно и закричитъ: „Я вышелъ! Я вышелъ!“ Ницше жизнью заплатилъ за свое міросозерцаніе, а современные „преодолватели“ за міросозерцаніе Ницше заплатили рубль съ четвертакомъ въ магазинѣ Суворина и одолѣли всѣ трудности въ одинъ вечеръ. Въ наши дни нерѣдко приходится встрѣчать молодыхъ писателей, которые горды тѣмъ, что они, не декаденты, но только потому, что имъ никогда не было подъ силу понять и осмыслить значеніе „декадентства“. И хочется сказать имъ: „Я самъ отрицаю декадентство, но,—ахъ!—какъ было бы хорошо для васъ, если бы вы были декадентомъ!“

Даже такой серьезный писатель, какъ г. Вяч. Ивановъ, не устоялъ передъ легкомысленнымъ отношеніемъ къ „декадентству“ и, съ легкостью, которая естественна развѣ какому-нибудь Чулкову, ри-

суетъ передъ нами идиллическія картинки будущаго, послѣ „преодоленія индивидуализма“.— „Тогда,—пишетъ онъ,— встрѣтятся нашъ художникъ и нашъ народъ. Страна покроется оркестрами и еиме-лами для народныхъ сборищъ, гдѣ будетъ пѣть хороводъ, гдѣ въ дѣйствѣ трагедіи или комедіи, диеирамба или мистеріи воскреснетъ свободное миеотворчество“ и т. д. Подумаешь, какъ мило и какъ просто! Почтенный авторъ забылъ упомянуть, когда все это можетъ быть: черезъ четыре тысячи лѣтъ или въ будущемъ году?

„Декадентство“ дифференцируется или, вѣрнѣе, умираетъ: четверть вѣка это—предѣльный возрастъ для жизни литературной школы, и „декадентство“ пережило его (считая отъ своего перваго выступленія во Франціи, въ началѣ 80-хъ годовъ). Но „декадентство“ не можетъ уступить своего мѣста ни наивнымъ проповѣдникамъ еимель въ русскихъ губерніяхъ, ни хулиганамъ, присвоившимъ себѣ отвѣтственное имя анархистовъ, ни безпечнымъ юношамъ, считающимъ, что можно и не задумываться надъ тягостными и все равно не разрѣшимыми вопросами. „Декадентство“ ждетъ, чтобы передать свой скипетръ въ міръ искусства, новой, преемственно съ ней связанной группѣ художниковъ, а, если ему суждено будетъ закрыть глаза раньше ея возникновенія, отвѣтитъ, какъ Александръ Великій, на вопросъ, кому оставляетъ царство: „Достойнѣйшему“.

В. Бакулнѣ.

Р. С. Чтобы не быть невѣрно понятымъ, считаю нужнымъ добавить, что я исторію „декадентства“, какъ литературной школы, строго отдѣляю отъ судебъ „символизма“ въ искусствѣ, какъ метода творчества. Символизмъ, свойственный всѣмъ великимъ художникамъ (не исключая даже такихъ натуралистовъ, какъ Золя и Альфонсъ Додэ), только получилъ болѣе широкое примѣненіе въ „декадентской“ школѣ.

В. В.

I.

По примѣру прошлогодняго обзора („Вѣсы“ 1906 г. № 7) мы попытаемся въ настоящей замѣткѣ подвести нѣкоторые итоги нашей текущей исторической литературы. Прежде всего мы остановимся на работахъ, трактующихъ о вопросахъ русской исторіи. И здѣсь съ самаго начала, приходится констатировать печальный фактъ почти полнаго отсутствія появленія какихъ-либо особо цѣнныхъ и солидныхъ трудовъ. Правда, за послѣднее время, развращенный брошюрой, читатель сталъ отвыкать отъ серьезнаго чтенія, но, съ другой стороны—все рѣже и рѣже въ книжныхъ витринахъ виднѣются научныя изслѣдованія, диссертаци и монографіи.

Изъ большихъ общихъ изданій, посвященныхъ русской исторіи, слѣдуетъ отмѣтить коллективный трудъ цѣлаго ряда историковъ—„Исторія Россіи въ XIX в.“ (изд. „Гранатъ“). Пока вышло только три выпуска этого большого и широко задуманнаго изданія, и общее впечатлѣніе отъ нихъ вполне благопріятное. Съ особымъ интересомъ читаются тонко-разработанныя и прекрасно написанныя статьи М. Н. Покровскаго; къ наименѣе удачному принадлежатъ нѣкоторые отдѣлы въ большой главѣ о декабристахъ. Съ внѣшней стороны изданіе исполнено безукоризненно; портреты даны превосходные (хуже подобраны и исполнены портреты во II-мъ выпускѣ).

Середину между популяризацией и спеціальнымъ сочиненіемъ занимаетъ работа г. Рожкова—„Происхожденіе самодержавія въ Россіи“. Изъ предисловія мы узнаемъ, что авторъ старался какъ можно болѣе сократить научный матеріалъ и сдѣлать свое изслѣдованіе доступнымъ для широкой публики. Приходится пожалѣть о такой операціи автора, такъ какъ цѣли своей онъ не добился; книга не удовлетворитъ ученаго и будетъ скучна для не-специалиста. Кромѣ того, въ ней, на ряду съ краткими и схематичными главами, трактующими объ общихъ условіяхъ развитія государственной власти въ Россіи, имѣется рядъ спеціальныхъ и основанныхъ на первоисточникахъ главъ по детальнымъ вопросамъ административной

техники (очевидно, основная часть большого „настоящего“ изслѣдованія). Къ безусловно серьезнымъ пробѣламъ книги надо отнести мало-разработанную и ограничивающуюся лишь повтореніемъ всѣмъ извѣстнаго главу о политической идеологіи XVI вѣка.

Переходя теперь къ отдѣльнымъ статьямъ, печатавшимся въ журналахъ и специальныхъ изданіяхъ, мы должны отмѣтить очень интересный этюдъ проф. Платонова—„Московское правительство при первыхъ Романовыхъ“ (Ж. Мин. Нар. Просв. 1906 г.) Тонкій знатокъ источниковъ эпохи и мастеръ анализа—проф. Платоновъ отвергаетъ существованіе особой ограничительной записи, которой былъ связанъ родоначальникъ новой династіи при вступленіи на престолъ. Тщательно разработанныя детальныя замѣчанія проф. Платонова читаются съ большимъ интересомъ, но они во многомъ не убѣдительны (мнѣніе проф. Платонова встрѣтило уже критику со стороны прив.-доц. Богословскаго, высказавшагося въ „Критическомъ Обзорѣ“, № 1).

Исторіографъ министерства народнаго просвѣщенія г. Рождественскій, напечаталъ въ „Вѣстникѣ Европы“ и „Ж. Мин. Нар. Просв.“ за текущій годъ рядъ любопытныхъ и основанныхъ на архивномъ матеріалѣ статей по исторіи университетовъ александровской и николаевской эпохи.

Какъ и въ прошлогоднемъ обзорѣ, намъ придется теперь указать на особое оживленіе интереса къ изученію исторіи общественныхъ движеній въ Россіи, особенно—къ изученію недалекаго прошлаго. Интересная брошюра казанскаго профессора Өирсова трактуетъ о „Разиновщинѣ, какъ о социологическомъ и психологическомъ явленіи народной жизни“. На ряду съ этимъ слѣдуетъ отмѣтить новое прекрасное изданіе сочиненій оригинальнаго русскаго историка Щапова, котораго особенно интересовали религіозно-соціальныя движенія русскаго народа.

Въ особой замѣткѣ („Вѣсы“ 1907 г. № 1) мы говорили о богатой литературѣ по „декабристамъ“. Къ сказанному можно прибавить указанія на отдѣльное изданіе и съ дополненіями работы Н. П. Павлова-Сильванскаго—„Пестель передъ верховнымъ уголовнымъ судомъ“, на статью его же—„Матеріалисты 20-хъ годовъ“ („Былое“ 1907, іюль) и на начавшійся печатаніемъ (въ журналѣ „Русское Богатство“) рядъ статей В. И. Семевского по исторіи политическихъ идей декабристовъ.

Много цѣннаго матеріала, воспоминаній, документовъ, а также статей по исторіи общественнаго движенія 60—80 годовъ (представлены и событія „вчерашняго дня“) даетъ журналъ „Былое“. Въ этомъ прекрасномъ журналѣ были кое-какіе недостатки: такъ, уже слишкомъ много мѣста удѣлялось довольно однообразнымъ и

однотоннымъ воспоминаніямъ о тюремной жизни. Въ настоящее время журналъ расширяетъ свои предѣлы и отводитъ широкое мѣсто различнымъ вопросамъ прошлаго нашего общественнаго и культурнаго развитія.

Закончился русскимъ легальнымъ изданіемъ большой и незамѣнимый для изслѣдователя сборникъ матеріаловъ подъ редакціей г. Базилевскаго-Богучарскаго—„Государственныя преступленія Россіи въ XIX в.“. Въ качествѣ приложенія къ нему даны не менѣе цѣнныя перепечатки изъ революціонной журналистики 60—70 годовъ.

Интересно составленъ и своевременно вышелъ сборникъ „Галерея шлисельбургскихъ узниковъ“; здѣсь въ рядѣ статей и характеристикъ, написанныхъ специалистами, передъ читателемъ проходитъ „стая славная“ борцовъ недалекаго прошлаго.

Изъ появившихся матеріаловъ по исторіи движенія за послѣднія 25—30 лѣтъ отмѣтимъ важныя, какъ историческій документъ, воспоминанія Аптекмана о „Народной Волѣ“, Лядова — „Исторія россійской соціалъ-демократической рабочей партіи“, „Исторію совѣта рабочихъ депутатовъ“, составленную участниками, любопытную публицистическую хронику кадетскаго лидера Милюкова— „Годъ борьбы“ и, какъ параллель къ ней, книгу соціалъ-демократа Троцкаго—„Наша революція“.

## II.

Переходя къ работамъ, посвященнымъ всеобщей исторіи, мы должны отмѣтить, что въ этой области историками сдѣлано гораздо больше, чѣмъ въ области русской исторіи. Изъ большихъ спеціальныхъ работъ надо прежде всего упомянуть о новой книгѣ А. Н. Савина — „Англійская секуляризація“. Авторъ названной работы уже пользуется извѣстнымъ авторитетомъ, какъ авторъ ученаго изслѣдованія объ англійской деревнѣ эпохи Тюдоровъ. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ сочиненіи постоянно приходится считаться съ громадной эрудиціей автора, съ его широкой начитанностью въ источникахъ, съ его тонкимъ аналитическимъ методомъ и интересными попытками изысканыхъ синтетическихъ построеній. Г. Савинъ—ученикъ „Виноградовской школы“, и всѣ отличительныя черты метода своего учителя онъ перенесъ на свои работы. Потому первые отдѣлы, посвященные детальнѣйшему разбору „*Valor Ecclesiasticus*“, какъ историческаго источника, являются однимъ изъ лучшихъ образцовъ исторической критики источниковъ. Характеризуя монастырское хозяйство наканунѣ секуляризаціи, а затѣмъ и ходъ самой „диссолюціи“, авторъ оперируя надъ сложными и кропотливыми вычисле-

ніями, приходитъ къ важнымъ выводамъ. Съ большимъ интересомъ читаются краткія, къ сожалѣнію, страницы посвященныя общей характеристикѣ абсолютистическихъ стремленій Тюдоровъ.

Изъ „Виноградовской школы“ вышла и другая научная новинка нынѣшняго года—диссертация М. М. Хвостова — „Исторія восточной торговли греко-римскаго Египта“. Настоящая работа является первымъ выпускомъ задуманныхъ авторомъ изслѣдованій по исторіи обмѣна въ эпоху эллинистическихъ монархій и римской имперіи. Можно вполне привѣтствовать выборъ темы и постановку вопроса, такъ какъ до сихъ поръ мало-разработанная социальное-экономическая исторія эллинизма, несомнѣнно, стоитъ на очереди. Въ первомъ томѣ своихъ изслѣдованій авторъ обстоятельно, на основаніи тщательнаго обслѣдованія источниковъ, изучаетъ вопросъ о восточной торговлѣ птоломеевскаго и римскаго Египта (особенно подробно разработана большая вторая глава „Торговля въ бассейнѣ Краснаго моря и Индійскаго океана“). Образцовая въ методологическомъ отношеніи работа г. Хвостова является цѣннымъ научнымъ вкладомъ; въ упрекъ автору можно поставить лишь излишнюю детализацію изложенія, часто даже утомляющую читателя.

Г. Митрофановъ взялъ темой для своего обширнаго научнаго изслѣдованія „Политическую дѣятельность Іосифа II“. Австрійскій императоръ-реформаторъ является, несомнѣнно, самымъ типичнымъ и стильнымъ представителемъ такъ называемаго „просвѣщеннаго абсолютизма“. До сихъ поръ его жизнь и дѣятельность еще мало изучены, и книга русскаго ученаго является чрезвычайно цѣнной и умѣстной. Г. Митрофановъ, работая надъ архивнымъ матеріаломъ, далъ очень обстоятельную работу по поставленной темѣ. Авторъ подробно рисуетъ перипетіи той ожесточенной борьбы, которая возникла между молодымъ монархомъ и сторонниками его идей съ цѣлой кликой враговъ.

Паденію абсолютизма въ Западной Европѣ посвящены яркіе, публицистически написанные очерки г. Тарле (печатались сначала въ журналѣ „Міръ Божій“; отдѣльное изданіе въ серіи „Свободное Знаніе“). Авторъ задался цѣлью представить, на основаніи сравнительно-историческихъ данныхъ, общую картину различныхъ процессовъ паденія абсолютизма; но оперируетъ, главнымъ образомъ, авторъ на фактическомъ матеріалѣ, почерпнутомъ изъ исторіи Франціи.

Въ прошлогоднемъ обзорѣ мы упоминали о первомъ томѣ большого труда проф. М. М. Ковалевскаго подъ громоздкимъ названіемъ: „Отъ прямого народоправства къ представительному и отъ патріархальной монархіи къ парламентаризму“. За первымъ томомъ послѣдовали второй и третій (въ скоромъ времени ожидается и четвертый); и, такимъ образомъ, русскій читатель получитъ интересный общій

трудъ по исторіи политическихъ ученій („Исторія политическихъ ученій“ Чичерина лишена совершенно исторической перспективы, да и значительно устарѣла). Во второмъ томѣ авторъ подробно останавливается на политическихъ теоріяхъ монархомаховъ (которыхъ онъ почему-то переводитъ „монархо-дѣлатели“), но центральное мѣсто отводитъ подробно разработаннымъ и чрезвычайно цѣннымъ этюдамъ по исторіи политическихъ и релігіозныхъ идей англійской революціи. Третій томъ названнаго труда посвященъ Монтескье и Руссо (впрочемъ, Руссо разобранъ не весь; ему еще будетъ удѣлено мѣсто въ четвертомъ томѣ).

Проф. Карѣвъ выпустилъ курсъ лекцій, читанныхъ въ Петербургскомъ Политехникумѣ, — „Помѣстье-государство и сословная монархія среднихъ вѣковъ“. Настоящій курсъ стоитъ въ преемственной связи съ предшествующими курсами о государствахъ - городѣ античнаго міра и монархіяхъ древняго міра. Настоящая книга, составленная съ обычнымъ умѣньемъ автора, знакомящая насъ по новѣйшимъ работамъ съ основными явленіями средневѣкового общественнаго строя, является чрезвычайно полезной и заслуживаетъ распространенія.

Нѣсколько смѣшанное впечатлѣніе производитъ большая работа г. Кулишера — „Эволюція прибыли съ капитала въ связи съ развитіемъ промышленности и торговли въ Западной Европѣ“, томъ I-ый. Въ этой работѣ авторъ даетъ довольно подробный очеркъ исторіи торговли съ первобытныхъ временъ до XVIII вѣка и, какъ общая компиляція, очеркъ составленъ недурно. Но г. Кулишеръ совершенно лишенъ оригинальнаго творчества, да и не всегда удачно справляется съ имѣющимися пособіями. Очеркъ о торговлѣ въ древнемъ мірѣ (причемъ авторъ защищаетъ теорію Бюхера) составленъ крайне слабо. Въ главахъ, посвященныхъ средневѣковой торговлѣ и довольно полно представленныхъ, авторъ, наряду съ новѣйшими сочиненіями, пользуется устарѣлымъ и всецѣло зависитъ отъ источниковъ своего „вдохновенія“. Болѣе благоприятное впечатлѣніе производитъ отдѣлъ о промышленности въ XVI и XVII в. Работу г. Кулишера отнюдь нельзя назвать изслѣдованіемъ, но, какъ добросовѣстная компиляція, какъ богатое собраніе фактическаго матеріала, она можетъ оказаться небезполезной.

Въ серіи Брокгаузъ-Ефрона „Исторія Европы по эпохамъ и странамъ“ (подъ ред. Карѣва и Лучицкаго) вышла книга Аванасьева — „Исторія Ирландіи“. До сихъ поръ на русскомъ языкѣ, кромѣ диссертациі проф. Мануилова и статей г. Тарле, не было работъ по исторіи Ирландіи. Довольно популярно написанный, составленный по новѣйшимъ работамъ, общій очеркъ г. Аванасьева можетъ заполнить существующій пробѣлъ и служить для первоначальнаго знакомства.



Изъ книгъ по „культурной“ исторіи укажемъ на книгу Сперанскаго—„Вѣдьмы и вѣдовство“ (напечатано ранѣе въ видѣ статей въ журналѣ „Научное Слово“). Эта книга, составленная по нѣсколькимъ нѣмецкимъ и французскимъ работамъ, представляетъ нѣкоторый интересъ для русскаго читателя, мало знакомаго съ средневѣковой демонологіей и съ вѣдовскими процессами XVI вѣка.

Извѣстный знатокъ античной культуры проф. Зѣлинскій выпустилъ третій томъ своихъ высоко-интересныхъ этюдовъ „Изъ жизни идей“. Въ этомъ томѣ, озаглавленномъ „Соперники христіанства“, особое вниманіе обращаетъ любопытная и оригинальная работа о Гермесѣ Трисмегистѣ.

Изъ отдѣльныхъ статей слѣдуетъ отмѣтить изящный этюдъ проф. Гревса о средневѣковомъ міросозерцаніи (приложенъ въ качествѣ вступленія къ русскому переводу книги Эйкена — „Исторія и система средневѣковаго міросозерцанія“), интересную статью Д. Н. Егорова—„Идея турецкой реформаціи въ XVI вѣкѣ“ („Русск. Мысль“, 1907 г.), лекцію проф. Виппера—„Съ востока свѣтъ!“, статьи г. Квачала о Кампанеллѣ („Ж. М. Н. Пр.“). Изъ изданій источниковъ особенно цѣннымъ является превосходное, научное, исполненное подъ общей редакціей проф. Виноградова изданіе „Lex Salica“; вся работа и весь научный аппаратъ исполнены специалистомъ—Д. Н. Егоровымъ.

Изъ трудовъ, посвященныхъ археологіи, надо указать на роскошное изданіе Константинопольскаго Археологическаго Института — „Раскопки въ Болгаріи“ (близъ Абоны). Раскопки эти, ведшіяся подъ непосредственнымъ руководствомъ академика Успенскаго, даютъ много новаго матеріала и съ несомнѣнностью устанавливаютъ тюркское происхожденіе болгаръ. Одесскій проф. фонъ-Штернъ выпустилъ чрезвычайно любопытную работу—„Доисторическая греческая культура на югѣ Россіи“; въ этой работѣ намѣченъ цѣлый рядъ важныхъ и сложныхъ вопросовъ, связанныхъ со столь интересующей теперь всѣхъ археологовъ „микенской“ культурой. Въ „Журн. Мин. Нар. Просв.“ печатались интересныя статьи недавно умершаго проф. Модестова—статьи, долженствующія составить третій томъ „Введеніе въ римскую исторію“. Очень важные вопросы въ области археологическаго изученія нашего Черноморскаго побережья намѣчаетъ проф. Ростовцевъ въ статьѣ „Керченская декоративная живопись и ближайшія задачи археологическаго изслѣдованія Керчи“ („Журн. Мин. Нар. Пр.“ 1906 г.).

И. Бородинъ.

## БИБЛЮГРАФІЯ.

**А. Купринъ.** Разсказы. Томъ I, изд. 3-е.—Томъ III, изд. 2-е. К-во „Міръ Божій“. Спб. 1907. Ц. по 1 р.

„Художнику нуженъ успѣхъ“  
Евг. Анничковъ о Купринѣ.  
(„Вѣсы“ 1907 г. № 1).

Г. Купринъ не можетъ пожаловаться на недостатокъ успѣха у публики. Если художнику нуженъ только успѣхъ, онъ долженъ считать себя удовлетвореннымъ. Недавно появившійся III томъ его разсказовъ уже отпечатанъ вторымъ изданіемъ. Первый томъ уже выдерживаетъ третье.

Мы ничего удивительнаго въ такомъ успѣхѣ писателя, рекомендованнаго „Знаніемъ“, не видимъ, особенно принимая въ соображеніе, что Г. Купринъ является и авторомъ повѣсти „Поединокъ“—тенденціознѣйшей вещи, какую когда-либо дала партійная беллетристика или художественная публицистика.

Однако, кромѣ „Пединка“ и еще нѣсколькихъ разсказовъ („Обида“, „Убийца“), которые безапелляціонно должны быть отнесены къ разряду газетныхъ фельетоновъ и политическихъ памфлетовъ, у Г. Куприна имѣется достаточное количество произведеній, не безъ основанія претендующихъ на названіе художественныхъ. Въ нихъ авторъ обнаруживаетъ умѣніе нарисовать картину, связать рядъ картинъ въ одно единодушное цѣлое. И это цѣлое не является тогда лишь оконченѣлымъ трупомъ, которому авторъ стремится дать иллюзію жизни, подъ вліяніемъ гальваническаго тока. Эти образы вѣрнѣе одухотворены дыханіемъ жизни; сквозь нихъ вѣрнѣе оболочку просвѣчиваетъ съ достаточной яркостью то, что является единымъ содержаніемъ всякаго художественнаго произведенія—творческая личность постигшаго ихъ сущность, смелшаго ихъ многообразность къ единству. У нихъ есть свое истинно-художественное содержаніе.

Но тутъ мнѣ приходится сдѣлать рѣзкую, почти уничтожающую оговорку.

Пушкинъ написалъ „Памятникъ“, въ которомъ заимствовалъ у

латинскаго поэта не только всю форму, не только все внѣшнее, начиная съ фабулы, аллегоріи, образовъ и движенія стиха, но даже и самый стиль, то неопредѣлимое, что наиболѣе характеризуетъ личность поэта въ его сознаніи,—и, тѣмъ не менѣе, кто же усомнится сказать, что этотъ „Памятникъ“—все же пушкинскій „Памятникъ“, что въ гораціевы формы онъ влилъ содержаніе своего собственнаго „я“? Въ разсказахъ г. Куприна мы видимъ явленіе, прямо противоположное этому. Г. Купринъ, не заимствуя у своихъ предшественниковъ формы, почти всегда пользуется чѣмъ-либо готовымъ содержаніемъ, этимъ основнымъ „что“ всякаго художественнаго произведенія. Творческая личность, постигающая сущность вещей, сводящая ихъ многообразіе къ единству—у него въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ чужая. Ни подъ однимъ изъ его разсказовъ не хочется видѣть его подписи. Въ Купринѣ, прежде поэта, живетъ актеръ, исполняющій ту или иную симпатичную ему роль. Хорошо или дурно, однако, по своему онъ играетъ Чехова и Горькаго, Андреева или Тургенева.

Было бы несправедливо назвать это просто подражаніемъ. Подражатель прежде всего поддѣлывается подъ чужую личность въ формѣ. Г. Купринъ перенимаетъ въ чужомъ произведеніи то, что составляетъ основной моментъ цѣлаго, центръ общаго впечатлѣнія. Есть въ каждомъ художественномъ произведеніи этотъ „моментъ“, въ которомъ—тайна соприкосновенія души творческой съ душой пріемлющей. Онъ—внѣ каждаго изъ тѣхъ слагаемыхъ, которыя образуютъ произведеніе, и вмѣстѣ съ тѣмъ какой-то звуочной нотой, яркимъ лучомъ пронизываетъ ихъ всѣ, поражая духовное зрѣніе читателя, дая откровенія вещей то здѣсь, то тамъ. У Бальмонта есть вещи, въ которыхъ малѣйшій изломъ стиха, сочетаніе двухъ-трехъ согласныхъ и гласныхъ, освѣщаютъ вдругъ пронзительнымъ лучомъ таинственный мракъ вѣчнаго, лучомъ, передъ которымъ прочее,—и самый стихъ, и образъ, и все—только аксессуаръ, только случайное. Все остальное можетъ видоизмѣняться, какъ коэффициенты алгебраическаго выраженія, но все исчезнетъ, съ уничтоженіемъ этого центральнаго  $x$ . Вспомнимъ у Чехова свѣтящійся осколокъ стекла, создающій всю картину ночи. Пусть будетъ описано все, что вокругъ него, но онъ и ничто иное создаетъ картину.

Г. Купринъ измѣняетъ всѣ коэффициенты при этомъ иксѣ, заимствованномъ у другого. Измѣняетъ ихъ вѣрно, удачно. Знакъ равенства въ уравненіи всегда остается на своемъ мѣстѣ. Но на своемъ мѣстѣ остается у него и этотъ таинственный  $x$  съ тѣмъ же, ему присущимъ, значеніемъ. Всѣ коэффициенты измѣнены у него въ разсказѣ „На покой“ въ сравненіи съ „Призраками“ Л. Андреева,—а таинственный неизвѣстный остается тотъ-же—андреевскій. Точно сыгралъ роль Л. Андреева въ самостоятельно написанной для этого

пьесъ. „Собачье счастье“ — такая же пьеса, чтобы сыграть роль М. Горькаго. „Походъ“ — весьма удачная вещь: въ ней есть все, что нужно, ничего лишняго, все художественно вѣрно, но... все то, для чего должна существовать эта вещь, находимъ (и находимъ ярче) — въ „Поцѣлу“ А. Чехова.

У Куприна нѣтъ личности, но у него есть форма, богатая, красивая форма. Это — модусъ творчества безъ творческой субстанции. Купринъ — обрабатывающая сила, лишенная матеріала для обработки. Подсудимый сознаетъ въ душѣ своей неизбѣжно существующую правду своего преступленія лучше, чѣмъ самый проникновенный защитникъ. Но всегда ли въ силахъ проявить онъ ее въ формѣ, ясной для всѣхъ? Ему нуженъ такой проявитель его несповѣдимой правды.

Но нуженъ ли такой истолкователь Горькому и Чехову, Тургеневу и Андрееву?

А. Курсинскій.

С. М. Степнякъ-Кравчинскій. Собраніе сочиненій. Ч. I—III. Библиотека „Свѣточа“. Спб. 1907. Цѣна по 1 руб.

Степнякъ извѣстенъ въ литературѣ, прежде всего, своимъ романомъ „Андрей Кожуховъ“, гдѣ ярко сказалась фizioномія Степняка, какъ человѣка, одареннаго желѣзной волей, фанатическимъ героизмомъ, и какъ писателя, лишеннаго всякаго стиля, оригинальных пріемовъ творчества и создающаго образы и картины не черезъ созерцаніе и воображеніе, а исключительно черезъ воспоминанія собственныхъ жизненныхъ переживаній.

Выдающійся интересъ, представляемый такой могучей, цѣльной и рыцарски-благородной личностью, каковой являлся Степнякъ, создавшій себѣ славу, какъ мученикъ за идею, какъ личность, стоящая на границѣ нравственной геніальности, не можетъ не отражаться и на его произведеніяхъ, въ которыхъ за слабой художественной формой просвѣчиваетъ живая, необыкновенная личность, переживающая то, что недоступно психологій „средняго человѣка“, и потому волнующая насъ, какъ рѣдкій человѣческій документъ, какъ записка лица, поставленнаго жизнью въ исключительно-захватывающія условія, какъ мемуары современника „роковыхъ минутъ“ міровой исторіи. Этотъ интересъ усиливается еще и тѣмъ, что для насъ, стоящихъ передъ чертой, за которой уже начинается періодъ реального воплощенія социалистическихъ идеаловъ, какъ строго-политической программы, міросозерцаніе Степняка является какъ бы исповѣданіемъ человѣка другой эпохи, именно — трагической эпохи „политическаго романтизма“, уже безвозвратно далекой отъ насъ. Характерной чертой послѣдней являлось соеди-

неніе идеи моральнаго, личнаго совершенствованія съ практикой политической борьбы, сліяніе конечныхъ идей-цѣлей развитія индивидуума съ требованіемъ ихъ воплощенія въ формахъ совершеннаго общежитія. Эта доктрина—одна изъ самыхъ наивныхъ и оптимистическихъ попытокъ воплотить символъ; въ устахъ дѣятелей 70 и 80 гг. политическіе термины безсознательно претворялись въ идеи-символы, напр., „народъ“, „община“... Ихъ специфическій словарь—смѣшеніе политико-юридическихъ терминовъ съ интимно-звучащими условными терминами, полными эзотерическаго значенія, родственными терминологіи вѣроисповѣдныхъ катехизисовъ и религіозныхъ сектъ.\*

Это смѣшеніе отражало сущность ихъ доктрины: подчиненіе идеи жизни. Въ ихъ ученіи идея равенства, идея свободы въ конечномъ счетѣ—лишь средство общаго счастья. Отсюда всепроникающій утилитаризмъ и скрытый гедонизмъ народнической философіи; отсюда же неизбежный роковой конфликтъ идейнаго служенія немногихъ, какъ средства, съ утилитарно-матеріальнымъ благополучіемъ всѣхъ, какъ цѣли. Отсюда—преувеличеніе этического содержанія „средняго человѣка“ и безграничная вѣра въ самопроизвольный прогрессъ всѣхъ; отсюда же политическая бездарность и трагическая гибель доктрины.

Для насъ, представителей символизма, какъ стройнаго міросозерцанія, нѣтъ ничего, болѣе чуждаго, какъ подчиненіе идеи—жизни, внутренняго пути индивидуума—внѣшнему усовершенствованію формъ общежитія. Для насъ, чуждыхъ всякаго оптимизма, гордящихся пессимистическими завѣтами А. Шопенгауэра и впитавшихъ горечь трагической культуры нищewanства,—не можетъ быть и рѣчи о примиреніи пути отдѣльнаго героическаго индивидуума съ инстинктивными движеніями массъ, всегда подчиненными (по строгимъ законамъ, открытіе которыхъ—главная заслуга всей современной социологіи) узко-эгоистическимъ и матеріальнымъ мотивамъ; для насъ, одинаково страшасьихъ какъ романтизма въ жизни, такъ и реализма въ искусствѣ, пережившихъ политически-бесплодную гибель этически-лучшихъ людей, которые пытались внести въ сферу политики отвлеченный идеалъ, и переживающихъ огромные политическіе успѣхи современной матеріалистически-мыслящей социаль-демократіи, не можетъ быть рѣчи о социальномъ значеніи искусства, какъ бы не потрясало насъ то или иное отдѣльное произведеніе; мы уже не способны переступать строго-очерченныя границы художествен-

\* Лучшимъ воплощеніемъ этой доктрины является извѣстный „Катехизисъ революціонера“, приписываемый Бакунину.

наго созерцанія, единственная цѣль котораго познаніе внутренняго содержанія во внѣшнемъ мірѣ.

Для насъ всего болѣе святъ одинъ неизмѣнный законъ, носящій абсолютный характеръ: объектомъ искусства можетъ быть одинаково все,—какъ доброе, такъ и злое, какъ красивое, такъ и безобразное, какъ великое, такъ и ничтожное; но конечная цѣль искусства и его высшій критерій—лежатъ за предѣлами нашего міра и его высшая санкція—вѣчность. Не къ воплощенію символа идемъ мы, а къ превращенію всѣхъ вещей въ символы. Поэтому на вопросъ, имѣютъ ли художественную цѣнность произведенія Ступняка, мы отвѣчаемъ категорически: „нѣтъ, не имѣютъ!“, признавая за нимъ этическое и общественное значенія весьма больше...

Прокламація, спиритическій сеансъ, ужасное жизненное происшествіе, молитва—все это можетъ захватывать и потрясать насъ, но только поэтому не дѣлается фактомъ, имѣющимъ художественное значеніе.

Э л л и с ъ .

**Петръ Пильскій.** Р а з с к а з ы. Изд. „Прометей“. Спб. 1907 г. Ц. 1 р.

Книга Петра Пильскаго—для него уже прошлое. Разсказы были написаны между 1902—1904 гг., и теперь только вышли отдѣльнымъ изданіемъ. Но это прошлое—случайная полоса жизни, когда Петръ Пильскій почувствовалъ себя „немного беллетристомъ“ (см. предисловіе),—такъ мало интересно въ литературномъ отношеніи, что къ нему нельзя бы было возвращаться при малѣйшей внутренней самокритикѣ. Ею, къ сожалѣнію, авторъ не обладаетъ, и вотъ передъ нами двѣнадцать разсказовъ. О возникновеніи ихъ въ предисловіи говорится, что они были написаны „въ эпоху исканія смысла жизни и смысла смерти“. Этими словами Петръ Пильскій какъ бы опредѣляетъ ихъ философскую основу, и потому, приступая къ разбору книги, прежде всего хочется говорить объ ея идейномъ содержаніи.

Къ вѣчнымъ вопросамъ бытія приближается Петръ Пильскій слегка, словно танцуя. Не взвѣсивая старыхъ понятій и постоянно, употребляя давно сказанныя слова только въ звуковомъ ихъ значеніи, безъ всякаго индивидуальнаго углубленія, онъ, конечно, и не можетъ освѣтить ихъ изнутри. А потому и самое разрѣшеніе поставленныхъ вопросовъ приобретаетъ наивный и поверхностный смыслъ. Въ книгѣ четыре смерти—три самоубійства и одно убійство. Очевидно, именно въ этихъ разсказахъ онъ пытается какъ-то разрѣшить для себя проблему смерти.—Вотъ вѣшается псаломщикъ („Что будетъ впереди“). Въ городѣ застрѣлился отъ любви къ проезжей піанисткѣ сынъ купца. Псаломщикъ,—этотъ автоматически движущійся манекенъ,—исчезаетъ изъ церкви прямо послѣ похоронъ и вѣ-

шается на могилѣ купца. Во всей конструкціи разсказа нѣтъ никакого намека на трагическій конецъ. Псаломщикъ жилъ мирно, иногда выпивалъ съ пріятелями—и вдругъ повѣсилъ. „Какая удивительная исторія,“— скажетъ читатель и въ недоумѣніи покачаетъ головой. Гдѣ же и въ чемъ здѣсь психологическая глубина? И, думается,—тенденція не удалась, а была она, вѣроятно, такова: вотъ иногда, посреди плавнаго и безмятежнаго теченія жизни, человѣкомъ овладѣваетъ чувство бурнаго протеста противъ непонятной закономѣрности явленій и собственной ограниченности въ этомъ замкнутомъ кругѣ. И, чтобы встать лицомъ къ лицу съ послѣдней разрѣшающей правдой, онъ приносить кровавую жертву невѣдомому Богу. Но вѣдь это придуманное истолкованіе, почти гаданіе по малымъ даннымъ! А псаломщикъ такъ и остается нѣмымъ манекеномъ. И смерть его, ничего не объясняя и ничего не углубляя, кажется элементарной авторской выдумкой для благополучнаго исхода разсказа. —Застрѣливается фабричный техникъ Дурновъ. „Все страстиѣ хотѣлъ онъ осмыслить то случайное, угрюмое, неясное, въ чемъ живетъ онъ, что называется міромъ и судьбой, отчего такъ жутко ему и такъ страшно“. Но Дурновъ,—полуидіотъ, у него замедлены психическіе процессы и осмыслить онъ ничего не умѣетъ. Этотъ разсказъ при талантливой и тонкой обработкѣ могъ бы быть болѣе интереснымъ, но къ нему наскоро и грубо придѣланъ совершенно нелѣпый конецъ: Дурновъ дѣлаетъ предложеніе полу-знакомой актрисѣ и, получивъ отказъ, застрѣливается.—Умираетъ еще нѣкій Нарѣзовъ. Онъ имѣлъ плохой заработокъ и все читалъ Библію. Застрѣвился онъ на урокъ. Въ карманѣ его жилета нашли записку или, лучше сказать выписку изъ книги Іисуса, сына Сирахова: „О, смерть, отраденъ твой приговоръ для человѣка, нуждающагося и изнемогающаго въ силахъ“. Вотъ такъ, жонглируя цитатами изъ Библии и повторяя слово „смерть“ во всѣхъ падежахъ, излагаетъ Петръ Пильскій свое недоношенное трагическое міросозерцаніе.

Что касается „смысла жизни“, то пониманіе его авторомъ такъ и остается для насъ темнымъ. Да и о жизни ли эти разсказы? эти маленькія, довольно точныя фотографіи уѣздныхъ дамъ, провинціальныхъ репортеровъ, офицеровъ, заброшенныхъ въ глушь? Обо всемъ этомъ однажды уже разсказывалъ Чеховъ. Онъ довелъ до конца изображеніе души средняго русскаго человѣка, который въ переходный моментъ общественной жизни сталъ жестоко томиться своими хроническими недугами. Онъ углубилъ до символа давно знакомые образы,—и его творчество стало окончательнымъ словомъ въ искусствѣ такого рода. А безъ символическаго воспріятія жизни разсказы, въ которыхъ реализмъ—не средство, а единственная цѣль,—прямого касанія къ искусству не имѣютъ.

Художественной формой Петръ Пильскій не владѣетъ вовсе. Его образы и его эпитеты—банальны; выборъ ихъ безвкусенъ и неряшливъ. Неумѣніе избѣгать однозвучныхъ словъ и выраженій на тѣсномъ пространствѣ составляютъ постоянную особенность стиля г. Пильскаго. Мѣстоимствія „что“, „который“, „какой-то“, „чей-то“,—такъ и пестрятъ въ длинныхъ періодахъ, занимающихъ иногда по полъ-страницы. Хочется сказать автору: да не угодно ли, наконецъ, опредѣлить—куда же именно? какъ? и чье? Потому что вся суть художественнаго изображенія въ предѣльной четкости того образа, который кажется необходимымъ воплотить.

„То обстоятельство, что я уже три года какъ не тянусь къ разсказу, мнѣ доказало, что художникъ во мнѣ умеръ“,—такъ говоритъ о себѣ въ предисловіи Петръ Пильскій. Но это—заблужденіе. Художникъ не умиралъ. Онъ просто никогда не жилъ въ душѣ Петра Пильскаго. И лучше было бы оставить тлѣть въ безсвѣтныхъ могилахъ старыхъ газетныхъ листовъ эти плоды внезапнаго, но недоарѣлаго вдохновенія, чѣмъ воскрешать ихъ для второй смерти.

Нина Петровская.

Полное собраніе сочиненій Александра Николаевича Радищева. Подъ редакціей С. Н. Тройницкаго. Т. I. Спб. 1907. Ц. 2 р.

По словамъ г. Тройницкаго, главною (и даже исключительно \*) цѣлью своей редакторской работы онъ считалъ—„дать возможно болѣе полный и тщательно провѣренный текстъ“ сочиненій Радищева. „Тщательная провѣрка“ свелась на буквальное воспроизведеніе оригиналовъ, со всѣми особенностями стариннаго правописанія, опечатками и даже искаженіями текста, которое, будто бы, можетъ замѣнить *editiones principes*.

Самая идея подобныхъ изданій кажется намъ сплошнымъ недоразумѣніемъ. Для специалистовъ, очень немногочисленныхъ, они не нужны потому, что никогда не замѣнятъ подлинниковъ; имъ могли бы пригодиться только фототипическія воспроизведенія. При самой тщательной корректурѣ всегда будутъ опечатки и отступленія отъ оригинала. Большую публику, которую и безъ того затрудняетъ старый языкъ и устарѣлые приемы разсказа, такіа буквальныя перепечатки совсѣмъ отпугнутъ отъ чтенія. \*\*

\* О другихъ своихъ цѣляхъ, онъ по крайней мѣрѣ, не упоминаетъ въ предисловіи.

\*\* Намъ извѣстно, что нѣсколько разъ возникала мысль напечатать „Путешествіе“ въ переводѣ на современный русскій языкъ.



Въ 1905 г., когда былъ снятъ цензурный запретъ съ „Путешествія“ Радищева, вышло двѣ, якобы, буквальныхъ перепечатки этой опальной книги—г. Суворина и подъ редакціей гг. Павлова-Сильванскаго и Щеголева. Несмотря на всѣ добрыя желанія редакторовъ, оба они допустили много отступленій отъ подлинника (во второй, напр., вообще отличающейся большою небрежностью, на стр. 1: богатства—вм. богатство, на стр. 3: воображеніи вм. во ображеніи, стр. 5: пропасть—вм. проспять, стр. 238: преткновенія вм. претковенія и т. д.). У г. Тройницкаго такихъ отступленій еще больше: на стр. 3, при бѣгломъ сличеніи, мы нашли ихъ 13 (неопытности вм. неопытностію, претили вм. прѣтили, составляющимъ вм. составляющемъ и пр.), на стр. 4—26 (отверсти вм. отверзати, истины вм. истинны, крѣпостью вм. крѣпостію, обучилися вм. обучалися, просьбою вм. прозьбою и пр.). Даже такую крохотную статью, какъ „Письмо къ другу“, г. Тройницкій не сумѣлъ прокорректировать мало-мальски внимательно: на стр. 51 мы замѣтили 12 отступленій (1782 вм. 1782-го, работа вм. работы, лубезной вм. любезной, радости вм. радости, и вм. а и пр.), на стр. 52—тоже 12 (передъ „дѣмъ“ пропущено и, тебя вм. тѣбя и пр.), на стр. 53—7 (нашолъ вм. нашелъ, отцомъ вм. отцемъ и пр.), на стр. 54—4 (упустилъ вм. успутилъ, другія вм. другіе и пр.). Меньше ошибокъ въ „Путешествіи“, но ихъ все-таки больше, чѣмъ въ Суворинскомъ изданіи, съ котораго, повидимому, перепечатывалъ г. Тройницкій.

Такимъ образомъ всѣ три попытки буквальныхъ перепечатокъ главнѣйшихъ сочиненій Радищева оказались неудачными (относительно лучше другихъ—Суворинское изданіе). Этого можно было ожидать заранѣе, потому что редакторы взяли на себя безнадежную, слишкомъ кропотливую и, въ сущности дѣла, бесполезную задачу.

Время, затраченное на воспроизведеніе опечатокъ, лучше было бы употребить на выправку испорченнаго мѣстами текста и на объяснительныя примѣчанія. Для этого г. Тройницкій рѣшительно ничего не сдѣлалъ. Онъ не даетъ ни біографіи Радищева, ни бібліографическихъ примѣчаній. Произведенія расположены въ порядкѣ не ихъ созданія, а появленія въ свѣтъ; но и этотъ принципъ нарушенъ тѣмъ, что примѣчанія къ переводу „Размышлений“ Мабли отнесены почему-то къ III тому. Перепечатывая переводы сочиненій Ушакова, г. Тройницкій безъ всякихъ оговорокъ исключаетъ переводъ Мабли. Также безъ оговорокъ (кромѣ глухой ссылки на принадлежность „Собранію Великаго Князя Николая Михайловича“) при первомъ томѣ помѣщенъ фантастическій портретъ Радищева, совершенно непохожій на всѣ извѣстные его портреты.

Газетные доброхоты, усердно рекламировавшіе это изданіе до выхода его въ свѣтъ и сейчасъ же по отпечатаніи, настойчиво под-

черкивали, что въ редактированіи его „принималъ ближайшее участіе П. А. Ефремовъ“. Въ книгѣ никакихъ указаній на это участіе нѣтъ, да ему и трудно повѣрить въ виду общаго характера изданія.

В. Каллашъ.

Письма темныхъ людей. Переводъ Н. А. Куна, подъ ред. Д. Н. Егорова. Изданіе Высшихъ Женскихъ Курсовъ. (Источники по исторіи Реформаціи. Вып. 2). Ц. 1 р. 50 к. Москва 1907 г.

Въ ряду источниковъ по исторіи реформаціоннаго времени „Письма темныхъ людей“ занимаютъ видное мѣсто, и редакція спеціального изданія поступила вполне правильно, отвѣдая весь второй выпускъ переводу этого интереснѣйшаго памятника. Великое и бурное время—время крупнаго общественнаго переворота и большого идейнаго движенія нашло себѣ яркое отраженіе въ „Epistolae obscurorum virorum“. Злая и остроумная пародія на „старозавѣтное“, это—въ то-же время гимнъ „новому“, боевой кличъ „новыхъ людей“... „Письма темныхъ людей“—необыкновенно цѣльный и стильный документъ своей эпохи, наиболѣе яркое выраженіе „духа времени“. Для каждаго, интересующагося исторіей нѣмецкаго гуманизма, обязательно знакомство съ этимъ памятникомъ. До сихъ поръ это сильно затруднялось языкомъ подлинника; теперь переводъ (насколько вообще переводъ можетъ замѣнить подлинникъ) значительно облегчить ознакомленіе. Лежащій передъ нами переводъ, исполненный г. Куномъ, можно признать вполне удовлетворительнымъ и добросовѣстнымъ. Задача, выпавшая на долю переводчика, была очень велика и тяжела (даже въ нѣмецкой литературѣ существуетъ лишь одинъ переводъ „Писемъ темныхъ людей“); почти невозможно передать все своеобразие, весь колоритъ памятника, выдержать его особый стиль... Многое, очень существенное и важное, совсѣмъ пропадаетъ въ переводѣ; стройныя и остроумныя литературныя комбинаціи ученыхъ гуманистовъ тускнѣютъ и блекнутъ въ передачѣ на другой языкъ. Но въ предѣлахъ возможнаго русскій переводчикъ сдѣлалъ свое дѣло — и переводъ вполне пригоденъ и для научно-учебныхъ цѣлей и для общаго чтенія. Отмѣтимъ, однако, серьезный недостатокъ — неудачную попытку перевода встречающихся въ письмахъ латинскихъ стиховъ рифмованными стихами. При этомъ пропадаетъ вся оригинальность „варварской латыни“, и, кромѣ того, переводчикъ принужденъ слишкомъ часто уклоняться отъ подлинника (Напр., „Sunt Maquutiae in publica Corona, In qua nuper dormivi in propria persona“ переводится; „Въ градѣ Майнцѣ тамъ (?) въ гостинницѣ „Короны“ Я поселился (?) въ собственной своей (?) персонѣ (?). Или: „Universitas luget suum membrum. Tanquam unam lucernam vel candelabrum Quod logne lateque luxit

*Per doctrinam quae ab eo fluxit*“ передается: „То плачетъ весь университетъ. О членѣ, разливавшемъ всюду свѣтъ. Ученьемъ какъ фонарь или факель онъ свѣтилъ. И свѣтъ онъ всюду и вездѣ разлилъ“. Или еще: „*Sic faciat filius Dei Christus, qui sit vobis clemens et propitius*“ переведено „Такъ было (?) съ Божьимъ Сыномъ Христомъ, да будетъ Онъ милостивъ съ вами (къ вамъ?) во всемъ (?)“ и мн. др. Переводчикъ поступилъ бы гораздо правильнѣе, если-бы „варварскую латынь“ перевелъ прозой и не прибѣгалъ-бы къ „варварской“ речѣ.

Къ пробѣламъ изданія надо также отнести отсутствіе обстоятельнаго вступительнаго этюда и мало удачныя примѣчанія. Общее введеніе редактора изданія г. Егорова написано изящно, но очень кратко; замѣтка же г. Куна подъ длиннымъ заглавіемъ „Споръ о еврейскихъ книгахъ, процессъ Рейхлина съ Кельнцами и Письма темныхъ людей“ составлена крайне блѣдно и безцвѣтно. Встрѣчаются въ текстѣ также досадныя опечатки.

И. Бородинъ.

**Оскаръ Уайльдъ.** Флорентинская трагедія. Единственный авторизованный переводъ, съ рукописи, М. Ликиардопуло и А. Курсинскаго. К-во „Скорпионъ“. Обложка по флорентинскому образцу XVIII в. М. 1907. Ц. 80 к.

Въ № 1 „Вѣсовъ“ этого года былъ помѣщенъ переводъ той части этой трагедіи, которая дошла до насъ въ подлинной рукописи О. Уайльда. Въ отдѣльномъ изданіи данъ переводъ и другой части (начала), заново написанной, по памяти, г. Стердъжъ-Муромъ. Въ изданіи помѣщены три портрета О. Уайльда: работы Альфреда Стерна, Дж. Гекстера и Тулуза-Лотрека.



## ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦІЮ.

I. \*

М. Г.

Позвольте мнѣ заявить, что въ письмѣ Доброжелателя, — („Вѣсы“ № 8), очень, на мой взглядъ, умномъ и вѣрномъ, — есть досадная неточность. Г. Доброжелатель говоритъ, что я не вѣрно цитирую Пушкина. У Пушкина сказано: „я любовниковъ счастливыхъ узнаю по ихъ глазамъ“, а я, будто-бы, написалъ „юношей влюбленныхъ“... и т. д. Хотя я вполне соглашаюсь съ г. Доброжелателемъ, что подобныя „ошибки“ ничего не доказываютъ, что обличать ихъ алородно — это „алорастововать втунѣ“, и что еще менѣе вины на г. Доброжелатель, если онъ спутываетъ авторовъ незначительныхъ, — однако, да позволено мнѣ будетъ замѣтить: я ни въ одной моей статьѣ не приводилъ вышеупомянутой цитаты, ни въ первомъ, ни во второмъ видѣ. Г. Доброжелатель, очевидно, спуталъ меня съ Товарищемъ Германомъ, потому что „Переваль“ (этотъ, какъ разъ, „алорастовуя втунѣ“), — приводитъ эту же „ошибку“ именно въ статьѣ Товарища Германа. Даже оставивъ въ сторонѣ вопросъ „по существу“, т. е. доказываютъ или нѣтъ эти неточности незнакомство съ цитируемымъ писателемъ, долженъ признаться, что я, просматривая данную статью „Товарища Германа“, не замѣтилъ въ ней неточности: я принялъ цитату „юношей влюбленныхъ“ за цитату не изъ Пушкина, но изъ Л. Толстого; насколько помнится, Облонскій въ „Аннѣ Карениной“ именно такъ, путая и шутя, дразнить Левина. И мнѣ

\* Редакціей получено нѣсколько писемъ по поводу „письма Доброжелателя“, помѣщеннаго въ № 8 „Вѣсовъ“. Одни корреспонденты указываютъ, что г. Доброжелатель ошибочно приписалъ статью Товарища Германа — Антону Крайнему; другіе обращаютъ наше вниманіе, что и г. Доброжелатель не совсѣмъ точно цитируетъ Пушкина. Признавая всѣ эти промахи совершенно маловажными, мы считаемъ, что, послѣ помѣщенія письма г. Антонова Крайняго, „индидентъ исчерпанъ“.

показалось, что „Пушкинъ въ устахъ Облонскаго“ болѣе подходитъ къ насмѣшливому тону статьи Тов. Германа, чѣмъ подошелъ бы „серьезный Пушкинъ“. Но, впрочемъ, не сочувствуя,—въ согласіи съ г. Доброжелателемъ,—уловленію безполезныхъ тонкостей, я нисколько не ставлю въ вину „Перевалу“, что онъ тонкости даннаго случая не уловилъ.

Рядомъ съ несчастными „влюбленными юношами“—„Переваль“ не устаешь упрекать Тов. Германа, что тургеневскую Кукшину смѣшалъ съ Бизюкиной. Это, конечно,—явная „ошибка“. Но, на мой взглядъ,—опять изъ тѣхъ, осужденіе которыхъ осуждаетъ г. Доброжелатель. Онъ ея, вѣроятно, и не примѣтилъ, какъ не примѣтилъ я, какъ не примѣтилъ бы всякій, кто понимаетъ внутреннюю близость типа Кукшиной и Бизюкиной и дополняетъ второю—блѣдный и неудачно-карикатурный образъ первой. Да и что скрывать? Тургеневъ—одинъ изъ нашихъ наисолѣе „безымянныхъ“ писателей. Имена и фамиліи его героевъ такъ слабо придуманы, такъ не связаны съ лицами (иногда примитивно съ ними склеены), что назвать Кукшину Бизюкиной грѣхъ, во всякомъ случаѣ, противъ Лѣскова, а не противъ Тургенева.

Какъ бы, однако, ни была похожа Кукшина на Бизюкину,—смѣшать ихъ—несомнѣнная ошибка. Болѣе важная,—я ни хочу спорить,—нежели та, которую совершилъ г. Доброжелатель, смѣшавъ меня съ Тов. Германомъ, и, однако, того же сорта. Возстановить истину, какъ бы она ни была мала,—всегда стоитъ. И я кончаю тѣмъ, съ чего началъ, повторяя еще разъ, что, несмотря на неточность г. Доброжелателя, касающагося меня,—его замѣтка кажется мнѣ очень точной и вѣрной.

Антонъ Крайній.

п.

По просьбѣ г. Вяч. Иванова перепечатываемъ изъ № 379 газеты „Товарищъ“ его письмо въ редакцію:

М. Г., г. редакторъ.

Прошу васъ дать мѣсто въ вашей уважаемой газетѣ нижеслѣдующему заявленію.

Сообщеніе г. Е. Семенова, со словъ моего товарища Г. И. Чулкова, о „мистическомъ анархизмѣ“ въ журналѣ „Mercure de France“ (16 іюля с. г.) отнюдь не соотвѣтствуетъ моему пониманію „мистическаго анархизма“, пріемлемаго мною лишь въ томъ смыслѣ, какой придаю ему я въ статьяхъ, посвященныхъ мною этому предмету.

Вмѣстѣ съ тѣмъ неправильное освѣщеніе придано въ означенныхъ сообщеніяхъ моимъ личнымъ воззрѣніямъ и задачамъ руководимаго мною издательства „Оры“. Этотъ вынужденный протестъ ничего не измѣняетъ въ моихъ общихъ симпатіяхъ къ личности и общественно-философскимъ исканіямъ Г. И. Чулкова.

Вячеславъ Ивановъ.

III.

М. Г., г. редакторъ.

Въ № 8 „Вѣсовъ“ появилось два моихъ стихотворенія, уже напечатанныхъ въ № 7 „Перевала“. Спѣшу принести мои извиненія вашему уважаемому журналу за это печальное недоразумѣніе, виной котораго отчасти была моя небрежность и разсѣянность.

Съ полнымъ уваженіемъ

С. Соловьевъ.

#### ПОПРАВКИ.

Въ № 8 „Вѣсовъ“, въ статьѣ „Московскій балетъ“, печатавшейся въ отсутствіе автора, вслѣдствіе неразборчивости рукописи, оказалось нѣсколько искажающихъ смыслъ опечатокъ. На стр. 100, строка 4 сверху. — напечатано „Мордкинь-Осиль“ надо „Мордкинь-Огонь“; тамъ же, строка 19, — напечатано „видное“, надо „водное“; стр. 101, строка 12, — напечатано „изъ одной ноги къ другой“, надо „изъ одной позы къ другой“; тамъ же, строка 20, — напечатано „знойкость“, надо „знойность“; стр. 102, строка 12, — напечатано „Ножицкую“, надо „Пожицкую“. Кромѣ того въ статьѣ нѣсколько разъ невѣрно напечатана фамилія г-жи Каралли.



# НѢМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА

## СОВРЕМЕННЫЕ НѢМЕЦКІЕ ПОЭТЫ.

### І. МАКСЪ МЕЛЛЬ.

Мелль родомъ изъ Вѣны и въ Вѣнѣ же чуть ли не на школьной скамѣ началъ свою литературную дѣятельность. Замѣчательно уже то, что ему удалось избѣгнуть угрожающей всѣмъ молодымъ вѣнцамъ опасности,—впасть въ подражаніе какому-либо изъ трехъ лидеров т. н. „Jung Wien“ (Hofmannsthal, Altenberg и Schnitzler); онъ сразу пошелъ своей собственной дорогой, по которой до него никто не ходилъ. Первый томикъ его разсказовъ вышелъ въ свѣтъ три года тому назадъ; онъ озаглавленъ: „Lateinische Erzählungen“, и этимъ заглавіемъ всецѣло исчерпывается сущность творчества Мелля. Основательное и любовное изученіе римскихъ классиковъ и ихъ строгаго, ослѣпительнаго стиля навело тонкаго и впечатлительнаго юношу на мысль воспользоваться духомъ прозы Цицерона, Саллюстія и Ливія для оживленія и обновленія современной прозы, подобно тому, какъ Дегазъ и Уистлеръ воспользовались духомъ японскаго искусства для обновленія европейской живописи.

Эта на первый взглядъ слишкомъ смѣлая попытка удалась Меллю блестяще. Небольшіе разсказы его, будучи по своему духу, по интимности чувствованія и восприниманія чисто современными, поражаютъ античной строгостью формы, какъ въ цѣломъ, такъ и въ построеніи отдѣльных періодовъ, блескомъ, образностью языка и даже чисто музыкальной звучностью, удивительно напоминающей звучность языка латинскаго. Нѣкоторые разсказы, сюжеты которыхъ взяты изъ римской жизни, такъ и кажутся переводами—и притомъ мастерскими — изъ какого-то неизвѣстнаго, но первокласснаго латинскаго автора. Но ученый филологъ, которому можно было бы подсунуть эти „переводы“ для мистификаціи, какъ это дѣлалось, напримѣръ, съ горбуновскими подражаніями древне-русской письменности, все же сталъ бы втупикъ передъ произведеніями Мелля:

языкъ и округленность періодовъ, какъ будто, латинскіе, сюжетъ римскій, и анахронизмовъ нѣтъ, но все какъ-то не то: чувства не тѣ, вѣсть декадентскимъ духомъ“, сказали бы въ Россіи. И именно благодаря этому „декадентскому духу“ вещи Мелля не „курьезны“, какъ удачныя поддѣлки подъ старину, а отличаются высокой художественной цѣнностью произведеній оригинальныхъ.

„Латинскіе рассказы“ заключаютъ въ себѣ три короткія повѣсти, сюжеты которыхъ взяты изъ жизни древняго Рима; рассказъ въ каждомъ ведется отъ имени главнаго дѣйствующаго лица. Это три исповѣди: исповѣдь раба-садовника, нѣжно любящаго дѣвочку, дочь своего владѣльца, проданную своимъ отцомъ императору Каллигулѣ, и тоскующаго о ней до самой смерти; рассказъ ученаго, потерявшаго вѣру въ боговъ; наконецъ, исповѣдь ваятеля: онъ желалъ воплотить въ своей статуѣ идею крика, страданія и боли; но вдохновеніе его оставило въ тотъ моментъ, когда онъ коснулся тѣла своей натурщицы, затравленной жизнью дѣвушки, подобранной имъ въ какомъ-то вертепѣ: отъ прикосновенія ваятеля скорбь смѣнилась радостью пробудившейся любви. Всѣ три темы, по духу своему вовсе не римскія, разработаны удивительно красиво и интимно и полны художественныхъ и психологическихъ тонкостей.

Позднѣе Мелль убѣдился, что вовсе не необходимо брать сюжеты непременно изъ римской жизни для того, чтобы рассказы казались латинскими. Вторымъ шагомъ въ его развитіи является книга: „Die drei Grazien des Traumes“, изданная въ прошломъ году Insel-Verlag. Она содержитъ пять рассказовъ, темы которыхъ ваяты изъ средневѣковой и современной жизни; но фабулы и характеры дѣйствующихъ лицъ въ нихъ еще остались римскими: сильные конфликты и подвиги, гордые и надменные люди, жестокость, благородство и самоотверженіе. Но всѣ эти римскіе элементы опять-таки преломлены въ призмѣ современной, даже ультра-современной души. Особенно хорошъ рассказъ о легендарной Леди Годивѣ, спасшей обреченный ея мужемъ на разгромленіе городъ Ковентри тѣмъ, что проѣхалась черезъ всѣ улицы города нагая, верхомъ на конѣ. На канвѣ этого англійскаго сказанія Меллю удалось создать удивительно поэтическую, сильную и глубокую вещь, по духу современную, но вмѣстѣ съ тѣмъ и слегка античную. Городъ Ковентри является въ рассказѣ одухотвореннымъ, мыслящимъ и чувствующимъ лицомъ. Леди Годива видитъ въ городѣ своего собрата по несчастью: она—нѣжная, мягкая, кроткая, отдана во власть грубому, жестокому, какъ Каллигула, мужу, въ рукахъ котораго въ день свадьбы очутилась и судьба покореннаго имъ города. Утро послѣ свадебной ночи рисуется Меллемъ въ столь дивныхъ, мощ-



ныхъ краскахъ, что я считаю нужнымъ привести его слова дословно. По этому отрывку можно судить и о блескѣ и силѣ Меллѣвскаго языка.

Der Morgen des Vorfrühlings war wundervoll aufgegangen. Und zwei Zerbrochene sahen einander in die tiefraurigen Augen. Das war Lady Godiva, die fröstelnd in der Morgenluft am Fenster des hohen Schlafgemachs saas und sich einhüllte mit zitternden Bewegungen, und das war die Stadt, die sich um die steinernen Füße des Schlosses schmiegte, um Erbarmen flehend. ...Das war Lady Godiva, deren Seele umsonst nach einer anderen Form schrie, denn die ihre war in den Fäusten der Gewalt gewesen, von der sie vorher nichts gewusst hatte. Ihr Körper war wertlos geworden, und die Seele wollte nicht mehr in ihm hausen und quälte sich ab und weinte in unbegriffener Sehnsucht.

Построеніе періодовъ чисто латинское! Леди Годива спасла городъ цѣной своей женской стыдливости, но впослѣдствіе отомстила мужу тѣмъ, что отдалась поету—душѣ города. Прелюбодѣяніе свершилось; она возвращается къ мужу; съ геройствомъ римлянки глядитъ прямо въ глаза неминуемой смерти:

...Sie legte sein Schwert vor ihn auf die Decke und sagte: «Töte mich. Denn ich habe mit der Stadt die Ehe gebrochen».

Въ новѣйшемъ фазисѣ своего творчества Мелль эмансипировался даже отъ необходимости выводить непременно римскіе характеры и разрабатывать героическіе сюжеты. Онъ пишетъ все тѣмъ же цинцероновскимъ языкомъ о самыхъ обыденныхъ явленіяхъ современной повседневной жизни. Явленія эти онъ воспринимаетъ глазами и сердцемъ утонченнаго, нервнаго эстета, „декадента“, но трактуетъ ихъ въ спокойномъ, величавомъ тонѣ римскаго классика. Подъ кажущимся холоднымъ покровомъ безстрастнаго цинцероновскаго повѣствованія скрывается огонь и трепетъ тонкой современной души; въ этомъ контрастѣ и кроется вся прелесть новѣйшихъ вещей Мелля. Въ одномъ изъ новѣйшихъ рассказовъ (не вошедшемъ въ два названныхъ сборника) мальчикъ, лѣтъ 14 и 15, рассказываетъ про пріѣздъ кузины въ домъ его родителей. Простая страница изъ дневника; здѣсь нѣтъ ни конфликтовъ, ни героизма, ни даже какихъ-либо значительныхъ событій. Мальчикъ спокойно и обстоятельно рассказываетъ о томъ, какъ извозчикъ подѣхалъ къ дому, какъ внесли багажъ гости въ отведенную ей комнату, какъ гостыя вышла потомъ къ завтраку и т. д. Фотографически точно описываетъ онъ бѣлую батистовую блузу, сквозь рукава которой просвѣчиваютъ розовыя руки дѣвушки, веснушки на ея молодомъ, здоровомъ лицѣ. Ей отведена комната рядомъ съ его. Вечеромъ

онъ прислушивается къ звукамъ, доносящимся оттуда: гостя собирается лечь въ постель. Онъ описываетъ шорохъ платья при раздѣваніи, шорохъ чулокъ, брошенныхъ поверхъ платья на стулъ, и звуки босыхъ ногъ по полу; онъ ясно слышитъ, какъ подошва босой ноги при каждомъ шагѣ слегка прилипаетъ къ крашеному полу, какъ она потомъ отрывается отъ него съ характернымъ, едва уловимымъ трескомъ. Это — все. Но за нѣсколько монотонной мелодіей фотографически и фонографически точнаго описанія слышится другая мелодія, — нѣжная и таинственная мелодія впечатлительной души мальчика, полной смутныхъ и непонятныхъ еще чувствъ, вызванныхъ молодой, жизнедышущей дѣвушкой, мелодія, носящая въ себѣ уже зачатки близкихъ бурь.

Въ Германіи Мелля мало кто знаетъ; публика его бросила въ одну кучу съ цѣлой плеядой молодыхъ посредственныхъ писателей, всплывшихъ наружу за послѣдніе годы, не обративъ на него почти никакого вниманія. Хочется вѣрить, что имя его скоро будетъ извлечено изъ груды именъ полузабытыхъ и по большей части дѣйствительно не стоящихъ вниманія молодыхъ талантиковъ.

## II. ХРИСТИАНЪ МОРГЕНШТЕРНЪ.

Молодой берлинецъ Christian Morgenstern раздѣляетъ съ Меллемъ не только незаслуженное равнодушіе публики, но и нѣкоторыя особенности его творчества. Хотя онъ и не называетъ своихъ стиховъ латинскими, но нѣкоторыя изъ нихъ заслуживаютъ этотъ эпитетъ не менѣе рассказовъ Мелля. Въмѣсто того, чтобы описывать манеру Моргенштерна и его умѣніе выражать образы, подчасъ довольно сложные, краткими, сжатыми, строго-латинскими фразами, я приведу примѣръ:

Die Wiederhergestellte Ruhe.

Aus ihrem Bette steigt sie bleich  
im langen Hemd und setzt sich gleich.

Die Zofe bringt ihr Rock und Schuh  
und führt sie sanft dem Divan zu.

Todmüd in grauen Höhlen liegt  
der Blick, den Fieber fast besiegt.

Ihr ganzer Leib ist wie verzehrt,  
als hätt' in ihm gewühlt ein Schwert.

Der Medicus erzählt der Welt:  
sie sei nun wieder hergestellt...

Die Zofe kniet vor ihr und giebt  
ihr von den Blumen, die sie liebt,

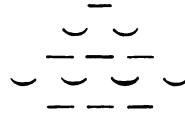
und schmückt sie zärtlich aus der Truhe,—  
die wiederhergestellte Ruhe.

При болѣ внимательномъ чтеніи этихъ звучныхъ ямбическихъ строкъ не трудно подмѣтить, что въ нихъ скрывается извѣстная доза ироніи или юмора; невольно приходитъ въ голову имя Буша, хотя сходство съ нимъ и очень отдаленное. Приведенное стихотвореніе занимаетъ какъ разъ середину между двумя рѣзко отличающимися другъ отъ друга группами произведеній Моргенштерна: у него два лица, смѣющееся и печальное; и то и другое одинаково своеобразно и красиво.

Моргенштернъ началъ съ вещей юмористическихъ,—именно съ очень удачныхъ подражаній Горацию, а затѣмъ перешелъ къ самостоятельнымъ юмористическимъ стихотвореніямъ. Слово „юмористъ“ въ примѣненіи къ нему, собственно, неумѣстно. Оно неумѣстно также и по отношенію къ гениальному рисовальщику Т. Т. Гейне, съ которымъ у него много общаго. Если разсматривать не каррикатуры Гейне на опредѣленные политическія темы, а тѣдивныя фантастическія виньетки и заставки, которыми онъ украшаетъ страницы „Симплиссимуса“ и другихъ изданій Лангена, то подъ маской смѣха подмѣтимъ ликъ ужаса. Къ этимъ виньеткамъ обыкновенно мало присматриваются; между тѣмъ, онѣ занимаютъ чуть ли не главное мѣсто въ творчествѣ Гейне. Причудливо извивающіяся линіи живутъ и дышатъ, образуя то страшныхъ, кошмарныхъ дьяволовъ, то фантастическихъ, не предусмотрѣнныхъ зоологіей звѣрей, полу-птицъ, полу-кошекъ, полу-растенія; и всѣ эти дьяволы и звѣри необыкновенно убѣдительно и вѣроятны; надъ ними не смѣешься, скорѣе пугаешься ихъ.

Моргенштернъ, поставивъ себѣ задачу перенести манеру гейневскихъ виньетокъ въ поэзію, прекрасно съ нею справился. Два года тому назадъ вышла у Кассирера въ Берлинѣ его книжка „Galgelieder“ (между прочимъ, удивительно красиво изданная, съ прекрасной обложкой Вальзера). Все содержаніе этой книги можетъ быть названо „Т. Т. Гейне въ поэзіи“. Дѣйствующими лицами въ этихъ „Пѣсняхъ съ висѣлицы“ являются либо дѣйствительно суще-

ствующія животныя (какъ ежъ, улитка, кротъ, воронъ и т. д.), либо вполне обыкновенные люди (чиновникъ лѣснаго департамента, дочь палача), либо порожденія фантазіи поэта; онъ создалъ собственную зоологію и терминологію; встрѣчаются, напримѣръ, слѣдующія имена, совершенно непереводимыя: Siebenschwein, Rabenmaus, Mondschaf, Schluchtenhund; далѣе встрѣчаются: Schuhu, Zwölf-Elf, Nachtschelm—это, повидимому, люди; затѣмъ Bim, Bam и Bum—это колокольные звуки, наконецъ, есть даже нѣмая рыба, исполняющая, однако, цѣлую пѣсню со слѣдующимъ текстомъ:



и т. д.

Всѣ эти упомянутыя и неупомянутыя въ учебникахъ зоологій существа, колокольные звуки и пр. кажутся столь же возможными, вѣроятными и даже обыденными, какъ и выступающій вмѣстѣ съ ними чиновникъ лѣснаго департамента; начинаетъ казаться, что это все старые знакомые съ улицы или со скотнаго двора. Вся сила Моргенштерна заключается въ томъ, что онъ заставляетъ читателя слѣпо вѣрить въ реальность всѣхъ порожденій своей фантазіи; эта убѣдительность и сближаетъ его талантъ съ талантомъ Т. Т. Гейне, имя котораго неизбежно приходитъ въ голову при чтеніи „Galgenlieder“. Даже неодушевленные предметы начинаютъ у Моргенштерна говорить своимъ языкомъ. Вотъ примѣръ:

Ich bin ein einsamer Schaukelstuhl  
und wackel im Winde

im Winde.

Auf der Terrasse, da ist es kuhl,  
und ich wackel im Winde

im Winde.

Und ich wackel und nackel den ganzen Tag.

Und es nackelt und rackelt die Linde.

Wer weiss, was sonst wohl noch wackeln mag  
im Winde

im Winde

im Winde.

Не знаешь, какъ отнестись къ подобному произведенію: съ одной стороны, это—полная настроенія, интимная вещица, съ другой—мазки, линіи и краски утрированы; образность и красочность, отличающія эти стихи, наводятъ мысль, что эти пьесы Моргенштерна должны

быть разсматриваемы глазами художественнаго, а не литературнаго критика; приходитъ въ голову слѣдующее опредѣленіе подобныхъ произведеній: „лирическія каррикатуры“. Вотъ еще примѣръ, гдѣ каррикатурность чувствуется не только въ содержаніи и выборѣ словъ, но и въ формѣ, ритмѣ и размѣрѣ:

Nein,  
Pfeift der Sturm?  
Keift ein Wurm?  
Heulen  
Eulen  
hoch vom Turm?  
Nein!  
Es ist des Galgenstrickes  
dickes  
Ende, welches ächzte,  
gleich als ob  
im Galopp  
eine müdgehetzte Mähre  
nach dem nächsten Brunnen lechzte  
(der vielleicht noch ferne wäre).

Кромѣ сборника „Galgenlieder“, Моргенштернъ написалъ еще 5 томиковъ лирическихъ стихотвореній, не подходящихъ подъ опредѣленіе „лирическія каррикатуры“; послѣдній изъ этихъ сборниковъ— „Melancholie“—появился въ прошломъ году. Помѣщенные въ нихъ вещи очень интимны по настроенію, глубоки по чувству и мелодичны по ритму. Отчасти онѣ напоминаютъ стихи Falke, отчасти древнихъ нѣмецкихъ поэтовъ, какъ Walter von der Vogelweide. Но и въ нихъ иногда чувствуется перо каррикатуриста (вѣдь Т. Т. Гейне тоже выдаетъ себя въ своихъ большихъ композиціяхъ); онъ употребляетъ иногда чересчуръ смѣлыя, прямо-таки каррикатурныя рѣшмы. Вотъ на примѣръ, строфа изъ очень красиваго стихотворенія „Der Gärtner“:

... Er kehrt auf den Beeten den Mist um,  
wann Winterfröste drohn,  
er denkt an Jesum Christum  
der Erde tiefen Sohn.

Но все же эта рискованная рѣзма „Mist um—Christum“, какъ то не оскорбляетъ ни чувства, ни уха, она придаетъ даже, пожалуй, особую силу и прелесть стиху.

Публика знаетъ Моргенштерна почти исключительно какъ прекраснаго переводчика „Бранда“ и „Пееръ Гинта“; оригинальныя же

произведенія его мало кому извѣстны; между тѣмъ, онъ значительный поэтъ, съ очень своеобразнымъ и оригинальнымъ дарованіемъ.

Въ заключеніе приведу одну изъ самыхъ тонкихъ вещей Моргенштерна; въ ней нѣтъ уже ничего каррикатурнаго.

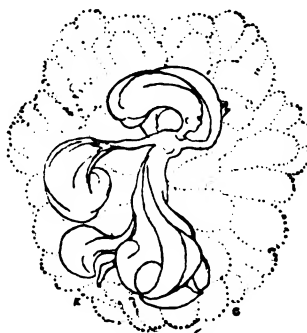
Wor dem Bilde meiner verstorbenen Mutter.

Dieser zarte Leib hat mich geboren;  
grausam drängt'ich mich aus seinem Schoss,  
riss mein Leben von dem seinen los,  
hab'ihn hinter mir in Nacht verloren.

Kehrst du nie zurück, auch nicht im Geiste?  
Bist du mir gestorben ewiglich?  
Und doch gab es eine Zeit: da kreiste  
deines Herzens Blut durch dich und mich.

Мюнхенъ, сентябрь 1907.

Александръ Элиасбергъ.



## РУССКАЯ ЛИРИКА ВЪ ГЕРМАНИИ.

Russische Lyrik der Gegenwart. Deutsch von **Alexander Eliasberg**. Mit einer Einleitung und vier Bildnissen. München und Leipzig. R. Piper & Co Verlag.

На мой взглядъ, вполне совершенный переводъ стихотворнаго произведенія невозможенъ. Совершенный переводъ почти что *contradictio in adiecto*. Онъ невозможенъ уже потому, что настоящее произведеніе искусства всегда глубоко субъективно, индивидуально и единично, и эти качества выражены тѣмъ ярче, чѣмъ произведеніе выше. Переводчикъ, стоящій по своему таланту на высотѣ даннаго произведенія, въ силу своей собственной индивидуальности не будетъ въ состояніи пересоздать его въ формахъ другого языка; переводчикъ, не обладающій такой силой индивидуальности, неизбежно будетъ ниже своего оригинала.

Представьте себѣ восхитительную мозаику, составленную изъ тысячи мельчайшихъ, чрезвычайно искусно другъ къ другу прилаженныхъ стеколъ и камней, образующихъ сложный и красивый узоръ. Вамъ даютъ тысячи другихъ самыхъ разнообразныхъ и разнохарактерныхъ камней и стеколъ, предлагая составить изъ нихъ тотъ же самый сложный рисунокъ. Задача оказывается невыполнимой. Камни, подходящіе другъ къ другу по формѣ, не подходятъ по цвѣту, камни болѣе или менѣе близкіе по цвѣту—совсѣмъ не похожи на оригиналъ по своей формѣ или никакъ не складываются другъ съ другомъ. Въ такомъ положеніи находился бы и переводчикъ, если бы только его положеніе не было еще гораздо затруднительнѣе. Въ приведенномъ примѣрѣ приходится заботиться лишь о формѣ и оттѣнкахъ камней; при переводѣ стихотворенія—заботъ несравненно больше. Цѣльность каждаго стихотворенія безпредѣльна, сложна и, въ сущности, въ этой сложности нельзя измѣнить безнаказанно ни одной мельчайшей черты. Слова, соотвѣтствующія другъ другу по значенію, звучатъ на разныхъ языкахъ совершенно различно и нисколько не похожи другъ на друга по своей формѣ; слова, болѣе или менѣе сходныя по формѣ или звуку, имѣютъ совершенно различное значеніе. А помимо этого необходимо еще сохранить размѣръ, рѣзку, разстановку гласныхъ и чередованіе короткихъ и много-

сложныхъ словъ; иначе стихотвореніе утрачиваетъ свою мелодію, свой особый паеосъ и дѣлается похожимъ именно на мозаику, въ которой камни не подошли другъ къ другу, оставивъ между собою зіяющія дыры. Переводъ есть въ сущности желаніе сдѣлать то же самое—изъ другого, неподходящаго матеріала.

На мой ваглядъ, переводчикъ долженъ ставить себѣ всегда строго опредѣленные и ограниченныя задачи. Если онъ самъ большой и самостоятельный поэтъ, онъ можетъ задаться цѣлью создать равноцѣнное оригиналу произведеніе, сходство котораго съ подлинникомъ, конечно, будетъ самое отдаленное. Другая, болѣе скромная задача—это передать съ дословной, педантичной точностью и близостью текстъ подлинника (безъ малѣйшихъ отступленій, а иногда даже прозой), по которому чуткіе могли бы уже сами возсоздать въ своей душѣ поэта. Александръ Эліасбергъ задался цѣлью познакомить нѣмецкую публику съ современной русской лирикой, выбравъ для этого шестерыхъ, наиболѣе типичныхъ, по его мнѣнію, ея представителей,—К. Бальмонта, Валерія Брюсова, И. Бунина, З. Гиппіусъ, Н. Минскаго, Ө. Сологуба. Его задачей было, повидимому, именно познакомить нѣмцевъ съ этими поэтами, но не создать равноцѣнные ихъ произведеніямъ вещи, именно „übertragen“, но не „nachdichten“. Переводы его, за немногими исключеніями, очень точны и старательны, иногда почти дословны. Никакихъ сколько-нибудь грубыхъ ошибокъ или искаженій текста у него не встрѣчается. Но, тѣмъ не менѣе, ни Бальмонта, ни Брюсова, ни даже Бунина въ его книгѣ нѣтъ. Авторъ стремится сохранить размѣры, но упускаетъ образы; переводя дословно выраженія, теряетъ напѣвъ (хотя и сохраняетъ размѣръ); дословные переводы имѣютъ по-нѣмецки другой стиль и паеосъ; рима, бывшая въ подлинникѣ необходимою, кажется фальшивой натяжкой въ переводѣ и т. д.

Въ частности, относительно переводовъ изъ Бальмонта, можно указать на довольно неудачный выборъ переведенныхъ произведений. Хотя всѣ сложные и изысканные размѣры Бальмонта сохранены съ большей тщательностью, все же особый плѣнительный стиль Бальмонта неизбѣжно испарился. Нѣжныя строки:

Если хочешь, пойми. Если хочешь, возьми.  
Ты одинъ мнѣ понравился между людьми

переведены грубо и не точно:

Wenn du weisst, wer ich bin, und mich magst—nimm mich hin:  
Bist der einzige Mensch, des gelüstet mein Sinn.



Плѣнительное бальмонтовское „не надо“ переводится длиннымъ и скучнымъ:

Nein, lass mich gehen.

Наиболѣе неудаченъ переводъ стихотворенія: „Я изысканность русской медлительной рѣчи“. Уже этотъ первый стихъ переведенъ совершенно непозволительнымъ:

Bin der Wohllaut der zierlichen(!) und eleganten(!)  
Langsam fliessenden Sprache.

„Предтечи“ совсѣмъ не то, что „Trabanten“. Очень нехорошо передана послѣдняя строфа этого стихотворенія; у Бальмонта:

Вѣчно юный, какъ сонъ,  
Сильный тѣмъ, что влюбленъ  
И въ себя и въ другихъ,  
Я—изысканный стихъ.

По нѣмцки: Ich bin stark wie ein Held,  
Liebe mich und die Welt  
Bin ein sprossender Keim,  
Bin ein klingender Reim!

При переводахъ нѣкоторыхъ стиховъ изъ Валерія Брюсова Элиасбергъ до того стремился къ точности, что у него получились плохіе нѣмецкіе стихи (даже безъ всякаго отношенія къ переводу). Такъ, напримѣръ, въ стихотвореніи „Abendlied“ четыре раза вставлено совершенно ненужное „so“ единственно для соблюденія размѣра. Само собою разумѣется, что эти вялые и съ банальными приемами стихи очень мало напоминаютъ великолѣпныя строфы Брюсова. Въ частности очень неудачно переведено стихотвореніе „Первая встрѣча“, гдѣ прежде всего не сохранены внутреннія рѣзмы. Кромѣ того, все стихотвореніе, начиная съ заглавія, которое передѣлано въ „Rückkehr“, какъ то транспонировано на другой ладъ. У Брюсова стихотвореніе имѣетъ болѣе общій характеръ; Элиасбергъ приспособливаетъ его именно къ данному частному случаю. Брюсовъ говоритъ:

Какъ любилъ я, какъ люблю я эту робость первыхъ встрѣчъ  
Элиасбергъ переводитъ:

Unvergesslich bleibt mir ewig deiner Lippen erster Kuss

Брюсовъ говоритъ, что вообще „страсти, сны намъ только снятся“, Элиасбергъ передѣлываетъ это въ

Alle Wollust war ein Traum nur.

И такъ съ начала и до конца всего стихотворенія.

Точно также невѣрно переведено стихотвореніе „Послѣдній пирь“. „Разсвѣтъ безстыдно кажетъ ликъ“—переименовано въ „первые робкіе лучи“ (*Die ersten Strahlen sehen und zag*). Сравненіе спящихъ гостей со стадомъ пьяныхъ кентавровъ дважды совсѣмъ откинуто. Картинное

На шкуры барсовъ и медвѣдей  
Упали сонные рабы

подмѣнено банальнымъ:

Die letzten Kohlenbrände funkeln  
In dem erlöschenden Kamin.

Переводы изъ Бунина и Минскаго сравнительно удачнѣе; что касается переводовъ изъ Зинаиды Гиппиусъ, то они всѣ, при точности, все же транспонированы въ другой тонъ, пріобрѣтая у переводчика гораздо болѣе ясности, опредѣленности и договоренности, чѣмъ у самого поэта.

Переводамъ предпослано небольшое предисловіе, которое, къ сожалѣнію, страдаетъ существенными недостатками и неточностями. Дѣленіе современной русской поэзіи на два теченія—невѣрно и произвольно; характеристика Бальмонта—сплошное общее мѣсто, представляющая собою въ то же время нѣсколько рискованный гимнъ поэту. Для Эліасберга Бальмонтъ разностороненъ, какъ Гете; переводы его—„*Wunderbarer Übertrag*“, революціонные стихи его—блестящи, а въ подражаніяхъ народному творчеству онъ, видите-ли, достигъ ослѣпительныхъ результатовъ. Въ своемъ поклоненіи Бальмонту Эліасбергъ доходитъ до утвержденія, что всѣ другіе поэты „*sind stolz Balmonts Trabanten zu sein*“(!).

Характеристика Брюсова тоже не безъ промаховъ. Прежде всего, непростительно называть Брюсова трабантомъ Бальмонта (что, впрочемъ, отрицается и самимъ Эліасбергомъ, который далѣе сообщаетъ, что Брюсовъ—одинъ изъ наиболѣе оригинальныхъ и субъективныхъ русскихъ поэтовъ). Затѣмъ весьма сомнительно вліяніе на Брюсова, напр., Пшибышевскаго. Нельзя также не въ мѣру восхвалять юношескіе переводы Брюсова изъ Верлена, обойдя молчаніемъ гораздо болѣе удачные переводы изъ Верхарна. Кое-какія неточности допущены и въ характеристикахъ другихъ поэтовъ.

Въ общемъ книга г. Эліасберга все же должна быть признана несомнѣнно полезной и заслуживающей вниманія. Портреты, помѣщенные въ книгѣ (К. Бальмонтъ съ рисунка В. Сѣрова, В. Брюсовъ—М. Врубеля, З. Гиппиусъ—Л. Бакста и Минскій—О. Бразз)—исполнены прекрасно.

Викторъ Гофманъ.

## БИБЛИОГРАФІЯ.

**Stefan Zweig. Die frühen Kränze. Insel-Verlag. Leipzig.**

Новая книга Стефана Цвейга—весьма современная книга. Молодой поэтъ воспринялъ все созданное и добытое лучшими поэтами современности; онъ какъ бы впиталъ въ себя и Гофманстала, и Рильке, и Роденбаха, и Матерлинка. И при этомъ онъ менѣе всего безличный подражатель, отражающій откровенія чужой души, присваивающій себѣ формы, въ которыхъ нашла возможнымъ объективаться душа другихъ поэтовъ. Чувствуется лишь, что онъ явился послѣ такихъ-то и такихъ-то поэтовъ, что ихъ отданная міру и жертвенно распластанная въ немъ душа коенулась и его нѣкоторыми изъ своихъ пѣвучихъ воплощеній. Ему близки и доступны, даже какъ бы стали основной формой его мышленія и творчества—глубочайшія идеи критико-мистической философіи, нѣкоторымъ положеніямъ которой служить такимъ блестящимъ подтвержденіемъ современная поэзія. И все это радуется, какъ красивый примѣръ культурной преемственности, дающей вѣру, что, быть можетъ, не все безцѣльно, не все пропадаетъ.

Цвейгъ не принадлежитъ къ поэтамъ, проламывающимъ новые пути, врывающимся въ новыя сферы. По своей сущности онъ—поэтъ-завершитель, поэтъ, п о д т в е р ж д а ю щ і й добытое другими. Отсюда эта тишина и успокоенность его поэзіи, которая вся подернута вѣяніемъ чего-то мелодично-печального и проникновенно-нѣжнаго... Поэзія Цвейга символична въ лучшемъ и общемъ смыслѣ слова, символична, какъ всякое искусство. Поэтъ умѣетъ писать о вечерахъ и женскихъ рукахъ, какъ Роденбахъ, и о дѣвушкахъ, какъ Рильке. Поэтъ много видѣлъ и душа его сумѣла вмѣстить видѣнное, служа прекрасной скрипкой, на которой играетъ свои тихія мелодіи—Брюгге и ликующія симфоніи воды и солнца—Венеція. Цвейгъ не о п и с ы в а е т ъ природу: онъ даетъ ей проявиться въ красотѣ—черезъ свою душу.

Поэтъ хорошо владѣетъ разнообразными и утонченными размѣрами, изъ которыхъ иные очень близки размѣрамъ нашего Бальмонта. Вообще успѣхи его въ техникахъ стиха со времени первой его

книги („Silberne Saiten“ 1901) весьма значительны, что отмѣчается многими нѣмецкими журналами.

Кромѣ небольшихъ лирическихъ стихотвореній, въ книгѣ помѣщены двѣ поэмы. Первая, интересная, хотя и не совсѣмъ цѣльно выдержанная—„Der Verführer“ („Соблазнитель“)—даетъ еще разъ вѣчный образъ Донъ-Жуана. Трагическаго соблазнителя мучить безумная жажда

Ganz in die purpurnen Tiefen der schwülen  
Fremden Seelen sich einzuwühlen,

его терзаетъ мысль, что существуетъ еще много невидѣнныхъ имъ городовъ, гдѣ тоже должны быть нѣжныя женщины, съ колеблющейся походкой, и пламенные женщины, изнемогающія отъ сновидѣній, и дѣвушки-дѣти, вечернюю пѣсню которыхъ внезапно омрачаетъ первая, еще совсѣмъ чужая имъ мысль о любви. И всѣ эти женщины не видали и не любили его, а многія изъ нихъ отдаются другимъ мужчинамъ. Онъ хотѣлъ бы весь міръ обнять какъ женщину.

Ich möchte die Welt wie ein glühendes Weib  
An meine verlangende Seele betten  
Und ihren Leib  
Mit den Flammen meiner zwei Arme umketten.

Еще менѣе выдержана „Долина скорби“ („Das Tal der Trauer“), написанная въ формѣ эпизода изъ Дантовскаго Ада (терцинами), причемъ проводникомъ является самъ Данте.

Викторъ Гофманъ.

**Karl Henckell.** Schwingungen. Neue Gedichte 1905—1906. Buchschmuck von Fidus, Bard, Marquardt. Berlin.

Имя Карла Генкеля часто ставится рядомъ съ именемъ Джона Генри Маккай. Дѣйствительно, пути ихъ развитія когда-то соприкасались. Родившись въ одномъ и томъ же году (1864 г.), они приблизительно въ одно и то же время выступили съ книгами ярко окрашенныхъ революционныхъ стиховъ, гремѣвшихъ проклятіями буржуазному строю и призывами къ борьбѣ и разрушенію. Книги имѣли значительный успѣхъ. Съ тѣхъ поръ нѣмецкіе критики продолжаютъ считать ихъ за виднѣйшихъ представителей тенденціозной социалистической и анархической поэзіи. Но сопоставлять этихъ двухъ поэтовъ нельзя.

Маккай, несмотря на разсудочную прозаичность и худосочную риторику своихъ стиховъ, безпредѣльно выше Генкеля. Онъ, какъ ни какъ, выпилъ до дна кубокъ огненно-безпощадной и трагично-безстрашной мысли Штирнера, однимъ изъ лучшихъ знатоковъ кото-

раго онъ считается. Въ своемъ широко извѣстномъ романѣ („Анархисты“) Маккай дошелъ до очень чистой и почти идеальной степени анархизма, навсегда оттолкнувъ всякія социалистическія и коммунистическія примѣсы и компромиссы. Желѣзная мысль Штирнера не прошла для него даромъ. И въ стихахъ его, несмотря на отсутствіе настоящей поэтической !мощи и окрыленности, все же чувствуется большая, сильная душа, обожженная огнемъ ненависти и ледянымъ дыханіемъ презрѣнія, чувствуется закаленная мысль и пороку—мрачная и трагическая фантазія. Генкель же дальше риторически-банальныхъ вопросовъ и проклятій да бессмысленныхъ призывовъ къ какой-то весьма неопредѣленной свободѣ не пошелъ. Съ чисто же художественной точки зрѣнія революціонные стихи Генкеля еще болѣе мертвы и плоско реалистичны, чѣмъ стихи Маккай...

За послѣдніе годы, однако, физіономія Генкеля сильно измѣнилась. Съ нимъ случилось то, что часто случается съ буршами, безъ толку горячащимися и скандалящими въ юности, а затѣмъ заключающими прочный союзъ съ житейской разсудительностью. Его социалистическія увлеченія исчезли, повидимому, безслѣдно. Теперь онъ пишетъ чрезвычайно успокоенные и даже бодро-оптимистическіе стихи, посвященные всевозможнымъ „радостямъ бытія“, но никакъ не революціи. \*

Ъ. „Schwingungen“ ярко подтверждаютъ этотъ новый этапъ души Генкеля. Вся книга безмятежно-реалистична, и вѣяніе настоящей поэзіи, кажется, ни разу не коснулось ея. Слова въ ней—только слова, а образы — ненужныя прикрасы, свидѣтельствующія развѣ лишь о дурномъ вкусѣ, придающія дешевое подобіе роскоши убогому и жалкому лубку. Размѣръ у Генкеля на протяженіи всей книги почти

\* Въ настоящемъ году, кромѣ книги стиховъ „Schwingungen“, Генкель выпустилъ еще критико-историческій обзоръ нѣмецкой поэзіи со времени Гейне „Deutsche Dichtung seit Heinrich Heine“, попавшій въ серію „Literatur“, выходящую подъ редакціей Брандеса въ Берлинѣ (Bard, Marquardt, Berlin). Объ этой книгѣ уже было сказано нѣсколько краткихъ словъ въ „Вѣсахъ“ (1907, № 5); но мнѣ хочется сдѣлать здѣсь еще одно замѣчаніе. Обзоръ Генкеля лишенъ всякой объединяющей мысли, всякаго философскаго обобщенія. Все сводится къ цвѣтистымъ фразамъ, выраженіямъ симпатій и антипатій, да къ восклицательнымъ знакамъ. Но главное и наиболѣе замѣчательное то, что въ этомъ обзорѣ Генкель допустилъ рядъ совершенно непростительныхъ и, повидимому, злостныхъ пропусковъ. Въ книгѣ, посвященной новой нѣмецкой поэзіи, ни единымъ словомъ не упоминается о Карлѣ Блейбтреу, Карлѣ Буссе, Рильке, Стефанѣ Георге, Альфредѣ Момбертѣ, Г. фонъ-Гофмансталѣ, Моргенштернѣ, Вильгельмѣ фонъ-Шольцѣ и др.

вездѣ одинъ и тотъ же. Большинство стиховъ—чисто внѣшнія описанія природы, привлекающія лишь изрѣдка вниманіе какой-нибудь мѣтко схваченной и удачно выраженной черточкой внѣшняго міра. Большею частью все это—веселыя картинки цикликовъ, гуляній и катаній или даже эпизоды брачнаго путешествія съ природой изъ вагоннаго окна. Наряду съ этимъ попадаются вдругъ напыщенные строфы къ Шиллеру и Рембрандту или переводъ изъ Ады Негри и Верхарна. Вся книга полна здоровой жизнерадостностью и оптимизмомъ, который, кажется, ничѣмъ не прошибешь. Авторъ безмятежно воспѣваетъ весну и прогулки или даже жирную форель, которая,

Schwimmt in Butter frisch,  
Des wollen wir frohlich sein,

адресуя своей спутницѣ такое плѣнительное обращеніе:

Du, Schatz, mein und ich, Schatz, dein

или

Stoss an, mein Schatz...

Нельзя не привести также ту, на мой взглядъ, мало лестную характеристику, которую даетъ себѣ самъ авторъ:

Mich quält kein bram, mich peinigt keine Reue  
Ob ich das Dasein regelrecht erfasst.

По странной случайности, эта, слишкомъ здоровая, книга украшена сильными виньетками Фидуса, полными какой-то истерической красоты. Эти украшения самое, да и единственное, цѣнное во всей книгѣ.

Викторъ Гофманъ.

Julius Bab. Wege zum Drama. Berlin. Oesterheld & Co Verlag.

Путь къ новой драмѣ, по мнѣнію Юліуса Баба, лежитъ черезъ Фридриха Геббеля къ Шекспиру. Авторъ оговаривается, что онъ не вѣритъ въ возможность возрожденія античной трагедіи, о чемъ мечтаютъ столь многіе. Для него современная драма есть нѣчто совершенно новое, не имѣющее никакихъ корней въ древнемъ мірѣ, возникшее при совсѣмъ особыхъ обстоятельствахъ. Греческій хоръ, напимѣръ, утраченъ для насъ безвозвратно. Драматургъ, думающій болѣе о жизни и будущемъ, чѣмъ объ исторіи и прошедшемъ, не долженъ возвращаться далѣе Шекспира. Долженъ явиться гений, который сумѣлъ бы впитать въ себя всю глубину геббелевскаго познанія, чтобы затѣмъ воплотить все это съ мощной легкостью и жизненностью Шекспира. Тогда будетъ описана новая спираль

культурнаго развитія, и мы окажемся опять вернувшимися къ Шекспиру, только какъ бы уже цѣлымъ этажемъ выше. Въ современной нѣмецкой драматической литературѣ даны лишь пути, лишь болѣе или менѣе вѣрные залого будущей драмы. Такихъ путей два: они совершенно различны, но оба ведутъ къ возрожденію нѣмецкой драмы, оба привлекли уже цѣлый рядъ молодыхъ талантовъ. Въ точкѣ ихъ пресѣченія лежитъ цѣль—возможность созданія новой драмы. Первый изъ этихъ путей проложенъ Гуго фонъ Гофмансталемъ, второй—Франкомъ Ведекиндомъ.

Главная заслуга Гофманстала въ томъ, что онъ далъ драмѣ новый языкъ, создалъ новый драматическій стиль. Когда, въ началѣ 90-хъ годовъ, была признана, наконецъ, полная несостоятельность вымышленной Гольцемъ и Брамомъ натуралистической драмы, когда было понято, что натуралистическій стиль есть, собственно, отсутствіе всякаго стиля, тогда встала насущная задача—создать новый драматическій стиль, который былъ бы способенъ, съ одной стороны, вмѣстить всю сложность и утонченность переживаній современнаго человѣка, съ другой,—могъ бы стать основой новой драмы. Гофмансталъ достигъ первой цѣли. Онъ нашелъ форму языка, совершеннѣйшимъ образомъ приспособленную къ воплощенію всей сложности современной души, соткалъ новый праздничный нарядъ рѣчи, способный облечь всю нашу жизнь. Онъ создалъ новый паэосъ, могущій стать на смѣну господствовавшему до сихъ поръ въ Германіи шиллеровскому паэосу, столь мало приспособленному къ нашему времени. Но новой драмы Гофмансталъ все же не создалъ. Гофмансталъ рожденъ лирикомъ, и всѣ его драмы лиричны; въ сущности это даже не драмы, но разрозненные монологи или, въ лучшемъ случаѣ, расчлененныя баллады. Гофмансталу чужда настоящая сущность драмы, которая, по теоріи Фр. Геббеля, должна развиваться съ роковой необходимостью по геббелевской схемѣ взаимной смѣны тезиса, антитезиса и синтеза. Каждое существо, въ силу своей индивидуальности, должно вызвать себѣ противодѣйствіе, въ роковой борьбѣ съ которымъ оно уступаетъ мѣсто новой формѣ: это—„грѣхъ бытія“ и основной законъ драмы (по мысли Геббеля). Недостающее Гофмансталу въ высокой степени присуще Ведекинду. Все его творчество глубоко-драматично въ геббелевскомъ смыслѣ: въ немъ зародилось зерно специально драматической формы для будущаго нѣмецкаго театра. Но Ведекиндъ, по мнѣнію Ю. Баба, потерялъ свой вѣрный путь, обратившись въ творца трагическихъ эпиграммъ и разсудочно-патетическихъ гротесковъ. Въ его послѣднихъ созданіяхъ Баба не видитъ никакого значенія для развитія нѣмецкой драмы.

Въ дальнѣйшихъ очеркахъ Ю. Баба останавливается на творче-

ствѣ Фольмеллера, Штукена, Эуленберга, Гиннерка, Шмидтъ-Бонна, Эмиля Людвига, Вильгельма Шольца и др. На нѣкоторыхъ изъ нихъ онъ возлагаетъ большія надежды, какъ на возможныхъ создателей будущей великой нѣмецкой драмы.

Викторъ Гофманъ.

Gustav Kühl. Richard Dehmel. „Die Dichtung“. Verlegt bei Schuster und Löffler. Berlin und Leipzig. M. 1 p. 50.

Подобно большинству монографій, вошедшихъ въ серію „Die Dichtung“, въ книгѣ г. Кюля больше громкихъ словъ, чѣмъ свѣдѣній и критическихъ замѣчаній. Читатель, судя по заглавію, можетъ надѣяться, что ему дадутъ очеркъ жизни Рихарда Демеля, объективную оцѣнку его произведеній и ихъ библіографію (по этому плану издаются, напр., г. Sansot очень полезны томики „Les Célébrités d'aujourd'hui“), а вмѣсто этого получаетъ риторику и общія фразы. Гюставъ Кюль признается, что въ ранней юности творчество Демеля волновало его со сверхчеловѣческой силой; въ настоящее время г. Кюль относится къ своему кумиру болѣе критически, что не мѣшаетъ ему, однако, писать о Демелѣ: „Er befreite die menschlichen Triebe zum Bewusstsein, das menschliches Bewusstsein zur Hingabe an den Trieb. Er überwand das Unwillkürliche, auch das Gewissen, das eben unwillkürlich ist“ и т. д. Наибольшее мѣсто въ книгѣ отведено характеристикѣ книги „Aber die Liebe“: г. Кюль считаетъ, что въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Демель только углублялъ и развивалъ свои первыя вдохновенія. Въ томикѣ много иллюстрацій, но,—то же, какъ всегда, въ этой серіи,—далеко не всѣ можно признать нужными и интересными: кромѣ двухъ портретовъ самого Демеля, помѣщены портреты его первой и второй жены, два портрета его отца и два портрета его матери. фотографія, гдѣ снятъ Демель съ матерью и со своими дѣтьми, и т. под.

—вѣ.

Das Lustwäldchen. Galante Gedichte aus der deutschen Barockzeit. Gesammelt und herausgegeben von Franz Blei. Hans v. Weber, Verlag. München. 1907.

Нѣмецкіе поэты XVII и начала XVIII вѣка пользуются самой дурной репутаціей и считаются плоскими и фальшивыми подражателями современныхъ имъ французскихъ поэтовъ. Францъ Блей попытался, однако, собрать изъ ихъ произведеній небольшую антологию, въ которой не мало вещей дѣйствительно поэтическихъ и одушевленныхъ. Въ книгу вошли стихи Христіана Гофмансвальдау (1618—1679 г.), Христіана Гюнтера (1695—1723 г.) и болѣе чѣмъ 20-ти другихъ, имена



которыхъ до сихъ поръ были хорошо извѣстны только специалистамъ. Украшеніемъ книги служить прекрасная обложка К. Сомова.

А.

**Büchereinlauf.**

F. Dostoejewski. Politische Schriften. Mit einer Einleitung von Dmitri Mereschkowski. Uebertr. v. E. Rahsin. R. Piper n. C. München. 1907.

Das Lustwäldchen. Galante Gedichte aus der deutscher Barockzeit. H. v. Weber. Verlag. München. 1907.

Alexander Eliasberg. Russische Lyrick der Gegenwart. R. Piper u. C. München. 1907.

Igor Grabar. Zwei Jahrhunderte Russischer Kunst. Sonderabdruck aus der Zeitschrift für bildende Kunst. Leipzig. 1906.



## ИЗЪ ЖУРНАЛОВЪ.

### О Рильке.

„Das Litterarische Echo“ посвятило статью поэзии Райнера Марія Рильке. Авторъ статьи, прежде всего, останавливается на внѣшней формѣ стиховъ Рильке. По его мнѣнію, поэтъ сумѣлъ создать себѣ совсѣмъ особую, безусловно оригинальную форму. Всякій, кто прочелъ хотя бы нѣсколько стиховъ этого поэта, всегда узнаетъ каждое новое его стихотвореніе среди тысячи другихъ. Форма Рильке должна быть признана едва ли не наиболѣе утонченной изъ всѣхъ формъ, въ которыя куда-либо облакалось человѣческое слово. Всѣ средства, всѣ сложныя тонкости и ухищренія стихотворной техники доступны Рильке въ такой степени, какъ, можетъ быть, ни одному поэту новаго и стараго времени. Стихотворное мастерство Рильке, поистинѣ, неисчерпаемо и безпредѣльно. Всѣ приемы онъ заставляетъ звучать совершенно по-новому, сочетая и варьируя ихъ безконечно-разнообразными способами. Грамматическія приемы, приемы для глаза, внутреннія приемы встрѣчаются у него непрерывно. Почти ни одинъ стихъ не обходится безъ аллитераціи или ассонанца. Enjambement употребляется имъ самымъ мастерскимъ образомъ. Размѣръ его отличается совершенно исключительною гибкостью и граціей. Весьма ярко выдѣляются всѣ особенности формы Рильке, если сравнить его творчество съ творчествомъ другого большаго мастера стиля—Стефана Георге. Форма Георге похожа на чрезвычайно искусно вытѣленную, безупречно красивую чашу, въ которую поэтъ собираетъ чувства, мысли и настроенія, рождающіяся въ его душѣ; форма Рильке—плащъ изъ мягкаго шелка, послушно облегающій и въ совершенствѣ подчеркивающій тѣ линіи, что онъ покрываетъ. У Георге первенствуетъ форма, у Рильке—содержаніе. У Георге стихъ—вещь въ себѣ, и размѣры его шествуютъ съ непоколебимою твердостью боевого отряда; размѣръ у Рильке—нѣчто чрезвычайно подвижное и измѣнчивое. Рильке съ особенною любовью употребляетъ vers libre: онъ стре-

мится сообщить каждой фразѣ, каждому стиху его особую, единственно ему присущую, музыку, уловить тѣ повышенія и пониженія рѣчи, изъ которыхъ Гербертъ Спенсеръ пытался вывести всю музыку. Часто пользуется Рильке и синкопами—внезапными перерывами размѣра, чѣмъ достигаетъ иногда особенно тонкаго впечатлѣнія; но главной характерной чертой его стиха все же остаются аллитераціи. Въ стихахъ Рильке осуществилось желаніе Верлена: „de la musique avant toute chose“. Всегда звучать эти стихи, всегда мелодичны; ни одинъ изъ нихъ не оскорбитъ уха жесткостью или грубостью.

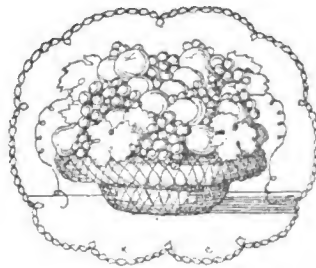
Вообще Рильке, прежде всего и всегда,—необычайно музыкальный поэтъ. Эта музыкальность выражается не только въ формѣ его стиховъ, но и въ характерѣ его фантазіи. Рильке представляетъ изъ себя то, что современная психологія называетъ слуховымъ типомъ. Какъ существуютъ люди, которые всѣ воспріятія и переживанія немедленно переводятъ въ наглядные и картинные формы и образы, такъ существуютъ и такіе, которые имѣютъ, главнымъ образомъ, слуховыя ассоціаціи. Къ такимъ болѣе рѣдкимъ типамъ принадлежитъ Рильке. Помимо того, что всѣ его стихи совершенно исключительно музыкальны, большинство его образовъ и сравненій взяты также изъ міра звуковъ. Другой характерной чертой Рильке является его чрезвычайно повышенная воспримчивость и чувствительность, безконечное усложненіе и дифференціація нервной системы. Точно золотая арка, звучитъ его нервная система при малѣйшемъ прикосновеніи жизни. Но, тѣмъ не менѣе, всему тому, что обыкновенно объединяется словомъ „жизнь“, искусство Рильке вполнѣ чуждо. Было бы напрасно искать у него обычныхъ сюжетовъ лирической поэзіи. Никогда не воспѣваетъ онъ ни весны, ни фіалокъ, ни ландышей, ни даже любви въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова. Онъ гораздо болѣе любитъ ангеловъ, монаховъ и рыцарей,—тѣхъ рыцарей и монаховъ, что снились Беклину и Томъ. Не о свѣжемъ зеленомъ лѣсѣ, но о фонтанахъ, о тихихъ прудахъ и таинственныхъ аллеяхъ въ вечернемъ паркѣ говоритъ онъ. Въ его творествѣ есть что-то напоминающее Шопена. У обоихъ—безконечная мягкость и нѣжность, у обоихъ—мечтательная вкрадчивость ритмовъ, и потомъ вдругъ—пышные рыцарскіе мотивы.

Въ заключеніе авторъ говоритъ о послѣдней книгѣ Рильке „Stundenbuch“, гдѣ поэтъ ставитъ себѣ очень обширныя задачи. Эта книга псалмовъ можетъ быть названа пантеистическимъ молитвенникомъ. Поэтъ оживляетъ и обожествляетъ все окружающее, во всемъ видитъ Бога. Въ книгѣ есть рядъ безсмертныхъ стиховъ и много глубокихъ идей, неразрывно слитыхъ съ чарующей прелестью стиля Рильке.

**Апология логики.**

Подъ такимъ заголовкомъ помѣщена въ „Neue Rundschau“ замѣтка о книгѣ Верхарна „La Multiple Splendeur“.

Верхарнъ давалъ намъ до сихъ поръ,—говорить авторъ,—мрачныя бездны души, какъ бы покрытыя чудовищной, пропитанной кровью и преступленіями фауной—родину безумія, мятежа и ужаса передъ самимъ собою. И только потому, что онъ умѣлъ глядѣть въ эти бездны, могла дойти до энтузіазма его страсть къ логикѣ, къ выразительности, къ слову, ко всему, что живить и движеть его могучіе ритмы. Платоновскія сказки объ обители блаженныхъ, сказки, говорящія намъ о лугахъ, испещренныхъ всѣми цвѣтами радуги, о горахъ изъ яшмы и смарагда, о священныхъ храмахъ,—пріютахъ божества,—кажутся намъ теперь слишкомъ безмятежными и нѣсколько позитивными фантазіями. Подобныя грезы должны расцвѣтать надъ пропастью зла и мрака, должны быть вырваны у смерти, уже самымъ возникновеніемъ своимъ представляя чудо. Именно такое ощущеніе даютъ упомянутые стихи Верхарна. У Платона блаженные радуются предметамъ внѣшняго міра, краскамъ драгоценныхъ камней и блестящей поверхности моря. У Верхарна вещи обнажены отъ всякихъ поверхностей и покрововъ, всё — только смѣшеніе тьмы и свѣта. Но въ своихъ стихахъ — онъ даетъ имъ новую внѣшность, которая вся—форма, выразительность, ритмъ, которая полна такой ослѣпительной лучезарности, что въ сравненіи съ нею все эллинское кажется темнымъ и тяжелымъ.




---

Редакторъ-издатель С. А. ПОЛЯКОВЪ.

## ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ЕЖЕМЯСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСКУССТВЪ И ЛИТЕРАТУРЫ

# «В Ъ С Ы»

1907. ГОДЪ ИЗДАНІЯ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Выходитъ 12 разъ въ годъ, въ концѣ каждого мѣсяца, книжками около 100 страницъ; въ каждомъ № помѣщается отъ 1 до 4 рисунковъ на отдѣльныхъ листахъ (черныхъ и въ краскахъ), а въ текстѣ заставки и концовки.

Списокъ сотрудниковъ къ 1 октября 1907 г.

Общій отдѣлъ: Ю. Айхенвальдъ, С. Ауслендеръ, Ю. Балтрушайтисъ, К. Бальмонтъ, А. Блокъ, Валерій Брюсовъ, Андрей Вѣлый, Ю. Верховскій, М. Волошинъ, З. Гиппиусъ, С. Городецкій, В. Гофманъ, Н. Гумилевъ, Вяч. Ивановъ, А. Кондратьевъ, А. Курсинскій, М. Кузминъ, Д. Мережковскій, Н. Минскій, Ст. Пшибышевскій, В. Розановъ, Б. Садовской, С. Соловьевъ, Ө. Сологубъ, Евг. Тарасовъ, К. Чуковский, Эллисъ.

Библиографическій отдѣлъ: Аврелій, В. Бакулинъ, И. Бороздинъ, С. Ещбоевъ, В. Каллашъ, Антонъ Крайвій, Н. Лернеръ, М. Ликиардопуло, Н. Петровская, П. Пильскій, В. Саводникъ, А. Яценко.

Отдѣлъ искусствъ: Лорансъ Биньонъ, Игорь Грабаръ, С. Кавалькоресси, Вс. Мейерхольдъ, С. Рафаловичъ, Альдо де-Ринальдисъ, А. Ростиславовъ, И. Щукинъ, П. Эттингеръ.

Французская литература: Ренэ Арко, Ренэ Гиль, Режи де-Гурмонъ, Жанъ де-Гурмонъ, Эсмеръ-Вальдоръ (А. Мерсеро).

Нѣмецкая литература: В. Гофманъ, А. Лютеръ, М. Шикъ, А. Элиасбергъ.

Англійская литература: Лордъ Альфредъ Дёгласъ, В. Морфигъ, С. Мэзонъ, Робертъ Россъ, А. Симонъ, Моръ-Эли.

Итальянская литература: Дж. Амендола, Ф. Джолли, Дж. Папини, Энрико Р.

Скандинавская литература: Ю. Балтрушайтисъ, А. Йенсенъ, Дагни Кристенсенъ, С. Поляковъ.

Славянскія литературы: В. Маковский, И. Карасикъ, Г. Касперовичъ.

Греческая литература: М. Ликиардопуло, П. Нирванасть.

Латышская литература: В. Эглитс.

За 1904—1907 г. въ „Вѣсахъ“ помѣстили свои рисунки художники—русские: А. Араповъ, Л. Бакстъ, В. Борисовъ-Мусатовъ (†), Д. Дриттенпрейсъ, Павелъ Кузнецовъ, В. Миліоти, Д. Митрохинъ, Н. Рерихъ, Н. Салуновъ, А. Силинъ, К. Сомовъ, С. Судейкинъ, М. Шестеркинъ, А. Якимченко, Н. Теофилаковъ и др.

Иностранцы: К. Брунелески, В. Вавженекій, К. Вальзеръ, Е. Инго, Ф. Кристофъ, Р. Костети, Е. Надельманъ, Шарль Лакостъ, Тео ванъ-Риссельбергъ, Од. Радонъ, Фидусъ.

Подписная цѣна на годъ: пять рублей съ доставкой; на полгода три рубля; за границу на годъ—семь рублей.

Всѣ подписчики „Вѣсовъ“ пользуются при выпискѣ изъ редакціи изданій к-ва „Скорпіонъ“—скидкой отъ 15 до 50<sup>0</sup>/о.

Подписка на „Вѣсы“ принимается: 1) въ Москвѣ, въ главной конторѣ журнала,—Театральная площадь, домъ Метрополь, кв. 23, книгоиздательство „Скорпіонъ“; 2) въ С.-Петербургѣ, въ отдѣленіи конторы—Садовая, 18, книжный складъ „Коммисіонеръ“; 3) въ Киевѣ—въ магазинѣ Л. Издиковскаго, Крещатикъ, 29; 4) въ Берлинѣ—у Edm. Meyer Buchhandl., Berlin, W.; Potsdamerstrasse, 24 в.; 5) во всѣхъ большихъ книжныхъ магазинахъ Москвы, С.-Петербурга и провинціи.

НОВАЯ КНИГА

## Russische Lyrik der Gegenwart

deutsch von

**Alexander Eliasberg**

Mit einer Einleitung und 4 Bildnissen. München 1907.

Выписывать можно черезъ контору журнала „Вѣсы“. Цѣна 1 р.  
Пересылка на счетъ заказчика.

Slaw 20.17  
v 1



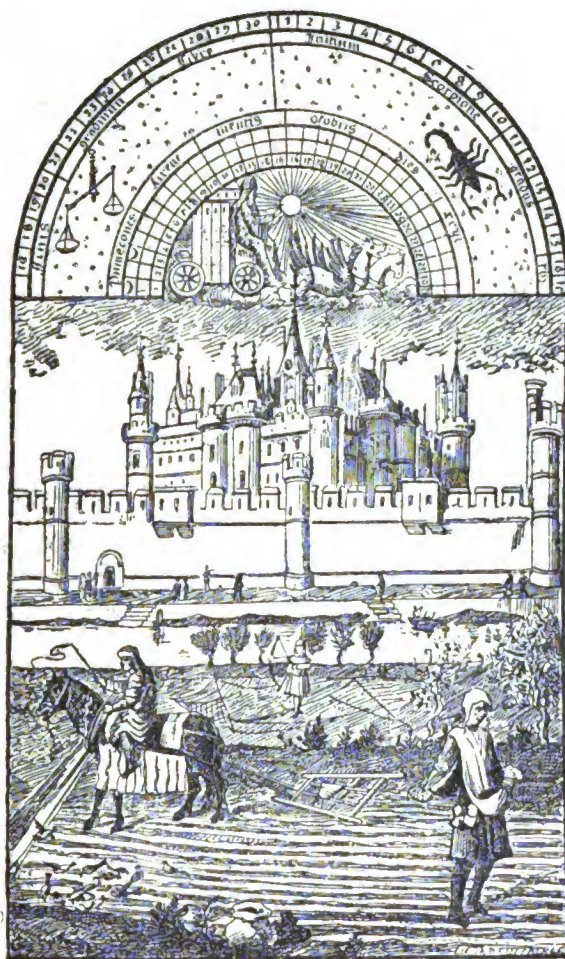




ВѢСЫ ☉ ОКТЯБРЬ ☉ 1907

La Balance. Octobre. 1907

Годъ изданія четвертый. Quatrième année.



**Книгоиздательство «СКОРПИОНЪ»**

Москва, Театральная пл., д. Метрополь, кв. 23

Moscou, Place de Théâtre, m. Métropole, 23.

# «ВѢСЫ» ЕЖЕМѢСЯЧНИКЪ ИСКУССТВЪ И ЛИТЕРАТУРЫ.

Годъ изданія четвертый. 1907. N 10, октябрь.

## СОДЕРЖАНІЕ.

### Стихи, повѣсти, разказы.

Болеславъ Лесьмянъ. Лунное похмелье. 6 стихотвореній . . .	7
М. Кузминъ. Кушетка тети Сонн. Разказъ . . . . .	19
Валерій Брюсовъ. Огненный Ангель. Повѣсть XVI в. Глава VIII.	31

### Литература. Русская литература.

Валерій Брюсовъ. Новые сборники стиховъ. (К. Бальмонтъ. Жаръ-Птица. — С. Городецкій. Перунъ. — В. Башкинъ. Стихотворенія. — В. Стражевъ. О печали свѣтлой) . . . . .	45
Эллисъ. Что такое литература. (О книгѣ С. Венгерова: Очерки по исторіи русской литературы) . . . . .	54
Викторъ Гофманъ. Велекиндъ по-русски . . . . .	58
Библиографія. (Э. Верхаръ. Обезумѣвшія . . . . . Пер. Н. Васильева. — И. Гриневская. Сборникъ . . . . . монологовъ. — В. Станюковичъ. Пережитое. — Н. М. Гусаръ. И. С. Тургеневъ. — М. Мэтерлинкъ. Пеллеасъ и Мелизанда и стихи въ переводѣ Валерія Брюсова) . . . . .	64
Новыя книги, доставленныя въ редакцію. . . . .	72

### Французская литература.

Ренэ Гиль. Новая біографія Верлена . . . . .	74
Ренэ Гиль. Новые сборники стиховъ. (Jean Ott, L'Effort des Races. — Abel Pelletier, Marie-des-Pierres.) . . . . .	80
Некрологъ и Замѣтки. . . . .	87

### Искусства.

П. Эттингеръ. Выставка-распродажа картинъ въ помѣщеніи Общ. Любителей Художествъ. . . . .	89
---	----

### Объявленія.

HARVARD COLLEGE LIBRARY  
GIFT OF  
ARCHIBALD CARY COOLIDGE

Nov. 14, 1922

## СОДЕРЖАНИЕ.

### Рисунки.

- В. Дриггенпрейсъ. Бахчисарай. (Трехцветная автотипія). Передъ стр. . . . . 32  
Его же. Фонтанъ слезъ. Передъ стр. . . . . 48  
Его же. Заставки и виньетки по мотивамъ Бахчисарая—стр. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 31, 79.  
Обложка и надписи (стр. 45 и 89) Н. Теофилактова.  
Фронтисписъ—миниатюра XIV в.

### SOMMAIRE.

Boleslav Lesmian. Poèmes.—M. Kouzmine. La Couchette de la tante Sophie. Nouvelle.—Valère Brussov. L'Ange igné. Roman de la vie allemande du XVI siècle. Chap. VIII.

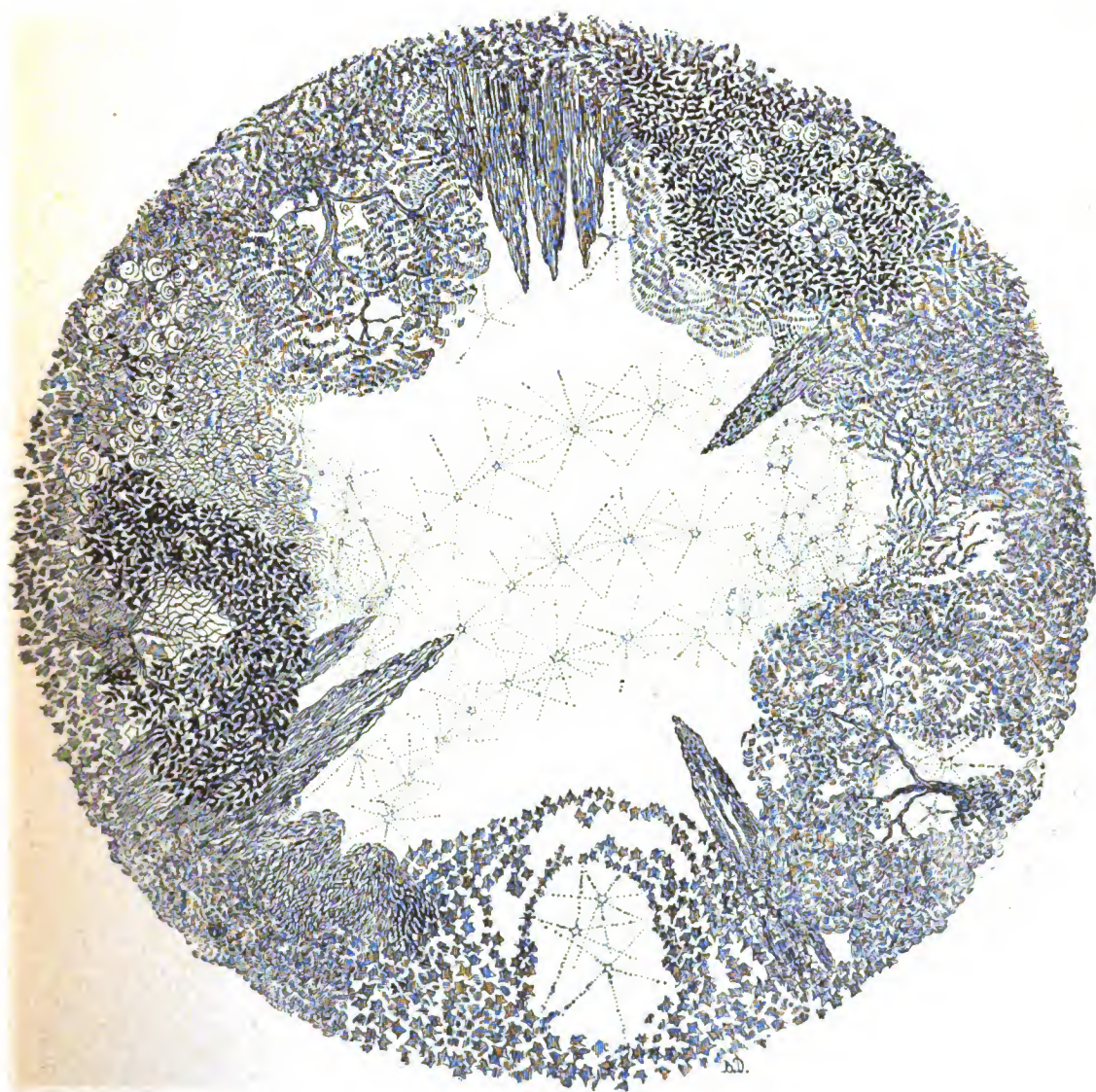
Littérature russe. Valère Brussov. Nouveaux recueils de poésies.—Ellis. Qu'est ce que la littérature?—Victor Hoffmann. Les traductions russes de Frank Wedekind.—Accusés de réception.

Littérature française. René Ghil. Une biographie nouvelle] de Paul Verlaine.—René Ghil. Nouveaux recueils de poésie (Comptes-rendus sur des livres de M. M. Jean Ott et Abel Pelletier).—Notes.

Beaux-arts. P. Ettinger. A propos d'une exposition à Moscou.

Dessins. „Baktchisaray“ (trichromie) et „La Fontaine des Larmes (hors texte) — deux dessins par V. Drittenpreiss. — Frontispice (page 5), en têtes et culs-de-lampe d'après les ornementations de Baktchisaray par le même.—Couverture et inscriptions (pages 45 et 89). par N. Théophilak. 4 o ff—Frontispice-générale (page 1)—miniature du Livre d'Heures du duc de Berri.







# ЛУННОЕ ПОХМЕЛЬЕ.

6 СТИХОТВОРЕНІЙ.

## 1. НОЧЬ.

Огнемъ трепещетъ ночь, и мракъ-звѣздопоклонникъ  
Чуть-чуть колышится подъ говоръ тишины,—  
Луною мраморный обрызганъ подоконникъ  
И тѣни нашихъ рукъ на немъ удлинены...

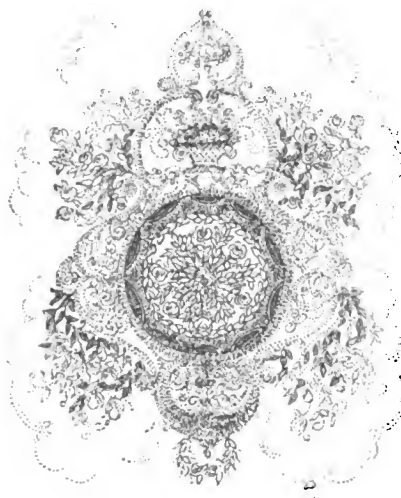
Теперь—виднѣ сонъ, теперь—забота краше,  
И полусвѣтитъ міръ въ эфирѣ полутьмы,  
И тѣни нашихъ рукъ намъ кажутся не наши,  
Какъ будто у окна сошлись не только мы!..

Какъ будто кромѣ насъ—любовнѣй и безсоннѣй  
Заслушались мечтой нѣмая существа,  
Что съ небомъ связаны судьбой потусторонней  
И шаткой тайною воздушнаго родства!

Для нихъ сплетеньями серебряныхъ извилинъ  
Туманится ручей въ полуночномъ огнѣ,  
Онъ углубленъ въ себя и грезой обезсилень,  
И край русалочный онъ видитъ въ полуснѣ.

Привольнѣи облакамъ блеснится и живетъ,  
Слышнѣе, какъ цвѣты, задумавшись, цвѣтутъ...  
Душа внимательно и жутко спознается  
Съ неувимостью восторговъ и причудъ!

Теперь—виднѣе сонъ, теперь—забота краше,  
И полусвѣтитъ міръ въ эфирѣ полутьмы,  
И тѣни нашихъ рукъ намъ кажутся не наши,  
Какъ будто у окна сошлись не только мы...





## 2. БѢГЛЫЙ СОНЪ.

Я—твой блѣдный сонъ, непонятный сонъ,  
Твой поклонъ звѣздамъ, золотой поклонъ!

Я приснился вдругъ, но не вдругъ исчезъ,  
Ты ловилъ меня въ темнотѣ небесъ, —

Но съ твоихъ рѣсницъ я спорхнулъ къ волнѣ  
И плыву одинъ, безъ тебя—въ челнѣ!

Я люблю весломъ заглянуть ко дну,  
И люблю я руль погружать въ луну,—

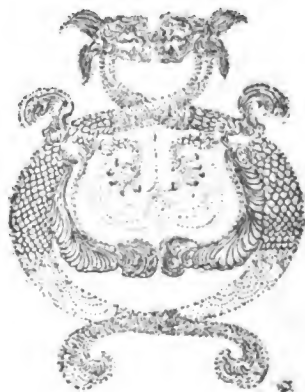
Въ ту луну, что спитъ въ отраженьѣ водъ,—  
Сонъ приснился ей, сонъ по ней плыветъ!

Я плыву по ней, по волнамъ мечты,  
Но куда, зачѣмъ—не узнаешь ты!

У меня челнокъ—золотѣй огня,  
Не вернусь къ тебѣ, не зови меня!

Я—бѣглець твоихъ удивленныхъ глазъ,  
Измѣнилъ я имъ въ полуночный часъ...

Я уже не твой, я не другъ тоски,—  
Я—свободный Сонъ голубой рѣки!..



## 3. НОВОЛУННИЦЫ.

Надъ рѣкою, во мглѣ, по слѣдамъ тишины  
Новолунницы вьются толпой,—  
Какъ внезапные сны прихотливой луны,  
Вьются, пляшутъ, дрожать, какъ внезапные сны,  
Внѣ меня—и во мнѣ—и со мной!

И куда бѣ ни скользнулъ взоръ мой, шопотъ иль стихъ,—  
Новолунницы тамъ и не тамъ!..  
Этимъ именемъ ихъ—золотыхъ, неземныхъ,—  
Я назвалъ и ласкалъ этимъ именемъ ихъ,  
И ласкалъ и смущалъ по ночамъ...

Но отъ ласкъ и отъ встрѣчъ умираютъ онѣ,  
За четой погибаетъ чета...  
Вся въ огнѣ и во снѣ ночь поетъ о лунѣ,  
И колыхнется грудь—вся въ огнѣ и во снѣ,  
И горить, разростаясь, мечта.

Но отъ ласкъ и отъ встрѣчъ нужно ихъ сторонить,  
Ты плясуній къ себѣ не зови!  
Страшно ихъ полюбить и любовью убить  
И убитыхъ ласкать... Но страшнѣй не любить  
И страшнѣй не покаяться въ любви!

Чей же шопоть смутилъ этотъ пляшущій бредъ?  
Я ль шепнулъ о любви иль не я?  
Да и нѣтъ! Мой привѣтъ всѣмъ, которыхъ ужъ нѣтъ,  
Всѣмъ, погибшимъ отъ ласкъ,—мой восторгъ и привѣтъ,  
Новолунницамъ пѣсня моя!

Пусть отъ зноя любви умирають онѣ, —  
За четой золотая чета, —  
Пусть въ огнѣ и во снѣ ночь поетъ о лунѣ,  
Пусть колышется грудь—вся въ огнѣ и во снѣ,  
Пусть горить, разростаясь, мечта!



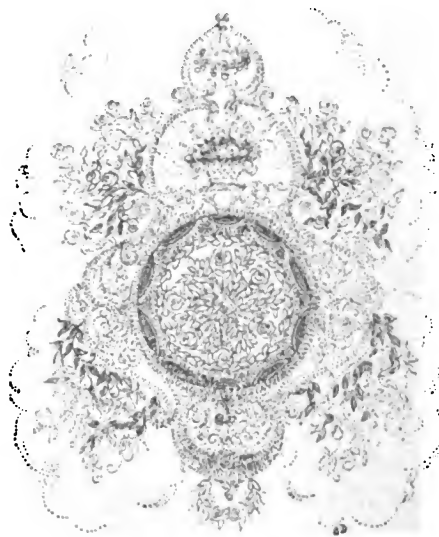
## 4. ПОЛУМѢСЯЦЪ НАДЪ РАКИТОЙ.

Полумѣсяцъ надъ раkitой,—  
Ночь видна и ночь слышна,—  
Заперть садъ, окно открыто:  
Ночь видна и ночь слышна...  
Надъ рѣкою беззаботной  
Шумъ проходитъ мимоletный,  
А въ рѣкѣ, смѣшавшись плотно,  
Плещеть небо и волна.

Небо плещется съ волною,  
Волны ходятъ въ небесахъ,—  
Тьма за свѣтомъ, свѣтъ за тьмою  
Волны ходятъ въ небесахъ...  
Вѣтеръ буйный и не буйный  
Дышитъ пѣсней тихоструйной,—  
Сонъ я чую поцѣлуйный  
На глазахъ и на губахъ...

Ночь кругомъ... Я вспоминаю  
Утро раннею весной,  
Шумъ дождя и яркость мая,  
Утро раннею весной!  
Въ небесахъ мечтою алой  
Солнце влажное блистало  
И, блистая, разцвѣтало  
Нѣжной радугой—дугой!

Полумѣсяцъ надъ рѣкою,  
Ночь видна и ночь слышна.  
И во мнѣ и надо мною  
Ночь видна и ночь слышна,  
Небо въ душу мнѣ глядится,  
Кто-то шепчетъ и стучится:  
Садъ мой запертъ... мнѣ не спится,  
Сонъ тревожить тишина.



## 5. ДРЕВНЯЯ ПОВѢСТЬ.

Начиналась она приблизительно такъ — эта повѣсть минувшаго вѣка:  
Боги любятъ людей, и прекрасно вдвойнѣ—въ маскѣ бога—лицо человѣка.

Надъ цвѣтущей землей пламенѣла весна, небеса были знойно-лазурны,—  
Въ это время, какъ разъ, Луній Старшій съ трудомъ надѣвалъ золотыя котурны,

Съ нетерпѣніемъ онъ выжидалъ торжества, завершеннаго сномъ эпилога:  
Въ эпилогѣ ему приходилось явить—ликъ безумно прекраснаго бога.

Съ дикой гордостью онъ предъ толпою предсталъ—властелинъ ея слуха и зрѣнья,  
И божественны были всѣ рѣчи его и божественны были движенья!

И казалось, что онъ былъ Зевеса сильнѣй и что молній полна его тога!  
Восторгалась толпа: онъ искусно явилъ ликъ безумно прекраснаго бога.

А кончалась она приблизительно такъ—эта повѣсть минувшаго вѣка:  
Не похожа судьба вѣковѣчныхъ боговъ на земную судьбу человѣка!

Луніи Старшіи давно отошелъ навсегда въ царство грустныхъ тѣней и видѣній,  
И забыта его молньеносная рѣчь, и забыть его пламенный геній!

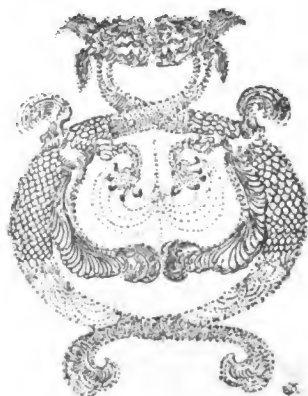
Утверждаютъ, что онъ храмъ Зевеса поджегъ и—безумный—погибъ отъ пожара,  
Но пѣвцы говорятъ, что любилъ онъ луну и отъ луннаго умеръ удара!..

Есть завѣтная ночь средь весеннихъ ночей, есть мгновенье средь лунныхъ мгновений,  
То мгновенье, когда все возможно и все лишь зависить отъ грёзъ и хотѣній.

По такимъ, по ночамъ, въ отдаленіи небесъ, тамъ, гдѣ тучи проходятъ сквозь тучи,  
Появляется тѣнь, еле зримая тѣнь, призракъ блѣдный, но дивно могучій!

И лишь только на мигъ призакрыется мглой кругъ луны молчаливо-безбурной,  
Эта блѣдная тѣнь надѣваетъ съ трудомъ, въ темнотѣ, золотыя котурны...

Эта блѣдная тѣнь еле слышно твердитъ молньеносную рѣчь эпилога  
И являетъ она—высоко, въ небесахъ—ликъ безумно-прекраснаго бога!





## 6. ЛУННЫЙ ЛѢТОПИСЕЦЪ.

Столѣтній, одинокій,  
Свои онъ пишетъ строки  
Въ туманѣ, гдѣ луна  
Полувидна.

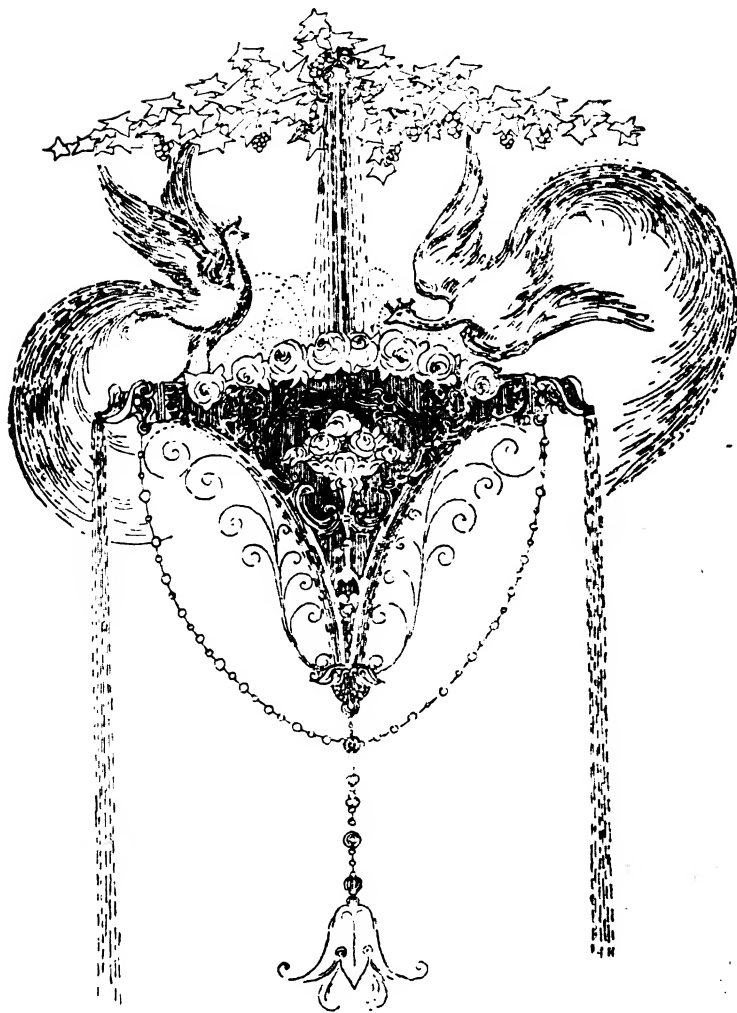
Онъ пишетъ о побѣдахъ,  
О правдѣхъ и дѣдахъ,  
О лунномъ злѣ-добрѣ  
И серебрѣ.

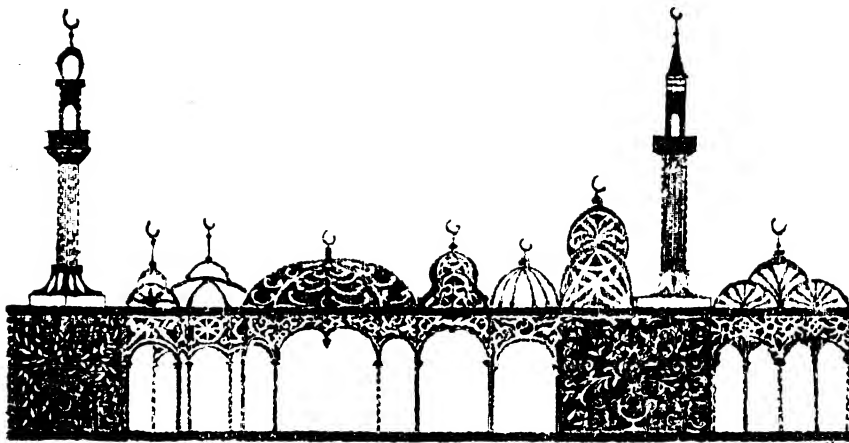
О призракахъ и чарахъ  
И о влюбленныхъ парахъ:  
Зачѣмъ сошлись въ саду,  
Въ какомъ году...

О маяхъ и апрѣляхъ,  
О лютняхъ и свирѣляхъ,  
О вздохахъ на лунѣ  
И обо мнѣ.

А я, безсонной ночью,  
Слѣдя его воочью,  
Горя ночнымъ огнемъ,  
Пишу о немъ.

Болеславъ Лесьмянъ.





## КУШЕТКА ТЕТИ СОНИ.

Эту правдивую исторію  
посвящаю своей сестрѣ.

Я такъ долго стояла въ кладовой между старымъ хламомъ, что почти утратила воспоминанія моей молодости, когда вышитые на моей спинкѣ турокъ съ трубкой и пастушка съ собачкой, ищущей блохъ, поднявъ заднюю лапку, — блестя яркими красками, желтой, розовой и голубой, не запыленными и не потускнѣвшими; и теперь меня занимаютъ больше всего событія, свидѣтельницами которыхъ я оказалась передъ тѣмъ, какъ перейти снова, вѣроятно, уже въ безнадежное забвеніе. Меня обили новой шелковой матеріей цвѣта массака и, поставивъ въ проходную гостиную, бросили на мою ручку шаль съ яркими розами, будто какая-нибудь красавица, время моей юности, оставила ее, внезапно спугнутая съ нѣжнаго свиданья. Впрочемъ, эта шаль всегда лежала въ одномъ и томъ же положеніи, и, когда случайно генераль или сестра его, тетя Павла, сдвигали ее, Костя, устраивавшій проходную гостиную по своему вкусу,

снова приводилъ эту нѣжную пеструю ткань въ прежній изысканно-небрежный, неподвижный видъ. Тетя Павла протестовала противъ моего извлеченія изъ кладовой, говоря, что на мнѣ умерла бѣдная Софи, что изъ-за меня разстроилась чья-то свадьба, что я приношу несчастье семьѣ, но меня защищали не только Костя и его пріатели-студенты и молодые люди, но и самъ генералъ сказалъ:

— Это все предрасудки, Павла Петровна! Если и было въ этой каракатицѣ какое-нибудь волшебство, оно выдохлось въ кладовой за 60 лѣтъ; и потомъ она стоитъ на такомъ проходѣ, что никто ни умирать, ни дѣлать предложеній на ней не станетъ!

Хотя мнѣ не очень льстило названіе «каракатицы», и генералъ оказался не дальновиднымъ, но я водворилась въ проходной гостиной съ зеленоватыми обоями, имѣя напротивъ шкапикъ съ фарфоромъ, надъ которымъ висѣло старое круглое зеркало, смутно отражавшее рѣдкихъ моихъ посѣтителей. У генерала Гамбакова, кромѣ сестры Павлы и сына Кости, жила еще дочь, Настя, институтка.

\*  
\* \*

Сосѣдняя комната, выходя на западъ, пропускала въ мою гостиную длинные лучи вечерняго солнца, задѣвавшіе какъ разъ шаль съ розами, которая блестѣла и играла тогда съ удвоенной прелестью. Теперь эти лучи ложились на лицо и платье Насти, сидѣвшей на мнѣ и казавшейся такой тоненькой, что было странно не видѣть тѣхъ же лучей сквозь нее на ея собесѣдникѣ, будто ея фигура была достаточная преграда румяному свѣту. Она говорила съ братомъ о затѣваемомъ на святкахъ спектаклѣ, гдѣ предполагали ставить дѣйствіе изъ «Эсѳири», но, казалось, мысли дѣвушки были далеки отъ предмета разговора. Костя замѣтилъ:

— Я думаю, Сережа намъ тоже могъ бы изобразить что-нибудь: онъ же достаточно хорошо произносить.

— Что жъ, Сергѣй Павловичъ будетъ одной изъ моихъ слу-жанокъ, молодой израильтянкой?

— Зачѣмъ? Я терпѣть не могу travesti, хотя къ нему пошелъ бы женскій нарядъ.

— Иначе, кого же онъ будетъ играть?

Я поняла, что рѣчь идетъ о Сергѣѣ Павловичѣ Павиликинѣ, товарищѣ молодаго Гамбакова. Миѣ онъ всегда казался незначи-тельнымъ, хотя и очень красивымъ мальчикомъ. Коротко об-стриженные темные волосы дѣлали болѣе полнымъ его круглое, безъ румянца, лицо; у него былъ хорошій ротъ и большіе свѣтло-сѣрые глаза. Высокій ростъ смягчалъ его нѣкоторую до-родность, но онъ былъ очень тяжелъ, всегда на миѣ развали-вался и осыпалъ меня пепломъ поминутно куримыхъ имъ папи-росъ съ очень длинными мундштуками, и разговоръ его былъ самый пустой. Бывалъ онъ у насъ почти каждый день, несмотря на неудовольствіе Павлы Петровны, не любившей его.

Барышня, помолчавъ, начала неувѣренно:

— Ты хорошо знаешь Павиликина, Костя?

— Вотъ вопросъ! Это же мой лучшій другъ!

— Да?.. Развѣ это такъ ужъ долго, что вы — друзья?

— Съ этого года, какъ я поступилъ въ университетъ. Но развѣ это что-нибудь значить?

— Нѣтъ; я просто спросила, чтобы знать...

— Почему тебя интересуетъ наша дружба?

— Я бы хотѣла знать, можно ли ему довѣрять... я бы хотѣла...

Костя перебилъ ее со смѣхомъ:

— Смотря потому, въ чемъ! Въ денежныхъ дѣлахъ не совѣ-тую!.. Впрочемъ, онъ хорошій товарищъ и не скупъ, когда при деньгахъ, но онъ бѣденъ...

Настя, промолчавъ, сказала:

— Нѣтъ, я совѣмъ не о томъ, а въ смыслѣ чувствъ, при-вязанности?

— Какія глупости! Чѣмъ набиваютъ головы у васъ въ инсти-тутахъ? Почему я знаю!.. Ты влюбилась въ Сережу, что ли?

Не отвѣчая, барышня продолжала:

— У меня къ тебѣ просьба: ты ее исполнишь?

- Насчетъ Сергѣя Павловича?
  - Можетъ быть.
  - Ну, ладно, хотя имѣй въ виду, что онъ—не большой охотникъ возиться съ вашимъ братомъ.
  - Нѣтъ, Костя, ты мнѣ общай!..
  - Да, хорошо, сказалъ ужъ! Ну?
  - Я скажу тебѣ вечеромъ,—промолвила Настя, смотря въ бѣгающіе глаза брата, каріе, какъ и у нея, съ искрами.
  - Вечеромъ, такъ вечеромъ,—безпечно произнесъ молодой человекъ, вставая и поправляя шаль съ розами, которую освободила тоже поднявшаяся дѣвица.
- Но лучъ вечерняго солнца не заигралъ на нѣжныхъ розахъ, такъ какъ Настя, выйдя въ сосѣднюю комнату, стала у окна, такая же непроницаемая для румянаго свѣта, и такъ стояла тамъ, глядя на снѣжную улицу, пока не зажгли электричества.

\*  
\* \*  
\*

Сегодня цѣлый день прямо нѣтъ покоя — такая бѣготня черезъ мою комнату! И къ чему это затѣваютъ спектакли — не понимаю? Рой какихъ-то дѣвицъ, молодыхъ людей; суетились, кричали, бѣгали, призывали какихъ-то мужиковъ что-то подпилить; таскали мебель, подушки, матеріи; хорошо, что изъ проходной гостиной ничего не взяли и не унесли мою шаль! Наконецъ, все стихло и вдали заиграли на фортепьяно. Генералъ и Павла Петровна вышли осторожно и сѣли рядомъ; старая дѣвица продолжала:

— Это будетъ семейное несчастье, если она его полюбитъ. Подумай, совсѣмъ мальчишка и какой: безъ имени, безъ состоянія, ничѣмъ не выдающійся!..

— Я думаю, ты очень преувеличиваешь; я ничего не замѣтилъ...

— Развѣ мужчины замѣчаютъ подобныя вещи? Но я, во всякомъ случаѣ, до конца буду противъ этого!

— Я думаю, что дѣло и не дойдетъ до того, чтобы быть за или противъ.

— Онъ же совершенно безнравственъ: ты знаешь, что о немъ говорятъ? Я увѣрена, что и Костю портитъ онъ. Настя — ребенокъ, она не можетъ ничего понять, — горячилась старая дама.

— Ну, матушка, про кого не говорить? Послушала бы ты сплетни про Костю! Да я не знаю, не правда ли отчасти эти басни? Это меня не касается. Отъ сплетенъ защитить развѣ только возрастъ,—вотъ какъ нашъ съ тобой!..

Павла Петровна густо покраснѣла и замѣтила коротко:

— Ты какъ хочешь; вотъ я тебя предупредила, но я и сама буду на-сторожѣ: Настя и мнѣ не чужая!

Тутъ вошла сама Настя, уже въ костюмѣ: голубомъ, съ желтыми полосами, и желтой чалмѣ.

— Папа,—торопливо заговорила она генералу,—отчего вы не смотрите репетицій?—и, не дожидаясь отвѣта, продолжала:—не дашь ли ты свой перстень нашему царю: тамъ такой громадный изумрудъ!

— Вотъ этотъ?—спросилъ удивленно старикъ, показывая старинный, рѣдкой работы, перстень съ темнымъ изумрудомъ, величиною съ крупный крыжовникъ.

— Ну, да!—беззаботно отвѣчала барышня.

— Настя, ты сама не знаешь, чего просишь!—вступилась тетка, фамильное кольцо, съ которымъ Максимъ не разстается никогда, отдать на вашу суматоху, гдѣ вы его живо потеряете? Ты знаешь, что отецъ его никогда не снимаетъ!

— На одинъ или два раза; куда же онъ дѣнется изъ комнаты, если и спадетъ съ пальца?

— Нѣтъ, Максимъ, я положительно тебѣ не позволяю его снимать!

— Видишь, тетя Павла мнѣ не разрѣшаетъ!—со смущеннымъ смѣхомъ сказалъ генералъ.

Настя ушла недовольною безъ кольца, а Павла Петровна начала утѣшать брата, жалѣвшаго опечалившуюся дѣвушку.

Снова поднялся шумъ, бѣготня, раздѣванье, прощанье.

Господинъ Павиликинъ оставался у насъ долго. Когда онъ съ Костей вышли въ мою комнату, было уже около четырехъ

часовъ утра. Остановившись, они поцѣловались на прощанье. Сергѣй Павловичъ смущенно говорилъ:

— Ты не можешь представить, Костя, какъ я радъ! Но мнѣ такъ непріятно, что это вышло именно сегодня, послѣ того, какъ ты мнѣ далъ эти деньги! Ты можешь подумать чертъ знаетъ какую гадость...

Костя, блѣдный и счастливый, со смятой прической, опять поцѣловалъ его, говоря:

— Ничего я не подумаю, чудакъ ты этакій! Это просто совпаденіе, случай, возможный со всякимъ.

— Да, но такъ неловко, такъ неловко...

— Брось, пожалуйста, весной отдашь...

— Мнѣ до зарѣзу нужны были эти 600 рублей...

Костя уже молчалъ. Постоявъ, онъ сказалъ:

— Ну, до свиданья. Завтра вмѣстѣ на «Манон».

— Да, да!..

— А не съ Петей Климовымъ?

— О, *tempi passati!* До свиданья!

— Тише затворяй двери и не стучи, проходя мимо спальни тети Павлы: она не видѣла, какъ ты вернулся, и не долюбиваетъ тебя. До свиданья!

Молодые люди простились еще разъ; было, какъ я уже сказала, около четырехъ часовъ утра.

\*  
\* \*

Не снимая послѣ прогулки иѣхвой шляпы съ розанами, Настя присѣла на край стула, между тѣмъ какъ ея кавалеръ продолжалъ ходить по комнатѣ съ чуть покраснѣвшими отъ мороза щеками. Дѣвушка легко и весело говорила, но слышалось какое то безпокойство за этимъ щебетаньемъ.

— Мы отлично проѣхались! Такъ пріятно: морозъ и солнце! Я обожаю набережную!..

— Да.

— Я страшно люблю ѣздить на лошадахъ, особенно вер-



хомъ; лѣтомъ я цѣлыми днями пропадаю въ такихъ прогулкахъ. Вы не были у насъ въ «Святой Кручѣ»?

— Нѣтъ. Я предпочитаю автомобили.

— У васъ дурной вкусъ... Вѣдь вы знаете, «Святая Круча», и «Алексѣевское», и «Льговка», это—все мое личное,—я очень богатая невѣста. Потомъ тетушка Павла Петровна дѣлаетъ меня единственной наслѣдницей. Видите,—я вамъ совѣтую подумать.

— Гдѣ ужъ намъ съ суконнымъ рыломъ въ калачный рядъ!

— Откуда у васъ такія поговорки приказчицы?

Сережа, пожавъ плечами, продолжалъ ходить, не останавливаясь. Барышня начинала раза два, щебетать все короче, и короче, какъ испорченная игрушка, наконецъ, умолкла и, когда снова раздался ея голосъ, онъ былъ уже тихій и грустный. Не снимая шляпы, она сѣла глубже и говорила въ потемнѣвшей комнатѣ, будго жаловалась сама себѣ:

— Какъ давно былъ нашъ спектакль!.. Помните? Вашъ выходъ... Какъ много измѣнилось съ тѣхъ поръ! Вы сами уже не тотъ, и я, и всѣ... Я васъ тогда еще такъ мало знала. Вы не можете представить, какъ я васъ понимаю, гораздо лучше, чѣмъ Костя! Вы не вѣрите? Зачѣмъ вы представляетесь недогадливымъ? Вамъ доставило бы удовольствіе, если бы я сама сказала то, что считается унизительнымъ для женщины говорить первой? Вы меня мучите, Сергѣй Павловичъ!

— Вы страшно все преувеличиваете, Настасья Максимовна, и мою непонятливость, и мое самолюбіе и, можетъ быть, ваше отношеніе ко мнѣ...

Она встала и сказала беззвучно:

— Да? Можетъ быть...

— Вы уходите?—встрепенулъ онъ.

— Да, нужно переодѣться къ обѣду. Вы обѣдаете не у насъ?

— Да, я обѣдаю въ гостяхъ.

— Съ Костей?

— Нѣтъ. Почему?

Она не уходила, стоя у стола съ журналами.

— Вы зайдете къ нему?

— Нѣтъ, я сейчасъ ѣду.

— Да? Ну, до свиданья! А я васъ люблю, вотъ!—вдругъ добавила она, отворачиваясь. Видя, что онъ молчитъ въ темнотѣ, скрывавшей его лицо, она быстро произнесла будто смѣющимся голосомъ:—ну, что же, вы довольны?

— Развѣ это вы находите подходящимъ словомъ?—сказалъ онъ, наклоняясь къ ея рукѣ.

— До свиданья... Теперь уходите,—молвила она, проходя въ другую комнату.

Сережа зажегъ свѣтъ и пошелъ къ комнатѣ Кости, весело напѣвая что-то.

\*  
\* \*

Генералъ вошелъ въ большомъ волненіи, держа газету въ рукахъ; Павла Петровна, шурша шелковымъ чернымъ платьемъ, быстро слѣдовала за нимъ.

— Успокойся, Максимъ! Теперь это такъ часто бываетъ, почти привыкаешь. Конечно, это ужасно, но что же дѣлать? Противъ рожна, какъ говорится, не попрешь...

— Нѣтъ, Павла, я не могу примириться: одна фуражка осталась, и кровавая, съ мозгами, каша на стѣнѣ. Бѣдный Левъ Ивановичъ!

— Не думай объ этомъ, братъ! Завтра мы отслужимъ панихиду въ «Удѣлахъ». Не думай, побереги себя: у тебя у самого дочь и сынъ.

Генералъ, красный, опустил на меня, выронивъ газету; старая дама, быстро поднявъ ее и положивъ подальше отъ брата, начала быстро о другомъ:

— Ну, что же, ты нашелъ кольцо?

Генералъ, снова затревожился:

— Нѣтъ, нѣтъ! Еще и это меня страшно беспокоитъ.

— Когда ты помнишь его послѣдній разъ?

— Я сегодня утромъ показывалъ его здѣсь, на этой самой кушеткѣ, Сергѣю Павловичу; онъ очень былъ заинтересованъ... Потомъ я соснулъ; когда я проснулся, я помню, что кольца уже не было...

— Ты его снималъ?

— Да...

— Это не благоразумно съ твоей стороны! Помимо денежной цѣнности, оно безцѣнно, какъ фамильная вещь.

— Это прямо предвѣстіе несчастій.

— Будемъ надѣяться, что смерть Льва Ивановича достаточное несчастное извѣстіе, чтобы исчерпать всю бѣду.

Генераль завздыхалъ снова. Павла Петровна не удержалась, чтобы не начать:

— Не взялъ ли его Павиликинъ съ собою? Отъ него станется!

— Зачѣмъ? Разсмотрѣть? Такъ онъ его и такъ хорошо видѣлъ и спрашивалъ, сколько за него давали антиквары и все прочее.

— Могъ и такъ, просто, взять.

— То есть, своровалъ, по-твоему?

Павла Петровна не поспѣла отвѣтить, потому что въ разговоръ вступила Настя, быстро и взволнованно вошедшая въ комнату.

— Папа!—громко заговорила она:—Сергѣй Павловичъ дѣлаетъ мнѣ предложеніе; надѣюсь, ты не противъ?

— Не теперь, не теперь!—замахалъ на нее руками генераль.

— Отчего? Что за сроки? Ты его достаточно хорошо знаешь, — сказала Настя и покраснѣла.

Павла Петровна встала, говоря:

— Я тоже имѣю голосъ, и протестую вообще противъ такого соединенія, а во всякомъ случаѣ требую, чтобы вопросъ былъ отложенъ, пока не найдется кольцо Максима.

— Какое отношеніе имѣетъ папино кольцо къ моему жениху?—спросила дѣвушка надменно.

— Мы думаемъ, что перстень у Сергѣя Павловича.

— Вы думаете, что онъ сдѣлалъ кражу?

— Да, въ такомъ родѣ.

Настя повернулась къ генералу и, не отвѣчая теткѣ, сказала:

— Ты тоже вѣришь этой баснѣ?

Отецъ молчалъ, еще болѣе красный.

Дѣвушка обратилась снова къ Павлѣ:

— Зачѣмъ вы становитесь между нами? Вы ненавидите Сережу, Сергѣя Павловича, и выдумываете всякій вздоръ! Вы ссорите отца съ Костей. Что вамъ отъ насъ надо?

— Настасья, не дерзи, не смѣй! — говорилъ отецъ, задыхаясь.

Настя его не слушала.

— Что ты бѣсишься? Почему ты не можешь потерпѣть до выясненія этой исторіи? Это принципиально, ты понимаешь?

— Я понимаю, что моего жениха не смѣютъ даже подозрѣвать ни въ чемъ подобномъ! — кричала Настя; генераль сидѣлъ молча, все краснѣя.

— Ты боишься правды?

— Правда можетъ быть только одна, и я ее знаю. И совѣтую вамъ не противиться нашему браку: вамъ же хуже будетъ!

— Ты думаешь?

— Я знаю!

Павла пристально посмотрѣла на нее.

— Развѣ нужно торопиться?

— Какая пошлость! Костя! — бросилась Настя къ вошедшему студенту: — Костя, милый, будь судьей! Мнѣ дѣлаетъ предложеніе Сергѣй Павловичъ, и отецъ, весь подъ вліяніемъ тети Павлы, не соглашается, пока не выяснится вопросъ, гдѣ его перстень.

— Чортъ знаетъ, что такое! Чтожъ, вы Павликина обвиняете въ кражѣ?

— Да! — злобно заговорила старая дама. — Ты, конечно, за него заступишься, ты выкупишь этотъ перстень. Я тоже кое-что знаю и про тебя! Отъ меня слышно, какъ скрипятъ двери выпуска твоего друга, и что при этомъ говорится. Будь благодаренъ, что я молчу!

Я никогда въ жизни не слышала такого шума, такого скандала, такой руготни. Костя стучалъ кулакомъ, оралъ; Павла взывала къ почтенію къ старшимъ; Настя говорила истерически... Но

вдругъ всѣ смокли, потому что всѣ голоса, крики и шумъ pokrылъ нечеловѣческій звукъ, изданный вдругъ поднявшимся и до сихъ поръ молчавшимъ генераломъ. Потомъ онъ грузно опустился, красно-синій, и захрипѣлъ. Павла бросилась къ нему:

— Что съ тобой? Максимъ, Максимъ?

Генералъ только хрипѣлъ, ворочая бѣлками, синій.

— Воды! воды! Онъ умираетъ, [ударъ!—шептала тетка, но Настя отстранила ее со словами:

— Пустите, я сама разстегну ему воротъ!—и опустилась на колѣни передъ диваномъ.

\*  
\* \*

Даже въ проходную гостиную проникалъ запахъ ладана и церковное пѣніе съ панихидъ по старому генералу. Временами мнѣ казалось, что это отпѣваютъ меня. Ахъ, какъ недалеко я была отъ истины!

Когда молодые люди вошли, Павиликинъ продолжалъ начатый разговоръ:

— И вотъ сегодня я получилъ отъ Павлы Петровны слѣдующую записку,—и, вынувъ изъ кармана письмо, онъ прочелъ вслухъ:

— «М. Г. Сергѣй Павловичъ! По причинамъ, которыхъ, думаю, нѣтъ надобности вамъ объяснять, я нахожу ваши визиты въ настоящіе, столь тяжелые для нашей семьи, дни излишними, и, надѣюсь, вы не откажетесь согласовать ваше поведение съ нашимъ общимъ желаніемъ. Будущее покажетъ само возможность прежнихъ отношеній, но, могу васъ увѣрить, что Анастасія Максимовна, племянница моя, въ данномъ случаѣ исполнѣ солидарна со мною. Примите и пр.».

Онъ поглядѣлъ вопросительно на Костю, который замѣтилъ ему:

— Знаешь, тетя по своему права, и я не знаю, какъ вообще отвѣтить тебѣ сестра.

— Но, согласишься, такія ничтожныя причины!..

— Т.-е. смерть папы?

— Да, но вѣдь я же не виновенъ въ ней!

— Конечно... Я читалъ недавно ту сказку изъ 1001 ночи, гдѣ человекъ бросалъ косточки финиковъ,—занятіе вполне невинное,—и, попавъ въ глазъ сыну Духа, навлекъ на себя рядъ бѣдствій. Кто можетъ напередъ расчитать послѣдствія мелочей?

— Но съ тобой-то мы будемъ видѣться?

— О, безъ сомнѣнья! Я теперь не буду жить съ нашими и всегда тебѣ радъ. Это прочтѣе, чѣмъ влюбленность институтки.

— И не боится финиковыхъ косточекъ?

— Вотъ именно...

Сережа обнялъ молодого Гамбакова, и они вмѣстѣ вышли изъ комнаты. Больше я не видала Павиликина, какъ и вообще уже мало видѣла людей, бывавшихъ въ эти дни моего послѣдняго почета.

\* \* \*

Раннимъ утромъ пришли мужики въ сапогахъ и, спросивши у Павлы Петровны: «вотъ эту?», принялись меня поднимать. Старшій все допытывался, нѣтъ ли чего еще продажнаго, но, получивъ отрицательный отвѣтъ, пошелъ за другими.

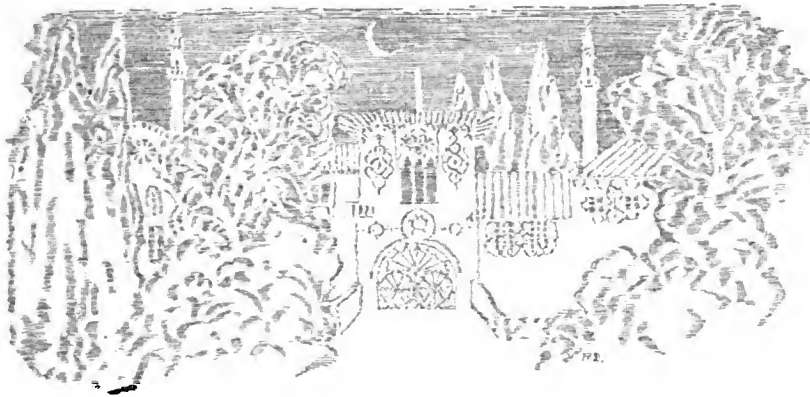
Когда меня поворачивали, чтобы пронести въ дверь, что то стукнуло объ полъ, уже лишенный по случаю близкаго лѣта ковровъ. Одинъ изъ несшихъ, поднявъ упавшій предметъ, подалъ его старой дамѣ, говоря:

— Вотъ колечко-съ! Какъ-нибудь обронить на кушеточкѣ изволили, оно за обивку и закатилось.

— Хорошо. Благодарствуй!—сказала, поблѣднѣвъ, тетя Павла, и, поспѣшно онустивъ кольцо съ изумрудомъ, какъ крупный крыжовникъ, въ свой ридикюль, вышла изъ комнаты.

Іюнь 1907.

М. Кузминъ.



## ОГНЕННЫЙ АНГЕЛЪ.

### Глава VII.

О моемъ поединкѣ съ графомъ Генрихомъ.

Миновавъ нѣсколько улицъ, освѣженный движеніемъ и холодомъ, я вновь получилъ способность думать ясно и дѣлать выводы, и сказалъ себѣ:

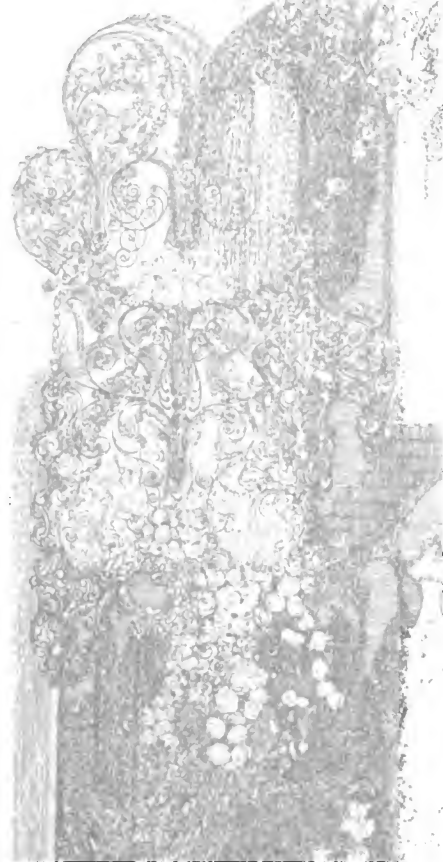
«Поединокъ твой съ графомъ Генрихомъ рѣшенъ. Отступать теперь невозможно и непристойно. Надо искать только, какъ лучше выполнить все дѣло».

Лично я никогда не былъ сторонникомъ поединковъ. получившихъ въ наши дни столь пагубное распространіе во Франціи, и, хотя извѣстны мнѣ блистательныя слова Іоганна Рейхлина «прекраснѣйшее, что принадлежитъ намъ, есть честь»,—но никогда не могъ принять я, чтобы честь опиралась на остріе шпаги, а не была утверждена на благородствѣ поступковъ и словъ. Однако, въ дни, когда сами вѣнценосцы не гнушаются посылать другъ другу вызовы на единоборство, не почиталъ я умѣстнымъ уклоняться отъ поединковъ и выступалъ на нихъ въ бытность свою ландскнехтомъ даже не однажды. Теперь положеніе вещей усложнялось тѣмъ, во-первыхъ, что вызывающимъ, и притомъ безъ надлежащаго повода, былъ я, и тѣмъ, во-вторыхъ, что ставилъ я себѣ цѣлью поразить противника насмерть, — и отъ всего этого было мнѣ тяжело и трудно, какъ если бы предстояло выполнить долгъ палача.

Въ тѣ минуты не сомнѣвался я нисколько, что перевѣсъ и превосходство въ бою будутъ принадлежать мнѣ, ибо, хотя уже давно не случалось мнѣ упражнять руку, былъ я однимъ изъ лучшихъ бойцовъ на длинныхъ шпагахъ, тогда какъ графъ Генрихъ, преданный исключительно книжнымъ занятіямъ и философскимъ размышленіямъ, не могъ имѣть времени (такъ мнѣ тогда казалось) достаточно изодраться въ искусствѣ Понца и Торреса. Смущало меня другое, — именно то, что во всемъ городѣ, помимо стараго Глока, не было у меня человѣка знакомаго, и не видѣлъ я, кому, согласно съ обычаемъ поединковъ, поручить переговоры съ противникомъ и устройство нашей съ нимъ встрѣчи. Послѣ долгаго колебанія, порѣшилъ я постучать въ дверь одного изъ своихъ давнихъ университетскихъ товарищей, Матвѣя Виссмана, фамилія котораго, какъ я зналъ, жила въ городѣ Кельнѣ уже нѣсколько поколѣній и котораго, поэтому, я скорѣе, чѣмъ кого другого, могъ найти, послѣ прошедшихъ не малыхъ лѣтъ, на томъ же мѣстѣ, гдѣ бывало, у прежнихъ пенатовъ.

Ожиданія мои не были обмануты, такъ какъ, дѣйствительно, оказалось, что Виссманы живутъ на старомъ мѣстѣ, хотя и не легко было мнѣ разыскать ихъ приземистый, старозавѣтный домикъ въ три выступающихъ другъ надъ другомъ этажа, среди новыхъ, высокихъ, всячески изукрашенныхъ строеній, кругомъ воздвигнутыхъ нашимъ бойкимъ вѣкомъ. На удачу мою Матвѣй оказался дома, но я едва могъ признать юношу, хотя и нѣсколько неповоротливаго, но все же не лишеннаго привлекательности и бывшаго даже моимъ (посрамленнымъ, однако) соперникомъ въ моихъ ухаживаніяхъ за хорошенькой женой хлѣбопекаря, — въ томъ обрюзгшемъ и степенномъ толстякѣ, съ глазами сонными, со смѣшной бородкой, оставлявшей подбородокъ голымъ, къ которому провелъ меня слуга дома. Конечно, и онъ едва могъ признать студента счастливаго времени, буйнаго и безбородаго, въ мужчинѣ, обожженномъ экваторіальнымъ солнцемъ и обвѣтренномъ ураганами океана; но, когда я назвалъ Матвѣю свое имя и напомнилъ о нашемъ быломъ дружествѣ, онъ обрадовался непритворно, лицо его растянулось въ





Бахчисарай.

Рисунокъ В. Дритгенъ







добродушную улыбку и, сквозь слои жира, проглянуло на немъ что-то юношеское, какъ свѣтъ сквозь мутное стекло.

Обнявъ меня дружески и цѣлуя маслянистыми губами, Матвѣй сказалъ мнѣ:

— Помню ли я Рупрехта! Братъ, да я тебя за каждой попойкой вспоминаю! Клянусь пречистой кровью Христовой, изъ всего нашего бывшего круга тебя одного не достаетъ мнѣ. Ну, влѣзай, влѣзай въ мою берлогу, садись и развязывай языкъ! А я велю подать сейчасъ двѣ кварты добраго вина.

Къ огорченію Матвѣя, отъ вина я отказался, но долго не умѣлъ приступить къ изложенію своего дѣла. Какъ я не отнѣкивался, а пришлось-таки мнѣ пересказать Матвѣю свои приключенія: годы въ Лозгеймѣ, службу ландскнехтомъ, бродяжничество по Италиі, путешествіе въ Новую Испанію и походы тамъ. А потомъ и Матвѣй не преминулъ сообщить мнѣ, какъ преуспѣваетъ онъ, позабывъ всѣ проказы юности, на многотрудномъ поприщѣ университетскаго ученаго. Болѣе пяти лѣтъ потратилъ онъ, чтобы, одолѣвъ начала «артистическихъ» знаній и защитивъ на диспутахъ нѣсколько «софизмовъ», получить званіе бакалавра; столько же лѣтъ ушло у него, чтобы одержать побѣду надъ книгами Аристотеля, проявить себя въ декламациі и стать лиценціатомъ; наконецъ, въ этомъ году надѣется онъ добиться инцепціи и званія магистра, послѣ чего откроется ему доступъ къ любому изъ высшихъ факультетовъ. Матвѣй съ такимъ самодовольствомъ говорилъ о томъ, что засѣдаетъ въ совѣтѣ вмѣстѣ съ докторами и ректоромъ, такъ искренно опасался предстоящихъ ему большихъ «промоцій» и такъ наивно почиталъ себя ученымъ, что не почелъ я нужнымъ возобновлять старый споръ «поэтовъ» съ «софистами», хотя ясно увидѣлъ, что и «Письма темныхъ людей», и прославленныя реформы послѣднихъ лѣтъ не далеко сдвинули съ мѣста тотъ кельнскій истуканъ, близъ котораго и я когда-то изнывалъ отъ схоластики!

Наконецъ, удалось мнѣ прервать повѣствованіе увлекшагося своею славою профессора, и, кое-какъ, скрывая истинную причину вещей, изложить свою просьбу. Матвѣй поморщился, словно принявъ горькаго лѣкарства, но потомъ скоро ухватилъ

мое предложеніе за какой-то его веселый край и заликовалъ опять.

— Не мое это дѣло, братъ! — сказалъ онъ мнѣ. — Нынче, правда, и студенты берутся за шпаги, но я держусь стараго устава, что ученый—какъ монахъ, ему оружіе—какъ ослу очки. Ну, да куда ни шло, для стараго пріятеля! Къ тому же страсть какъ не люблю я эту знать, задирающую передъ нами носъ! Мы потомъ выпариваемъ изъ себя доктора, а ихъ жалуютъ учеными степенями князь или императоръ. Видно и твой графъ изъ такихъ докторовъ-по-буллѣ! Если берешься ты посадить его на вертелъ, я ужъ для тебя постараюсь!..

Я указалъ назначенное мною мѣсто свиданія для переговоровъ, объяснилъ, гдѣ живу самъ, затѣмъ распрощался, и Матвѣй вышелъ проводить меня до уличной двери. Когда проходили мы черезъ столовую, заставленную тяжелой мебелью старо-нѣмецкой работы, неожиданно выбѣжала изъ сосѣдней комнаты молодая дѣвушка въ розовомъ платьѣ, зеленоватомъ передникѣ и золотомъ поясѣ и, вдругъ, натолкнувшись на насъ, смутилась, остановилась и не знала, что дѣлать. Стройность и нѣжность ея образа, овальное, дѣтское лицо съ зазубринами длинныхъ рѣсницъ надъ голубыми глазами, льняныя, золотистыя косы, собранныя подъ бѣлымъ чепчикомъ, все это видѣніе представало мнѣ, привыкшему къ образамъ скорби и мученія, къ чертамъ, искаженнымъ страстью и отчаяньемъ, какъ осужденнымъ духамъ мимолетный полетъ ангела у входа въ ихъ преисподнюю. Я самъ остановился въ смятеніи, не зная, пройти ли мнѣ мимо, или поклониться, или заговорить, а Матвѣй, раскатисто хохоча, смотрѣлъ на наше замѣшательство.

— Сестра, это — Рупрехтъ, — сказалъ онъ, — добрый малый, котораго мы съ тобой въ иную минуту поминаемъ. А это, Рупрехтъ,—сестра моя, Агнесса, которую видалъ ты дѣвочкой, совсѣмъ малышомъ, тринадцать лѣтъ тому назадъ. Что же вы смотрите другъ на друга, какъ кошка на собаку? Знакомьтесь! Можетъ быть, я васъ еще посватаю. Или ты, братъ, уже женатъ, а, отвѣчай?

Не сумѣю объяснить, почему, но я отвѣтилъ:

— Я не женатъ, милый Матвѣй, но не надо такими сло-

вами стыдить и меня, и барышню. Извините меня, госпожа Агнесса, я васъ очень радъ увидѣть вновь, но тороплюсь по одному важному дѣлу.

И, поклонившись низко, я поспѣшилъ выйти изъ дому.

Не знаю, подѣ впечатлѣніемъ ли этой встрѣчи или отъ нея независимо, но когда я подумалъ объ томъ, чтобы возвратиться домой, я испыталъ какое-то отталкивающее чувство, какое, конечно, вѣдали бы, будь они одушевлены, два магнита, сближенные одноименными полюсами. Мнѣ показалось нестерпимымъ быть съ Ренатою, видѣть ея глаза, слышать ея слова, говорить съ нею о Генрихѣ.

Довольно долго проблуждалъ я по улицамъ города, почему-то останавливаясь на однихъ углахъ и почему-то быстро пробѣгая другія площади, но потомъ утомленіе и холодъ заставили меня поискать прибрѣжища, и я вошелъ въ первый встрѣтившійся кабакъ, сѣлъ уединенно, въ углу, спросивъ себѣ пива и сыру. Кабакъ полонъ былъ крестьянами и гуляющими дѣвками, потому что день былъ базарный, и кругомъ не смолкали крики, споры, брань, ругань и проклятія, подкрѣпляемые порою здоровымъ туманомъ; но мнѣ казалось хорошо въ промозгломъ воздухѣ и въ гамѣ пьяныхъ людей. Грубая, звѣрскія лица, дикая, неправильная рѣчь, непристойныя выходки какъ-то странно согласовались со смятеніемъ моей души, какъ сливаются иногда въ хоръ крики тонущихъ съ воемъ бури.

Потомъ подсѣлъ ко мнѣ какой-то худо выбритый малый, въ пестромъ праздничномъ нарядѣ, словно вылѣзшій изъ гравюръ Зебальда Бехама,—и завелъ длинную рѣчь о бѣдственномъ положеніи мужиковъ, не новую, хотя и не чуждую правды. Жаловался онъ на тяготу платежей, барщины, оброковъ, штрафовъ и всякихъ поборовъ, на ростовщичество, на запрещеніе заниматься ремеслами въ деревнѣ, поминалъ мятежъ, который былъ десять лѣтъ назадъ, и все это съ угрозами, обращенными чуть ли не прямо ко мнѣ, словно я во всемъ и былъ виноватъ. Попытался я возразить, что самъ почитаю себя скорѣе изъ мужиковъ, и что все, чѣмъ я владѣю, заработано собственными моими руками, но, конечно, мои слова пропали даромъ, и я уже покорно

слушалъ,—ибо мнѣ все равно было, что ни слушать,—какъ мой случайный сотоварищъ грозилъ рыцарямъ и горожанамъ и пожарами, и вилами, и вистѣлицами...

Такъ какъ собесѣдника моего угощалъ я, то понемногу онъ захмелѣлъ окончательно, и я опять оказался одинъ въ общемъ гулѣ голосовъ. Оглядѣвшись, увидѣлъ я картину отвратительную: тамъ и сямъ валялись тѣла людей, пьяныхъ мертвецки, въ углу двое колотили другъ друга, виѣпившись въ волосы, вездѣ стояли лужи пролитаго пива и человѣческой блевотины, а посреди всего этого другіе еще продолжали попойку, или безстыдно шутили съ дѣвками, тоже пьяными и тоже безобразными, или обыгрывали одинъ другого въ грязныя карты. Мнѣ представились вдругъ два образа—сумрачной Ренаты и ясной Агнессы; я самъ удивился, почему я сижу въ этомъ темномъ и смрадномъ углу, и, торопливо расплатившись, опять вышелъ я на зимнюю стужу. Было уже сумеречно, и я безвольно побрелъ домой.

Когда стучался я въ нашу дверь, душа моя казалась мнѣ пустой, какъ вычерпанный колодезь, но въ домѣ ее тотчасъ наполнила строгая тишина и непобѣдимо повлекла меня въ знакомый кругъ и мыслей и чувствъ. Я почти тѣлесно ощущалъ, какъ съ лица моего сбѣгали выраженія, искажавшія его весь день, и какъ губы складывались въ ту тихую улыбку, которою я всегда встрѣчалъ глаза Ренаты. Съ сердцемъ, бьющимся тревожно, какъ въ первый разъ, отворилъ я дверь къ Ренатѣ и сразу, увидѣвъ ее въ привычномъ положеніи, у окна, прижавшую лицо къ его холоднымъ стекляннымъ кружочкамъ, кинулся къ ней и опустился передъ ней на колѣни.

Рената не сказала мнѣ ни слова о грубости, съ какою я оттолкнулъ ее утромъ, не упрекнула, что я не возвращался такъ долго, не захотѣла узнать, о чемъ мы говорили съ Генрихомъ, но только, какъ если бы все другое уже было ей извѣстно, спросила:

— Рупрехтъ, когда вашъ поединокъ?

Я, въ ту минуту не удивившись на этотъ вопросъ, отвѣтилъ просто:

— Не знаю, рѣшится завтра...

Рената не промолвила больше ни слова и опустила рѣсницы,



а я остался у ея ногъ, неподвижный, приложивъ голову къ подоконнику, поднявъ глаза на лицо сидящей, на любимыя, милыя, хотя неправильныя черты, съ каждой минутой опять и опять погружаясь въ ихъ очарованіе, словно уходя все въ глубь, все въ глубь бездоннаго омута. Я смотрѣлъ на эту женщину, которую еще вчера ласкалъ всѣми поцѣлуями счастливаго любовника и къ рукѣ которой сегодня я не смѣлъ прикоснуться благоговѣйными губами, и чувствовалъ, какъ отъ всего ея существа разливается магическая власть, замыкающая въ свой предѣлъ всѣ мои желанія. Какъ легкая мякина на вѣялкѣ, сбро- ватымъ дымомъ отлетали и разсѣивались всѣ мятежныя думы и всѣ случайныя соблазны дня, и опредѣленно падало на токъ души полное зерно моей любви и моей страсти. Не хотѣлось мнѣ думать ни о Генрихѣ, ни о себѣ; я былъ счастливъ, тихо касаясь рукою руки Ренаты; я былъ счастливъ, что возвраща- лось когда-то бывшее, и что минуты проходятъ, проходятъ, про- ходятъ неслышно.

Такъ, въ безмолвіи, не смѣя нарушить его неосторожнымъ словомъ, могъ бы я остаться до утра и почелъ бы себя у дверей эдема, но вдругъ Рената подняла голову, коснулась рукою моихъ волосъ и промолвила нѣжно, какъ бы продолжая раз- говоръ:

— Милый Рупрехтъ, но ты не долженъ убивать его!

Вздвогнувъ, вырванный изъ очарованія, я спросилъ:

— Я не долженъ убивать графа Генриха?

Рената подтвердила свои слова:

— Да, да. Его нельзя убить. Онъ—свѣтлый, онъ—прекрас- ный, я его люблю! Я передъ нимъ виновата, — не онъ предо мною. Я была какъ лезвіе, прерѣзавшее всѣ его надежды. На- до передъ нимъ преклоняться, цѣловать его, ублажать его. Слы- шишь, Рупрехтъ? Если ты коснешься одного его волоса,—у него золотые волосы,—если ты уронишь одну каплю его крови, ты больше не услышишь обо мнѣ никогда, ничего!

Я всталъ съ колѣнъ, скрестилъ руки на груди и спросилъ:

— Зачѣмъ же ты, Рената, не сообразила всего этого раньше? Зачѣмъ же ты заставила меня играть смѣшную роль въ комедіи

съ поединкомъ? Можно ли быть легкомысленной въ вопросахъ о жизни и смерти?

У меня дыханіе прерывалось отъ волненія, а Рената возразила мнѣ рѣзко:

— Если ты вздумаешь бранить меня, я не стану слушать! Но я запрещаю тебѣ, слышишь ты, запрещаю касаться моего Генриха! Онъ — мой, и я для него хочу только счастья. Я не отдамъ его тебѣ, я не отдамъ его никому въ мірѣ!..

Дѣлая послѣднюю попытку, я спросилъ:

— Такъ ты забыла, какъ онъ оскорблялъ тебя?

Рената воскликнула:

— Какъ было хорошо! Какъ было прекрасно! Онъ проклиналъ меня! Онъ хотѣлъ ударить меня! Пусть бы онъ топталъ меня! Онъ—милой! милый! Я люблю его!

Тогда я сказалъ тяжелымъ голосомъ:

— Я исполню все такъ, какъ ты хочешь, Рената. Но больше говорить намъ не о чемъ. Прощай!

Я ушелъ въ свою комнату, бросился на постель, и мнѣ казалось, что я загнанъ какъ звѣрь, котораго травятъ, въ кругъ изъ колючей изгороди, прорвать которую у меня нѣтъ силъ, и упалъ на землю, въ ожиданіи, пока охотники покончатъ со мною. Мнѣ хотѣлось или не быть, или проснуться отъ жизни, и я въ первый разъ начиналъ понимать, что такое искушеніе—поднять на себя руки. Думая о своей судьбѣ, я рѣшалъ, что не буду болѣе говорить съ Ренатою ни объ чемъ, а завтра выйду на поединокъ, опущу шпагу и буду счастливъ, ощущая чуждую сталь въ своей груди. И воображая свое тѣло простертымъ, все въ крови, на оснѣженной травѣ, испытывалъ я умиленіе передъ собою и нѣжную къ себѣ жалость, какъ дитя, которому читаютъ о мукахъ святыхъ.

Утромъ, однако, при трезвыхъ лучахъ солнца, нѣсколько успокоенный, я еще разъ обдумалъ свое положеніе, и захотѣлъ все-таки переговорить съ Ренатою основательно и безпощадно, ибо рѣшенія ея всегда были зыбки, какъ образы облака, и легко могли переѣнниться за ночь; но оказалось, что Рената, вставъ раньше меня, уже ушла изъ дому. Тогда пошелъ я къ

Матвѣю, чтобы предложить ему, при переговорахъ, выбрать условія менѣе тягостныя, такъ какъ, по какому-то врожденному чувству, продолжалъ заботиться о своей жизни, которая въ то же время казалась мнѣ ни на что не нужной; но и Матвѣя не пришлось мнѣ увидѣть. Тогда, какъ-то обезволенный, вернулся я домой и предоставилъ все тремъ пряхамъ, какъ человѣкъ, все равно приговоренный къ смерти, которому открывался только выборъ между топоромъ и висѣлицей.

Послѣ полудня пришелъ Матвѣй, и странно было появленіе здороваго, добродушнаго толстяка въ нашихъ комнатахъ унынія и отчаянья, страненъ былъ раскатистый, безпечный смѣхъ среди стѣнъ, привыкшихъ отражать звуки рыданій и вздоховъ. Присѣлъ передо мной Матвѣй такими словами:

— Ага, братъ, напрасно прикидывался ты вчера причастницей. Я, вѣдь, узналъ, что ты не одинъ здѣсь. Только не бойся, я для друзей—рыба, молчу, потому что никто не безъ грѣха. Нехорошо только отъ пріятелей таиться! Я отбивать красотокъ не стану,—не таковский.

Когда же я прервалъ рѣчь Матвѣя и попросилъ дать отчетъ о переговорахъ, онъ сказалъ:

— Все прошло, какъ корабль по маслу. Ужъ я друга не выдамъ, волкъ его не съѣстъ! Пришелъ отъ твоего графа щеголь, присѣдаетъ, какъ дѣвка, волосы завиты. Ну, да я отшелкалъ его! Другой разъ не будетъ похвляться своимъ рыцарствомъ передъ добрымъ бюргеромъ. А встрѣча ваша сегодня же, въ три часа, — что откладывать? — въ лѣсу, близъ Линденталя. Тамъ никто вамъ не помѣшаетъ, переломай всѣ кости молодчику!

Этотъ свой приговоръ выслушалъ я, не выказавъ никакихъ признаковъ волненія или недовольства; съ большой дѣловитостью условился съ Матвѣемъ о разныхъ подробностяхъ встрѣчи и попросилъ его зайти за мною, когда будетъ время. Проводивъ Матвѣя, я приказалъ Луизѣ подать мнѣ обѣдъ, такъ какъ не хотѣлъ, чтобы на исходъ дѣла повліяла слабость тѣла, и потомъ, доставъ свою длинную шпагу, сталъ упражнять руку, стараясь вернуть ей нужную гибкость. За этимъ занятіемъ и за-

стала меня Рената, появившаяся въ дверяхъ, вся закутанная въ плащъ, словно нѣкое привидѣніе, и вперившая въ меня вопрошающій и укориженный взглядъ.

— Рупрехтъ,—сказала она,—ты вчера мнѣ поклялся!

Я отвѣтилъ:

— Я исполню мою клятву, Рената. Но что, если теперь графъ Генрихъ убьетъ меня?

Откинувъ голову назадъ, Рената произнесла твердо:

— Такъ что жъ?

Я поклонился церемонно, какъ кланяются два противника передъ началомъ поединка, вложилъ свою шпагу въ ножны и опять, какъ вчера, вышелъ изъ комнаты: ибо отречься отъ Ренаты у меня не было воли, а подпасть подъ ея вліяніе я не хотѣлъ.

Оставшееся время провелъ я въ томъ, что написалъ письмо матери, которой не давалъ извѣстій о себѣ во всѣ семь лѣтъ, со дня, какъ тайно покинулъ родительскій кровъ. Кратко разсказалъ я въ этомъ письмѣ свои приключенія, утаивъ, конечно, все, что свершилось по возвращеніи моемъ въ Европу, и просилъ прошенія за причиненныя въ жизни обиды и безпокойства. Далѣе не забылъ я написать и свое духовное завѣщаніе, обращенное къ Ренатѣ, въ которомъ я поручалъ ей, взявъ изъ остающихся у меня денегъ сумму, какую она найдетъ нужнымъ, все остальное переслать въ Лозгеймъ, моей семьѣ. Удивительнымъ образомъ, мои родные, отецъ, и мать, и братья, и сестры, о которыхъ я почти не помышлялъ, вдругъ представились мнѣ необыкновенно близкими, я отчетливо вспомнилъ ихъ лица, ихъ голоса, и неудержно захотѣлось мнѣ ихъ обнять, сказать имъ, что я не забылъ ихъ. Должно быть, угроза смерти смягчаетъ самый твердый духъ, какъ сильный жаръ металлы, ибо чувствовалъ я себя уже не какъ преслѣдуемый кабанъ, но какъ ребенокъ, которому не передъ кѣмъ выплакаться.

Въ половинѣ третьяго часа пришелъ за мною Матвѣй, все не унывающій, и сталъ дружески меня торопить, хотя мои сборы и сводились къ тому, чтобы надѣть теплый плащъ да привѣсить на поясъ шпагу. Передъ самымъ уходомъ предупредилъ я

Матвѣя, что есть у меня еще маленькое дѣло, и онъ лукаво подмигнулъ мнѣ, указывая на комнату Ренаты, къ которой, дѣйствительно, не могъ я не войти еще разъ. Въ третій разъ я сдѣлалъ попытку обратить ее вниманіе на себя, вырвать у нея, почти насильно, хотя бы одно сердечное слово, обращенное ко мнѣ, и, заставъ ее у аналая, какъ будто молящейся, я ей сказалъ:

— Рената, я уйду, пришелъ съ тобою проститься. Можетъ быть, мы не увидимся больше въ этой жизни...

Рената обратила ко мнѣ свое блѣдное лицо, и я приникъ къ нему взоромъ, чтобы выискать въ его чертахъ малѣйшую надежду, затаенную въ какой-нибудь складкѣ губъ, въ какой-нибудь морщинкѣ у глаза,—но выраженіе этого лица было какъ объявленіе казни для меня, и слова, которыя услышалъ я вторично, были неумолимы и беспощадны, какъ камень, который падаетъ безъ воли:

— Рупрехтъ, помни, ты мнѣ далъ клятву!

Впрочемъ, эта жестокость Ренаты скорѣе прибавила мнѣ силъ. Чѣмъ потрясла меня, что, навѣрное, сдѣлала бы ее ласка, ибо почувствовалъ я, что мнѣ нечего терять дорогого, а, слѣдовательно, и нечего страшиться. Къ Матвѣю вернулся я съ лицомъ почти веселымъ, и, когда, вышедши, сѣли мы на лошадей, имъ припасенныхъ (ибо ѣхать было сравнительно далеко), я даже немало смѣялся надъ забавной фигурой, какую представлялъ конный профессоръ. Всю дорогу Матвѣй потѣшалъ меня шутками и остротами, которыми хотѣлъ онъ поддержать во мнѣ бодрость, и я сознательно заставлялъ себя принимать ихъ какъ можно ближе къ сердцу, чтобы не думать о томъ, о чемъ думать было страшно. Со стороны можно насъ было принять за двухъ купцовъ, сдѣлавшихъ выгодное дѣльце въ городѣ, выпившихъ хорошо и везущихъ подарки своимъ женамъ въ родное селеніе.

Совершивъ довольно длинный путь по трудной, мерзлой дорогѣ, различили мы, наконецъ, въ неясной дали рано убывающаго зимняго дня — отлогій косогоръ и двухъ всадниковъ, чернѣющихъ у опушки лѣса.

— Эге, да мы опоздали!—сказалъ Матвѣй:—господину рыцарю не терпится, пришелъ первымъ, не повезутъ ли послѣднимъ!

Приблизившись, мы молча поклонились нашимъ противникамъ, и я вновь увидѣлъ и графа Генриха, закутаннаго въ темный плащъ, и его сотоварища, юношу, стройнаго, какъ дѣвушка, съ нѣжнымъ продолговатымъ лицомъ, въ беретѣ съ перомъ, похожаго на одинъ изъ портретовъ Ганса Гольбейна. Затѣмъ мы спѣшили, и въ то время, какъ мы двое, я и графъ Генрихъ, остались другъ противъ друга, наши товарищи отошли въ сторону для послѣднихъ условій. Генрихъ стоялъ передо мною недвижимо, полузакрывъ лицо, опираясь на эфесъ шпаги, весь словно отлитый изъ одного куска металла,—и я не могъ разгадать, спокоенъ онъ, негодуетъ или тяготится судьбою, какъ я.

Наконецъ, наши товарищи вернулись къ намъ, и Матвѣй, пожимая плечами и всячески давая понять, что онъ находитъ это излишнимъ, объявилъ мнѣ, что другъ графа, Люціанъ Штейнъ, намѣренъ предложить намъ примиреніе. Если должно быть правдивымъ, то, не боясь выставить себя трусомъ, я признаюсь, что при этой вѣсти мое сердце застучало отъ радости и представилось мнѣ, что этотъ франтъ, въ бархатномъ плащѣ,—посланецъ неба.

Но вотъ какова была рѣчь Люціана Штейна, обращенная ко мнѣ:

— Изъ вчерашнихъ переговоровъ, — сказалъ онъ, — выяснилось, что вы, почтенный господинъ, по происхожденію не изъ рыцарской семьи, и потому мой другъ, графъ Генрихъ, по чести, могъ бы пренебречь тѣми оскорбленіями, какими вы его осыпали, и не принять вашего вызова. Но, видя въ васъ человѣка воспитаннаго и образованнаго, онъ не отвѣчаетъ вамъ отказомъ и готовъ, съ оружіемъ въ рукахъ, доказать неосновательность вашихъ утвержденій. Однако, раньше, чѣмъ вступить въ поединокъ, считаетъ онъ нужнымъ вамъ предложить, чтобы, одумавшись, прекратили вы эту распрю миромъ. Ибо, помимо крайнихъ случаевъ, не долженъ человѣкъ, существо, созданное по образу и подобию Божіему, угрожать жизни другого человѣка. И если вы, почтенный господинъ, согласны признать, что вве-

дены были къ-то въ заблужденіе, раскаиваетесь и извиняетесь въ своихъ вчерашнихъ словахъ,—другъ мой охотно протянетъ вамъ руку.

Несмотря на заносчивость такихъ словъ, я, быть можетъ, не побоялся бы унизиться до извиненій, такъ какъ все же это была лучшая изъ дверей, остававшаяся мнѣ для выхода,—но первая половина рѣчи дѣлала это для меня невозможнымъ. Намекъ Люціона на то, что вчера я лживо назвалъ себя рыцаремъ, заставилъ всю кровь прилить къ моему лицу, и я готовъ былъ тутъ же ударить говорившаго по лицу, жизнь котораго не была запрещена мнѣ и которому могъ я, съ полной свободой, показать силу своей нерыцарской руки. И, еще въ этомъ волненіи, не дававшемъ мнѣ, какъ высокія морскія волны, ясно видѣть цѣли на берегу, я отвѣтилъ:

— Я не отказываюсь ни отъ одного изъ своихъ словъ. Я повторяю, что графъ Генрихъ фонъ-Оттергеймъ—обманщикъ лицомъ и человѣкъ нечестный. И да разсудитъ насъ Богъ!

Матвѣй, при моемъ отвѣтѣ, вздохнулъ облегченно, какъ переводящій дыханіе быкъ, а Люціанъ, отвернувшись, отошелъ къ Генриху.

Мы сбросили плащи и обнажили шпаги, между тѣмъ, какъ товарищи наши начертили на землѣ, чуть-чуть бѣлый отъ изморози, кругъ, изъ котораго мы не должны были выступать. Я всматривался въ лицо Генриха, видѣлъ, что оно сосредоточенно и мужественно, словно теперь сквозь ангельскія его черты проглядывалъ земной человѣкъ, и соображалъ, что такимъ бывалъ онъ въ часы, когда, какъ мужчина, отвѣчалъ на ласки Ренаты. Потомъ, обмѣниваясь съ нимъ обычнымъ поклономъ, обратилъ я вниманіе на то, что онъ гибокъ, какъ мальчикъ, что всѣ его движенія, безъ заботы объ томъ, красивы, какъ у античной статуи, и вспоминалъ слова восторга, которыми мнѣ описывала его Рената. Но едва наши клинки скрестились, едва сталь звякнула о сталь, во мнѣ вздрогнула и пробудилась душа воина: я сразу забылъ все, кромѣ боя, и вся жизнь моя сосредоточилась въ узкомъ промежуткѣ между мною и моимъ противникомъ, и, въ тѣхъ недолгихъ минутахъ, какія могло длиться наше состязаніе.

Всѣ подробности борьбы, бѣглыя, мгновенныя,—усиліе удара, быстрота прикрытія, степень упругости встрѣчнаго лезвія,—вдругъ сдѣлались событіями, включавшими въ себя столько смысла, какъ цѣлый прожитый годъ.

Я зналъ, что не нарушу данной Ренатѣ клятвы, ибо сковывала она мою волю почти сверхъестественной силой, но я надѣялся, что сумѣю и буду въ состояніи, не касаясь графа Генриха, выбить шпагу изъ его рукъ и тѣмъ покончить поединокъ, для себя съ честью. Однако, я очень скоро убѣдился, что совершенно неосновательно судилъ о фехтовальномъ искусствѣ своего соперника, ибо подъ своимъ клинкомъ обрѣлъ я шпагу твердую, быструю и ловкую. На всѣ мои ухищренія Генрихъ отвѣчалъ немедленно, съ непринужденностью мастера, и очень скоро перешелъ въ нападеніе, принудивъ меня со всѣмъ вниманіемъ отбивать его опасныя выпады. Какъ бы связанный тѣмъ, что самъ я не желалъ наносить удара, парировалъ я удары противника съ затрудненіемъ, а остріе его шпаги каждый мигъ устремлялось на меня, и прямо, и сбоку, и снизу. Теряя надежду на удачный исходъ боя, терялъ я и самообладаніе; пальцы мои посинѣли отъ зимняго холода, шпага моя переставала мнѣ повиноваться; я видѣлъ передъ собою словно колесо крутящихся, огненныхъ клинковъ и среди нихъ, тоже какъ бы огненное, лицо Генриха-Мадіюля. И вотъ уже стало казаться мнѣ, что глаза Генриха сіяютъ гдѣ-то въ высотѣ надо мной, что нашъ бой идетъ въ свободныхъ, надземныхъ пространствахъ, что это не я отбиваю нападенія врага, но что темнаго духа Люцифера тѣснить съ надзвѣздной высоты свѣтлый архистратигъ Михаилъ и гонить его во мракъ преисподней...

И вдругъ, при одномъ моемъ невѣрномъ парадѣ, графъ Генрихъ съ силою отбросилъ мою шпагу, и я увидѣлъ блескъ вражеской шпаги у самой моей груди. Тотчасъ вслѣдъ за тѣмъ почувствовалъ я тупой ударъ и толчокъ, какъ всегда при ранѣ холоднымъ оружіемъ; шпага у меня изъ рукъ выпала, быстро заволокло мой взоръ алое облако,—и я упалъ.

Валерій Брюсовъ.



# ЛИТЕРАТУРА

## РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

### НОВЫЕ СБОРНИКИ СТИХОВЪ.

**К. Бальмонтъ.** Жаръ-Птица. К-во „Скорпионъ“.—**Сергій Городецкій.** Перунъ. Изд. „Оры“.—**В. Вашкинъ.** Стихотворенія. К-во „Дѣло“.—**Викторъ Стражевъ.** О печали свѣтлой. К-во „Заратустра“.

Народная поэзія всѣхъ великихъ народовъ представляетъ созданія исключительной художественной цѣнности. Магабхарата, поэмы Гомера, древне-германскія сказанія, наши былины, пѣсни и сказки—все это драгоцѣнности человѣчества, которыя всѣ мы обязаны беречь благоговѣнно. Все равно, были ли эти произведенія созданы творчествомъ соборнымъ, коллективнымъ, или отдѣльными художниками-творцами,—но они были приняты и обточены океаномъ народной души и хранятъ на себѣ явные слѣды его волнъ. Въ созданіяхъ народной поэзіи мы непосредственно соприкасаемся съ самой стихіей народа, чудомъ творчества воплощенной, затаенной въ мѣрныхъ словахъ поэмы или пѣсни.

Было время, когда на произведенія народной поэзіи смотрѣли, какъ на грубыя, неискусныя созданія поэтовъ, малоосвѣдомленныхъ въ поэтикѣ. Тогда считали нужнымъ, представляя читателямъ произведенія народной поэзіи, подправлять ихъ, прихорашивать, согласно съ требованіями хорошаго вкуса. Попъ постарался украсить Иліаду, переложивъ ее въ александрійскіе стихи, выпустивъ мѣста тривиальныя и заставивъ героевъ выражаться языкомъ тогдашнихъ салоновъ. Макферсонъ по-своему обработалъ собранныя имъ старо-шотландскія пѣсни, чтобы создать „поэмы Оссіана“. Но уже давно критика и исторія по справедливости осудили такое

посягательство на чужую личность, на великую „соборную“ личность народа.

Къ сожалѣнію, К. Бальмонтъ въ „Жарь-Птицѣ“ возобновилъ такое нехудожественное отношеніе къ народной поэзіи. Повидимому, находя, что наши русскія былины, пѣсни, сказанія не достаточно хороши, онъ всячески прихорашиваетъ ихъ, приспособляетъ къ требованіямъ современнаго вкуса. Онъ одѣваетъ ихъ въ одежду рѣмованнаго стиха, выбрасываетъ изъ нихъ подробности, которыя кажутся ему выходками дурнаго тона, вставляетъ изрѣченія современной мудрости, генеалогію которыхъ надо вести отъ Фридриха Ницше. Но какъ Ахиллъ и Гекторъ были смѣшны въ кафтанѣ XVIII в., такъ смѣшны и жалки Илья-Муромецъ и Садко Новгородскій въ сюртукѣ декадента.

Въ художественномъ произведеніи форма слита неразрывно съ содержаніемъ, вытекаетъ изъ него, предѣляется имъ. Русская народная поэзія чуждается рѣмы, пользуется созвучіемъ только въ исключительныхъ случаяхъ. Былины сложены особымъ былиннымъ стихомъ, поразительно подходящимъ для длительнаго и спокойнаго эпическаго повѣствованія. Будучи хорейскимъ по своему строенію, этотъ стихъ болѣе, чѣмъ на правильное чередованіе удареній, обращаетъ вниманіе на равновѣсіе образовъ, и потому, по справедливости, называется „смысловымъ“ стихомъ \*. Можно вырвать содержаніе былинъ изъ этого стиха, пересказать его по-своему. Пушкинъ въ „Сказкѣ о рыбацкѣ и рыбкѣ“ далъ совершенно новую форму русской сказкѣ. Но нельзя, подражая въ общемъ складу былиннаго стиха, пригладить его свободное теченіе (основанное на равновѣсіи образовъ), свести его чуть не къ правильному хорю и навязать ему ненужную и надоедливую рѣму. Поступать такъ, значить—искажать этотъ стихъ, надѣвать кольца изъ сусальнаго золота на гранитныя колонны.

Возьмемъ знаменитый запѣвъ, начинающій многія былины:

Высота ли, высота поднебесная,  
Глубота, глубота Океанъ-море;  
Широко раздолье по всей землѣ,  
Глубоки омуты Днѣпровскіе.

Вотъ, какъ Бальмонтъ приспособилъ его къ требованіямъ современнаго вкуса:

Высота-ли, высота поднебесная,  
Красота-ли, красота безтѣлесная,  
Глубина-ли, глубина Океанъ-морской,  
Широко раздолье наше всей Земли людской.

\* См. изслѣдованіе П. Д. Голохвастова.

Не будемъ сейчасъ говорить о неумѣстной здѣсь „безтѣлесной красотѣ“. Но неужели побрякушки риемъ прибавили силы этимъ четыремъ мощнымъ строчкамъ? Неужели четвертый стихъ, въ подлинникѣ по числу образовъ равный своимъ братьямъ (въ каждомъ по три образа), не сталъ несоразмѣрно длиннымъ, потому что Бальмонтъ привелъ его къ опредѣленному арифметическому числу слоговъ? Зачѣмъ было искажать поразительное четверостишіе, подмѣнять его другимъ, несравненно болѣе слабымъ?

Возьмемъ еще примѣръ:

Сталъ Вольга растѣть-матереть,  
Избирать себѣ дружинишку хоробрую.  
Тридцать молодцевъ безъ единого,  
Самъ еще Вольга во тридцатыхъ.

Развѣ это сказано не ярко, не точно, не просто? Зачѣмъ надо эти четыре строгихъ, эпическихъ стиха перекладывать въ плясовую размѣръ?

Обучался, обучился. Что красиво? Жить въ борьбѣ.  
Онъ хоробрую дружину собиралъ себѣ.  
Тридцать сильныхъ собиралъ онъ безъ единого, а самъ  
Сталъ тридцатымъ, былъ и первымъ, и пустился по лѣсамъ.

Опять оставимъ въ сторонѣ дешевую сентенцію, которой Бальмонтъ почелъ нужнымъ прикрасить эти стихи („Что красиво“ и т. д.). Но развѣ не противорѣчитъ всему складу русскаго народнаго стиха—включать въ одну строку нѣсколько предложеній? Для народа предложеніе и стихъ въ поэзіи—синонимы. Каждый стихъ—отдѣльная мысль, и каждая мысль—отдѣльный стихъ. Бальмонтъ же доходитъ до такого непониманія былиннаго склада, что, отрѣзая конецъ стиха, связываетъ его со слѣдующимъ („а самъ“ и т. д.). Не слишкомъ ли велики жертвы, приносимыя риемъ?

Временами кажется, что риемъ просто лишаетъ Бальмонта дара рѣчи, до такой степени, ради нея, путается онъ въ словахъ. Что можетъ быть проще, какъ сказать:

Уходили всѣ рыбы во синія моря.

Бальмонтъ принужденъ разводнить этотъ стихъ на два:

Всѣ серебряныя рыбы разметались,  
Въ синемъ Морѣ трепетали и плескались.

Достаточно сравнить съ подлинникомъ любую былинку, переложенную Бальмонтомъ, чтобы убѣдиться, что его риемованный стихъ,

съ перваго взгляда такъ похожій на былинный стихъ, слабѣе, водянистѣе, менѣе звученъ и менѣе красивъ. Стихи былины остаются въ памяти, какъ вѣчныя формулы; стихи Бальмонта невозможно заучить наизусть, потому что нѣтъ въ нихъ внутренняго сомооправданія.

Совершенно аналогичное съ тѣмъ, что сдѣлалъ Бальмонтъ съ формой народныхъ созданий, сдѣлалъ онъ и съ ихъ содержаніемъ, съ ихъ сущностью. Съ перваго взгляда тоже можно подумать, что Бальмонтъ точно держался своихъ образцовъ, измѣняя лишь частности. Но ближайшее разслѣдованіе обличаетъ, что Бальмонтъ вездѣ ослаблялъ подлинникъ, часто искажалъ его, а иногда лишалъ всякаго смысла. Не давъ себѣ труда вникнуть въ строеніе того или иного сказанія, въ значеніе для него той или иной части, Бальмонтъ выбиралъ для своихъ переложеній отдѣльные отрывки, исключительно руководясь личнымъ вкусомъ, — и этотъ вкусъ нерѣдко обманывалъ его нещадно.

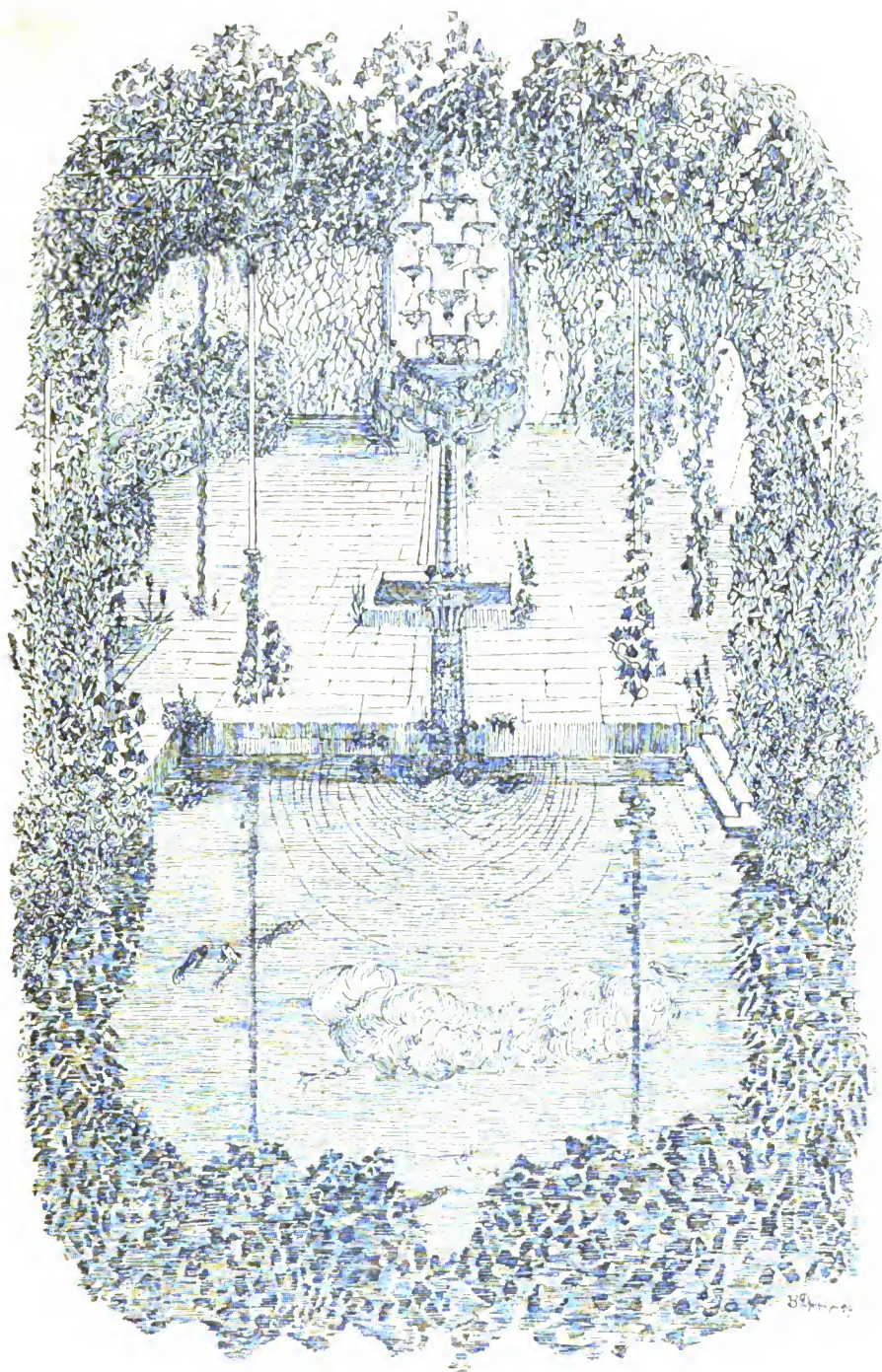
Возьмемъ новгородскую былинку о Садко-богатомъ гостѣ. Среди сказаній объ немъ есть одно, имѣющее цѣлью показать преимущество города предъ личностью, „міра“ предъ индивидуумомъ. Садко бьется объ закладъ съ купцами, что онъ „повыкупитъ всѣ товары, худые и добрые“. Дѣйствительно, на свою безсчетную казну скупаетъ онъ всѣ товары по улицамъ торговымъ и въ гостинномъ ряду. На другой день, однако, навезли товаровъ вдвое. И ихъ повыкупилъ Садко. Тогда привезли товары московскіе, а тамъ должны были поспѣть товары заморскіе... И отступился Садко:

Не я, видно, купецъ, богатъ новгородскій,  
Побогаче меня славный Новгородъ!

Бальмонтъ пересказываетъ одну только первую половину этого сказанія, уничтожая тѣмъ весь его смыслъ. Садко Бальмонта, дѣйствительно, скупаетъ всѣ товары и, торжествуя, заявляетъ о себѣ въ такихъ совсѣмъ не-народныхъ выраженіяхъ:

Гусли звончаты не даромъ говорятъ:  
Я Садко Богатый Гость, весенній (?) садъ (?).

Точно также уничтожаетъ Бальмонтъ весь смыслъ сказанія о томъ, какъ Садко спасся отъ Морского Царя. Въ былинѣ, когда Садко началъ играть на днѣ въ гусельки яровчаты, Царь Морской расплясался и вода въ морѣ всколебалася. Стало много тонуть людей праведныхъ, и народъ возмолвился къ Миколѣ Можайскому. Микола, въ образѣ старца, явился Садко и посоветовалъ ему поломать гусельки, а потомъ изъ предлагаемыхъ невѣстъ выбрать дѣвушку Черनावушку... У Бальмонта совсѣмъ нѣтъ Миколы.



Фонтанъ слезъ.  
Рисунокъ В. Дриттенпрейса.



Царь Морской просто „наплясался“ вдосталь и пересталъ. А Садко выбралъ Чернявку не по совѣту свыше, а просто потому, что онъ— „причудникъ“. Странное объясненіе! Зато въ былинѣ совершенно послѣдовательно разсказывается, что, вернувшись на землю, Садко построилъ церковь Миколѣ Можайскому; а у Бальмонта, уже совершенно ни къ чему, упоминается-таки при пробужденіи Садко на берегу:

Вонъ тамъ храмъ Николы...

Подобные же примѣры можно привести и изъ сдѣланныхъ Бальмонтомъ переложений другихъ былинъ.

Наконецъ, надо сказать, что Бальмонтъ не сдѣлалъ и меньшаго изъ того, что долженъ былъ сдѣлать: не сумѣлъ перенять міросозерцанія старой, былинной Руси. Искажая стихъ былинъ, искажая ихъ фабулы, поэтъ все-таки могъ быть вѣрнымъ духу народной поэзіи... Но Бальмонтъ постоянно нарушаетъ его разными неумѣстными выходками, характерными „бальмонтизмами“. Вся „Жарь-Птица“ представляетъ собою какую-то черезполосицу, гдѣ стихи, перенятые изъ старины, мучительно, дисгармонически чередуются со стихами ультра-модернистическими.

Характерна въ этомъ отношеніи „Хвала Ильѣ Муромцу“. Можно ли, не нарушая духа старой Руси, обзывать Илью:

Тайновидецъ бытія,  
Русскій исполинъ?

Можно ли говорить объ Ильѣ:

Вознесенный глубиной  
И вознесшій ликъ,  
Мой Владимірецъ родной...

Не лучше понять образъ Ильи и въ неожиданномъ „Отшествіи Муромца“. Оказывается, что Илья, „пройдя русскую землю“, не болѣе, не менѣе, какъ „предалъ свой духъ Полярной Звѣздѣ“ и отправился... по слѣдамъ Нансена и ему подобныхъ, въ океаны арктической и антарктической:

Муромецъ полюсъ и полюсъ узналъ.  
Будеть. Пришелъ къ Океану морскому.  
Соколь-корабль колыхался тамъ, аль, —  
Смѣлый промолвилъ: «Къ другому».  
Гдѣ онъ? Донынѣ ль въ неузнанномъ тамъ?  
Синею бездной какъ въ люлкѣ качаемъ?  
. . . . .  
. . . . . Не знаемъ...

Хочется вспомнить, можетъ быть, также нѣсколько дѣланные, но все же здравые и ясные стихи другого поэта, писавшаго объ „отшествіи Муромца“:

Подъ броней, съ простымъ наборомъ,  
Хлѣба кусъ жуя,  
Въ жаркій полдень ѣдетъ боромъ  
Дѣдушка Илья!  
Ѣдетъ боромъ, только слышно.  
Какъ бряцаетъ бронь.  
Топчетъ папоротникъ пышный  
Богатырскій конь.

„Простой наборъ“, „хлѣба кусъ“, „богатырскій конь“—какъ все это къ лицу Ильѣ-Муромцу, и какъ не ладятся съ нимъ „полюсь и полюсь“, „неузнанное тамъ“ и качаніе надъ синюю бездной какъ „въ люлькѣ“! У Ал. Толстого—тотъ „дѣдушка Илья“, какого знаютъ былины; у К. Бальмонта — „тайновидецъ бытія“, „вознесшій ликъ“, но безъ права узурпировавшій чужое имя.

Къ числу такихъ же неладящихся съ народнымъ духомъ пріемовъ надо отнести злоупотребленіе Бальмонтомъ отвлеченными понятіями. Народная поэзія почти не знаетъ отвлеченныхъ понятій; у Бальмонта они образуются чуть не отъ каждого слова и притомъ часто не по духу языка. „Возрожденность силъ“, „снѣжности зимы“, „влажности губъ“, которыя ласкаютъ трупъ; „океанная безкрайность“, которая „ткетъ зыбь“, „звѣздность“, которая „всюду“, „тайность“, которая „вѣетъ“, и т. д.: все это—аляповатая заплатка на перепѣвахъ былины и народныхъ стиховъ. Замѣтимъ, что, порою, эти самодѣльные слова приводятъ къ весьма комическимъ оборотамъ рѣчи, какъ, напр.:

Вновь звенить мгновеній шутка  
Внѣ предѣльностей разсудка..

Подводя итоги, надо сказать, что К. Бальмонтъ рѣшительно потерпѣлъ неудачу. Въ „Жарь-Птицѣ“ онъ хотѣлъ, повидимому, возсоздать міръ славянской міеологии. Рѣшить такую задачу, выполнить такой трудъ, достойный титана поэзии, можно было только однимъ изъ двухъ способовъ. Или претворить въ себѣ весь хаосъ народнаго творчества во что-то новое, воспользоваться имъ лишь какъ темными намеками, какъ матеріаломъ, который надо переплавить для иныхъ созданій. Или, воспринявъ самый духъ народнаго творчества, постараться только внести художественную стройность въ работу поколѣній, поэтически осмыслить созданное безсознательно, повторить работу давнихъ пѣвцовъ, но уже во всеобладаніи могучими средствами современнаго искусства. Бальмонтъ, къ сожа-



лѣнїю, не сдѣлалъ ни того, ни другого, а избралъ средній путь, захотѣлъ соединить или, вѣрнѣе, смѣшать оба эти способа. Онъ не посмѣлъ творить самодержавно на основѣ древняго творчества, но и не сумѣлъ сохранить благоговѣнно священное прошлое. Онъ сдѣлалъ худшее, что можно сдѣлать съ народной поэзіей: подправилъ, прикрасилъ ея, сообразно съ требованіями своего вкуса. Сохранивъ въ отдѣльных частяхъ подлинную ткань народнаго творчества, Бальмонтъ наложилъ на нее самыя современныя заплаты; удержавъ общій замыселъ отдѣльныхъ созданій, онъ произвольно видоизмѣнилъ частности; подражая общему складу рѣчи нашей старинной поэзіи, онъ, въ то же время, искажилъ самое существенное въ ея формѣ.

Въ „Жарь-Птицѣ“ есть нѣсколько прекрасныхъ стихотвореній, причемъ не всѣ они чужды славянской и народной стихіи (напр., мнѣ кажется очень значительнымъ „Стихъ о величествѣ Солнца“, кромѣ перваго двустишія),—но всѣ они стоятъ въ книгѣ какъ исключенія. „Жарь-Птица“, по ея разрозненнымъ перьямъ, К. Бальмонтъ не воссоздалъ.

Та часть книги С. Городецкаго, которая отвѣчаетъ своему заглавію, имѣетъ нѣкоторую близость съ „Жарь-Птицей“: она также полна вдохновеніями, почерпнутыми изъ народной русской поэзіи. С. Городецкій относится къ народной поэзіи осторожнѣе, чѣмъ К. Бальмонтъ, и пользуется только ея образами для созданій, болѣе или менѣе самостоятельныхъ. Но, не ограничиваясь міромъ Перуна, книга С. Городецкаго касается современности, даетъ чистую лирику и пытается дать лирику философскую.

Послѣдній „родъ“, впрочемъ, всего слабѣе въ книгѣ. Различные современные вдохновители молодежи по праву могли бы потребовать отъ С. Городецкаго присвоенныя имъ себѣ воззрѣнія. Такъ „ужасно дерзкое“ восклицаніе перваго стихотворенія:

Узнай же ты: возсталъ я нынѣ  
И руку поднялъ на Отца!

—по прямой линіи идетъ отъ „богоборства“ Вяч. Иванова. Не менѣе дерзкое:

Я захотѣлъ и міръ сіяеть...  
Такъ воля волила моя...

не только посвящено Ѳ. Сологубу, но и цѣликомъ у него заимствовано. А ужъ вотъ похвальба дурного тона:

Я, человекъ, я, властелинъ  
Цвѣтовъ, дневныхъ лучей...  
Я, самъ создавшій имя Бога... etc.

—едва ли не должна считать своимъ предкомъ пресловутаго „Человѣка“ Максима Горькаго.

Что касается другихъ отдѣловъ книги, то объ нихъ пришлось бы повторить то, что мы уже говорили о первой книгѣ С. Городецкаго, появившейся въ началѣ года (см. „Вѣсы“, № 3). Разница между „Ярью“ и „Перуномъ“ только та, что лучшія стороны дарованія С. Городецкаго представлены въ „Перунѣ“ слабѣе, а болѣе слабыя черты вездѣ первенствуютъ. Въ „Перунѣ“ гораздо меньше стиховъ, въ которыхъ выразилась та истинная стихійность духа, которая составляетъ всю силу Городецкаго, но зато во многихъ произведеніяхъ видно „стихійничанье“, намѣренное и фальшивое. Напротивъ въ „Перунѣ“ гораздо больше, чѣмъ въ „Яри“, стиховъ, посвященныхъ современности, и даже прямо современнымъ событіямъ,—стиховъ, въ которыхъ С. Городецкій пытается парадировать въ мундирѣ гражданскаго пѣвца, но которые не возвышаются надъ уровнемъ газетныхъ стихотворныхъ фельетоновъ.

Въ области формъ, во власти надъ своимъ стихомъ, С. Городецкій, сравнительно со своей первой книгой, не сдѣлалъ никакихъ успѣховъ, а скорѣе даже пошелъ назадъ. Въ „Яри“ онъ иногда достигалъ большой силы простотой и безыскусственностью стиха. Въ „Перунѣ“ ихъ замѣнила небрежность и грубость. Въмѣсто того, чтобы работать надъ художественной формой, г. Городецкій, повидимому, думаетъ завоевать ее наскокомъ, но только разбиваетъ себѣ лобъ. Безо всякаго оправданія, по произволу, употребляя усѣченныя прилагательныя, старинныя формы, всякія приставки,—С. Городецкій дѣлаетъ свой слогъ корявымъ и неряшливымъ. Въмѣстѣ съ тѣмъ изъ „Перуна“ можно было бы набрать цѣлый списокъ разныхъ „какофоній“, метрическихъ неправильностей, сомнительныхъ (и неприятныхъ для слуха) приемъ и т. под.

„Перунъ“ былъ встрѣченъ неодобрительно всѣми серьезными критиками. Не заставитъ ли это задуматься молодого поэта, котораго многіе, и я въ томъ числѣ, называли среди лучшихъ надеждъ молодой поэзіи? Я увѣренъ, что когда С. Городецкій былъ еще только надеждою, никто изъ знавшихъ его не поколебался бы поручиться за его будущее, примѣнивъ къ нему стихи поэта:

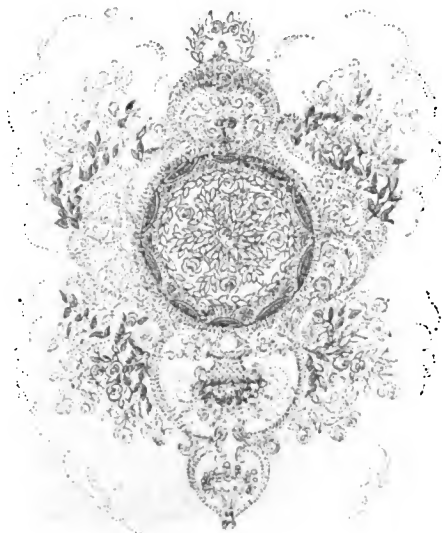
Клялся и поручился небу я,  
За нерожденного тебя!

Пока С. Городецкий не оправдалъ нашей поруки. Серьезный трудъ серьезное отношеніе къ великому дѣлу искусства онъ, кажется, замѣнилъ легкимъ наѣдничествомъ въ области стихотворчества. Путь, которымъ онъ идетъ, — путь худшей гибели. Только остановившись, только глубоко обдумавши свое положеніе, можетъ онъ вновь выйти на вѣрную дорогу.

---

Книги В. Башкина и В. Стражева принадлежатъ къ роду самыхъ несносныхъ: къ роду банальныхъ и скучныхъ. Г. Башкинъ баналенъ съ уклономъ къ гражданственности, г. Стражевъ—съ уклономъ къ декадентству. Оба сборника изготовлены по знакомымъ трафаретамъ и возбуждаютъ при чтеніи, прежде всего, чувство досады.

Валеріа Брюсовъ.



## ЧТО ТАКОЕ ЛИТЕРАТУРА?

— Certes je sortirai, quant à moi, satisfait  
D'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve!..  
Baudelaire.

**С. А. Венгеровъ. Очерки по исторіи русской литературы. Библ. „Свѣточа“.**

Есть два рода критики: критика по сходству и критика по противоположности. Въ первомъ случаѣ критика направляется на самый способъ воплощенія идеи, задается вопросомъ, какъ выполнена данная задача, оставаясь по существу согласной съ основнымъ характеромъ самой идеи; во-второмъ—она, напротивъ, прежде всего отрицаетъ самую постановку вопроса, отрицаетъ самое „что“ данного произведенія. Въ этомъ случаѣ она не столько исправляетъ или анализируетъ, сколько противопоставляетъ.

Книга Венгерова „Очерки по исторіи русской литературы“ заставляетъ насъ держаться второго вида критики, ибо она по существу является враждебной намъ, вызывая насъ на противопоставленія совершенно иныхъ идей и схемъ.

Говоря это, мы очень далеки отъ того, чтобы умалять достоинство обширнаго труда почтеннаго и компетентнаго автора, самое имя котораго уже достаточно говоритъ само за себя.

Напротивъ, въ переживаемую нами эпоху литературнаго кризиса, бросившаго на книжный рынокъ потоки безпринципныхъ, спекулятивныхъ, несостоятельныхъ по существу и легковѣсныхъ до пошлости книгъ и книжонокъ, въ наши дни, когда литературная пошлость, низводящая идейно-художественную борьбу до сомнительнаго стиля уличныхъ „литературныхъ“ листовъ и создающая чуть ли не каждую недѣлю новыя теченія и школы, отъ которыхъ не остается даже и имени,—появленіе обстоятельнаго труда, проникнутаго строго выдержаннымъ и глубоко-идейнымъ направлениемъ, можетъ только радовать насъ.

Вся книга г. Венгерова написана съ одной опредѣленной точки зрѣнія. Авторъ никогда не измѣняетъ себѣ и многія явленія пытается даже освѣтить новымъ свѣтомъ, ставя ихъ въ иную связь другъ

съ другомъ. Взгляды г. Венгерова на Гоголя, К. Аксакова—очень не банальны и заслуживаютъ полнаго вниманія.

Но, тѣмъ не менѣе, мы считаемъ своимъ долгомъ подчеркнуть наше основное принципиальное разногласіе со всѣми главными посылками, убѣжденіями, критеріями, а, слѣдовательно, и выводами почтеннаго изслѣдователя. Поэтому наша критика—исключительно „критика по противоположности“; отрицая основную посылку, мы не можемъ останавливаться на анализъ всѣхъ деталей, вытекающихъ изъ нея; попытаемся лучше противопоставить его „я“ наше собственное—„я“.

Г. Венгеровъ—одинъ изъ убѣжденнѣйшихъ и самыхъ послѣдовательныхъ сторонниковъ господствующаго съ давнихъ поръ въ нашей „критикѣ“ воззрѣнія, согласно которому всякое литературное явленіе есть, прежде всего, явленіе общественное и, слѣдовательно, должно оцѣниваться—какъ таковое.

„Наша литература,—говоритъ авторъ,—никогда не замыкалась въ сферѣ чисто-художественныхъ интересовъ и всегда была кафедрой, съ которой раздавалось учительское слово“ (стр. 5). Этимъ авторъ пытается объяснить „центральное положеніе русской литературы“ (стр. 5).

Но не будутъ ли болѣе правильными какъ разъ противоположныя объясненія общественной окраски русской литературы и даже лирики (какъ то старалась и старается представить т. н. „критика“), а именно—не доказываетъ ли подобное смѣшеніе эстетики и политики въ „литературу“ \* отсталость, примитивность и того и другого элемента русской жизни? Даже становясь на эволюционную и соціологическую точку зрѣнія, не придется ли признать гибельнымъ какъ для „литературы“, такъ и для политики это смѣшеніе, тягѣтющее надъ нами испоконъ вѣку и указывающее прежде всего на отсутствіе дифференціаціи?

Каждому понятно, почему именно это должно было произойти, почему первые робкіе шаги нашего общественнаго самосознанія, при отсутствіи парламента и организаціи соціальныхъ классовъ и политическихъ партій, неизбежно должны были привить даже самымъ горнымъ созерцаніямъ слюну политическаго бѣшенства... Въ казармѣ или въ тюрьмѣ не мѣсто пѣть—„Ave Maria“!..

Однако, для насъ абсолютно непостижимо, почему увѣковѣчивается временное и историческо-преходящее сліяніе — компромиссъ двухъ далеко-различныхъ по самой своей сущности понятій? Съ равнымъ правомъ можно было бы требовать „синтеза“ политики и

\* Вспомнимъ, какъ презрительно относился къ этому понятію такой истинный художникъ, какъ Верленъ, въ своей „Art poetique“.

музыки, отдавая на выборахъ въ парламентъ предпочтеніе лицамъ, обладающимъ тонкимъ слухомъ или нѣжнымъ теноромъ. Но противъ этого ополчится, пожалуй, даже такой отважный синтетикъ, какъ Вяч. Ивановъ!..

Но если вообще странна теорія, требующая подобнаго общественнаго вкуса у литературы (даже у поэзіи), то она является абсолютно неумѣстной именно теперь, когда, наконецъ, завершился въ общихъ чертахъ процессъ дифференціаціи искусства и общественности; когда мы уже имѣемъ эмбрионъ законодательнаго учрежденія съ одной стороны и свободное, созидающее художественное творчество съ другой; когда всякое дальнѣйшее морализированіе въ области политики лишь затемняетъ рельефную группировку общественныхъ группъ; когда, въ свою очередь, попытки внести въ область искусства общественный элементъ приводятъ къ такимъ чудовищнымъ нелѣпостямъ, какъ, блаженной памяти, „мистическій анархизмъ“ Г. Чулкова и Вяч. Иванова. Неужели недостаточно сильна классическая критика марксизма, уничтожившая послѣдніе жалкіе остатки того, что я называлъ бы „воспоминаніемъ политическаго романтизма“?

Неужели самый фактъ русской революціи, этого перваго активнаго и реальнаго выступленія общественныхъ группъ и партій во имя иного распредѣленія экономическихъ и политическихъ цѣнностей, не явился смертнымъ приговоромъ всѣхъ литературныхъ міросозерцаній? Неужели все столѣтнее „проповѣдничество“ русской „литературы“, всегда смотрѣвшее на послѣднюю, какъ на средство для самыхъ разнообразныхъ цѣлей (начиная съ монархіи и революціи и кончая религіей), отъ Державина до Толстого и, въ наши дни, до Мережковскаго—принесло что-нибудь, кромѣ непоправимаго, смертельнаго вреда чистому искусству и, прежде всего, творчеству самихъ проповѣдниковъ!

Смѣшеніе политики (—общественности) и художественнаго творчества (—искусства) въ „литературу“, „критику“, „публицистическую философію“—обоюдоострая игра, ибо она засоряетъ оба понятія. Напротивъ, обособленіе этихъ далеко несмежныхъ понятій—очищаетъ политическую мысль, кристаллизуя ее въ программу, и окрыляетъ мечту художника, освобождая его отъ гнусной обязанности запрягать Пегаса въ соху.

Въ сущности всѣ наши „критики“, „праведники“, „печальники“, „сборники“ были и суть просто путанники, всегда создававшіе съ давно уже неизвѣстнымъ на Западѣ, наивнымъ и самоувѣренно-трогательнымъ, однако, въ существѣ дѣла всегда эфемернымъ доктринерствомъ свои доморощенные рецепты и патентики, которые, противорѣча сами съ собой и другъ съ другомъ, оказывались контрбанднымъ продуктомъ весьма часто презираемаго ими „Запада“. Эти

теоріи нашихъ „путанниковъ“ (особенно яркими среди нихъ являются 3 типа: анархистъ Бакунинъ, реакціонеръ Достоевскій\*, и радикалъ Герценъ) неуживимы для науки, философіи, политики и эстетики единственно лишь потому, что каждая изъ нихъ одновременно и больше и меньше въ отдѣльности взятыхъ и науки, и философіи, и эстетики.

Съ точки зрѣнія „путанниковъ“ и Пушкинъ является ихъ родоначальникомъ. Поэтому они, забывая, что никто такъ ярко, какъ онъ, не подчеркивалъ свой эстетическій индивидуализмъ (включая сюда и всѣхъ тѣхъ, о которыхъ г. Венгеровъ написалъ свою обстоятельную книгу, въ которой нечего критиковать, кромѣ самаго права на ея существованіе), никто такъ смѣло не боролся за право поэта быть „только поэтомъ“,—надѣляютъ его тысячью противорѣчивыхъ эпитетовъ, закрываютъ глаза на его политическую nullitas и полагаютъ, что сущность постиженія Пушкина—то или иное толкованіе слова „чернь“. Они упускали и упускаютъ изъ виду, что послѣ Пушкина въ центрѣ „литературы“ стояло не наслѣдство Пушкина, потому что душа его поэзіи неразрывно связана съ оболочкой, и потому что наслѣдство свое Пушкинъ завѣщалъ не „литературѣ“, не публицистамъ, а богамъ твоего Олимпа. Этотъ духъ Пушкина былъ сохраненъ въ трехъ великихъ храмахъ, которые столь же вѣчны и нерукотворны, какъ и памятникъ его самого. Первый изъ этихъ трехъ храмовъ—подаемный алтарь Лермонтова, воздвигнутый имъ тому, кого онъ любилъ называть „мой Демонъ“, алтарь, пламя котораго не поблѣднѣло даже передъ лучшими строфами „Цвѣтовъ Зла“ Бодлера; второй храмъ—грандіозный лирическій Пантеонъ нашего геніальнаго, несравненнаго и потому неоцѣннаго „путанника“ Фета; третій храмъ—это стихійный храмъ въ честь великаго Хаоса, это—страшная и неотразимо мудрая поэзія Тютчева

Черезъ головы всѣхъ мудрыхъ и наивныхъ, тихихъ и злобныхъ, гражданскихъ и не гражданскихъ, передовыхъ и не передовыхъ служителей великаго амбара, именуемаго „литературой“, вплоть до первыхъ взрывовъ поэзіи Валерія Брюсова, идетъ, не угасая, священный огонь свободнаго творчества, идутъ мучительныя созерцанія Красоты божественной, которой не достоинъ міръ; этотъ огонь передается отъ „посвященныхъ“ — „посвященнымъ“, эти созерцанія не угаснутъ никогда!

Э л л и с ъ .

\* Достоевскій—прогрессистъ случайно, лишь постольку, поскольку онъ путанникъ, въ общемъ же онъ, при всемъ его небываломъ въ исторіи человѣческой мысли дарѣ психологическаго анализа,— просто огромный „мистическій монархистъ“, что стоитъ двухъ десятковъ мелкихъ „мистическихъ анархистовъ“.

## ВЕДЕКИНДЪ ПО-РУССКИ.

**Фр. Ведекиндъ.** Пляска мертвыхъ. Переводъ Потемкина. К-во „Еос“.—Духъ земли. Пер. Э. Бескина. К-во „Чайка“.—Весеніе побѣги. Пер. Е. Маурина.—Пробужденіе весны. Пер. Г. Федерера подъ редакціей Федора Сологуба.—Княжна Русалка. Пер. Оскара Норвежскаго. К-во „Еос“.—Фейерверкъ. Пер. А. Ф. Л.—Музыка. Пер. подъ редакціей Э. Бескина. К-во „Чайка“.—Музыка. Пер. Оскара Норвежскаго.—Гидалла. Музыка. Пер. Л. Василевскаго и Э. Венгеровой. К-во „Шиповникъ“.

Сейчасъ мы присутствуемъ при любопытномъ явленіи шумнаго успѣха въ Россіи писателя, еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ бывшаго извѣстнымъ лишь очень ограниченному кругу людей, специально интересующихся современной европейской литературой. Писатель этотъ—Франкъ Ведекиндъ. За послѣдніе два мѣсяца у насъ наблюдается чрезвычайное переполненіе Ведекиндомъ книжнаго рынка (при весьма маломъ количествѣ оригинальныхъ новинокъ): какъ изъ рога изобилія посыпались на наши головы скороспѣлые переводы и плохо скроенныя изданія его драмъ. И этотъ дождь, повидимому, не ослабѣваетъ; наоборотъ, все говоритъ за то, что въ будущемъ насъ ожидаетъ еще настоящій ведекиндовскій ливень, цѣлое наводненіе...

Радоваться или печалиться этому? Когда появился первый переводъ Ведекинда, хотѣлось встрѣтить его радостно. Отрадно было, что въ Россію проникаетъ, наконецъ, оригинальный, яркій и глубокій писатель, безпощадная мудрость, трагическій юморъ и возвышенный пессимизмъ котораго такъ исключительны и потрясающи. Радостное чувство сильно поколебалось при знакомствѣ съ первымъ переводомъ. Слѣдующіе переводы еще болѣе увеличили разочарованіе. А теперешняя эпидемія не оставляетъ уже никакого мѣста радости. Не можетъ быть сомнѣнія, что и предприимчивые издатели, ухватившіеся за Ведекинда, какъ за вновь открытые золотые прииски, и публика, расхватывающая фабрикуемые ими изданья, и переводчики, и антрепренеры, внезапно полюбившіе Ведекинда, цѣнятъ и видятъ въ немъ что-то побочное, ибо его художественная сущность,



чрезвычайно трагическая, суровая и возвышенная, не могла бы создать ему такую моду. Увы!—его переводят тѣ самые переводчики и издають тѣ самые издатели, которые вслѣдъ за нимъ выпускаютъ „Дѣвичьи годы одного мужчины“ или даже усовершенствованное руководство для новобрачныхъ. Изъ всѣхъ вышедшихъ переводовъ развѣ лишь два-три могутъ быть названы литературными и болѣе или менѣе удовлетворительными. Почти все остальное—рыночная спекуляція хулигано-порнографическаго оттѣнка...

Первымъ появился переводъ „Пляски мертвыхъ“—Потемкина (еще лѣтомъ). Переводъ этотъ, прежде всего, очень неточенъ. Переводчикъ то и дѣло выбрасываетъ цѣлыя фразы, допускаетъ довольно значительныя измѣненія подлинника. Такъ какъ это дѣлается съ текстомъ, написаннымъ прозою, то подобныя самоуправства г. Потемкина рѣшительно ничѣмъ оправданы быть не могутъ и перевода, конечно, не рекомендуютъ. Въ любой изъ сценъ такихъ пропусковъ сколько угодно. Такъ, въ разныхъ мѣстахъ совершенно выброшены слѣдующія слова: „durch keine menschliche Empfindung gestörten“, „ohne dass ich mir das geringste davon träumen liess“, „allem Anschein nach“, „das heranwachsende Weib darf nicht wissen, was ein Weib zu sein bedeutet“ и т. д. Очень много точныхъ и мощныхъ выраженій Ведыкина совершенно обезцвѣчены и опошлены расплывчатымъ переводомъ. У Ведыкина Каста Пьяни говоритъ Эльфридѣ, что „по сравненію съ другими женщинами у нея лишь очень малая доля чувственности“, у Потемкина вмѣсто этого: „вашъ кругозоръ гораздо уже кругозора другихъ женщинъ“. Есть, наконецъ, цѣлый рядъ прямыхъ ошибокъ. Ведыкинъ говоритъ, что уже по природѣ своей мужчина „himmelweit überlegen dem Weibe“, потому что женщина въ мукахъ рождаетъ дѣтей, у Потемкина (въ противность всякому смыслу) оказывается какъ разъ наоборотъ: женщина этимъ „превазшла мужчину“. „Der Schande überantworten“ (предать стыду) переводится „лишить стыда“, „seien wir uns immer sonnenklar darüber“ (будемъ всегда ясно понимать, что—и т. д.) переводится „будемъ ясны какъ солнце“; „wie der Esel der den Schosshund spielen will“ (какъ оселъ, желающій сыграть роль ручной собачки)—„какъ оселъ, заигрывающій съ болонкой“; „in der ersten besten Zeitung“ (въ первой попавшейся газетѣ)—„въ первой же хорошей газетѣ“ и т. д. Кромѣ того, можно бы указать на неловкость по-русски нѣкоторыхъ выраженій Потемкина. Развѣ можно воскликнуть по-русски „Я глупая гусыня“ („Ich dumme Gans“) или обратиться къ кому-нибудь „моя барышня“ („mein gnädiges Fräulein“)? Нехорошо также переводить „Lustmädchen“ черезъ „гуляющая женщина“.

Особенно неудался Потемкину переводъ 2-ой сцены, написанной стихами. Вѣрность подлиннику здѣсь еще болѣе отдаленная, что,

впрочемъ, могло бы быть извинено требованіями стихотворнаго размѣра. Но дѣло въ томъ, что этотъ размѣръ Потемкинымъ не соблюденъ и все передано такими дубовыми, корявыми виршами съ риемами вродѣ лобзаній и благодарныхъ, меня и могу ли я (подлинныя риемы!), что просто жаль становится бѣднаго Ведекинда. Вотъ образчикъ этого стихотворнаго стиля:

Ахъ, развѣ я, добыча чорта,  
Жила бѣ въ дому такого сорта,  
Если бѣ отъ мукъ, отъ душевной бѣды  
Чувственность волю дала мнѣ.

Или:

Фальшивъ былъ тонъ. Растрескалось стекло.  
Какъ можетъ человекъ постигнуть это!  
Тебѣ до счастья, быть можетъ, дѣла нѣту,  
Но не заботиться о снѣ вѣдь это зло!

Но если неудовлетворителенъ переводъ Потемкина, то какъ опредѣлить переводъ „Духа земли“—Э. Бескинымъ? Придется прямо сказать: такой переводъ есть крайняя степень литературнаго хулиганства и самаго каннибальскаго, самаго безсовѣстнаго отношенія къ художественнымъ цѣностямъ. Ни малѣйшей заботы о соблюденіи стиля Ведекинда, о сохраненіи его выраженій не видно въ этомъ переводѣ. Искаженія начинаются съ первой же строки, съ первой же ремарки автора. При этомъ г. Бескинъ нашелъ прекрасный способъ обходить затруднительныя мѣста подлинника: чѣмъ ломать себѣ голову надъ пониманіемъ текста да рыться въ словаряхъ, онъ просто выкидываетъ непонятное ему мѣсто и со спокойной совѣстью валяется себѣ дальше. Когда же выбросить такимъ образомъ пришлось бы слишкомъ много, онъ передаетъ текстъ „свободнымъ пересказомъ“ въ стилѣ пошлаго бульварнаго романа. О степени безцеремонности г. Бескина можно судить хотя бы по слѣдующему перечню его пропусковъ: на стран. 21-ой (нѣмецк. изданія) пропущены 2 строки, на стран. 25-ой—2 строки, на 28-ой—4 стр., на 34-ой—3 стр., на 35-ой—5 стр., на 38-ой—5 стр., на 41-ой—5 стр.. На страницѣ 128—5 стр., на 129—9 стр., на 130—6 стр., на 131-ой—3 стр., на 132-ой—4 стр. и т. д. во всей книгѣ.

Но, несмотря на такую осторожность г. Бескина, несмотря на выбрасываніе всѣхъ непостижимыхъ для него мѣстъ, всѣхъ именъ собственныхъ и названій (которыя, вѣдь тоже, того гляди, не такъ переведешь!)—ошибокъ въ его переводѣ сколько угодно. Напр., очень распространенную нѣмецкую поговорку „gute Miene zum bösen Spiel machen“ („faire bonne mine a mauvais jeu“) онъ переводитъ: „я съ

искусственной улыбкой сдѣлала это". У Ведекинда Лулу говорить: „никто не исполнитъ вашихъ желаній, не обманувъ васъ", у Бескина получается: „но вмѣстѣ съ тѣмъ, никто не исполнитъ моихъ желаній, безъ особой задней мысли о себѣ". Дальнѣйшихъ ошибокъ Бескина приводить не стану, такъ какъ исчерпать его искаженій все равно нѣтъ никакой возможности. Вотъ нѣсколько примѣровъ его отсебятины: по нѣмецки „es geht nicht"—по-русски „вы нервничаете"; по-нѣмецки „seinetwillen"—по-русски: „на алтарь своей любви"; слова Лулу къ Шену: „вы сдѣлали меня танцовщицей для того, чтобы кто нибудь пришелъ и взялъ меня",—переводятся „чтобы въ одинъ прекрасный вечеръ какой-нибудь незнакомецъ взялъ меня съ собою". Совершенно чудовищень переводъ стихотворнаго пролога, гдѣ речуются „бича" и „господа" и есть слѣдующія исключительныя строки:

А въ заключенье въ пасть я положу  
Кому-нибудь изъ звѣрей голову.

„Frühlings Erwachen" появилось уже въ двухъ переводахъ, одинъ изъ которыхъ сфабрикованъ газетнымъ литераторомъ г. Мауринымъ (изданіе „петербургской книжной экспедиціи"), другой вышелъ подъ редакціей Федора Сологуба (сдѣланъ для театра Коммисаржевской). Какъ смотрѣлъ Мауринъ на переводимаго имъ автора, ясно до нѣкоторой степени изъ того, что, закончивъ переводъ „дѣтской трагедіи", онъ принялся за переводъ уже упомянутыхъ выше „Дѣвичихъ годовъ одного мужчины", которые въ скоромъ времени должны появиться въ изданіи той же „с.-п.-б. книжной экспедиціи". Переводъ Маурина довольно близокъ къ стилю переводовъ Э. Бескина. Въ одномъ отношеніи Мауринъ даже превосшелъ Бескина. У Бескина искаженія начинаются съ первой ремарки автора, у Маурина искажено даже самое заглавіе драмы: „Пробужденіе весны" невѣдомо зачѣмъ переделано въ „Весенніе побѣги". Издана книжка очень безвкусно.

Другой переводъ принадлежитъ Г. Федеру и редактированъ Сологубомъ. Это — наиболѣе обдуманнѣе и выношеннѣе переводъ Ведекинда. Впрочемъ, и въ немъ есть нѣсколько неточностей. Книга хорошо издана „Шиповникомъ".

Весьма слабая книга разсказовъ Ведекинда „Княжна Русалка" переведена г. Оскаромъ Норвежскимъ также весьма слабо. Переводы его неточны; не мало словъ и выраженій пропущено безъ видимой надобности. Все въ общемъ носитъ тотъ специфическій переводный стиль, по которому съ первой же полустраницы чувствуешь, что это—увы!—лишь переводъ... Есть много очень нескладныхъ и неудобныхъ по-русски выраженій.

Разсказы, вошедшіе въ книгу „Княжна Русалка“, были вторично изданы Ведекиндою подъ новымъ названіемъ „Feurwerk“. Эта книга только что появилась въ русскомъ переводѣ, подписанномъ буквами А. Ф. Л. Переведена, впрочемъ, не вся книга, а лишь „избранные разсказы“ (какъ это и значитъ на обложкѣ): изъ 9 разсказовъ, — 3—опущены („Rabbi Esra“, „Bei den Hallen“, „Ich langweile mich“). Переводъ очень точенъ и обдуманъ, значительно превосходя переводы тѣхъ же разсказовъ, сдѣланные г. О. Норвежскимъ. Единственное, за что можно упрекнуть переводчика, это 2—3 неловкихъ по-русски выраженія, допущенныя имъ, какъ, напр., „хоть ножомъ къ горлу подступи“...

Послѣдняя, только что появившаяся въ журналѣ „Morgen“ драма Ведекинда „Musik“ нашла себѣ у насъ уже троихъ переводчиковъ. Одинъ изъ переводовъ вышелъ подъ редакціей Э. Бескина, другой сдѣланъ Оскаромъ Норвежскимъ, а третій — Зинаидой Венгеровой. Лучшій изъ переводовъ—послѣдній.

Переводы Бескина я уже имѣлъ случай охарактеризовать. Нужно однако, замѣтить, что данный переводъ, вышедшій лишь подъ редакціей Бескина,—куда лучше его собственныхъ переводовъ (это объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что онъ принималъ въ немъ лишь очень слабое участіе). Переводъ „Музыки“ Оскара Норвежскаго хуже его же перевода „Княжны Русалки“. Помимо многихъ неточностей и ошибокъ онъ нерѣдко прибѣгаетъ въ немъ и къ методу пропусковъ всего непостижимаго, столь успѣшно практикуемому Э. Бескинымъ. Напр., въ одномъ 2-омъ явленіи 4-аго дѣйствія совершенно выброшены слѣдующія фразы: „Es musste denn ein Ungeheuer sein dem das klägliche Aechzen meines armen verlassenen Kindes Musik in den Ohren ist“, „Dein Erbrechen hat heute früh wenigstens nachgelassen“ и „Dieser Eselsblock von einer Menschenseele“, не говоря уже о цѣломъ рядѣ болѣе мелкихъ пропусковъ. Въ томъ же явленіи встрѣчаются слѣдующія ошибки: „Ich würde an deiner Stelle dem Arzt nicht ins Handwerk pfuschen“ (и бы на твоёмъ мѣстѣ не вмѣшивалась въ дѣло врача) переведено: „я бы на твоёмъ мѣстѣ не особенно до въ ряла врачу“; „das ist Pflichtvergessenheit, das ist Mord“ (это забвенье долга, это убійство“) переведено: „это называется святое исполненіе своихъ обязанностей, это преступленіе“.

Переводъ З. Венгеровой, вошедшій въ 1-ый томъ предпринятаго „Шиповникомъ“ изданія собранія сочиненій Ведекинда,—относится къ немногимъ вполне приличнымъ переводамъ Ведекинда.

Въ томъ же 1-омъ томѣ помѣщенъ переводъ Л. Василевскаго „Гидаллы“. При извѣстной старательности, переводъ этотъ обнаруживаетъ очень слабое знакомство переводчика съ нѣмецкимъ языкомъ, что выразилось въ цѣломъ рядѣ грубѣйшихъ ошибокъ, въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ прямо обезсмысливающихъ драму. Вотъ нѣкоторые изъ этихъ чрезвычайно многочисленныхъ ошибокъ: „An allerhöchster Stelle soll der lebhafteste Wunsch ausgesprochen worden sein, sie persönlich kennen zu lernen“ (въ высочайшихъ кругахъ было высказано живое желаніе познакомиться съ вами лично) переводится: „мнѣ хочется высказать вамъ, какое сильное у меня было желаніе познакомиться съ вами лично“. „Als wäre ich jè in meinem Leben auf etwas anderes als nur auf den Genuss ausgegangen“ переводится прямо противоположно своему смыслу: „но вѣдь я вошелъ въ жизнь для чего то еще кромѣ наслажденія“. „Mein Werk ist hin“ (мое дѣло погибло) переведено: „Это мой трудъ“. „Im Kampf mit der Staatsgewalt begegnet einem die Behörde auch im schlimmsten Fall noch mit solcher Förmlichkeit, dass eine Hinrichtung wie eine zu Ehren des Hingerichteten veranstaltete würdevolle Feierlichkeit erscheint“ переведено опять прямо противоположно своему смыслу: „человѣкъ здѣсь сталкивается съ правительственной властью въ самой худшей ея формѣ, и смерть принимаетъ видъ какого-то спеціальнаго торжества, устраиваемаго въ честь умирающаго“. „Ich kann mir ja kaum mehr verhehlen“ (я уже болѣе не могу скрывать отъ себя)—переведено: „я съ трудомъ могу уяснить себя“. „Die wie ein wildes Tier aus der menschlichen Gemeinschaft hinausgehetzte Dirne“ (какъ дикій звѣрь, выгнанная изъ человѣческаго общества проститутка) превращено въ бессмыслицу: выросшая изъ человѣческой низости и уподобившаяся дикому животному проститутка“. „Damit wollte er die heutige Versammlung zum Totschlag reizen“ (этимъ онъ хотѣлъ возбудить сегодняшнее собраніе на убійство) переведено: „такимъ образомъ онъ хочетъ увлечь въ бездну все современное общество“. „Слово, которое не должно заглухнуть“ (verstummen) передѣлывается въ: „слово, которое не дастъ быть глухими“; „чтобы посмѣяться надъ своими довѣрчивыми жертвами“ — „надъ жертвами увѣровавшихъ“... Невѣрно переводятся и отдѣльные слова: schmachvoll—пустой, verdächtig—отвратительно, folge leisten—предпочитать... Встрѣчается въ книгѣ и порядочное количество довольно подозрительныхъ пропусковъ.

Викторъ Гофманъ.

## БИБЛИОГРАФІЯ.

Эмилъ Верхарнъ. Обезумѣвшія деревни. Переводъ Н. Васильева. Казань 1907.

Никто не можетъ отнять у Э. Верхарна завиднаго права называться самымъ глубокимъ и сильнымъ выразителемъ поэзіи современной души. Даже передъ ликами будущихъ вѣковъ Верхарнъ предстанетъ, прежде всего, какъ пѣвецъ современности. Кто можетъ сказать о себѣ съ большимъ правомъ: „В сѣ вдохновляло меня, и я воспѣлъ все“? Сущность лирики Верхарна — безконечная, подавляющая сложность, сложность, какъ переживаній такъ и способовъ воплощенія ихъ. Эта черта и дѣлаетъ его самымъ современнымъ поэтомъ. Препжіе вѣка знали души, болѣе цѣльныя, болѣе возвышенныя и болѣе чуткія, но никогда душа человѣка не знала такой сложности, какую знаемъ мы.

Хаосъ внутри, хаосъ внѣ, хаосъ, пронизанный великимъ предчувствіемъ — вотъ сущность современной намъ эпохи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, и необъятнаго по своимъ горизонтамъ, титаническаго по замысламъ и порывамъ творчества Э. Верхарна. Верхарнъ — огромное зеркало, гдѣ каждый видитъ себя и всѣ другъ друга; его поэзія многогранна; путь, пройденный имъ за 24 года отъ „*Flamandes*“ черезъ „*Flambeaux noires*“ и „*Moines*“ къ „*Guirlandes des dunes*“ — изумительно великъ, образъ, встающій изъ всѣхъ его произведеній — потрясающе — прекрасенъ. Пусть этому вѣчному страннику, этой „планетѣ безъ орбиты“ (какъ называли Э. По), даны только исканія; пусть его душа — „комочъ окровавленнаго мяса“, пусть, раздавленный бременемъ все-человѣческихъ переживаній, онъ не достигъ стройной и холодной успокоенности сверхъ-человѣка, — онъ безконечно близокъ каждому изъ насъ, онъ — истинный лирикъ современной души! Какъ сумѣлъ воплотить въ себѣ всю нашу эпоху переощеніемъ этотъ мистикъ безъ Бога, этотъ пророкъ безъ благодати, этотъ позитивистъ безъ вѣры въ человѣка, социалистъ безъ политической программы, анархистъ безъ „дѣйствія“, творецъ новыхъ ритмовъ и размѣровъ безъ пѣвучести, этотъ горожанинъ, тоскующій о родной деревнѣ, селянинъ, страстно стремящійся въ городъ!

Верхарнъ всегда больше разрушаетъ, чѣмъ создаетъ, болѣе хочетъ, чѣмъ вѣрить, болѣе устремляется, чѣмъ достигаетъ. Всегда его движеніе лишено граціи, нападеніе—стойкости, полетъ—легкости, любовь нѣжности, напѣвъ—музыкальности; его архитектура—всегда безъ системы, а система безъ метода! И тѣмъ болѣе искренни его вопли, тѣмъ горячѣе его слезы, чѣмъ глубже, трепетнѣе и неотразимѣе хаосъ его титаническихъ образовъ, сваленныхъ въ глыбы! Всѣ недостатки Верхарна искупаются его жаждой безмѣрности, роднящей его съ Бодлэромъ; сущность его духа—добровольное самоистязаніе во имя великаго пути, неизмѣнная готовность къ безконечному скитанію по всѣмъ лабиринтамъ бытія. Форма его прозрѣнія—галлюцинація; его созерцанія—всегда мгновенны; его гений—безконечный рядъ взрывовъ и огненныхъ, молнійныхъ вспышекъ; его образы болѣе гипнотизируютъ, чѣмъ очаровываютъ или умиляютъ. Вся поэзія Верхарна—безконечный рядъ разорванныхъ миговъ, идущій изъ неизвѣстности въ неизвѣстность, изъ ночи въ ночь, рядъ вспышекъ магіи, при которыхъ картина бытія магически мѣняется; его человѣческій міръ слить съ міромъ животнымъ, а животный міръ—съ царствомъ растений и камней; его природа—безконечная цѣпь странныхъ, сказочныхъ пейзажей, гдѣ чудовищные символы оторваны отъ міра вещей, угрожающе толпясь за спиной художника, тѣтно ища сліянія съ своей матеріальной основой. Женщина Верхарна—воплощеніе смерти и разврата, тощая старуха съ клюкой; его Сатана—старый фламандецъ съ щетинистой бородой и глазами волка, быть можетъ, нѣкогда державшій его ребенкомъ на своихъ колѣняхъ. Всѣ предметы у Верхарна имѣютъ двойной контуръ,—всѣ его мельницы и жернова—одушевлены; его люди и животныя—часто деревянные манекены; его цвѣты—болотныя травы и кустарники; его города—чудовищные спруты.

Творчество Верхарна всегда—смутно, кошмарно и размашисто; ему далеко до математически-строгаго, холоднаго и виртуозно-чekanнаго творчества Бодлэра съ его всегда выдержанной свѣтотѣнью, его неизмѣннымъ порывомъ къ совершенной Красотѣ и его паденіями до послѣдней грани. Верхарнъ передъ аристократизмомъ и совершенной выразительностью бодлэровскаго стиля—варваръ; онъ долженъ быть поставленъ ниже ангельской музыки Роденбаха; но среди современныхъ поэтовъ-символистовъ Верхарнъ не знаетъ себѣ соперниковъ: онъ—первый!

Произведенія Верхарна, послужившія источникомъ для переводовъ Н. Васильева \*, собранныхъ имъ подъ общимъ заглавіемъ

\* Сюда относятся его сборники: «Campagnes hallucinées», «Les Villes tentaculaires», «Les Forces tumultueuses», «Les Flamandes» и др.

„Обезумѣвшія деревни“ — отмѣчаютъ одинъ изъ важнѣйшихъ этаповъ его творческихъ блужданій. Всѣ образы ихъ можно обозначить однимъ общимъ терминомъ „мистическій пейзажъ“, ибо всѣ они (сельскіе, такъ же какъ и городскіе) изображаютъ не только внѣшнія объективныя очертанія, но открываютъ намъ въ нихъ стійныя трепеты міровой души.

Безспорно, Верхарнъ далъ много новаго, но все же возможенъ генезисъ его творчества; его учителя — В. Гюго и Ш. Бодлэръ, особенно послѣдній. Несомнѣнно, на немъ, какъ и на всякомъ бельгійскомъ лирикѣ, также есть вліяніе старинной фламандской живописи. Послѣднее замѣтно именно въ его картинахъ сельскаго и городского быта. Здѣсь пароксизмы его творчества иногда умѣряются мирной картиной во вкусѣ Дюжардена, Поттера; здѣсь особенно рельефнѣе культъ плоти, столь свойственный Верхарну вообще. Здѣсь особенно разнообразны и прихотливы его размѣры, то струящіеся, какъ ручеекъ, незамѣтно исчезающій въ торфяномъ болотѣ, то разливающіеся въ широкія и спокойныя рѣки и озера, то съ шумомъ и брыгами разбивающіеся о вращающіяся колеса его повторныхъ образовъ и восклицаній. Здѣсь его риѣмы разсажены, какъ стройныя ветлы и тополя вдоль безконечныхъ дорогъ его родины.

Всѣ эти образы связаны двумя основными темами, навѣяанными глубокими социальными инстинктами, темой пустыющей, умирающей деревни и темой всепоглощающаго гиганта-города.

„Вѣчная иллюзія вселенной“, воплощенная въ этихъ двухъ полюсахъ земного бытія — вызываетъ въ душѣ Верхарна безконечность отчаянія и пароксизмы безумнаго горя, лишь иногда уступающіе то блѣднымъ тѣнямъ прошлаго, то новому пароксизму пламенной вѣры въ новаго Мессію. Міръ — это Голгофа, звѣзды — похоронныя свѣчи, луна — ликъ мертвеца, давно уже схороненнаго, дубы — живыя существа, размахивающія руками, чтобы вицѣпиться въ прохожаго — вотъ основныя, всегда безумныя и почти всегда грубые символы этого цикла.

Еще ужаснѣе города Верхарна, ибо

Всѣ пути приводятъ въ городъ.

Здѣсь

Изъ-подъ сумрачныхъ тумановъ, точно сонъ, и бредъ, и сказка;  
Многоярусныя здавня,  
Съ лабиринтомъ длинныхъ лѣстницъ вознеслися прямо къ небу.

Что касается переводовъ г. Васильева, то не приходится много распространяться о нихъ. Ихъ единственное достоинство, что они сдѣланы, повидимому, съ любовью и тщаніемъ, но въ искусствѣ одной любви, однихъ „добрыхъ намѣреній“ мало. Въ общемъ пере-



воды мало чѣмъ отличаются отъ общаго уровня массы стихотворныхъ переводовъ, которая растетъ не по днямъ, а по часамъ. Переводъ г. Васильева обыкновенно и весьма далекъ отъ подлинника и весьма мало поэтиченъ, ибо испещренъ массой прозаизмовъ въ родѣ слѣдующихъ:

Мнѣ казалось:  
Здѣсь вся боль земли вращалась  
И текла и возвращалась! (стр. 9).

Или

Длинный дождь,  
Дождь, а нити симметричныя,  
Точно пальцы анемичныя  
Одѣянья ткутъ приличныя.. (стр. 20)

или

Поля всѣ въ траурѣ изъ злата.  
Куда уходить старики?.. (11)

Есть и отдѣльные курьезы:

Вѣтеръ бѣгства и холода!.. (стр. 22)

или

Возница бросилъ, монотонный  
Усталый камень... (27).

Есть нѣсколько хорошо переведенныхъ мѣстъ въ пьесахъ: „Гибель равнинъ“, „Пѣсня безумнаго“ (на стр. 24), „Ночь“ (стр. 60). Есть 2—3 пьесы, цѣликомъ хорошо переведенныя.

Въ общемъ переводъ лучше переводовъ Верхарна, помѣщенныхъ въ сборникахъ „Знанія“, но далеко уступаетъ переводамъ В. Брюсова, хотя и послѣднимъ не всегда удается передать тѣло и душу подлинника. Такъ труденъ художественный переводъ всеобъемлющихъ поэмъ одного изъ самыхъ значительныхъ поэтовъ современности, Эмиля Верхарна!

Э л л с ъ .

**Изабелла Гриневская.** Сборникъ пьесъ и монологовъ (12 одноактныхъ пьесъ и 5 монологовъ). Предисловіе и портретъ автора. Спб. 1907 г. Ц. 1 руб. 50 коп.

Къ своимъ 12-ти одноактнымъ пьесамъ г-жа Гриневская прилагаетъ чисто материнское попеченіе. Пишетъ длинное предисловіе къ нимъ—оно же и воззваніе къ актерамъ,—безпокоится, хлопочетъ о ихъ судьбѣ, ну, словно съ грустью отдаетъ на воспитаніе въ чужія руки 12 младенцевъ, напутствуя ихъ благословеніями, инструкціями для окружающихъ и даже трогательнымъ обращеніемъ къ чьей-то „великодушной добротѣ“.—„Я скажу то, что кажется всѣмъ извѣстной аксіомой, какъ извѣстно, напимѣрь, что при ходьбѣ нужно

5\*

ставить прежде одну ногу, а потомъ другую“, —такими словами начинается почтенная писательница предисловіе книги, и не обманываетъ читателя, ибо аксіома ея, что исполнители должны знать роли наизусть, пользоваться суфлеромъ въ крайности и не перевертывать авторскаго текста—дѣйствительно, очень немудреная аксіома. „А если скажутъ, что авторы пишутъ худо,—предусматриваетъ г-жа Гриневская чей-то протестанскій выкрикъ, то—не исполняйте пьесы авторовъ, которыя кажутся вамъ написанными худо, вѣтъ правилъ логики, психологій“ и проч., потому что—„даже лучший писатель можетъ мѣстами ошибаться и въ затменіи разума (!) отступать отъ сути внутренней логики въ распредѣленіи рѣчей“. Послѣдняя фраза говоритъ о такой дѣтской непричастности къ поэзіи вообще и драматической въ особенности, что просто не нужно было бы огорчать г-жу Гриневскую неодобрительнымъ отзывомъ о ея 12-ти одноактныхъ младенцахъ. И если бы ея защита одноактныхъ пьесъ, своихъ и чужихъ, ограничилась лишь обезоруживающимъ воззваніемъ къ „великодушной добротѣ“ и нѣсколькими безвредными практическими совѣтами, то лучшимъ отзывомъ о книгѣ было бы молчаніе. Но г-жа Гриневская пытается философствовать и теоретизировать, и это уже ожесточаетъ. Покончивъ съ общими сценическими вопросами, вродѣ вышеизложенныхъ, она переходитъ къ защитѣ одноактныхъ пьесъ вообще и своихъ въ частности. Легкій сантиментальный вздохъ и реверансъ—„немного странно можетъ быть теперь защищать маленькія пьесы, когда гибнутъ большіе люди (?), но въ дѣлѣ сострадательной помощи и защиты не можетъ быть установлено очереди“. И дальше съ институтской пылкостью на трехъ страницахъ доказываетъ намъ г-жа Гриневская, что дважды два—четыре, а не пять. Все это очень мило и гуманно по отношенію къ бездарнымъ авторамъ одноактныхъ пьесъ „на затычку“ (см. предисловіе), но совершенно не нужно для одноактныхъ пьесъ, какъ таковыхъ, потому что, если онѣ нуждаются въ защитѣ, то по причинамъ внутреннимъ, а не за одноактность и малую протяженность сценическаго дѣйствія. Возьмемъ для примѣра Матерлинка. Нужнали ему защита г-жи Гриневской, и кто же ставилъ „Слѣпыхъ“ или „Чудо Св. Антонія“ „на затычку“ или для развѣзда, руководствуясь только размахомъ?

Очевидно, г-жа Гриневская говоритъ о какихъ-то специфическихъ одноактныхъ пьесахъ. Дѣйствительно, въ нѣкоторыхъ дореформенныхъ театрахъ еще и по сію пору сохранилась традиція ставить маленькіе водевили, шутки, драматическіе этюды, всегда почти завѣдомо бездарныя издѣлія для „сѣзда“, чтобы шарканье ногъ, кашель и безпокойныя мысли о калошахъ улеглись къ началу главнаго представленія. Драматическое творчество г-жи Гриневской относится именно къ этому разряду обветшавой сценической литературы, стоящей за

предѣлами всякаго искусства. Это и есть по существу своему пьесы для „сѣзда“ и разѣзда, пошлость, преступно воплощаемая на сценѣ невѣжественными режиссерами старой школы. Странный и упорный анахронизмъ, паразитирующій на дряхломъ тѣлѣ отживающаго театра.

Нина Петровская.

**Владимиръ Станюковичъ.** Пережитое. Воспоминанья зрителя войны. Спб. 1907. Ц. 75 коп.

Литература минувшей войны, кромѣ чисто исторической документальной хроники, съ которой трудно и даже невозможно познаться читателю изъ публики, почти вся имѣла характеръ случайный и вызывала интересъ лишь злободневный. Появилось множество „воспоминаній“ неизвѣстныхъ авторовъ, газеты и журналы запестрѣли полу-фантастическими военными рассказами, но все это слынуло какъ волна и не оставило за собой почти никакого слѣда.

„Пережитое“ г. Станюковича принадлежитъ къ очень ограниченному количеству книгъ о войнѣ, которыя останутся надолго, какъ скромные и цѣнные памятники трагическаго прошлаго. Помимо ея историческаго значенія и интереса точной фотографіи она обладаетъ достоинствами художественными, что, можетъ быть, и составляетъ ея главное значеніе. Если бы мы читали объ этой войнѣ только сообщенія специальныхъ корреспондентовъ, — сухіе отчеты въ синематографической послѣдовательности движенія и событій, мы никогда не узнали бы ея главнаго психологическаго узора, той сложности и таинственности массовыхъ и единичныхъ переживаній, которыя собственно всегда являются творческой силой событій. И если мы что-нибудь знаемъ, то лишь отъ художниковъ, которыхъ создавалъ трагизмъ переживаемаго момента, или отъ тѣхъ, которые и вблизи и вдали отъ дѣйствія воспринимали его съ обычной писательской раздвоенностью и остротой. Книга Станюковича, можетъ быть, не до конца выдержана и цѣльна въ художественномъ отношеніи, но недостатки ея меркнутъ передъ нѣкоторыми страницами описаній, въ которыхъ чувствуется сила настоящаго лирическаго экстаза. Безумная и горестная исторія послѣдней войны встаетъ передъ нами въ строгихъ, простыхъ, но потрясающихъ видѣньяхъ. Ни одной ложной вычурной черты, ни одного истерическаго вскрика, а передъ глазами молчаливый и суровый образъ такого страданья, для котораго нѣтъ истинныхъ словъ на земномъ языкѣ. Только на первыхъ страницахъ книги мы встрѣчаемся съ обычной человѣческой психологіей. Люди еще думаютъ, чувствуютъ, соображаютъ. Но вотъ — первый раскатъ орудійнаго боя, первый транспортъ раненыхъ, встрѣченный въ пути, — и подъ стекляннымъ взглядомъ смерти жизнь превращается въ сплошной кровавый сонъ. Выступаютъ какія-то новыя черты личности,

глубоко на дно падаютъ всѣ привычныя человѣческія чувства, и великія міровыя событія, требующія яснаго логическаго сознанія и четкой напряженности дѣйствія, оказываются въ рукахъ у какой-то новой и страшной породы людей—людей-автоматовъ. Этотъ кошмарный автоматизмъ массовыхъ и единичныхъ движеній, эту нѣмую окаменѣлость человѣческой души передъ бездоннымъ взглядомъ смерти изображаетъ Станюковичъ, почти поднимаясь до символа. „По мерзлему полю, разлинованному правильными линиями бороздъ, бродятъ въ одиночку, садятся и лежатъ фигуры въ сѣрыхъ шинеляхъ, равнодушныя ко всему. Кто они? Безумные? Трусы? Измѣнники? Неизвѣстно“. Рвутся шрапнели, каскадами сыплются виажащія пули, багровое зарево огня и крови подъ Мукденомъ,—а они все бродятъ, бродятъ—неизвѣстные въ сѣрыхъ шинеляхъ. И, можетъ быть, знаютъ отвѣтъ на дикій вопль „зачѣмъ?“ И, можетъ быть, смѣхъ въ ихъ стеклянныхъ глазахъ? „Неизвѣстно“.

Нина Петровская.

**Н. М. Гутъяръ.** Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ. Юрьевъ. 1907. Цѣна 1 р. 75 к.

Въ предисловіи къ своей книгѣ г. Гутъяръ заявляетъ, что „въ выборѣ темъ онъ руководствовался единственно желаніемъ опровергнуть то или другое предвзятое мнѣніе или посылить освѣтить нѣкоторые изъ наиболѣе спорныхъ вопросовъ біографіи Тургенева. Намѣреніе прекрасное; жаль только, что самъ г. Гутъяръ подошелъ къ Тургеневу съ собственнымъ предвзятымъ мнѣніемъ. Воспоминаній и статей о Тургеневѣ, какъ извѣстно, существуетъ очень немного, но почти всѣ авторы ихъ за рѣдкимъ исключеніемъ относятся къ Тургеневу, какъ къ человѣку, крайне недоброжелательно. Г. Гутъяръ во что бы то ни стало рѣшилъ „оправдать“ Тургенева отъ нареканій современниковъ и, вопреки ихъ свидѣтельствамъ, представить потомству его личность въ новомъ свѣтѣ. Съ этой цѣлью г. Гутъяръ пытается въ цѣломъ рядѣ обстоятельныхъ очерковъ доказать, что въ непрерывныхъ ссорахъ и столкновеніяхъ Тургенева съ друзьями виноватъ не онъ самъ, а именно эти друзья—Некрасовъ, Левъ Толстой, Достоевскій, Фетъ. Статьи г. Гутъяра, посвященныя личнымъ отношеніямъ Тургенева къ этимъ писателямъ, носятъ нѣсколько комическій оттѣнокъ, благодаря нападкамъ на нервность Достоевскаго, на старательность Некрасова, на самостоятельность Фета. Все, что могло бы такъ или иначе скомпрометировать Тургенева въ глазахъ читателя, г. Гутъяръ осторожно обходитъ. Подобный пріемъ нельзя считать ни научнымъ, ни литературнымъ. Недаромъ, лѣтъ семь назадъ, г. Гутъяръ получилъ въ Вѣстникѣ Европы“ достойную отвѣдь отъ В. Семенковича, племянника Фета, за статью „Тургеневъ и Фетъ“.

Предположимъ, однако, что г. Гутьяръ неосторожно оклеветаль Фета, только заступаясь за Тургенева, руководимый чувствомъ негодования. Тогда почему же онъ оставилъ безъ вниманія Головачеву-Панаеву, о которой вскользь отозвался небрежнымъ и глухимъ упоминаніемъ, ни слова не приведя изъ ея „Записокъ“? А, вѣдь, въ „Запискахъ“ Головачевой-Панаевой Тургеневъ изображенъ куда непривлекательнѣе, чѣмъ у Фета, который все же понималъ и цѣнилъ Тургенева и, какъ сильный человѣкъ, прощалъ ему его слабости.

Никакихъ новыхъ фактовъ г. Гутьяръ не сообщаетъ. Подборъ очерковъ отличается случайностью и разрозненностью. Ихъ всего семнадцать. Наименѣе удачны изъ нихъ толкующіе о „міровоззрѣніи“ и „творчествѣ“ Тургенева. Лучше удаются автору очерки, построенные на историческихъ данныхъ; таковъ, напр., очеркъ „Предки И. С. Тургенева“, едва ли не самый интересный во всей книгѣ.

Борисъ Садовской.

**Морисъ Матерлинка.** Пеллеасъ и Мелизанда и стихи въ переводѣ Валерія Брюсова. К-во „Скорпіонъ“. Мск. 1907. Ц. 1 р., для подписчиковъ „Вѣсовъ“ 85 к. съ пересылкою.

Книга составляетъ второй выпускъ той же серіи, какъ „Стихи о современности Эмиля Верхарна, въ переводѣ Валерія Брюсова“, появившіеся въ прошломъ году. Въ приложеніи даны библиографическія свѣдѣнія о книгахъ М. Матерлинка, изслѣдованіяхъ его творчества и о русскихъ переводахъ его произведеній. Въ книгѣ помѣщено три портрета М. Матерлинка: рисунокъ Тео ванъ-Риссельберга шаржъ О. Гульбрансона и „маска“ Ф. Валлотона.

## НОВЫЯ КНИГИ.

доставляемыя въ редакцію „Вѣстѣ“  
съ 15 августа по 15 октября.

Изд. Брокгаузъ-Ефрона.

Пушкинъ. (Библіотека великихъ писателей подъ ред. С. А. Венгерова). Вып. III. Спб. 1907. Ц. тома (в. I—III) 5 р.

К-во „Идея“.

Г. д'Аннунціо. Наслажденіе. Перев. съ итальянскаго подъ ред. Ю. Балтрушайтиса. М. 1907. Ц. 1 р. 50 к.

К-во „Еос“.

Александръ Рославлевъ. Въ башнѣ. Стихи. Книга первая. Спб. 1907. Ц. 1 р.

Изд. Казанскаго Ком. помощи голодающимъ.

Эмиль Верхарнъ. Обезумѣвшія деревни. Въ переводахъ Н. Васильева. Каз. 1907. Ц. 80 к.

К-во „Mathesis“.

H. Weber и I. Wellstein. Энциклопедія элементарной математики. Перев. подъ ред. В. Кагана. Одесса. 1907. Ц. 3. 50 к.

П. Лакуръ и Я. Анисль. Историческая физика. Пер. съ нѣмек. Одесса 1907. Ц. 1 р.

Б. Шмидтъ. Философская хрестоматія. Пер. подъ ред. проф. Н. Н. Ланге. Одесса 1907. Ц. 1 р.

К-во „Прометей“.

Петръ Пильскій. Разказы. Спб. 1907. Ц. 1 р.

К-во „Основа“.

Т. Ардовъ. Вечерній свѣтъ. Сборникъ стихотвореній. М. 1907. Ц. 1 р.

Изд. В. М. Саблина.

А. Н. Радищевъ. Полное собраніе сочиненій. Ред., вступит. статьи и примѣчанія В. В. Каллаша. М. 1907. 2 тома. Ц. 2 р. и 2 р. 50 к.

Петрашевы. (Политическіе процессы Николаевской эпохи). М. 1907. Ц. 1 р.

Изд. „Сириус“.

Записки И. И. Пущина о Пушкинѣ. Подъ ред. В. Якушкина.  
Спб. 1907. Ц. 50 к.

К-во „Скорпионъ“.

Морисъ Матерлинкъ. Пеллеасъ и Мелизанда и стихи въ переводѣ Валерія Брюсова. Съ портретами М. Матерлинка.  
М. 1907. Ц. 1 р.

Оскаръ Уайльдъ. Флорентинская трагедія. Перев. А. Курсинскаго и М. Ликиардопуло. Съ портретами О. Уайльда. М.  
1907. Ц. 80 к.

К-во „Шиповникъ“.

Франкъ Ведекиндъ. Собраніе сочиненій. Т. I. Гидалла и Музыка. Спб. 1907. 1 р. 20 к.

Съверные Сборники. II и III. Спб. 1907. Ц. 1 р. 50 к.

В. Муйжель. Разказы. Обложка М. Добужинскаго. Спб. 1908. Ц. 1 р.

С. Сергѣевъ Ценскій. Разказы. Обложка М. Добужинскаго.  
Спб. 1908. Ц. 1 р.

Разныхъ издателей.

Франкъ Ведекиндъ. Фейерверкъ. Избранные разказы. Пер.  
А. Ф. Л. М. 1907. Ц. 60 к.

Ж. Г. Виберъ. Научныя свѣдѣнія по живописи. Перев. съ французскаго Е. Ю. Спб. 1 р. 25 к.

Владиміръ Голиковъ. Кровь и Слезы. Торжество смерти и ала. Маленькія поэмы. Спб. 1907. Ц. 75 к.

В. В. Каллашъ. Записки путешествія въ Сибирь. А. И. Радищева. Спб. 1907.

Его же. О хронологіи басенъ Крылова. Спб. 1907.

Максъ Клиггеръ. Живопись и рисунокъ. Пер. В. Л—во. Спб.  
1907. Ц. 50 к.

Ивановъ-Разумникъ. Исторія русской общественной мысли.  
Изд. 2-е, т. I.—II Спб. 1908 Ц. 3 р.

Его же. Что такое махаевщина. Къ вопросу объ интеллигенціи.  
Спб. 1908. Ц. 50 к.

## ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

### НОВАЯ БИОГРАФИЯ ВЕРЛЭНА.

Edmond Lepelletier Paul Verlaine. Sa Vie. Son Oeuvre. Avec portrait et autographe. Mercure de France. P. 1907.

Разбирая („Вѣсы“, № 8) странную и любопытную, посмертную книгу Верлэна „Путешествіе француза по Франціи“, я уже прибѣгалъ къ данной книги Эдм. Лепеллетье. Чтобы возстановить причудливую и многосложную жизнь Верлэна, чтобы выяснить случайныя и разнородныя источники его творчества,—необходимо ознакомиться со всѣми противорѣчивыми воспоминаніями о поэтѣ и сопоставить ихъ другъ съ другомъ: и, среди этихъ матеріаловъ, обстоятельная и освѣдомленная книга Э. Лепеллетье, безъ сомнѣнія, останется какъ одна изъ наиболѣе надежныхъ. Верлэнъ съ того времени, какъ покинулъ школьную скамью, былъ связанъ тѣсной дружбой съ Эдм. Лепеллетье, и его книга, конечно,—самое интимное, что только было до сихъ поръ сказано въ печати о повседневной жизни Верлэна, о томъ, какъ создались его произведенія, и о тѣхъ литературныхъ планахъ, которые онъ не осуществилъ.

Можно было бы указать, что г. Лепеллетье проявляетъ слишкомъ много благоговѣйнаго старанья, чтобы только извинить или даже совсѣмъ обойти молчаніемъ различные недостатки Верлэна. Я согласенъ, что его біографическій этюдъ необходимо контролировать и исправлять на основаніи другихъ источниковъ. Но во всякомъ случаѣ книга Лепеллетье кажется мнѣ въ высшей степени искренней, и изъ нея выступаетъ передъ читателемъ человѣческій образъ Верлэна,—равно далекій отъ страстныхъ, но пустыхъ восклицаній какъ его поклонниковъ, такъ и хулителей, изъ которыхъ одни надѣляютъ его эпитетами „сатаническій“, „извращенный“, „вырождающійся“, а другіе, съ своей стороны прославляютъ его, какъ существо „божественное“.

Э. Лепеллетье предупреждаетъ насъ, что онъ намѣренъ разрушить верлэновскую легенду и возстановить точную исторію его жизни, исполняя, такимъ образомъ, трогательную и отчаянную моль-



бу поэта, съ которой онъ обратился къ своему другу изъ тюрьмы Монса, написавъ на поляхъ одного изъ своихъ писемъ къ матери: „Пусть Лепеллетье защититъ мою репутацію... Я рассчитываю только на него, чтобы меня лучше поняли.“

По счастливому выраженію, Э. Лепеллетье былъ избранъ душеприказчикомъ, чтобы исполнить моральное завѣщанье поэта. Не трудно угадать, отъ какихъ обвиненій хочетъ защитить себя Верленъ, запертый тогда въ тюремной кельѣ. Онъ былъ осужденъ и приговоренъ къ тюрьмѣ за то, что стрѣлялъ въ Артура Римбо,—и общественное мнѣніе хотѣло видѣть въ этомъ моральную драму страсти. Такая догадка нисколько не удивительна, если ея хотя бы объяснить дѣйствительно странную дружбу Верлена съ тѣмъ, кого Лепеллетье называетъ „бродягой изъ исправительнаго дома“,—дружбу столь пламенную, что Верленъ ввелъ этого плохо воспитаннаго мальчишку въ свою семью, представилъ его своей женѣ и, потомъ, чтобы только быть близъ него въ Лондонѣ, совершенно бросилъ свою подругу, за годъ передъ тѣмъ такъ цѣломудренно воспѣваю въ стихахъ „La Bonne Chanson“! Это уже не легенда, а исторія и факты, объяснить которые было бы важно.

Э. Лепеллетье безпощаденъ по отношенію къ г-жѣ Верленъ и обвиняетъ ее въ томъ, что она въ той же мѣрѣ, какъ Римбо, была начальной причиной всѣхъ неудачъ поэта. „Ей слѣдовало бы быть терпѣливѣй“—восклицаетъ г. Лепеллетье. Въ отвѣтъ на это восклицаніе хочется улыбнуться... Думаешь скорѣе, что человекъ, съ характеромъ Верлена, импульсивный, искренній въ каждомъ изъ своихъ поступковъ, но самъ не понимающій ихъ относительной цѣны и не умѣющій ихъ координировать, не долженъ былъ бы связывать себя женитьбой. Верленъ не изъ тѣхъ, кто можетъ жить идеей, онъ — мятежный прохожій на тропяхъ страстей.

Далѣе біографъ Верлена, ссылаясь на нѣкоторые примѣры изъ античной древности, старается доказать безгрѣшность отношеній Верлена къ одному изъ своихъ учениковъ колледжа Реталь, именно къ тому Люсьену Летинуа, который такъ странно идеализованъ въ цѣломъ рядѣ стихотвореній сборника „Amour“, гдѣ поэтъ говоритъ объ немъ: „Тонкій, какъ высокая дѣвочка“. Когда этотъ юноша, о которомъ Лепеллетье пишетъ, что онъ былъ „худъ, блѣденъ, нескладенъ, съ наивнымъ, похурымъ выраженіемъ лица“, — покинулъ колледжъ, Верленъ немедленно подалъ въ отставку и поспѣшилъ за нимъ. Онъ купилъ на имя Летинуа-отца, ловкаго и хитраго крестьянина, небольшую ферму и вмѣстѣ съ Люсьеномъ занялся земледѣліемъ. Естественно, весьма скоро наступило крушеніе, чему, вѣроятно, не мало способствовалъ Летинуа-отецъ, сумѣвшій продать въ свою пользу и ферму, и землю. Что касается Верлена, то онъ, какъ

бы въ воспоминаніе о Римбо, отправился, захвативъ съ собой своего опернаго „пастушка“, въ Лондонъ.

Что до меня, это второе приключеніе Верлена съ Люсьеномъ возбуждаетъ во мнѣ еще болѣе непріятныя чувства, нежели первое, съ Римбо: ибо нѣтъ возможности сослаться на страсть, возникшую изъ духовной близости, когда рѣчь идетъ объ едва обтесанномъ парнѣ (какъ еще выражается Лепеллетье)! Я не хочу обращать вниманія на разные сплетни и расказы, которые ходятъ относительно Верлена; я указываю только на эти факты, подтверждаемые самими его произведеніями. И съ грустью надо признаться, что у сборника „Amour“, если его вдохновеніе и совершенно чисто, есть свой спутникъ, нисколько не напоминающій Вергилія, недостойная потаенная книжка: „Histoires“ \*.

Защищая своего друга, г. Лепеллетье указываетъ, что Верленъ неумѣренно любилъ женщинъ, даже самыхъ несчастныхъ проститутокъ, не требуя отъ нихъ ни души, ни даже красоты. Но такой доводъ обращается скорѣе противъ Верлена: изъ него легко заключить о чувственной извращенности поэта и даже о чемъ-то гораздо худшемъ.

Нѣтъ, опасно доказывать слишкомъ многое. Мнѣ кажется, что мы лучше всего выкажемъ наше уваженіе къ Верлену, если обойдемъ нѣкоторые темные вопросы молчаніемъ. Опасно бороться съ легендами, такъ какъ часто онѣ—только неопредѣленные и неуловимые призраки исторіи, и, если подойдешь къ нимъ слишкомъ близко, дѣйствительность порою, противъ желанія, просвѣчиваетъ сквозь нихъ...

Дѣйствительно цѣнную часть книги Э. Лепеллетье составляютъ письма къ нему Верлена отъ 1862 до 1895 года, писанныя почти во всѣ мгновенія энтузіазма, сомнѣній или отчаяній, когда невольно обращаешься къ старымъ друзьямъ и къ первымъ ученикамъ. Э. Лепеллетье и былъ для Верлена такимъ первымъ ученикомъ, первымъ поклонникомъ, какъ онъ самъ сознается. Еще въ школѣ, въ классахъ риторики, когда Верленъ написалъ одно разсужденіе въ стихахъ и профессоръ осыпалъ этотъ опытъ своими насмѣшками (иное было бы совершенно необыкновеннымъ), Лепеллетье, который тоже писалъ уже стихи, поспѣшилъ принести своему товарищу первую дань восторга передъ его поэтическимъ даромъ.

Эта переписка, остававшаяся до сихъ поръ совершенно неизданной, даетъ намъ слышать откровенныя рѣчи поэта, какъ бы сказан-

\* Э. Лепеллетье даже не называетъ этой книги въ спискѣ произведеній Верлена; онъ упоминаетъ только книгу: „Femmes“, говоря, что она не можетъ быть перепечатана даже въ самомъ полномъ собраніи сочиненій.

няя самому себѣ, и въ веселые и въ печальные дни жизни. И къ этимъ рѣчамъ теперь придется прислушиваться болѣе внимательно, чѣмъ къ его „Мемуарамъ“ и его „Признаньямъ“, въ которыхъ все-таки слишкомъ много литературы. Всю правдивость темперамента Верлена, весь интересъ случайности, всю неожиданность рѣшеній поэта, болѣею частью неисполнившихся, находимъ мы въ этихъ драгоцѣнныхъ письмахъ, въ которыхъ онъ не рассказываетъ о себѣ, но живетъ!

Что ново для читателей поэта, но нисколько не удивляетъ тѣхъ, кто былъ знакомъ съ нимъ лично, это—душа мальчишки, сверкающая, смѣющаяся и дурачащаяся въ этихъ письмахъ. Въ нихъ передъ нами мальчишка съ грубыми словами, съ обычными парадоксами, не знающій уваженія ни къ чему. „Нѣтъ ни малѣйшей заботы о стилѣ въ этой корреспонденціи,—говоритъ Лепеллетье,—краткой, отрывистой, нервной и притомъ уснащенной эпитетами и выраженіями столь крѣпкими, что нѣтъ никакой возможности опубликовать эти красочныя письма цѣликомъ“. И дѣйствительно въ письмахъ часто встрѣчаются фразы, кончающіяся многоточіемъ.

Не всѣ части книги Лепеллетье равны другъ другу по достоинствамъ. Отъ ея критической части и отъ попытки прослѣдить психологически эволюцію творчества Верлена мы въ правѣ были бы требовать большаго. Лепеллетье различаетъ три періода и три „манеры“ въ творествѣ Верлена. Сначала—подражаніе романтикамъ, а потомъ приемы парнасцевъ: поэзія описательная, классическая, декламаторская, вотъ, что характеризуетъ первый періодъ, сборники „*Poèmes Saturniens*“, „*Fêtes galantes*“ и „*La Bonne Chanson*“. Далѣе въ переходную эпоху слѣдуютъ „*Romances sans paroles*“, въ которыхъ подъ вліяніемъ Артура Римбо, возникаетъ въ Верленѣ протестъ противъ существующихъ приемовъ въ поэзіи, позднѣе нашедшій свое яркое выраженіе въ многозначительномъ, хотя и лишенномъ нужной отчетливости, стихотвореніи „*Art poétique*“. Третій періодъ отмѣченъ появленіемъ „*Sagesse*“ и подводитъ итоги спокойнымъ раздуміямъ въ тюремѣ Монсъ.

Впрочемъ, Э. Лепеллетье увѣряетъ, что еще много раньше этого времени Верленъ уже искалъ новыхъ, еще неизвѣстныхъ приемовъ творчества, какъ то доказываютъ нѣкоторыя его письма изъ Лондона, писанныя въ маѣ 1873 г. Но выраженія въ этихъ письмахъ крайне неясны и неопредѣленны. „Я ласкаю мечту,—пишетъ Верленъ,—написать книгу стиховъ, рядъ дидактическихъ поэмъ, если хочешь, изъ которыхъ человѣкъ совершенно былъ бы изгнанъ. Пейзажи, вещи, зло вещей, добро вещей... Въ каждой поэмѣ будетъ отъ 300 до 400 стиховъ. Стихи будутъ написаны по особой системѣ, къ которой я теперь подхожу. Въ нихъ будетъ много музыки, безъ

дѣтскихъ выходокъ Эдгара По,—какъ наивенъ, кстати этотъ проказникъ!“ Въ томъ же мѣсяцѣ Верленъ еще разъ пишетъ Лепеллетье о своемъ проэктѣ, въ тѣхъ же самыхъ выраженіяхъ. Но одновременно съ тѣмъ Верленъ сообщаетъ своему другу, что перечитываетъ Альфреда де Виньи; съ перваго взгляда это можетъ показаться неожиданнымъ, но это указанье драгоцѣнное и много объясняющее. Развѣ на многихъ страницахъ книгъ Верлена, появившихся вслѣдъ затѣмъ, не чувствуется нѣжной тоски и по чистымъ вершинамъ, которыхъ достигалъ поэтъ, написавшій „*Roèmes antiques et modernes*“, не чувствуется порывовъ раненаго крыла, уже безсильнаго вознестись туда!...

Что касается до общей оцѣнки положенія Верлена въ современной поэзіи, то ея въ книгѣ Э. Лепеллетье мы не находимъ вовсе. „Верлена считаютъ главою школы, обновителемъ современной поэзіи“, —вотъ все, что говоритъ Э. Лепеллетье... Въ самомъ дѣлѣ, чтобы точнѣе опредѣлить роль главы школы, автору книги слѣдовало быть знакомымъ съ дѣятельностью другихъ школъ и имѣть общій взглядъ на все поэтическое движеніе послѣдняго времени.

Изъ числа другихъ „главарей“ движенія Э. Лепеллетье называетъ одного Стефана Маллармэ, посвящая ему нѣсколько строкъ: „Онъ искалъ темноты фразы, какъ другіе ея ясности. Его сибиллическій стихъ порой поражаетъ и ласкаетъ васъ, какъ незнакомый музыкальный языкъ, на которомъ женщина-чужестранка что-то лепечетъ вамъ на ухо... Маллармэ примѣнилъ на практикѣ то новое „*Art poetique*“, теорію котораго формулировалъ Верленъ.“

Эти нѣсколько строкъ, надъ опроверженіемъ которыхъ не стоитъ и трудиться, достаточно доказываютъ, что Э. Лепеллетье совершенно не знаетъ Маллармэ и не имѣетъ никакого понятія о современной поэзіи. Хроникеръ парижскихъ газетъ, онъ въ свое время, въ годы нашей борьбы, не разъ заявлялъ въ своихъ фельетонахъ, что онъ мало понималъ то немногое изъ нашихъ произведеній, что читалъ.

Однако, есть одно маленькое замѣчаніе въ книгѣ Э. Лепеллетье, возразить на которое стоитъ. Какъ извѣстно, Маллармэ былъ профессоромъ англійскаго языка въ лицей съ Кондорсе, а Верленъ, нѣкоторое время, тоже былъ профессоромъ англійскаго языка въ клерикальномъ колледжѣ Ретэль. Говорятъ, что Маллармэ охотно подсмѣивался надъ малой компетентностью своего сотоварища въ англійскомъ языкѣ. И вотъ Э. Лепеллетье пишетъ по этому поводу слѣдующее: „Можетъ быть, Стефанъ Маллармэ, подсмѣиваясь надъ своимъ сотоварищемъ въ „*English teaching*“, больше всего имѣлъ въ виду своего торжествующаго соперника въ поэзіи“. А нѣсколькими стра-

ницами выше, Э. Лепеллетье утверждалъ, что „чувство зависти было совершенно чуждо Верлену“.

Прежде всего я могу завѣрить, что Верленъ, увлекающійся, легко переходящій отъ дружбы къ ненависти, совсѣмъ не былъ чуждъ зависти, самой дѣтской зависти. Я самъ не разъ слышалъ, какъ онъ обвинялъ Катюлля Мендеса, что тотъ зарабатываетъ „большія деньги“, а Франсуа Коппе, что тотъ—членъ Академіи, въ которую самому Верлену попасть не удавалось... Затѣмъ на страницахъ этого журнала я уже рассказаль о трогательной и возвышенной бесѣдѣ Маллармэ и Верлена, весной 1886 года, опровергающей слова Э. Лепеллетье (см. „Вѣсы“, 1905 г., № 7). Принимая у себя въ тотъ день Верлена, Маллармэ сумѣлъ очень тонко подчеркнуть свое глубокое уваженіе и дружескую уступчивость къ знаменитому тогда автору „Sagesse“. Наконецъ, Э. Лепеллетье не знаетъ, какъ то знаемъ мы, что въ Маллармэ человѣкъ и поэтъ—было одно, и что ясность его духа равнялась только царственной ясности его творчества!

René Ghil.



## НОВЫЕ СБОРНИКИ СТИХОВЪ.

**Jean Ott.** L'Effort des Races. Rudeval éditeur. Paris. 1907.—**Abel Pelletier.** Marie-des-Pierres. Edition de l'Abbaye. Paris. 1907.

Вотъ совершенно новое имя поэта: Жанъ Оттъ. И вотъ заглавіе стихотворнаго сборника: „L'Effort de Races“—„Работа Расъ“, привлечшее мое вниманіе, какъ намекъ на то новое, но неизбежное пониманіе поэзіи, которое мнѣ дорого. И книга не обманываетъ ожиданія. Имя новаго поэта должно остаться въ памяти, такъ какъ уже въ первомъ сборникѣ проявилъ онъ мощный поэтический темпераментъ, оригинальность философскихъ воззрѣній, умѣніе синтезировать инстинктивный и сознательный процессъ жизни человѣчества, и силу истинной изобразительности, воссоздающей передъ читателемъ вѣка и страны.

Правда, я предпочелъ бы, чтобы заглавію соотвѣтствовала вся книга, а не только часть ея (какъ это есть въ сборникѣ г. Отта), или, по крайней мѣрѣ, чтобы въ этой части судьба расъ была представлена болѣе подробно, въ болѣемъ ряду картинъ... Я предпочелъ бы, чтобы въ книгѣ г. Отта вполнѣ осуществились его собственные, полные скрытаго значенія стихи:

Pendant qu'au fond d'eux, dans l'instinct vague et noir,  
L'Inexplicable écho d'une antiquité morte  
Des rêves d'autrefois peuplera leur espoir!..

Но г. Оттъ, повидимому (такъ заставляетъ думать проявленная имъ сила дарованія),—нѣсколько поторопился обнародовать тѣ свои созданія, въ которыхъ выразился послѣдній этапъ его міросозерцанія. И, отведя въ своей книгѣ наибольшее мѣсто поэмамъ чистонаучнымъ и вопросамъ общечеловѣческимъ, онъ еще сохранилъ въ ней свои узко-эготическія вдохновенія, какъ бы являющія путь, по которому пришелъ онъ къ возвышеннымъ и сознательнымъ раздуміямъ послѣднихъ дней. И, пожалуй, когда дѣло идетъ о поэтѣ, какъ г. Оттъ, отъ котораго мы вправѣ ожидать замѣчательныхъ и совершенныхъ созданій, даже эти исканія и колебанія юности не лишены интереса.

Во всякомъ случаѣ, благодаря такой снисходительности, г. Оттъ, хотя онъ и проявляетъ несомнѣнную заботу о гармоническомъ строеніи книги, допустилъ въ нее рядъ стихотвореній, непосредственно связанныхъ съ общимъ планомъ или даже стоящихъ совершенно внѣ его. Общее дѣленіе книги на три отдѣла, озаглавленныхъ: „La Poussee

des Races“, „Les Empreintes“ и „Les Instincts“,—какъ видно по самымъ названіямъ, довольно неопредѣленно и зыбко. Стихъ, которымъ поэмы написаны, вездѣ—традиціонный, классическій, — вовсе не соотвѣтствуетъ величію и разнообразію сюжетовъ; въ книгѣ г. Отта онъ особенно четко обнаруживаетъ всю свою бѣдность и всю свою нелогичность, такъ что молодому поэту непременно придется въ будущемъ преобразовать свои ритмическіе приемы. Придется г. Отту также съ бѣльшей обдуманностью выбирать свои эпитеты... Это все недостатки книги; перейдемъ теперь къ анализу ея содержанія.

Мнѣ кажется, что естественный генезисъ этого поэта, самыми арѣлыми произведеніями котораго мнѣ кажутся тѣ, которыя сосредоточены въ первой части книги, поэмы чисто синтетическія,—былъ таковъ. Логической интуиціей ища и находя себя, шелъ онъ отъ частнаго къ общему, философскимъ чутьемъ расширяя тѣ области, въ которыхъ мы видимъ его замкнутымъ въ его раннихъ чисто эготическихъ поемахъ. Понемногу его „я“ перестаетъ считать себя мѣроу міра, мѣроу медленно эволюирующей вѣчности. Поэтъ начинаетъ сознавать свое міросозерцаніе и устанавливаетъ между собой и міромъ феноменовъ уже точныя отношенія, а не только чувствennыя аналогіи. Съ точки зрѣнія этихъ-то отношеній поэтъ и воссоздаетъ творчески образы современной и прошлой жизни, придавая имъ цѣнность обобщенія. На этой стадіи своего развитія поэтъ уже не можетъ сказать, какъ говорилъ онъ раньше:

Nous bâtions au lieu de ce monde réel  
Un monde qui lui ressemblait,  
Comme l'eau transparente, avec tous ses reflets,  
Reforme en elle un autre ciel.

Къ этому моменту творчества г. Отта относится его поэма „Трехтысячныя Сумерки Ойявару“, японскаго художника, который „благодаря Западу, позналъ правила искусства“,—поэма, исполненная высокаго ироническаго лиризма.

Послѣ этого сознаніе поэта старается точнѣе опредѣлить отношенія между собою и этническими воздѣйствіями. Изъ числа поэмъ этого рода слѣдуетъ отмѣтить: „Дочь Брюгге“, „Химеры собора Богоматери“, „Свободный городъ“, „Бродяги“, „Въ народѣ“, „Предки“.

„Предки“ это тѣ, о которыхъ поэтъ восклицаетъ съ мольбой и страхомъ:

Ah! quand cessera donc de battre, indestructible  
Dans notre sang meilleur l'Atavisme terrible!

И „Народъ“ это тоже

Le terreau plein de sève et de sucs nourriciers  
D'où l'avenir puissant jaillit par bonds grossiers.

вѣсьм.

6

Съ широтой обобщенія, проникающаго въ причины вещей, поэтъ изображаетъ передъ нами всю неизбежность первичнаго движенія человѣческихъ ордъ, наводняющихъ землю и оплодотворяющихъ ее:

Ils arrivent, poussés par d'autres masses d'hommes.  
 Dans leurs fleuves d'hier d'autres lèvres ont bu:  
 —«Chef! arrêtes ta marche et parque ta tribu...  
 —Non, la race qui suit, déjà touche où nous sommes!»  
 Et la course reprend, sans repos et sans but..

Прекрасно написана, сильна своей изобразительностью поэма „Открытія“. Не менѣе стоитъ вниманія—приближеніе гунновъ.

Sous les regards braqués tout l'horizon marcha—  
 Avec cette lenteur que donne un but certain:  
 Mer qui monte, eau qui glisse, ou pas de patriarche...  
 Et l'on sentait qu'il faut qu'un destin s'accomplisse!

И „Варварское становище“, возсозданное въ точныхъ и строгихъ словахъ, почти преодолеваящихъ узы классическаго стиха, заключаетъ въ себѣ всю правду, однажды сказанныхъ и запечатлѣнныхъ вещей:

Ce fut la ville erante aux toitures de peaux  
 Sur les thorax d'ossier bombant entre les roues.....  
 Ce fut la cité ronde où fourmillait la vie:  
 Et, quand on eut lâché les chiens de la guerre autour,  
 Elle s'enveloppa, dans la chute du jour,  
 D'un vaste hurlement de faim inassouvie!

Книгу заключаетъ философская драматическая поэма „Агонія мага“, въ которой авторъ хочетъ изобразить высшую степень религіознаго сознанія, какой можетъ достигнуть человѣкъ. Дѣйствіе происходитъ въ храмъ Митры, въ Бакатріанѣ, за 2000 лѣтъ до нашей эры. Магъ — это Зороастръ, умирающій 120 лѣтъ отъ роду и передъ смертью желающій назначить себѣ преемника. На сценѣ Зороастръ и Мива, избранный имъ, передъ дверью тайнаго свѣтилища, всегда закрытаго непроницаемой завѣсой, за которой страшное присутствіе божества. Мива дрожить отъ ужаса, но вдругъ съ безумнымъ крикомъ срываетъ завѣсу: за ней всепусто. „Человѣкъ, который узналъ бы все, не могъ бы быть великимъ“, говоритъ Зороастръ новому верховному жрецу, который въ негодованіи кричитъ объ обманѣ. И вотъ въ какихъ словахъ высказываетъ Зороастръ основную идею драмы:

Je dois te dire tout, mon fils! tu souffriras...  
 Il faudra, sans faiblir un seul jour sous la tâche,



Sans un mot de regret ou d'espérance lâche  
Porter le poids du monde ainsi que je l'ai fait.  
Le muet dévouement du Mage a pour effet  
D'assurer le bonheur au grand troupeau des hommes...  
Ils croiront par ton calme et par ta certitude:  
Mais, toi, le Mage, au fond de l'âpre solitude,  
Il faudra que pour tous ton âme doute et souffre!

Мива понимаетъ, падаетъ ницъ, принимаетъ свое избраніе. Тогда Зороастръ показываетъ ему потаенный покой, гдѣ собраны разные инструменты и машины для дѣланія чудесъ, — частью, сходные съ современными, частью еще неизвѣстные намъ. Это все инструменты обмана, но вмѣстѣ съ тѣмъ и сокровища Знанія! „Ищи и находи въ свою очередь“, — говоритъ старый магъ.

По поводу этой драмы не могу не замѣтить, между прочимъ, что молодые поэты, которые основываютъ свою поэзію на тѣхъ же принципахъ, какъ и мы, невольно приходятъ къ одинаковымъ выводамъ. Такъ, я въ моемъ трактатѣ „En Méthode“ предвидѣлъ логическую мечту „провиденціальной мощи, исходящей изъ науки“. А въ моей книгѣ „Vœu de vivre“ я высказывалъ пожеланіе, чтобы надъ невѣжественнымъ и эгоистическимъ произволомъ народовъ, надъ эгоизмомъ и интригами власти, какова бы она ни была, возникъ нѣкій страхъ, — какъ бы въ замѣнъ Закона.

.... lieux de la Loi! —

que les Intelligents-du-Monde, un à savoir  
qu'il existe un Savoir qui doit mouvoir en soi  
ne taisent dans les rites ses Secrets,

et règnent,

d'ignorés regards d'ellipse qui tout-étreignent!...

Такимъ образомъ, появленіе книги г. Отта еще разъ доказываетъ намъ, что только обновляющая идея научной поэзіи прекладываетъ пути для поэтовъ будущаго, — поэзіи, не имѣющей предѣла, какъ и сама вѣчно ищущая наука!

Замѣчу, что, къ моему удивленію, есть нѣкоторая близость въ моихъ утвержденіяхъ съ тѣмъ, что говоритъ пылкій г. Эмиль Фагэ, критикъ и академикъ... Недавно въ одномъ журналѣ модъ и литературы было съ торжествомъ подсчитано, что во Франціи около 5000 женщинъ-поэтовъ и писательницъ! Г. Фагэ пришелъ въ восторгъ отъ этой цифры (будемъ надѣяться, нѣсколько преувеличенной), не подумавъ, что это — весьма опасный признакъ литературнаго вырожденія.

Ибо изъ этихъ 5000 едва ли двадцать обладаютъ талантомъ и только четыре или пять оригинальнымъ поэтическимъ темперамен-

томъ. Г. Фагэ, однако, дѣлаетъ такой выводъ: пора оставить стихи и романъ женщинамъ, чтобы онѣ передали имъ свою чувствительность, свое изящество, свою нервность, свою изысканность и т. д. А мужчинамъ,—говоритъ онъ,—будетъ принадлежать отнынѣ творчество мысли: наука, философія, исторія.

Г. Фагэ не замѣчаетъ, что, несмотря на всѣ разсыпаемые имъ комплименты, онъ не особенно вѣжливъ по отношенію къ дамамъ, и что сверхъ того онъ произноситъ рѣшительное осужденіе всей эготической поэзіи, стихотворнымъ сборникамъ съ сантиментальными бездѣлушками, неоклассицизму и неоромантизму, всему, что ему такъ дорого! Ибо обычные журнальные поэты въ отсутствіи мысли нисколько не уступаютъ пяти тысячамъ дамамъ, деликатно отосланнымъ въ ихъ будуары. Но такъ какъ наша поэзія ставитъ себѣ цѣлью страстное раздумье надъ отношеніями человѣка ко вселенной, надъ вопросами науки философіи и исторіи,—то мы можемъ только благодарить г. Фагэ, что онъ такъ рѣшительно отдѣлилъ отъ недостойной поэзіи творчество необходимое и мужественное!

Такъ какъ къ этому послѣднему роду творчества явно порывается и дарованіе г. Жана Отта, то мы и должны сохранить въ памяти его имя и его первую книгу.

Поэма „Marie-des-Pierres“, относящаяся къ циклу „Episodes Passionnées“, даетъ намъ поводъ вспоминать о г. Абелѣ Пеллетье, поэтѣ оригинальномъ и заслуживающемъ вниманія своими неустанными исканіями во всѣхъ областяхъ мысли, причемъ всегда и вездѣ онъ остается самимъ собой.

Съ горделивымъ упорствомъ г. Пеллетье считаетъ заслуживающимъ вниманія и длительного существованія только тѣ произведенія, которыя чужды непосредственнаго интереса дня; поэтому между появленіемъ отдѣльныхъ книгъ г. Пеллетье проходятъ довольно долгіе промежутки времени и образъ его, вѣроятно, недостаточно отчетливо представляется даже избранному кружку цѣнителей поэзіи. Наше время живетъ быстро и нѣсколько поверхностно... Кроме того, г. Пеллетье никогда не заботился о томъ, чтобы привлечь къ себѣ широкое вниманіе, зная, что онъ уже приобрѣлъ его среди немногихъ съ самаго своего выступленія въ литературѣ, своими „Литературными Этюдами“, своей прекрасной поэмой „L'Amour triomphe“ и особенно своей драмой въ стихахъ „Titane“, первой частью глубокой тетралогіи, которая, завершенная, будетъ великимъ произведеніемъ.

Абель Пеллетье дебютировалъ въ „La Revue Indépendante“ въ послѣдній періодъ ея существованія, съ 1889 по 1894, конечно, самый боевой, когда этотъ журналъ былъ посвященъ научной поэзіи. Въ „La Revue Indépendante“ и въ другихъ журналахъ того времени

г. Пеллетье помѣстилъ свои „Литературные этюды“, рядъ философскихъ очерковъ, которые, помимо того, что давали мощную опору новымъ идеямъ въ искусствѣ, проявили исключительный художественный и критическій темпераментъ, воспитанный строгими научными методами. Около того же времени г. Пеллетье издалъ свой первый сборникъ стиховъ „Le Poëme de la Chair“, въ которомъ, несмотря на нѣкоторую сухость рѣчи, достаточно ясно выступаетъ личность автора, поэта по преимуществу разсудочнаго. Въ 1895 г. появилась книга „L'amour triomphe“, діалогическая поэма, въ которой рѣчи дѣйствующихъ лицъ прерываются великолѣпными изображеніями природы, гармонирующими съ психическими переживаніями.

Далѣе слѣдовала драма „Titane“, быть можетъ самое сознательное произведеніе, какое только было создано въ драматической формѣ современными поэтическими школами. Наконецъ,—романъ „Illusion“, впрочемъ, не романъ въ обыкновенномъ смыслѣ слова, а, скорѣе, поэма, въ которой всѣ событія и всѣ движенія выражены напряженнымъ, полнымъ метафорами языкомъ.

Слѣдуетъ замѣтить, что во всѣхъ произведеніяхъ Пеллетье образы и выраженія обращаются болѣе къ нашему уму, чѣмъ къ нашимъ чувствамъ. Творя новые образы (а онъ щедръ въ этомъ творчествѣ), г. Пеллетье прибѣгаетъ не къ помощи галлюцинирующаго воображенія, но къ высшей работѣ мысли. Въ драмѣ „Titane“ эта способность создавать сознательныя метафоры достигаетъ высшей силы, поражаетъ и, кажется, будто читаешь одновременно два текста. Параллельно съ трагическими переживаніями трагедіи, чисто человѣческими, гдѣ борется любовная страсть съ судьбами народа,—продолжаетъ развиваться единая идея въ рядѣ образовъ, являющихся какъ бы ея трепетными экстеріоризаціями. Замѣчу еще, что дѣйствующія лица этой драмы говорятъ, смотря по своему положенію и по ходу дѣйствій, то стихами, то лирической прозой, то современнымъ, подчасъ грубымъ, языкомъ. „Необходимо,—пишетъ авторъ,—сохранять мысли людей точнымъ образомъ и воспроизводить ихъ, строго сообразуясь съ ихъ цѣнностью въ умственной іерархіи и съ уровнемъ того ума, гдѣ онѣ родились“.

Новая поэма, почти въ 800 стиховъ, съ которой теперь выступаетъ г. Пеллетье—тоже созданіе разсудочное. Она одушевлена, какъ и все его творчество, мыслью о „первенствѣ добра, первенствѣ идеи предъ чувственностью“, новымъ героизмомъ, „въ которомъ ананіе торжествуетъ надъ невѣжествомъ, сознательный эгоизмъ—надъ эгоизмомъ безсознательнымъ“. Однако, въ новой своей книгѣ, уклоняясь отъ высшихъ философскихъ и социальныхъ проблемъ, которые ему такъ близки, отъ моральныхъ противорѣчій высшаго порядка, которые онъ обычно изучаетъ,—г. Пеллетье пожелалъ изобразить

скромный повседневный рокъ, жестокость общаго эгоизма, гнетущаго душу и тѣло ребенка, дѣвушки-ремесленницы. Для этой цѣли г. Пеллетье сумѣлъ упростить свой языкъ и свой стихъ, сдѣлавъ ихъ непосредственно понятными для самыхъ широкихъ круговъ.

Своей поэмой г. Пеллетье какъ бы поставилъ вопросъ, можетъ ли тонко и глубоко мыслящій поэтъ, писатель изысканный и утонченный, писать для народа? Можетъ ли онъ сдѣлать это, не принижая своего таланта и не суживая своего міросозерцанія? Мнѣ кажется, что, сколько разъ въ разное время и въ разныхъ мѣстахъ ни ставился этотъ вопросъ, всѣ художественныя попытки въ этомъ направленіи заставляли отвѣчать на него отрицательно... Г. Пеллетье, благодаря присущей ему отчетливости мысли и ясности его образовъ, оказался болѣе счастливымъ, даже скажемъ, очень счастливымъ. Вся поэма написана какъ бы непрерывнымъ речитативомъ, нечетными ритмами, порой диссонирующими между собой, чѣмъ избѣгается монотонность размѣра. Авторъ заботливо исключилъ изъ своей поэмы все патетическое, что не вытекаетъ непосредственно изъ позора и бѣдствія событій. Только кой-гдѣ позволяетъ себѣ поэтъ нѣсколько восклицаній, но и то заглушенныхъ: таковы его стихи къ городу:

Cité! Faut-il que civilisation,  
Pour grandir, boive tant de sang aux hécatombes,  
Et qu'ils soient couvercles de tombes  
Les gradins, où, vers l'inatteignable Absolu  
L'humain bétail monte nombreux et resolu,  
Hissant sur ses reins meurtris une rare élite!

Можно привести еще два стиха, исполненныхъ всей нѣжностью любви и весны, но,—увы!—врядъ ли всѣ сумѣютъ оцѣнить ихъ скрытую отдаленную прелесть:

Son sourire s'empulpa, magnifique  
Comme s'il avait bu le sang des roses—

Я думаю, впрочемъ, что г. Пеллетье не слѣдуетъ итти дальше по этому пути упрощенности. Мнѣ кажется, что при этой попыткѣ все же нѣсколько поблѣднѣла сила его мысли и частью утратилась мощь его художественнаго воздѣйствія!—Но, какъ кажется, по этому вопросу, о приспособленіи созданій искусства для широкой публики, мы скоро услышимъ сужденіе самого г. Пеллетье. Мнѣ извѣстно, что послѣ многолѣтняго собиранія документовъ, онъ работаетъ въ настоящее время надъ „Психологіей выраженій въ искусствѣ“, стараясь научно опредѣлить ихъ принципы и взаимоотношенія: въ этой работѣ поэтъ не приминетъ, конечно, высказаться о назначеніи искусства.

René Ghil.

## ЗАМѢТКИ.

**Некрологъ.** † 18 іюля н. ст., въ Парижѣ, Гекторъ Мало, романистъ. — 7 сентября, н. ст., въ своей виллѣ въ Шатенэ Сюлли-Прюдомъ. — 26 октября, н. ст., въ Брюсселѣ, Шарль ванъ-Лербергъ, поэтъ, авторъ сказки „Сверхъестественный отборъ“ и драмы „Панъ“, напечатанныхъ въ „Вѣсахъ“ этого года.

\*

Послѣ покойнаго Сюлли-Прюдома остались лишь томъ ненаданныхъ стихотвореній и неоконченное сочиненіе философскаго характера, подъ заглавіемъ „Le Lien Social“. Обѣ книги появятся на книжномъ рынкѣ въ продолженіе этой зимы.

\*

Imprimerie Nationale, въ Парижѣ, готовитъ къ печати полное изданіе сочиненій Мопассана въ 29 томахъ. Изданіе будетъ печататься въ ограниченномъ количествѣ экземпляровъ на голландской и японской бумагѣ, новымъ, специально для этой цѣли изготовленнымъ шрифтомъ. Въ этомъ изданіи появятся 35 неизданныхъ до сихъ поръ рассказовъ покойнаго писателя, написанныхъ между 1881 и 1892 годами.

\*

Брюссельскій журналъ „L'Art Moderne“ (№ 41) разбираетъ переводы Валерія Брюсова поэмъ Эмиля Верхарна („Стихи о современности“). Признавая переводы настолько близкими, насколько это возможно для стихотворнаго переложенія, журналъ находитъ, что переводчикъ нѣсколько смягчилъ суровость подлинника. Въ № 45—данъ отчетъ о лекціи Валерія Брюсова (читанной въ Москвѣ, 13 октября): „Эмиль Верхарнъ, поэтъ современности“.—Нѣсколько раньше (№ 22) этотъ же журналъ далъ разборъ книги „Молодая Бельгія“ (переводы Элліса, С. Головачевского, Ю. Веселовскаго и др.

\*

Великолѣпная библіотека скончавшагося недавно бельгійскаго писателя и коллекціонера, графа Spoelberch de Lovenjoul, завѣщана

имъ Institut de France, для помѣщенія въ Musée Condé, въ Шантильи. Библіотека эта составляетъ настоящій архивъ французской литературы XIX вѣка, въ которомъ наиболѣе полно и значительно представлены Бальзакъ, Мюссе, Жоржъ Зандъ, Готье, Мериме и Сентъ-Бёвъ. Balzaciana состоятъ изъ рукописей почти всѣхъ романовъ знаменитаго писателя, къ которымъ часто приложены исцѣренные поправками и прибавленіями корректурные листы и нѣсколько неоконченныхъ его театральныхъ пьесъ. Кромѣ того, здѣсь хранятся тысячи писемъ Бальзака; въ первомъ ряду вся переписка съ будущей супругой, извѣстная по изданію „Lettres à l'Étrangère“. Отдѣлъ Теофила Готье обнимаетъ всѣ его сочиненія, за исключеніемъ двухъ статей, съ 1836 г., около 800 писемъ и множества рисунковъ, акварелей и набросковъ поэта. Отдѣлъ Сентъ-Бёва заключаетъ до 3000 писемъ выдающихся личностей, адресованныхъ къ критику, рукопись неоконченнаго его романа „Артуръ“ и, между прочимъ, экземпляръ шатобріановскихъ „Memoires d'Outre-Tombe“ съ очень ядовитыми замѣтками самого Сентъ-Бёва. Жоржъ Зандъ представлена рукописями 20 романовъ, интимнымъ дневникомъ съ 1847 г. и необычайно объемистой перепиской, которая большей частью еще не издана. Рядомъ съ полнымъ собраніемъ сочиненій Альфреда де Мюссе, обращаютъ на себя вниманіе нѣсколько альбомовъ съ его рисунками и карриатурами, въ особенности Album de Venise, въ которомъ Жоржъ Зандъ зарисована въ разныхъ позахъ и костюмахъ. Подъ этими набросками поэтъ подписался—Mussaillen I-er.

Библіотека, кромѣ того, содержитъ много рукописей Мериме Ожье, Ламменэ etc. и длинный рядъ разныхъ документовъ, имѣющихъ отношеніе къ указаннымъ писателямъ.

# ИСКУССТВА

## ВЫСТАВКА - РАСПРОДАЖА КАРТИНЪ ВЪ ПОМЪЩЕНІИ МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЪ.

Художественныя коллекціи частнаго лица, какъ и его эстетическіе вкусы и симпатіи въ общемъ не должны, конечно, подлежать публичной критикѣ и съ этой точки зрѣнія, пожалуй, и не слѣдовало бы вовсе касаться выставки - распродажи собранія г-на О., въ помѣщеніи Общества Любителей Художествъ. Но, съ другой стороны выставка эта, давшая возможность увидѣть въ полномъ составѣ частное собраніе, не всегда доступное для обзора, вызываетъ нѣкоторыя размышленія общаго порядка, отъ которыхъ трудно воздержаться, ибо вся эта коллекція очень любопытна, какъ страничка художественной жизни Москвы, и очень характерна для извѣстнаго типа ея любителей-коллекціонеровъ, возникшихъ во второй половинѣ прошлаго вѣка.

Одно изъ главныхъ достоинствъ частной галлерей и ея преимущество передъ публичной, несомнѣнно, лежитъ въ отраженіи живой личности и индивидуальнаго, ничѣмъ не стѣсненнаго художественнаго credo, которое можетъ и должно въ ней сказаться. Этой интимной печати личнаго вкуса напрасно ищешь въ собраніи г. О. и, присматриваясь къ его содержанію, никакъ не можемъ уловить ту эстетическую мѣру, которая руководила при его составленіи. Наоборотъ, изъ этихъ рядовъ густо развѣшанныхъ картинъ и рисунковъ, вмѣсто индивидуальной фізіономіи любителя искусствъ съ его увлеченіями и пристрастіемъ, вырисовывалась какая-то полная растерянность вкуса, отсутствіе мало-мальски увѣреннаго художественнаго мѣрила. Бросалось лишь въ глаза стремленіе собрать побольше именъ, не особенно заботясь о качествахъ ихъ произведеній. Рядомъ съ художниками третье- и четверостепенными, съ разными: Климовыми, Соломаткиными, Волковыми et tutti quanti, представлены

были Рѣпинъ, Левитанъ, Сѣровъ, Врубель, К. Коровинъ, Васнецовы и много громкихъ фамилій изъ исторіи русской живописи. Но, — увы! — въ большинствѣ случаевъ вещи этихъ мастеровъ давали лишь слабое понятіе о степени ихъ таланта и были для нихъ малохарактерны. Здѣсь было много заказныхъ работъ, иллюстрацій, неважныхъ этюдовъ, — однимъ словомъ, произведеній случайныхъ, не творческихъ. Въ общей скучной массѣ и то, что безусловно хорошо въ коллекціи г. О., производило впечатлѣніе чего-то, случайно сюда попавшаго, какъ, напр., чудный левитановскій „Ночной туманъ“, прекрасный эскизъ Головина, интересная пастель француза Анкетана — въ каталогъ почему-то попавшаго въ разрядъ неизвѣстныхъ художниковъ, и др.

Обо всемъ этомъ можно было бы не распространяться, если бъ то было явленіе единичное, исключительное. Но въдъ аналогичныхъ коллекцій въ Москвѣ не мало, а нѣкоторыя уже поступили и еще должны поступить въ музеи, гдѣ, по условіямъ жертвователей, ихъ обыкновенно приходится выставлять цѣликомъ, не смотря на то, что большей частью лишь отдѣльныя вещи въ дѣйствительности достойны попасть въ общественныя галлерей. А какъ краснорѣчиво сказывается преобладаніе подобнаго типа любителя-покупателя на матеріальныхъ итогахъ нашихъ художественныхъ выставокъ! Всегда на нихъ прискорбно малъ процентъ проданныхъ произведеній, причемъ преимущественно пріобрѣтаются произведенія наименѣ свѣжія и талантливыя, изъ которыхъ постепенно и составляются коллекціи, въ родѣ показанной въ Обществѣ Любителей Художествъ. Да и здѣсь результатъ распродажи былъ тождественный. За немногими исключениями, распроданныя картины принадлежали къ наименѣ цѣнной и наименѣ интересной части собранія.

Не хочется обойти молчаніемъ еще одной особенности всей выставки, характерно дополняющей ея общее впечатлѣніе, — подбора рамъ. Полное отсутствіе художественнаго вкуса и чутья вмѣстѣ съ любовью къ громоздкимъ эффектамъ здѣсь выступали болѣе, чѣмъ рельефно. Иныя рамы прямо убивали картины и смѣло могли служить образцомъ безвкусія въ этомъ направленіи. Ихъ выборъ и примѣненіе ярко иллюстрировали степень художественной культуры извѣстныхъ любительскихъ сферъ и московскихъ рамочныхъ мастеровъ.

П. Э т т и н г е р ъ.

---

Редакторъ-издатель С. А. ПОЛЯКОВЪ.



ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСКУССТВЪ И ЛИТЕРАТУРЫ

## «В Ъ С Ы»

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1908 ГОДЪ

**ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПЯТЫЙ**

Въ 1908 году „Въсы“ будутъ выходить по прежней программѣ и при прежнемъ составѣ сотрудниковъ, ежемѣсячно (12 №№ въ годъ), книжками, около 100 страницъ каждая. Въ каждомъ № будетъ помѣщаться отъ 1 до 4 оригинальныхъ рисунковъ, исполненныхъ facsimile хромо-литографіей, фототипіей, трехцвѣтной автотипіей и др. способами печати.

Подписная цѣна на годъ съ пересылкой въ Россіи пять рублей; на полгода—три рубля; за-границу семь рублей въ годъ (18 франковъ).

== Лица, подписавшіяся до выхода № 1, имѣютъ право получить бесплатно изданій к-ва „Скорпіонъ“ (по списку, который будетъ опубликованъ въ № 1 1908 г.)—на сумму до 3 р. (по нариц. цѣнѣ). ==

Всѣ подписчики „Въсовъ“ при выпискѣ изданій к-ва „Скорпіонъ“ и к-ва „Оры“ пользуются скидкой въ 15%, и бесплатной пересылкой во всѣ мѣстности Россіи.

Подписка принимается: 1) въ Москвѣ, въ главной конторѣ журнала,—Театральная площадь, домъ Метрополь, кв. 23, книгоиздательство „Скорпіонъ“; 2) въ С.-Петербургѣ, въ отдѣленіи конторы,—Садовая, 18, книжный складъ „Комиссіонеръ“; 3) въ Кіевѣ—въ магазинѣ Л. Идзиковскаго, Крещатикъ, 29; 4) въ Берлинѣ—у Edm. Meyer, Buchhandl., Berlin W., Potsdamerstrasse 24 в; 5) во всѣхъ большихъ книжныхъ магазинахъ Москвы, С.-Петербурга и провинціи.

Гг. иногороднихъ, во избѣжаніе различныхъ недоразумѣній, просятъ присылать подписныя деньги непосредственно въ главную контору журнала.

Редакторъ-издатель С. А. ПОЛЯКОВЪ.

## КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «СКОРПИОНЪ»

Москва, Театральная пл., д. Метрополь, кв. 23.

**Морисъ Матерлинкъ.** Пеллеасъ и Мелизанда и стихи въ переводѣ Валеріа Брюсова. Съ 3 портретами М. Матерлинка. М. 1907. Ц. 1 р., для подписчиковъ „Вѣсовъ“ 85 к. съ пересылкой.

**Оскаръ Уайльдъ.** Флорентинская трагедія. Единственный авторизованный переводъ съ рукописи М. Ликиардопуло и А. Курсинскаго. Съ 3 портретами О. Уайльда М. 1907. Ц. 80 к., для подписчиковъ „Вѣсовъ“ 68 к. съ пересылкой.

---

## КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «ИДЕЯ»

**Г. д'Аннунціо.** Н а с л а ж д е н і е. Переводъ съ итальянскаго Е. Р. подъ редакціей Ю. Балтрушайтиса. М. 1907. Ц. 1 р. 50 к., для подписчиковъ „Вѣсовъ“, обращающихся въ магазинъ „Русскаго Слова“ И. Сытина (Москва, Тверская, св. д.) 1 р. 20 к. (безъ пересылки).

---

## J. JACOBS, PUBLISHER.

149, Edgware road, London W.

**Oscar Wilde.** Art and Morality. Edited by Stuart Mason author of a „Bibliography of the Poems of Oscar Wilde“ etc, etc.). Cr. 8-vo., cloth. 475 copies on Antique Paper, 6/—net. Also 25 copies on hand-made paper, with the illustrations on Japanese Vellum, numbered and signed. 21/—net

This volume includes EIGHT LETTERS written by OSCAR WILDE in reply to Criticisms on his psychological masterpiece „The Picture of Dorian Gray“. Also a complete Account of the Author's Cross Examination on his Romance at his Trial, several Reviews by well-known Writers, and a very full Bibliography.

Slav 30.17

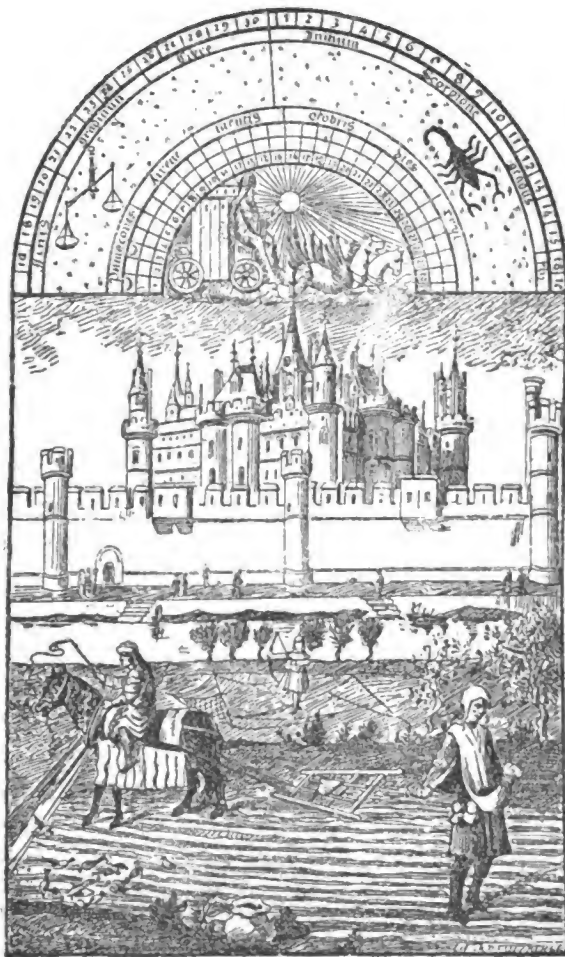




ВѢСЫ ☉ НОЯБРЬ ☉ 1907

La Balance. Novembre. 1907

Годъ изданія четвертый. Quatrième année.



**Книгоиздательство «СКОРПИОНЪ».**

Москва, Театральная пл., д. Метрополь, кв. 23.

Moscou, Place de Théâtre, m. Métropole, 23.

# «ВЪСЫ» ЕЖЕМЪСЯЧНИКЪ ИСКУССТВЪ И ЛИТЕРАТУРЫ.

Годъ изданія четвертый. 1907. N 11, ноябрь.

## СОДЕРЖАНІЕ.

### Стихи, повѣсти, рассказы, статьи.

Иванъ Рукавишниковъ, Ю. Балтрушайтисъ, Викторъ Гофманъ, Одинокій, А. Курсинскій, Эллисъ, А. Кондратьевъ. Стихи. . . . .	7
С. Ауслендеръ. Корабельщики. Новелла. . . . .	21
Валерій Брюсовъ. Огненный Ангель. Повѣсть XVI в. Гл. IX. . .	35
Викторъ Полтавцевъ. Изъ литературной копилки. . . . .	50

### Литература. Русская литература.

Библиографія. (Ивановъ-Разумникъ. Исторія русской общественной мысли.—С. Сергѣевъ-Ценскій. Рассказы.—В. Муйжель. Рассказы.—Владиміръ Станюковичъ. Путевой альбомъ. — Государственныя преступленія въ Россіи въ XIX вѣкѣ. — Библіотека оккультныхъ наукъ. Древняя высшая магія. — Валерій Брюсовъ. Пути и перепутья. Томъ I.) . . . . .	54
Валерій Брюсовъ. Защитнику авторитета. (Къ критикѣ текста Пушкина). . . . .	65
Англійская литература.	
Осбёртъ Бёрдетъ. (Англійская литература за послѣднее десятилѣтіе)	71
Библиографія. (Oscar Wilde by L. C. Ingleby.—Oscar Wilde. Art and Morality.—Stuart Mason. A bibliography of the poems of O. Wilde. — Rosa Newmarch. Poetry and Progress in Russia) . . . . .	79
Книги, доставленныя въ редакцію . . . . .	83

### Искусства.

Федоръ Сологубъ. Вечеръ Гофмансталя въ Петербургъ . . . . .	84
Н. Гумилевъ. Выставка новаго русскаго искусства въ Парижѣ . . .	87
Библиографія. (Сказка о царѣ Салтанѣ. Рисунки И. Билибина.—Zeitschrift für Aesthetik und allgemeine Kunst-Wissenschaft. — L'Arte mondiale alla VII Expositione di Venezia) . . . . .	89

### Объявленія.

Объявленія. . . . .	92
Каталогъ № 6 к-ва «Скорпіонъ». . . . .	Послѣ текста.

HARVARD COLLEGE LIBRARY  
GIFT OF  
ARCHIBALD CARY COOLIDGE  
NOV 14 1922

## СОДЕРЖАНИЕ.

### Рисунки.

Т. Стерджъ-Муръ. Добрый Пастырь. . . . .	5
Его-же. Панъ и Психея. . . . .	19
Его-же. Панъ въ видѣ облака . . . . .	33
Всѣ заставки и концовки его-же.	
Обложка и надписи (стр. 54 и 84) Н. Теофилактова.	
Фронтисписъ—миниатюра XIV вѣка.	

### SOMMAIRE.

Iwan Roukavichnikoff, J. Baltrouchaitis, Victor Hoffmann, Odinoкy, A. Koursinsky, Ellis, A. Kondratieff. Poèmes.—S. Auslender. Les Marins. Nouvelle.—Valère Brussov. L'Ange igné. Roman de la vie allemande du XVI siècle. Chap. IX.—Victor Poltavtzeff. Tire-lire littéraire.

Littérature russe. Bibliographie. (Comptes-rendus sur les livres de M. M. Iwanoff-Razoumnick, S. Serguéeff-Tzensky, V. Mouijel, Valère Brussov et autres).—Valère Brussov. Une réponse.

Littérature anglaise. Osbert Burdett. Deux lustres derniers de la littérature anglaise. — Bibliographie. (Comptes-rendus sur les livres: Oscar Wilde by L. Ingleby; Oscar Wilde, Art and Morality; Stuart Mason, A bibliography of the poems of O. Wilde; Rosa Newmarch, Poetry and Progress in Russia).—Accusés de réception.

Dessins. Trois dessins inédits (pages 5, 19 et 33) et toutes les ornementsations par T. Sturge-Moore. — Couverture et inscriptions (pages 54 et 84) par N. Théophilaktoff. — Frontispice — miniature du Livre d'Heures du duc de Berri.

✱

Рисунки Т. Стерджъ-Мура воспроизведены съ оригиналовъ, доставленныхъ редакціи „Вѣсовъ“ авторомъ.

✱

Подписка на „Вѣсы“ 1908 г. (пятый годъ изданія) открыта. Условія подписки, составъ сотрудниковъ на 1908 г. и перечень матеріала, имѣющагося въ распоряженіи редакціи, см. въ каталогъ № 6 к-ва „Скорпіонъ“, приложенномъ въ концѣ этого №.

ТИПОГРАФІЯ О-ВА РАСПРОС. ПОЛЕЗН. КНИГЪ, АРЕНД. В. И. ВОРОНОВЫМЪ, МОХОВАЯ, Д. КИ. ГАГАРИНА.







Т. Стерджъ-Муръ. «Добрый пастырь».





## СТИХИ.

Г.

Плачутъ пѣсни, плачутъ рѣчи  
Такъ торжественно, такъ строго.  
Кто, рабы, скользя, какъ тѣни,  
Строятъ мѣдныя ступени?  
И все стонутъ, плачутъ, стонутъ  
Такъ торжественно, такъ строго?  
Мы, несчастные предтечи,  
Мы, смиренные предтечи  
Гордеца—счастливица—бога.  
Наше счастье—лишь несчастье.  
Наша гордость—лишь смиренье.  
Наши души въ Смерти тонутъ.  
Наши души въ Страхъ тонутъ.  
Стонутъ.  
Наша гордость—лишь смиренье.  
Наше счастье—лишь несчастье.  
Наша радость—лишь тоска.  
Почему не умираемъ,  
Скорбь бросаемъ  
Въ высь, въ вѣка?

Чуемъ вѣщее движенье,  
Приближенье .  
Двойника.  
И, рабы, скользя, какъ тѣни,  
Строимъ, строимъ мы ступени,  
Строимъ мѣдныя ступени  
На Землѣ.  
Строимъ выше. Строимъ выше..  
Безъ жилья, безъ стѣнъ, безъ крыши  
Столбъ поставимъ на Землѣ.  
Вьются мѣдныя ступени.  
Крѣпче, выше нѣтъ столба.  
Строять тѣни, стонуть тѣни,  
А хозяинъ ихъ Судьба.

Иванъ Рукавишниковъ.



## II. НОКТЮРНЪ.

Часъ полночный... Мигъ неясный...  
Скорбный сумракъ... Тишина...  
Слабыхъ крыльевъ взмахъ напрасный,  
Мысль—какъ колось безъ зерна!

Всю то жизнь, какъ рабъ угрюмый,  
Въ тайномъ темномъ рудникѣ  
Пролагаю ходы, трюмы,  
Съ тяжкимъ молотомъ въ рукѣ...

Много въ мірѣ насъ стучало,  
Роя узкій коридоръ,—  
Мы не знаемъ, гдѣ начало  
Въ лабиринтѣ нашихъ норъ...

Все-то знанье,—что отъ вѣка  
Милліоны разныхъ рукъ,  
Точно сердце человѣка,  
Повторяли тотъ же стукъ:

Что въ тюрьмѣ своей гранитной  
Бытія не оправдалъ  
Тотъ, чей молотъ стѣнобитный  
Безъ упорства упалъ!..

Вѣкъ идетъ—пройдутъ ихъ сотни,—  
Подземелью края нѣтъ!  
Только Смерть—нашъ День Субботній,—  
Блѣдность искры—весь нашъ свѣтъ!

Ю. Балтрушайтисъ.



## III. ЛѢТНІЙ БАЛЪ.

Быль тихій вечеръ, вечеръ бала,  
Быль лѣтній балъ—межъ темныхъ липъ.  
Тамъ, гдѣ рѣка образовала  
Свой самый выпуклый изгибъ.

Гдѣ наклонившіяся ивы  
Къ ней тѣсно подступали вплоть,  
Гдѣ показалось намъ—красиво  
Такъ много флаговъ приколотъ.

Быль тихій вальсъ, былъ вальсъ пѣвучій,  
И много лицъ, и много встрѣчъ.  
Округло-нѣжны были тучи,  
Какъ очертанья женскихъ плечъ.

Рѣка казалась изваяньемъ  
Иль отраженіемъ небесъ,  
Едва живымъ воспоминаньемъ  
Его ликующихъ чудесъ.

Былъ алый блескъ на склонахъ тучи,  
Переходящій въ золотой.  
Былъ вальсъ, призывный и пѣвучій,  
Свѣтло-овѣянный мечтой.

Былъ тихій вальсъ межъ липъ старинныхъ,  
И много встрѣчъ, и много лицъ.  
И близость чьихъ-то длинныхъ-длинныхъ,  
Красиво-загнутыхъ рѣсницъ...

Викторъ Гофманъ.





## IV. СВѢТЪ ЦѢЛОВАНІЯ.

ИЗЪ ХРИСТОВСКИХЪ МОТИВОВЪ.

Чрево Твое я блаженно цѣлую,  
Бѣлая бедра Твои охватя,  
Тайну Вселенной у ногъ Твоихъ чую,  
Чую, какъ дышитъ во чревѣ Дитя.

Сильнаго Духомъ родишь Ты, Святая,  
Чудень и свѣтель Твой ангельскій ликъ...  
Въ жуткомъ восторгѣ дрожа, замирая,  
Чистымъ лобзаньемъ къ Тебѣ я приникъ.

Одинокій.

v.

J'implore ta pitié, Toi, L'unique que j'aime,  
Du fond du gouffre obscure, où mon cœur est tombé.

Ch. Baudelaire.

Когда старуха-Жизнь, гнилые скаля зубы,  
Бросаетъ смѣхъ въ лицо обманутымъ мечтамъ,  
И тотъ надменный смѣхъ, удушливый и грубый,  
Сто тысячъ голосовъ, какъ бѣшенныя трубы,  
Повторяетъ, злобствуя, повсюду, здѣсь и тамъ,

И ясно лишь одно,—что нѣтъ нигдѣ исхода,  
Въ извивахъ сѣрыхъ стѣнъ встрѣчаетъ взоръ тупикъ,  
Гдѣ, притаясь въ углу, подъ маскою уроды,  
Дитя всѣхъ мукъ твоихъ, твой сонъ, твоя свобода,  
Слюною брызгая, шевелить свой языкъ,—

Тогда всей чуткостью, отчаянной и дикой,  
Души затравленной, не мыслящей преградъ,  
Я познаю Тебя, спасающій, великій,  
Въ сѣдыхъ провалахъ зла бездонно-многоликій,  
И гасить скорбь мою врачующій твой ядъ.

А. Курсинскій.

## VI. ПОЭТУ НАШИХЪ ДНЕЙ.

Разувѣреніе во всемъ!  
Вал. Брюсовъ.

Земль и Небу не простила  
Твоя огромная душа,  
Отвергла все, за все отмстила,  
Грозой безумія дыша.

Она чудовищной обидой  
Отвѣтила на судъ слѣпцовъ  
И встала черной пирамидой  
Превыше храмовъ и дворцовъ.

Вкусивъ смертельнаго напитка,  
Змѣей безумья оплетенъ,  
Ты не кричишь, сведенный пыткой,  
Какъ не кричить Лаокоонъ.

Упорствомъ всемогущей воли  
Смиривъ мистическую дрожь,  
Гигантъ, изваянный изъ боли,  
Ты башней замкнутой встаешь.

Съ улыбкою ты носишь пути,  
И дремлешь въ темнотѣ тюрмы.  
Какъ Гулливера лиллипуты,  
Тебя во снѣ связали мы.

Надъ горькой бездной все тревожнѣй  
Твой духъ, качаемъ вѣщимъ сномъ,  
И безнадежнѣй, безнадежнѣй  
„Разувѣреніе во всемъ“.

Твой путь, созвѣзды затмевая,  
Влекла огромная звѣзда,  
Но у дверей завѣтныхъ Рая  
И ты слышалъ „Никогда!“

Ты молвилъ: „Къ небу нѣтъ возврата!  
Землѣ молиться не хочу!“  
И въ душномъ капищѣ разврата  
Затешилъ красную свѣчу.

И все жъ, какъ рабъ, влечешься къ Раю,  
Упавъ на этомъ берегу,  
И ты не скажешь словъ „Не знаю“  
И не помыслишь: „Не могу!“

Но тамъ, во мглѣ души суровой,  
Гдѣ день, какъ ночь, угрюмъ и строгъ,  
Я разглядѣлъ цвѣтокъ лиловый,  
Полураскрывшійся цвѣтокъ...

Да, ты любилъ людей когда-то,  
Какъ нынѣ любишь лишь слова,  
Но, претворяя ихъ въ стигматы,  
Твоя душа всегда жива.

Прими жъ восторгъ моихъ привѣтовъ  
Ты, чаръ не знавшій, чародѣй,  
Счастливѣйшій среди поэтовъ,  
Несчастнѣйшій среди людей.

Э л л и с т .



## VII. ЕЙ.

Темноликая, тихой улыбкою  
Ты мнѣ душу ласкаешь мою.  
О, прости меня, если ошибкою  
Я не такъ Тебѣ пѣсни пою.

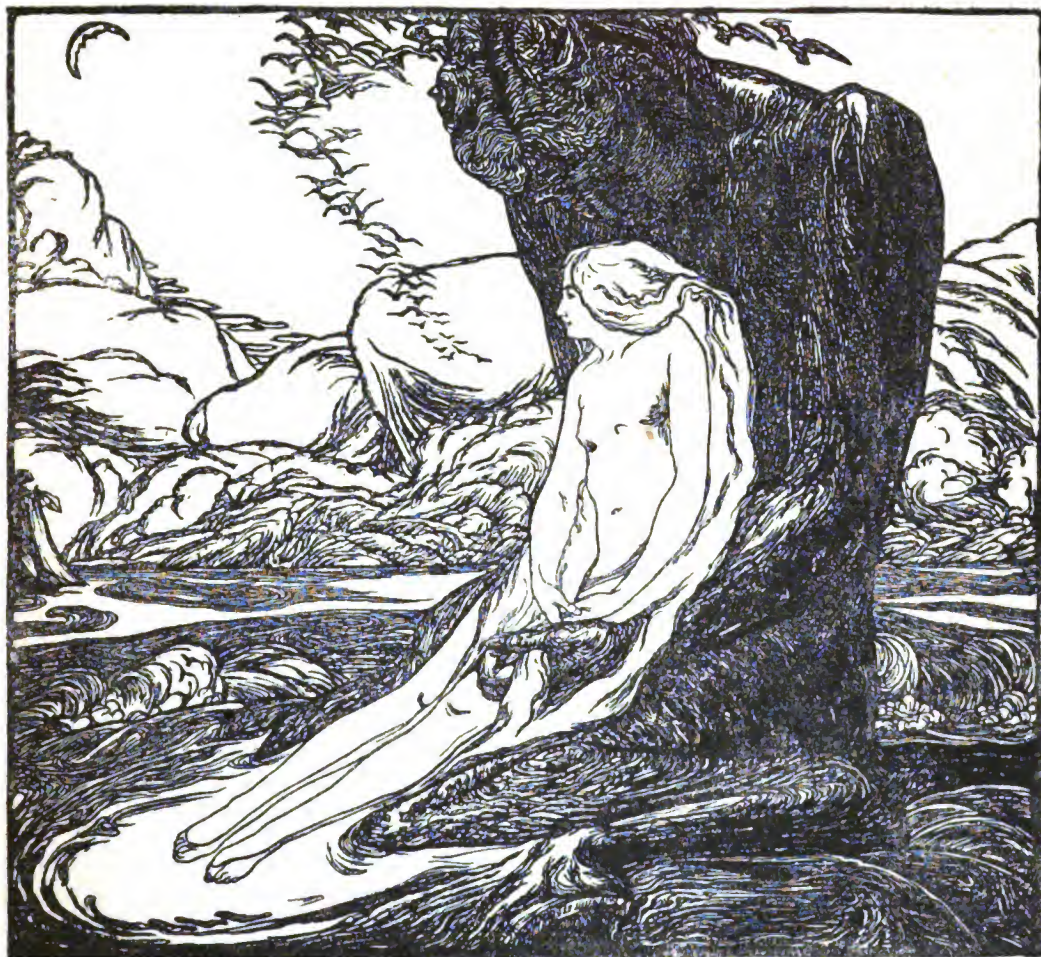
Ты разсыпала щедро узорами  
Свѣтляковъ золотые огни.  
Благосклонными вѣщими взорами  
На открывшаго душу взгляни!

Черносиними, звѣздными тканями  
Ты вселенной окутала сонъ.  
Одинокій, съ простертыми дланями  
Я взываю къ Царицѣ Временъ.

Ты смѣешься очами бездонными,  
Неисчетныя жизни тая,  
Да прольется надъ дѣвами сонными  
Безконечная благодать Твоя!

Будь щедра къ нимъ, о, Матерь Великая,  
Сѣя радостно въ міръ бытіе,  
И прими меня вновь, Темноликая,  
Въ благодатное лоно Твое!

А. л. Кондратьевъ.



Т. Стерджъ-Муръ. «Панъ и Психея».







## КОРАБЕЛЬЩИКИ ИЛИ ТРОГАТЕЛЬНАЯ ПОВѢСТЬ О ФЕЛИЧЕ И АНЖЕЛИКѢ.

Посвящается Нинѣ Петровской.

Когда благородная мадонна Анжелика узнала отъ старой своей служанки, что заговоръ, о которомъ давно ходили слухи, открытъ; что у собора городская стража не выдержала натиска мятежниковъ; что подесту пронесли въ закрытыхъ носилкахъ, по слухамъ, едва живого отъ глубокой раны подъ сердце; что весь городъ объятъ возмущеніемъ и чернь уже начала грабить палаццо гфельфовъ, впрочемъ, не всегда шадя и гибеллиновъ, за которыми оставалась явная побѣда въ этой схваткѣ, столь обычной для Пизы, постоянно раздираемой междуусобицами знатныхъ фамилій; когда вѣроятность всѣхъ этихъ извѣстій была подтверждена растерянной суетой по всѣму дому и доносившимся съ площади тревожнымъ набатамъ, призывающимъ гражданъ къ оружію, — первой ея мыслью была мысль о Феличе, отецъ котораго, Паоло Ласки, какъ извѣстно, былъ однимъ изъ самыхъ вліятельныхъ предводителей потерпѣвшей на этотъ разъ пораженье партіи гфельфовъ.

Хотя Феличе еще жилъ со своимъ учителемъ въ виллѣ близъ Марины, однако, это мало уменьшало опасность и, наоборотъ, скорѣе ее увеличивала полная уединенность, гдѣ ни друзья, ни благоразуміе самихъ побѣдителей не могли утишить раздраженія противъ отца, которое легко могло перейти на сына и привести къ трагическому концу.

Впрочемъ, оцѣпенѣніе ужаса недолго владѣло Анжеликой, такъ какъ она не только писала стихи и изучала греческихъ поэтовъ, но также была мужественна и рѣшительна, какъ подобаетъ дочери солдата, сдѣлавшаго много славныхъ походовъ и обязаннаго имъ всѣмъ богатствомъ и вліяніемъ, а не только происхожденію изъ знатнаго рода, которое нерѣдко скрываетъ за собой душу человѣка низкаго и недостойнаго.

Быстро принятое рѣшеніе не было ни на минуту задержано въ его исполненіи. Спрятавъ свои густые свѣтлые волосы подъ круглымъ колпакомъ, смѣнивъ прекрасныя женскія одежды на грубый костюмъ мальчика, въ которомъ по утрамъ она занималась гимнастикой, подражая дѣвушкамъ Спарты, Анжелика вышла на дворъ и, въ общей суматохѣ никѣмъ не замѣченная, проскользнула въ конюшню, сама осѣдлала свою сѣрую съ черными пятнами кобылу и, проскакавъ по улицамъ Пизы, много разъ благополучно избѣгая опасности попасть въ свалку, направила свой путь по песчаной дорогѣ вдоль моря.

Солнце неожиданно быстро сѣло въ синюю тучу. Наступали сѣрныя, осеннія сумерки. Море было неспокойно. Съ полъ-дороги начавшійся дождь становился все сильнѣй; но мадонна, казалось, ничего не замѣчала, подгоняя коня словами и даже жестокими ударами шпоръ, хотя руки ея почти заостенѣли и нѣжное тѣло ныло отъ непривычной усталости.

Было совсѣмъ темно, когда, наконецъ, замигали рѣдкіе огни Марины въ глубокихъ садахъ. Вилла Ласки стояла въ сторонѣ, у самаго моря. На широкомъ дворѣ не было видно слугъ, въ окнахъ—огней, и острый страхъ сжалъ на минуту сердце Анжелики, такъ какъ домъ показался ей уже покинутымъ. Привязавъ лошадей къ кольцу, мадонна поднялась на ступеньки и, открывъ дверь, вступила въ темныя сѣни. Однако, пройдя пер-

вую залу, она увидѣла слабый свѣтъ изъ внутреннихъ дверей, гдѣ помѣщалась комната Феличе. Когда на ея стукъ дверь пріоткрылъ стройный, худенькій мальчикъ, лѣтъ 15, съ удивленнымъ лицомъ разглядывающій необычайный костюмъ и не сразу узнавшій подъ нимъ благородную мадонну Анжелику, она чуть не лишилась чувствъ отъ слабости, вдругъ охватившей всѣ члены, и какого-то радостнаго стыда, что она видитъ Феличе здоровымъ и невредимымъ. Въ глубинѣ комнаты привѣтливо пылалъ каминъ; по стѣнамъ были развѣшаны чертежи; на широкомъ столѣ лежали развернутыя книги и приборы для магическихъ опытовъ.

Старый учитель Феличе, Фаттій, поднявъ голову, старался поверхъ очковъ рассмотреть неожиданнаго гостя, такъ какъ молодые люди въ смущеніи стояли другъ противъ друга, не двигаясь отъ дверей. Наконецъ, старикъ, потерявъ терпѣніе, самъ поднялся съ своего мѣста и, не безъ колебанія, узнавъ подъ забрызганнымъ плащомъ, со спутавшимися волосами Анжелику, воскликнулъ:

— Святая Матерь! Мадонна, что въ этотъ часъ привело твою милость? Въ такомъ видѣ! Какое несчастье разразилось надъ нашей головой?

Но, замѣтивъ, что дѣвушка почти падаетъ отъ усталости, онъ отложилъ свои вопросы и, взявъ ее за руку, усадилъ въ кресло у самого огня, приказалъ Феличе принести вина, ступить тяжелые, грязные ботфорты и растирать ея ноги особымъ составомъ, согревающимъ и возвращающимъ силы всему тѣлу.

Мальчикъ опустился на колѣни и робко касался тѣла Анжелики, растирая ноги, обнаженныя до самыхъ колѣнъ, и вытирая ихъ потомъ мѣхомъ своего камзола. И эти легкія прикосновенія, какъ первая, хотя и невольная, ласка казались мадоннѣ слаще самыхъ искусныхъ поцѣлуевъ и не только отъ тепла и нѣсколькихъ глотковъ вина, которые Фаттій заставилъ ее сдѣлать, покрывались щеки Анжелики румянцемъ. Фаттій же прохаживался по комнатѣ, ни на минуту не прерывая своей болтовни и съ добродушной лукавостью поглядывая на молодыхъ людей.

Однако, преодолевъ томную слабость, мадонна Анжелика вспомнила страшную причину, приведшую ее сюда. Напрасно

старикъ успокаивалъ ее, говоря, что три раза смѣнится торжество гфельфовъ и гибеллиновъ, пока успѣютъ добраться до Марины,—дѣвушка упорствовала и, даже покрививъ истиной, объявила, что самъ Паоло просилъ ее спасти Феличе, одобряя планъ сѣсть на какой-нибудь проходящій мимо корабль и доплыть на немъ до ближайшаго берега. Подумавъ, Фаттій не нашелъ это предложеніе лишеннымъ благоразумія, рѣшивъ, однако, самъ остаться при виллѣ, ввѣренной его охранѣ и содержащей въ себѣ много книгъ и другого имущества. А Феличе слушалъ весь разговоръ, скромно опустивъ глаза, какъ будто слова вовсе не касались его.

Дождь прекратился; за то вѣтеръ съ моря казался еще сильнѣй, задувая факелъ и срывая плащи. Между быстро проносившихся облаковъ на совершенно черномъ небѣ робко выглядывали звѣзды и желтая, неполная луна насмѣшливо показывала свои тонкіе рожки изъ-за дома.

Фаттій проводилъ путешественниковъ до берега, и долго еще доносился его голосъ съ послѣдними наставленіями, когда лодка съ Феличе, Анжеликой и ловко справляющимся съ бурей слугой уже направлялась въ открытое море.

Въ какомъ-то сладкомъ смущеніи Анжелика только разъ рѣшилась обратиться съ незначительнымъ вопросомъ къ спутнику. Феличе же сидѣлъ, сжавшись отъ холода, въ своемъ мѣховомъ плащѣ и прижимая къ груди толстый фоліантъ, единственное имущество, захваченное при столь неожиданныхъ и спѣшныхъ сборахъ. Впрочемъ, блужданіе по волнамъ было неслишкомъ продолжительнымъ, такъ какъ почти всѣ корабли спѣшили выйти изъ гавани, объятаго возмущеніемъ, и всѣмъ имъ лежалъ путь, по выходѣ изъ узкаго залива, мимо Марины.

Искусно направивъ лодку прямо на огонь перваго же проходящаго корабля, слуга сталъ кричать еще издали: «Эй, остановитесь! Благороднѣйшій Феличе Ласки хочетъ сдѣлать честь довѣрить себя вашей палубѣ!».

И, такъ какъ имя Ласки было, конечно, извѣстно всѣмъ, имѣющимъ какія-нибудь дѣла въ Пизѣ, то корабельщики не рѣшились, несмотря на всю трудность останавливаться при та-

комъ вѣтрѣ, противиться приказанію, рассчитывая, что услуга сыну не останется безъ благодарности отъ отца. Капитанъ въ желтомъ колпакѣ и голубой курткѣ привѣтствовалъ новоприбывшихъ съ изысканной почтительностью. Онъ сказалъ, что весь корабль къ услугамъ господина, но, къ сожалѣнію, всѣ помѣщенія заняты пассажирами, къ тому же уже расположившимися на ночлегъ, и потому на первую ночь господину и его пажу придется довольствоваться маленькой боковой каютой съ одной кроватью, положимъ, рассчитанной на двоихъ. При тускломъ свѣтѣ фонаря онъ не замѣтилъ, какъ смущенно покраснѣли и господинъ Феличе, и его прекрасный слуга. Съ поклонами проводилъ онъ ихъ по скользкой лѣстницѣ и, пожелавъ спокойной ночи, оставилъ однихъ.

Анжелика первая нарушила тягостное молчаніе.

— Благодарумнѣ всего будетъ, мой господинъ, — сказала она, опустивъ глаза, — я думаю, если мы подчинимся судьбѣ и выдержимъ до конца роли, навязанныя намъ такъ неожиданно...

— Да къ тому же онъ сказалъ, что только на одну ночь, — отвѣтилъ Феличе, и потомъ опять наступило молчаніе.

— Тебя не будетъ беспокоить качка? — спросила снова Анжелика.

— Я привыкъ къ морскимъ путешествіямъ. А тебѣ пришлось испытывать ихъ?

— Да, вѣдь еще въ прошломъ году мы совершали прогулку до самой Каррары и много разъ попадали подъ вліяніе южныхъ вѣтровъ.

Такъ, словами, незначительными и малоинтересными, старались они подавить свое смущеніе. Но, наконецъ, Анжелика сказала:

— Можетъ быть, ты уже ляжешь? Я помогу тебѣ раздѣться. И не забудь моего новаго имени — Пьетро...

Она помогла ему освободить ноги отъ тяжелой обуви и растегнула робкой рукой пряжку плаща, не рѣшаясь прикоснуться къ другимъ одеждамъ.

Итакъ, они легли молча, не снимая ничего, кромѣ верхнихъ плащей, и провели ночь подъ однимъ одѣяломъ, боясь подвигнуться и коснуться другъ друга.

Опасность и случай свели на одномъ кораблѣ и равняли людей, самыхъ разнообразныхъ по положенію, богатству и образованію. Служитель алтаря не чуждался куртизанки Чарокки, которая красила волосы и называла себя знатной дамой, хотя злые языки утверждали, что она просто—жидовка изъ Генуи, путешествующая со старухой, обезьяной и двумя собачками, маленькій ростъ которыхъ вызывалъ всеобщее восхищеніе. Ихъ привезъ для монны одинъ кавалеръ изъ-за моря. Нѣсколько купцовъ, обыкновенно кичащихся своимъ состояніемъ, труппа странствующихъ актеровъ, пирульникъ, поэтъ, изъ тѣхъ, которыхъ нанимаютъ за лиру, и молодой философъ Коррадо съ надменнымъ лицомъ и пальцами, не сгибающимися отъ перстней на обѣихъ рукахъ,— все это, благодаря тѣснотѣ и скукѣ, соединялось въ одно общество, съ любопытствомъ и радостью принявшее въ число своихъ членовъ утромъ другого дня новыхъ путешественниковъ.

Не слишкомъ разнообразныя развлеченія состояли, кромѣ обѣдни и ловкихъ штукъ актеровъ, изъ исторій, которыя должны были рассказывать каждый поочереді, не забывая стараго правила, что каждая исторія должна быть забавна или трогательна и всегда поучительна. Въ первый вечеръ монахъ рассказалъ, какъ въ Леридѣ Испанской, гдѣ онъ былъ нѣсколько лѣтъ секретаремъ священнаго судилища, старшій наставникъ, по имени Донъ-Кедро, много лѣтъ сражался съ дьяволомъ, славясь строгостью жизни, и какъ однажды, избѣгая всегда соблазновъ, въ которые впадали часто даже сами братья святого ордена, онъ не выдержалъ и публично, на глазахъ всего города, бросился въ костеръ, позванный молодой колдуньей, и въ огнѣ соединился съ ней и погибъ, вызвавъ большой соблазнъ.

Исторія была выслушана съ большимъ интересомъ, послѣ чего капитанъ объявилъ, что уже давно насталъ часъ гасить огни и ложиться спать, и всѣ разошлись по своимъ помѣщеніямъ, не забывъ обмѣняться любезными пожеланьями.

Феличе и его слуга, хотя и медлили дольше всѣхъ, но, наконецъ, были принуждены тоже покинуть общую каюту и въ концѣ концовъ остаться опять вдвоемъ, чего весь день они, какъ бы по уговору, избѣгали.

Мальчикъ былъ очень блѣденъ и казался утомленнымъ до послѣдней степени, и, движимая исключительно состраданіемъ, Анжелика сказала:

— Ночь не принесетъ опять тебѣ отдыха, если ты не освободишься отъ одеждъ, какъ привыкъ ложиться дома. Я же готова провести всю ночь на палубѣ, чтобы только не смущать твоего покоя. Иначе мы оба измучаемся — ты отъ слабости, я отъ заботы о тебѣ.

Но что-то смущало въ этомъ предложеніи Феличе. Можетъ быть, онъ боялся остаться одинъ,—и онъ сказалъ съ большей убѣдительностью, чѣмъ того требовала простая вѣжливость:

— Я все равно не засну, зная, что ты дрогнешь изъ-за меня подъ вѣтромъ и дождемъ.

Онъ взялъ ее за руку, не желая отпустить, и, казалось, готовъ былъ заплакать.

Тогда Анжелика, успокаивая его, какъ ребенка, сказала:

— Я обѣщала твоему отцу беречь тебя, и я исполню все, что хочешь. Я не покину тебя ни на минуту, если это можетъ дать тебѣ спокойствіе. Но все-таки ты раздѣнешься, какъ слѣдуетъ. Я совсѣмъ не буду смотрѣть на тебя.

Феличе не заставилъ долго убѣждать себя. Онъ покорно снималъ одну принадлежность костюма за другой. Анжелика же, сидя спиной, помогала то разстегнуть крючокъ, то развязать непослушный узелъ, протягивая руку назадъ и находя его ошупью.

Такъ, весело и непринужденно болтая, они легли, не глядя другъ на друга даже украдкой, причемъ Феличе ближе къ стѣнѣ, а Анжелика къ двери.

Только когда по мѣрному дыханью можно было догадаться, что мальчикъ заснулъ, рѣшилась мадонна нарушить обѣщаніе и повернуться къ нему. Въ бѣлой рубашкѣ онъ напоминалъ мягкими волосами, тонкой шеей, щеками, какъ блѣдые, розовые лепестки, скорѣе дѣвочку, чѣмъ юношу, на котораго уже много засматривалось глазъ, когда на бѣлой лошади, скромно опуская голову, проѣзжалъ онъ по улицамъ Пизы къ обѣднѣ съ отцомъ или со старымъ своимъ учителемъ Фаттіемъ.

Долго не могла оторваться Анжелика отъ волнующаго стран-

ной красотой лица и, не насмотрѣвшись, какъ бы ослѣпленная, съ легкимъ стономъ упала на подушку. Такъ пролежала нѣсколько минутъ и потомъ, поднявшись на локоть, опять любовалась, стараясь затаить дыханіе, и опять падала, изнемогая.

Случилось такъ, что сосѣднимъ помѣщеніемъ съ каютой Феличе и Анжелики оказалось помѣщеніе Коррадо. Изъ любопытства онъ прислушался сквозь тонкую перегородку къ ихъ словамъ и безъ труда узналъ изъ нихъ тайну юныхъ путешественниковъ. Всю ночь былъ онъ свидѣтелемъ, припавъ глазомъ къ щели, безмолвной борьбы прекрасной мадонны надъ неподвижнымъ тѣломъ ея равнодушнаго возлюбленнаго. Ея неопытная страсть, ея красота и молодость (Анжеликѣ едва минуло 17 лѣтъ) трогали и волновали его.

Весь слѣдующій день онъ смущалъ молодого слугу, то обращаясь къ нему съ вопросами, которые вполнѣ естественны между двумя мужчинами, но заставляющими краснѣть чуть не до слезъ дѣвушку, воспитанную въ благородной и строгой семьѣ, то любезнымъ обхожденіемъ, въ которомъ явно скрывалась насмѣшка, или просто слишкомъ внимательно останавливая на немъ свой взоръ, острый и уже томный.

Анжелика не избавилась отъ его ухаживаній даже когда всѣ собрались слушать обычныя исторіи, потому что, сѣвъ совсѣмъ рядомъ, онъ то громко просилъ ее почесать ему поясницу, то незамѣтно жалъ ей ногу, то касался, какъ бы нечаянно, груди, становясь все болѣе страстнымъ, тогда какъ дѣвушка не знала, куда дѣться отъ стыда и страха, что раскроется ея роль, столь двусмысленная особенно теперь, послѣ двухъ ночей, проведенныхъ съ Феличе, который все же былъ ужъ не мальчикъ.

Монна Чарокки, томно вздыхая, начала свой разсказъ о трехъ юношахъ, которыхъ она рѣшила соблазнить; о томъ, какъ ночью она явилась, лишенная одеждъ, въ комнату, гдѣ они спали всѣ вмѣстѣ; какъ всѣ они бросились спасаться, одинъ — въ окно, другой — подъ столъ, а третій — прыгнувъ въ кровать; какъ тамъ она настигла его; какъ онъ вырывался, и только сва-



лившійся пологъ соединилъ ихъ и привелъ къ счастливой развязкѣ; какъ два товарища были изумлены, увидя его вполне невредимымъ.

Все это было передано съ большой живостью, и исторія была признана и трогательной, и достаточно поучительной; послѣ чего, еще немножко поговоривъ, всѣ разошлись.

На этотъ разъ съ радостью, одна изъ первыхъ, покинула Анжелика общую каюту, не подозревая, какъ мало она будетъ защищена отъ любопытства неожиданнаго ухаживателя даже въ своемъ помѣщеніи. Они раздѣлись безъ особыхъ исторій, помогая другъ другу, но не глядя, со смѣхомъ, попадая руками не туда, куда слѣдовало.

Съ нетерпѣніемъ дожидалась Анжелика, пока Феличе заснетъ, едва сдерживая свое волненіе. Наконецъ, ровное дыханіе указало на это, и мадонна повернула къ нему пылающее лицо.

И такъ онъ былъ соблазнительно-прекрасенъ съ опущенными рѣсницами, съ голой шеей, что нельзя было стерпѣть, и, нагнувшись, она поцѣловала его робко и совсѣмъ слегка, но Коррадо, видѣвшій все, не могъ сдержаться; стгорая отъ ревности и страсти, онъ громко ударилъ ногой въ тонкую перегородку такъ, что даже кровать вся зашаталась, и мальчикъ, вздрогнувъ, открылъ глаза и, увидя такъ близко надъ собой Анжелику, воскликнулъ:

— Что это? Боже! Мы тонемъ?

Напрасно шепотомъ успокаивала его мадонна, глядя по волосамъ и цѣлуя, уже забывъ о стыдѣ, — онъ дрожалъ и, прижимаясь все ближе къ ней, всхлипывалъ:

— Мы тонемъ, мы тонемъ! Не даромъ мнѣ приснился страшный сонъ. Видишь, мы уже погружаемся въ воду!

Такъ сладки были эти слабыя, безвольныя обѣятья, что Анжелика съ любовной лукавостью уже не старалась убѣждать его и только, сжимая хрупкое тѣло, все сильнѣе шептала:

— Я съ тобой! Милый, милый! Я съ тобой! Не бойся!

Коррадо же не могъ дольше сносить этой сцены и, шумно опрокинувъ стулъ, вышелъ на палубу, стуча каблуками.

Такъ, то откидываясь назадъ, то опять прижимаясь совсѣмъ

близко, она заснула рядомъ съ нимъ, утомленная двумя ночами борьбы и уже считающая себя побѣдительницей, хотя сама не зная еще границъ желаній, всю ночь чувствуя его близкимъ, покорнымъ и нѣжнымъ.

Весь слѣдующій день было пасмурно, и море волновалось, какъ никогда еще за все это путешествіе. Большая часть пассажировъ цѣлый день не выходила изъ своихъ помѣщеній, и только къ вечеру, когда стало нѣсколько спокойнѣе, всѣ не надолго собрались, причемъ поэтъ, вмѣсто разсказа, спѣлъ только что сочиненную серенаду, заслужившую общее одобреніе:

Сердце женщины—какъ море,  
Ужъ давно сказалъ поэтъ.  
Море, волѣ лунной вторя,  
То бѣжитъ къ землѣ, то нѣтъ;  
То послушно, то строптиво,  
Море—горе; море—рай;  
Иль дремлетъ на немъ лѣниво,  
Или снасти подбирай.  
Кормщикъ, опытный и смѣлый,  
Не боится тѣхъ причудъ,  
Держитъ руль рукой умѣлой  
Тамъ сегодня, завтра тутъ.  
Что ему морей капризы,—  
Вѣтеръ, буря, штиль и глаль?  
Сердцемъ Биче, сердцемъ Лизы  
Развѣ трудно управлять?

Коррадо вышелъ позднѣй всѣхъ и, прямо подойдя къ Анжеликѣ, крѣпко взялъ ее за руку и, почти насильно отведя въ сторону отъ Феличе, заговорилъ:

— Твои увертки больше не помогутъ. Не думаешь ли ты обмануть меня и настаивать еще на томъ, что ты — мальчикъ? Что же, предложимъ разрѣшить нашъ споръ всѣмъ присутствующимъ! Вѣдь въ этомъ такъ легко убѣдиться! И, если я окажусь не правъ, я готовъ нести какое угодно наказаніе за клевету. Ты согласенъ? Нѣтъ. Такъ слушай: ты сегодня придешь

ко мнѣ ночью, когда твой господинъ заснетъ, а иначе я всѣ твои шашни выведу на чистую воду!..

Онъ такъ же быстро ушелъ, какъ и пришелъ, не дожидаясь отвѣта, что къ тому же было бы и бесполезно, такъ какъ Анжелика была такъ смущена и подавлена, что отъ нея нельзя было добиться ни одного слова, когда всѣ стали разспрашивать, что сказалъ ей господинъ столь непріятное, что на ней нѣтъ лица.

Что-то пробормотавъ о нездоровьѣ, Анжелика убѣжала въ свою каюту и, бросившись въ кровать, залилась слезами. Послѣдовавшій за ней Феличе сталъ утѣшать ее и, уже самъ нѣжно обнимая и цѣлуя, безъ словъ сумѣлъ скоро вызвать улыбку на лицѣ своей возлюбленной.

Но робкая нѣжность Феличе совсѣмъ не соответствовала страстной жадности, съ которой Анжелика осыпала его поцѣлуями, и, сначала только отстраняясь, чего она въ изступлении не замѣчала, онъ вдругъ, когда объятія стали слишкомъ тѣсны, оттолкнулъ дѣвушку и, закрывъ лицо руками, выбѣжалъ изъ каюты, оставивъ ее растерянной и ничего не понимающей.

Коррадо, наблюдавшій и эту сцену, нашелъ минуту самой удобной, чтобы вмѣшаться въ исторію, изъ празднаго наблюдателя которой онъ давно сдѣлался самъ дѣйствующимъ лицомъ.

Пользуясь замѣшательствомъ мадонны, которая лежала какъ бы безъ сознанія, онъ обнималъ ее и, цѣлуя, шепталъ страстные слова. Сначала не сопротивляясь, Анжелика черезъ нѣсколько минутъ пришла въ себя.

— Феличе! Феличе!—были ея первыя слова и, увидавъ около себя другого, она собрала всѣ силы, удесятеренныя ужасомъ, и сбросила съ постели Коррадо.

Прежде, чѣмъ онъ успѣлъ подняться, она уже была у двери.

— Феличе! Гдѣ Феличе?—жалобно повторяла мадонна, не помня о своемъ костюмѣ, который былъ слишкомъ не въ порядкѣ, чтобы появляться передъ посторонними зрителями.

Догоняя ее уже въ коридорѣ, Коррадо злобно крикнулъ:

— Твой Феличе убѣжалъ отъ тебя! Тебѣ этого мало? Онъ бросился съ палубы въ море. Бѣги, догоняй его!

Онъ хотѣлъ опять схватить ее, но, вырвавшись, она выбѣжала на палубу и, достигнувъ высокаго борта, ни на минуту не задержась, бросилась въ черную воду. Ничего не соображая, слѣпой отъ страсти, Коррадо бросился за ней, и они вмѣстѣ скрылись въ волнахъ.

Утромъ, на слѣдующій день, матросъ рассказывалъ о ночномъ видѣніи—будто двое, дѣвушка съ распущенными волосами и мужчина за ней, беззвучно, какъ тѣни, мелькнули мимо фонаря, у котораго онъ стоялъ, и потомъ глухо раздался плескъ воды, но товарищъ его ничего не замѣтилъ,—такъ быстро все совершилось. Всѣ съ нетерпѣніемъ встрѣчали выходъ другъ друга, ожидая отъ кого-нибудь разъясненія,—въ самомъ дѣлѣ кто-нибудь изъ пассажировъ корабля погибъ, или это только приснилось сторожевому матросу, такъ какъ дѣвушка, игравшая здѣсь какую-то роль, была для всѣхъ неизвѣстна.

Буря совершенно улеглась; въ холодной ясности видѣлся далекій берегъ, городъ и горы, побѣлѣвшія отъ утренняго мороза. Первыя снѣжинки падали, кружась и тая на платьѣ и рукахъ. Изъ пассажировъ на палубѣ не досчитывались только Коррадо, Феличе и его слугу, и Чарокки уже объяснила ночное приключеніе басней.

Наконецъ, вышелъ Феличе въ малиновомъ плащѣ, опушенномъ сѣрымъ мѣхомъ, въ высокой шапкѣ и, какъ всегда, съ книгой, стройный, равнодушный и серьезный. Когда капитанъ осторожно спросилъ его, какъ господинъ спалъ, онъ отвѣтилъ, поднимая глаза отъ страницы:

— Развѣ вы находите, что я выгляжу плохо?

Сентябрь—октябрь 1907.  
Петербургъ.

Сергѣй Ауслендеръ.

Прим. Серенада написана для разсказа М. Кузминъ.



Т. Стерджъ-Муръ. «Панъ въ видѣ облака».





## ОГНЕННЫЙ АНГЕЛЪ.

### Глава IX.

Какъ я прожилъ декабрь и праздникъ Рождества Христова.

Какъ я узналъ потомъ, ко мнѣ, простертому безъ памяти на холодной землѣ, поспѣшилъ на помощь не только Матвѣй, но и мой соперникъ и его пріятель. Графъ Генрихъ проявлялъ всѣ признаки крайняго отчаянья, горько упрекалъ себя, что принялъ вызовъ, и говорилъ, что, если я умру, не будетъ знать покоя всю жизнь. Перевязавъ мнѣ рану, всѣ трое устроили родъ носилокъ и рѣшили нести меня въ городъ пѣшкомъ, ибо опасались подвергнуть меня качкѣ на лошади по плохой дорогѣ. Я же не сознавалъ почти ничего изъ совершавшагося со мной, погруженный въ смутное безчувствіе, почти блаженное, прерываемое порою мучительной колющей болью, которая заставляла меня открывать глаза,—но, видя надъ собой синее небо, я думалъ почему-то, что плыву въ лодкѣ, и, успокаиваясь, опять опускалъ голову и душу въ бредъ.

Я совершенно не помню, какъ принесли меня домой и какъ меня встрѣтила Рената, но Матвѣй говорилъ мнѣ потомъ, что

проявила она въ такихъ обстоятельствахъ мужество и распорядительность. Ближайшіе за тѣмъ дни, какъ то всегда бываетъ отъ воспаленія раны и потери крови, провелъ я также въ безпамятствѣ и даже не сумѣю пересказать здѣсь видѣнія своей горячки, ибо не соотвѣтствуютъ слова, созданныя для дѣла разума, призракамъ безумія. Знаю только, что, страннымъ образомъ, воспоминаніе о Ренатѣ ни въ какой мѣрѣ не примѣшивалось къ этому бреду: изъ памяти моей, словно губкой написанное мѣломъ на доскѣ, стерты были всѣ мучительныя событія послѣдняго времени, и я самъ себя представлялся тѣмъ, какимъ былъ въ годы моей жизни въ Новой Испаніи. Когда, въ рѣдкія минуты просвѣтлѣнія, видѣлъ я передъ собою заботливое лицо Ренаты, воображалъ я, что это—Анджелика, та крещеная индѣйская дѣвушка, съ которой я жилъ нѣкоторое время въ Чампоалль и съ которой, не безъ горечи, былъ долженъ разстаться послѣ ея неблаговидныхъ поступковъ. И потому, въ своемъ бреду, я всегда негодуяще отталкивалъ руки Ренаты и гнѣвно говорилъ ей въ отвѣтъ на ея хлопоты: «Зачѣмъ ты здѣсь? Ступай прочь! Я не хочу, чтобы ты была со мною!»,—и Рената принимала это грубое обращеніе больного безропотно.

Поединокъ нашъ съ Генрихомъ произошелъ въ среду, и лишь въ субботу, въ часъ всенощной, въ первый разъ пришелъ я въ себя настолько, чтобы узнать и комнату, которая замыкала мнѣ кругозоръ, и дни, черезъ которые переводила меня жизнь, и, наконецъ, Ренату, въ ея розовой кофтѣ, съ бѣлыми и темносиними украшеніями, въ томъ платьѣ, въ какомъ видѣлъ я ее въ первый день знакомства. Она, внимательно слѣдившая за моимъ лицомъ, вдругъ по моимъ глазамъ разгадала, что я очнулся, и бросилась ко мнѣ въ порывѣ радости и надежды, съ крикомъ:

— Рупрехтъ! Рупрехтъ! Ты узналъ меня!

Сознаніе мое было еще очень неясно, словно туманная даль, въ которой мачты кажутся башнями, но я уже помнилъ, что бился на шпагахъ съ графомъ Генрихомъ и, пытаюсь вздохнуть, явно ощущалъ мучительную боль во всей груди. Мнѣ пришло въ голову, что я умираю отъ раны и что этотъ проблескъ па-



мяти—послѣдній, который часто знаменуетъ наступающій конецъ. И вотъ, по той причудливости человѣческой души, которая даетъ возможность преступнику шутить на плахѣ съ палачомъ, я постарался сказать Ренатѣ тѣ слова, которыя показались мнѣ наиболѣе красивыми при такомъ случаѣ, хотя исходили они вовсе не изъ сердца:

— Видишь, Рената, вотъ я умираю, — затѣмъ, чтобы остался живъ твой Генрихъ...

Рената съ плачемъ упала на колѣни передъ постелью, прижала мою руку къ губамъ и не сказала, а какъ бы сквозь нѣкую стѣну закричала мнѣ:

— Рупрехтъ, я люблю тебя! Развѣ же ты не знаешь, что я люблю тебя! Давно люблю! Одного тебя! Я не хочу, чтобы ты умеръ, не зная этого!

Признаніе Ренаты было послѣднимъ лучомъ, который еще запечатлѣлся на моемъ сознаніи, и потомъ оно опять погрузилось во мракъ, и на его поверхности, словно отблески незримого костра, опять начали плясать красные дьяволы, размахивая широкими рукавами и переплетаясь длинными хвостами. Но мнѣ слышалось, что въ своей чудовищной пляскѣ они хоромъ продолжали слова Ренаты и пѣли, и кричали, и вопили надо мной: «Я люблю тебя, Рупрехтъ! давно люблю! тебя одного!» и сквозь лабиринтъ бреда, по его тяжкимъ лѣстницамъ и стремительнымъ проваламъ, я словно несъ эти драгоценныя слова, тяжесть которыхъ, однако, сокрушала мнѣ плечи и грудь: «Я люблю тебя, Рупрехтъ!».

Вторично я очнулся на благовѣсть къ воскресной обѣднѣ, и этотъ разъ, не смотря на слабость и боль въ ранѣ, почувствовалъ, что какая-то грань переступлена, что во мнѣ—жизнь, и я—въ жизни. Рената была подлѣ, и я глазами сдѣлалъ ей знакъ, что узнаю ее, что помню ея вчерашнія слова, что благодаренъ ей, что счастливъ, и она, понявъ меня, опять опустилась на полъ, на колѣни, и приникла ко мнѣ головой, какъ понижаютъ въ церквахъ на молитвѣ. Сознаніе, что я какъ бы возсталъ изъ могилы, ошущеніе нѣжныхъ рѣсницъ Ренаты на моей рукѣ, тихіе разсвѣтные лучи и слабо сквозь стекла про-

никающій благовѣсть дѣлали мигъ несказаннымъ и неземнымъ, словно бы въ немъ намѣренно было соединено все для чело-вѣка самое прекрасное и самое дорогое.

Съ этого дня началось мое выздоровленіе. Прикованный къ постели, почти не въ силахъ шевельнуться, съ изумленіемъ наблюдалъ я, какъ ловко и обстоятельно распоряжалась Рената всѣмъ ходомъ домашней жизни, хлопоча около меня, заставляя исполнять свою волю Луизу, не позволяя посѣтителямъ докучать мнѣ. Посѣтители же гораздо чаще стучались въ нашу дверь, чѣмъ то можно было ожидать, потому что каждый день непременно приходилъ ко мнѣ Матвѣй, нѣсколько пристыженный моей неудачей, но, конечно, не потерявшій своей здоровой бодрости и своего добродушнаго веселья, и почти столь же часто появлялся Люціанъ Штейнъ, настойчиво добивавшійся свѣдѣній о ходѣ моей болѣзни, чтобы сообщать о томъ графу Генриху. Наконецъ, тоже каждый день, входилъ ко мнѣ докторъ, приглашенный Матвѣемъ, чело-вѣкъ въ черномъ плащѣ и съ круглой шляпой, педантъ и невѣжда, которому, менѣе чѣмъ всѣмъ другимъ, почитаю я себя обязаннымъ жизнью.

Будучи не совсѣмъ несвѣдущимъ въ медицинѣ и выдавъ на практикѣ, въ Новой Испаніи, не мало ранъ, тотчасъ же, какъ только я получилъ способность разсуждать разумно, я приказалъ выбросить всѣ масляныя мази изъ разныхъ отвратительныхъ составовъ этого жреца Эскулапа и пользовалъ свою рану исключительно теплой водой, къ большой тревогѣ Ренаты и къ негодованію чернаго доктора. Я, однако, понимая, что вопросъ поставленъ о жизни и смерти, нашелъ въ себѣ уже достаточно воли, чтобы одѣть свое рѣшеніе въ панцырь, непроницаемый ни для угрозъ, ни для просьбъ, и послѣ, день за днемъ, указывалъ на удачу своего лѣченія, съ торжествомъ врача и больного одновременно.

Когда же мы оставались съ Ренатою наединѣ, мы забывали о моей болѣзни, потому что ей хотѣлось только повторять, что она меня любитъ, а мнѣ было слишкомъ сладостно слушать эти признанія, отъ которыхъ мое сердце начинало биться такъ сильно, что я чувствовалъ боль въ ранѣ. Я спрашивалъ Ре-

нату въ сотый и въ тысячный разъ: «Такъ ты меня любишь? Почему же ты мнѣ не говорила о томъ прежде?»—а она въ сотый и въ тысячный разъ отвѣчала:

— Я тебя давно люблю, Рупрехтъ. Какъ же не замѣчалъ ты того? Часто я тихо шептала тебѣ это слово: «люблю». Ты, не разслышавъ, переспрашивалъ, что я говорю, а я отвѣчала: «такъ, ничего». Я любовалась тобой, твоимъ лицомъ, суровымъ и строгимъ, твоими бровями, сходящимися вѣстѣ, твоей рѣшительной походкой, но когда тебѣ случалось поймать мой любовный взглядъ, я начинала тебѣ говорить о Генрихѣ. Сколько разъ ночью, если ты спалъ отдѣльно, я на ципочкахъ прокрадывалась къ тебѣ въ комнату и цѣловала тебѣ руки, грудь, ноги, трепеща, какъ бы не разбудить тебя! Когда тебя не было дома, я тоже часто входила къ тебѣ и тоже цѣловала твои вещи, подушки, на которыхъ ты спалъ. Но развѣ же я смѣла признаться, что люблю тебя, послѣ всего, что я говорила тебѣ о моей любви къ Генриху? Мнѣ казалось, ты станешь презирать меня, ты почтешь мою любовь ничего не стоящей, если я перебрасываю ее какъ мячъ отъ одного къ другому. Ахъ, но развѣ же я виновата, что ты побѣдилъ меня своей нѣжностью, своей преданностью, силой своей любви, неуклонной и могучей, какъ горный потокъ!

Я спрашивалъ Ренату:

— Однако, ты послала меня почти на вѣрную смерть? Ты мнѣ запретила касаться Генриха и приказала подставить грудь подъ его ударъ! Вѣдь очень недалеко было отъ того, чтобы онъ вонзилъ шпагу мнѣ прямо въ сердце!

Рената отвѣчала:

— Это было послѣднее испытаніе, судъ Божій. Помнишь, я молилась, когда ты уходилъ на поединокъ. Я спрашивала Бога, хочетъ ли Онъ, чтобы я любила тебя. Если была на то Его воля, Онъ могъ сохранить твою жизнь и подъ вражескимъ клинкомъ. И еще я хотѣла въ послѣдній разъ извѣдать твою любовь, смѣетъ ли она посмотрѣть—взоръ во взоръ—на смерть. А если бы ты погибъ, знай, въ тотъ же день я затворилась бы въ монастырской кельѣ, потому что дольше могла жить—только близъ тебя!

Не знаю, сколько было правды въ словахъ Ренаты; исполнѣ

допускаю, что рассказывала она все не такъ, какъ оно было, но какъ ей теперь представлялось прошлое; однако, тогда было мнѣ не до оцѣнки ея словъ, ибо едва доставало силъ, чтобы впитывать ихъ въ себя,—какъ изсохшій цвѣтокъ дождевую влагу. Я былъ подобенъ нищему, который въ теченіе долгихъ лѣтъ тщетно вымаливалъ у церковной паперти жалкіе гроши и передъ которымъ вдругъ раскрыли всѣ богатства лидійскаго Креза, предлагая брать золото, алмазы и сапфиры горстями. Я, который выслушивалъ съ каменнымъ лицомъ самыя жестокія отповѣди Ренаты, не находилъ въ себѣ силы перенести ея нѣжность и часто уже не ея, а мои щеки были теперь смочены слезами.

Мучительную сладость нашей близости придавало то, что въ теченіе многихъ дней моя рана дѣлала невозможнымъ для насъ отдаться нашей страсти въ полной мѣрѣ. Первое время у меня едва доставало силъ, чтобы, приподнявъ голову, приблизить свои губы къ губамъ Ренаты, словно къ огненному углю, и, обезсиленный такимъ подвигомъ, я падалъ назадъ, на подушки, не дыша. Позднѣе, когда я уже могъ сидѣть на постели, Рената должна была съ кроткой настойчивостью удерживать меня отъ безумныхъ порывовъ, такъ какъ хотѣлось мнѣ, схвативъ ее въ руки, сжимать, и цѣловать, и ласкать, и заставить пережить всѣ содраганія любовнаго счастья. Но, дѣйствительно, при первой попыткѣ довѣриться вихрю страсти, силы мнѣ измѣняли, кровь выступала изъ-подъ перевязки, въ глазахъ у меня начинали вертѣться одноцвѣтные круги, въ ушахъ свистѣть однообразный вѣтеръ, мои сжатые руки опускались, и Рената, улыбаясь извиняюще, укладывала меня, какъ ребенка, въ постель и шептала мнѣ:

— Милый, милый! полно! Передъ нами еще вся жизнь! передъ нами еще вся жизнь!

Къ концу первой декабрьской недѣли я, наконецъ, оправился настолько, что могъ слабо бродить по комнатѣ, и, сидя въ большомъ креслѣ, исхудалой рукою перелистывать заброшенные нами томы магическихъ сочиненій. Выѣстъ съ моимъ выздоровленіемъ наша жизнь начала вновь вливаться въ прежнее русло, такъ какъ одинъ за другимъ исчезали наши посѣтители,—и Люціанъ

Штейнъ, которому не о чемъ было больше справляться, и черный докторъ, которому я самъ указалъ дверь, и, наконецъ, вѣрный Матвѣй, который не очень ладилъ съ Ренатою. Вокругъ насъ двоихъ начала образовываться привычная намъ пустота, но насколько отличной казалась она мнѣ отъ той, въ которую я былъ погруженъ раньше! Можно было повѣрить, что надо мною новое небо и новыя звѣзды и что всѣ предметы кругомъ преобразились силою волшебства,—такъ не похоже было все то, что переживалъ я въ эти дни въ тѣхъ же самыхъ стѣнахъ, которыя прежде тѣснили меня, какъ неотступный кошмаръ!

И теперь, вспоминая этотъ декабрь, которой прожили мы съ Ренатою, какъ новобрачные, я готовъ на колѣняхъ благодарить Творца, если свершилось все Его волею, за минуты, которыя могъ испытать. А въ тѣ дни только одна мысль настойчиво занимала и тревожила меня: что жизнь моя достигла своей вершины, за которой не можетъ не начаться новый спускъ въ глубину, что я, какъ Фазтонъ, возница колесницы Солнца, вознесенъ къ зениту и не сдержавъ отцовскихъ коней, долженъ буду позорно рухнуть по крутому склону вновь на землю. Съ томительной поспѣшностью старался я всѣмъ существомъ впитать въ себя блаженство высоты, и изступленно говорилъ Ренатѣ, что самое благоразумное—было бы мнѣ умереть, чтобы счастливымъ и побѣдителемъ оставить эту жизнь, въ которой, не сомнительно, еще ждали меня, не въ первый разъ, трагическія маски скорби и пораженія.

Но Рената на всѣ эти рѣчи отвѣчала мнѣ:

— Какъ ты не привыкъ къ счастью! Вѣрь мнѣ, милый, мы еще только въ его дверяхъ, не прошли и первой залы! Я вела тебя по подземеліямъ мукъ, а теперь поведу тебя по дворцу блаженства. Только оставайся со мной, только люби меня,—и мы оба будемъ восходить все выше и выше! Это я такъ напугала тебя, но я хочу, чтобы ты все забылъ, хочу за каждый мигъ страданія заплатить тебѣ цѣлыми днями радости, потому что ты своей любовью уже вознаградилъ меня за всю жизнь отчаянія и гибели!

Говоря это, Рената имѣла такой видъ, словно всю жизнь питалась счастьемъ, какъ райскія птицы воздухомъ.

И подобно тому, какъ не знала Рената предѣла при проявленіи своего отчаянія, не знала она предѣла и въ выраженіяхъ своей любви. Я вовсе не былъ новичкомъ въ плаваніи по океану страсти на галерѣ подъ флагомъ богини Венеры, но еще въ первый разъ встрѣчалъ я такую алчность чувства, для которой всѣ ласки казались слишкомъ слабыми, всѣ сближенія не достаточно тѣсными, всѣ радости не наполняющими мѣры желанія. При этомъ, какъ бы желая вознаградить меня за жестокость, съ какой прежде она встрѣчала мою любовь, Рената теперь искала въ страсти униженій и покорности. Я долженъ былъ не мало сопротивляться, чтобы она не цѣловала мнѣ ногъ, какъ Магдалина Христу, и удерживать ее почти насиліемъ отъ многого такого, намекъ на что я не могу довѣрить и этой рукописи.

Около двухъ недѣль длился нашъ медовый мѣсяцъ, время, за которое ко мнѣ почти совсѣмъ вернулись силы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и присущій мнѣ трезвый взглядъ на вещи, который въ себѣ я цѣню болѣе всѣхъ иныхъ способностей. Вмѣстѣ съ тѣмъ минуло и то напряженіе всѣхъ чувствъ, въ которомъ долгое время меня держали наши неопредѣленные отношенія съ Ренатою, наши постоянные поиски чего-то, наше неотступное ожиданіе какого-то событія, и я началъ чувствовать себя такъ, словно въ душѣ моей длинная многоголосная мелодія разрѣшилась заключительнымъ созвучіемъ или словно спущенъ, наконецъ, давно натянутый лукъ и стрѣла попала въ цѣль. Разумѣется, даже въ начальные дни нашего неожиданнаго соединенія, которые Ренатѣ хотѣлось превратить въ ожившій бредъ двухъ какъ бы безумныхъ, не терялъ я головы окончательно, и, сквозь всю изступленность нашихъ взаимныхъ клятвъ, любовныхъ признаній и ласкъ, въ непрерывной цѣпи смѣнявшихъ одна другую, — видѣлъ я, словно день за густыми лѣанами, суровую дѣйствительность и не забывалъ ни на часъ, что — мы лишь пилигримы на волшебномъ островѣ. Но, когда существо мое насытилось, наконецъ, непривычными и имъ забытыми радостями, когда черный и огненный кошмаръ мучительныхъ мѣсяцевъ совсѣмъ былъ заслоненъ розоватымъ туманомъ настоящаго, не могъ я не подумать, здраво и отчетливо, и о нашемъ будущемъ.

Прежде всего побуждало меня къ этому сознанию, что отденегъ, собранныхъ мною за океаномъ, осталось уже не больше половины, которая также таяла довольно быстро. Во-вторыхъ, помимо необходимости заботиться о заработкѣ, меня уже явно тяготило многомѣсячное бездѣйствіе, и я часто мечталъ о дѣлѣ и о трудѣ, какъ о самыхъ благородныхъ радостяхъ. Наконецъ, никогда не угасало во мнѣ убѣжденіе, къ которому въ зрѣлую пору жизни приходятъ всѣ мыслящіе люди, что одними личными удовольствіями не вычерпаешь жизни, какъ моря—кубками веселаго пира. Правда, чтобы приступить къ работѣ, надо было окончательно устроить свою судьбу, но я твердо помнилъ, что Рената дала мнѣ согласіе быть моей женой въ дни, когда скрывала любовь подъ маской суровости, и не могъ сомнѣваться, что она дастъ это согласіе теперь, когда открыла лицо.

Выбравъ подходящій часъ, я сказалъ Ренатѣ:

— Дорогая моя, изъ моихъ разсказовъ ты достаточно знаешь, что мы не можемъ безъ конца вести съ тобою такое безпечное существованіе, какъ теперь, и я долженъ непремѣнно приняться за какое-либо дѣло. Я предпочиталъ бы за то, о которомъ давно думаю: за торговлю съ язычниками въ Новой Испаніи. И вотъ сегодня, Рената, послѣ того, какъ ты дала мнѣ тысячи доказательствъ, что любишь меня, повторяю я тебѣ мою просьбу, которую раньше едва смѣлъ произнести: быть моей женой, ибо я хочу, чтобы моя подруга могла безъ смущенія смотреть въ глаза всѣмъ женщинамъ. Если и ты повторишь мнѣ свое «да», мы тотчасъ поѣдемъ съ тобою въ мой родной Лозгеймъ, и я увѣренъ, что мои родители не откажутъ намъ въ благословеніи,—иначе же мы обойдемся безъ него, ибо я давно уже собственными силами пробиваю себѣ путь въ дебряхъ жизни. И, какъ мужъ и жена, мы поплывемъ въ Новый Свѣтъ, чтобы тамъ осуществить тѣ годы свѣта и блаженства, о которыхъ пророчишь ты.

Къ моему удивленію, это мое предложеніе, которое и понынѣ представляется мнѣ естественнымъ и разумнымъ, произвело на Ренату самое дурное впечатлѣніе и сразу на ея лицо какъ бы упала тѣнь отъ какого-то мимовѣющаго крыла. Замѣчу кстати,

что эта тѣнь почти всегда омрачала ея обликъ, когда заговаривалъ я о своихъ родителяхъ и о своемъ домѣ; сама же она никогда, ни даже въ минуты предѣльной близости двухъ страстно соединенныхъ, не говорила мнѣ ничего о своемъ отцѣ и матери или о своей родинѣ. Теперь же, нахмуривъ брови, она мнѣ отвѣтила такъ:

— Милый Рупрехтъ, я тебѣ обѣщала быть женой, если ты убьешь Генриха. Этого не случилось, можетъ быть, по моей винѣ, но я клятвой не связана. Такъ погодимъ говорить о будущемъ. Неужели ты не можешь принять счастье безо всякой посторонней мысли, взять его, какъ берутъ стаканъ вина, и выпить до дна? Когда необходимымъ станетъ заботиться о жизни, мы и будемъ заботиться, и, вѣрь мнѣ, ты найдешь во мнѣ помощницу мужественную. Теперь же я отдаю тебѣ всю мою любовь, и отъ тебя прошу только одного: пусть будутъ твои руки достаточно сильны, чтобы принять ее полностью!

Произнеся эту неожиданную и несправедливую отвѣдь, Рената приникла ко мнѣ съ нѣжностью и постаралась увлечь меня въ садъ ласкъ, но, конечно, она не разсѣяла тѣмъ моихъ сомнѣній, и, какъ это ни странно, тотъ разговоръ оказался явнымъ переломомъ въ ходѣ событий и тотъ день должно признать послѣднимъ днемъ нашего медоваго мѣсяца. Неудачу моего предложенія не могъ я не приписать какимъ-то тайнымъ причинамъ и страстное мое чувство къ Ренатѣ сразу потускнѣло, а на днѣ души стало собираться неопредѣленное недовольство, капля по каплѣ, словно новая колонна въ сталактитовой пещерѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, словно мыши изъ шапки фокусника, стали тогда, неожиданно, разбѣгаться по нашей жизни всякія недоразумѣнія, подъ часъ нелѣпыя и насъ недостойныя.

Тогда подошли праздники Святого Рождества Христова, и Рената, съ обычной прихотливостью своихъ рѣшеній, захотѣла непременно провести ихъ весело и людно. Ей понадобились вдругъ знакомства, зрѣлища и разныя пѣсни, и я, вспоминая, съ какимъ вниманіемъ вникала, бывало, Рената въ латинскіе тексты, только недоумѣвалъ, видя, съ какой дѣтской наивностью стала она предаваться разнымъ уличнымъ удовольствіямъ.



Прежде всего, конечно, должны мы были посѣтить всѣ церковныя службы. Всю ночь подъ день Рождества въ церкви св. Цециліи любовались мы изображеніемъ святыхъ яслей, съ колѣнопреклоненными подлѣ царями, такъ живо напомнившимъ мнѣ дни дѣтства; не пропустили обѣдни въ день Іоанна Евангелиста, и въ день сорока тысячъ младенцевъ, и въ день обрѣзанія Господня; ходили по городу со всѣми церковными процессіями. Затѣмъ понравилось Ренатѣ принимать въ нашихъ комнатахъ дѣтей, приходившихъ славить Христа со сдѣланнымъ изъ дощечекъ вертепомъ, слушать ихъ пѣніе, говорить съ ними и угощать ихъ. Далѣе водила меня Рената по всѣмъ балаганамъ, настроеннымъ вдоль по набережнымъ и на рынкѣ, въ которыхъ показывались разныя диковинки, и только смѣялась, когда я напоминалъ ей ея прежнія слова о несносности уличной толпы. И мы проводили цѣлые часы среди пьяныхъ и грубыхъ мужиковъ, наблюдая игроковъ на бандурахъ и волынкахъ, акробатовъ, ходившихъ на головѣ, фокусниковъ, достававшихъ живую змѣю изъ своей ноздри, шпагоглотателей и людей, пускавшихъ фонтаны изо рта, женщинъ съ бородами, ихневмоновъ, носороговъ, дромадеровъ, и всякія рѣдкости, за которыя проѣзжіе люди умѣютъ собирать съ горожанъ ихъ трудовые гроши.

Наконецъ, неожиданно для меня появились въ нашемъ домѣ двѣ женщины, повидимому, изъ бюргерской семьи, которыхъ Рената назвала Катариной и Маргаритой и которыхъ мнѣ представила, какъ нашихъ сосѣдокъ и своихъ давнихъ знакомыхъ. Женщины показались мнѣ тупыми и неинтересными, и я никакъ не могъ понять, зачѣмъ нужны онѣ среди насъ, послѣ того, какъ мы такъ радовались, что вновь обрѣли наше одиночество. Проведя съ двумя посѣтительницами очень скучный часъ въ разговорѣ о сравнительныхъ достоинствахъ патеровъ разныхъ приходоу, я послѣ сталъ довольно горько выговаривать Ренатѣ за такое знакомство, и это послужило поводомъ къ нашей первой ссорѣ. Рената отвѣтила мнѣ съ неожиданной горячностью, что не могу же я требовать, чтобы она не видала никого на свѣтѣ, и спросила, неужели, приглашая ее съ собою въ Новый Свѣтъ, намѣренъ я тамъ заточить ее въ четырехъ

стѣнахъ. Я не побоялся указать Ренатѣ на всю неосновательность ея рѣчей, но она ничего не хотѣла слушать и, осыпавъ меня упреками, пригрозила тутъ же уйти изъ дому, какъ изъ тюрьмы.

Правда, обмѣнявшись, словно ударами шпаги, очень жестокими словами, мы черезъ нѣсколько минутъ оба увидѣли нелѣпость нашего спора и поспѣшили задуть огонь распри буйнымъ вѣтромъ клятвъ и признаній и залить его влагой поцѣлуевъ и ласкъ,— но подъ пепломъ остались живыя искры. Дня черезъ два послѣ этого происшествія Рената вдругъ объявила мнѣ, что въ послѣобѣденный часъ намѣрена итти къ нашей сосѣдкѣ и что меня также ждутъ на это собраніе. Я съ негодованіемъ отвѣтилъ, что не хочу сохранять вздорнаго знакомства; когда же Рената, несмотря на то, принарядилась и ушла изъ дому, я, какъ бы въ отместку ей, пошелъ къ Матвѣю, къ которому порывался давно,—и то было въ первый разъ послѣ моей болѣзни, что мы разлучились съ Ренатою.

Матвѣй встрѣтилъ меня ворчливо, но добродушно, а Агнесса, которая, по всему судя, была теперь освѣдомлена о существованіи въ моей жизни Ренаты, — робко и недовѣрчиво. Я постарался пробить этотъ ледъ, которымъ затянулось наше дружелюбие съ Агнессою, и долго занималъ ее разсказами о Новой Испаніи, которыми производилъ неизмѣнное впечатлѣніе на всѣхъ ново-знакомыхъ, еще разъ повѣствуя и о храмахъ майевъ, и о громадныхъ кактусахъ, и объ опасныхъ охотахъ на медвѣдей и унцѣ. Разстались мы снова друзьями, и когда, вернувшись домой, услышалъ я отъ Ренаты лукавые разсказы о какомъ-то юношѣ, сынѣ купца, проявлявшемъ къ ней особенное вниманіе въ домѣ сосѣдки, я поспѣшилъ съ своей стороны сообщить объ Агнессѣ, которая завлекла мое любопытство въ домѣ Матвѣя. Этотъ новый нашъ поединокъ, гдѣ клинки старались поразить ревность противника, кончился въ мою пользу, ибо Рената, сначала дѣлавшая видъ, что пренебрегаетъ моими признаніями, скоро перешла къ жалобнымъ упрекамъ, а потомъ не удержала и слезъ, такъ что я долженъ былъ, утѣшая ее, поклясться, что не чувствую никакого влеченія къ Агнессѣ, а она призналась мнѣ, что сынъ купца существуетъ только въ ея воображеніи.

Это не помѣшало, однако, чтобы черезъ немного дней Рената опять объявила мнѣ, что приняла какое-то приглашеніе сосѣдки, на что я отвѣтилъ новымъ посѣщеніемъ Матвѣя. А такъ какъ подобный турниръ имѣлъ и еще продолженія, то въ короткое время я, дѣйствительно, сдѣлался частымъ посѣтителемъ Виссмановъ и, оставляя Матвѣя его ученымъ книгамъ, сталъ проводить долгіе часы съ Агнессою. Мнѣ очень нравилось это созданіе, тихое и кроткое, дѣвушка, съ которой хорошо было говорить обо всемъ на свѣтѣ, ибо все для нея было ново и всему она вѣрила съ довѣрчивостью младенца. Въ собственной же ея головѣ бабушкины сказки были причудливо перемѣшаны съ университетской мудростью, которою сбивалъ ее съ толку братъ, и это приводило ее къ самымъ забавнымъ и несообразнымъ представленіямъ и соображеніямъ, которыми я любилъ тѣшить себя, какъ дѣти игрушками. Агнесса вполнѣ серьезно спрашивала меня, правда ли, что на лицѣ человѣка написано латинскими буквами *Homo Dei*, причемъ два глаза суть двѣ буквы О, носъ — буква М и т. под.; — что Иисусъ Христосъ былъ распятъ по самой срединѣ земли, ибо Іерусалимъ есть центръ міра, какъ сердце центръ тѣла; — что на землѣ ровно столько видовъ растеній, сколько звѣздъ на небѣ, ибо виды растеній возникаютъ отъ вліянія звѣзды на соединеніе стихій; — что изумрудъ присвоила себѣ Пресвятая Дѣва и что этотъ камень самъ собою разбивается въдребезги, если при немъ совершится любовный грѣхъ, — и многое въ этомъ родѣ.

Я, впрочемъ, долженъ тутъ же со всей опредѣленностью заявить, что въ моихъ отношеніяхъ съ Агнессою не было ничего похожаго на начало любви, хотя, конечно, близость милой и юной дѣвушки была мнѣ сладостна, какъ-то дополняя страстность и опытность Ренаты. Но долженъ я также сознаться, что въ глубинѣ души въ тѣ дни, дѣйствительно, не находилъ въ себѣ ни той безусловной преданности, которая прежде отдавала меня безъ меча и безъ кольчуги въ руки Ренаты, ни той опьянительной страстности, которая держала меня въ своихъ цѣпяхъ изъ розъ въ дни нашего сближенія послѣ моей болѣзни. Наступило естественное паденіе той волны чувствъ, которая наросла долгіе

мѣсяцы, вознесла до послѣдней высоты свой гребень въ наши медовые дни и разсыпалась безсильной пѣной. Моя страсть, потопомъ блаженства затопившая меня на двѣ недѣли, какъ бы отливомъ отхлынула потомъ отъ береговъ души, обнаживъ ея дно и оставивъ на пескѣ морскія звѣзды, ракушки и водоросли.

Я, если не сознаниемъ, то чутьемъ, зналъ, что наступить часъ и новаго прилива, и потому продолжалъ повторять Ренатѣ прежнія слова о любви и клясться, что вѣренъ ей, какъ бывало. Не разъ возобновлялъ я и просьбу — дать согласіе на нашъ бракъ и покинуть городъ Кельнъ, гдѣ мы пережили слишкомъ много и гдѣ трудно намъ обновить жизнь. Но отъ зоркости Ренаты не могла укрыться переменѣ, произошедшая во мнѣ. Съ горечью спрашивала меня Рената, не потому ли я охладѣлъ къ ней, что она призналась въ своей страсти ко мнѣ и дала мнѣ доказательства ея пыла. На мою же просьбу отвѣчала мнѣ, что слишкомъ меня любить теперь и ни за что не хочетъ увидѣть равнодушнымъ и скучающимъ то лицо, на которомъ привыкла читать мученіе за себя и счастье черезъ себя.

Въ эту пору обмелѣвшей любви, мы съ Ренатою то цѣлыми днями не видали другъ друга, то опять бросались одинъ на другого въ порывѣ вспыхнувшего желанія, то падали въ провалы вражды и злобы. Въ часы ссоръ Рената иногда доходила до крайняго изступленія, то попрекала меня такимъ, о чемъ можетъ быть лучше было не вспоминать, то угрожала, что ночью перерѣжетъ мнѣ горло или подстережетъ на улицѣ и убьетъ Агнессу, то опять исходила слезами, падала на полъ и предавалась обо мнѣ такому же отчаянью, какъ когда-то о графѣ Генрихѣ. Напротивъ, въ дни примиренія воскресали всѣ восторги двухъ счастливыхъ любовниковъ: мы были вновь какъ Клеопатра и Антоній въ своемъ Египтѣ или какъ Тристанъ и прекрасная Изольда въ своей пещерѣ, и недавнія распри казались намъ смѣшными недоразумѣніями, какими-то продѣлками злобныхъ домовыхъ, тѣхъ, кого сама Рената назвала «маленькіе».

Нѣтъ спора, что эти постоянныя смѣны радости и томительности утомляли меня больше, чѣмъ прежнія мученія отвергаемой любви, и что моя тоска по жизни мирной и трудовой

все возрастала, какъ медленно надвигающаяся буря. Но мы долго еще могли ждать первыхъ молній, потому что Рената все же сохраняла владычество надъ моей душой, которая послѣ недолгаго отлученія вновь тянулась къ ней, къ ея взгляду и ея поцѣлю, какъ подъ землю корень ко влагѣ. Однако, въ существѣ самой Ренаты было что-то, не допускавшее медленнаго хода событій, и, увлеченная новымъ, внутреннимъ переворотомъ на новый путь мыслей и чувствованій, она вдругъ повернула и всю нашу жизнь на другой галсъ.

Валерій Брюсовъ.



## ИЗЪ ЛИТЕРАТУРНОЙ КОПИЛКИ.

Лермонтовское четверостишіе:

Если бъ мы не дѣти были,  
Если бъ слѣпо не любили,  
Не встрѣчались, не прощались,—  
Мы съ страданьемъ бы не знались.

представляетъ собою переводъ эпиграфа изъ Барнса къ А б и д о с-  
ской Невѣстѣ Байрона:

Had we never loved so kindly,  
Had we never loved so blindly,  
Never met or never parted,<  
We had ne'er been broken-hearted.

Первая строка послужила Лермонтову какъ бы заглавіемъ. Такимъ образомъ, въ подлинникѣ о дѣтяхъ нѣтъ ни слова, да уже одно выраженіе „broken-hearted“ показываетъ съ полною очевидностью, что стихи эти къ дѣтямъ относиться отнюдь не могутъ. Неужели Лермонтовъ смѣшалъ англійское „kind“ съ нѣмецкимъ „Kind“? Какъ ни мало вѣроятно это, другого разумнаго объясненія нѣтъ.

\*

„Ложь во спасеніе.“

Большинство увѣрено, что это—текстъ Писанія, а меньшинство съ негодованіемъ заявляетъ, что такого текста нѣтъ и быть не можетъ. Несомнѣнно, однако, что это — плохо понятый полустихъ псалма (XXXII, 17) „ложь конь во спасеніе“, т.-е. „ненадеженъ конь для спасенія“. Примѣръ такого своеобразнаго пониманія славянскаго текста во всякомъ случаѣ не единиченъ. Гиляровъ-Платоновъ въ своихъ воспоминаніяхъ (Изъ прожитаго, глава XVI, въ Русскомъ Вѣстникѣ за іюль 1884, стр. 291) рассказываетъ, что его отцу случилось видѣть изображеніе царя Давида, съ

глазами на несовѣмъ обычномъ мѣстѣ, именно на простертой рукѣ; иконописецъ руководился текстомъ „очи мои выну ко Господу“ (Пс. XXIV, 15), причемъ „выну“, т.-е. „всегда“, принявъ за будущее время отъ глагола „вынимать“.

✱

„Листы“ и „листья“.

Употребленіе первой формы для обозначенія листы признается неправильнымъ и ставится издателями „на видъ“ Пушкину и Лермонтову. Такъ ли это? Я позволяю себѣ думать, что выборъ той или другой формы зависитъ не отъ природы „листовъ“ и „листьевъ“, а отъ способа воспріятія ихъ совокупности. Если каждый листъ мыслится раздѣльно, нужно говорить „листы“, хотя бы рѣчь шла и о растеніяхъ; если же ощущается слитное единство, возможное, конечно, только въ случаѣ древесной листы, слѣдуетъ употреблять собирательную форму „листья“. Дивному лермонтовскому стиху „не дрожать листы“ эта, якобы, неправильная форма и придаетъ особую выразительность: не дрогнетъ ни единый листъ, не говоря уже объ общемъ покоѣ листы, который, во всякомъ случаѣ, допускаетъ случайное колыханіе того или другого листа, какъ это подразумѣвалось бы при формѣ „листья“. То же самое и съ формами „деревъ“ и „деревья“: „деревья“ это — слитное единство аллеи, сада, парка, роши, лѣса; срубленные и тѣмъ самымъ какъ бы разъединенныя и обособленные, „деревья“ становятся „деревьями“. Въ лѣсу — много „деревьевъ“; на возу — много „деревъ“.

Законность такого разграниченія двухъ формъ подтверждается еще однимъ характернымъ примѣромъ, гдѣ никакое другое толкованіе недопустимо. Для слова „цвѣтокъ“ обычною формою множественнаго числа будетъ „цвѣты“, но нельзя сказать „пять цвѣтовъ“, если рѣчь идетъ о растеніяхъ; мы непременно должны сказать „пять цвѣтковъ“, т.-е. воспользоваться формою „цвѣтки“, такъ какъ при счетѣ каждый цвѣтокъ мыслится отдѣльно, и слитная форма „цвѣты“ недопустима \*. Другую аналогію находимъ въ нѣмецкомъ языкѣ. „Wort“ имѣетъ двѣ формы множественнаго числа: „Wörter“ (французское mots), отдѣльныя слова безъ логической связи, и „Worte“ (французское paroles), слова, органически связанные од-

\* Предвижу и заранѣе устраняю возраженіе, что форма „цвѣтковъ“ усвоена съ цѣлью различить „цвѣты“ и „цвѣта“: при слитномъ количествѣ („мало“, „много“ и т. п.) мы говоримъ „цвѣтовъ“ и про растенія, и про краски; слѣдовательно, только раздѣльность количества обуславливаетъ выборъ формы „цвѣтковъ“ при числительныхъ.

нимъ общимъ смысломъ ихъ сочетанія. (Сравните еще формы „ciels“ и „cieux“ у французовъ).

\*

Многочисленные попытки писателей усвоить родному языку тотъ или другой иноязычный оборотъ показываютъ, что мы имѣемъ дѣло не съ простою погрѣшностью стиля. Мнѣ кажется, что всѣ такіе случаи заслуживаютъ изученія, такъ какъ степень адекватности формъ языка процессу мышленія — вопросъ далеко не праздный. Возьмемъ для примѣра характерное французское восклицаніе *mais quoi!* Въ раннихъ произведеніяхъ Пушкина мы встрѣчаемся съ дословною передачею его по-русски: *но что!* (1814: Къ другу стихотворцу, 23-й стихъ; Пирующіе студенты, 12-й стихъ съ конца; Къ Батюшкову, 12-й стихъ съ конца; Къ Н. Г. Ломоносову, 18-й стихъ; 1815: Къ Юдину, 14-й стихъ съ конца; 1816: Посланіе къ князю А. М. Горчакову, 6-й стихъ съ конца; 1817: Къ Жуковскому, 29-й стихъ). Но уже въ 1821 году, въ стихотвореніи Н. С. Алексѣеву, поэтъ предпочелъ: *и что жъ?* тамъ, гдѣ по смыслу требовалось именно *mais quoi?* Пушкинъ ставитъ вопросъ о причинахъ своей разочарованности, но воздерживается отъ отвѣта изъ опасенія смутить своего друга: такая смѣна настроеній какъ разъ и выражается чрезъ *mais quoi!* (Объ употребленіи Пушкинымъ и что же? въ подлинномъ русскомъ смыслѣ противоположенія распространяться, конечно, нечего; оно восходитъ къ 1814-му году, напримѣръ, въ стихотвореніи „Аристъ намъ обѣщалъ трагедію такую“ и можетъ быть прослѣжено до конца).

Жуковский на ряду съ „но что!“ (1814: Библія, дважды; Къ Боейкову) пользовался и формою „но что жъ!“ (1813: Къ Ив. Ив. Дмитріеву; 1814: Къ Арфѣ); это послѣднее выраженіе встрѣчаемъ мы и у Тютчева (Посланіе къ А. В. Шереметеву), и у Лермонтова во многихъ мѣстахъ (Бухариной, 1831 года іюня 11 (23), Морякъ, Литвинка (24), Второй очеркъ „Демона“ (3 и 9), Третій очеркъ „Демона“, 24-й стихъ, „Демонъ“ X и пр.). Но и до сихъ поръ нельзя признать этотъ оборотъ вполне усвоеннымъ нами. Въ заключеніе отмѣтимъ да что! въ лермонтовскомъ *Завѣщаніи* (1840): по смыслу оно ближе къ *mais quoi!*, но стихотвореніе, какъ извѣстно, писано разговорнымъ языкомъ и по формѣ это выраженіе находится за чертою академическаго стиля.

\*

Мы всѣ привыкли относить гамлетовское „вотъ въ чемъ вопросъ“ къ „быть или не быть?“ И, однако же, въ подлинникѣ за „That is the



question“ слѣдуетъ „Whether 'tis nobler...“, а англійское whether, подобно нѣмецкому a b и французскому вопросительному si (въ отличіе отъ русскаго ли), никогда не употребляется въ прямомъ вопросѣ и служитъ неоспоримую примѣтою вопроса косвеннаго. Слѣдовательно, связь „the question“ съ послѣдующимъ несомнѣнна, и мы должны читать:

Жить иль не жить? Еще вопросъ,  
Достойнѣй ли...

Замѣчу, что кромѣ „whether“, и самое „that“, которое едва ли можетъ относиться къ только что сказанному, подтверждаетъ такое чтеніе. Въ новѣйшихъ популярныхъ изданіяхъ Шекспира послѣ „the question“ ставится двоеточіе: это, такъ сказать, компромиссъ между традиціонной точкой и еретическою запятой.

\*

Слово „мечта“ представляетъ рѣдкую для живого языка особенность: родительный падежъ множественнаго числа долженъ быть признанъ несуществующимъ. Намъ удалось встрѣтить „мечть“ единственный разъ у Державина (Безсмертіе души, 1797):

Не всѣ ли виды намъ природы  
Лишь бывшихъ мечть явятся сонмъ?

\*

Тютчевское „О, вѣщая душа моя!“ есть, конечно, безсознательное Reminiscenz изъ „Гамлета“: „O, my prophetic soul!“

Викторъ Подтавцевъ.



## РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

### БИБЛЮГРАФІЯ.

**Ивановъ-Разумникъ.** Исторія русской общественной мысли. Индивидуализмъ и мѣщанство въ русской литературѣ и жизни XIX в. Изданіе II. Спб. 1907.

Есть книги, появленіе которыхъ служить факторомъ въ жизни идей, или вносящимъ собой что-либо новое въ ихъ живую сокровищницу или приводящимъ ихъ въ новое сочетаніе. Въ такихъ книгахъ насъ интересуетъ всего болѣе самое содержаніе ихъ. Но есть книги, появленіе которыхъ приходится отмѣчать исключительно потому, что онѣ служатъ простымъ отраженіемъ уже ранѣе появившихся и приведенныхъ въ движеніе факторовъ, служатъ симптомами идейныхъ кризисовъ и движеній.

Къ такому именно виду книгъ и относится лежащая передъ нами „Исторія русской общественной мысли“ г. Иванова-Разумника.

Заполняющая собой два обширныхъ тома (около 500 стр. каждый) и выходящая уже 2-ымъ изданіемъ эта обстоятельная, систематическая и содержащая въ себѣ огромное количество интересныхъ данныхъ работа не представляетъ, однако, собой ничего иного, какъ довольно жалкую и неосуществимую по существу попытку связать въ одно стройное цѣлое идейную жизнь и творческое развитіе отдѣльных личностей съ тѣми или иными проявленіями ихъ вліянія въ общественной средѣ. Задача автора, говоря избитыми отъ употребленія, условными терминами нашего недавно торжествовавшаго реализма, — связать воедино „литературу“ и „жизнь“.

Мы говорили уже не разъ на страницахъ „Вѣсовъ“ о негодности

и неточности усвоенного нашими старозавѣтными критиками термина „литература“; не будемъ также распространяться и о томъ, что слово „жизнь“ не можетъ претендовать даже и на значеніе термина или просто точнаго понятія. Оно, въ примѣненіи къ сложной и трудной проблемѣ о роли индивидуальнаго сознанія въ процессѣ художественнаго творчества, вообще не выражаетъ ровно ничего и повертывается авторомъ (въ данномъ, частномъ случаѣ), смотря по надобности, какъ угодно. То „жизнь“ обозначаетъ у него—культурный ростъ общества, то политическій прогрессъ, то развитіе данной общественной группы, то просто выходъ новой газеты.

Признавать взаимодействіе личности и среды (кто же теперь станетъ отрицать послѣднее?) еще ровно ничего не означаетъ.\* Выводить всецѣло личность изъ среды невозможно, особенно изучая русскую литературу, знаящую не мало „каменныхъ преткновеній“, съ этой точки зрѣнія (расцвѣтъ поэзіи Пушкина и всей его школы на почвѣ экономическаго и политическаго рабства страны, появленіе новой, символической школы, чуждой всякаго реализма, въ періодъ, непосредственно предшествующій политической революціи). Объяснить общественныя явленія изъ свободной игры „критически-мыслящихъ“ личностей теперь послѣ кризиса всѣхъ социальныхъ утопій—чудовищно!

Что же дѣлаетъ г. Ивановъ-Разумникъ?

Онъ смѣшиваетъ всѣ эти три метода, изъ которыхъ каждый несостоятеленъ въ отдѣльности, въ еще болѣе несостоятельный хаосъ, не высказывая нигдѣ опредѣленной, оригинальной точки зрѣнія, не очерчивая точно границы изслѣдованія и методовъ изученія, не огораживая широкихъ, употребляемыхъ ими терминовъ.

Поэтому вся его книга—сплошная путаница понятій и нагроможденіе фактовъ.

Такъ и бываетъ обыкновенно въ книгахъ, говорящихъ вообще о „литературѣ“ и „жизни“, „интеллигенціи“ (?) и „народѣ“ вообще, о „мѣщанствѣ“ или даже „хулиганствѣ“. Такія книги и подобные имъ журналы теперь уже—область исторіи!

Критеріемъ культурности данной книги является степень дифференціаціи основныхъ идей и терминовъ.

Такъ называемая „русская интеллигенція“ (я не понимаю этого слова!) \* долгое время внѣшними условіями принуждена была смѣ-

\* Особенно странно было для насъ противопоставленіе этого излюбленнаго авторомъ слова ироническаго (?) употребляемому имъ слову „культурное общество“, которое авторъ уподобляетъ партіи 17 октября (стр. 507). Мы, напротивъ, считаемъ терминъ „культурный“ общепринятымъ и точнымъ понятіемъ!

шивать политику съ философiей, эстетикой и наукой. Теперь надобность къ тому уже не такъ настоятельна. Съ каждымъ днемъ теряютъ почву всѣ прежнiе, специфически-интеллигентскiе термины и словечки. Россiя европеизуется во всѣхъ отношенiяхъ. Мы уже видимъ организацiю серьезныхъ политическихъ партiй; мы все болѣе и болѣе знакомимся съ западной „литературой“ и философiей. Къ чему же намъ передѣлывать все на свой ладъ, ставя рядомъ слова „индивидуализмъ“ и варварское, пахнущее улицей, словечко „анти-мѣщанство“?

Въ результатѣ получается, что заслуга Ницше не въ томъ, что онъ создалъ „вторую библiю человечеству“, а въ томъ, что онъ содѣйствовалъ подъему „анти-мѣщанскихъ чувствъ“ въ данной небольшой части русской „интеллигенци“ за такое-то пятилѣтiе „русской общественной жизни“. Избави Боже отъ подобнаго признанiя Ницше!.. Оно позорнѣе всѣхъ бичей, всѣхъ костровъ и распятiй!..

Значенiе Лермонтова съ этой точки зрѣнiя, не выходящей изъ интересовъ даннаго двора, въ томъ, что „Лермонтовъ отъ признанiя мѣщанства (?) жизни самой по себѣ пришелъ къ рѣзкому индивидуализму: разными путями (съ Пушкинымъ) они сошлись на ненависти къ мѣщанству и на провозглашенiи принципа эстетическаго и социологическаго индивидуализма“ (???)... Это кажется сказаннымъ просто на смѣхъ!..

Оставляя безъ вниманiя 3/ю всей работы г. Разумника, которая вся переполнена подобными перлами вкуса и стиля и которая является скучнѣйшимъ пересказомъ въ сотый разъ того, какъ спорилъ кружокъ Станкевича съ кружкомъ Веневитинова, сколько различныхъ индивидуализмовъ (философскiй, социологическiй (?), этическiй, эстетическiй) начерталъ Бѣлинскiй на знамени русской интеллигенци, и возможенъ ли для Россiи, не въ примѣръ прочимъ культурнымъ странамъ, „скачокъ черезъ капиталистическiй періодъ развитiя“ прямо въ социалистическiй,—мы остановимся лишь на послѣдней, заключительной главѣ всей книги.

Она показываетъ намъ симптомомъ чего является вся книга. Эта глава, озаглавленная „Въ преддверiи ХХ вѣка“, трактуетъ о „декадентствѣ“.

Казалось бы, какъ долженъ напасть сторонникъ слiянiя „жизни“ и „литературы“ на „декадентство“! Оказывается, отнюдь нѣтъ. И это весьма знаменательно!

Пусть авторъ понятiя не имѣетъ о „декадентствѣ“ во всѣхъ его видахъ, находя его у Жуковскаго и Державина, соединяя въ одну группу-триаду Мережковскаго, Бальмонта и Розанова, утверждая, что „русскiе романтики тѣсно связаны съ Чеховымъ, Достоевскимъ,

Гоголемъ и Лермонтовымъ“, что вѣрно лишь постольку, поскольку, напримѣръ, всѣ русскіе пишутъ по-русски, пусть авторъ дѣлаетъ прямо-таки невѣроятные промахи, не упоминная во всей 9 главѣ ни однимъ словомъ имени Вал. Брюсова, болѣе всѣхъ принесшаго на алтарь новаго, невѣдомаго Бога, и А. Бѣлаго, къ которому всего болѣе примѣнимо слово „романтикъ“,—все же мы видимъ даже у типично-интеллигентскаго писателя желаніе такъ или иначе подойти къ новому теченію русской поэзіи, которое еще столь недавно вызывало лишь брюзжаніе и невѣжественные вопли со стороны всѣхъ, имѣвшихъ отъ роду за 30 лѣтъ.

Это желаніе и есть симптомъ, отрадный и новый, о которомъ я упомянулъ въ началѣ моей замѣтки.

Эляисъ.

Сергѣевъ-Ценскій. Разсказы. Т. II. Изд. „Шиповникъ“. 1908. Ц. 1 р.

Если бы не было на свѣтѣ Леонида Андреева, какъ писателя съ опредѣленнымъ наклономъ мысли, углубленно-трагическимъ міросозерцаніемъ и исключительно-оригинальной манерой художественнаго письма, можетъ быть, Сергѣевъ-Ценскій имѣлъ бы право на половину того успѣха, которымъ онъ начинаетъ пользоваться въ кругахъ читающей публики. Не подлежитъ сомнѣнію, что всякое, не слишкомъ яркое дарованіе часто подпадаетъ подъ чье-нибудь сильное вліяніе. Но быть подъ вліяніемъ,—это еще не значитъ заимствовать, пользоваться чужими приѣмами, стилемъ и даже кругомъ мыслей излюбленнаго писателя. Творчество Сергѣева-Ценскаго все почерпнуто изъ Андреева; въ этомъ творчествѣ мы всегда видимъ знакомое лицо, хотя и искаженное, точно въ нелѣпомъ зеркальномъ шарѣ, что ставятъ еще иногда въ жидкихъ дачныхъ садахъ. Вмѣсто лица—злая каррикатура, а все же узнаешь и не принимаешь за другого.

Но если Андреевъ магической силой своего таланта затрагиваетъ самыя темныя и тайныя струны человѣческой души, заставляя ихъ пѣть свои страшныя пѣсни, то Сергѣевъ-Ценскій только бросается въ поиски новыхъ тайнъ по дорогѣ, намѣченной Андреевымъ, и придумываетъ небывалыя словесныя сочетанія для передачи своихъ туманныхъ настроеній. Руководясь при этомъ очень несложной психологіей, стоящей ниже философской мысли своей эпохи, онъ даетъ крайне несовершенные выводы ума въ тѣхъ или иныхъ художественныхъ образахъ.

Настоящія бездны души показываетъ намъ Андреевъ, и трагизмъ его міросозерцанія мрачнымъ пламенемъ горитъ въ каждомъ разсказѣ. Но если у Андреева—„бездна“, то у Сергѣева-Ценскаго—неглубокій оврагъ, театрално задрапированный чернымъ, а на краю

его стоитъ поручикъ Бабаевъ—маленькій ницшеанецъ съ военно-демоническими склонностями—и лихо позвякиваетъ шпорами. Весна! Какой вадорь! Никакой весны нѣтъ. Просто „гніющая ночь“, и докторъ мирно возвращающійся съ нимъ изъ ресторана,—мертвецъ, и ледъ ломается на лужахъ „словно кто-то жуется кости“. И міръ—мертвецкая, гдѣ все—трупы и „трупики“. И женщина, къ которой ночью придти поручикъ,—тоже трупъ. Уморивъ весь міръ безъ достаточныхъ для этого оснований, Бабаевъ идетъ въ казарму и говоритъ дежурному капитану Тіанову: „Да вы знаете, что все, все, поймите!.. одна сплошная мертвецкая“. А искусство, наука, религія и душа человѣческая? Все, о чемъ забыть, напившись пива, поручикъ Бабаевъ,—это тоже трупы и „трупики“. „Трупики“, — отвѣтитъ поручикъ Бабаевъ—и ловко шелкнетъ шпорами.

„Андреевъ всегда разсказывалъ ужасы,—навѣрно, думаетъ Сергѣевъ-Ценскій,—попробую-ка и я“. И любовно изготавляетъ „ужасики“ подъ специфическимъ соусомъ русской казармы. Нѣтъ никакого откровенія, никакого оригинальнаго излома мысли, никакихъ психологическихъ открытій въ тѣхъ случаяхъ съ поручикомъ Бабаевымъ, которымъ посвящена книга. И какими новомодными словесными ухищреніями ни украшаетъ Сергѣевъ-Ценскій образъ своего героя, какъ ни старается углубить психологическій анализъ,—передъ нами все же ничто иное, какъ картинки военного быта на сумрачномъ фонѣ современной общественности. Не новъ и не нитересенъ поручикъ Бабаевъ. Онъ, правда,—„демоническая натура“, и ему нипочемъ ночью во время погрома убить сумасшедшаго еврея, или съ удовольствіемъ „на усмиреніи“ пороть мужиковъ и бабъ, или предательски подстрѣлить во время игры въ „кукушку“ глупаго капитана Селенгинскаго, но мотивы его „дерзаній“ не таинственны и не трагичны. Они просто необъяснимы или очень ясны, какъ всѣ поступки человѣка съ клинически нарушеннымъ психическимъ равновѣсіемъ. А больше того, что поручикъ Бабаевъ нервно разстроенъ, Сергѣевъ-Ценскій сказать не сумѣлъ и моста надъ „бездной“ не перекинулъ.

Что касается стили и всѣхъ внѣшнихъ приемовъ письма, то ихъ заимствуетъ Сергѣевъ-Ценскій у Андреева съ крайней беззаастѣнчивостью. Тѣ же обороты рѣчи, то же стремленіе къ нѣсколько тяжелой музыкальности въ сочетаніи фразъ, тѣ же способы импрессионизма въ художественномъ изображеніи, но—увы!—безъ Андреевскаго таланта. Сергѣевъ-Ценскій сладострастно предается какой-то словесной вакханаліи. О правдоподобности поэтическихъ образовъ не можетъ быть и рѣчи... Туча, по описанію его, похожа на „колесо изъ смѣха, замахнувшее надъ землей“; у „офиціанта“ щеки сползли и вотъ начинаютъ капать“; „слова ляскаютъ по сырому

воздуху, какъ ноги по грязи"; „синь (небесная) ласково-жмуро (?) брезжилась, с'б'ялась"; собака Нарцисъ—„черный комокъ безпокойныхъ нервовъ" и т. д. и т. д. Лучшей иллюстраціей къ „свободному импрессионизму" Сергѣева-Ценскаго служить рассказъ „Безстѣнное". О чемъ тамъ идетъ рѣчь, не понять и мудрецу. Тамъ слова: „красныя, желтыя, синія или ровно и ярко-зеленыя какъ озимь послѣ дождя". „Они (слова) сплетались—падали. Были безъ оболочекъ: только что-то внутри словъ прорывалось и било фонтаномъ". Тамъ есть выраженіе вродѣ: „стаканы дней", „мятель изъ глазъ" или: „зеленыя обомшенныя старухи". Такого еще не придумали самые ярые декаденты. Подобными эпитетами можно наполнить сотни страницъ и остаться вдали отъ искусства, потому что между художественной рѣчью и пьянымъ словеснымъ угаромъ нѣтъ ничего общаго.

Н. О с т а н и н ъ.

**В. Муйжель.** Р а з с к а з ы Т. I. Изд. „Шиповникъ". 1907 г. Спб. Ц. 1 руб.

Муйжель бытописецъ, писатель всегда опредѣленнаго и излюбленнаго мотива. Но тяжелые пласты бытового матеріала, изъ котораго онъ пытается создать большую многообразную драму мужицкой жизни, не претворяются въ элементы чистаго искусства въ его глубоко антихудожественной душѣ, словно славленной рамками партійной программы. Хозяйственно-земельный вопросъ, экономическое устройство крестьянской жизни, голодъ, мракъ, моральная тупость,—вотъ схема всѣхъ его рассказовъ,—старый крѣпко-костный скелетъ тенденціозно-народнической литературы. И этотъ скелетъ, передающійся по наслѣдству изъ поколѣнія въ поколѣніе, г. Муйжель наскоро и небрежно облекаетъ во взятые словно напрокатъ и откуда попало довольно поношенные беллетристическіе шаблоны. Рассказы Муйжеля относятся къ довольно извѣстному роду литературы „Русскаго Богатства", гдѣ тенденціозность замысла и точно выполненная партійная программа ставятся выше такъ называемаго „буржуазнаго искусства", которое смѣетъ преслѣдовать свои оторванныя отъ реальной жизни цѣли „въ то время когда..." и т. д. Но почтенный журналъ и его правовѣрные сотрудники забываютъ, что искусство не въ готовыхъ социальныхъ схемахъ, разрѣшающихся при помощи упрощенныхъ формулъ натурализма и что литературныя произведенія должны имѣть глубокую психологическую и художественную разработку внѣ какихъ бы то ни было наивныхъ идеаловъ прошлаго. Этого не знаетъ Муйжель такъ же, какъ и „Русское Богатство". И потому мужики его движутся, какъ картонныя маріонетки въ театрѣ стараго типа, за которыхъ плохо измѣненнымъ голосомъ вяло

и безжизненно рассказываетъ авторъ какія-то придуманно трагическія и никому не нужныя исторіи.

Даже самая строгая ограниченность предѣлами избраннаго быта не можетъ помѣшать свободѣ творчества истиннаго художника. Мы хорошо помнимъ „Мужиковъ“ Чехова не потому, что писатель рѣшалъ социальную проблему, а потому лишь, что въ основѣ этого разсказа лежитъ художественное воспріятіе жизни,—прочная кровная связь между писателемъ и изображаемымъ міромъ.—Мы знаемъ Толстого. Онъ трезвъ и ясенъ. Онъ не устремляется къ метафизическому небу, а неутомимо ходитъ около вопросовъ о человѣческомъ благѣ. Онъ говоритъ всегда о конкретномъ, а, между тѣмъ, сила его порыванія къ несущему Божему царству на землѣ такъ велика и свята, что каждая его вещь сіяетъ не по-земному. Муйжель же видитъ одни физиологическіе процессы крестьянской жизни въ ихъ узкомъ и слишкомъ реальномъ толкованіи—голодь, холодъ, боль, потому что кого-то били, кого-то взяли въ солдаты, стражникъ-казакъ изнасиловалъ дѣвушку и т. д. и т. д. Но вѣдь жизнь мужика, какъ всякая жизнь, не только въ преодолѣніи грубой силы и стихійныхъ бѣдъ. Это ея внѣшняя, можетъ быть, уже истлѣвающая скорлупа, а въ ней—загадочно-темная, дѣтская душа народа, полная тайны и неизвѣстныхъ органическихъ процессовъ, изъ которыхъ возникаетъ, можетъ быть, не вполне еще понятная, но новая и могучая творческая сила. Проникнуть въ эти темные истоки жизни еще первобытной, еще мистически и реально связанной съ землей, выявить ее путемъ чудеснаго поэтического постиженія и гармонически слить съ общимъ и сложнымъ аккордомъ человѣческаго бытія,—вотъ, что можетъ быть единственною цѣлью художника, специализировавшагося на изученіи мужицкаго быта. Тогда бытъ станетъ лишь вспомогательнымъ средствомъ, книгой для изученія сокрытаго, а не самодовлѣющимъ интересомъ и не публицистическимъ бичомъ для тѣхъ, кто не пріемлетъ социаль-демократической программы. Реализмъ Муйжеля мертвый, бездѣйственный; онъ никогда не проникается живымъ вѣяніемъ мига. Можетъ быть, писалъ онъ съ натуры, съ послѣдней утомительной точностью живописца старыхъ школъ, но чертъ истинныхъ, характерныхъ, созидających движеніе и жизнь не примѣтилъ, или не нашелъ для нихъ мѣстныхъ выражающихъ словъ. И потому—рассказываетъ ли онъ о молчаливо покорной мужицкой смерти („Мужичья смерть“), или о томъ, какъ казакъ подъ яблоней изнасиловалъ дѣвушку („Солдаты“), или о томъ, какъ Катерина (героиня разсказа „Бабы жизнь“) родила въ балкѣ среди поля мертваго ребенка,—рассказываетъ подробно, любовно нанизывая ужасы—все звучитъ убого. сѣро и мертво въ повторности сюжетовъ и использованныхъ словъ.

Нина Петровская.



Владимиръ Станюковичъ. Путевой альбомъ. 1907 г. Спб. Ц. 75 к.

Новая книга Станюковича—это рядъ безформенныхъ лирическихъ отрывковъ или очень несовершенныхъ по формѣ стихотвореній въ прозѣ. Мы помнимъ его „Пережитое“ (см. „Вѣсы“ № 10), прекрасную книгу о минувшей войнѣ,—интимныя страницы личныхъ переживаній на красочномъ фонѣ потрясающихъ историческихъ событій, гдѣ сложная тонкость внутреннихъ ощущеній органически сливалась съ повѣствованіемъ. Получалось осязательное впечатлѣніе чего-то цѣльнаго, законченнаго и имѣющаго плоть и духъ. Лиризмъ же „Путевого альбома“, даже при нѣкоторыхъ попыткахъ автора къ импрессионистическому изображенію дѣйствительности, кажется мертвенной риторикой, неглубокими разсужденіями по ничтожнымъ поводамъ при очень невыработанной манерѣ говорить. Если бы, пополняя строками листки своего „Альбома“, Станюковичъ не имѣлъ въ виду никакой литературной формы, то, быть можетъ, книгу его не нужно бы было принимать критически, какъ множество домашнихъ дневниковъ, замѣтокъ на листкахъ записной книжки или случайныхъ разсужденій „по поводу“, которые пишутся очень интимно и „для себя“. Но въ книгѣ, хотя слабо и безсильно, все же чувствуется стремленіе къ извѣстной формѣ. И думается, что именно стихотвореніями въ прозѣ, и никакъ иначе, должно назвать страницы „Путевого альбома“. Стихотвореніе въ прозѣ—это, можетъ быть, самая трудно удающаяся, а потому и неблагодарная литературная форма. Чтобы небольшое лирическое стихотвореніе въ прозѣ стало истиннымъ произведеніемъ искусства, въ немъ должны сочетаться самыя разнообразныя художественныя достоинства—музыкальность внутреннего ритма, сжатость и образность словъ, новизна и оригинальность поэтическихъ уподобленій и кристальная четкость основной мысли. Напряженность поэтической работы, малѣйшая приподнятость тона, шаблонность хотя одного эпитета,—и форма расплывается въ банально-крикливую риторикѣ, оторванную отъ всякихъ корней подлинно-художественнаго творчества. Въ „Путевомъ альбомѣ“ Станюковича есть искренность, но нѣтъ ни стили, ни поэтической чуткости, ни своеобразности мысли. Есть выраженія и эпитеты, которые уже должны разсматриваться, какъ преступленіе противъ искусства. Больше нельзя говорить: „Его волосы побѣлѣли отъ безнадежнаго мороза“, или о женщинѣ: „она знойная, страстная“ или „грустная пѣсни жизни“, „въ жилахъ волновалась молодая, чистая красная кровь“, „инструментъ подъ ея руками словно жаловался на жизнь“ и т. п. А эти клише разсыпаны въ книгѣ въ изобиліи.

Нина Петровская.

**Русская историческая бібліотека.** Государственныя преступленія въ Россіи въ XIX вѣкѣ. Сборникъ извлеченныхъ изъ официальныхъ изданій правительственныхъ сообщеній. Составленъ подъ редакціей Б. Базилевскаго (В. Богучарскаго). Спб. 1906—1907.

„Окончаніе XIX вѣка естественно повлекло за собою желаніе мыслящихъ людей подвести итоги всѣхъ событій, имѣвшихъ мѣсто въ этомъ вѣкѣ. Такіе итоги въ нашемъ отечествѣ подведены, къ сожалѣнію, относительно далеко не всѣхъ сторонъ жизни. Т. н. государственныя преступленія въ Россіи, совершенно независимо отъ того или иного субъективнаго къ нимъ отношенія, составляли безспорно весьма крупное явленіе русской жизни, и потому подведеніе имъ итоговъ, хотя бы въ скромной формѣ одного лишь собранія воедино всѣхъ опубликованныхъ русскимъ правительствомъ по этому поводу данныхъ, не можетъ не являться дѣломъ, отвѣчающимъ несомнѣнно назрѣвшей потребности времени. Съ этой цѣлью и принята настоящая работа.“

Таковы задачи, которыя поставилъ себѣ г. Богучарскій. Не будемъ говорить о томъ, что сводка „правительственныхъ сообщеній“, грубо окрашенныхъ особымъ административнымъ субъективизмомъ, безъ всякихъ оговорокъ и поясненій, врядъ ли достигаетъ цѣли, внося большой сумбуръ въ головы широкой публики, на которую, главнымъ образомъ, рассчитаны подобные сборники, и что „итоги“ въ концѣ концовъ получатся болѣе чѣмъ странные. Попробуемъ стать на точку зрѣнія составителя сборниковъ: даже въ настоящемъ своемъ видѣ они удовлетворяютъ „несомнѣнно назрѣвшей потребности времени“, такъ какъ „подводятъ итоги“ официальнымъ сообщеніямъ. Въ такомъ случаѣ единственнымъ требованіемъ можетъ быть полнота и точность воспроизведенія текстовъ. Но именно этому-то требованію всего меньше удовлетворяетъ „настоящая работа“ г. Богучарскаго. Если его сборникъ относительно полонъ (можно было бы указать и кое-какіе пробѣлы), то ни въ какомъ случаѣ его нельзя назвать, въ отношеніи текста, точнымъ.

Возьмемъ для примѣра отдѣлъ о декабристахъ и тайныхъ обществахъ въ Польшѣ. Главные официальные матеріалы этого отдѣла „Донесеніе Слѣдственной Коммиссіи“ и „Донесеніе Слѣдственного Комитета“, въ послѣднее время перепечатывались не разъ по оригиналамъ, въ общемъ недурно. Первое изъ нихъ до сихъ поръ легко найти въ антикварной продажѣ.

Г. Богучарскій предпочелъ взять его изъ „Русскаго Архива“ 1881 г., безъ указанія источника и съ сохраненіемъ всѣхъ его опечатокъ, подновленій и искаженій текста: стр. 18—вывозу члена вм. вызову, стр. 20—коснулся душъ вм. души, стр. 23—ниспроверженіе

вм. испроверженіе, стр. 34 — соединилси вм. присоединился и пр. и пр. Къ нимъ онъ прибавилъ много новыхъ: стр. 14 — свѣдѣнія открытыхъ вм. объ открытыхъ, стр. 17—основательное вм. неосновательное, стр. 24 — полкамъ вм. полякамъ, стр. 47 — Тизингаузенъ, Фоеъ вм. Тизенгаузенъ, Фохтъ и т. д. Онъ настолько былъ неостороженъ, что подъ однимъ изъ примѣчаній (чисто справочнаго характера и очень немногочисленныхъ) оставилъ, безъ всякихъ оговорокъ, предательскіе и таинственные инициалы „П. Б.“ (т.-е. Петръ Бартеневъ, редакторъ неназваннаго „Русскаго Архива“).

Второе „Донесеніе“ перепечатано не лучше. Мы пока не можемъ указать источника, но, судя по характеру опечатокъ и искаженій текста, оно тоже взято изъ вторыхъ рукъ и не было свѣрено съ оригиналомъ. Въ немъ искажена добрая половина фамилій и названий (напр., стр. 74 — Бѣлинахъ вм. Бѣланахъ, 75 — Завишу вм. Завиту, 76—Кульчинскій вм. Кульчицкій, 80—Карецкій вм. Карвицкій, 90 — Крыжновскій вм. Крыжановскій и пр. и пр.). То и дѣло мелькаютъ такіа „недоразумѣнія“ въ текстѣ: участникомъ вм. участниками (стр. 72), тайны крестьянъ вм. толпы (74), произвело вм. произвели (76), или вм. ими (78), есть вм. сей (78), не вм. все (83), даже вм. ниже (84), тогда вм. когда (85), оно вм. она (90), только вм. письмо (93) и пр. Если нѣкоторыя изъ нихъ могутъ быть объяснены небрежностью корректуры, врядъ ли извинительною, то за другими безусловно чувствуется испорченный, взятый изъ вторыхъ рукъ и совершенно непровѣренный текстъ.

И въ остальныхъ выпускахъ сборника та же небрежная, систематически-безграмотная корректура, такіа же ошибки и искаженія. Такъ отвѣтилъ г. Богучарскій „несомнѣнно назрѣвшей потребности времени“...

В. л. Каллашъ.

**Библіотека окулътныхъ наукъ.** Древняя высшая магія. Теорія и практическія формулы. (P. Piobb. Formulaire de haute magie). Перев. И. Антошевскаго подъ ред. И. Свешотна. Изд. И. Купріянова и А. Лантева. Спб. Ц. 80 к.

Книга принадлежитъ къ числу никому не нужныхъ. Для лицъ, знакомыхъ съ магіей, она бесполезна, такъ какъ сообщаетъ только самыя элементарныя свѣдѣнія. Для неофитовъ—она совершенно непонятна, потому что даетъ, почти безъ объясненій, голыя формулы и перечни именъ. Повидимому, составитель книги, г. Піоббъ, знакомъ съ предметомъ лишь поверхностно и просто выписалъ изъ классическихъ сочиненій (Петра Абанскаго и др.) или взялъ изъ вторыхъ рукъ нѣсколько мѣстъ, которыя ему показались особенно интересными. Вотъ примѣръ той случайности, съ какой авторъ собиралъ свой матеріалъ. Въ IV-ой книгѣ „De Occulta Philosophia“,

приписываемой Агриппѣ Неттесгеймскому, дана таблица простѣйшихъ „характеровъ“ (т.-е. знаковъ) свѣтлыхъ и темныхъ демоновъ. „Характеры“ расположены рядами, по три въ каждомъ, напр.: линия перпендикулярная, горизонтальная, косая; буква связанная (*inhaerens*), соединенная (*adhaerens*), обособленная (*separata*); скипетръ, мечъ, бичъ и т. под. Все это у г. Пюбба замѣнено двумя табличками, которымъ по-русски дано нелѣпое заглавіе: „Магическія изображенія (?) добрыхъ и злыхъ духовъ“ и гдѣ безъ всякой системы даны нѣкоторыя изъ этихъ знаковъ, вырванные изъ своего троичнаго расположенія. Такъ, въ таблицѣ „добрыхъ“ духовъ даны всѣ три формы буквъ—*inhaerens*, *adhaerens*, *separata*, но безо всякаго объясненія; а въ таблицѣ „злыхъ“ духовъ, изъ соответствующихъ трехъ формъ—*recta*, *retrograda*, *inversa*—даны почему-то лишь двѣ, но зато съ подписями, и т. д. При этомъ о „характерахъ“ демоновъ авторъ не говоритъ вовсе, и неопытному читателю должны показаться совершенно необъяснимыми знаки на талисманахъ, о которыхъ рѣчь идетъ въ концѣ книги.

Переводъ слабъ и обнаруживаетъ плохое знакомство переводчика съ предметомъ. Самое русское заглавіе книги—нелѣпо, потому что она трактуетъ не о „древней“ магіи.

Пентауръ.

Валерій Брюсовъ. Пути и Перепутья. Собраніе стиховъ. Томъ I. Стихи 1892—1901 г. Предисловіе 1907 г.—(Юношескія стихотворенія. | Это—я. | Третья стража. | Библиографія). Книгоиздательство „Скорпіонъ“. Стр. VIII + 216. М. 1908. Цѣна 2 р.; для подписчиковъ „Вѣсовъ“ 1 р. 70 к. съ пересылкой.

Въ этотъ первый томъ „Путей и Перепутій“ вошли стихи Вал. Брюсова, ранѣе напечатанные въ его книгахъ „Chefs d'Oeuvre“ (1-ое изд. 1895 г., 2-ое изд. 1896 г.), „Me eum esse“ (1897 г.) и „Tertia Vigilia“ (1900 г.), также въ сборникахъ „Русскіе Символисты“ (1894 и 1895 г.) и „Книга Раздумій“ (1899 г.) и нѣсколько неизданныхъ стихотвореній.

## ЗАЩИТНИКУ АВТОРИТЕТА.

Къ критикѣ текста Пушкина.

Въ моей книгѣ „Лицейскіе стихи Пушкина“ я доказалъ, что тотъ текстъ лицейскихъ стихотвореній Пушкина, который данъ въ I томѣ Академическаго изданія сочиненій Пушкина, редактированомъ покойнымъ Л. Майковымъ, совершенно негоденъ.

Зная, что у насъ еще больше вѣрятъ именамъ, чѣмъ доказательствамъ, я предвидѣлъ, что меня будутъ упрекать въ оскорбленіи памяти покойнаго академика и предложилъ кому-либо изъ его учениковъ и поклонниковъ опровергнуть выставленные мною доводы, доказать, что „указанныхъ мною ошибокъ не существуетъ“. Это былъ бы единственный путь, чтобы возстановить авторитетъ Л. Майкова, какъ издателя Пушкина, и авторитетъ I тома Академическаго изданія Пушкина.

На мой вызовъ откликнулся пока г. П. Морозовъ, который въ „Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія“ (№ 10) напечаталъ длинную статью, въ 11 страницъ, пересыпанную восклицаніями ужаса и негодованія передъ тѣмъ, что я, поэтъ-„декадентъ“, посмѣлъ непочтительно отозваться о трудѣ академика.

Строго говоря, я имѣлъ бы право „отвести“ г. Морозова, какъ своего судью, потому что въ критикѣ моей книги онъ—лицо заинтересованное. Я въ своей работѣ привелъ нѣсколько лишнихъ доказательствъ той недобросовѣстности, съ какой г. Морозовъ редактировалъ изданіе сочиненій Пушкина, сдѣланное „Просвѣщеніемъ“. Но, конечно, я не смѣю думать, что *inde irae*, охотѣю допустить, что рецензія г. Морозову внушена желаніемъ защититъ покойнаго Л. Майкова отъ несправедливыхъ нареканій, и готовъ рассмотреть доводы рецензента по существу.

Онъ начинается съ моей характеристики. „Поэтъ, В. Брюсовъ, авторъ многочисленныхъ стихотвореній въ новѣйшемъ вкусѣ, въ которыхъ воспѣваются „сладоэстрастные извивы“ и разностопные стихи чередуются между собою безъ всякой цеауры“. Прежде всего, я удивляюсь, какое все это имѣетъ отношеніе къ критикѣ текста Пушкина? Во-вторыхъ, вижу, что г. Морозовъ моихъ стиховъ никогда не читалъ; это—его добрая воля, конечно, но тогда нужно было бы осторожнѣе о нихъ и говорить. Въ-третьихъ, наконецъ, я долженъ

заклѣчить, что г. Морозовъ о русскомъ стихосложеніи имѣетъ понятіе самое смутное.

Скажите, когда это „одинаково-стопные“ или „разностопные“ стихи чередовались съ цезурою? Когда вообще цезура (дѣленіе внутри стиха) способствовала чередованію стиховъ? Л. Майковъ, какъ я показаль въ своей книгѣ, не могъ отличить „ямба отъ хорей“ (онъ увѣрялъ, напр., что стихи „Гдѣ наша роза“ написаны соединеніемъ дактиля съ хореемъ, что въ стихахъ „Сраженнаго Рыцаря“ три амфибрахія и ямбъ и т. под.), г. Морозовъ не умѣетъ отличить цезуры отъ окончанія стиха! И такимъ-то глухимъ къ стиху лицамъ достается въ руки изданіе сочиненій нашего величайшаго поэта!

Сдѣлавъ мою характеристику, г. Морозовъ переходитъ къ моей книгѣ. Желая облить Л. Майкова, г. Морозовъ спѣшитъ заявить, что и моя работа не безъ промаховъ и начинается ихъ перечень, справляясь, по его словамъ, „съ своей записной книжкой“ (интимная подробность, сообщить о которой, какъ будетъ видно дальше, было не лишнее).

Признаюсь, увидѣвъ списокъ своихъ промаховъ, расположенный г. Морозовымъ на нѣсколькихъ страницахъ, я немного смутился. Разумѣется, всякое дѣло рукъ человѣческихъ не чуждо ошибокъ, и я вовсе не почиталъ свою кропотливую работу совершенно безупречной... Но нѣсколько страницъ, наполненныхъ ошибками... Не значило ли это злоупотреблять правами человѣка на заблужденія!

Однако, просмотрѣвъ замѣчанія г. Морозова, я могъ успокоиться. Можетъ быть, въ моей книгѣ и много ошибокъ, но, по крайней мѣрѣ, г. Морозовъ не усмотрѣлъ ихъ. Придираясь къ мелочамъ, вкривъ перетолковывая мои ясныя слова, безапелляціонно предпочитая свои чтенія рукописи моимъ и тому подобными способами насчитываетъ онъ у меня, кажется, 16 ошибокъ, изъ которыхъ въ самомъ дѣлѣ ошибокъ всего одна или, если быть особенно строгимъ, двѣ; затѣмъ двѣ явныхъ опечатки, а двѣнадцать... какъ бы это назвать? — а двѣнадцать замѣчаній г. Морозова не суть доказательства, что онъ писалъ свою статью *sine ira et studio*.

Разберу всѣ обвиненія г. Морозова по порядку.

Въ Посланіи къ Дельвигу ст. 16 надо читать: „И что жъ радъ я не радъ“; у меня напечатано: „И что же радъ не радъ“. Это — моя ошибка, едва ли не единственная, указанная г. Морозовымъ.

Затѣмъ, у меня сказано, что въ стихотвореніи „Къ Морфею“, въ 8 стихѣ, въ рукописи стоитъ „милый“, тогда какъ въ Академическомъ изд. „милый“; на самомъ дѣлѣ, наоборотъ, — въ рукописи „милый“, тогда какъ у Л. Майкова „милый“. Сочтемъ и это ошибкой, а не опечаткой, тогда ихъ будетъ двѣ.

Въ Посланіи къ Галичу въ концѣ стиха 45 у меня стоитъ слово „уголокъ“. Г. Морозовъ иронически поучаетъ меня, „а въ рукописи читаемъ: городокъ“! Эта иронія—недобросовѣстная. На предыдущей 44-ой страницѣ (строка 21) этотъ стихъ у меня напечатанъ правильно, со словомъ „городокъ“, и, слѣдовательно, нѣтъ сомнѣнія, что при повтореніи его сдѣлана просто опечатка, а чтеніе рукописи мнѣ извѣстно.

Въ Посланіи Шипкову—вторая опечатка: „дѣраостныхъ“ вмѣсто „дѣраостнымъ“. Разуmѣется, опечаткамъ въ Пушкинскихъ текстахъ не мѣсто. Но эту опечатку поправить каждый внимательный читатель, такъ какъ „дѣраостныхъ“ не имѣетъ здѣсь смысла.

Вотъ всѣ четыре моихъ промаха, подмѣченныхъ г. Морозовымъ. Не слишкомъ много, во всякомъ случаѣ!

Теперь пойдемъ дальше.

Г. Морозовъ безапелляціонно заявляетъ, что въ стихотвореніи „Фіаль Анакреона“ я привожу два варианта, которыхъ въ рукописи нѣтъ: „Гимена и другихъ дозоры“ и „Я плавать не умѣю“. Если бы г. Морозовъ, критикуя меня, справился съ рукописью Пушкина, а не со своею „записною книжкою“, онъ убѣдился бы, что оба эти варианта въ рукописи есть. Послѣдній, правда, не бросается въ глаза: первое слово стиха „А“ передѣлано въ „Я“, что и даетъ этотъ вариантъ.

Совершенно съ той же безапелляціонностью г. Морозовъ заявляетъ, что я напрасно далъ въ стихотвореніи „Къ молодой вдовѣ“ два варианта ст. 3: „Страстью нѣжной утомленный“ и „Сладострастьемъ утомленный“. „Ни того, ни другого,—пишетъ г. Морозовъ,—въ рукописи нѣтъ“. Опять сильные слова, но—ахъ!—вариантовъ нѣтъ только въ „записной книжкѣ“ слишкомъ самоувѣреннаго г. Морозова, а въ рукописи оба варианта есть. Первый изъ нихъ написанъ карандашомъ, второй, надъ нимъ, чернилами, уже сильно выцвѣтшими; оба зачеркнуты.

Эти два случая вызываютъ во мнѣ смущеніе уже не за себя, а за г. Морозова. Какъ надо быть осторожнымъ, чтобы обвинять кого-нибудь, будто тотъ выдумалъ стихи и выдалъ ихъ за стихи Пушкина! А г. Морозовъ предъявляетъ такіа обвиненія съ развязностью Хлестакова, справившись только со своею „записною книжкою“! Позабылъ ли г. Морозовъ, что подлинныя Пушкинскія рукописи еще не уничтожены и обличаютъ неправду его обвиненій? Или г. Морозову рассуждалъ такъ: мнѣ только бы читатели „Журнала Министерства“ повѣрили, что „поэтъ-декадентъ“ печатаетъ подложные Пушкинскіе стихи, а тамъ пусть себѣ онъ обличаетъ меня въ какихъ-то „Всѣсахъ!“

Развязность такого же рода проявляетъ г. Морозовъ, говоря о

вариантъ ст. 61 въ стихотвореніи „Моему Аристарху“. У меня напечатано: „Поймавъ прежню мысль мою“. Г. Морозовъ упрекаетъ меня, что при такомъ чтеніи „не выходитъ стиха“ и увѣряетъ, будто въ рукописи читается „Поймавши“. Однако въ рукописи довольно четко написано „Поймавъ“, а если „не выходитъ стиха“, то это промахъ не мой, а Пушкина, и, конечно, не г. Морозову поправлять его.

Еще упрекаетъ меня г. Морозовъ, что въ „Посланіи къ Юдину“ у меня напечатано „старый“, тогда какъ въ рукописи читается „старой“. Еще разъ излишняя развязность! Дѣйствительно, въ рукописи стоитъ „старой“, но вѣдь и у меня въ книгѣ (стр. 43, строка 4 снизу) также „старой“! А форма „старый“ дана мною лишь въ моей реконструкціи этого стиха, въ которой не было причинъ придержи-ваться стариннаго правописанія.

Добросовѣстны ли эти четыре обвиненія?

Но пойдѣмъ еще дальше.

Въ нѣсколькихъ мѣстахъ я не разобралъ разныхъ зачеркнутыхъ или едва начатыхъ словъ въ рукописи. Во всѣхъ этихъ случаяхъ я точно помѣчалъ въ своей книгѣ, что одно или нѣсколько словъ мною неразобрано. Считаю, что этимъ мною вполне выполненъ долгъ критика текста. Г. Морозовъ, однако, неразобранные слова выставляетъ передъ читателями, какъ мои ошибки.

Такъ, г. Морозовъ попрекаетъ меня, что въ стихотвореніи „Моему Аристарху“, въ стихѣ 44, я не разобралъ слова „щастливой“, а въ стихотвореніи „Сраженный Рыцарь“—слова „истлѣвшій“. Но я вѣдь нигдѣ и не завѣрялъ, что прочелъ эти слова, и не утаивалъ, что есть въ этихъ мѣстахъ слова, мною не разобранные. Изъ тѣхъ словъ, которыхъ мнѣ не удалось прочесть въ рукописи, г. Морозовъ разобралъ два слова,—очень пріятно, и только! Кромѣ того, въ первомъ случаѣ въ рукописи стоитъ что-то вроде „щит“ и чтеніе „щастливой“, въ сущности не болѣе, какъ догадка г. Морозова.

При нѣкоторыхъ словахъ у меня поставленъ знакъ вопроса. Это означаетъ, какъ объяснено въ предисловіи, что данное чтеніе—лишь предположительное, что я за него не ручаюсь. Г. Морозовъ беретъ одно такое чтеніе „Крова“ и заявляетъ, что оно—невѣрное. Можетъ быть, но я вѣдь не выдавалъ его за вѣрное! Почему же г. Морозовъ умалчиваетъ объ этомъ передъ своими читателями?

Въ двухъ мѣстахъ г. Морозовъ авторитетно противопоставляетъ свое чтеніе—моему. У меня напечатано: „Носимыхъ по волнамъ“; г. Морозовъ заявляетъ: „я читаю этотъ стихъ: Носимыхъ на волнахъ“. У меня напечатано „веселы“, г. Морозовъ читаетъ „веселья“. При неразборчивости рукописи трудно рѣшить, какое чтеніе правильнѣе. Но развѣ допустимо выдавать читателямъ такія „спорныя“ мѣста за мои ошибки?



Наконецъ, г. Морозовъ дважды ставитъ мнѣ въ вину, что я привожу слишкомъ незначительные варианты, можетъ быть ошибки переписчика. Я поставилъ себѣ задачей и сч е р п а т ь рукопись № 2364 и потому привожу всѣ варианты, пропущенные Л. Майковымъ, значительные и незначительные.

Последнее замѣчаніе г. Морозова состоитъ въ защитѣ чтенія „Пусть не смѣйся, не рѣзвись“. Я назвалъ этотъ стихъ безсмысленнымъ, считая его искаженнымъ. Г. Морозовъ важно доказываетъ мнѣ, что стихотвореніе, въ которомъ онъ встрѣчается, не бессмысленно. Подставлять, въ спорѣ, одно понятіе вмѣсто другого — пріемъ давно получившій свое, не очень лестное, названіе.

Такимъ образомъ и эти восемь обвиненій г. Морозова я долженъ отвергнуть, какъ и четыре предыдущихъ, потому что въ этихъ восьми случаяхъ не въ чемъ было обвинять меня.

Но здѣсь и конецъ критикѣ г. Морозова, всѣмъ его 16 замѣчаніямъ.

Нѣтъ, виновать, не конецъ. Есть еще замѣчаніе, семнадцатое. Я отмѣчаю, что въ Посланіи къ Дельвигу новыя (или, какъ неправильно говорятъ, „красныя“) строки, въ рукописи № 2364, стоятъ передъ такими-то стихами. Нашелъ я нужнымъ это отмѣтить потому, что у Л. Майкова этого не указано. Г. Морозовъ, вообразивъ, что рѣчь идетъ о новыхъ стихахъ, заявляетъ, что этихъ „новыхъ строкъ“ у меня „не приведено, по той простой причинѣ, что ихъ вовсе нѣтъ“. Не умно, г. Морозовъ!

Таковъ результатъ критики г. Морозова: онъ указалъ у меня двѣ опечатки и двѣ ошибки. Остальные обвиненія г. Морозовъ, при всей его самоувѣренности, достойной лучшаго примѣненія, приходится называть, увы! недобросовѣстными. Не стоило, пожалуй, ради такихъ плачевныхъ результатовъ начинать со „сладоэстрастныхъ извивовъ“.

Но важнѣе, что дѣло все-таки не въ томъ. Двѣ у меня въ книгѣ ошибки или десять, три раза я невѣрно прочелъ рукопись или больше, это не мѣняетъ того вывода, къ которому приводитъ моя книга: I томъ Академическаго изданія даетъ негодный текстъ Лицейскихъ стиховъ Пушкина.

Г. Морозовъ увѣряетъ, что я обвинилъ Л. Майкова въ „ребяческой небрежности“ за то, что онъ вмѣсто „въ безмолвной тишинѣ ночной“ прочелъ „въ безмолвіи тиши ночной“, вмѣсто „послѣ“ — „нынѣ“, вмѣсто „слезами“ — „глазами“, вмѣсто „въ“ — „къ“. Нѣтъ, г. Морозовъ, не за это, и если вы прочли ту мою книгу, которую рецензировали, то вы знаете, что не за это. Выраженіе „ребяческая небрежность“ употреблено у меня (стр. 7) тамъ, гдѣ я указываю, что Л. Майковъ увѣряетъ, будто въ рукописи „Роза“ помѣчено „18 марта“, тогда какъ при этомъ стихотвореніи вовсе нѣтъ въ ру-

кописи помѣты;—что стихи „Къ молодой вдовѣ“ отнесены Л. Майковымъ къ 1816 году, на основаніи чего далъ онъ длинный комментарий, тогда какъ въ рукописи стихи помѣчены 1817 годомъ;—что Л. Майковъ дѣлаетъ ошибки при воспроизведеніи печатныхъ текстовъ и т. д., и т. д.! Выраженіе „ребяческая небрежность“ употреблено мною еще потому, что въ моей книгѣ собрано въ общемъ около 300 ошибокъ, пропусковъ и описокъ Л. Майкова!

Наконецъ, г. Морозовъ умалчиваетъ, что я призналъ текстъ Пушкинскихъ стиховъ въ I т. Академическаго изд. негоднымъ не только потому, что въ немъ много ошибокъ, но, прежде всего, потому, что его редакторъ не выработалъ никакихъ определенныхъ методовъ для изданія сочиненій Пушкина. У меня въ книгѣ приведены примѣры, какъ Л. Майковъ путался въ приемахъ критики текста, какъ противорѣчилъ самъ себѣ, и какъ трудно разобраться въ томъ критическомъ матеріалѣ, который онъ безпорядочно свалилъ въ I томъ Академическаго изданія. И если бы въ моей книгѣ г. Морозовъ разыскалъ не 2—3 ошибки, а 20—30, это не лишило бы мою книгу ея значенія: она зачеркнула работу Л. Майкова надъ критикой Лицейскихъ стиховъ Пушкина.

Валерій Брюсовъ.

Р. С. Мною получено письмо, подписанное фамиліей незнакомаго мнѣ лица, гдѣ указываются еще три ошибки моей книги, изъ которыхъ, однако, я могу признать лишь одну. Во-первыхъ, по словамъ моего корреспондента, на стр. 71 книги, я ошибочно упрекаю Л. Майкова, что въ одномъ стихѣ стихотворенія „Торжество Вакха“ онъ пропустилъ слово; между тѣмъ, я совершенно правъ, такъ какъ рѣчь идетъ о послѣднемъ стихѣ стихотворенія. Во-вторыхъ, я, на стр. 39, будто бы, невѣрно цитирую Посмертное изданіе; но въ этомъ мѣстѣ я привожу слова П. Ефремова, такъ что упрекъ относится не ко мнѣ, а къ нему. Въ-третьихъ, наконецъ, на стр. 29 у меня, въ цитатѣ, пропущено „въ“, и это совершенно вѣрно.

Замѣчу еще, что послѣ выхода моей книги я имѣлъ случай ближе ознакомиться съ рукописью Московскаго Румянцоваго Музея № 2395 и убѣдился, что Л. Майковъ и ея данными воспользовался крайне небрежно. Такъ, напр., Л. Майковъ (постоянно ссылающийся на списки рукописи № 2395) заявляетъ категорически о стихотвореніи „Сонъ“, что оно „не встрѣчалось намъ въ рукописи“—между тѣмъ это стихотвореніе находится въ рукописи № 2395, только страницы, на которыхъ оно было переписано, при переплетѣ, спутаны.

В. Б.

# АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

## АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОСЛѢДНЕЕ ДЕСЯТИЛѢТІЕ.

Письмо изъ Лондона.

Исторія литературы не переходитъ, подобно исторіи экономическихъ явленій, отъ періода къ періоду, но отъ личности къ личности, и поэтому естественно начинать обзоръ англійской литературы за послѣднія десять лѣтъ со смерти Оскара Уайльда. Это случилось въ 1900 году, и съ того времени англійская литература еще никакъ не можетъ оправиться. Толпа глупыхъ и пошлыхъ писателей наводнила печатные станки Англій свои изверженіями, а имя Оскара Уайльда даже не стало, какъ онъ самъ предсказывалъ „попойкой прибауткой пошлыхъ людей“, но оно подверглось еще большому оскорбленію: оно стало предметомъ коммерческихъ сдѣлокъ талисманомъ, открывшимъ двери „литературы“ личностямъ, которыя при другихъ условіяхъ принуждены были бы остаться во мракѣ неизвѣстности, что было бы безконечно полезно.

Все же у англичанъ сегодня еще осталось рѣдкое преимущество несмотря на скорбный листъ послѣднихъ двадцати лѣтъ,—жить въ эпоху, когда три великихъ писателя, имена которыхъ переживутъ потомство, еще съ нами. Я разумѣю, конечно, Суинберна, Джорджа Мередита и Томаса Гарди. Суинбернъ (Swinburne), во всемъ величій своего преклоннаго возраста и неугасаемаго генія, неустанно заставляетъ насъ наслаждаться новыми произведеніями, удивляться новымъ достиженіямъ своей техники.

„The Channel Passage“—названіе послѣдняго сборника его стиховъ, вошедшаго затѣмъ въ недавно изданное полное собраніе его сочиненій. На дняхъ онъ выпускаетъ новую трагедію на тему изъ жизни семьи Борджіа.—Въ противоположность Суинберну, Джорджъ Мередитъ (George Meredith) пересталъ писать; но можно ли удивляться или жаловаться, вспомнивъ разнообразіе темъ и глубины мыслей, которыми характеризуется его творчество? Какъ поэтъ, мыслитель и романистъ, онъ одинаково несравненъ. Но, я думаю,

можно справедливо утверждать, что ни Суинбернъ, ни Мередитъ не создали школы. Подражаніе Суинберну такъ бросалось бы въ глаза, что поэтъ, которому удалось бы схватить его стиль, навсегда лишился бы права на самобытность; поэтому вліяніе Суинберна замѣтно лишь въ произведеніяхъ второстепенныхъ поэтовъ. Джорджъ Мередитъ, который, прежде всего, мыслитель, точно такъ же какъ Суинбернъ, прежде всего,—мастеръ формы, едва ли могъ замѣтно повліять на современную литературу: какъ философъ, онъ слишкомъ значителенъ; какъ стилистъ — слишкомъ самобытенъ, чтобы подражанія ему могли притязать на большее чѣмъ получилъ Марсиасъ, соперничая съ Аполлономъ. — Томасъ Гарди существенно отличается отъ Джорджа Мередита — своей психологіей и міросозерцаніемъ. Великій оптимистъ Мередитъ никогда не позволяеть, такъ называемой, „ироніи судьбы“, жестокости факта запечатлѣться на своемъ творчествѣ. Правда, у немногихъ романовъ Мередита — условный „счастливый конецъ“; но это объясняется наслѣдственной слабостью его характеровъ и логичностью, съ которой ихъ изображаетъ Мередитъ, а не жестокостью и несправедливостью міра, въ которомъ они вращаются, какъ мы видимъ въ *Tess of the D'Urbervilles* Томаса Гарди. Гарди возстаетъ противъ Бога, допускающаго столько зла на землѣ, возстаетъ, призывая къ отвѣту божество; Мередитъ — безстрастный наблюдатель людей, разглядывающій ихъ со стороны, какъ романистъ, который изучаетъ ихъ, какъ матеріалъ, для точныхъ выводовъ философіи и психологіи.

За исключеніемъ того, что сдѣлано этими тремя величайшими именами современной англійской литературы, почти не о чемъ упомянуть въ области чистаго творчества. Но, съ другой стороны, имѣется небольшая группа скромныхъ, культурныхъ работниковъ, своими строгими и цѣнными изслѣдованіями прошлаго англійской литературы и талантливыми, безпристрастными критическими работами, заслуживающихъ болѣе признательности, чѣмъ они [до сихъ] поръ получали. Среди нихъ первое мѣсто принадлежитъ Артуру Симонсу (*Arthur Symonds*). Такой преданный изслѣдователь и тонкій знатокъ — семи, кромѣ поэзіи, какъ онъ ихъ насчиталъ, — искусствъ, цѣнный вкладъ во всякую литературу. Симонсу мы обязаны среди ряда книгъ, прекрасныхъ, исчерпывающихъ критическихъ очерковъ — лучшей антологіей англійской поэзіи елизаветинскаго періода. Съ любовью, рождаемой только восторгомъ, бережетъ онъ старыя традиціи англійской литературы и, не отказывая никому во вниманіи, онъ въ овоей критической работѣ сумѣлъ отнести съ истинной справедливостью къ творчеству многихъ. Быть можетъ, его влеченія къ Франціи и его познанія во французской литературѣ одарили его чуткостью и вкусомъ, этими качествами, которыя такъ рѣдки у англійскихъ кри-

тиковъ; разсудочность его методовъ и безпристрастіе его сужденій—явленіе чисто французское. Не поэтому ли онъ—единственный изъ английскихъ критиковъ, произнесшихъ вѣрный приговоръ надъ творчествомъ Стефана Филиппса? Въ заслугу Симону нужно поставить и эту же обѣ Оскарѣ Уайльдѣ, представляющей единственную маломальски приличную оцѣнку, которую получилъ несчастный геній отъ своихъ соотечественниковъ.

Уайльдъ, „прирожденный антиномистъ“,—какъ онъ самъ себя опредѣляетъ въ „De profundis“,—какъ драматургъ не имѣетъ прямого пріемника, но въ области парадокса этотъ особый фокусъ стиля отъ него перешелъ въ руки другому критику — Г. К. Честертону (G. K. Chesterton). Уайльдъ поработилъ языкъ, сдѣлавъ парадоксъ единственнымъ средствомъ рѣчи; Честертонъ искалѣчилъ языкъ, чтобы найти новые парадоксы. Но это, въ концѣ концовъ, незначительный вопросъ стиля, о которомъ не стоитъ говорить. Главное достоинство Честертона въ слѣдующемъ: въ качествѣ защитника излюбленныхъ традицій стараго порядка, ортодоксальности, какъ онъ самъ ее признаетъ, ему удалось со всеразрушительной и восхитительной страстью обратить стрѣлы скептиковъ, сектантовъ, антиномистовъ, „еретиковъ“ на самихъ себя. Эпиграмма, которая до сихъ поръ считалась спеціальнымъ и исключительнымъ оружіемъ враговъ традицій,—теперь обратилась на нихъ самихъ; Честертонъ встрѣтилъ ихъ въ ихъ собственныхъ владѣніяхъ и съ ихъ собственнымъ оружіемъ въ рукахъ. Парадоксъ, это—старинный, почти избитый образъ рѣчи, но въ рукахъ христіанскаго апологета онъ приобретаетъ очарованіе и силу новизны.

О чисто творческихъ работахъ этихъ двухъ критиковъ, А. Симона и Г. Честертонна, мѣсто не позволяетъ намъ говорить. Но именно ихъ критическія работы наиболѣе долговѣчны и въ настоящее время оказываютъ наибольшее вліяніе на английскую литературу.

Переходя отъ критики къ поэзіи, мы встрѣчаемся съ другой тріадой писателей, каждый изъ которыхъ въ частности и всѣ вмѣстѣ были открыты тѣмъ или другимъ изъ только что упомянутыхъ критиковъ. Сперва назовемъ Роберта Бриджеса (Robert Bridges), обогатившаго английскую литературу книгой о стихосложеніи, съ очень цѣнными изысканіями въ области того, что называлось законами бѣлаго стиха и правилами скандированія. Его теоріи, какъ и всѣ вообще теоріи, не совсѣмъ новы, но этимъ цѣнность ихъ ничуть не умалается. Но не въ качествѣ только теоретика заслужилъ Р. Бриджесъ титулъ „мудрѣйшаго изъ английскихъ поэтовъ“. Въ его стихахъ, нѣжныхъ, законченныхъ произведеніяхъ осторожнаго мастера, есть особая, имъ однимъ присущая прелесть. Онъ серьезенъ серьезностью молчанія, и радостенъ всѣми голосами, изъ которыхъ слагается

само молчаніе. Въ его „Короткихъ стихахъ“, быть можетъ, наиболѣе популярной книгѣ Бриджеса, мы видимъ его теоріи стихосложенія примѣненными на дѣлѣ. Въ то время, какъ вѣщность его поэзіи напоминаютъ восхитительную беззаботность пѣсни птицы, подъ ней скрывается сознательное мастерство. У Бриджеса есть также драмы, въ основу которыхъ взяты древніе мифы, написанныя стихомъ, который можетъ смѣло считаться совершеннымъ.

Быль у насъ и другой поэтъ, творчество котораго такъ интимно, такъ неуловимо, что, не будь А. Симонса, быть можетъ, узкій кругъ его слушателей никогда не расширился бы до общаго міра. Эрнестъ Даусонъ (Ernest Dowson) умеръ въ 1900 г. Вотъ краткая оцѣнка его творчества, данная А. Симонсомъ, въ первыхъ строкахъ предисловія къ „Collected Poems“ Даусона: „Небольшая книжечка стиховъ, рукопись другого сборника, одноактная пьеса въ стихахъ, нѣсколько короткихъ разсказовъ, нѣсколько переводовъ съ французскаго, сдѣланныхъ ради гонорара,—вотъ все, что оставилъ человѣкъ который, несомнѣнно былъ талантомъ, не великимъ поэтомъ, но просто поэтомъ, однимъ изъ тѣхъ немногихъ писателей нашего времени, къ которымъ можно примѣнить это званіе въ самомъ интимномъ его значеніи“. Здѣсь не мѣсто останавливаться дольше на Даусонѣ и, быть можетъ, это краткое упоминаніе его имени—въ концѣ концовъ, наилучшій способъ отдать долгъ поэту, чье творчество было столь же прекрасно, сколь быстротечна была его жизнь.

Въ Англіи, кажется, никогда не было такого изобилія вполне „сносныхъ“ стиховъ, какъ въ наши дни и среди авторовъ этой массы „поэтическихъ сборниковъ“ можно лишь выдѣлить тѣхъ, которые обладаютъ необходимыми достоинствами, отличающими истинное искусство отъ просто „сноснаго“. Къ этой категоріи нужно отнести В. Б. Йетса (W. B. Yeats). Воспитанный на традиціяхъ Вилльяма Блэка, чью славу и память онъ такъ страстно бережетъ, нашедшій въ обожанной имъ родной Ирландіи атмосферу для того мистицизма или символизма, который является для него естественнымъ методомъ изображенія — Йетсъ основалъ такъ называемую „ново-гелльскую“ школу поэзіи и драмы. Въ ирландскихъ легендахъ, въ сказаніяхъ и раннихъ символахъ „Острова святыхъ“ онъ обрѣлъ матеріалъ для поэзіи, которая никогда не искала популярности, хотя вдохновлена народомъ. Въ надеждѣ возродить утраченныя навсегда традиціи ирландской литературы, Йетсъ сталъ искать въ ирландскомъ народѣ вдохновеніе для своего творчества. Но поскольку символизмъ никогда не могъ быть оцѣненнымъ даже той, довольно сомнительной массой, которая, какъ принято считать, интересуется поэзіей,—постольку и творчество Йетса, всегда символическое, должно остаться загадкой для широкихъ круговъ англійской публики. Во

Франціи, гдѣ къ символизму отнеслись серьезно, онѣ послужили основой цѣлому множеству школъ. Въ Англіи же символизмъ не далъ замѣтнаго развитія, за исключеніемъ лишь этой школы ирландскихъ писателей, во главѣ которой стоятъ Іетсъ и Лэди Грэгори.

Среди ежегоднаго ливня романовъ можно отмѣтить лишь произведенія двухъ авторовъ, — Джорджа Мура (George Moore) и Мориса Хьюлитъ (Maurice Hewlitt). Первый въ качествѣ романиста, критика и автобіографа постоянно раскрываетъ намъ себя въ такомъ разнообразіи видовъ и въ столь язвительномъ стилѣ, что это создало ему цѣлый легіонъ враговъ и хулителей. Поэтому, наиболѣе характерное, хотя и не наилучшее, произведеніе его, недавно переизданное, — „Исповѣдь молодого человѣка“, которое можно назвать апофеозомъ юношескихъ безумій любителя искусства и жизни. Муръ написалъ блестящіе романы, тонъ которыхъ немного циниченъ, но въ которыхъ ровно столько наблюденія надъ жизнью, сколько могло бы придать остроту его даже наиболѣе строгимъ вылазкамъ. Онъ написалъ книгу о живописи, книгу, которую одинъ компетентный критикъ призналъ, если я не ошибаюсь, „полной несправедливости, грубости и невѣжества“: „она наскоро продумана, наскоро написана; но въ ней, въ этихъ живыхъ, непосредственныхъ, безукоризненно логичныхъ страницахъ, вы найдете нѣкоторыя загадки живописи, разгаданныя интеллектомъ всецѣло чувственнымъ, высосавшимъ ихъ безсознательно“. Онъ писалъ и стихи, но въ одинъ прекрасный день, какъ онъ намъ рассказываетъ, „на Стрэндѣ, на углу Веллингтонъ Стрита“, онъ почувствовалъ, что писаніе средняго качества стиховъ не можетъ для него сдѣлаться занятіемъ цѣлой жизни. — На первый взглядъ какъ будто было бы трудно отыскать писателя болѣе непохожаго на Мура, чѣмъ Морисъ Хьюлитъ, но при болѣе внимательномъ разсмотрѣніи можно найти много общаго въ манерѣ обоихъ, хотя темы, которыя они избираютъ для своихъ произведеній, требуютъ разнаго толкованія. Хьюлитъ пишетъ о среднихъ вѣкахъ, но о среднихъ вѣкахъ, какъ ихъ видятъ глаза человѣка, который, несмотря на свою крайне живую фантазію, пораженъ, подобно Муру, болѣзнию современности — модернизмомъ. Стиль его иногда сравниваютъ со стилемъ Мередита, ибо, подобно послѣднему, Хьюлитъ подчиняетъ себѣ языкъ. Языкъ для него врагъ, котораго нужно заставить исполнить ту работу, которую хочетъ писатель, и въ такомъ видѣ, какъ онъ этого требуетъ. И протестъ языка противъ такого безцеремоннаго обращенія — вотъ сущность его стиля. Слова, словно собаки, лазаютъ у ногъ его и лаютъ на него; и, несмотря на это, онъ все же ихъ господинъ и этимъ самымъ создаетъ атмосферу романтизма и чудесъ, какую можно найти лишь въ ясной прозѣ Вилльяма Морриса.

У Мура, Хьюлита и Честертона есть общая черта, черта, которой суждено сыграть видную роль въ ближайшемъ будущемъ англійской литературы,—неудержимость. У Мура—неудержимость блеска, у Хьюлита неудержимость художника, наслаждающагося своей властью надъ словомъ, у Честертона — неудержимость критика, разгадавшаго всѣхъ своихъ современниковъ. Хотя каждый изъ этихъ трехъ писателей не похожъ на другого, но они всѣ сходятся въ обладаніи только что указаннымъ качествомъ, и этотъ факторъ начинаетъ играть такую видную роль въ англійской литературѣ, что является возможнымъ народженіе цѣлой школы неудержимыхъ писателей.—Но верховнымъ жрецомъ неудержимости долженъ быть названъ не кто-нибудь изъ этихъ трехъ, а наиболѣе непостоянный изъ всѣхъ современныхъ англійскихъ писателей — Хиллэръ Беллокъ (Hillaire Belloc). Онъ пишетъ обо всемъ, но никогда не пишетъ плохо. Онъ — знатокъ французской литературы, главнымъ образомъ раннихъ поэтовъ французскаго возрожденія; онъ всѣми признанъ, какъ блестящій историкъ. Онъ наиболѣе выдающійся въ Англии авторъ книжекъ и сказокъ для дѣтей. Онъ—сама душа сатиры. Онъ—авторъ короткихъ разсказовъ, нѣчто въ родѣ современнаго Джорджа Горроу. Все привлекаетъ его вниманіе и вмѣстѣ съ душой поэта у него невысказанная натура ребенка. Онъ притупилъ въ насъ способность удивляться, и поэтому самой естественной вещью въ мірѣ намъ покажется и то, что, въ придачу ко всѣмъ своимъ качествамъ, Беллокъ еще—и членъ англійскаго парламента.

Для трехъ писателей, чьи имена поставлены въ началѣ этой статьи, послѣднее десятилѣтіе было только кульминаціоннымъ періодомъ. Они давно приучили насъ къ своимъ взглядамъ и поэтому ихъ нужно разсматривать, какъ силы, вполне разившіяся, но не нарождающіяся, и никоимъ образомъ, какъ проявленія этого десятилѣтія. До сихъ поръ мы дали только общій и невольно неполный обзоръ текущей англійской литературы. Остается лишь прибавить къ нему имя писателя, который справедливо можетъ притязать на причисленіе къ новымъ силамъ, который началъ свою литературную дѣятельность лишь въ послѣднемъ десятилѣтіи, и поэтому, едва достигнувъ полной зрѣлости, можетъ считаться вѣрнымъ показателемъ, по меньшей мѣрѣ, одного теченія, въ которое выливается англійская литература.

Бернардъ Шоу (Bernard Shaw), — „драматургъ и философъ по профессіи и призванію“, какъ онъ самъ себя опредѣляетъ,—наиболѣе выдающійся современный драматургъ Англии. Ни о комъ другомъ, за исключеніемъ развѣ Оскара Уайльда, не писалось столько глупостей. Краткая оцѣнка его творчества, которую мы приводимъ ниже, сводится лишь къ простому констатированію фактовъ, которые не



нуждаются въ разъясненіи сомнѣвающимся, ибо все это сдѣлалъ Шоу достаточно ясно въ предисловіяхъ къ своимъ драмамъ.

Бернардъ Шоу—самый серьезный человѣкъ въ настоящее время въ Англіи: онъ подходитъ къ жизни и литературѣ съ торжественностью, часто пугающей большинство его слушателей. Его принято почему-то считать шутникомъ, быть можетъ, просто потому, что онъ всегда трактуетъ о серьезныхъ вещахъ, и, дѣйствительно, только о серьезномъ можно шутить. Мнѣ кажется, Богъ послужилъ темой для шутокъ чаще, чѣмъ кто-нибудь другой, и только люди, вѣрующіе въ Бога, находятъ такіа шутки смѣшными: нелѣпость сопоставленія Бога съ шуткой такъ ярка, что сочетаніе этихъ двухъ понятій невольно возбуждаетъ неудержимый хохотъ. И, такимъ образомъ, воздается должное величію и достоинству Бога. Бернардъ Шоу вѣритъ искренно во все то, что онъ говоритъ, и поэтому онъ признаетъ за собой право надъ этимъ шутить. Лучшее сравненіе, какое я могу придумать, чтобы объяснить его серьезность, выдающійся талантъ и репутацію въ качествѣ *man of letters*, это—Вольтеръ. Бернардъ Шоу, какъ опять онъ самъ выражается, „занимается политикой, философіей и искусствомъ“. Его учителями, писателями, на которыхъ воспитался его умъ, были въ общихъ чертахъ: по философіи—Ницше, въ политикѣ—Вагнеръ, Карлъ Марксъ, Прудонъ и позднѣйшія произведенія Дж. С. Милля, въ драмѣ—Шекспиръ, Ибсенъ, въ вопросахъ общей морали и формы—Самуэль Бутлеръ и Диккенсъ. Списокъ этотъ, конечно, вполне произвольный и приводится здѣсь не для самого Шоу, а для тѣхъ, кто по рѣдкимъ вѣхамъ желаетъ напасть на вѣрный слѣдъ его духовныхъ предковъ.

Оскаръ Уайльдъ косвенно требовалъ признанія за собой званія перваго изысканно одѣтаго философа въ исторіи мысли. Бернардъ Шоу требуетъ себѣ званіе перваго философа, который включилъ въ свой кругозоръ не только мысль, подобно своимъ предшественникамъ, но также искусство, жизнь и политику. Въ качествѣ драматурга онъ притязаетъ не столько на самобытность темъ, сколько на самобытность толкованія. Нѣтъ ничего новаго подъ луной—вотъ сущность его предисловія къ „Тремъ пьесамъ для пуританъ“; все уже рассказано, а что касается техники, то она достигла достаточнаго совершенства. Поэтому драматургъ, желающій быть оригинальнымъ, долженъ опираться не на изобрѣтеніе новыхъ сценическихъ фокусовъ, но на умѣніе приспособлять старыя сказки, пересказать ихъ въ освѣщеніи умственного развитія нашего вѣка. Наши научныя познанія сильно подвинулись впередъ со временъ Шекспира, и это не мало отразилось на нашихъ взглядахъ. Поэтому хотя старыя вопросы, поставленные, напримѣръ, Шекспиромъ, до сихъ поръ не получили, быть можетъ, исчерпывающаго отвѣта, все же можно съ

увѣренностью сказать, что отвѣты, которые предлагаетъ нашъ вѣкъ значительно отличаются отъ отвѣтовъ, даваемыхъ англичанамъ временъ царствованія Елизаветы. Въ этомъ новомъ толкованіи старыхъ идей заключается сущность новой драмы, ибо какъ говорить Бернардъ Шоу, „не можетъ быть новой драмы безъ новой философіи“.

Оскаръ Уайльдъ, этотъ величайшій индивидуалистъ, писавшій въ концѣ вѣка соціального хаоса, былъ достаточно уменъ, чтобы написать самую блестящую защиту социализма, какъ средства достижения болѣе свободнаго, болѣе индивидуальнаго развитія чело- вѣка. Бернардъ Шоу, пишущій въ началѣ новаго вѣка, имѣлъ достаточно ума, чтобы написать самый блестящій, до сихъ поръ предложенный анализъ современной цивилизации. У Оскара Уайльда былъ умъ утописта; Бернардъ Шоу пришелъ, чтобы доказать, что Уайльдъ былъ правъ. Творчество обоихъ можетъ быть суммировано блестящей фразой Блэка,—„что теперь доказано, раньше лишь воображалось“. Уайльдъ никогда не заходилъ такъ далеко, чтобы заняться проблемой будущаго:—каково будетъ искусство демократіи? Бернардъ Шоу пытается дать намъ разрѣшеніе этого вопроса, и, какъ одинъ изъ первыхъ борцовъ за то, что, несомнѣнно, окажется очередной эпохой исторіи литературы, Бернардъ Шоу, безъ сомнѣнія, имѣетъ право на свое мѣсто въ англійскомъ Пантеонѣ.

Только утверждая, что Бернардъ Шоу послѣ смерти Оскара Уайльда является слѣдующей по своему значенію выдающейся личностью въ исторіи англійской литературы за послѣднія десять лѣтъ настоящая статья, включая обоихъ, можетъ считать себя законченной.

Osbert Burdett.

**Oscar Wilde**, by Leonard Cresswell Ingleby. T. Werner Laurie (Clifford's Inn) London. 1908. 12/6.

**Oscar Wilde**. Art and Morality. Edited by Stuart Mason. J. Jacobs (149. Edgware. Road) London. 1908 6/—.

**Stuart Mason**. A Bibliography of the poems of O. Wilde. L. Grant Richards. London. 1907. 6/—.

Въ 1895 г. Англія перестала (какъ думали многіе—навсегда) говорить объ Уайльдѣ. Черезъ десять лѣтъ, когда имя Уайльда сдѣлалось священнымъ для всей Европы,—Англія полуробко, полуснисходительно заговорила о немъ снова. Тогда появился „De Profundis“. Сегодня Уайльду англійская молодежь поетъ восторженные гимны, его портреты снова появились въ витринахъ лондонскихъ магазиновъ, театры возобновляютъ его піесы, ему посвящаютъ цѣлыя книги, переиздаются его произведенія, любящими руками друзей и учениковъ собирается каждая строка, написанная имъ, связанная съ его именемъ.

Это благоговѣніе небольшой группы людей дѣлается особенно цѣннымъ, если принять во вниманіе всѣ тѣ преграды и трудности, которыя приходится одолѣвать нынѣ его наслѣдникамъ, дабы получить возможность издать собранія сочиненій Уайльда. Какіхъ усилій стоило собрать авторскія права въ однѣ руки, добиться у намѣренно бездѣятельныхъ англійскихъ властей защиты правъ собственности наслѣдниковъ Уайльда! Не говоря уже о такихъ неслыханныхъ актахъ вандализма, какъ кража рукописей трехъ драмъ и разсказа, или о фактахъ, подобныхъ слѣдующему. Намъ извѣстно, что лицо, желавшее издать переписку Уайльда съ наиболѣе выдающимися его современниками, принуждено было отказаться отъ своего намѣренія по той причинѣ, что письма Уайльда даже къ такимъ людямъ отъ которыхъ можно было ожидать, что они окажутся свободными отъ англійскаго филистерства (какъ, напр., поэтъ Вилльямъ Моррисъ и А. Суинбернъ, художникъ Бёрнъ-Джонсъ)—были сожжены адресатами или ихъ близкими въ 1895 г., когда Уайльда постигло несчастье. Письма же эти, судя по той части переписки, которая находится въ рукахъ друзей, представляли неоцѣнимый матеріалъ по исторіи новѣйшей культуры:

Вотъ почему нельзя не чувствовать глубокой признательности къ такимъ вѣрнымъ, преданнымъ друзьямъ покойнаго писателя какъ Робертъ Россъ, Робертъ Шерардъ, Лордъ А. Дѣгластъ, къ такимъ усерднымъ, добросовѣстнымъ изслѣдователямъ, какъ Стюартъ Мэзонъ, Уолтеръ Лэджеръ, Леонардъ Ингльби, благодаря которымъ спасена изъ рукъ вандаловъ еще значительная часть литературнаго наслѣдства Уайльда.

Только что изданная книга Леонарда Ингльби появляется какъ нельзя болѣе кстати. Объ Уайльдѣ писалось такъ много вадорнаго, легендарнаго, притомъ людьми большей частью невѣжественными или враждебно настроенными; подлинныя нефаальсифицированныя изданія его произведеній такъ рѣдки,—что для нынѣшняго поколѣнія англійской читающей публики давно назрѣла потребность въ критическомъ трудѣ, который далъ бы безпристрастную, справедливую, должную оцѣнку личности и творчества Уайльда, разсѣявъ всѣ слухи и легенды, связанныя съ его именемъ. Насколько такая потребность является насущной, доказала новая значительно дополненная біографія Уайльда—Р. Шерарда\*, выдержавшая, не смотря на присущую всякой біографіи сухость, въ теченіе года цѣлыхъ три изданія. Въ pendant къ книгѣ Шерарда, тотъ же издатель, Т. Вернеръ-Лори, выпустилъ изслѣдованіе Ингльби, гдѣ послѣ осторожной, рассчитанной на широкіе круги публики, характеристики личности Уайльда данъ подробный, всесторонній разборъ его произведеній Читателю, болѣе или менѣе близко знакомому съ творчествомъ и жизнью Уайльда, книга Ингльби врядъ ли дастъ новый матеріалъ для разгадки сложной души англійскаго генія. Это лишь добросовѣстная, безпристрастная компиляція разныхъ мнѣній, фактовъ, данныхъ, которые въ отдѣльности давно извѣстны, но въ совокупности даютъ то достаточно цѣльное представленіе о писателѣ, которое долженъ себѣ составить безпристрастный читатель, впервые знакомящійся съ Уайльдомъ. Въ этомъ цѣнность книги Ингльби и ея преимущество передъ такими „изслѣдованіями“, какъ бездарныя, невѣжественныя разглагольствованія К. Гагемана, или передъ такими „характеристиками“, какъ саморекламирование Андрѣ Жида.

Объ другія книги, составленныя Стюартъ Мэзономъ, уже пріобрѣтшимъ заслуженную извѣстность своими всегда безукоризненно-точными, даже кропотливыми, біо-библіографическими изслѣдованіями о Уайльдѣ и его произведеніяхъ, представляютъ, главнымъ образомъ, интересъ для болѣе узкаго круга лицъ, настолько цѣнящихъ Уайльда, что каждая его строка для нихъ дорога.

\* См. „Вѣсы“ 1907, № 2.

С. Мэзонъ собралъ въ книгу, озаглавленную „Искусство и мораль“, рядъ критическихъ замѣтокъ, вызванныхъ появленіемъ „Портрета Доріана Грея“ въ 1890 г., въ Lippincott's Monthly Magazine, и отвѣты на нѣкоторые изъ нихъ Оскара Уайльда. Нечего и говорить, что такое выдающееся по смѣлости замысла и выполненія произведеніе, какъ „Портретъ Доріана Грея“, встрѣчено было дружной бранью „большой прессы“. Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ разнузданность газетныхъ „критиковъ“ зашла настолько далеко, что на три наиболѣе наглыхъ „отзыва“ изъ 216 Уайльдъ отвѣтилъ „письмами въ редакцію“, какъ всегда остроумными и убійственными для легкомысленныхъ рецензентовъ. Конечно, главнымъ доводомъ, выставленнымъ противъ „Доріана Грея“, были, якобы, безнравственность и неестественность этого произведенія, что побудило Уайльда написать для отдѣльнаго изданія романа знаменитое предисловіе, являющееся краткимъ эстетическимъ сгедо автора. Только одинъ критикъ оцѣнилъ по достоинству „Портретъ Доріана Грея“ — извѣстный эстетъ и одинъ изъ самыхъ блестящихъ стилистовъ Англіи, Уолтеръ Патеръ. Характерно отмѣтить, что духовные журналы, какъ „The Christian Leader“ и „Christian World“ и органъ англійскихъ теософовъ и оккультистовъ „Light“, въ противоположность свѣтскимъ, признали въ „Доріанѣ Греѣ“ романъ съ чисто моралистическими тенденціями, высоко нравственное произведеніе. Къ книгѣ „Искусство и мораль“ приложена подробная библіографія всѣхъ изданій, числомъ 21, „Портрета Доріана Грея“, англійскихъ и иностранныхъ, включая и русскіе переводы.

Выходящее въ Лондонѣ въ январѣ будущаго года собраніе сочиненій Уайльда, гдѣ будетъ собрано все имъ написанное \*, включаетъ и томъ стиховъ его, большая часть которыхъ (24) до сихъ поръ было мало кому извѣстна. Разыскать и собрать всѣ эти стихотворенія, разбросанныя по разнымъ журналамъ и сборникамъ, большинство которыхъ давно стало библіографической рѣдкостью, — составило не малую работу, и съ ней блестяще справился одинъ изъ редакторовъ предполагаемаго изданія — Стюартъ Мэзонъ. Ему удалось собрать всѣ стихотворенія Уайльда, кромѣ одного, которое, собственно, можетъ быть, и не было написано авторомъ, такъ какъ единственные имѣющіеся о немъ данныя — объявленіе о предполагаемомъ напечатаніи его въ ближайшемъ № журнала „Society“, такъ и не увидавшемъ свѣта.

Всѣ собранные имъ матеріалы, какъ-то: даты и мѣсто напечатанія, варианты текстовъ, количество изданій, иностранные переводы и. т. п., — Стюартъ Мэзонъ соединилъ въ изящно-изданную книгу

\* За исключеніемъ „Портрета Доріана Грея“, авторскія права на которое не уступлены вышшимъ владѣльцемъ ихъ — парижскимъ издателемъ Ch. Carrington.

„Библиографія стиховъ Уайльда“, только что появившуюся въ Лондонѣ. Одинъ изъ самыхъ интересныхъ отдѣловъ книги, несомнѣнно, страницы, посвященныя исторіи „Баллады Редингской тюрьмы“. Кромѣ подробной библиографіи англійскихъ изданій, перечислены и переводы на иностранные языки, причемъ первая строфа „Баллады“ приведена на англійскомъ, французскомъ, испанскомъ, нѣмецкомъ, итальянскомъ, новогреческомъ и русскомъ (въ переводѣ К. Бальмонта) языкахъ. Оба труда Стюарта Мэзона должны стать настольными книгами для cadaго, интересующагося Уайльдомъ.

М. Ликиардопуло.

**Rosa Newmarch. Poetry and Progress in Russia.** John Lane (The Bodley Head) London. 1907, 7/6.

Въ то время, какъ въ Англіи, да и на Западѣ, мастера русской прозы пользуются вполне заслуженной извѣстностью, русскіе поэты только въ послѣдніе годы становятся доступными иностранцамъ. Въ этомъ отношеніи всѣхъ опередили нѣмцы,—они уже знаютъ не только Пушкина и Лермонтова, но и Брюсова, Бальмонта, Гиппиуса, Сологуба, Минскаго. Англія же только сегодня впервые получаетъ въ книгѣ г-жи Ньюмарчъ, въ болѣе или менѣе систематическомъ видѣ, элементарныя свѣдѣнія о развитіи русской поэзіи отъ Пушкина до... Надсона.—Признаться, заглавіе труда г-жи Ньюмарчъ довольно неудачное: „Поэзія и прогрессъ въ Россіи“. Раскрывая книгу, съ досадою ждешь, что вмѣсто безпристрастной критической оцѣнки писателей и ихъ произведеній найдешь политическій памфлетъ той или другой партійной окраски, трактующій о вещахъ, ничего общаго съ чистой литературой и поэзіей не имѣющихъ. Г-жа Ньюмарчъ, словно предвидя такое впечатлѣніе отъ заглавія, спѣшитъ высказать въ предисловіи свое отрицательное отношеніе къ „утилитарной критикѣ“, какъ она ее называетъ, обезцѣнивающей личность писателя. И.—нужно отдать ей справедливость,—она вводитъ въ свои очерки „политику“ лишь настолько, насколько это имѣетъ то или другое существенное отношеніе къ жизни и творчеству cadaго разбираемаго поэта. Но все же г-жа Ньюмарчъ не можетъ окончательно отрѣшиться отъ устарѣлыхъ „либеральныхъ“ традицій и, не безъ извѣстной предвзятости, упоминаетъ о „славянофильскомъ теченіи въ русской поэзіи“.

Книга составлена изъ ряда очерковъ: о предшественникахъ и современникахъ Пушкина, о Пушкинѣ, Лермонтовѣ, Кольцовѣ, Некрасовѣ, Никитинѣ, Хомяковѣ и... Надсонѣ. Последнему, котораго г-жа Ньюмарчъ характеризуетъ какъ родоначальника русскаго „декаданса“(?), посвящено 24 страницы, въ то время, какъ о такихъ выдающихся величинахъ русской поэзіи, какъ Тютчевъ и Фетъ, не говоря уже объ А. Толстомъ и Полонскомъ,—не сказано ни слова. Очерки, хотя и

не отличаются живостью, большей частью свидѣтельствуютъ о довольно основательномъ знакомствѣ съ нѣкоторыми сторонами русской поэзіи, и въ общемъ характеристики поэтовъ довольно вѣрны за исключеніемъ двухъ послѣднихъ — Хомякова и Надсона, гдѣ „традиція“ заставила г-жу Ньюмарчъ недоцѣнить одного и переоцѣнить значеніе другого. Для „иллюстраціи“ разбираемыхъ поэтовъ г-жа Ньюмарчъ приводитъ рядъ переводовъ ихъ произведеній, сдѣланныхъ ею самой, миссъ Элленъ Франкъ и проф. Морфилемъ. Выборъ стихотвореній довольно случайный и его нельзя назвать характернымъ для каждаго поэта: очевидно, г-жа Ньюмарчъ воспользовалась готовымъ матеріаломъ. Что касается качества самихъ переводовъ, то, будучи довольно далекими отъ подлинниковъ, они въ то же время страдаютъ и нехудожественностью, сдѣланы плохими англійскими стихами, не поэтами, а просто „любителями“. Несмотря на всѣ свои недостатки, — а ихъ много, — можно высказать надежду, что книга г-жи Ньюмарчъ возбудитъ въ англійской публикѣ интересъ къ русской поэзіи и этимъ создастъ потребность въ послѣдующихъ, болѣе полныхъ и болѣе объективныхъ трудахъ о русскихъ поэтахъ отъ Пушкина (и... мимо Надсона) до нашихъ дней.

М. Ричардсъ.

#### Books received:

- Oscar Wilde. Art and Morality. Edited by S. Mason. J. Jacobs. (149 Edgware Road). London 6/—  
 Stuart Mason. A bibliography of the poems of O. Wilde. E. Grant. Richard (7, Carlton Street). London. 6/—  
 L. C. Ingleby. Oscar Wilde. T. Werner Laurie (Clifford's Inn). London 12/6.  
 Rosa Newmarch. Poetry and Progress in Russia. John Lane (The Bodley Head). London. 7/6.—  
 Maurice Baring. A Year in Russia. Methuen (36, Essex Str.). London 10/6.—  
 A. B. Walkley. Drama and Life. Methuen (36, Essex St.). London 6/—  
 The Book-War. The „Times“ Book-club. London.

# ИСКУССТВА

## ВЕЧЕРЪ ГОФМАНСТАЛЯ.

Письмо изъ Петербурга \*.

Театру, который захочетъ поставить себѣ серьезныя цѣли, такъ же трудно существовать въ Петербургѣ, какъ и въ глухой провинціи: нѣтъ зрителей. Оперетка и фарсъ собираютъ полный залъ, трагедія идетъ въ унылой пустынѣ. Зритель ждетъ, чтобы его развлекали. Отчасти онъ и правъ: если театръ даетъ ему только зрѣлище, если театръ оставляетъ его только безучастнымъ созерцателемъ представленія, то что же остается зрителю? Искать развлечения въ зрѣлищѣ! Если онъ не можетъ быть участникомъ трагической игры, то пусть же зрѣлище будетъ, по крайней мѣрѣ, ему совершенно понятно, пріятно и близко.

Театръ высокаго искусства только тогда соберетъ въ своихъ стѣнахъ толпу, когда онъ захватитъ зрителя въ страстное круженіе своего пламеннаго восторга. Когда зритель перестанетъ быть только зрителемъ. Когда онъ станетъ участникомъ дѣйствія. А для этого дѣйствіе на сценѣ должно перестать быть зрѣлищемъ, должно стать мистеріею.

Это будетъ театръ для избранныхъ? Интимный театръ? Можетъ быть. Но, можетъ быть, и для всѣхъ.

Зрѣлище, только зрѣлище, утомляетъ зрителя. Надоѣло... Не хотимъ только слушать. Хотимъ участвовать...

Это, можетъ быть, слишкомъ общій взглядъ для объясненія того или другого частнаго явленія. Что жъ! Просто и спокойно перейдемъ къ частностямъ и подробностямъ.

\* Считаю очень интереснымъ рядъ мыслей, высказываемыхъ въ настоящей статьѣ г. Федоромъ Сологубомъ, редакция „Вѣстовъ“, однако, рѣшительно расходится съ нимъ какъ во взглядахъ на театръ вообще, такъ и въ оцѣнкѣ драмъ Г. ф. Гофманстала.



Говоря о „вечерѣ Гофмансталя“, приходится говорить о томъ, что уже отошло въ область минувшаго. Въ одномъ изъ малыхъ театраль-ныхъ залъ Петербурга, въ такъ называемомъ Новомъ театрѣ, товари-ществомъ драматическихъ артистовъ подъ управленіемъ А. А. Санина было дано нѣсколько спектаклей. Были сдѣланы только двѣ поста-новки: „Вечеръ Гофмансталя“ и „Союзъ молодежи“ Ибсена. Теперь это предпріятіе уже покончило свое существованіе.

„Вечеромъ Гофмансталя“ названо было представленіе двухъ пьесъ этого автора: трагедія „Электра“ и драматическій эпизодъ „Смерть Тиціана“. О послѣднемъ говорить не могу. Должно быть, было хорошо. Знаю только, что было непреодолимо скучно. Интересъ вечера сводился къ „Электрѣ“.

Для того, кто посѣщаетъ театръ по обязанности, его привычка говорить о театрѣ подскажетъ ему удовлетворительныя слова о каждомъ спектаклѣ. Кто посѣщаетъ театръ не для писанія рецен-зій, для того, по большей части, трудно говорить о „видѣнномъ“,—не хочется. Такъ и я не скажу о многомъ. Не могу...

Сіжу въ зрительномъ залѣ, смотрю, и думаю:

„Скоро ли кончится?“

И, недовѣрчиво, почти безъ вѣры въ возможность этого, жду моментовъ сладкихъ, жуткихъ и трепетныхъ, моментовъ, для кото-рыхъ только и стоитъ ходить въ театръ. Если ихъ нѣтъ, то только и остается—сидѣть и ждать конца.

Видю превосходно сдѣланную декорацію. Вѣрю въ большую эрудицію художника. Недаромъ и на афишѣ наклеены картиночки очень ученаго содержанія: двѣ микенскія вазы, фризъ Тиринскаго дворца. Конечно, декорація сдѣлана съ громаднымъ знаніемъ дѣла. Но какое же мнѣ въ томъ утѣшеніе? Она мѣшаетъ мнѣ смо-трѣть на то, что дѣлается на сценѣ. Какой-то музей историческій передо мною,— такая бездна подробностей, что для обзорѣнія ихъ понадобилось бы не менѣе часа! Конечно, надо, чтобы декорація вводила въ тотъ міръ, который изображенъ. Но если бы поменьше подробностей!

Костюмы, массовыя сцены, большое искусство режиссера, плохая игра большинства артистовъ,—что до всего этого? Только бы одинъ моментъ восторга!

И онъ былъ данъ. Въ роли Электры зрители видѣли Роксанову,— а изъ нея могла бы выработаться, при счастливыхъ условіяхъ, настоящая трагическая актриса.

Трагическій актеръ—совсѣмъ не то же, что актеръ драматиче-скій. Трагедія и драма,—да это два разные міра, солнце и луна! Драма—вся въ борьбѣ. Трагедія—вся въ тишинѣ и безмолвіи непре-клонной рѣшимости. Герой драмы размышляетъ и колеблется. Съ

другими ли, съ самимъ ли собою, онъ вѣчный ведетъ споръ. Трагическій герой приходитъ для совершенія рокового замысла,—и съ его рокового пути нѣтъ возврата назадъ. Потому и гибель на концѣ этого пути. И до игры ли виѣшней трагическому актеру!

И вотъ, когда участники спектакля кричали свирѣпыми головами, яростно вращали глазами, дѣлали угрожающіе и необыкновенные жесты,—все это такъ не шло къ трагическому тону, что казалось смѣшнымъ. И сбивало исполнительницу роли Электры.

Пришла на сцену Клитемнестра, кричала, стучала палкой, неистовствовала, — казалась русскою помѣщицею стараго времени, словно вотъ сейчасъ позоветъ холоповъ и начнетъ истязать свою дочь. И, поддаваясь общему дурному тону, психопатничала иногда и Роксанова.

Но зато какъ она молчала! Какъ она смотрѣла! Какъ она слушала! Какъ она плакала!

Длился спектакль, скучный, потому что пьеса ничтожная, постановка—чрезмѣрно-ученая, актеры—слишкомъ актеры изъ драмы, единственная трагическая актриса еще не совсемъ нашла себя,—и только когда она оставалась одна, когда ей удавалось овладѣть страшною тишиною трагическаго устремленія, и въ молчаніи и въ словѣ передать непреклонный шопотъ рока, который тихъ и немолимъ,—тогда являлась торжественная и вѣрная трагедія, и оправданы были Смерть и Любовь,—оправдана была Любовь-Смерть.

Умеръ убитый Орестомъ Эгистъ, и съ шумными криками торжества собрался народъ. Вынесли на рукахъ, высоко поднявъ, Ореста, и закружилась, и завопила толпа, — бросилась въ бѣшеную пляску Электра, и слышенъ былъ вопль ея, торжествующій и страшный вопль.

Какъ ликуеть, какъ торжествуетъ, какъ свѣтло и ужасно радуется свободная душа человѣка! Какіе находитъ она звуки, какіе вопли исторгаетъ ея восторгъ изъ широко отверстыхъ устъ! Какая радость! Какой ужасъ! Какая прекрасная смерть!

Смерть! Потому что послѣ этого не надо жизни. И если она жила еще долго,—что до того! Только разъ душа человѣка можетъ такъ ликовать, и, такъ, ликуя, умираетъ.

Федоръ Сологубъ.

## ВЫСТАВКА НОВАГО РУССКАГО ИСКУССТВА ВЪ ПАРИЖѢ.

Письмо изъ Парижа.

5 декабря н. ст. состоялось l'inauguration выставки новаго русскаго искусства въ ПарижѢ. Нужды нѣтъ, что въ ней участвуютъ всего пять артистовъ и что помѣщеніе на rue Caumartin очень мало,—оригинальность замысла, дополненная большимъ художественнымъ вкусомъ, искупаетъ все. Устроители хотѣли здѣсь представить ту часть русскаго искусства, которая занимается воскрешеніемъ стариннаго стиля и, что еще интереснѣе,—старинной жизни. Поэтому здѣсь старательно изгнанъ элементъ антикварности или подражательности, и художники еще разъ хорошо доказали мысль, что тотъ, кто дѣйствительно пойметъ и полюбитъ русскую старину, найдетъ ее только въ своемъ воображеніи.

Королемъ выставки является, безспорно, Рѣрихъ (выставившій 39 вещей). Мнѣ любопытно отмѣтить здѣсь его духовное родство съ крупнымъ новаторомъ современной французской живописи, Полемъ Гогеномъ. Оба они полюбили міръ первобытныхъ людей съ его несложными, но могучими красками, линіями, удивляющими почти грубой простотой, и сюжетами дикими и величественными и, подобно тому, какъ Гогенъ открылъ тропики, Рѣрихъ открылъ намъ истинный сѣверъ, такой родной и такой пугающій.

Изъ большихъ картинъ Рѣриха наиболѣе интересна изображающая „Народъ кургановъ“, гдѣ на фонѣ сѣвернаго закатнаго неба и чернѣющихъ елей застыло сидятъ некрасивые коренастые люди въ звѣриныхъ шкурахъ; широкіе носы, торчащія скулы—очевидно, финны, Бѣлоглазая Чудь. Эта картина параллельна другой, бывшей въ Salon d'Automne. Тамъ тоже сѣверный пейзажъ, но уже восходъ солнца и вмѣсто финновъ—славяне. Великая сказка исторіи, смѣна двухъ расъ, рассказана Рѣрихомъ такъ же просто и задумчиво, какъ она совершилась, давно-давно, среди жалобно шелестящихъ болотныхъ травъ.

„Пѣсня о викингѣ“—вещь, изысканная по благородству красокъ, сѣрыхъ, синей и блѣдно-оранжевой: отъ сбѣгающаго вечера еще суровѣе сѣрыя стѣны дѣдовскаго дома; блѣлокурая грустная дѣвушка

поетъ о комъ-то далекомъ, а предъ нею, среди сверкающаго облака въ яростной схваткѣ сшиблись двѣ призрачныя ладьи.

„Сокровище Ангеловъ“—камень съ изображеніемъ дракона на одной сторонѣ и распятаго человѣка на другой. Это вѣковое сопоставленіе добра и зла и его ревниво охраняють толпы ангеловъ, прелестныхъ ангеловъ XIII вѣка монастырской Россіи.

Интересна была мысль выставить рядомъ Рѣриха и Билибина, одного—какъ представителя скандинавскихъ и отчасти византійскихъ теченій въ русскомъ искусствѣ, другого—какъ поборника теченій восточныхъ. Билибину удалось создать рядъ вещей чарующихъ и вѣжныхъ, *les petites merveilles*, какъ сказалъ одинъ извѣстный французъ, говоря о его картинахъ. Навѣрно, такія же грезы смущали сонъ Аѳанасія Никитина, Божьяго человѣка, когда, опираясь на посохъ, онъ шелъ по безконечнымъ степямъ къ далекому и чудесному царству Индѣйскому. Былина о Вольгѣ, это самое величественное произведеніе русскаго духа, нашла въ Билибинѣ чуткаго цѣнителя и иллюстратора, передавашаго всю ея своеобразную красоту. Кромѣ „Вольги“ на выставкѣ есть его иллюстраціи къ „Золотому пѣтушку“, „Царю Салтану“ и вещи, рисованныя для „Золотого Руна“.

Княгиня Тенишева выставила свои эмали и керамику и, кромѣ того, работы крестьянокъ Смоленской губерніи, сдѣланныя подъ ея наблюденіемъ. Она, и проповѣдуемое ею крестьянское искусство имѣють большой успѣхъ въ Парижѣ, такъ что многія вещи уже проданы, нѣкоторыя даже французскому правительству.

Два остальные экспонента—архитекторъ Щусевъ и скульпторъ баронъ Раухъ фонъ Траубенбергъ выставили очень мало, но оба, особенно послѣдній, обнаруживаютъ вкусъ и любовное изученіе старинны.

Выставка, несмотря на свою миниатюрность, производитъ вполне законченное впечатлѣніе.

Н. Гумилевъ.

•

## БИБЛОГРАФІЯ.

Сказки Пушкина. Сказка о царѣ Салтанѣ. Рисунки **И. А. Билибина**. Изданіе Экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ. Спб.

И. А. Билибинъ, несомнѣнно, принадлежитъ теперь къ наиболѣе извѣстнымъ русскимъ иллюстраторамъ и вообще такъ называемымъ Buchkünstler, и у рѣдкаго русскаго издателя, имѣющаго претензіи на художественный обликъ своихъ изданій, не найдется книги съ обложкой работы этого графика. Популярностью своей Билибинъ пожалуй, главнымъ образомъ, обязанъ иллюстраціямъ къ русскимъ сказкамъ, изданнымъ Экспедиціей заготовленія государственныхъ бумагъ, которыя разошлись въ значительномъ количествѣ и даже неоднократно находили подражателей. „Царь Салтанъ“ принадлежитъ къ той-же серіи иллюстрированныхъ сказокъ и тому-же типу изданій, хотя въ иномъ форматѣ. Въ цѣломъ здѣсь наблюдается большой шагъ впередъ въ сравненіи съ предыдущими работами художника. Билибинъ уже при первомъ своемъ выступленіи сразу обнаружилъ талантъ врожденнаго графика-декоратора, знакомаго съ требованіями печатнаго искусства и умѣющаго со вкусомъ распределять текстъ, иллюстраціи и виньетки на данной страницѣ или въ цѣломъ изданіи. Но тогда владѣніе формой далеко не всегда стояло на высотѣ декоративной трактовки иллюстрацій и сквозь умѣлую стилизацію слишкомъ часто проглядывалъ неумѣлый рисунокъ. Кромѣ того, и по краскамъ многое было сочтено довольно грубоватымъ. Въ „Царѣ Салтанѣ“, какъ вообще въ произведеніяхъ послѣднихъ лѣтъ Билибина, рисунокъ сталъ увѣреннѣе и въ значительной степени исчезло прежнее пристрастіе художника къ утрированной каррикатурности фигуръ, умѣстной, быть можетъ, въ юмористическомъ историческомъ жанрѣ, но положительно коробящей въ поэтической сказкѣ. И колоритъ отдѣльныхъ рисунковъ сталъ болѣе мягкимъ, тоннымъ, такъ что впечатлѣніе отъ всей тетради получается очень изящное.

Однако, и здѣсь Билибинъ привлекателенъ гораздо больше въ

качествъ орнаментиста-декоратора, чѣмъ творческимъ талантомъ настоящаго иллюстратора. Онъ очень внимательно изучалъ и прекрасно знакомъ съ древне-русскимъ прикладнымъ искусствомъ, его архитектурой, утварью, костюмами и, въ особенности,—съ тканями и вышивками. Равнымъ образомъ, онъ мастерски усвоилъ фактуру и способъ стилизаціи старинныхъ гравюръ по дереву, и въ результатъ вся бытовая сторона его акварелей и ихъ графическая техника выдержаны очень хорошо въ стилѣ красивой декоративной выпилки. Съ любовью почти миниатюриста Билибинъ покрываетъ пышнымъ орнаментомъ сарафаны, платки, кафтаны и уборы своихъ персонажей, богато орнаментируетъ мебель и утварь, и въ этомъ направленіи попадаютъ у него прелестныя детали. За-границей Билибинскія иллюстраціи, навѣрно,—и съ этнографически-исторической точки зрѣнія вполне заслуженно—считаются *par excellence* „русскими“. Зато суть его композицій, способъ, какимъ художникъ облачаетъ въ пластическіе образы отдѣльные моменты сказки, удовлетворяютъ значительно менѣе. Тутъ сказываются сухость и недостатокъ фантазіи, столь необходимой при воплощеніи наивно-глубокихъ произведеній народнаго творчества. Билибинъ остается всегда вѣренъ тексту, но въ немъ лишь очень мало сказочности, того цвѣтущаго вымысла и аромата чудеснаго, возбуждающаго фантазію читателя и дѣлающаго понятнымъ самое невѣроятное. Его рисунки красивы, но зрительное впечатлѣніе изящнаго здѣсь не занимаетъ въ насъ болѣе глубокой поэтической эмоціи, какъ это часто дѣлаютъ сказки покойной Полѣновой или Малютина. Стоитъ лишь сравнить „Царя Салтана“ Малютина—изд. А. И. Мамонтова—съ той же сказкой Билибина, чтобы понять, чего недостаетъ послѣднему. Тамъ, напр., тридцать три богатыря „въ чешуѣ, какъ жаръ горя“, дѣйствительно, какъ чудо, выходятъ изъ всколыхнушагося моря; у Билибина они стоятъ вытянутыми въ рядъ, какъ для парада. И такихъ примѣровъ еще много.

П. Эттингеръ.

*Zeitschrift für Aesthetik und Allgemeine Kunst-Wissenschaft.* Herausgegeben von **Max Dessoir**. Stuttgart. Verlag von Ferdinand Enke. Ежегодно четыре выпуска.

Въ этомъ журналѣ нѣмецкій философъ-эстетикъ, графъ Максъ Дессоаръ, впервые создалъ періодическое изданіе для разработкы вопросовъ философіи и психологіи искусства и вообще эстетики въ самомъ широкомъ ихъ значеніи, интересъ къ которымъ въ послѣдніе годы, несомнѣнно, сталъ очень живымъ. Краткій перечень содержанія первыхъ выпусковъ и имена авторовъ лучше всего могутъ дать понятіе о характерѣ и значительности дессоаровскаго журнала, об-

рашающагося ко всѣмъ тѣмъ, кого занимаютъ и волнуютъ философскія основы художественнаго творчества во всѣхъ его проявленіяхъ и разнородныя проблемы искусства съ общѣэстетической точки зрѣнія. Такъ, въ первомъ выпускѣ, рядомъ съ многочисленными обстоятельными рецензіями и очень подробной библіографіей, помѣщены слѣдующія статьи: „Къ эстетической механикѣ“ (проф. Т. Липпсъ), „Эстетическая иллюзія въ XVIII вѣкѣ“ (проф. Конрадъ Ланге), „Сила выраженія музыкальных мотивовъ“ (проф. Г. Риманнъ), „Третье измѣреніе въ искусствѣ“ (проф. Зиммель), „Аполлоново и Діонисево искусство“ (проф. Г. Шпицеръ) и „О формѣ и созиданіи (Form und Formung) въ поэзіи“ (Т. Поппе). Во второмъ выпускѣ обращаютъ на себя вниманіе статьи проф. Фолькельта „Фактическое и личное изъ опытовъ моихъ эстетическихъ работъ“, Т. Фольбера „Желтый цвѣтъ—цвѣтъ зависти“, Ольги Штиглицъ „Вспомогательныя средства рѣчи для пониманія и передачи музыкальных произведеній“, Р. Гаммана „Индивидуализмъ и эстетика“ etc., etc.

п. з.

L'Arte mondiale alla VII Expositione di Venezia. Bergamo, Istituto Italiano d'Arti Grafiche.

Подъ такимъ заглавіемъ вышелъ обстоятельный обзоръ 7-ой международной выставки въ Венеціи—пера небезызвѣстнаго итальянскаго критика, Витторіо Пика. Среди многочисленныхъ репродукцій даны воспроизведенія съ картинъ и скульптуръ слѣдующихъ русскихъ художниковъ: Врубеля, Грабаря, К. Коровина, Кустодіева, Левитана, Малявина, Мусатова, Рериха, Рѣпина, Рябушкина, Сѣрова, Сомова, Судьбинина, Тархова, Трубецкого.

п. з.

Н. Н. Черепнинъ выпустилъ I-ый томъ своихъ музыкальных интерпретацій „Фейныхъ Сказокъ“ К. Бальмонта (изд. П. Юргенсона).—Н. Энгель—романсъ на слова Валерія Брюсова „Каменьщикъ“ (изд. П. Юргенсона).—В. Толоконниковъ—романсъ на тѣ же слова („Каменьщикъ“ изд. А. Гутхейля) и на слова К. Бальмонта „Ландыши, лютики“ (изд. А. Гутхейля).—В. Бюцовъ—6 романсовъ на слова М. Лохвицкой.

---

Редакторъ-издатель С. А. ПОЛЯКОВЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1908 г. (II-й годъ изданія)  
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

## Русскій Артистъ.

Въ журн. приняи. ближайш. участіе: К. С. Станиславскій, Ю. К. Балтрушайтисъ, Андрей Бѣлый, М. М. Букша, Н. Г. Еремѣевъ, Н. Н. Званцевъ, В. И. Качаловъ, В. О. Коварскій, Оеі. Ал. Коршъ, Н. С. Кротковъ, А. А. Курсинскій, Вл. Линскій, М. О. Ликиардопуло, Н. А. Маныкинъ-Невструевъ, В. М. Михеевъ, С. С. Матовъ, Н. А. Миклашевскій, Л. Г. Мунштейнъ (Lolo), Я. Л. Розенштейнъ, Вл. Россинскій, Ю. С. Сахновскій, Б. М. Соловьевъ, Д. И. Соловьевъ, П. А. Сулержицкій, Эллисъ, Д. Д. Языковъ, А. Г. Якимченко и др.

Зарисовки всѣхъ новыхъ интересн. постановокъ. Портреты сценич. дѣтелей. Карикатуры на театр. злобы дня. Обширн. провнн. отдѣлъ.

Въ теч. года подп. получ. въ видѣ прилож. 12 новыхъ репертуарн. пьесъ, изд. котор. приобр. въ монополн. собств. ред. Подписн. цѣна на годъ съ дост. и перес. 5 руб. Допуск. разср.: при подп. 3 р., къ 1 мая 2. Москва, Театральн. пл., д. графа Ностицъ. Нов. №№ вых. утр. въ воскр., цѣна отд. № 15 коп.

Редакторъ-издатель П. Н. Мамонтовъ.

**НИВА** ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА **1908 г.**  
Кромѣ 52 №№ самаго жур-  
нала и др. къ нему приложеній,  
подписчики получаютъ:

Полное собраніе сочиненій въ  
**28** КНИ- ГЛАХЪ **Глѣба Ив. УСПЕНСКАГО**

Съ обширной критико-біографической статьёй Н. К. Михаловскаго.

Полное собраніе сочиненій въ  
**10** КНИ- ГЛАХЪ **Гергарта ГАУПТМАНА**

Въ образцовыхъ переводахъ извѣстныхъ писателей, съ критико-біогр. очеркомъ

**2** КНИ- Дневники и письма въ  
ГЛАХЪ **г-р. Алексѣя ТОЛСТОГО,**

которые представляютъ идейное дополненіе къ „Собр. соч.“ въ видѣ IV тома.  
**12** КНИГЪ „ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУЛЯРНО-  
НАУЧНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ“, == ВСЕГО ==

**52** КНИГИ, т.-е., независимо отъ друг. приложеній,  
ПО ОДНОЙ КНИГѢ ПРИ КАЖДОМЪ № „НИВЫ“.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „НИВЫ“ со всѣми приложеніями на годъ:

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ:  
безъ доставки—6 р. 50 к.  
съ доставкою—7 р. 50 к.

СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ ВО  
ВСѢ МѢСТА РОССИИ **8** р.  
За границу—12 р.

Разсрочка  
платежа  
въ 2, 3 и 4  
срока.

Г-г. новые подписчики на 1908 г. могутъ получить, кромѣ „Нивы“ 1908 г.,  
еще 10 книгъ г-р. А. Н. ТОЛСТОГО за 1907 г. за единовременную  
доплату: безъ доставки 2 руб., съ дост. и перес. 2 р. 50 к.  
Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается бесплатно.

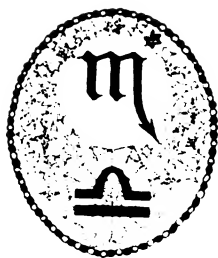
Адресъ: С.-Петербургъ, Въ Контору журнала „НИВА“, улица Готлиба, № 22.



# ВѢСЫ



# СКОРПІОНЪ



ТИПОГРАФІЯ О-ВА РАСПР. ПОЛ. КНИГЪ, АРЕНДУЕМАЯ В. Н. ВОРОНОВЫМЪ.

# ВѢСЫ

ЕЖЕМѢСЯЧНИКЪ ИСКУССТВЪ И ЛИТЕРАТУРЫ.

1908. Годъ изданія пятый. 1908.

Журналъ „Вѣсы“ посвященъ искусству въ широкомъ смыслѣ этого слова, понимая подъ нимъ—литературу, живопись, скульптуру архитектуру, музыку и театр.

Видя въ искусствѣ одно изъ высшихъ проявленій культурной жизни, „Вѣсы“ не могутъ не быть сторонниками всѣхъ культурныхъ начинаній. Напротивъ, „Вѣсы“ считаютъ своимъ долгомъ возставать, какъ противъ всѣхъ явленій, враждебныхъ сво одному развитію духовной жизни, такъ и противъ всякаго варварства, посягающаго на культурныя цѣнности. Полагая идею культуры не отдѣлимой отъ идеи преемственности, „Вѣсы“ хотятъ соединить исканія новаго съ уваженіемъ и любовью къ прошлому,—что невозможно безъ серьезнаго и глубокаго знакомства съ нимъ.

Въ наши дни самостоятельное значеніе искусства можетъ считаться общепризнаннымъ и прежніе взгляды на него, открыто ставившіе его въ подчиненное положеніе передъ общественностью, наукою, религіей и т. под., уже не требуютъ опроверженія. Точно также можетъ считаться общепризнаннымъ и такъ называемое „новое искусство“, которое, въ сущности, является единственнымъ искусствомъ нашего времени. Однако, устарѣлыя сужденія нерѣдко

появляются въ литературѣ вновь, подъ какой-нибудь личиной, а вниманіе, проявленное обществомъ къ „новому искусству“, привлекло въ ряды его дѣятелей не мало лицъ, къ тому совершенно не призванныхъ. „Въсы“ ставятъ себѣ, какъ прямую цѣль,—провести разграничительную черту между истиннымъ искусствомъ и лже-искусствомъ, между творчествомъ настоящихъ художниковъ нашихъ дней и художниковъ-самозванцевъ.

„Въсы“ въ своемъ литературномъ отдѣлѣ даютъ только произведенія чисто-художественныя, отвергая всякое полу-искусство, всѣ созданія, въ которыхъ художественность является лишь средствомъ, а въ рядѣ критическихъ статей и библиографическихъ замѣтокъ опѣниваютъ со своей точки зрѣнія всѣ сколько-нибудь выдающіяся явленія литературы, русской и иностранной. Въ беллетристическомъ отдѣлѣ „Въсовъ“ принимаютъ участіе какъ та группа писателей, которая въ теченіе восьми лѣтъ образовалась вокругъ книгоиздательства „Скорпіонъ“ и занимаетъ въ современной литературѣ достаточно определенное положеніе, такъ и многіе дѣятели другихъ литературныхъ группъ, причемъ этотъ кругъ постоянно пополняется молодыми силами. Въ критическомъ отдѣлѣ, кромѣ русскихъ писателей, приглашены къ участію дѣятели литературъ французской, нѣмецкой, англійской, итальянской, скандинавской, польской и др., благодаря чему „Въсы“ могутъ знакомить читателей со всѣми теченіями художественной жизни Европы одновременно съ западноевропейскими изданіями. Въ наиболѣе значительныхъ городахъ Европы, въ Парижѣ, Лондонѣ, Оксфордѣ, Берлинѣ, Мюнхенѣ, Вѣнѣ, Римѣ, Флоренціи, Аѣинахъ у „Въсовъ“ есть свои корреспонденты.

Въ художественномъ отдѣлѣ „Въсы“ даютъ преимущественно воспроизведенія рисунковъ, однотонныхъ и красочныхъ, русскихъ и иностранныхъ художниковъ. „Въсы“ стремятся къ тому, чтобы помѣщаемые рисунки по возможности точно, fac-simile, воспроизводили оригиналъ. Въ каждомъ № „Въсы“ даютъ отъ одной до четырехъ репродукцій на отдѣльныхъ листахъ, исполненныхъ гравюрой, хромо-литографіей, фототипіей, цвѣтной автотипіей и др. способами печатанія. Всѣ рисунки въ „Въсахъ“ 1908 г. будутъ воспроизведены съ подлинниковъ, принадлежащихъ редакціи или предоставленныхъ въ ея распоряженіе авторомъ.

„Въсы“ печатаются на лучшей бумагѣ верже, спеціально изготовленной для этого изданія, и выходятъ еженѣсячно (12 №№ въ годъ) книжками около 100 страницъ.

**Программа „Вѣсовъ“ обнимаетъ:**

1. Стихи, повѣсти, рассказы, романы, сказки, драматическія произведенія, оригинальныя и переводныя.
2. Руководящія статьи по вѣсьмъ вопросамъ литературы и искусствъ; біографіи и критическія характеристики писателей, художниковъ и композиторовъ.
3. Критическія и бібліографическія замѣтки о новыхъ книгахъ, появляющихся на языкахъ: русскомъ, польскомъ, чешскомъ, французскомъ, нѣмецкомъ, англійскомъ, итальянскомъ, испанскомъ, норвежскомъ, шведскомъ, греческомъ и др. Обзоръ журналовъ, русскихъ и иностранныхъ.
4. Критическіе обзоры художественныхъ выставокъ, театральныхъ и музыкальныхъ исполненій въ Россіи и за-границей.
5. Хроника литературы и искусствъ.
6. Рисунки художниковъ, русскихъ и иностранныхъ.

**Въ „Вѣсахъ“ принимаютъ участіе:**

Общій отдѣлъ: Ю. Айхенвальдъ, С. Ауслендеръ, Ю. Балтрушайтисъ, К. Бальмонтъ, А. Блокъ, Валерій Брюсовъ, Андрей Бѣлый, Ю. Верховскій, М. Волошинъ, З. Гиппиусъ, С. Городецкій, В. Гофманъ, Н. Гумилевъ, проф. Ө. Зѣлинскій, Вяч. Ивановъ, А. Кондратьевъ, А. Курсинскій, М. Кузминъ, Д. Мережковский, Н. Минскій, Ст. Пшибшевскій, А. Ремизовъ, В. Рѣзановъ, Иванъ Рукавишниковъ, В. Садовской, С. Соловьевъ, Ө. Сологубъ, Евг. Тарасовъ, К. Чуковский, Эллисъ.

Библіографическій отдѣлъ: Аврелій, В. Бакулинъ, И. Вороздинъ, С. Ещбоевъ, В. Каллашъ, Антонъ Крайній, Н. Лернеръ, М. Ликиардопуло, Н. Петровская, Петръ Пильскій, проф. М. Ростовцевъ, В. Саводникъ, проф. Б. Тураевъ, А. Яценко.

Отдѣлъ искусствъ: Лорансъ Биньонъ, Игорь Грабаръ, М. Кальвакоресси, Вс. Мейерхольдъ, С. Рафаловичъ, Альдо де-Ринальдисъ, А. Ростиславовъ, И. Щукинъ, П. Эттингеръ.

Французская литература: Ренэ Арко, Ренэ Гиль, Реми де-Гурмонъ, Жанъ де-Гурмонъ, Эсмеръ-Вальдоръ (А. Мерсеро).

Нѣмецкая литература: В. Гофманъ, А. Лютеръ, М. Шикъ, А. Эліасбергъ.

Англійская литература: Осбертъ Бёрдетъ, Лордъ Альфредъ Дёгласъ, В. Морфилъ, С. Мэзонъ, Робертъ Россъ, А. Симонсъ Моръ-Эди.

Итальянская литература: Дж. Амендола, Ф. Джолли, Дж. Папини, Энрико Р.

Скандинавскія литературы: Ю. Балтрушайтисъ, А. Йенсенъ, Дагни Кристенсенъ, С. Поляковъ.

Славянскія литературы: В. Маковский, И. Карасикъ, Г. Касперовичъ.

Греческая литература: М. Ликиардопуло, П. Нирванасъ.

Латышская литература: В. Эглитсъ.

Художники: А. Араповъ, Л. Бакетъ, В. Дриттенпрейсъ, Оскаръ Гиліа, Е. Инго, Карлъ Вальзеръ, Р. Костетти, Павелъ Кузнецовъ, Мельхиоръ Лехтеръ, Николай Миліоти, Н. Рерихъ, А. де Каролисъ, Тео ванъ-Риссельбергъ, Н. Сапуновъ, А. Силинъ, К. Сомовъ, Т. Стерджъ-Муръ, С. Судейкинъ, Фидусъ, М. Шестеркинъ, Н. Теофилактовъ.

Въ „Вѣсахъ“ 1908 года, между прочимъ, будетъ напечатано:

Валерій Брюсовъ. Огненный Ангелъ. Повѣсть изъ нѣмецкой жизни XVI в. Часть II-ая (главы XI—XVI). \*

Валерій Брюсовъ. Женщина съ бичомъ. Драма въ 5-ти дѣйствіяхъ, изъ итальянской жизни VI вѣка.

Д. С. Мережковский. О Лермонтовѣ. Критическое изслѣдованіе.

Андрей Бѣлый. Серебряный Голубь. Повѣсть изъ современной жизни.

К. Бальмонтъ. Пляска зноя. Цикль стиховъ.

Федоръ Сологубъ. Сладкая борьба. Разсказъ.

М. Кузминъ. Куранты любви. Лирическая поэма.

М. Кузминъ. Ракета. Цикль стихотвореній.

Александръ Блокъ. Сказки.

\* Гг. новые подписчики, не получавшіе «Вѣсовъ» въ 1907 г., могутъ получать первую часть этой повѣсти (главы I—X), въ числѣ книгъ, предлагаемыхъ гг. подписчикамъ бесплатно (см. стр. 8 этого каталога).

Александръ Блокъ. Заклятіе огнемъ и мракомъ и пляской метелей. Поэма.

Оскаръ Уайльдъ. De Profundis. Неизданные отрывки записокъ изъ Радингской тюрьмы. Авторизованный переводъ съ рукописи.

Оскаръ Уайльдъ. Неизданные письма. Авторизованный переводъ съ подлинниковъ.

Робертъ Россъ. Воспоминанія о послѣднихъ годахъ жизни Оскара Уайльда.

В. Бакулинъ. „Трагизмъ“ и „легкость“. Статья.

Неизданные стихи А. Пушкина и Е. Баратынскаго.

Новые стихи: Валерія Брюсова, З. Гиппіусъ, Ѳ. Сологуба, Андрея Бѣлаго, Вяч. Иванова и др.

Гг. годовые подписчики, доставившіе полностью подписныя деньги до выхода № 1, могутъ получить бесплатно изъ изданій к-ва „Скорпіонъ“, на сумму до трехъ рубл., слѣдующія книги:

Валерій Брюсовъ. Письма Пушкина и къ Пушкину. Новые материалы. Съ приложеніемъ факсимиле рисунковъ и рукописей Пушкина. Ц. 1 р. 50 к.

Андрей Бѣлый. Золото въ лазури. Первый сборникъ стиховъ. Обложка Н. Ѳеофилактова. Ц. 2 р.

Андрей Бѣлый. Сѣверная симфонія (1-я героическая) въ 4 частяхъ. Обложка по рисунку Обри Бердслея. Ц. 75 к.

Жагидисъ. Облака. Поэма въ прозѣ. Обложка Н. Ѳеофилактова. Ц. 65 к.

Ив. Коневоиой. Стихи и проза. Посмертное собраніе сочиненій съ портретомъ автора и предисловіемъ Валерія Брюсова. Ц. 2 р.

Зигмунтъ Красинскій. Небожественная комедія. Пер. А. Курсинскаго. Изд. 2-е. Съ портретомъ З. Красинскаго. Ц. 60 к.

Г. Ландсбергъ. Долой Гауптмана! Переволь съ нѣмецкаго. М. Семенова. Ц. 70 к.

Н. Лернеръ. Труды и дни А. С. Пушкина. Хронологическія данныя жизни Пушкина. Ц. 1 р.

М. Мэтерлиникъ. Избіеніе младенцевъ. Разсказъ. Со статьей А. ванъ-Бевера о жизни и творчествѣ М. Мэтерлинка. Ц. 40 к.

Ст. Шибышевскій. Ното Sapient. Романъ въ 3 частяхъ. Пер. М. Семенова. Обложка Н. Ѳеофилактова. Ц. 2 р. 40 к.

Ст. Шибышевскій. Pro domo mea. De profundis. У моря. День Вознесенія. Вигиліи. Аметисты. Сыны Земли. Пер. М. Семенова, Е. Троповскаго и С. Полякова. Обложка Е. Надельмана. Ц. 2 р. 40 к.

- Ст. Пишбышевскій.** Дѣти Сатаны. Романъ въ 4 частяхъ, Пер. Е. Троповскаго, Обложка Н. Теофилактова. Ц. 1 р. 30 к.
- Ст. Пишбышевскій.** Заупокойная месса. Въ часть чуда. Городъ смерти. Поэмы въ прозѣ. Пер. М. Семенова, Е. Троповскаго и др. Обложка Филуса. Ц. 1 р.
- Ст. Пишбышевскій.** Вѣчная сказка. Единственный разрѣшенный авторомъ переводъ Е. Троповскаго. Обложка Брунелески. Ц. 1 р.
- Ст. Пишбышевскій.** Сыны Земли. Романъ. Пер. Е. Троповскаго. Ц. 50 к.
- Федоръ Сологубъ.** Жало смерти. Рассказы. Ц. 1 р. 50 к.
- Сѣверные цвѣты** на 1901 г. Стихи, рассказы, статьи. Обложка К. Сомова. Ц. 1 р.
- Сѣверные цвѣты** на 1902 г. Стихи, рассказы, статьи. Обложка К. Сомова. Ц. 1 р.
- Сѣверные цвѣты Ассирійскіе** на 1904—5 г. Роскошное изданіе. Обложка и всѣ украшенія Н. Теофилактова. Ц. 3 р.
- Артуръ Шницеръ.** Зеленый попугай. Трилогія. «Парацельсъ». «Подруга» «Зеленый попугай». Перев. съ нѣмецкаго. Ц. 60 к.

Новые подписчики 1908 г., не имѣющіе „Вѣсовъ“ за 1907 г. могутъ получить въ числѣ этихъ книгъ также новое изданіе:

**Валерій Брюсовъ.** Огненный Ангелъ. Повѣсть изъ нѣмецкой жизни XVI в. Часть I. (Главы I—X). М. 1908 г. Ц. 2 р.

Вторая часть этой повѣсти (главы XI—XVI) будетъ напечатана въ „Вѣсахъ“ 1908 г.

Пересылка всѣхъ этихъ книгъ на счетъ заказчика по дѣйствительной стоимости.

Если стоимость избранныхъ книгъ превыситъ 3 р., гг. подписчики съ большей суммы будутъ пользоваться обычною скидкой въ 15%. Гг. подписчики благоволятъ при указаніи избранныхъ ими книгъ прилагать причитающіяся съ нихъ деньги какъ на пересылку, такъ и на покрытіе цѣнъ, превышающихъ 3 р. Въ противномъ случаѣ слѣдующая сумма будетъ взыматься конторою — наложеннымъ платежомъ.



### УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛЪ „ВЪСЫ“.

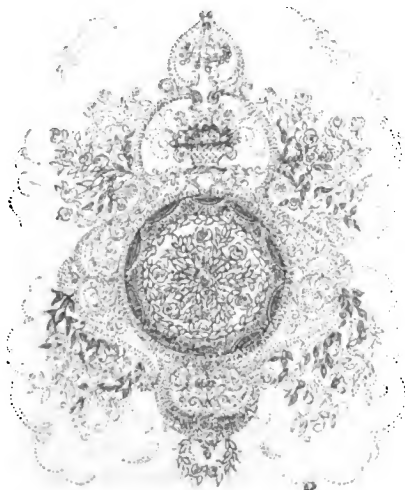
Въ Россіи на годъ (12 №№) пять рублей съ пересылкой; на полгода три рубля съ пересылкой. За-границу семь рублей (18 фр).

Всѣ подписчики „Вѣсовъ“ на 1908 годъ пользуются: при выпискѣ изъ редакціи изданій к—ва „Скорпіонъ“ и к—ва „Оры“—скидкой отъ 15 до 50%.

Подписна на „Вѣсы“ принимается: 1) въ Москвѣ, въ главной конторѣ журнала,—Театральная площадь, домъ Метрополь, кв. 23, книгоиздательство „Скорпіонъ“; 2) въ С.-Петербургѣ, въ отдѣленіи конторы—Садовая, 18, книжный складъ „Комиссіонеръ“; 3) въ Кіевѣ—въ магазинѣ Л. Идаиковскаго, Крещатикъ, 29; 4) въ Берлинѣ—у Edm. Meyer, Buchhandl., Berlin W., Potsdamerstrasse 24 в; 5) во всѣхъ большихъ книжныхъ магазинахъ Москвы, С.-Петербурга и провинціи.

Гг. иногороднимъ во избѣжаніе различныхъ недоразумѣній предлагается присылать подписныя деньги непосредственно въ главную контору журнала.

Редакторъ-издатель С. А. ПОЛЯКОВЪ.



# СКОРПІОНЪ

Цѣль книгоиздательства „Скорпіонъ“—знакомить съ новыми теченіями въ русской и европейской литературѣ. Значительную долю вниманія удѣляетъ книгоиздательство внѣшности книгъ, заботясь, чтобы она стояла въ строгомъ соотвѣтствіи съ содержаніемъ. Обложки книгъ, выпущенныхъ к-вомъ „Скорпіонъ“, большей частью исполнены выдающимися художниками и представляютъ самостоятельный художественный интересъ.

Подписчики „Вѣсовъ“ пользуются при выпускѣ черезъ редакцію изданій к-ва „Скорпіонъ“ и к-ва „Оры“ скидкой отъ 15 до 50% при пересылкѣ за счетъ книгоиздательства. Въ настоящемъ каталогѣ, послѣ продажной цѣны изданія, въ скобкахъ указана его цѣна для подписчиковъ „Вѣсовъ“. Изданія, при которыхъ уменьшенная цѣна не обозначена, остались на складѣ въ небольшомъ количествѣ и на нихъ скидка не можетъ быть сдѣлана.

Всѣ, выписывающіе непосредственно изъ склада, пользуются пересылкою за счетъ книгоиздательства. Деньги, причитающіяся за заказываемыя изданія, просятъ высылать впередъ—при заказѣ. При выпискѣ наложеннымъ платежомъ расходы по наложенію платежа принимаютъ на себя гг. заказчики. Провинціальныя книжныя магазины, при наличномъ расчетѣ, пользуются уступкой въ 30%, но должны принимать на себя расходы по пересылкѣ книгъ.

Адресъ конторы книгоиздательства „Скорпіонъ“ и редакціи журнала „Вѣсы“: Москва, Театральная пл., д. Метрополь, кв. 23, (телефонъ 50—89). Контора открыта ежедневно, кромѣ праздниковъ, отъ 11 ч. дня до 6 ч. вечера. Отдѣленіе конторы: Петербургъ, Садовая, 18, книжный складъ „Комиссіонеръ“. Изданія к-ва „Скорпіонъ“ можно также получать въ книжномъ складѣ „Складчина“, Петербургъ, Енотерининская, 4.

## КАТАЛОГЪ КЪ ЯНВАРЮ 1908 г.

## I. СТИХИ.

**Ю. Балтрушайтисъ.** Жятва Дня. Печатается.

**И. Д. Бальмонтъ.** Полное собраніе стиховъ.

Томъ I. („Подъ Сѣвернымъ Небомъ“. „Въ безбрежности“. „Тишина“). М. 1905 г. Ц. 2 р. (1 р. 70 к.).

Томъ II. („Горящія аданія“. „Будемъ какъ солнце“). М. 1904 г. Ц. 3 р. (2 р. 55 к.).

**И. Д. Бальмонтъ.** Жаръ-Птица. Свирѣль славянина. Обложка К. Сомова. (Хромолитографія). М. 1907 г. Ц. 2 р. (1 р. 70 к.).

**Александръ Блокъ.** Нечаянная Радость. Второй сборникъ стиховъ М. 1907 г. Ц. 1 р. 50 к. (1 р. 28 к.).

**Валерій Брюсовъ.** Stephanos. Вѣнокъ. Стихи 1903—1905 г. Ц. 2 р.

**Валерій Брюсовъ.** Пути и перепутья. Т. I. Стихи 1892—1901 гг. (Chefs d'Oeuvre. Meum esse. Tertia Vigilia). М. 1907 г. Ц. 2 р. (1 р. 70 к.).

**Валерій Брюсовъ.** Пути и перепутья. Томъ II. Печатается.

**Ив. Бунинъ.** Листопадъ. Стихотворенія. М. 1905 г. Ц. 1 р.

**Андрей Бѣлый.** Золото въ лазури. Первый сборникъ стиховъ. Обложка Н. Теофилактова. М. 1904 г. Ц. 2 р. (1 р.).

**Андрей Бѣлый.** Закатные прахи. Второй сборникъ стиховъ. Печатается.

**Поль Верленъ.** Гимны, пѣсни и исповѣди. Переводъ Валерія Брюсова. Печатается.

**Эмиль Верхарнъ.** Стихи о современности. Переводъ Валерія Брюсова. Съ портретомъ Верхарна, работы Т. ванъ-Риссельберга. Ц. 1 р. 30 к. (1 р. 10 к.).

**З. Н. Гиппиусъ.** Собраніе стиховъ. М. 1904 г. Ц. 1 р. 50 к. (1 р. 28 к.).

**Вячеславъ Ивановъ.** Прозрачность. Вторая книга лирики. Обложка Н. Теофилактова. М. 1904 г. Ц. 1 р. 50 к. (1 р. 28 к.).

**Вячеславъ Ивановъ.** Cor Ardens. Iris in Iris. Эросъ. Обложка К. Сомова. Печатается.

**Ив. Коневской.** Стихи и проза. Посмертное собраніе сочиненій съ портретомъ автора и предисловіемъ Валерія Брюсова. М. 1904 г. Ц. 2 р. (1 р.).

**Д. С. Мережковский.** Собраніе стиховъ. М. 1904 г. Ц. 1 р. 50 к. (1 р. 28 к.).

- Федоръ Сологубъ.** Собраніе стиховъ. М. 1904 г. Ц. 1 р. 50 к. (1 р. 28 к.).
- Оскаръ Уайльдъ.** Тюремная баллада. Переводъ К. Бальмонта. Обложка М. Дурнова. М. 1904 г. Ц. 50 к. (35 к.).

## II. РОМАНЫ И РАЗСКАЗЫ.

- Валерій Брюсовъ.** Земная Ось. Разказы и драматическія сцены. М. 1907. Ц. 1 р. 50 к. (1 р. 28 к.).
- Валерій Брюсовъ.** Огненный Ангелъ. Повѣсть изъ нѣмецкой жизни XVI в. 2 части. Печатается.
- Андрей Бѣлый.** Сѣверная симфонія. (1-я героическая) въ 4 частяхъ. Обложка по рисунку Обри Бердслея. М. 1904 г. Ц. 75 к. (38 к.).
- Андрей Бѣлый.** Кубокъ метелей. 4-ая симфонія. Печатается.
- Кнутъ Гамсунъ.** Съеста. Очерки и разказы. Переводъ съ норвежскаго С. А. Полякова. М. 1900 г. Ц. 1 р. (85 к.).
- Жагадисъ.** Облака. Поэма въ прозѣ. Обложка Н. Теофилактова. М. 1905 г. Ц. 65 к. (33 к.).
- М. Кузминъ.** Крылья. Повѣсть въ 3 частяхъ. Изданіе второе. Обложка Н. Теофилактова. М. 1907 г. Ц. 80 к. (68 к.).
- Морисъ Матерлинъ.** Избіеніе младенцевъ. Разказъ. М. 1904 г. Ц. 40 к. (20 к.).
- Эдгаръ По.** Собраніе сочиненій въ переводѣ К. Д. Бальмонта. Томъ II. Разказы, статьи. М. 1905 г. Ц. 1 р. 30 к. (1 р. 10 к.).
- Ст. Пишчевскій.** Собраніе сочиненій.
- Томъ I. Ното Sapiens. Романъ въ 3 частяхъ. Пер. М. Семенова. Изд. второе 1904 г. Обложка Н. Теофилактова. Ц. 2 р. 40 к. (2 р.).
- Томъ II. Pro domo mea De profundis. У моря. День Вознесенія. Вигиліи. Аметисты. Сыны Земли. Пер. М. Семенова, Е. Троповскаго и С. Полякова. 1905 г. Обложка Е. Надельмана. Ц. 2 р. 40 к. (2 р.).
- Томъ III. Дѣти Сатаны. Романъ въ 4 частяхъ. Пер. Е. Троповскаго. Обложка Н. Теофилактова. М. 1906 г. Ц. 1 р. 30 к. (1 р. 10 к.).
- Томъ IV. Заупокойная месса. Въ часъ чуда. Городъ смерти. Поэмы въ прозѣ. Пер. М. Семенова, Е. Троповскаго и др. Обложка Фидуса. М. 1906 г. Ц. 1 р. (85 к.).
- Томъ V. Статьи. Печатается.

- Ст. Пшибышевскій.** Сыны Земли. Романъ. Пер. Е. Троповскаго. М. 1905 г. Ц. 50 к. (25 к.)
- Федоръ Сологубъ.** Ж а л о с м е р т и. Разказы. М. 1905 г. Ц. 1 р. 50 к. (1 р.).

## III. ДРАМЫ.

- Габріэль д'Аннунціо.** Трагедіи: „Мертвый городъ“, „Джіоконда“, „Слава“. Пер. съ итальянскаго Ю. Балтрушайтиса. М. 1900 г. Ц. 1 р. 25 к. (87 к.).
- Кнутъ Гамсунъ.** Драма жизни. Переводъ съ норвежскаго С. А. Полякова. Изданіе третье. М. 1907 г. Ц. 50 к. (40 к.).
- Зигмунтъ Красинскій.** Небожественная комедія. Пер. А. Курсинскаго. Изданіе второе. Съ портретомъ З. Красинскаго. Ц. 60 к. (45 к.).
- А. Зиновьева-Аннибалъ.** Кольца. Драма въ 3-хъ дѣйств. Предисл. Вячеслава Иванова. Обложка Н. Теофилактова. М. 1904 г. Ц. 1 р. 80 к. (1 р. 53 к.).
- Шарль ванъ Лербергъ.** Драмы и разказы. Переводъ С. А. Полякова. Печатается.
- Морисъ Матерлинкъ.** Пеллеасъ и Мелизанда и стихи. Переводъ Валерія Брюсова. Съ 3-мя портретами М. Матерлинка и статьей о его жизни и творчествѣ. М. 1907 г. Ц. 1 р. (85 к.).
- Ст. Пшибышевскій.** Вѣчная Сказка. Пер. Е. Троповскаго. Обложка Брунелески. М. 1907 г. Ц. 1 р. (85 к.).
- Оскаръ Уайльдъ.** Флорентинская Трагедія. Единственный авторизованный переводъ (съ рукописи) М. Ликиардопуло и А. Курсинскаго. Съ 3 портретами О. Уайльда. Ц. 80 к. (68 к.).
- Артуръ Шницлеръ.** Зеленый попугай. Трилогія. „Парцельсъ“. „Подруга“. „Зеленый попугай“. Перев. съ нѣмецкаго М. 1900 г. Ц. 60 к. (30 к.).

## IV. ИСТОРІЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВЪ.

- Валерій Брюсовъ.** Лицейскіе стихи Пушкина. Къ критикѣ текста. М. 1907 г. Ц. 1 р. (85 к.).
- Г. Ландбергъ.** Долой Гауптмана! Переводъ съ нѣмецкаго. М. Семенова. М. 1902 г. Ц. 70 к. (35 к.).
- Н. Лернеръ.** Труды и дни А. С. Пушкина. Хронологическія данныя жизни Пушкина. М. 1903 г. Ц. 1 р. (50 к.).
- Д. С. Мережковский.** Гоголь и чортъ. Исслѣдованіе. Обложка Н. Теофилактова. М. 1906 г. Ц. 1 р. 80 к. (1 р. 53 к.).

**Письма Пушкина и къ Пушкину.** Новые матеріалы. Редакція и примѣчанія Валерія Брюсова. Приложены факсимиле рисунковъ и рукописей А. Пушкина. М. 1903 г. Ц. 1 р. 50 к. (75 к.).

**Арт. Симонъ.** Обри Бердслей. Перев. М. Ликиардопуло. Авторизованное изданіе съ портретомъ О. Бердслея и воспроизведеніемъ его рисунковъ. Печатается.

#### V. АЛЬМАНАХИ.

**Сѣверные цвѣты** на 1901 г. Стихи, рассказы, статьи. Обложка К. Сомова. М. 1901 г. Ц. 1 р.

**Сѣверные цвѣты** на 1902 г. Стихи, рассказы, статьи. Обложка К. Сомова. М. 1902 г. Ц. 1 р.

**Сѣверные цвѣты.** Альманахъ за три года—1901, 1902, 1903 г. Большой томъ, свыше 600 стр. Стихи, рассказы, статьи: К. Бальмонта, Валерія Брюсова, З. Гиппиусъ, М. Лохвицкой, Д. Мережковского, Н. Минскаго, В. Розанова, К. Случевского, К. Фофанова, А. Чехова и др. Письма: А. С. Пушкина, Ф. Тютчева, И. С. Тургенева, А. Фета, Вл. Соловьева, Н. Некрасова и др. Виньетки и заставки К. Сомова, Л. Бакста, М. Волошина и др. Обложка В. Борисова-Мусатова. М. 1904 г. Ц. 3 р.

**Сѣверные цвѣты Ассирійскіе.** На 1904—5 г. Роскошное изданіе. Содержаніе: „Три разцвѣта“, драма К. Бальмонта, „Земля“, сцены изъ будущихъ временъ Валерія Брюсова, „Танталъ“, трагедія Вяч. Иванова. Стихи и рассказы С. Соловьева, Макса Волошина, Ф. Сологуба, Н. Минскаго, З. Гиппиусъ, М. Криницкаго, Ю. Череды, Л. Зиновьевой-Аннибалъ и др. Обложка и всѣ украшенія Н. Теофилактова. М. 1905 г. Ц. 3 р. (2 р. 55 к.).

#### VI. ЖУРНАЛЫ.

**Вѣсы** за 1904, 1905, 1906 и 1907 г. Каждый годъ 12 №№, свыше 1000 стр. текста, съ рисунками (черными или въ нѣсколько красокъ) на отдѣльныхъ листахъ, художественными обложками и оригинальными виньетками. Каждый годъ представляетъ собою обзоръ культурной жизни всей Европы и подробную библіографію книгъ, вышедшихъ за этотъ періодъ на европейскихъ языкахъ. При каждомъ годѣ данъ алфавитный указатель помѣщенныхъ произведеній и разобранныхъ книгъ. Цѣна комплекта: за 1904, 1905 и 1906 г. безъ пересылки по 6 р. (5 р.); за 1907 г., въ виду незначительнаго числа оставшихся экземпляровъ, 8 р. (7 р.) безъ пересылки. При покупкѣ полнаго комплекта, за всѣ четыре года, цѣна 25 р. (20 р.) безъ пересылки. Пересылка за счетъ заказчика по дѣйствительной стоимости.

## VII. МУЗЫКА.

**М. Кузминъ.** Александрійскія пѣсни. Слова и музыка Кузмина. Печатается.

## VIII. РАСПРОДАННЫЯ ИЗДАНИЯ.

**К. Бальмонтъ.** Будемъ какъ солнце. Обложка Фидуса. М. 1903 г.

**Валерій Брюсовъ.** *Tertia Vigilia*. Стихи 1897—1900 г. М. 1901 г.

**Валерій Брюсовъ.** *Urbi et Orbi*. Стихи 1901—1903 г. М. 1903 г.

**Андрей Бѣлый.** Симфонія (2-я драматическая). М. 1902 г.

**Кнутъ Гамсунъ.** Панъ. М. 1901 г.

**А. Добролюбовъ.** Собраніе стиховъ. М. 1901 г.

**Генрихъ Ибсенъ.** Когда мы мертвые проснемся (Изд. 1 и 2). М. 1901 г.

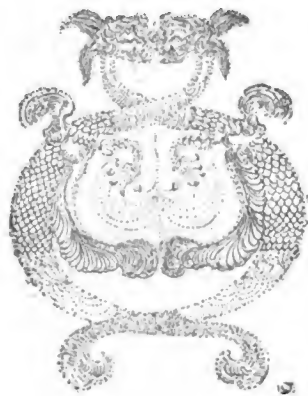
**Луижецій Каръ.** О природѣ вещей. Пер. И. Рачинскій. М. 1904 г.

**Д. Мережковский.** Любовь сильнѣе смерти. М. 1902 г.

**А. Л. Микопольскій.** Лѣствица. Поэма. М. 1902 г.

**Сѣверные цвѣты на 1903 г.** Обложка Л. Бакста. М. 1903 г.

Объ условіяхъ выписки книгъ см. на стр. 9 этого каталога.







Slav 20.17

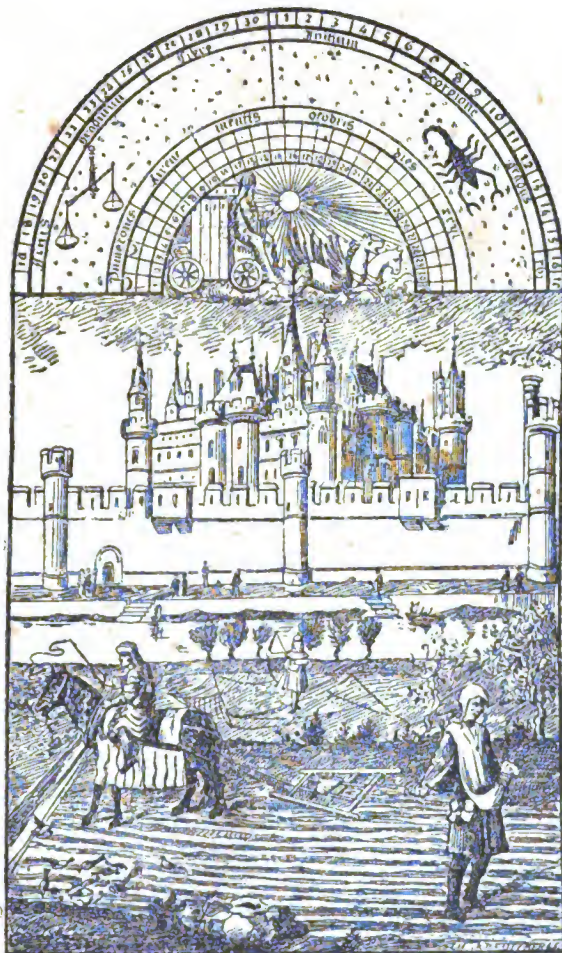




ВѢСЫ ☉ ДЕКАБРЬ ☉ 1907

La Balance. Décembre. 1907

Годъ изданія четвертый. Quatrième année.



**Книгоиздательство «СКОРПИОНЪ».**

Москва, Театральная пл., д. Метрополь, кв. 23.

Moscou, Place de Théâtre, m. Métropole, 23.

# «ВѢСЫ» ЕЖЕМѢСЯЧНИКЪ ИСКУССТВЪ И ЛИТЕРАТУРЫ.

Годъ изданія четвертый. 1907. N 12, декабрь.

## СОДЕРЖАНІЕ.

### Стихи, рассказы, повѣсти.

З. Гиппіусъ. Три стихотворенія. . . . .	5
Александръ Блокъ. Осенняя любовь. Снѣжная дѣва. Стихи. . . . .	10
Борисъ Садовской. Черты изъ жизни моей. Памятныя записки. . . . .	17
Валерій Брюсовъ. Огненный ангелъ. Повѣсть XVI в. Гл. X. . . . .	32

### Литература. Русская литература.

Библиографія. (Алексѣй Ремизовъ. Прудъ.—А. Оедоровъ. Рассказы.— К. Ковальскій. Терновый вѣнецъ.—С. Найденовъ. Хорошенькая.— М. Гершензонъ. П. Я. Чаадаевъ.—Мих. Лемке. Политическіе про- цессы). . . . .	54
---	----

### Французская литература.

Ренэ Гиль. Поль Клодель и Сень-Поль-Ру. (Paul Claudel. Connaissance de l'Est. — Le-même. Art poétique.—Saint-Paul-Roux. Les Féeries intérieures). . . . .	65
---	----

### Искусства.

Альдо де Ринальдисъ. Современная итальянская живопись. . . . .	75
--	----

### Отъ редакціи.

«Вѣсы» въ 1908 году. . . . .	84
Указатель къ «Вѣсамъ» 1907 года. . . . .	87

### Рисунки.

С. Судейкинъ. Изъ Анакреона. . . . .	Передъ стр. 33
Н. Теофилактовъ. Пустынникъ. . . . .	Передъ стр. 49
Концовки и заставки по рисункамъ Альбрехта Дюрера (XVI вѣка). . . . .	
Обложка и надписи (стр. 54 и 75) Н. Теофилактова. . . . .	
Фронтисписъ—миниатюра XIV вѣка. . . . .	

HARVARD COLLEGE LIBRARY  
GIFT OF  
ARCHIBALD CARY COOLIDGE

Nov. 14, 1922

## СОДЕРЖАНИЕ.

### SOMMAIRE.

Z. Hippius. Poèmes. — Alexandre Block. Poèmes. — Boris Sadvovskoy. Les Traits de ma vie. Une nouvelle. — Valère Brussov. L'Ange igné. Roman de la vie allemande du XVI siècle. Chap. X.

Littérature russe. Bibliographie. (Comptes-rendus sur les livres de M. M. Alexis Rémizoff, A. Fédoroff, C. Kovalsky, S. Naïdénoff, M. Herschensohn et M. Lemké).

Littérature française. René Ghil. Paul Claudel et Saint-Paul-Roux. (A propos de leurs livres nouveaux).

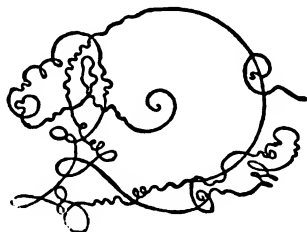
Beaux-Arts. Aldo de Rinaldis. La peinture italienne contemporaine.

Prospectus de la «Balance» pour 1908 et Table de la matière de la «Balance» en 1907.

Dessins. Serge Soudeikine. Anacréontiques. Dessin inédit (pages 33—34).—N. Théophilaktoff. L'Ermite. Dessin inédit (pages 48—49).—Ornementations tirées des dessins d'Albrecht Dürer. — Couverture et inscriptions (pages 54 et 75) par N. Théophilaktoff. — Frontispice—miniature du Livre d'Heures du duc de Berri.

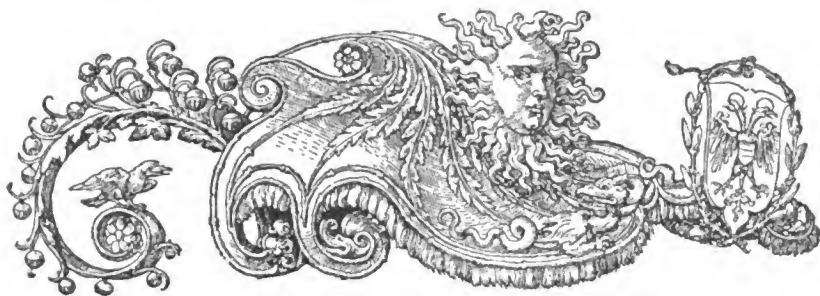
\*

Подписка на „Вѣсы“ 1908 г. (пятый годъ изданія) открыта. Условія подписки см. въ концѣ этого №. Годовые подписчики, внесшіе подписныя деньги сполна до выхода № 1, имѣютъ право получить книгъ изданія к-ва „Скорпіонъ“ на сумму до 3 р. изъ списка, опубликованнаго въ каталогъ № 6 (см. „Вѣсы“ № 11). № 1 „Вѣсовъ“ 1908 г. выйдетъ около 15—20 января.



ТИПОГРАФИЯ О-ВА РАСПРОСТРАН. ПОЛЕЗН. КНИГЪ. АРЕНД. В. И. ГОРОНОВЫМЪ, МОСКВА, Д. КИ. ГАГАРИНА.





## СТИХИ З. ГИПШУСЬ.

### І. ОПЯТЬ.

Андрею Ёблому.

Ближе, ближе вихорь пыльный,  
Мчится вражеская рать.  
Я—усталый, я—безсильный,  
Мнѣ ли съ вихремъ совладать?

Одинокіе послушны,  
Не бѣгутъ своей судьбы.  
Пусть обниметъ вихорьдушный,  
Побѣждаетъ безъ борьбы.

Выду я къ нему на встрѣчу,  
Силѣ мглистой поклонюсь.  
На призывъ ея отвѣчу,  
Въ нити сѣрыя вовьюсь.

Не разрѣжетъ, не размететъ,  
Честной сталью не пронзятъ,—  
Незамѣтно изувѣчатъ,  
Невозвратно ослѣпятъ.

Попируемъ мы на тризнѣ...  
Заметайся пыльный слѣдъ!  
Распадайтесь скрѣпы жизни,  
Ночь прошла,—но утра нѣтъ.

Ѣдко, сладко дышитъ тлѣнье...  
Въ сѣромъ вихрѣ таетъ плоть...  
Вспомяни мое паденье,  
На судѣ Твоемъ, Господь!





## II. ВЪ ЧЕРТУ.

Онъ пришелъ ко мнѣ,—а кто, не знаю,  
Очертилъ вокругъ меня кольцо.  
Онъ сказалъ, что я его не знаю,  
Но плащомъ закрылъ себѣ лицо.

Я просилъ его, чтобъ онъ помедлилъ,  
Отошелъ, не трогалъ, подождалъ.  
Если можно, чтобъ еще помедлилъ,  
И въ кольцо меня не замыкалъ.

Удивился Темный: „Что могу я?“  
Засмѣялся тихо подъ плащомъ.  
„Твой же грѣхъ обвился,—что могу я?  
„Твой же грѣхъ обвинилъ тебя кольцомъ“.

Уходя, сказалъ еще: „Ты жалокъ!“  
Уходя, сникая въ пустоту.  
„Разорви кольцо, не будь такъ жалокъ!  
„Разорви и вытяни въ черту“.

Онъ ушелъ, но онъ опять вернется.  
Онъ ушелъ—и не открыть лица.  
Что мнѣ дѣлать, если онъ вернется?  
Не могу я разорвать кольца.



## III. СЫЗНОВА.

Хотимъ мы созидать и разрушать,  
Все сызнава начнемъ, сначала.  
Ужели погибать и воскресать,  
Душа упрямая устала?

Все сызнава начнемъ; остановись,  
Жужжащая уныло прялка!  
Нить перетлѣвшая давно—порвись!  
Мнѣ въ прошломъ ничего не жалко.

А если не порвешься—разсѣчемъ.  
Мой гнѣвъ, ударъ мой,—непорочень.  
Раздѣлимъ наше бытіе мечомъ:  
Клинокъ мерцающій отточень...

З. Гиппиусъ.

# СТИХИ А. БЛОКА.

## 1. ОСЕННЯЯ ЛЮБОВЬ.

Три стихотворенія.

1.

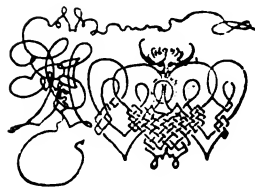
Когда въ листьѣ сырой и ржавой  
Рябины заалѣтъ гроздь,—  
Когда палачъ рукой костлявой  
Вобѣтъ въ ладонь послѣдній гвоздь,—

Когда надъ рябью рѣкъ свинцовой,  
Въ сырой и сѣрой высотѣ,  
Предъ ликомъ роины суровой  
Я закачаюсь на крестѣ,—

Тогда просторно и далеко  
Смотрю сквозь кровь предсмертныхъ слезъ,  
И вижу: по рѣкѣ широкой  
Ко мнѣ плыветъ въ челнѣ Христось.

Въ глазахъ—такія же надежды,  
И то же рубище на Немъ.  
И жалко смотреть изъ одежды  
Ладонь, пробитая гвоздемъ.

Христось! Родной просторъ печалень.  
Изнемогаю на крестъ.  
И челнъ твой—будеть ли причалень  
Къ моей распятой высотъ?



## 2.

...И вотъ уже вѣтромъ разбиты, убиты  
Кусты облетѣлой ракиты,  
И прахомъ дорожнымъ  
Угрюмая старость легла на ланитахъ.  
Но въ темныхъ орбитахъ  
Взглянули, сверкнули глаза невозможнымъ...

И радость, и слава—  
Все въ этомъ сіяньи бездонномъ,  
И дальномъ...  
Но смятыя травы  
Печальны,  
И листья крутятся въ лѣсу обнаженномъ...

И снится, и снится, и снится:  
Бывалое солнце!  
Тебя мнѣ все жальче и жальче...  
О, глупое сердце,  
Смѣющійся мальчикъ,  
Когда перестанешь ты биться?

## 3.

Подъ вѣтромъ холодныя плечи  
Твои обнимать такъ отратно:  
Ты думаешь—нѣжная ласка,  
Я знаю—восторгъ мятежа!

И теплятся очи, какъ свѣчи  
Ночныя, и слушаю жадно—  
Шевелится страшная сказка,  
И звѣздная дышитъ межа...

О, въ этотъ сіяющій вечеръ  
Ты будешь все такъ же прекрасна,  
И, вѣрная темному раю,  
Ты будешь мнѣ свѣтлой звѣздой!

Я знаю, что холоденъ вѣтеръ,  
Я вѣрю, что осень безстрастна,  
Но въ темномъ плащѣ не узнають,  
Что ты пировала со мной!

И мчимся въ осеннія дали,  
И слушаемъ дальнія трубы,  
И мѣримъ ночныя дороги,  
Холодная выси мои...

Часы торжества миновали:  
Мои опьяненные губы  
Цѣлуютъ въ предсмертной тревогѣ  
Холодные губы твои.





## II. СНѢЖНАЯ ДѢВА.

Она пришла изъ дикой дали—  
Ночная дочь иныхъ временъ.  
Ее родные не встрѣчали,  
Не просіялъ ей небосклонъ.

Но сфинкса съ выщербленнымъ ликомъ  
Надъ исполинскою Невой  
Она встрѣчала легкимъ вскрикомъ  
Подъ бурей ночи снѣговой.

Бывало, вьюга ей осыпетъ  
Звѣздами плечи, грудь и станъ,—  
Все снится ей родной Египетъ  
Сквозь тусклый сѣверный туманъ.

И городъ мой желѣзно-сѣрый,  
Гдѣ вѣтеръ, дождь, и зыбь, и мгла,  
Съ какой-то непонятной вѣрой  
Она, какъ царство, приняла.

Ей стали нравиться громады,  
Уснувшія въ ночной глуши,  
И въ окнахъ тихія лампы  
Слились съ мечтой ея души.

Она узнала зыбь, и дымы,  
Огни, и мраки, и дома—  
Весь городъ мой непостижимый—  
Непостижимая сама...

Она дарить мнѣ перстень выюги  
За то, что плащъ мой полонъ звѣздъ,  
За то, что я—въ стальной кольчугѣ,  
И на кольчугѣ—строгій крестъ.

Она глядитъ мнѣ прямо въ очи,  
Хваля неробкаго врага.  
Съ полей ея холодной ночи  
Въ мой духъ врываются снѣга.

Но сердце Снѣжной Дѣвы нѣмо,  
И никогда не приметъ мечъ,  
Чтобы ремень стального шлема  
Рукою властною разсѣчь.

И я, какъ вождь враждебной рати,  
Всегда закованный въ броню,  
Мечту торжественныхъ объятій  
Въ священномъ трепетѣ храню.

Александръ Вѣжовъ.



## ЧЕРТЫ ИЗЪ ЖИЗНИ МОЕЙ.

Памятныя записки гвардіи капитана А. И. Лихутина,  
писанныя имъ въ городѣ Курмышѣ, въ 1807 году.

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Судьба такъ положила, что счастіемъ всей жизни моей обязанъ я покойному благодѣтелю, Свѣтлѣйшему Князю Григорію Александровичу. Единственно ему я одолженъ, какъ удачливымъ прохожденіемъ службы и умноженіемъ достатка, такъ и блаженствомъ счастья супружескаго. Симъ воспоминаніемъ великодушному покровителю возлагаю на гробницу признательный вѣнокъ.

Покойный родитель мой, Иванъ Прокопьевичъ, служилъ въ конной гвардіи еще при Государынѣ Елисаветѣ. При немъ Свѣтлѣйшій и службу началъ, поступя въ оный полкъ рейтаромъ. Батюшкѣ тогда было лѣтъ поболѣе тридцати; Свѣтлѣйшій же былъ его гораздо младше. Однако, старательностію и усердіемъ по службѣ превосходилъ онъ многихъ, за что на третій годъ произведенъ въ капралы. Какъ батюшка, гнушаясь пустаго чванства, подчиненнымъ людямъ оказывалъ снисхожденіе, то скоро и капралъ Потемкинъ сталъ къ нему за всякое время вхожъ. Годами пятью позднѣе, соединился съ ними старый Потемкина товарищъ, Василій Петровичъ Петровъ. Сей послѣдній пріѣхалъ изъ Москвы искать счастья въ Петербургѣ, но, путнаго не найдя

и исхарчившись даромъ, проживалъ на иждивеніи пріятеля. Имя Петрова вовѣки не забудеть Камена русская. Скоро три сіи друга стали неразлучны. Батюшка не однажды потомъ вспоминалъ, какъ бывало почасту собирались они втроемъ, проваживая досужіе часы въ чтеніи и бесѣдахъ. Шелкая за круглымъ столомъ орѣхи, въ зимніе долгіе вечера за самоваромъ коротали они время. У батюшки и тогда не водилось ни вина, ни картъ. Скоро обстоятельства ихъ разъединили. Старшій изъ троихъ друзей, утомясь службою, тотчасъ по кончинѣ Государя Петра III взялъ отставку и поселился бливъ Симбирска въ родовой деревнѣ; середній стяжалъ славу великаго пѣнта при дворѣ Великой Екатерины; младшаго же слѣпая Фортуна вознесла на несказанную степень почестей и славы. Въ семъ случаѣ, однакожъ, оная возливая баловница не завязывала себѣ очей, ибо заслуги Свѣтлѣйшаго передъ отечествомъ и Монархиней, по справедливости, пребудутъ незабвенны.

Въ 1779 году минуло мнѣ шестнадцать лѣтъ. Батюшка снарядилъ меня въ Петербургъ на службу. Благословя меня материнскимъ образомъ Скоропослушницы (матушка скончалась, когда мнѣ шелъ второй годъ), взялъ онъ съ меня клятвенное обѣщаніе честно служить и помнить присягу, паче же всего удалаться развратнаго сообщества и картежной игры. Засимъ вручилъ онъ мнѣ письмо къ Свѣтлѣйшему. По зимней дорогѣ въ двѣ недѣли пріѣхалъ я въ столицу. Продолжительность сей поѣздки нимало меня не утомила. Днемъ развлекали мой путь станціи и постоялые дворы, гдѣ много свелъ я пріятныхъ знакомствъ. По ночамъ луна сіяла надъ снѣговой равниной. Подъ звукъ колокольчика, слушаая ямщицкія пѣсни да вой волковъ, летѣлъ я, дремля, въ кибиткѣ.

Къ Свѣтлѣйшему на пріемъ отправился я на третій день по пріѣздѣ. Смятенный и оробѣлый, бывъ еще въ ту пору совершеннымъ деревенскимъ недорослемъ, взошелъ я, озираясь, въ пышную пріемную. Княжескій секретарь, подошедъ, учтиво опросилъ, кто я, откуда и по какой надобности прибылъ; отвѣты мои занесли на особый листъ. Смирненно ставъ въ дверяхъ, видѣлъ я множество вельможъ и генераловъ, изъ коихъ иные спесиво и съ не-

бреженіемъ на меня взирали. И немудрено: въ деревенскомъ коричневомъ кафтанѣ и шерстяныхъ чулкахъ, съ примазанной масломъ косою, опустья руки, неприглядную, должно быть, являлъ я фигуру. Пріемъ еще не начинался. Незапно дверь изъ кабинета распахнулась, и вотъ Князь въ собольемъ шлафроктѣ вышелъ въ залу. Всѣ съ поклонами засуетились. Князь, не глядя ни на кого, пошелъ прямо ко мнѣ. Я обмеръ. Положа руку мнѣ на плечо, вымолвилъ: «Ты Лихутинъ?» Отъ незапности потерялъ я голосъ и стоялъ, зардѣвшись, но Князь, взявъ меня за руку: «Ступай за мною», и привелъ меня въ кабинетъ. Тамъ спрошенъ я былъ о здоровьи батюшкиномъ и который мнѣ годъ, и въ какомъ полку служить желаю. Тутъ только вспомнилъ я, что у меня за пазухою батюшкино письмо. Князь, прочтя, съ веселымъ лицомъ ко мнѣ обратился: «Ну, поди, да запишись, у Василья Степановича, гдѣ стоишь, а послѣ я за тобой пришлаю». Обезпамятѣвъ съ радости, наклонился я поцѣловать руку его Свѣтлости и притко, едва не бѣгомъ, устремился въ залу, гдѣ давешніе генералы не по-давешнему предо мною разступились. Теперь мой насталъ чередъ взглянуть на нихъ съ высокоомѣріемъ. Воротясь къ себѣ на постоянный дворъ, чрезъ два дня извѣстился я о зачисленіи меня конной гвардіи въ сержанты.

Таково было начало житейскому поприщу моему. Батюшка отиѣнно былъ доволенъ, когда я отписалъ ему о своей удачѣ. Въ конной гвардіи прослужилъ я всѣ восемь лѣтъ, не щадя силъ, какъ то мнѣ здоровье дозволяло. Ровно чрезъ годъ по поступленіи произведенъ я въ корнеты.

Столичная моя жизнь протекла мирно. Свободные отъ службы часы проводилъ я на прогулкахъ, либо въ придворномъ театрѣ. Въ полковыхъ пирахъ не участвовалъ, памятуя слово, данное родителю. Однажды только не соблюлъ я правила свои, за что едва головою не поплатился. Въ семъ случаѣ вижу единственно мудрую руку Провидѣнія, которая отвела меня отъ бѣды. Не преминую описать, какъ все сіе происходило.

Однажды на Масляной зашелъ я подъ вечеръ въ извѣстный трактиръ Орлова, что близъ полковыхъ казармъ. Бывъ голоденъ, спросилъ себѣ квасу и рубцовъ. О бокъ со мною рябой при-

казный изъ сенатской канцеляріи пожиралъ поросенка съ кашей. Найдя вѣрный случай со мною заговорить, сказался онъ мнѣ симбирскимъ землякомъ, отозвался, что и родителя знаетъ, и за здравіе его просилъ меня покаяномъ вина. Я-было отпирался, помня батюшкинъ завѣтъ, но скоро, разсудя, что отъ одного покала большого вреда не будетъ, послушался и хлебнулъ. За однимъ покаяномъ прошелъ и другой, и третій. Скоро въ головѣ у меня порядкомъ зашумѣло. Тогда сенатскій приказный вынулъ колоду картъ и въ задней комнатѣ сталъ меня учить банку, примолвя: «Кто сей игры не разумѣетъ, тотъ гвардіи офицеромъ быть не можетъ». Затѣмъ, собравъ карты, объявилъ, что я-де проигралъ ему пять червонныхъ. На сіе я отвѣтствовалъ, что таковыхъ денегъ съ собою не имѣю, да, когда бъ и имѣлъ, то ему бы не отдалъ. Не повѣря словамъ, полѣзъ онъ ко мнѣ силою въ карманъ. Я его отпихнулъ. Слово за слово, началъ онъ браниться: «какой-де ты дворянинъ, коли играть безъ денегъ садишься?». Я, осердясь, взялся за палашъ. Приказный, примѣтя, что на насъ изъ дверей смотрятъ, заголосилъ на помощь. Люди-было схватились за меня; я не уступалъ, и все сіе происшествіе сулило мнѣ худой конецъ. Въ то самое время вижу, подходитъ ко мнѣ человекъ почтенныхъ лѣтъ, изрядно одѣтый и собою видный. Растолкавъ народъ, крикнулъ онъ грозно на приказнаго и взялъ меня за руку изъ трактира. На улицѣ онъ мнѣ сказалъ: «Только жалѣя твое малолѣтство, не хотѣлъ я, чтобъ ты изъ-за пустого дѣла званія своего лишился. Когда бъ командиры твои свѣдали о семъ, то не избѣжать бы тебѣ лихой кары». Я сталъ его благодарить. Не отвѣчая, спросилъ онъ, какая фамилія моя. Когда я сказалъ ему, что Лихутинъ, онъ съ живостію, остановясь, вскричалъ: «Не Ивана ли Прокпьевича сынъ?». Я его спросилъ, откуда родителя моего знаетъ. Что же оказалось? Что сей любивый незнакомецъ есть ни иной кто, какъ Василій Петровичъ Петровъ. Тутъ со слезами повѣдалъ я ему о нарушенномъ предъ родителемъ долгѣ. Въ нечаянной сей встрѣчѣ вижу доселѣ явственный перстъ Божій. Съ того вечера и до конца службы пребылъ я вѣренъ слову моему, а на утро ходилъ въ часовню служить молебень Ангелу Хранителю.

Краткое знакомство съ почтеннымъ Василиемъ Петровичемъ составило въ моей жизни памятный эпокъ. Имъ былъ наученъ я, какія мнѣ должно читать книги, а не въ долгомъ времени съ помощію его уразумѣлъ я французскій и англійскій языкъ. Не однажды Василій Петровичъ читывалъ предо мной громозвучныя свои оды. Я внималъ ему съ трепетомъ восторга. Гораздо послѣ, прочетши Державина, я не нашелъ въ послѣднемъ того вкусу. Державинъ, Ломоносову подражая, въ пареніи весьма единообразенъ. Василій же Петровичъ въ пѣснопѣніяхъ ширялъ орломъ, побѣждая Державина и прочихъ пѣнцовъ красотою и прихотливостію слога. Безъ пристрастія скажу, что Василія Петровича стихи всегда всѣхъ болѣе меня воспламеняли. Къ великому моему огорченію, лѣтомъ того жъ года разстался я навсегда съ симъ почтеннымъ любимцемъ Музъ.

Семьсотъ восемьдесятъ седьмой годъ отмѣтился въ жизни моей двумя неизгладимыми чертами. Седьмого генваря постигло меня великое горе: родитель, оставя меня круглымъ сиротою, скончался на седьмомъ десяткѣ житія своего. Къ тому времени исполнилось мнѣ двадцать четыре года. Я-было собирался просить отставки для устроенія дѣлъ домашнихъ, но видно судьбѣ не того хотѣлось. Воротясь съ сорокоуста по батюшкѣ, нашелъ я у себя на столѣ приказъ: сопровождать мнѣ съ прочими Императрицу при путешествіи Ея Величества въ южныя губерніи.

Теперь долгомъ считаю, отступя, изъяснить, какая другая черта въ моей памяти тотъ годъ запечатлѣла. Какъ гвардіи офицеръ, имѣлъ я въѣздъ ко всѣмъ придворнымъ баламъ. Сіи достопамятныя увеселенія открывались всегда въ присутствіи самой Императрицы. Въ одѣянніи не пышномъ, но величавомъ, въ сопровожденіи нѣкоторыхъ вельможъ, изволила Она созерцать пляшущихъ съ особаго возвышенія. Предъ Нею проходили польскій и минуетъ. Когда жъ Государыня, довольно обозрѣвъ гостей, царственною своею поступью удалялась въ аппартаменты, тогда начинались и прочіе всѣ танцы. Не имѣя большой охоты къ сему пустому занятію, любилъ я слѣдить изъ-за колонны прохождение прекрасныхъ дамъ. Между ними примѣтилъ я одну, которой взоръ оказался для меня пагубнѣе Купидоновой стрѣлы.

То была фрейлина Императрицы, дѣвица Чибисова. Невысокаго росту, съ гибкимъ станомъ соединяла она стройность легкой походки. Пышные волосы, бывъ напудрены и оттого бѣлы, какъ снѣгъ, вздымались надъ челомъ подобно замерзшему водопаду. Всего же прелестнѣе были черныя пристальныя очи подъ тонкими бровями и розовыя уста, осянныя лукавой мушкой. Будучи отъ природы нрава скромнаго, я долго не отваживался пройти съ нею польскій и только, насилу преодолевъ себя, рѣшился. Когда легкая ручка ея легла на мою перчатку, я какъ бы остался безъ чувствъ и голосу, ибо, обойдя полный кругъ, не имѣлъ о чемъ сказать. Такъ въ молчаніи свершился мы танецъ, хотя красавица не однажды благосклонно взмывала на меня черныя взоры.

Въ тотъ вечеръ рѣшилась моя участь. Красавица Анета сердце мое навѣки покорила. Въ караулѣ, на вахтпарадѣ, дома, только одну ее видѣлъ я въ мечтахъ моихъ. Жизнь безъ нея мнѣ опостылѣла; въ бездѣйствіи я скукою томился. Одна любезная надежда дожить до новаго балу меня оживляла; но пришелъ балъ, за нимъ другой,—и ни тамъ, ни тутъ не было Анеты. Я не зналъ, что придумать. Только на третьемъ, маскерадномъ, балу увидѣлъ я мою богиню, столь же прелестную, какъ и всегда. Однако, идучи съ нею минуетъ, я примѣтилъ, что вѣки ея припухли и розовая улыбка покинула скорбныя уста. Осмѣлившись, спросилъ: «Прилично ли нимфѣ съ печальнымъ ликомъ веселію предаваться?». На что дама моя отвѣтствовала голосомъ свирѣли: «Горести и нимфѣ не оставляютъ». Чѣмъ разговоръ нашъ кончился.

Между тѣмъ приближался день отбытія Императрицы въ Тавриду. Нетерпѣливо помышлялъ я о долгомъ пути, наскуча бездѣльнымъ ожиданіемъ и разлучась съ Анетой. Дни текли, схожіе одинъ съ другимъ. Любовь моя отчасу разгоралась. Всякій вечеръ, напудрясь и подвивъ старательно бѣлыя бровки, въ новомъ мундирѣ, шелъ я, гремя, мошеной улицей къ завѣтному домику на Мойкѣ. Тамъ съ тетушкою жила прекрасная Анета. Въ окошко тшилъ я хотя бы однимъ глазомъ увидѣть мою очаровательницу, — напрасно: судьба и тутъ оказывала мнѣ непреклонное жестокосердіе.



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Не по пустому сказано, что счастье тамъ насъ ждетъ, гдѣ его обрѣсти не чаемъ. Со стѣсненнымъ сердцемъ покинулъ я Петербургъ, устремляясь въ южные края, но сколь печаленъ былъ отъѣздъ, столь радостно было путешествіе. Оставляю описывать въ точности весь путь; скажу лишь, что неоглядныя дороги и поля весьма меня утомили.

Черезъ нѣсколько дней пути громады дальнихъ лѣсовъ, синими зубцами темнившія небосклонъ, разошлись, подобно облакамъ. Намѣсто ихъ ровная чистая степь насъ окружила. По Днѣпру поплыли мы на пышныхъ галерахъ, бывъ неумолчно привѣтствуемы съ береговъ пальбою и кликами народа. Отъ Кіева Свѣтлѣйшій присоединился къ поѣзду. Какъ на галерахъ пришлось намъ влачиться немало дней, то къ развлеченію путниковъ прилагались всяческія мѣры. На наибольшей изъ галеръ, «Деснѣ», Свѣтлѣйшій всякій день давалъ роскошныя обѣды, на коихъ хозяйствовать изволила сама Императрица. Къ симъ обѣдамъ приглашаемы бывали по очереди всѣ бывшіе въ свитѣ. Въ одинъ погожій апрѣльскій день удостоился и я почетнаго зову.

Императрица, вошедъ въ столовую, привѣтствовала собравшихся милостивымъ поклономъ. Одѣяніемъ Ея было перувьевое платье молдаванскаго фасону и гродстуровый чепецъ. Ясное чело, голубыя очи и ласковая улыбка восторгали сердце. По лѣвую руку Государыни возсѣлъ Свѣтлѣйшій, по правую — Александръ Андреевичъ Безбородко, что послѣ былъ Графомъ. Оба сіи вельможи являли собой прямое различіе. Князь станомъ и лицомъ подобился Аполлону. Темныя кудри пышно вились надъ возвышеннымъ его челою. Щуря привѣтливо молніеносный взоръ, въ жаркой бесѣдѣ взмахивалъ онъ алмазною табакеркой и оттого сыпалъ табакъ Государынѣ на платье и себѣ на камзолъ. Графъ Безбородко, сложенія грубаго и на

подъемъ тяжелый, слушалъ Князя, разиня ротъ, съ медленностію, свойственною малороссіянамъ. Однако, и онъ во-время произнесеннымъ словомъ неоднократно обращалъ къ себѣ милостивое вниманіе Монархини.

Когда по приглашенію Государыни пошли всѣ за столъ садиться, придворный лакей на концѣ указалъ мнѣ мѣсто. Въ задумчивости за стулъ взявшись, взглянулъ я на сосѣдку мою и едва громко не ахнулъ: то была Анета. До послѣдняго часу не зналъ я о ея нахожденіи въ свитѣ. Какъ ни былъ я въ чувствахъ взволнованъ, однако, примѣтилъ, что и ей увидѣть меня не вовсе непріятно было. Разговоръ не замѣшкался и до конца обѣда мы съ Анетою о многомъ договорились. Какъ вдругъ посерединѣ живой бесѣды Анета потупила взоръ и, дрогнувъ, смутилась. Дабы я сего не замѣтилъ, тотчасъ съ двойною веселостію продолжала прерванную рѣчь. Когда обнесли кофій, Государыня изволила встать и подняться кверху, а за нею всѣ. Съ палубы открылось намъ восхитительное позорище. Въ сей день какъ бы сама природа убралась во срътеніе Семирамиды Сѣверной. Съ береговъ весеннія прилетныя птицы оглушали насъ криками и свистомъ; несмѣтныя стаи утокъ и журавлей до того огромны были, что, мнилось, стояли недвижными тучами надъ Днѣпромъ. Вечера розовыя краски, потемнѣвъ, предвѣщали ясную лазоревую ночь. Я-было собирался пойти къ Анетѣ, дабы наречь ее Діаною грядущей ночи, когда, оборотясь, увидѣлъ красавицу мою на кормѣ съ самымъ Свѣтлѣйшимъ. Князь, вымолвивъ нѣсколько словъ, отошелъ съ улыбкою. Анета въ отвѣтъ ему склонилась церемоннымъ поклономъ и блѣдность вновь открыла томное чело. Князь, между тѣмъ, отошедъ къ Государынѣ, задумался и, приставя къ носу табакерку, созерцалъ восходившую багряную луну. Отчего, не знаю, сердце мое незапной тоскою сжалось. Впервые со дня смерти батюшкиной созналъ я вполнѣ свое сиротство; мысль объ одиночествѣ среди пѣлаго міра меня ужаснула. Долго стоялъ я недвижимъ, взирая на струистыя воды, серебрившіяся въ тонкомъ сумракѣ. Соловьи заливались въ туманныхъ берегахъ; ночная птица, налетѣвъ, едва крыломъ не сбила съ меня шляпу. Тому вечеру минуло

двадцать лѣтъ, но все описанное такъ мнѣ памятно, какъ бы еще вчера оное совершилось.

Съ того часу Фортуна ко мнѣ оборотилась передомъ. Всякій день видѣлся я съ Анетой и счастливымъ случаемъ бесѣды наши не прерывались. Мы бесѣдовали о чувствахъ, о театрѣ, о вѣстяхъ придворныхъ, но усерднѣе всего сводилъ я рѣчь на прелести жизни сельской. Я твердо положилъ, воротясь въ Петербургъ и увольнившись отъ службы, тотчасъ уѣхать къ себѣ въ деревню. Но еще того тверже съ каждымъ часомъ укоренялась во мнѣ мысль навѣки соединиться съ Анетой. Мысленно я видѣлъ себя въ объятіяхъ доброй подруги, окруженного лаской и заботами семейными. Поселясь въ Лихутинѣ, намѣревался я на досугъ предаться сельскому хозяйству, къ чему имѣлъ всегда рѣшительную склонность. Съ самой кончины родителя не зналъ я точно, великъ ли мой доходъ и благоденствуетъ ли вотчина, преданная на добрую волю старосты и бурмистра.

Въ мечтахъ и бесѣдахъ непримѣтно летѣло время. Той порой медленныя галеры смѣнились дорожными рылванами, которые понесли насъ по необозримымъ степямъ южнымъ. Легче вѣтра, мчались мы на борзыхъ коняхъ, утопая въ степной травѣ. То вылетали мы вдругъ къ распаханной черной нивѣ, гдѣ пахарь мирно водилъ трудолюбивыхъ воловъ; то неслись по заросшей дорогѣ, проложенной, какъ сказывали ямщики, запорожеской вольницей; индѣ мелькали бѣлые казачьи хутора; здѣсь мельница привѣтно взмахивала четырьмя крылами. Щедрая Фортуна вездѣ устроила такъ, что и на дорожныхъ привалахъ мы съ Анетой не разлучались.

Въ Херсонѣ, идучи отъ обѣдни, объяснился я Анетѣ въ чувствахъ. Услыша признаніе мое, она залилась слезами. Послѣ просила дать ей на размышленіе малый срокъ. Упреждая рѣшительный отвѣтъ, въ тотъ же день вздумалъ я пойти къ Свѣтлѣйшему ради ускоренія отставки. Нежданно самъ отъ него получаю приказъ явиться.

Свѣтлѣйшаго засталъ я въ совершенномъ дезабилье, отдыхающимъ на софѣ, и въ добромъ расположеніи нрава. Последнее явствовало изъ оказаннаго мнѣ ласковаго приѣма. Первымъ дѣ-

ломъ Свѣтлѣйшій спросилъ о батюшкиномъ здоровьи. «Батюшка скончался»,—отвѣчалъ я. Князь поникъ лвиною главой. — «Давноли?»—«О Крещеніи, ваша Свѣтлость».—«Царствіе ему небесное! Онъ былъ человѣкъ добрый, прямо русскій. Такого теперъ не сыщешь. Ты только старайся быть его достойнъ, а я тебя, Саша, не забуду». Движимый чувствомъ признательности, со слезами поцѣловалъ я Князя въ плечо.—«Я тебя хочу послать въ Карасубазаръ передовымъ для устроенія фейверка,—сказалъ мнѣ Свѣтлѣйшій:—что скажешь?»—«Ваша Свѣтлость, соизвольте выслушать нижайшую просьбу!»—«Говори!». Тутъ изъяснилъ я Князю, что прошу отставки, дабы отцово имѣніе не впадо въ разстройство. Князь, выслушавъ, кивнулъ мнѣ благосклонно.—«Просьба твоя имѣетъ должный резонъ. Дворянину надлежитъ служить отечеству не токмо мечомъ, но и плугомъ. Увольнитесь тебѣ нѣтъ препятствій. А я попрошу Государыню наградить тебя за службу». Я съ жаромъ благодарилъ его Свѣтлость и просилъ замолвить слово Государынѣ о женитьбѣ моей на одной Ея фрейлинѣ. Князь и тутъ изъяснилъ согласіе, примолвя, что самъ на свадьбѣ у меня посаженнымъ будетъ.—«А какъ зовутъ твою фрейлину?»—«Чибисова, ваша Свѣтлость».—«Чибисова?» Князь при семъ словѣ, поднявъ голову, вдругъ пристально въ меня воззрися.—«Такъ ты на Чибисовой жениться хочешь?» Слова сіи Князь вымолвилъ медленно, глазъ съ меня не спуская. «Точно такъ». Поднявшись незапно съ дивана во весь геркулесовъ ростъ, Свѣтлѣйшій, шлепая туфлями, пошелъ къ окну. Оборотясь спиной, стекло царапая перстнемъ, спросилъ, помолчавъ:—«А она знаетъ?»—«Знаетъ, ваша Свѣтлость». Отчего, не знаю, сердце во мнѣ защемило. Князь все молчалъ. Потомъ заговорилъ глухо:—«Хорошъ шенокъ... Изъ молодыхъ, вишь, да ранній! Пойдешь далеко. И ты—сынъ друга моего! Ахъ, ты!..» (прочихъ словъ Князя на бумагѣ передать нельзя). Я свѣту не взвидѣлъ. Вся комната какъ бы въ туманѣ закружилась; видѣлъ я одну исполинскую фигуру Свѣтлѣйшаго въ турецкомъ голубомъ халатѣ. Вдругъ, повернувшись, крикнулъ онъ мнѣ грозно: —«Пошелъ отсюда вонъ!»

Не помню, какъ дошелъ я до дому, какъ весь день тотъ до-

жилъ. Не столь страшилъ меня гнѣвъ Свѣтлѣйшаго, сколь мысль, что я въ его глазахъ отнынѣ презрѣннымъ почитаюсь. Я никакъ втолковать себѣ не могъ, чѣмъ я предъ нимъ такъ прослужился и за что несу тяжкую обиду. Свѣтлѣйшаго чтилъ я благодарно, какъ отца родного; его пріязнь съ батюшкой, его отческа ко мнѣ нѣжность—все сіе было мнѣ дороже почестей и наградъ. И всего такъ вдругъ лишиться!

Ввечеру приметнулась ко мнѣ лихорадка съ бредомъ. Призванный лекаръ пустилъ кровь и наутро я пробудился тѣломъ здравый, духомъ—на одрѣ смерти. Вдругъ слышу стукъ въ сѣняхъ, и вотъ ординарецъ Свѣтлѣйшаго меня спрашиваетъ. Я затрепеталъ. Вруча мнѣ двѣ бумаги, посланный удалился. Дрожащею рукою развернулъ я роковые листы. Въ одномъ надписанъ былъ приказъ ѣхать мнѣ немедленно въ Петербургъ совмѣстно съ невѣстой, — бывшей фрейлиной Ея Величества Чибисовой; въ другомъ значилось всемилостивѣйшее увольненіе меня отъ службы съ чиномъ гвардіи капитана и съ пожалованіемъ мнѣ на свадьбу трехсотъ душъ.

#### ЧАСТЬ ТРЕТІЯ.

Нравъ Анеты долго являлъ для меня непостижимую загадку. Во всю дорогу до самаго Петербурга не осушала она очей. Не однажды я пускался допрашивать ее; умолялъ открыть тайну ея печали; не оттого ли она такъ грустна, что за меня выходитъ; увѣщалъ, что слово взять назадъ никогда не поздно. На таковыя мои слова Анета отвѣтствовала улыбкою сквозь слезы, потомъ съ живостію увѣряла, что я—ея самый вѣрный другъ, что добрѣй меня никто не сыщется въ свѣтѣ. Обнадеженный нѣжными рѣчами, я отдыхалъ душою, но не долго: скоро тихія рыданія опять слышались изъ угла кареты.

Изъ Петербурга, устроясь съ дѣлами, не мѣшая, выѣхали мы въ Москву, навсегда оставя сѣверную столицу. Въ Москвѣ же совершилась наша свадьба въ приходѣ Успенія, на Арбатѣ, маія

пятнадцатаго дня. Послѣ свадьбы поселились мы въ домѣ приходскаго дьякона. Сей домъ сгорѣлъ въ 1799 году. Для меня онъ, хотя и деревянный, дороже былъ каменныхъ хоромъ, ибо въ простыхъ его стѣнахъ впервые въ жизни позналъ я счастье, высочайшее на землѣ.

Дряхлый Сатурнъ, между тѣмъ, неустанно мчался на сѣдлыхъ крыльяхъ, точа вѣчную свою косу. Пора приходила уѣзжать въ деревню. Я объявилъ Анетѣ рѣшеніе мое. Надобно было теперь избрать намъ, гдѣ поселиться. Меня влекло въ старое Лихутино. Какъ бы въ туманѣ всплывали предо мною высокіе волжскіе берега съ расшивами и шкунами; быстрые паруса; веселыя пѣсни бурлаковъ; псовая и ястребиная охота, къ которой я еще въ ребячествѣ при покойномъ батюшкѣ пристрастился; старый дикий садъ и домъ, строенный дѣдомъ во дни Петра Великаго, гдѣ бутылки съ наливками на окнахъ и перепелиныя клѣтки подъ потолкомъ съ дѣтскихъ лѣтъ у меня въ умѣ запечатлѣлись. Анета звала въ новую Александровку, пожалованную Императрицей, прельщая меня красотою новыхъ мѣстъ, коихъ живописный воздухъ необходимо нуженъ былъ для ея ослабѣлой груди. Чтобъ покончить наше сумнѣніе, рѣшили мы бросить жребій. Судьба указала Александровку. Такъ еще два года суждено мнѣ было не видѣть родины моей.

Къ зимѣ отстроили мы домъ, убравъ его со всею роскошью, какъ намъ то достатки позволяли. На другое лѣто никто бы не узналъ сихъ недавно еще пустынныхъ мѣстъ. Небольшой бѣлый домъ воздвигся надъ быстрой рѣчкой. По комнатамъ разставились краснаго дерева кресла и столы, стѣны украсили живописныя картины. Изъ свѣтлыхъ оконъ взорамъ открывался молодой садъ. Липы и клены бѣжали легкими дорожками вокругъ узкаго пруда, за ними гордо воздымались серебряные тополи. Далѣе яблони торчали ровными рядами, суля обиліе наливныхъ плодовъ; надъ пестрымъ цвѣтникомъ чеканный эродій струилъ изъ мѣднаго носа ключевую воду. Анета была добрымъ геніемъ нашего хозяйства: оно цвѣло подъ неусыпнымъ ея надзоромъ. Я не узнавалъ ея: блѣдность покинула милыя ланиты; ихъ озарилъ румянецъ, знойный, какъ украинское лѣто. Ласки

ея ко мнѣ непрерывно умножались. Два года неслышно пролетѣли сладкимъ, блаженнымъ сновидѣніемъ.

Сколь памятни мнѣ зимніе вечера въ нашей уютной заѣ! Въ канделябрахъ, дрожа, мерцали свѣчи, трепетно колебля по стѣнамъ голубыя тѣни. Предъ трескучимъ каминомъ сиживалъ я въ покойныхъ креслахъ, созерцая змѣистые переливы синяго и золотого пламени. Анета за клавесиномъ пѣла. Образъ ея посейчасъ, какъ живой, предо мною: помню прекрасное, восторгомъ сіявшее лицо; кольцомъ дрожащій надъ бровью черный локонъ и звонкое пѣніе, томившее нѣгою невыразимой. Тетушка тою порой за угловымъ столикомъ раскладывала пасіансы, а въ столовой люди гремѣли тарелками, накрывая ужинъ.

Еще памятни въ умѣ моемъ лѣтніе дни въ саду. Надъ прудомъ на зеленой скамѣ отдыхали мы съ Анетой, упоенные зноемъ долгаго полудня. Въ жаркой тишинѣ звенѣли клики хохлатыхъ удоновъ; иволга порой нѣжно проигрывала на своей флейтѣ. Вечеру мы объ руку обходили садъ; осіянные золотомъ и пламенемъ заката, долго смотрѣли вослѣдъ ушедшему солнцу. Печалью тихой и сладостной томилось сердце: мнилось, солнце за собою жизнь вводило.

Пятнадцатаго маія нашему счастью минуло два года. (Тетушки уже не было съ нами: она преставилась въ самое Рождество). Послѣ молебна мы съ гостями сѣли за столъ. Ближній нашъ сосѣдъ, секундъ-маіоръ Пушкинъ, немолодой и прибрюхій, поклонникъ Бахуса, провозглася хозяйкино здоровье, нечаянно сронилъ рукавомъ покалъ и вино все до капли розлилъ. Таковая оплошность весьма разстроила Анету. Только она за ужиномъ стала помалу развеселяться,—новое несчастье: собака цѣпная на дворѣ завывала. Со страхомъ ждалъ я третьей роковой примѣты. Гости скоро послѣ ужина начали разъѣзжаться. Удрученный тайнымъ предчувствіемъ, наскоро распорядясь по хозяйству, пошелъ я въ спальную. Анета была уже въ постели. Закрывъ глаза, она не спала; въ молчаніи легъ и я, не тревожа ее словами.

Свѣтало, когда я пробудился. Мнѣ не спалось; въ халатѣ я подошелъ къ окну, посмотрѣть, какова погода. День предвѣ-

шалъ быть яснымъ; въ облакѣ утренняго тумана едва выказывались верхушки тополей. Незапно почудилось мнѣ, что у насъ въ домѣ поднялся необычный для ранняго часу шумъ. Я прислушался: какъ бы всѣ слуги бѣгаютъ и сумятятся въ прихожей. Мнѣ вспало на умъ, что въ домѣ у насъ пожаръ; я оглянулся на Анету: она дышала бережно и ровно. Я уже хотѣлъ ее будить, какъ въ дверяхъ услышалъ шептанье стараго дядьки моего, Созонта. Наскоро онъ мнѣ доложилъ, что нѣкій проѣзжій генералъ, богатый и съ обозомъ, сломалъ по дорогѣ колесо и хочеть у насъ остановиться, покудова кузнецъ ось сварить. Я, распорядясь просить проѣзжаго въ гостиную, самъ сталъ спѣшно одѣваться. Второпяхъ, схватя кафтанъ, размахнулся я полою и сшибъ со стола зеркальце Анеты. Оно на мелкіе куски разлетѣлось. Отъ стука Анета пробудилась и, увидя на полу осколки, молча закрыла глаза руками. У меня сердце перевернулось. Такъ совершилась и третія примѣта.

Между тѣмъ, одѣвшись, я поспѣшилъ въ гостиную. Въ ней нѣсколько офицеровъ раскладывали наспѣхъ походную кровать. Лица иныхъ показались мнѣ знакомы. Не успѣлъ я вызнать, кто сіи нежданные гости, какъ въ прихожей задвигались тяжелые шаги, и проѣзжій генералъ, вошедъ, остановился на порогѣ. Я тотчасъ призналъ Свѣтлѣйшаго, хотя онъ былъ заспанъ и небритъ. Воспоминаніе послѣдней нашей встрѣчи такъ живо представило моему воображенію, что я готовъ былъ бѣжать изъ своего дому. Князь, не замѣтя меня, стоялъ, понурясь. Дорожный ватный кафтанъ мигомъ совлекли съ него ординарцы. Оставшись въ одной рубахѣ, Князь, сопя, опустился на кровать и закрылъ глаза. Въ сей мигъ страшный раздирательный крикъ за дверьми заставилъ меня дрогнуть. Я бросился въ спальную и въ коридоръ увидѣлъ простертую Анету. Она была въ безчувствіи. Съ помощію слугъ я бережно донесъ ее въ спальную и положилъ на постель. Съ отчаянія, не зная, что дѣлать, припалъ я устами къ ногамъ Анеты. Слезы изъ глазъ у меня ручьями заструились. Анета была какъ мертвая. Вдругъ чья-то сильная рука меня отъ постели отстранила. То былъ Свѣтлѣйшій со своимъ лекаремъ. По приказу сего послѣдняго двое слугъ за руки увлекли меня силою изъ спальни.



Теперь приблизился я къ горестнѣйшему событію всей моей жизни, которое описать не имѣю силъ. Въ полдень Анета вручила Господу праведную свою душу. Меня допустили къ ней, когда уже она успокоилась навѣкъ. Павъ въ отчаяніи предъ роковымъ ложемъ, я рыдалъ, не слушая никого, какъ бы забывая, что въ гостяхъ у меня самъ Свѣтлѣйшій. Люди сказывали послѣ, что, глядя на меня, всѣ кругомъ голосомъ рыдали.

Когда горестъ моя нѣсколько утишилась, ко мнѣ подошелъ Свѣтлѣйшій и за руку отвелъ меня на свою кровать. Тамъ проспалъ я крѣпко, какъ убитый. Пробудясь, опять увидѣлъ предъ собою Князя. Сѣвъ подлѣ, онъ положилъ на голову мнѣ руку и не пустилъ встать.—«Слушай, Саша,—молвилъ онъ тихо:—я виноватъ предъ тобою. Ты—человѣкъ благородный. Покойница сама предъ смертію мнѣ все сказала. Теперь я у тебя въ дому. Сказывай, чего хочешь».—Я залился слезами и, лобызая Свѣтлѣйшему руки, высказалъ, что болѣе мнѣ ничего не надо; что мужнину, есть долгъ любить жену свою, ласка же его Свѣтлости для меня всего на свѣтѣ дороже. Князь въ лицо мнѣ пристально поглядѣлъ, потомъ, усмѣхнувшись, молвилъ:—«Тебя, братецъ, въ святцы записать надо».

Скоро на дворѣ княжеская коляска застучала. Обнявъ меня отечески, Свѣтлѣйшій со всею свитою уѣхалъ. Я побрелъ въ залу. Тѣмъ часомъ солнце уже къ закату склонялось. Анета, убранная, лежала на столѣ въ бѣломъ вѣнчалномъ платьѣ. На грудь ей Свѣтлѣйшій возложилъ прядь своихъ волосъ. Отецъ Иванъ съ дьячкомъ взошли къ вечерней панихидѣ. Итакъ, погребальныя пѣснопѣнія огласили стѣны, слышавшія нѣкогда сладкое пѣніе Анеты.

Долго глядѣлъ я на мертвый ликъ вѣрной моей подруги. Хладное чело дышало спокойствіемъ, но близъ строгихъ устъ уже синѣли смертныя тѣни. Въ умъ мнѣ пришли послѣднія слова Князя. Въ нихъ чудилась мнѣ нѣкая тайна...\*.

Борисъ Садовской.

\* Послѣдніе листы рукописи утрачены. Б. С.



## ОГНЕННЫЙ АНГЕЛЪ.

### ГЛАВА X.

#### КАКЪ РЕНАТА МЕНЯ ПОКИНУЛА.

Однажды вечеромъ, когда былъ я, по обыкновенію, у милой Агнессы, пришлось мнѣ возвращаться домой довольно поздно, такъ что пропуска у ночныхъ стражей я добивался маленькими подачками. Подойдя къ нашему дому, я различилъ въ сумракѣ, что кто-то сидитъ на порогѣ, какъ кошка, и скоро убѣдился, что это—Луиза. Она мнѣ бросилась навстрѣчу, и не безъ простодушнаго ужаса, рассказала, что съ госпожею Ренатою приключилось сегодня нѣчто неожиданное и страшное, и что она, Луиза, боится, не было ли здѣсь вмѣшательства нечистой силы. Изъ подробнаго описанія я вскорѣ понялъ, что съ Ренатою произошелъ вновь тотъ припадокъ одержанія, какіе мнѣ уже приходилось видѣть, когда духъ, входя внутрь ея тѣла, жестоко мучилъ и оскорблялъ ее. Тутъ же припомнилъ я, что послѣдніе дни Рената была особенно грустна и безпокойна, къ чему, однако, я отнесся съ небреженіемъ легкомысленнымъ и недостойнымъ.

Въ ту минуту чувство мое было такое, словно кто-то укололъ меня въ сердце, и ключъ моей любви къ Ренатѣ вдругъ брызнулъ въ душѣ струею сильной и полной. Я поспѣшилъ наверхъ, уже воображая въ подробностяхъ, какъ буду просить у Ренаты прошенія, и цѣловать ея руки, и слушать ея отвѣтныя

ласковыя слова. Засталъ я Ренату въ постели, гдѣ она лежала обезсиленная, какъ всегда, припадкомъ до полусмерти, и лицо ея, слабо освѣщенное свѣчкой, было какъ бѣлая восковая маска. Увидя меня, она не улыбнулась, не обрадовалась, не сдѣлала ни одного движенія, обличающаго волненіе.

Я сталъ на колѣни у постели и началъ говорить такъ:

— Рената, прости меня! Я это время велъ себя непростительно. Я жестоко виноватъ, что покинулъ тебя. Не знаю самъ, какъ и зачѣмъ я это сдѣлалъ. Но больше этого не будетъ, я тебѣ клянусь.

Рената остановила мою рѣчь и сказала мнѣ голосомъ тихимъ, но отчетливымъ и рѣшительнымъ:

— Рупрехтъ, это я должна говорить сейчасъ, а ты слушать. Сегодня совершилось со мною нѣчто столь важное, что я еще не могу объять его разумомъ. Сегодня моя жизнь переломилась на-двое, и все, что ожидаетъ меня въ будущемъ, не будетъ похоже на то, что было въ прошедшемъ.

Послѣ такого торжественнаго экзордіума Рената, обративъ ко мнѣ блѣдное и серьезное лицо, рассказала мнѣ слѣдующее:

Послѣднюю недѣлю, когда я особенно мало обращалъ вниманія на Ренату, она сильно страдала отъ одиночества и цѣлые дни плакала, тщательно скрывая это отъ меня. Но, когда чело-вѣкъ въ тоскѣ, онъ становится беззащитенъ предъ нападеніемъ враждебныхъ демоновъ, и давній врагъ Ренаты, преслѣдовавшій ее еще въ замкѣ графа Генриха, опять поборолъ ее, вошелъ въ нея и, пытая, повергъ на полъ. Однако, когда лежала она, простертая, почти не сознавая ничего,—внезапно возникло передъ ея глазами свѣтлое сіяніе и въ немъ выступилъ образъ огненного ангела, который не видала она съ самыхъ дней своего дѣтства. Рената узнала тотчасъ своего Мадіэля, ибо онъ былъ такимъ же, какъ прежде: лицо его блистало, глаза были голубые, какъ небо, волосы словно изъ золотыхъ нитокъ, одежда будто тканая изъ пламенной пряжи. Восторгъ несказанный охватилъ Ренату подобно тому, какъ апостоловъ на горѣ Оаворѣ, въ часъ Преображенія Господня, но ликъ Мадіэля былъ строгъ, и, заговоривъ, онъ сказалъ такъ:

вѣсь.

3

«Рената! Съ того самого дня, какъ ты, поддавшись плотскимъ пожеланіямъ, хотѣла обманомъ и коварствомъ склонить меня къ страсти,—я покинулъ тебя, и всѣ раза, когда послѣ думала ты, что меня видишь, то не былъ я. И тотъ графъ Генрихъ, въ которомъ воображала ты узнать мое воплощеніе, былъ тебѣ посланъ никѣмъ другимъ, какъ Искусителемъ, чтобы совратить и умертвить твою душу окончательно. Въ кушакъ блаженства, передъ лицомъ Вседержителя, гдѣ витають ангелы, не разъ лилъ я горестныя слезы, видя тебя погибающей и созерцая злобное торжество враговъ твоихъ и нашихъ. Не разъ возносилъ я, какъ дымъ кадильный, свою мольбу ко Всевышнему, да разрѣшитъ Онъ мнѣ положить тебѣ руку на плечо и удержать тебя надъ бездною, но всегда останавливалъ меня гласъ: «Надлежить ей преступить и эту ступень». Нынѣ мнѣ дано, наконецъ, открыть тебѣ всю истину, и узнай, что тяжки твои прегрѣшенія на вѣсахъ Справедливости и душа твоя наполовину уже погружена въ пламя адское. Не о вѣнцѣ святой Амаліи Лотарингской подобаешь тебѣ мечтать теперь, но лишь о вѣнцѣ мученическомъ, кровью омывающимъ скверну преступленій. Сестра моя возлюбленная! ужаснись, покайся, молись неустанно Богу, и мнѣ позволено будетъ опять оберегать и укрѣплять тебя!»

Пока говорилъ Мадіэль, всѣ слова его открывались Ренатѣ въ яркихъ картинахъ. Такъ, видѣла она—то сады Рая, въ которыхъ ангелы поютъ славословія Творцу и взлетаютъ, какъ птицы, образуя своими сочетаніями мистическія буквы D, J, L; то ступени нѣкоей лѣстницы, изображающей ея земную жизнь, по которымъ ступала она среди змѣй, василисковъ, драконовъ и другихъ чудовищъ; то, наконецъ, себя самое, по-поясъ погруженную въ пламя Преисподней, и пляшущихъ кругомъ въ ликованіи дьяволовъ. Когда же Мадіэль кончилъ гнѣвную рѣчь, Рената была въ послѣднемъ отчаяніи и ей казалось, что дыханіе жизни ее покидаетъ. Тогда, видя свою подругу въ такомъ страшномъ положеніи, Мадіэль неожиданно измѣнился, лицо его приняло выраженіе кроткое и нѣжное, и весь онъ сталъ какъ добрый старшій братъ, какимъ бывалъ въ дни ихъ дѣтскихъ игръ; приблизившись, онъ наклонился къ помертвѣлой Ренатѣ и лас-

ково поцѣловаль ея въ губы, овѣявъ ея сладостной и не жгучей огненностью. Съ крикомъ радости Рената хотѣла обнять его, но протянутыя ея руки встрѣтили только старую Луизу, которая прибѣжала на шумъ отъ ея паденія и на ея жалобный стонъ.

Это рассказала мнѣ Рената, оставивъ меня, какъ всегда, послѣ своихъ признаній, въ недоумѣніи: что изъ ея словъ дѣйствительность, что видѣніе ея бреда и что измышленіе ея ума, роковымъ образомъ склоннаго ко лжи. Въ тотъ день я позаботился только о томъ, чтобы успокоить больную, уговаривая ея не думать пока о свершившемся и пытаясь утѣшить ея обѣщаніемъ лучшихъ дней, когда я буду посвящать ей всѣ часы и минуты. Но Рената на мои рѣчи отрицательно качала головой или улыбалась мнѣ снисходительно, какъ улыбается мать ребенку, пытающемуся развеселить ея тоску своими игрушками. Убаюкиваемая моими ласковыми рѣчами, она, впрочемъ, скоро уснула сномъ утомленнаго и замученнаго, а я уснулъ близъ нея, какъ въ прежніе дни, когда мы еще не были близки.

Однако, въ ту же самую ночь могъ я убѣдиться, что не легко-мысленно говорила Рената, будто вся жизнь ея преломилась надвое: на первой зарѣ Рената разбудила меня, и лицо ея было странно торжественнымъ, когда она попросила меня помочь ей встать и проводить къ ранней обѣднѣ. Я повиновался, невольно подчиненный строгостью ея голоса и тишиной утренняго часа, и Рената, поспѣшно одѣвшись, заставила меня отвести ее, хотя была такъ слаба, что едва могла ступать, въ церковь святой Цецилии. Тамъ, упавъ на аналой, Рената, въ синеватомъ полумракѣ храма, молилась ненасытно и заливалась слезами до самаго конца службы, какъ послѣдняя грѣшница, ищущая отпущенія грѣховъ. И, глядя на ея ревность, началъ я понимать, что въ душѣ Ренаты произошла не мимолетная перемѣна, но свершился какой-то большой переворотъ, измѣнившій надолго всѣ ея мысли, чувствованія, пожеланія, словно перестроившій по новому плану все ея существо.

Дѣйствительно, отсюда началось для Ренаты и для меня съ ней совершенно новое существованіе, и порой мнѣ казалось,

что если и можно найти единство между всѣми ликами Ренаты, являвшимися мнѣ прежде, то новый ея образъ принадлежитъ вовсе другой женщинѣ. Не только Рената высказывала совсѣмъ инныя, чѣмъ прежде, сужденія, не только повела совсѣмъ новый образъ жизни, но я не узнавалъ самаго ея способа говорить, дѣйствовать, обращаться съ людьми, не узнавалъ самаго звука ея голоса, ея походки, пожалуй, и лица. Но тогда напоминалъ я себѣ, что рассказывала мнѣ Рената о своемъ дѣтствѣ, какъ проводила она ночи напролетъ въ молитвѣ, какъ выходила обнаженной на холодъ, какъ бичевала себя или терзала груди остріями; или еще тѣ слова, какія она сказала мнѣ на баркѣ, когда мы плыли съ нею къ городу Кельну: «Всѣмъ намъ, каждому, надо было бы ужаснуться и, какъ оленю отъ охотника, бѣжать въ монастырскую келью»,—и я понималъ, что все это уже было въ Ренатѣ и раньше, но лишь скрывалось—какъ тѣло подъ случайными одеждами.

Чтобы изобразить, хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ, эту послѣднюю пору нашей совмѣстной жизни съ Ренатою, долженъ я прежде всего сказать, что въ свое покаяніе внесла она ту же изступленность, какъ раньше въ скорбь, а потомъ въ страсть. Въ одинъ изъ первыхъ дней послѣ видѣнія захотѣла она пойти на исповѣдь, и, сколь я ни предостерегалъ ее отъ такого опаснаго поступка, дѣйствительно исполнила свое намѣреніе въ нашей приходской церкви. Не знаю, чистосердечно ли покаялась Рената предъ нашимъ пасторомъ въ своихъ прегрѣшеніяхъ, изъ которыхъ меньшес, будь оно обнародовано, могло повести ее на костеръ вѣдьмъ,—но, вернувшись домой, умиленная и въ слезахъ, сообщила она мнѣ объ епитиміи, на нее наложенной. И съ того дня, выполняя ее, она не пропускала утра, чтобы не быть у мессы, каждый церковный звонъ встрѣчала молитвой, каждый вечеръ молилась у аналоя до изнеможенія, держала всѣ предписанные вѣрнымъ посты, въ среду, пятницу и субботу, а порою вскакивала и среди ночи, чтобы опять, ломая руки, рыдая, молить объ отпущеніи грѣховъ. Не довольствуясь указанными ей испытаніями, Рената жаждала всячески усилить свои подвиги, чтобы полнѣе выразить свое покая-

ніе, а, можетъ быть, чтобы скорѣе выпросить себѣ прощеніе. Не разъ я удерживалъ ее, когда она яростно билась головой объ полъ, не разъ подымалъ съ полу потерявшей сознаніе отъ усталости на молитвѣ, а однажды вырвалъ изъ ея рукъ кинжалъ, которымъ она уже начертила у себя на груди кровавый крестъ. Въ эти минуты у Ренаты всегда было лицо счастливое и дѣтское, и она упрашивала меня кротко:

— Рупрехтъ, оставь меня, мнѣ хорошо, мнѣ хорошо!

Ко мнѣ въ тѣ первые дни своего покаянія Рената относилась ровно и ласково, какъ сестры къ братьямъ въ бригиттіанскихъ монастыряхъ, не возражая мнѣ рѣзко, подчиняясь мнѣ въ маломъ, но во всемъ существенномъ твердо держась своего пути. Но, разумѣется, Рената отсеклась отъ всякаго соблазна страсти, не позволяя мнѣ даже прикоснуться къ ней и говорила теперь о земной любви съ той же холодностью, какъ какой-нибудь схоластикъ, вродѣ Винцента Бовэскаго.

Настойчиво убѣждала меня Рената присоединиться къ ея покаянію, упрашивая о томъ на колѣняхъ и со слезами, какъ добрая сестра, или заклиная съ угрозами, какъ проповѣдникъ, —но въ моей душѣ, куда бросилъ свои сѣмена Яковъ Вимфелингъ, эти призывы не могли найти отзвука. Всю мою жизнь твердо сохранялъ я въ глубинѣ сердца живую вѣру въ Творца Промыслителя міра, въ Его благодать и въ искупительную, жертву Христа Спасителя, однако, никогда не соглашался, чтобы истинная религія требовала внѣшнихъ проявленій. Если Господь Богъ далъ людямъ во владѣніе землю, гдѣ лишь борьбой и трудомъ можно выполнить свой долгъ, и гдѣ лишь страстные чувства могутъ принести истинную радость,—не можетъ Его справедливость требовать, чтобы отказались мы отъ трудовъ, отъ борьбы и отъ страсти. Кромѣ того, примѣръ монаховъ, этихъ настоящихъ волковъ въ овечьихъ шкурахъ, которые давно уже стали широкой мишенью, продырявленной всѣми стрѣлами сатиры,—достаточно показываетъ, какъ мало приближается къ святости жизнь праздная и тунеядная, хотя бы вблизи отъ алтаря, при каждодневныхъ мессахъ.

Впрочемъ, искренность и увлеченность, съ какими отдавалась

своему покаянію Рената, настолько оживили во мнѣ мое чувство къ ней, что я въ теченіе недѣли или даже дней десяти дѣлалъ видъ, будто испытываю то же, что она, такъ какъ мнѣ хотѣлось не отходить отъ нея, раздѣлять всѣ ея минуты. Вмѣстѣ съ Ренатою посѣщалъ я церкви; опять, прислонясь къ колоннѣ, сѣдѣлъ за ней, склоненной къ молитвеннику; слушалъ мѣрное пѣніе органа и воображалъ безнадежно, что это шумятъ вокругъ насъ мексиканскіе лѣса. Не отказывалъ я Ренатѣ и тогда, когда она звала меня молиться съ собой, ласково ставила близъ себя на колѣни и нѣжно просила, чтобы я повторялъ за нею слова псалмовъ и кантیکъ. Отдавалъ я себя въ волю Ренаты и тогда, когда хотѣлось ей каяться во всемъ, ею въ жизни совершенномъ, когда, ставъ передо мной на колѣни, она цѣлые часы, заливаясь слезами, проклинала себя и свои поступки, рассказывала мнѣ о своемъ постыдномъ прошломъ, причемъ, какъ мнѣ кажется, находила особую сладость въ томъ, чтобы обвинять себя въ самыхъ черныхъ преступленіяхъ, въ которыхъ не была повинна, взводить на себя самыя стыдныя небылицы.

Въ этихъ разказахъ свою жизнь съ графомъ Генрихомъ изображала она какъ сплошной ужасъ, ибо увѣряла теперь, что тайное общество, въ которомъ Генрихъ мечталъ стать грессмейстеромъ, было обществомъ самыхъ низшихъ маговъ, служившихъ черную мессу и готовившихъ вѣдьмовское варево. По словамъ Ренаты, именно въ эти дни были ей указаны пути на шабашъ и тайны демономантіи, такъ что она только притворялась, будто постигаетъ ихъ вмѣстѣ со мной. Однако, и о нашей совмѣстной жизни тутъ же, съ неменьшимъ волненіемъ, рассказывала Рената такія вещи, которымъ я никакъ не могъ дать вѣры и которыя являли событія, лично мною пережитыя, словно отраженными въ изогнутомъ зеркалѣ. Такъ, завѣряла меня Рената, что передъ встрѣчей со мной не было у нея другого желанія, какъ затвориться въ монастырь. Но затѣмъ нѣкій голосъ, принадлежавшій, конечно, врагу человѣческому, сказалъ ей надъ ухомъ, что демоны отдадутъ ей Генриха, если она взамѣнъ поможетъ имъ уловить въ ихъ сѣти другую душу. Послѣ этого вся наша жизнь, будто бы, въ томъ лишь и состояла, что Рената, примѣняя ложь и лице-



мѣріе, старалась вовлечь меня въ смертные грѣхи, не останавливаясь ни передъ какими обманами. Если бы повѣрить Ренатѣ, то пришлось бы допустить, что роль стучащихъ духовъ играла она сама, чтобы заманить меня въ область демономантіи, что мои видѣнія на шабашѣ были ею мнѣ подсказаны, что Іоаннъ Вейеръ былъ правъ, увѣряя, будто это Рената разбила лампы при нашемъ магическомъ опытѣ, и подобное.

Между прочимъ, рѣшительно потребовала Рената, чтобы магическія сочиненія, все еще лежавшія на столѣ въ ея комнатѣ, были уничтожены или выброшены, и, сколько ни возражалъ я противъ такой незаслуженной казни книгъ Агриппы Неттесгеймскаго, Петра Апонскаго, Рогерія Бакона, Ансельма Пармезанскаго и другихъ, но она оставалась непреклонной. Унеся груды томовъ, я спряталъ ихъ въ дальнемъ углу своей комнаты, ибо почиталъ святотатствомъ уподобляться папѣ, сжегшему Тита Ливія, и подымать руку на книги, какъ на лучшее сокровище человѣчества. Но, взаменъ исчезнувшихъ томовъ, на столѣ Ренаты скоро появились другіе, столь же тщательно переплетенные въ пергаментъ и съ неменѣе блестящими застѣжками, да, пожалуй, и содержаніемъ отличающіеся не болѣе, чѣмъ груша отъ яблока, ибо и они усердно трактовали о демонахъ и духахъ. А такъ какъ большинство тѣхъ новыхъ сочиненій, къ которымъ тянулась теперь жаждущая душа Ренаты, также было написано по-латыни, то пришлось мнѣ опять быть толмачомъ, и повторились для меня съ Ренатою часы общихъ занятій, когда, рядомъ за столомъ, склонясь къ страницамъ, вникали мы оба въ слова писателя.

Добывать книги приходилось, конечно, опять мнѣ, такъ что я возобновилъ свои посѣщенія Якова Глока и опять сталъ рудокопомъ въ его богатыхъ шахтахъ; но Рената рѣзко воспрещала мнѣ приносить сочиненія Мартина Лютера и всѣхъ его приспѣшниковъ и подражателей, я же ни за что не допустилъ бы на нашъ столъ ни одной книги «темныхъ людей», какого-нибудь Пфесфферкорна или Гохсратена, такъ что, исключивъ всю современную литературу двухъ воинствующихъ станомъ, должно было мнѣ ограничить свои выборы теологами прежняго

покроя, трактатами старой и новой схоластики. Впрочемъ, первое, что досталось намъ, была благородная и интересная книга Ёомы Кемпійскаго «О подражаніи Христу», но тотчасъ послѣдовали разныя «Ручныя изложенія вѣры», «Enchiridion», на которыхъ было помѣчено: «eyn Handbuchlein eynem yetzlichen Christenfast nutzlich bey sich zuhaben», далѣе заманчивые по заглавіямъ, знаменитые, но своей славы не заслуживающіе трактаты, какъ «Die Hiijmelstrass» Ланцкранны или «О молитвѣ» Леандра Севильскаго, еще послѣ — житія святыхъ, какъ-то: Бернарда Клервосскаго, Норберта Магдебургскаго, Франциска Ассизскаго, Елизаветы Тюрингенской, Екатерины Сиенской и другихъ, и, наконецъ, сочиненія двухъ солнцъ этой области, — два фоліанта, одинъ поменьше, другой несоразмѣрно громадный, за которые не пожалѣлъ я талеровъ, но въ которыхъ не далеко мы подвинулись: серафическаго доктора Іоганна Бонавентури «Itinerarium mentis», мѣстами не лишенное увлекательности, и универсальнаго доктора Ёомы Аквината «Summa Theologiae», — книга совершенно мертвой и ожить не способной учености. Рената хваталась, какъ за якорь спасенія, то за одно, то за другое сочиненіе и торопила меня то переводить ей страницу житія, то истолковывать теологическій споръ, восхищаясь описываемыми чудесами, устрашаясь угрозамъ адскихъ мукъ и съ наивностью, ей несвойственной, принимая за истины всякія нелѣпыя измышленія схоластическихъ докторовъ.

Я не упомяну сейчасть всей суммы вздоровъ и несообразностей, какіе довелось намъ вычитать при этихъ нашихъ усердныхъ занятіяхъ, достойныхъ болѣе осмотрительнаго примѣненія, но я приведу здѣсь нѣсколько примѣровъ тѣхъ разсказовъ, которые съ особенной силой потрясали Ренату, вызывая на ея рѣсницы слезы. Такъ, съ истиннымъ ужасомъ читала Рената у Ёомы Аквината описаніе Преисподней, болѣе точное, нежели у поэта Данте Алигіери, съ точнымъ означеніемъ, гдѣ будутъ находиться и какимъ мученіямъ подвергнутся различные грѣшники: праотцы, умершіе до пришествія Христа, дѣти, умершія до крещенія, тати, убійцы, блудники, богохульники. Съ соотвѣстственнымъ умиленіемъ слушала Рената перечисленіе числа ударовъ, какіе

были получены Спасителемъ послѣ преданія, причемъ оказывалось, что ударовъ бичомъ было 1,667, ударовъ рукой—800, особо заушеній—110; тутъ же сообщалось, что слезъ было Имъ пролито на Масличной горѣ 62,200, а капель кроваваго пота—97,307; что терновый вѣнецъ причинилъ пречистому челу 303 раны, что стоновъ было Имъ испущено 900 и т. д. Умилялъ Ренату рассказъ какъ явилась Екатеринѣ Сіенской Богоматерь, подвела ее къ своему Сыну, который и подалъ святой, въ знакъ обрученія, кольцо съ брилліантомъ и четырьмя жемчужинами, подъ звуки арфы, на которой игралъ царь Давидъ; или, какъ святой Ютгѣ, въ Тюрингіи, явился Самъ Христосъ, позволилъ ей прижать уста къ Своему прободенному ребру и сосать пречистую Свою кровь. Не менѣе серьезно принимала Рената повѣсти, будто изъ могилы святого Адальберта въ Богеміи, когда ее открылъ епископъ Пражскій, излилось столь укрѣпляющее благоуханіе, что всѣ присутствующіе три дня послѣ того не нуждались въ пищѣ, или будто въ одномъ женскомъ цистеріанскомъ монастырѣ, во Франціи, святость жизни была столь высока, что, съ Божьяго благословенія, дабы не вводить въ монастырь никого со стороны и все же продолжить его населеніе, каждая монахиня, не зная мужа, родила по дѣвочкѣ, которая должна была стать ея преемницей. Не знаю, всегда ли вѣра враждуетъ съ разсудкомъ, и правда ли, что занятія теологіей размягчаютъ мозгъ, но, глядя, какъ довѣрчиво слушаетъ эти исторіи Рената, которая въ другіе дни умѣла пользоваться логикой, могъ я только повторять слова святого Бернарда Клервосскаго: «всѣ грѣхи возникаютъ изъ грѣха невѣрія».

Что до меня, схоластическія бредни, какъ новинка, забавляли меня только первые дни, а такъ какъ сочиненія теологическія имѣютъ одну плохую особенность: всѣ они очень похожи одно на другое,—то скоро часы чтенія съ Ренатою сдѣлались для меня неприятной обязанностью. Точно также и чувство мое къ Ренатѣ, которое вдругъ ожило подъ вліяніемъ ея видѣнія, стало замирать снова, словно шаръ, который кто-то подтолкнулъ неожиданно, но который все равно не можетъ свободно катиться по каменистой дорожкѣ. И очень скоро монастырскій образъ жизни,

который ввела у насъ въ домѣ Рената, съ молитвами, колѣно-преклоненіями, воздыханіями и постами, началъ казаться мнѣ какимъ-то неумѣстнымъ маскарадомъ. Я началъ уклоняться отъ того, чтобы сопровождать Ренату въ церковь, уходилъ, подъ разными предлогами, изъ дому въ часы, когда могли бы мы приняться за чтеніе, рѣзко прерывалъ благочестивые разговоры, и ночью, слыша изъ комнаты Ренаты ея сдавленные рыданія, не спѣшилъ къ ней. А потомъ настала и день, когда не могъ и не захотѣлъ я преодолѣть своего желанія: вернуться къ Агнессѣ, словно къ ясному воздуху надъ зелеными лугами, послѣ рдѣнныхъ и голубыхъ лучей, перекрещивающихся съ соборѣмъ сквозь расписныя стекла.

Этотъ день, чего я предвидѣть не могъ никакъ, если не опредѣлить, то предсказалъ всю нашу судьбу. Рената тогда съ утра была въ соборѣ, и я, прождавъ ее до полудня, вдругъ, почти неожиданно для самого себя, вышелъ на улицу, направился, не безъ смущенія, къ знакомому дому Виссмановъ и постучался въ дверь, какъ виноватый. Агнесса приняла меня съ неизмѣнной привѣтливостью и только сказала мнѣ:

— Вы такъ давно у насъ не были, господинъ Рупрехтъ, и я уже думала, что съ вами опять случилось что-либо нехорошее. Мнѣ братъ запретилъ разспрашивать васъ, говоря, что у васъ могутъ быть причины, которыхъ не должно знать честной дѣвушкѣ,—правда ли это?

Я возразилъ:

— Вашъ братъ пошутилъ надъ вами. Просто, въ моей жизни настали неудачные дни, и я не хотѣлъ васъ опечаливать грустнымъ лицомъ. Но сегодня стало мнѣ слишкомъ тяжело, я пришелъ къ вамъ помолчать и послушать вашъ голосъ.

Я, дѣйствительно, молчалъ почти все время, какое пробылъ съ Агнессою, а она, скоро освоившись со мною вновь, шепетала, какъ ласточка подъ кровлей, обо всѣхъ маленькихъ новостяхъ недавнихъ дней: о смерти собачки у сосѣдки, о смѣшномъ случаѣ за обѣдней въ воскресенье, о попойкѣ профессоровъ, какая была у ея брата недавно, о какомъ-то необыкновенномъ, отливающимъ въ три цвѣта шелкѣ, присланномъ ей изъ Франціи,

и о многомъ другомъ, заставлявшемъ меня улыбаться. Рѣчь Агнессы текла какъ ручеекъ въ лѣсу; ей говорить было легко, потому что всѣ впечатлѣнія жизни и всѣ сказанныя ею слова скользили сквозь нея, не задѣвая въ ней ничего, а мнѣ было легко ее слушать, потому что не надо было ни думать, ни быть внимательнымъ, можно было бросить поводья своей души, которыя такъ часто приходилось мнѣ натягивать. Опять, какъ всегда, ушелъ я отъ Агнессы освѣженный, словно легкимъ вѣтромъ съ моря, успокоенный, словно долгимъ созерцаемъ желтой нивы съ синими васильками.

Дома я засталъ Ренату надъ книгами, тщательно разбирающей какую-то проповѣдь Бертольда Регенбургскаго, написанную на трудномъ, устарѣломъ языкѣ. Строгое, сосредоточенное лицо Ренаты, ея спокойный холодный взглядъ, ея кроткій, сдержанный голосъ,—все это было такой противоположностью съ дѣтской безпечностью Агнессы, что сердце у меня словно кто-то ущемилъ клещами. И вотъ тогда-то вдругъ, съ крайней непобѣдностью, захотѣлось мнѣ прежней Ренаты, недавней Ренаты, ея страстныхъ глазъ, ея изступленныхъ движеній, ея несдержанныхъ ласкъ, ея нѣжныхъ словъ,—и желаніе это было такъ остро, что я готовъ былъ заплатить всѣмъ, чтобы насытить его. Въ ту минуту, безъ колебанія, отдалъ бы я всю будущую жизнь за одно мгновеніе ласки, тѣмъ болѣе, что казалось оно мнѣ неосуществимымъ.

Я бросился къ Ренатѣ, я сталъ передъ ней на колѣни, какъ въ хорошее, давнее время, я началъ цѣловать ей руки, и говорить о томъ, какъ безмѣрно ее люблю, и какъ изнемогаю смертельно всѣ эти дни отъ ея суровой неприступности. Я говорилъ, что изъ чернаго Ада я вышелъ было къ радужному Эдему, какъ Адамъ не сумѣлъ воспользоваться блаженствомъ, и вотъ стою у вратъ Рая, и стражъ съ пылающимъ мечомъ загораживаетъ мнѣ возвратъ,—что я согласенъ умереть сейчасъ же, если мнѣ еще одинъ разъ позволено будетъ вдохнуть запахъ эдемскихъ лилій. Я зналъ даже въ тотъ мигъ, что говорю неправду, что повторяю слова прошлаго, но ложь была той дорогой цѣной, за которую надѣялся я купить любовный взглядъ и ласковое

прикосновеніе Ренаты. Не останавливался я даже и передъ другими, еще болѣе недостойными средствами соблазна, стараясь отуманить сознаніе Ренаты, стараясь вновь пробудить въ ней чувственное влеченіе, такъ какъ мнѣ, во что бы то ни стало, нужна была ея страсть.

Не знаю, искусство ли моей рѣчи одержало верхъ, или во мнѣ самомъ тогда было слишкомъ много огня, который не могъ не перекинуться на существо Ренаты и не зажечь ее, или, наконецъ, въ ней самой вырвались наружу силы страсти, насильственно заваленныя камнями разсудка,—только въ тотъ вечеръ могла торжествовать богиня Любви и крылатый сынъ ея могъ опять задуть свой ночной факелъ. Съ такой пламенностью приняли мы другъ къ другу, съ такой нѣжной ожесточенностью искали поцѣлуевъ и объятій, словно то было первое наше соединеніе, и, въ опьяненіи счастіемъ, казалось мнѣ, что мы не въ нашей знакомой комнатѣ, а гдѣ-то въ пустынѣ, въ дикихъ скалахъ, въ гротѣ, и что молніи неба и нимфы лѣса привѣтствуютъ нашъ союзъ, какъ когда-то Энея и Дидоны:

fulsere ignes et conscius aether  
Connubiis, summoque ulularunt vertice Nymphae. .

И Рената, потерявъ строгій обликъ монахини, повторяла мнѣ слова ласки, которыя для меня были нѣжнѣе всѣхъ звуковъ віолы и флейты:

— Рупрехтъ! Рупрехтъ! Мнѣ больше ничего не надо, только ты люби меня; я не хочу ни блаженства, ни Рая, я хочу, чтобы ты былъ со мной, чтобы ты былъ мой, а я — твоя. Я люблю тебя, Рупрехтъ!

Но зато, когда миновалъ порывъ страсти, когда, словно изъ какого-то ничто, опять выступили кругомъ стѣны нашей комнаты и вся ея обстановка, и стали намъ видны и книги, разбросанныя по столу, и упавшій на полъ томъ проповѣдей Бертольда Регенсбургскаго, и мы двое, простертыя въ утомленіи на смятой постели,—тотчасъ охватило Ренату отчаянье. Вскочивъ, кинулась она къ аналою, упала на колѣни, шепча молитву, но потомъ такъ же быстро поднялась, блѣдная, гнѣвная, и стала бросать въ меня упреки.

— Рупрехтъ! Рупрехтъ! Что ты сдѣлалъ! Я знаю, тебѣ только одно это и нужно! Я знаю, ты во мнѣ ничего другого не ищешь, не хочешь. Но зачѣмъ тогда я тебѣ? Иди въ публичный домъ,—тамъ ты за малыя деньги найдешь себѣ женщинъ. Предложи себя любой дѣвушкѣ, и ты получишь жену, которая будетъ тебѣ служить каждую ночь. Но тебѣ нравится искушать меня именно потому, что я отдала свою душу и свое тѣло Богу!

На это я возразилъ:

— Рената, будь милосердна и справедлива! Вспомни, я цѣлые мѣсяцы жилъ близъ тебя, не добиваясь твоихъ ласкъ, когда думалъ, что ты обручена другому, и не жаловался на твою безстрастность. Но какъ хочешь ты, чтобы я сносилъ ее спокойно, когда знаю, что ты меня любишь, когда чувствую близость твоей любви? Я не вѣрю, что Господу Богу неужгодна ласка двухъ любящихъ, и ты еще нѣсколько минутъ назадъ говорила, что за нее готова отдать блаженство будущей жизни.

Но вмѣсто отвѣта Рената начала рыдать, какъ она всегда рыдала, то есть безудержно и безутѣшно, такъ что напрасно пытался я ее успокоить и утѣшить, прося у нея прошенія, обвиняя самого себя, давая ей клятвы, что ничего, подобнаго этому дню, не повторится никогда. Не слушая меня, Рената плакала словно о чемъ-то погибшемъ безвозвратно, какъ могла бы плакать развѣ дѣвушка, нечестно обольщенная соблазнителемъ, или какъ, можетъ быть, плакала праматерь Ева, понявшая лицемеріе Змія. Я же, видя эти слезы и эту тоску, самъ себѣ давалъ рѣшительныя клятвы, что никогда больше не поддамся искушенію, что лучше покину Ренату нежели опять выставлю себя въ ея глазахъ человѣкомъ, ищущимъ грубыхъ наслажденій, такъ какъ не ихъ, а ласковыхъ глазъ и нѣжныхъ словъ жаждалъ я.

Однако, несмотря на эти обѣщанія, данныя мною и Ренатѣ и себѣ, тотъ день послужилъ образцомъ для многихъ другихъ, вылепленныхъ, хотя и изъ другой глины, но въ тѣхъ же формахъ, притомъ съ такой точностью, что во всѣхъ нихъ занимала свое мѣсто Агнесса. Обычно происходило все такъ, что я шелъ днемъ къ Агнессѣ, слушалъ ея тихія рѣчи, смотрѣлъ на ея льняныя косы, и съ душой успокоенной, какъ заштилѣвшее

море, возвращался къ Ренатѣ, по пути напоминая себѣ, что сегодня буду я владѣть собою строго. Дома большею частью начинали мы чтеніе какого-нибудь назидательнаго сочиненія, причемъ, преодолевая чувство скуки, старался я вникать въ разсужденія, любопытныя для Ренаты,—но понемногу близость ея тѣла увлекала меня какъ нѣкій любовный фильтръ и, почти самъ не примѣчая того, я то принималъ губами къ ея волосамъ, то тѣснѣе прижималъ ея руку къ своей. Вспоминая теперь эти минуты, думаю, что, можетъ быть, не всегда первый поводъ подавалъ я, но что одинаковое со мною чувство испытывала и Рената, которая также влеклась, противъ воли, къ страсти, или что было во всемъ этомъ вліяніе существъ, намъ враждебныхъ и незримыхъ. Во всякомъ случаѣ, безъ одного исключенія, всѣ наши чтенія, послѣ перваго нашего грѣхопаденія, стали завершаться одинаково: сначала изступленными ласками и взаимными клятвами, а потомъ отчаяньемъ Ренаты, ея слезами и жестокими укорами, и моимъ позднимъ расканьемъ. И число этихъ образовъ, сходныхъ другъ съ другомъ, какъ листья одного дерева, увеличивалось въ нашей памяти каждый день на одинъ.

Такъ наша жизнь, словно завиваясь суживающимися кольцами водоворота, замкнула, наконецъ, въ очень тѣсный кругъ то, что прежде она обнимала широкимъ обхватомъ. Первые мѣсяцы нашей жизни съ Ренатою были мы чуждыми другъ другу; затѣмъ въ теченіе двухъ недѣль, послѣ моего поединка съ графомъ Генрихомъ, напротивъ, близкими, какъ только могутъ быть близки люди. Въ слѣдующій періодъ жизни, длившійся до видѣнія Ренаты, эти смѣны враждебности и близости свершались въ теченіе нѣсколькихъ дней, и порою въ одну недѣлю успѣвали мы быть и лютыми врагами и страстными любовниками. Теперь такой же циклъ замкнулся въ краткое время двадцати-четырехъ часовъ. На протяженіи отъ утра до вечера успѣвали мы пройти всю высокую лѣстницу отъ братской близости черезъ дружескую довѣрчивость, къ самой пылкой, самозабвенной любви и дальше, къ отточенной, какъ кинжалъ, ненависти. Каждый день наши души, какъ клинки, то раскалялись до блага свѣта на горниѣ страсти, то вдругъ погружались въ ледяной холодъ, — и



легко можно было предвидѣть, что, не выдержавъ такихъ переходовъ, онѣ, наконецъ, сломаются.

Я чувствовалъ себя совершенно измученнымъ всей своей жизнью съ Ренатою и снова помышлялъ втайнѣ о томъ, чтобы покинуть ее и бѣжать въ другія страны, хотя въ то же время мысль лишиться ее и ея ласкъ была мнѣ такъ ужасна, что я просто боялся вообразить себя въ мірѣ опять одинокимъ. Въ то же время и Рената, въ часы нашихъ ссоръ, все чаще рѣшалась говорить мнѣ, что болѣе не можетъ оставаться со мной, что въ меня вселился Дьяволъ, искушающій ее, что ей лучше умереть отъ тоски по мнѣ, нежели совершать смертные грѣхи ради близости со мной, и что единое пристанище, гдѣ ей теперь мѣсто, — монастырь. Тогда я не придавалъ особаго значенія этимъ словамъ, но и мнѣ наша общая жизнь представлялась тогда комнатою, изъ которой нѣтъ выхода, въ которой всѣ двери мы замуровали сами, и въ которой теперь мечемся безнадежно, ударяясь о каменные стѣны.

Но катастрофа, разрушившая эти стѣны въ прахъ, вдругъ бросившая меня въ какія-то другія пропасти, на другіе острые камни, все же подошла незамѣтно, словно судьба подкралась въ маскѣ и на цыпочкахъ и схватила насъ обоихъ сзади.

Мнѣ памятенъ тотъ день, можетъ быть, больше всѣхъ иныхъ дней, и потому я знаю точно, что было то 14 февраля, въ воскресенье, въ день святого Валентина. Въ тотъ день меня особенно утѣшала ласковость Агнессы, причемъ при бесѣдѣ нашей присутствовалъ и Матвѣй, и мы втроемъ не мало шутили надъ обычаями и примѣтами, связанными съ этимъ днемъ. Возвращаясь домой, былъ я опять расположенъ добродушно и ласково и говорилъ себѣ: «Душа Ренаты изранена всѣмъ, что пережила она. Надо дать ей тихое успокоеніе, какъ больному даютъ лѣкарство. Кто знаетъ, быть можетъ, послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ жизни ясной и мирной, и любовь ея, и покаяніе ея вольются въ ровное русло, — и для насъ съ ней станетъ возможною та счастливая и трудовая жизнь мужа и жены, о которой я уже перестаю мечтать».

Съ такими благими рѣшеніями вошелъ я къ Ренатѣ и по

обыкновенію засталъ ее среди книгъ, надъ латинскимъ фоліантомъ, въ смыслъ котораго она тщетно старалась вникнуть. Была она такъ заинтересована темнымъ для нея содержаніемъ книги, что не слышала, какъ я приблизился и, вздрогнувъ, обратила ко мнѣ ясные глаза свои, только когда я осторожно поцѣловалъ ее въ плечо.

Словно забывъ всѣ свои вчерашніе жестокіе упреки и жалобы, Рената сказала мнѣ привѣтливо:

— Рупрехтъ, какъ я тебя долго ждала сегодня! Помоги мнѣ, — я вижу, что эта книга очень важная, но понимаю очень плохо; здѣсь есть откровенія, которыя, если мы будемъ ихъ помнить, удержатъ насъ отъ многихъ золъ.

Я присѣлъ рядомъ съ Ренатою и увидѣлъ, что то была книга, недавно разысканная мною у Глока, такъ какъ она уже давно была распродана: прекрасный томъ, отпечатанный еще въ прошломъ вѣкѣ, въ городѣ Любекѣ, подъ заглавіемъ «*Sanctae Brigittae Revelationes ex recensione cardinalis de Turrecremata*». Книга была раскрыта на описаніи путешествія святой Бригитты Шведской по Чистилищу и тѣхъ родовъ мученій, какіе она тамъ наблюдала. Въ упоръ начали мы читать о какой-то грѣшной душѣ, голова которой была такъ крѣпко стянута тяжелой цѣпью, что глаза ея, вылѣзши изъ орбитъ, висѣли на своихъ корняхъ до самыхъ колѣнъ, а мозгъ лопнулъ и вытекалъ изъ ушей и изъ носу; далѣе изображались мученія другой души, у которой языкъ былъ вырванъ черезъ открытыя ноздри и свисалъ до зубовъ; еще далѣе слѣдовали инныя формы всевозможныхъ пытокъ, сдиранія кожи, искищенныхъ бичеваній, терзаній огнемъ, кипящимъ масломъ, гвоздями и пилами.

Мнѣ не довелось прочесть въ этой книгѣ описанія мукъ въ самомъ Аду, но въ изображеніи Чистилища заинтересовала только сила необузданной фантазіи, много терявшая, впрочемъ, отъ дурного изложенія кардинала, не совсѣмъ твердаго въ латинской стилистикѣ. Зато на Ренату видѣнія святой Бригитты произвели впечатлѣніе потрясающее, и, оттолкнувъ страшную книгу, вся дрожа, она прижалась ко мнѣ, видимо, представляя себѣ загробныя мученія со всей ясностью от-



«Пустынникъ». Рисунокъ Н. Теофилактова.



крывшагося взорамъ зрѣлища. Съ чувствомъ настоящаго ужаса, какъ ребенокъ, оставшійся одинъ въ темной комнатѣ, она воскликнула, наконецъ:

— Страшно! Страшно! И это грозитъ всѣмъ намъ, каждому, мнѣ и тебѣ! Пойдемъ, помолимся, Рупрехтъ, и да оставитъ намъ Богъ столько жизни, чтобы загладить всѣ грѣхи наши!

Въ эту минуту Рената, наивная и робкая, похожа была на маленькую деревенскую дѣвочку, которую пугаетъ заѣзжій монахъ, надѣясь съ ея помощью распродать побольше индульгенцій, и была она мнѣ мила и дорога несказанно. Я охотно послѣдовалъ за ней къ маленькому алтарю, бывшему въ ея комнатѣ, и мы стали на колѣни, повторяя святыя слова: *Placare Christe servulis...* Эта общая молитва, когда мы стояли рядомъ, какъ два изваянія въ церкви, и когда наши голоса смѣшивались, какъ запахъ двухъ рядомъ растущихъ цвѣтковъ, рѣшила нашу участь, потому что оба мы не одолѣли вновь желаній, вдругъ вставшихъ со дна нашей души, какъ встаетъ изъ корзины, на свистъ заклинателя,—его змѣя.

Я не хочу обвинять здѣсь въ этомъ послѣднемъ поступкѣ Ренату и не могу принять за него всей вины на себя, и пусть разсудитъ это въ свое время Тотъ, Кому принадлежитъ судить и разрѣшать, въ рукахъ Котораго вѣсы вѣрные и Кто не зритъ на лица. Но кто бы ни былъ изъ насъ виноватъ въ этомъ нашемъ послѣднемъ паденіи, во всякомъ случаѣ скорбь, которая поборола Ренату, едва миновало головокруженіе страсти, еще не имѣла въ прошломъ равнаго ничего. Рената съ такимъ изумленіемъ и съ такой дрожью отпрянула отъ меня, словно я завладѣлъ ею тайно, въ ея снѣ, или насиліемъ, какъ Тарквиній Лукреціей, и первыя два слова, произнесенныя ею, ударили меня бичомъ по сердцу сильнѣе, чѣмъ всѣ послѣдующія проклятія. Эти два слова, исполненныя безпредѣльной тоски, были:

— Рупрехтъ! опять!

Я схватилъ руки Ренаты, хотѣлъ цѣловать ихъ, заговорилъ торопливо:

— Рената! Клянусь Богомъ, клянусь спасеніемъ души, я не знаю самъ, какъ все это произошло! Это все—лишь оттого, что

вѣсы.

4

я слишкомъ люблю тебя, оттого, что я согласенъ на всѣ мученія Бригитты, только бы цѣловать твои губы!

Но Рената высвободила свои пальцы, отбѣжала на середину комнаты, словно для того, чтобы быть отъ меня дальше, и закричала мнѣ внѣ себя:

— Лжешь! Лицемеришь! Опять лжешь! Подлый! Подлый! Ты—Сатана! Въ тебѣ—Дьяволъ! Господи, Иисусъ Христосъ, охраняй меня отъ этого человѣка!

Я попытался настичь Ренату, протягивалъ къ ней руки, повторялъ ей какія-то ненужныя извиненія и безплодныя клятвы, но она отстранялась отъ меня, крича мнѣ:

— Прочь отъ меня! Ты мнѣ ненавистенъ! Ты мнѣ противенъ. Это я въ безуміи говорила, что люблю тебя, въ безуміи и въ отчаяніи, такъ какъ мнѣ ничего не оставалось больше! Но я дрожала отъ отвращенія, когда ты обнималъ меня! Ненавижу тебя, проклятый!

Наконецъ, я сказалъ:

— Рената, почему ты обвиняешь меня одного, но не себя? Развѣ ты не одинаково виновата, поддаваясь моему соблазну, какъ я, уступая твоему? Вѣрнѣе, не Богъ ли виноватъ, сотворивъ людей слабыми и не давъ имъ силъ для борьбы съ грѣхомъ?

Въ эту минуту Рената остановилась, словно пораженная моими богохуленіями, дико стала оглядываться и, увидѣвъ лежащій на столѣ ножъ, схватила его, какъ оружіе избавленія.

— Вотъ, вотъ, гляди!—крикнула она мнѣ голосомъ хриплымъ. — Вотъ, какое средство завѣщалъ намъ Самъ Христосъ, если тѣло наше искушаетъ насъ!

Говоря такъ, Рената ударяла себя клинкомъ въ плечо, и кровь окрасила мѣсто раны, а черезъ мигъ потекла и изъ рукава ея платья. У меня тотчасъ мелькнула мысль, что этотъ порывъ—послѣдній, что за нимъ наступитъ упадокъ всѣхъ силъ, и я хотѣлъ подхватить Ренату въ руки, какъ падающую. Но, противъ ожиданія, рана только придала ей новой ярости, и, съ удвоеннымъ негодованіемъ, она оттолкнула меня, метнулась въ сторону и опять закричала мнѣ:

— Уйди! уйди! не хочу, чтобы ты ко мнѣ прикасался!

Потомъ, совершенно обезумѣвшая, а, можетъ быть, подпавшая подъ вліяніе злого духа, Рената съ размаха бросила въ меня ножомъ, который еще держала въ рукѣ, такъ что я едва успѣлъ уклониться отъ опаснаго удара. Тутъ же схватила она со стола тяжелыя книги и стала метать ихъ въ меня, какъ ядра изъ баллисты, а за ними и всѣ другіе мелкіе предметы, находившіеся въ комнатѣ.

Защищаясь, сколько было можно, отъ этого града, хотѣлъ я говорить и образумить Ренату, но ее каждое мое новое слово приводило въ большее раздраженіе, каждое мое движеніе возбуждало ее еще и еще. Я видѣлъ ея лицо, блѣдное, какъ никогда, и искаженное судорогами до неузнаваемости, я видѣлъ ея глаза, въ которыхъ зрачки расширились вдвое,—и весь ея обликъ, все ея тѣло, находившееся въ непрерывной дрожи, доказывали мнѣ, что не она владѣетъ собой, но кто-то иной распоряжается ея тѣломъ и ея волей. И вотъ въ ту минуту, слыша повторные крики Ренаты: «уйди! уйди!», видя, въ какую ярость приводитъ ее мое присутствіе, принявъ я рѣшеніе, можетъ быть, неосторожное, но за которое сегодня все же не смѣю упрекать себя: я рѣшился дѣйствительно уйти изъ дому, полагая, что безъ меня Рената скорѣе овладѣетъ собой и успокоится. Кромѣ того, не могъ я оставаться твердымъ, какъ марпезійская скала, слыша непрестанныя оскорбленія себѣ, и, хотя понималъ умомъ, что Рената за нихъ не отвѣтственна, однако, не безъ труда удерживалъ я себя, чтобы не крикнуть ей въ отвѣтъ и своихъ обвиненій.

Итакъ, я предпочелъ, повернувшись, быстро выйти изъ комнаты и слышалъ за собой неудержимый хохотъ Ренаты, словно бы она торжествовала долго-жданную побѣду. Приказавъ Луизѣ подняться на верхъ и ждать приказаній госпожи, я накинулъ плащъ и вышелъ на весенній воздухъ, въ сумерки подступавшаго вечера,—и такой странной показалась мнѣ узкая улица, и высокіе кельнскіе дома, и еще бѣлый мѣсяцъ надъ ними, послѣ сумасшедшаго дома, въ которомъ только-что слышалъ я вопли, скрежетъ и смѣхъ. Я шелъ впередъ, не думая ни о чемъ, только дыша всей грудью, только вбирая глазами темноту.

шую синь неба, и вдругъ самъ удивился, увидя себя у дверей дома Виссмановъ, куда меня какъ-то сами завели мои ноги. Я, конечно, не вошелъ къ нимъ вторично, но, перейдя на другую сторону улицы, заглянулъ въ окна, и мнѣ показалось, что я узналъ милый и нѣжный силуэтъ Агнессы. Успокоенный уже этимъ однимъ, а, можетъ быть, и всей прогулкой, я медленно направился домой.

Но у насъ засталъ я Луизу въ смятеніи, а комнату Ренаты пустой, причемъ на полу валялись ея вещи, нѣкоторыя части одежды, какіе-то лоскуты, веревки, — и все обличало, что кто-то здѣсь поспѣшно готовился къ отъѣзду. Конечно, я догадался сразу, что произошло, и охватилъ меня крайній ужасъ, какъ неопытнаго мага, который втайнѣ заклиналъ демона явиться и вдругъ упалъ ницъ при его страшномъ появленіи. Въ волненіи началъ я спрашивать Луизу, но она немногое могла объяснить мнѣ.

— Госпожа Рената, — такъ бормотала Луиза, — сказала мнѣ, что вы попросились съ нею, и что она уѣзжаетъ на нѣсколько дней. Она приказала мнѣ помочь ей собрать ея вещи, но запретила за ней слѣдовать. Я же никогда не возражаю господамъ и дѣлаю все, какъ они прикажутъ. Вотъ только удивило меня, что у госпожи Ренаты вся рука была въ крови, ну, да я ей рану перевязала чистымъ полотномъ.

Спорить съ глупой старухой или бранить ее было бесполезно, и я, не отвѣчая на ея причитанія, побѣжалъ, съ непокрытой головой, на улицу. Мнѣ казалось, что Рената не могла уйти далеко, я надѣялся нагнать ее, упросить, умолить вернуться. Я толкалъ рѣдкихъ вечернихъ прохожихъ, я самъ натыкался на стѣны и безъ толку, съ сердцемъ бьющимся, какъ молотъ, пробѣгалъ улицу за улицей, пока не послышался звонъ уличныхъ цѣпей и не замелькали тамъ и сямъ во мракѣ переносные фонари. Тогда я понялъ безсмысленность своихъ поисковъ и вернулся къ себѣ, потрясенный и растерявшийся.

Хотя утѣшалъ я самъ себя соображеніемъ, что не успѣла, конечно, Рената выйти изъ города, прежде чѣмъ заперли ворота, однако, все же первая ночь, которую я провелъ безъ нея, была



поистинѣ страшной. Сначала я бросился въ свою постель и ждалъ мучительно, противъ всякаго вѣроятія, что вотъ раздастся стукъ въ дверь и вернется Рената,—встрѣчая каждый шорохъ, какъ надежду, какъ предзнаменованіе. Потомъ, вскочивъ, я сталъ на колѣни и началъ молиться съ тѣмъ же изступленіемъ, съ какимъ молилась сама Рената, заклиная Всевышняго вернуть мнѣ ее, вернуть во что бы то ни стало, какой бы цѣной то ни было. Я давалъ сотни обѣтовъ, исполнить которые клялся, если только Рената вернется: клялся заказать тысячу обѣденъ, клялся положить десять тысячъ земныхъ поклоновъ, клялся пойти пѣшкомъ ко Гробу Господню, соглашался отдать въ замѣнъ всѣ другія радости жизни, какія еще могли ожидать меня въ будущемъ,—самъ понималъ всю нелѣпость своихъ обѣтовъ и все же произносилъ ихъ, ломая руки. Потомъ бросился я въ опустѣлую комнату Ренаты, гдѣ все еще было живо ея, ложился на ея постель, на ту простыню, къ которой она еще вчера прижимала свое тѣло, цѣловалъ ея подушки и грызъ ихъ зубами, воображалъ Ренату въ своихъ объятіяхъ, говорилъ ей всѣ страстные, всѣ нѣжныя слова, которыя не успѣлъ сказать за дни нашей близости, и бился головой объ стѣну, чтобы чувствомъ боли вернуть себѣ сознаніе. Не знаю, какъ не потерялъ я разсудка въ ту ночь.

Настала заря, и я былъ уже на ногахъ, я уже искалъ Ренату по городу, уже стерегъ ее у городскихъ воротъ и на пристаняхъ, откуда отходятъ барки. Но я не нашелъ Ренаты нигдѣ, я не дождался ее дома,—она не вернулась ко мнѣ ни въ тотъ день, ни на слѣдующій, ни въ цѣлый рядъ другихъ дней,—она не вернулась въ ту свою комнату больше никогда.

Валерій Брюсовъ.

Вторая часть повѣсти (главы XI—XVI)  
будетъ напечатана въ «Вѣсахъ» 1908 года.



## РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

### БИБЛИОГРАФИЯ.

**Алексѣй Ремизовъ.** Прудъ. Романъ. Издательство „Сиріусъ“. 1908 г. Цѣна 1 руб. 25 к.

Интересный писатель А. Ремизовъ! Какъ хороши его миниатюры изъ „Посолони“: это—ароматныя травы, окропленныя росой, сверкающія алмазами! Прочтешь миниатюру,—словно задѣнешь травинку: качнется, прольетъ на грудь росныя капли. Не то „Лямонарь“: здѣсь кто то строгій по строгому камню, строгіе образы съ забавными выкрутасами. Прочтешь,—скажешь: „Ну и мудрый же забавникъ этотъ Ремизовъ!“. Хороши иныя изъ рассказовъ А. Ремизова:—забавны-презабавны! Ни слова простого не скажешь Ремизовъ: здѣсь щипнетъ, тамъ кивнетъ, тамъ бочкомъ подлетитъ, изъ пальцевъ козу сдѣлаетъ—козой-козой набѣгаетъ, тамъ чебутыкомъ подкатится, и вдругъ расплачется, разрыдается. Насмѣшливымъ вопленникомъ умѣетъ быть Ремизовъ. Многому насъ научилъ. Уже и смѣялись мы его забавамъ, и плакали. Мы его любимъ...

Многое можно было бы рассказать про тѣ искусныя штуки, которыя открылъ А. Ремизовъ. Да здѣсь не мѣсто. Надо и о „Прудѣ“ сказать что-нибудь. Охъ, какъ не хочется! Лучше бы и не говорить о „Прудѣ“! Не нравится „Прудъ“. Не сумѣлъ Ремизовъ „Прудъ“ написать. Что не говори, а Ремизову не удался „Прудъ“. И не то, чтобы яркихъ страницъ здѣсь не было. Все, что угодно, отыщешь въ „Прудѣ“ у Ремизова: и сверкающую золотую рыбку переживанія, и золотистыя кольца солнца на зеркальной глади, и зеленую лягушку-квакушку, что квакала изъ илу, и иль (много илу!) вонючій, липкій. Нѣкоторыя страницы, что топь, пере-

мажутъ липкостью, коли пройдетъ черезъ нихъ читатель, не запасшись охотничьими сапогами. Не всякій же гораздъ покушать охотничьи сапоги вмѣстѣ съ романомъ Ремизова. Да все это еще польбѣды. Вся Бѣда въ томъ, что 284 страницы большого формата распились Ремизовъ бисерными узорами малаго формата: это—тончайшія переживанія души (сны, размышленія, молитвы) и тончайшія описанія природы. Схватчена и жизнь быта. Но схватить цѣлаго нѣтъ возможности: прочтешь пять страницъ,—утомленъ; читать дальше, ничего не поймешь. Отложишь чтеніе, забудешь первыя пять страницъ. Пока читаешь, забываешь дѣйствующихъ лицъ, забываешь фабулу. Рисунка нѣтъ въ романѣ Ремизова: и крупные штрихи, и детали расписаны акварельными полутонами. Я понимаю, когда передо мной небольшая акварель. Что вы скажете объ акварели въ сорокъ квадратныхъ саженей? Стоишь у одного края картины, видишь гигантскую пятку нарисованнаго героя; чтобъ увидѣть другую пятку, надо совершить цѣлое путешествіе. И все-таки останутся пятки безъ головы. Чтобы увидѣть голову, надо, по крайней мѣрѣ, подняться на подъемникѣ. А въ цѣломъ—это море нѣжныхъ безформенныхъ тоновъ. Все полотно когда оно еще не просохло, вѣроятно, лежало на полу. Живописецъ вышелъ, пришелъ мокрый, грязный пѣсь и вывалился, оставивъ на полотнѣ мутные слѣды. И потомъ скаталъ Ремизовъ свое полотно сверсталъ вмѣстѣ съ нѣжными, но безформенными тонами и синими грязными слѣдами, да и приподнесъ намъ въ видѣ объемистаго книжнаго кирпича: „Вотъ вамъ, дѣти мои: поучайтесь“. Дѣти читаютъ, читаютъ и не понимаютъ. Преталантливая путаница, преталантливая, но... все же путаница, гдѣ десятками страницъ идетъ описаніе мелочей (комнатъ, тиканья часовъ и всего прочаго) и десятками страницъ идетъ описаніе кошмара; случайный кошмаръ не отдѣленъ отъ фабулы, потому что фабула, распыленная въ мелочахъ, переходитъ въ кошмаръ, распыленный въ мелочахъ. Между тѣмъ и другимъ стоитъ: „Съль. Заснулъ. Проснулся“.

Нельзя же такъ пытатъ читателей!..

Вотъ, напримѣръ, какъ начинается глава у Ремизова: „А лый и бѣлый дождь осыпающихся вишенъ и яблонъ“. Далѣе многозначительная точка. Далѣе съ новой строчки (очевидно, для вящей проникновенности) многозначительная фраза: „Замирающій воскресный трезвонъ“. И опять многозначительная точка, многозначительная пауза, многозначительная красная строка: „Эй, плотнички лихѣ, работай!“ Это Ремизовъ восклицаетъ какъ бы самъ отъ себя, прорывая страницу и высовываясь изъ книги. Потомъ еще нѣсколько многозначительныхъ фразъ, и прямо „Прошли экзамены“. Эта фраза напоминаетъ, что есть въ этой лири-

къ и фабула, а мы-то, чортъ возьми, и забыли, въ чемъ ея суть; и опять кто-то, кому-то говорить (вѣрнѣе: кѣмъ-то говорится): „Какъ стемнѣется, за досками пойдѣмте“. И т. д. и т. д.

И вѣдь такихъ главъ не перечитаешь, и всѣ онѣ—сплошная лирика, гдѣ смыслъ не въ цѣломъ, а въ страницахъ, смыслъ страницы въ отдѣльныхъ фразахъ, а смыслъ фразъ—въ „словечкахъ“. Громадный романъ, гдѣ, прежде всего, спасаетъ форма цѣлаго, истолокъ заботливый Ремизовъ въ порошокъ: толокъ въ ступкѣ усердно. Остались недотолченные осколки движенія въ родѣ: „Всталъ... сѣлъ... сѣлъ... ударилъ—сталъ душить“ и т. д., но эти осколки тонутъ въ большой кучѣ порошинокъ. Каждая порошинка, пожалуй, и хороша, но вѣдь ее надо въ микроскопъ разсматривать. Попробуйте разсмотрѣть древесину большого дерева клѣточка за клѣточкой и вы ничего не поймете. Запомните, пожалуй, рисунокъ первыхъ клѣточекъ. Запоминаются первыя главы „Пруда“, гдѣ тонко схвачено дѣтство героя романа въ купеческой средѣ. Въ цѣломъ романъ утомителенъ.

Конечно, есть отдѣльныя сцены, но, вѣдь, на то Ремизовъ и Ремизовъ, чтобы заставить насъ плакать его слезами, хихикать его смѣшками, молиться его молитвами. Единственное оправданіе „Пруда“ въ томъ, что это—первая крупная работа талантливаго писателя.

А н д р е й Б ѣ л ы й.

А. Оедоровъ. Разсказы. Изданіе С. В. Бунина. 1908. Спб. Ц. 1 р.

Реалистическое искусство въ обычномъ его пониманіи, т. е. искусство, стремящееся къ наиболѣе вѣрному и точному воспроизведенію дѣйствительности,—понятіе въ сущности или очень неопредѣленное или даже противорѣчивое. Каждымъ изъ насъ міръ воспринимается своеобразно и различно, и, слагая свою картину міра изъ данныхъ внѣшняго воспріятія и претворяющей работы мозга, никто не можетъ знать, каковъ міръ объективно, не можетъ, слѣдовательно, дать его точнаго воспроизведенія. Воспроизведеніе дѣйствительности—оказывается, такимъ образомъ, пустымъ словомъ. Стремленіе же къ болѣе вѣрному, углубленному постиженію дѣйствительности, къ отрѣшенію отъ обмановъ чувствъ и разума, къ замѣнѣ данныхъ внѣшняго воспріятія внутреннимъ опытомъ—неминуемо переходитъ въ нѣчто прямо противоположное первоначальнымъ посылкамъ реализма—въ символизмъ. Весь нашъ міръ—символь чего-то для насъ недоступнаго, и всякое искусство поэтому символично. Символизмъ же, какъ школа въ искусствѣ,—лишь болѣе тонкій и глубокій реализмъ...

Смѣшно думать, что символизмъ, въ противоположность стремящемуся къ вѣрнѣйшему воспроизведенію внѣшняго и внутренняго опыта реалисту, хочетъ воспроизвести міръ невѣрно, ложно. Мнѣ кажется, что дѣло всякій разъ сводится не къ той или другой школѣ, а къ самому художнику, къ его личности. Болѣе глубокой художникъ неизбежно становится символистомъ; человѣкъ поверхностный, пытающійся быть художникомъ,—дастъ такую картину міра, которая быть можетъ, очень многимъ покажется вѣрной и реалистичной, но для болѣе центральной души—неизбѣжно будетъ плоской и фальшивой.

Разсказы А. Федорова производятъ впечатлѣніе чего-то очень неглубокаго, поверхностнаго, случайнаго и ненужнаго. Авторъ далекъ отъ направляющихъ центровъ современной мысли человѣчества, онъ—какая-то окрайная душа и поэтому его разсказы схватываютъ вездѣ лишь поверхностныя оболочки. Можетъ быть, кому-нибудь его творчество и покажется реалистичнымъ; съ нашей позиціи оно только фальшиво. Для насъ это и не символизмъ и не реализмъ, а густѣйшій и непроницаемѣйшій изъ тумановъ. Личность автора кажется неинтересной и потому міръ въ ея отраженіи точно такъ же неинтересенъ. При попыткахъ же Федорова братья за большія темы получается лишь буффонада трагизма — своего рода рычагъ лилпуты, приставленный къ земному шару...

Всѣ разсказы, печальнымъ образомъ, похожи на фельетоны и, по всей вѣроятности, и зародились и свой первый пріютъ они обрѣли въ мертвомъ чадѣ какой-нибудь старозавѣтной редакціи. По содержанию эти фельетоны весьма разнообразны. Есть вскормленные и воспѣнные Чеховымъ въ столь популярномъ теперь стилѣ „безпросвѣтности“ съ необходимыми въ такихъ случаяхъ потугами на грустную иронию, переходящую у Федорова въ карикатуру („Нервъ прогресса“, „Воспитаніе“); рядомъ литературные результаты посѣщеній Азорскихъ острововъ и Сингапура—немного въ легкомъ стилѣ Немировича („Азорскіе острова“, „Идолъ“); далѣе—фельетонная утилизация русской революціи („Пѣвица“, „Тюрьма“, „Расплата“, „Махаонъ“, „Рубинъ“) — которая походила бы, пожалуй, на заурядный матеріалъ сборниковъ „Знанія“, если бы была чуть-чуть повыше по достоинству. Два разсказа носятъ въ себѣ что-то леонидо-андреевское, но въ безпомощномъ, наивномъ и смѣшно искаженномъ видѣ („Сирень“, „Человѣкъ“); есть, наконецъ, покушенія на тонкую психологию („Весенній день“, „Лишніе“) и два разсказа, занятые народной жизнью, причемъ опять вспоминается „Знаніе“ („Съ матерью“, „Рыбаки“). Мнѣ думается, что и эта подозрительная „сборность“ книги врядъ ли говорить въ ея пользу.

Викторъ Гофманъ.

**К. А. Ковальскій.** Терновый вѣнецъ. Разказы. Издательство „Шиповникъ“. С.-Петербургъ. 1908. Ц. 1 р.

Къ весьма опредѣленному типу писателей принадлежит г. Ковальскій. Переживаемый историческій моментъ породилъ специфическую литературу, которая отражаетъ русскую жизнь подъ социаль-демократическимъ или марксистскимъ угломъ зрѣнія, совершенно не соприкасаясь ни съ какими задачами искусства. Весь міръ, вся жизнь въ этихъ наивно-сентиментальныхъ писаньяхъ дѣлается на двѣ очень несложныя половины. Одна—„враги“—это войска, полиція стражники, тюремная администрація и помѣщики; другая—угнетенные друзья: рабочіе, мужики, обитатели подваловъ „великое множество людей, которые прикованы къ смрадному безобразному крову, одурманены грохотомъ фабричнаго молота, засажены въ шахты, гдѣ ночь—законъ, и въ тюрьмы, гдѣ насиліе—право“.

Социаль-демократическія и марксистскія идеи наскоро и кое-какъ облекаются въ заново изобретенную беллетристическую форму, склеиваются, словно изъ картона, фигуры мужиковъ, рабочихъ, „сытыхъ буржуевъ“, и „представителей произвола“—разставляются двумя враждебными лагерями.—и начинается тягучее повѣствованіе о томъ, какъ казаки убивали безоружныхъ забастовщиковъ, а владѣльцы земли не отдавали ее по праву требующимъ крестьянамъ, а люди, преданные террористической идеѣ, жертвовали во имя ея личной жизнью и счастьемъ и т. д. и т. д.

Въ результатъ—безвоздушное пространство, гдѣ дико мечется скованная мысль, и тупой алчный взглядъ на хлѣбъ и землю,—звѣриная психологія, для которой закрыты всѣ горизонты необъятно разнообразныхъ духовныхъ переживаній. Точно ядовитымъ слѣпящимъ туманомъ притуплена настоящая зоркость взгляда у этихъ слишкомъ либеральныхъ и чрезмерно „гуманныхъ“ писателей. Злободневность, какъ таковая, даже воспроизведенная съ самой подлинной точностью, съ самыми кричащими реалистическими подробностями годится не болѣе какъ для бойкихъ газетныхъ фельетоновъ на современныя темы. Исторія идетъ черезъ души, черезъ столкновѣнія ихъ страстей, черезъ самыя грубыя стремленія человѣчества, но цвѣтъ и слава всякой эпохи—въ ея духъ и въ теченіе ея идей. Изъ многообразнаго хаоса чувствъ и голосовъ той эпохи, въ которой они живутъ, писатели, подобные г. Ковальскому, улавливаютъ лишь самое конкретное, грубо-плотское и въ духовной слѣпотѣ своей думаютъ, что счастье человѣчества настанетъ тотчасъ послѣ уничтоженія тюремъ, стражниковъ, полиціи и т. п.

А какъ понимаетъ г. Ковальскій задачи искусства вообще,—ясно изъ его же словъ, которыя онъ могъ бы поставить эпиграфомъ ко всей книгѣ: „Граціозно, скорбно-мила мелодія Шопена... Да! Но

до боли странны и нелѣпы рыданія, изнѣженные признанія человека, забывшаго для себя—мїръ, знающаго только собственные страданья“.

Н и н а П е т р о в с к а я .

**С. Найденовъ.** Хорошенькая. Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ. Издательство „Шиповникъ“. 1908. Ц. 60 к.

Комедія Найденова написана точно по заказу московскаго театра Корша. Тамъ разыграли бы ее, какъ говорится, „дружно и живо“, и для каждой роли нашлись бы исполнители съ самыми подходящими данными. Декораціи бы написалъ „неизвѣстный, но талантливый художникъ“ (такъ всегда у Корша) въ самыхъ веселыхъ олеографическихъ тонахъ,—зелень какъ изумрудъ, небо какъ синька, горы какъ аметистъ (дѣйствіе происходитъ на Кавказскомъ курортѣ), а горная рѣчка, которая, по ремаркѣ автора, должна „роптать“, журчала бы, какъ подлинная вода. Актрисы, благодаря подходящему случаю (это теперь бываетъ рѣдко, потому что драматурги новой школы игнорируютъ этотъ важный пунктъ),—показали бы самые блестящіе туалеты. И въ результатъ—восторженные отзывы бульварныхъ газетъ, полный сборъ и обоюдное удовольствіе актеровъ и публики. Если Найденовъ не хотѣлъ ничего, кромѣ успѣха низкопробнаго,—онъ правъ и хитроуменъ. Такой успѣхъ ждетъ его комедію. Но если у него были задачи болѣе высокія, задачи художественныя, то жалъ, ибо онѣ не осуществились. Комедія всегда, не смотря на внѣшній юмористическій покровъ, должна быть многозначительной и, можетъ быть, даже безсознательно, мудрой. Найденовъ же беретъ быть какъ онъ есть, безъ ироническаго отношенія къ нему, безъ юмора, и рисуетъ водянисто-блѣдными красками плоскую дѣйствительность. У него нѣтъ ни типовъ, ни истиннаго драматическаго дѣйствія. Мораль его комедіи, какъ голая проволока, торчитъ изъ безцвѣтныхъ страницъ, и сводится она къ чему-то ненужному ни для жизни, ни для искусства. Быть только „хорошенькой“, безъ ума, безъ таланта, безъ яркой и устойчивой индивидуальности—да еще при этомъ находиться въ пошлой обывательской средѣ—для женщины опасно въ моральномъ смыслѣ. Ее ждетъ такъ называемое „паденіе“. И что ждальше? Да ничего! Занавѣсъ спустятъ. Актрисы снимутъ специально сшитые курортные туалеты, Найденовъ благодарно раскланяется съ публикой, а архивы театральной литературы станутъ богаче одной бездарной пьесой.

Н и н а П е т р о в с к а я .

М. Гершензонъ. П. Я. Чаадаевъ. Жизнь и мышленіе. С.-Петербургъ, 1908.

Книга г. Гершензона во многомъ измѣняетъ традиціонныя представленія о Чаадаевѣ, устраняетъ наслоившіяся вокругъ его имени легенды и приближаетъ насъ къ болѣе вѣрному пониманію его личности и міросозерцанія. Съ легкой руки Герцена, отведшаго ему видное мѣсто въ своей книгѣ „Du développement des idées révolutionnaires en Russie“, у насъ установился взглядъ на Чаадаева, какъ на одного изъ крупнѣйшихъ представителей русской революціонной мысли и русскаго освободительнаго движенія. Поэтому изслѣдователи, писавшіе о Чаадаевѣ, болѣе всего останавливались на его общественныхъ и историческихъ взглядахъ, ограничиваясь преимущественно анализомъ его перваго и наиболѣе знаменитаго „Философическаго Письма“. Однако, такое освѣщеніе личности Чаадаева является, по мнѣнію г. Гершензона, совершенно невѣрнымъ, такъ какъ основано на неправильной оцѣнкѣ взаимнаго отношенія различныхъ элементовъ его міросозерцанія. Хотя общественные интересы были у Чаадаева, несомнѣнно, сильно развиты, однако, не они играли главную роль въ общемъ складѣ его убѣжденій, въ эпоху, когда міросозерцаніе его окончательно сформировалось. Въ міросозерцаніи Чаадаева г. Гершензонъ выдвигаетъ на первый планъ его религіозно-философскую основу: все оно насквозь было пропитано мистическими элементами и потому правильно понять его общественно-историческіе взгляды можно, только исходя изъ его религіозно-философскихъ предпосылокъ. Чаадаевъ не оставилъ намъ полнаго и законченнаго очерка своего философскаго ученія; повидимому, даже не все написанное имъ дошло до насъ, при чемъ утрачены какъ разъ наиболѣе важныя и существенныя звенья въ логической цѣпи его системы. Поэтому реконструкція ученія Чаадаева въ его цѣломъ представляетъ весьма значительныя трудности,—и, нужно сказать, что г. Гершензонъ съ честью вышелъ изъ встрѣченныхъ имъ затрудненій, сумѣвъ съ большимъ искусствомъ собрать *tembra disjecta* философскаго ученія Чаадаева и возсоздать изъ нихъ стройную, логически-законченную систему.

Центральная идея міросозерцанія Чаадаева есть идея Царствія Божія. Вся исторія человечества есть не что иное, какъ постепенное воспитаніе его Божьимъ промысломъ, имѣющее цѣлью водвореніе на землѣ Царствія Божія и совершающееся при полной свободѣ человѣческаго разума и человѣческой воли. При этомъ подъ указаннымъ терминомъ Чаадаевъ разумѣлъ не господство общаго благоденствія и не торжество нравственнаго закона, а единственно и безусловно—внутреннее сліяніе человечества съ Богомъ. Слѣдовательно идеаль его—идеаль чисто-мистическій. Однако, мистицизмъ Чаада-



ева—особаго рода: индивидуалистическое начало играет въ немъ ничтожную роль; въ центрѣ его помысловъ стоитъ не идея личнаго спасенія, личнаго слиянія съ Божествомъ, а идея коллективнаго спасенія всего человѣчества, представляющаго конечную цѣль того религіозно-историческаго процесса, главную движущую силу котораго составляетъ христіанство, понимаемое какъ исполнѣ объективное, стихійное, космическое начало. Этой идеѣ коллективнаго спасенія призвана служить какъ отдѣльная личность, такъ и каждый народъ, каждая нація. Въ этомъ стремленіи къ общей цѣли, въ активномъ участіи въ общемъ процессѣ заключается долгъ каждого народа, какъ сложной моральной личности. Поэтому высшій принципъ христіанства, это—единство: тамъ, гдѣ его нѣтъ, гдѣ жизнь течетъ внѣ связи съ общечеловѣческими исканіями, тамъ исторія лишена своего внутренняго значенія, своего смысла; въ такомъ именно положеніи и находится Россія, находится русскій народъ, представляющій собою какого-то печальнаго отщепенца въ семьѣ христіанскихъ народовъ Европы.

Таково въ самыхъ общихъ чертахъ ученіе Чаадаева, какъ оно отлилось въ эпоху „Философическихъ Писемъ“. Однако, на этихъ выводахъ мысль Чаадаева не остановилась и уже въ серединѣ 30-хъ годовъ его взгляды на смыслъ русской исторіи значительно измѣнились. Эта дальнѣйшая эволюція идей Чаадаева прекрасно вскрыта г. Гершензономъ, при чемъ для уясненія ея онъ характеризуетъ установившіеся къ этому времени взгляды Чаадаева на католицизмъ и православіе. Именно новое пониманіе православія, сложившееся, быть можетъ, не безъ вліянія зарождавшагося славянофильства, сыграло рѣшающую роль въ дальнѣйшемъ развитіи мысли Чаадаева. Въ православіи, съ его аскетическимъ, созерцательнымъ характеромъ, съ его отчужденіемъ отъ земныхъ страстей и интересовъ, Чаадаевъ призналъ теперь необходимое восполненіе къ католицизму, съ его дѣйственнымъ, активнымъ и социальнымъ характеромъ, въ которомъ чистота христіанскаго ученія была искажена именно благодаря его близости къ земной жизни, благодаря непосредственному участію во внѣшнихъ судьбахъ государства и общества. Съ новой точки зрѣнія самое отчужденіе Россіи отъ жизни другихъ христіанскихъ народовъ получило теперь въ глазахъ Чаадаева провиденціальное значеніе, такъ какъ оно помогло русскому народу сохранить въ полной чистотѣ свой національный палладіумъ—православіе. Великая миссія русскаго народа въ исторіи человѣчества и заключается въ задачѣ обновленія и очищенія его религіознаго сознанія, такъ какъ только въ синтезѣ аскетическаго начала, представляемаго православіемъ, съ началомъ социальнымъ, носителемъ котораго является католичество, заключается истинный смыслъ христіанства.

Таково въ самыхъ общихъ чертахъ содержаніе книги г. Гершензона, которая въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ бросаетъ совершенно новый свѣтъ на личность и ученіе Чаадаева. Съ внѣшней стороны книга написана прямо блестяще и отличается стройностью своей архитектоники, яркостью и выразительностью языка, совершенно чуждаго того многословія и вялости, которыми такъ часто страдаютъ наши ученые изслѣдованія. Въ приложеніи къ книгѣ даны переводы „Философическихъ Писемъ“ Чаадаева, его „Апологии сумасшедшаго“ и нѣкоторыхъ писемъ, характеризующихъ взгляды Чаадаева въ послѣдній періодъ его жизни.

В. С.

**Мих. Лемке.** Политическіе процессы М. И. Михайлова, Д. И. Писарева и Н. Г. Чернышевскаго (по неизданнымъ документамъ). Спб. 1907.

Русскій писатель въ политическомъ застѣнкѣ—тема очень любопытная въ бытовомъ и психологическомъ отношеніи. Тяжелое впечатлѣніе производятъ обыкновенно документы дознанія—и въ то же время вызываютъ жгучій интересъ, потому что часто вводятъ въ тайники писательской души и русской жизни. Спокойное самопожертвованіе Михайлова, пошедшаго на каторгу за Шелгунова, растерянность и уклончивость Писарева, полное нравственное паденіе Всев. Костомарова, страстная, но безнадѣжная борьба Чернышевскаго съ русскимъ правительствомъ—все это крупные факты, мимо которыхъ не пройдетъ будущая исторія русской литературы. Г. Лемке извлекъ для этого (изъ архива III Отдѣленія) рядъ новыхъ данныхъ—и совершенно не сумѣлъ самъ съ ними справиться. Для примѣра приглядимся ближе къ первому отдѣлу его книги.

Процессу М. И. Михайлова г. Лемке рѣшилъ предпослать общую характеристику писателя. Она настолько типична для г. Лемке, что мы рѣшаемся привести ее цѣликомъ, благо она очень коротка (стр. 7—8). „А въ свое время Михайлова хорошо знали. Онъ былъ извѣстенъ прежде всего своимъ романомъ „Адамъ Адамычъ“. Затѣмъ общественное вниманіе было привлечено прекрасными его переводами Гейне, можно сказать, лучшими переводами этого всегда усиленно читавшагося поэта. Романы „Марья Ивановна“ и „Перелетныя птицы“ упрочили популярность Михайлова въ качествѣ „сочинителя“ (!), а переводы Байрона, Томаса Гуда, Лангофелло (sic!) и другихъ европейскихъ (sic!) поэтовъ окончательно закрѣпили его выдающееся положеніе въ рядахъ литераторовъ. Но это еще не все. Михайловъ первый (?) поднялъ въ литературѣ женскій вопросъ и, такъ какъ сдѣлалъ это въ то время, когда Россія всѣмъ своимъ существомъ стремилась къ свободѣ, то, очевидно, завоевалъ себѣ еще и лавры

выдающагося публициста“. Здѣсь все хорошо — и „европейскій“ поэтъ „Лангофелло“, и дѣтская стилистическая безпомощность, и силлогизмъ въ концѣ, и самое содержаніе характеристики... Но еще лучше слѣдующее въ думѣ примѣчаніе г. Лемке (стр. 7): „общепринято было называть его „Ларионовичемъ“, такъ онъ и самъ иногда писалъ, но, разумѣется (!), это сокращеніе (sic!) вродѣ „Катерины“.

Г. Лемке свѣтуетъ на бѣдность литературы о Михайловѣ и пытается дать ея перечень. При этомъ онъ пропускаетъ такой важный источникъ для біографіи М. И., какъ „Изъ далекаго прошлаго“ Л. П. Шелгуновой (Спб., 1901), и не упоминаетъ о томъ, что „Записки“ Михайлова были напечатаны въ „Русской Старинѣ“ 1906 г.

Впрочемъ, главная цѣль его была — дать исторію процесса М. И. Посмотримъ, какъ это сдѣлано г. Лемке.

„Страхъ ради цензурна и административна“ онъ даетъ прокламацію „Къ молодому поколѣнію“, изъ-за которой загорѣлся сырборъ, больше въ десяткахъ рядовъ точекъ, чѣмъ въ ея подлинныхъ выраженіяхъ. Объ ея отношеніяхъ къ міровоззрѣнію Михайлова и общественнымъ теченіямъ 60-ыхъ годовъ г. Лемке не говоритъ. Послѣ нѣсколькихъ отрывочныхъ и безсвязныхъ фразъ, разорванныхъ строчками точекъ, онъ даетъ одинъ выводъ, который только и былъ способенъ дать — выводъ неожиданный и совершенно необоснованный: „Такимъ образомъ ясно (?), что „Къ молодому поколѣнію“ было вполнѣ законченной прокламаціей. Теперь она произведетъ впечатлѣніе, несомнѣнно, эклектизма, но 45 лѣтъ тому назадъ, когда политическое мышленіе еще не приняло современныхъ точныхъ формъ, когда партіи еще и не намѣчались, а всеобще было только сознаніе, что такъ жить нельзя, — она была замѣтнымъ явленіемъ въ общественной жизни. О ней много говорили...“ (стр. 55). Въ „точныхъ формахъ мышленія“ г. Лемке по поводу этого любопытнаго документа больше ничего не нашлось...

Путаетъ сильно г. Лемке и въ вопросѣ объ авторѣ этой прокламаціи (для него это — центральный вопросъ). Въ всякаго сомнѣнія, она вышла изъ кружка Михайлова. По категорическому утвержденію такого освѣдомленнаго человѣка, какъ г. Пантелѣевъ, она была написана Шелгуновымъ. На стр. 82 самъ г. Лемке приводитъ свидѣтельство Михайлова, что „онъ осужденъ былъ за найденное у него сочиненіе, авторомъ котораго былъ не онъ, но принялъ его на себя, чтобы отстранить отъ отвѣтственности дѣйствительнаго автора“. Во время допроса совѣсть позволила Михайлову признать нѣкоторое участіе въ прокламаціи Герцена и Огарева, бывшихъ внѣ опасности и, повидимому, только напечатавшихъ „Къ молодому поколѣнію“, — все остальное онъ поспѣшилъ принять на

себя, несомнѣнно, боясь разоблаченій Костомарова, которыя могли бы погубить Шелгунова и его жену. Приведя утверженіе г. Пятелѣва, г. Лемке (стр. 26) аргументируетъ дальше такъ: „Повидимому, это такъ и было. Странно только, зачѣмъ было Михайлову принимать на себя хоть часть прокламаціи? отчего было не сказать, что авторъ неизвѣстенъ ему, желавшему быть лишь распространителемъ? зачѣмъ было сочинять передѣлку кѣмъ то своей рукописи? Все это даетъ основаніе думать, что въ указанной части авторство несомнѣнно его“. Итакъ, „повидимому“ Шелгунова и „несомнѣнно“ Михайлова—и все это потому, что г. Лемке не могъ вдуматься въ положеніе и настроеніе М. И. во время допроса.

Г. Лемке не хочетъ свести прямо читателя съ документами и все время самъ маячить передъ нимъ со своими примѣчаніями, намеками и экивоками. Но часто съ примѣчаніями ему совсѣмъ не везетъ: извѣстный польскій эмигрантъ Ходзько превратился въ таинственнаго Сходька (стр. 179), Ракѣвъ (со слугою) сдѣлался единственнымъ свидѣтелемъ погребенія Пушкина (стр. 10) и проч.

Ко всему этому нужно прибавить бьющую въ глаза плоскость и пошлость выраженій: Костомаровъ—„вскорѣ“ прославившійся „нѣсколькими подлыми доносами“ (стр. 9); „онъ больше не увидитъ подлыхъ шпіонскихъ рожъ“ (стр. 29); заглавія отдѣловъ „изслѣдованія“ о Чернышевскомъ—во вкусѣ плохихъ бульварныхъ романовъ: „Въ поискахъ за уликами“, „Два лжесвидѣтеля и одинъ подложный документъ“, „Еще подлогъ“, „Чернышевскій больше не опасенъ“; или о Клейнмихелѣ (стр. 175): „предшественникъ Чевкина, извѣстный своими „добродѣтелями“ и изувѣрствомъ“.

Необходимо также отмѣтить полную стилистическую безпомощность г. Лемке. Почти на каждой страницѣ пестрятъ такіа выраженія: „детальми, исключенными своевременно (!) для журнала“ (стр. 1), „сосланъ въ каторгу“ (7), „Михайловъ въполнѣ заслуживаетъ реставраціи его въ нашей памяти“ (8), „Шелгуновой надо было ѣхать за-границу лѣчить параличъ своихъ (!) ногъ“ (9), „нельзя даже утверждать, что, видя упрямство Михайлова, Герценъ самъ не исправилъ здѣсь прокламацію“ (26), „стѣны были закопѣлыя съ примѣтами сырости“ (29), „прокламаціи по адресу офицеровъ“ (92), „купили перо разбитнаго Шедо-Ферроти... Знающіе Герцена и его сочиненія, конечно, не подпишутся подъ письмомъ Шедо-Ферроти, но оно и не важно со стороны критики его работы“ (113) и пр. и пр.

Вл. Казанъ.

## ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

### ПОЛЬ КЛОДЕЛЬ И СЕНЬ-ПОЛЬ-РУ.

**Paul Claudel.**—*Connaissance de l'Est.—Art poétique.* (Connaissance du temps. Traité de la connaissance du monde et de soi-même. Développement de l'Eglise). Deux volumes. Ed. Mercure de France. 1907.

**Saint-Pol Roux.** *Les Féeries intérieures.* Volume III des „Reposoirs de la Procession“. Ed. Mercure de France. 1907.

Утонченная изобрѣтательность — вотъ въ чемъ, кажется мнѣ, основное и естественное свойство ума Поля Клоделя, одного изъ наиболѣе интересныхъ символистовъ, выступившаго почти одновременно съ ихъ первымъ поколѣніемъ. Эту изобрѣтательность онъ такъ заботливо культивируетъ, что она стала изысканно и какъ бы методически парадоксальна. И, хотя онъ и пытается построить, какъ мы это увидимъ въ его „Art poétique“, цѣлое ученіе о судьбахъ человѣчества, исходя изъ своего „познанія“, но отъ истиннаго, научнаго Познанія безнадежно отдѣляетъ его постоянное стремленіе — подставлять на мѣсто существъ и вещей и ихъ взаимоотношеній аналогическія состоянія своего индивидуальнаго сознанія.

Можно бы сказать, что лишь случайно и только потому, что онъ прежде всего, — поэтъ, Полю Клоделю удается проникать въ реальность вещей въ минуту интуиціи. Интуитивность и способность утонченно, почти головоломно, анализировать многообразныя соотношенія, — эти два качества если и не придаютъ его мысли того синтетическаго значенія, къ которому онъ стремится, то, по крайней мѣрѣ, создаютъ изъ Поля Клоделя интересную личность поэта чистаго, достойнаго совершенно особеннаго вниманія.

Поль Клодель, дебютировавшій въ группѣ Стефана Маллармэ около 1890 года, прожилъ многіе годы въ Китаѣ и Японіи. Пріѣхавъ оттуда, вѣроятно, на короткое время, онъ привезъ намъ свою новую книгу „Art poétique“ и другую „Connaissance de l'Est“, въ новомъ, значительно увеличенномъ, изданіи.

Эти изысканныя заглавія не находятся въ достаточно близкой  
вѣсьм.

связи съ содержаніемъ книгъ, которыя они укрываютъ. Но у Клоделя нѣкоторые слова не имѣютъ своего обыкновеннаго значенія. Притомъ слѣдуетъ предупредить, что онъ пользуется аналогіями, весьма отдаленными и лишь имъ самимъ воспринимаемыми, подобными тѣмъ, что встрѣчаются въ стихахъ китайскихъ поэтовъ, гдѣ образы часто находятся въ далекомъ и едва улавливаемомъ отношеніи къ явленіямъ и идеямъ, породившимъ ихъ.

Изъ книги „Art poétique“ мы узнаемъ, какое значеніе, основываясь на аналогіи, придаетъ Поль Клодель слову „познаніе“, „connaissance“. Указывая на „явное родство“ между словами „познавать“ и „родиться“ въ трехъ языкахъ: греческомъ, латинскомъ и французскомъ („gignomai“, „gignosco“, „nasci“, „gignere“—„cognoscere“, „naître“—„connaître“).—Поль Клодель присваиваетъ слову „познавать“ значеніе: „родиться вмѣстѣ“, „со-naître“... „Всякое рожденіе есть познаніе“,—говоритъ онъ. Далѣе онъ утверждаетъ: „Познать—это стать тѣмъ, чего не достаеътъ всему остальному“,—и около этого положенія вертятся всѣ его утонченныя разсужденія.

Для Поля Клоделя „Познаніе Востока“ „Connaissance de l'Est“ есть рожденіе его общенія со странами и народами Востока, съ Китаемъ и Японіей. Но, по его опредѣленію, это познаніе не является точнымъ отчетомъ о предметахъ, существахъ и душахъ тѣхъ странъ; это лишь количественное и качественное опредѣленіе его я, пришедшаго въ соприкосновеніе съ новымъ міромъ, съ которымъ онъ „со-родился“. Что же до тѣхъ предметовъ, которые онъ изучаетъ,—мы назовемъ его познание отрицательнымъ, замѣтивъ только что въ немъ появляется старое и рискованное раздѣленіе вещей на я и не-я.

И все же книга „Connaissance de l'Est“—восхитительная драгоценность, не исключая великолѣпныхъ порывовъ въ цѣломъ рядѣ поэмъ въ прозѣ, въ которыхъ поэтъ съ поразительной тонкостью извилистыхъ ощущеній отчетливо обрисовываетъ свою мысль отѣнками аналогіи, съ искусствомъ, часто равняющимся самому Маллармѣ, и тщательно записываетъ переживанія своей чуткой души въ новой обстановкѣ. Поэтъ не стремится понять, познать эту обстановку въ ней самой, не старается изобразить ее, дать ее увидать читателю,—но она для него предлогъ извѣдать, какъ сильно и какъ глубоко въ этой обстановкѣ трепещетъ его духъ, истолковывающій ее по своему. „Человѣкъ познаетъ міръ не по тому, что отъ него беретъ“,—говоритъ Клодель въ своемъ „Art poétique“,—а потому, что онъ къ нему прибавляетъ: по самому себѣ!

Я только-что произнесъ славное имя Маллармѣ. Да... И совсѣмъ не потому, чтобы это имя припоминалось здѣсь, при чтеніи этой книги, въ неясномъ и отдаленномъ отзвукѣ симпатіи. Но

нельзя прочесть и десяти страницъ безъ того, чтобы это имя не предстало чудеснымъ образомъ: это—Маллармэ, его „*Poèmes en prose*“, его „*Divagations*“; не безжизненное подражаніе имъ, но волнующая оловѣдь, почти продолженіе.

По техникѣ это та-же фраза: либо краткая и вѣская, съ метафорами, пренебрегающими посредствующими звеньями; либо длинная, мѣстами обрывающаяся вводными предложеніями и скобками, при чемъ нарѣчія бывають отдѣлены отъ того слова, которымъ они управляютъ. Вотъ въ доказательство два случайно попавшіеся мнѣ отрывка изъ книги Клоделя:

«Le grillon à peine commencé son cri, qu'il s'arrête, de peur d'excéder parmi la plénitude qui est seul manque du droit de parler et l'on dirait que seulement dans la solennelle sécurité de ces campagnes d'or, il soit licite de pénétrer d'un pied nu.»

...«Il n'est passion qui ne puisse vous emprunter ses larmes, fontaines! et bien qu'à la mienne suffise l'éclat de cette goutte unique qui de très haut dans la vasque s'abat sur l'image de la lune, je n'aurai pas en vain pour maints après-midis appris à connaître ta retraite, val chagrin!»

Неправда ли, ясно вспоминаются поэмы Маллармэ, его „*Gloire*“ или „*Népurphar blanc*“? Здѣсь, какъ, впрочемъ, и во всей книгѣ, не та же ли торжественность Маллармэ, возвышающаяся до ясной простоты? И всюду, на этихъ страницахъ книги Клоделя, тотъ же методъ воспріятія и творчества, что и у учителя: интуитивно онъ беретъ изъ окружающаго нѣсколько чертъ, характерныхъ или нехарактерныхъ (личное переживаніе поэта придаетъ имъ цѣнность), и, выдѣливъ, развиваетъ ихъ въ рядѣ аналогій, изъ которыхъ едва замѣтно, какъ бы издали, пронизавъ мысль, появляется Символъ. Если же учитель и его ученики захотятъ остановиться на описаніяхъ, то они исполняютъ это съ тщательною точностью подробностей, какъ бы оттушевывая ихъ и снова возвращаясь, чтобы еще разъ ретушировать, причемъ слово усиливается адекватными ему знаками препинанія и разъединяются части рѣчи по логикѣ необычнаго синтаксиса.

Подобное поразительное сходство въ мысли и творествѣ является, безспорно, результатомъ страстно-восхищеннаго изученія учителя, — покорнымъ преклоненіемъ предъ уроками, принятыми за абсолютную истину. Но для того, чтобы написать большую часть страницъ книги „*Connaissance de l'Est*“, какъ и ранѣе опубликованныя поэмы (подъ общимъ заглавіемъ „*Arbre*“), а также и длинныя страницы чарующихъ раздумій въ „*Art poétique*“, автору ихъ необходимо было нѣкоторое сродство духа съ Стефаномъ Маллармэ.

И, хотя не слѣдуетъ забывать, что Маллармэ есть Маллармэ

(создатель символическаго мышленія!), все же Поль Клодель почти не уступаетъ ему въ искусствѣ передавать настроеніе и въ возвышенности мысли, гдѣ аналогіи, все болѣе и болѣе интеллектуализируясь, доходятъ до символическихъ опредѣленій. И въ то же время, пользуясь его выраженіемъ, онъ „прибавляетъ“ свою душу ко внѣшности міра и поступкамъ людей, и его душа истолковываетъ и уясняетъ ихъ себѣ.

Но пороку у Поля Клоделя появляется индивидуальная черта его искренне-нервнаго темперамента, которая, естественно, удаляетъ его отъ родственнаго ему образца, отъ Маллармэ, всегда такъ неизмѣнно покойнаго и управляемаго духомъ высшей діалектики. Это несходство и, вмѣстѣ съ тѣмъ, эта индивидуальная черта Клоделя, то болѣе яркая, то болѣе блѣдная, выражается въ глубокой и нѣжной меланхоліи, лишенной твердости,—этого современнаго стоицизма, жалостливой до безграничности. Напримѣръ, что за неудержимая и нѣжная тоска, хотя замолченная и сдержанная покорностью судьбѣ, звучитъ въ его „Pensée en Mer“, гдѣ онъ говоритъ: „Путникъ возвращается домой словно гость. Онъ чуждъ всему, и все чуждо ему. Служанка, повѣсь одежду путника, но не убирай ея!.. Изгнаніе, въ которое онъ ступилъ, слѣдуетъ за нимъ!..“

Есть, наконецъ, мѣста въ книгѣ, когда Поль Клодель, умышленно или безсознательно, отказывается отъ своего отрицательнаго отношенія къ міру, отказывается отъ мысли, что онъ можетъ постичь въ се простую эманацией самого себя,—тогда его творчество настроеній и его интуитивная мысль еще рѣзче отграничиваются отъ искусства Маллармэ. Въ этихъ частяхъ книги, которыя мнѣ особенно дороги, Поль Клодель не только иной, чѣмъ Маллармэ, но и разнообразіе его. Къ этимъ страницамъ, съ которыхъ вѣетъ силою правды и реальности, относятся: „Une Ville la nuit“, „Les Jardins“, „La Fête des Morts“ (флейта ведетъ души умершихъ, звуки гонга собираютъ ихъ, какъ пчелъ), „Les Tombes et le Runeurs“, „La Halte sur le Canal“, „L'Arche d'or dans la Forêt“, „La Fête de tous les Fleurs“.

Впрочемъ, о тѣхъ большихъ городахъ, „городахъ, открытыхъ и переполненныхъ, представляющихъ собою какъ бы одинъ домъ одной многочисленной семьи“, о людяхъ, которые въ нихъ живутъ, мы знакомимся лишь въ коротенькихъ силуэтахъ въ нѣкоторыхъ движеліяхъ жрецовъ, мелькающихъ сквозь ладанъ и звонъ въ раззолоченныхъ и гулкихъ храмахъ, въ торговцахъ риса, въ сѣяльщикахъ или жнецахъ. Клодель даетъ намъ не сложную и наивную психику жителей, а лишь обстановку (очень пышную по своей детальности!), въ которой они живутъ. Здѣсь собственная психика автора не только прибавляется, но, болѣе того, замѣняетъ собою ихъ психику.

Теперь перейдемъ къ двумъ разсужденіямъ, предпосланнымъ



книгѣ „Art poétique“. Прежде всего мы должны предостеречь себя отъ того духа изысканности, который доходитъ здѣсь до крайности. Вотъ передъ нами странное и мало доказанное „Предположеніе о свѣтѣ“ и еще другое размышленіе „О мозгѣ“, которое авторъ подтверждаетъ научно-философскими разсужденіями; но все его мысли приходится разсматривать лишь какъ простую поэтическую грезу. „Не полагайте, что можно разложить свѣтъ, — восклицаетъ Клодель, — свѣтъ самъ разлагаетъ мракъ, производя, смотря по силѣ своей работы, одну изъ семи нотъ!“. И еще въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: „Кого изъ насъ не шокируетъ утвержденіе классической теоріи, что окраска предмета происходитъ отъ поглощенія имъ въ себя всѣхъ окрашенныхъ лучей, за исключеніемъ того, въ который онъ самъ кажется окрашеннымъ?“

Подобную же наклонность къ перевертыванію наизнанку всѣхъ данныхъ, установленныхъ экспериментальными науками, мы часто встрѣчаемъ въ его „Art poétique“, — причемъ доказательства, приводимыя авторомъ въ подтвержденіе его отрицаній, нерѣдко оказываются пустыми словами или же переходятъ въ неумѣстный лиризмъ. На иныхъ же страницахъ, прослѣдовавъ за нимъ по вычурнымъ изгибамъ его діалектики и примирившись съ торжественностью его тона (на подобіе „Divagations“ Маллармэ, которыя, несмотря на мое поклоненіе передъ учителемъ, не могутъ мнѣ нравиться), когда мы уже ждемъ, что сейчасъ встрѣтимъ какое-то новое и неожиданное истолкованіе, мы вдругъ находимъ давно признанную мысль...

Книга „L'Art poétique“, „искусство поэзіи вселенной, новая логика“, какъ поясняетъ Поль Клодель, открывается длиннымъ разсужденіемъ „О познаніи времени“. „Все, что свершается, — такъ утверждаетъ авторъ, — непременно находится во времени по неповторяемымъ сочетаніямъ звѣздныхъ чиселъ и имѣетъ въ вѣчныхъ небесахъ свое ариметическое основаніе“. Что это такое? Астрологическая точка отправленія для автора, который, однако, въ другихъ мѣстахъ придерживается области точнаго, позитивнаго знанія? Или это не болѣе, какъ аллегорическое выраженіе, чтобы обозначить, что въ основѣ всего лежатъ математическія соотношенія? Трудно рѣшить. Далѣе слѣдуетъ разсужденіе о „Причинѣ“, причемъ авторъ настаиваетъ, что причина не бываетъ одна („нѣтъ дѣйствія безъ причинъ“), — въ очень темномъ и запутанномъ разсужденіи. Клодель приходитъ къ выводу, что „Причина—это пропорція, т. е. нѣкоторое отличіе“. Въ этомъ неясномъ выраженіи слѣдуетъ, вѣроятно, угадывать отголосокъ ученія Гегеля „о началѣ различія, имманентномъ міровому Абсолюту, заключающемъ въ себѣ всѣ индивидуальныя вещи“.

О самомъ времени Клодель говоритъ такъ: „Вся вселенная—это

машина для счета времени". Источникъ времени — движеніе. „Начало движенія — въ дрожи, охватывающей матерію при соприкосновении съ иной реальностью: Духомъ! Движеніе есть распространеніе горсти звѣздъ въ пространствѣ и источникъ времени, страхъ Бога, существенное отталкиваніе, отмѣченное машиною міра“ и т. д. Во всемъ этомъ есть видъ чего-то таинственнаго, но въ дѣйствительности это — только слова. Можно уловить только, что для Клоделя движеніе не имманентно матеріи, но существуетъ внѣ ея. Немного далѣе, онъ утверждаетъ еще, что движеніе творитъ матерію. Укажемъ здѣсь же, что по Клоделю истинный источникъ движенія — Богъ, именно Богъ, согласно съ христіанской догмой.

Отмѣтимъ еще главу о „Часѣ“, въ которой Клодель возвѣщаетъ намъ „новое искусство поэзіи Вселенной, новую логику, органомъ которой будетъ метафора“; затѣмъ разсужденіе о „Мозгѣ“, въ которомъ авторъ очень подробно, хотя не очень ясно, доказываетъ вещь общепризнанную, что мозгъ—органъ, а потомъ беретъ на себя утвержденіе, что „чувство есть спеціальное состояніе нервной активности; и, наконецъ, новое разсужденіе автора о „познаніи“ и „рожденіи“, гдѣ онъ, опять играя словами, сближаетъ „naître“ и „n'être“, считая „п“ отрицательной частицей. „Родиться,—говоритъ авторъ, — это значить быть тѣмъ, что ты не есть“. Мнѣ кажется, что и самая исходная точка Клоделя, сходство двухъ корней въ нѣкоторыхъ языкахъ, слишкомъ парадоксальна, чтобы выводить изъ нея заключенія философскія и теологическія, а это послѣднее разсужденіе я считаю совершенно неумѣстнымъ и дѣтскимъ.

Полю Клодель—философъ-христіанинъ, и онъ не забываетъ установить безсмертіе души. Человѣкъ, по его словамъ, имѣетъ своимъ назначеніемъ познавать Бога въ его созданіяхъ, и онъ „безконеченъ какъ Конецъ, къ которому онъ обращенъ“. Тѣла на Страшномъ Судѣ вновь соединятся съ душами. Но безсмертная душа отличается отъ Бога тѣмъ, что истекаетъ изъ него. Она есть подобіе Бога, и подобіе полное, ибо Богъ не допускаетъ раздѣленія. Души въ другой жизни будутъ отличаться одна отъ другой по степенямъ своего познанія или своего „со-рожденія“ („соnaissance“ ou „со-naissance“). Трактатъ заканчивается призывомъ смерти, которая принесетъ обѣщанную награду, „смерть — наше драгоценнѣйшее наслѣдіе“! Я это называю богохульствомъ.

Критики своей я не буду здѣсь противопоставлять, ибо эта часть книги касается вѣры, т.-е. чувствъ и ощущеній, предметовъ личнаго переживанія и находящихся внѣ области разсужденій. У меня привычка уважать чужое чувство, если оно искренне, а у Поля Клоделя искренность абсолютная, нераздѣльная и даже немного сектантская. Но мнѣ думается, что умѣстно напомнить здѣсь предо-

стереженіе Закона объ опасности предвзятыхъ убѣжденій, всегда приводящихъ къ превратному истолкованію естественныхъ явленій.

Я счелъ нужнымъ распространиться подробно объ этихъ двухъ книгахъ, во-первыхъ, потому, что крупный талантъ Поля Клоделя заслуживаетъ вниманія и уваженія, какъ заслуживаетъ ихъ его умъ, увлеченный соображеніями высшаго порядка. Во-вторыхъ, мнѣ казалось важнымъ указать (въ то время, какъ поэты все чаще и чаще прибѣгаютъ къ научной провѣркѣ и философскому оправданію своего творчества), что даже въ широкой и вдохновенной гипотезѣ, пытающейся замѣнить собою старую и эготическую грезу, недопустимо (да и опасно) подымать самонадѣянную руку на истины науки, хотя она ни въ какое время не считала себя обладательницей абсолютнаго познанія.

—

Я старался, при разборѣ второй книги Клоделя, не возбудить нѣкотораго нервнаго утомленія. Теперь мы будемъ отдыхать на широкихъ горизонтахъ, открываемыхъ намъ книгой Сень-Поль-Ру „*Les fêtes intérieures*“. Здѣсь чувствуется широта мысли и легко вдыхаются глубокіе ритмы человѣческаго чувства.

Эту книгу поэмъ, въ которыхъ проза опьяняетъ каденціями и образами, написалъ человѣкъ, отдѣлившійся всей жизнью и духомъ отъ людей, упорно занятыхъ достиженіемъ своихъ маленькихъ идеаловъ; удалившись, какъ мудрецъ, въ одинъ изъ простыхъ, но увлекающихъ городковъ французской провинціи, онъ въ окружающихъ его арѣлищахъ находитъ аллегоріи для внутренней дѣятельности своей души и сквозь мелочный и монотонный ходъ своихъ дней даетъ просвѣчивать красотѣ и мудрости.

Вотъ ужъ скоро десять лѣтъ, какъ Сень-Поль-Ру удалился въ Бретань, въ деревенскій домикъ, гдѣ онъ и жилъ со своей женой, гдѣ родились его трое дѣтей: Дивина, Цециліанъ и Лореданъ, и гдѣ, по его словамъ, жило съ ними счастье. Это счастье онъ приглашаетъ слѣдовать за ними дальше, въ поэмъ, исполненной волнующей ясности, („*Adieux à la Chaumière*“), когда, тому уже исполнилось два года, для него наступили болѣе благопріятныя времена, и онъ переселился въ другое жилище, недалеко, впрочемъ, отъ перваго: въ Камарэ, въ помѣсть Пенхатъ, расположенное на горѣ, у самаго океана.

Первые изъ его поэмъ помѣчены 1889 годомъ, — въ то время поэтъ только что пріѣхалъ изъ Марселя, своего родного города, и, сблизившись съ Парижемъ и его тогдашнимъ шумнымъ поэтическимъ возрожденіемъ, искалъ модной красоты и писалъ свои творенія въ манерѣ символистовъ, которую, впрочемъ, уже и тогда стре-

мился расширить образами непосредственной дѣйствительности, заставлявшими трепетать его чувства. Но постепенно онъ выработалъ свою собственную манеру, которая стала конкретнымъ выраженіемъ природы и жизни, но „отнюдь не подражаніемъ имъ“. Слѣдуя за связью и многообразной гармоніей мысли, „достигшей своего вѣшняго существованія“, приходя въ соприкосновеніе съ той или иной частью реального міра, Сень-Поль-Ру выражалъ это явленіе въ цѣломъ рядѣ аллегорій, въ которыхъ его собственная жизнь, его чувства, его стремленія, вся чудесная работа его души находили свое опредѣленіе, — такой свой методъ онъ называетъ идеоморализмомъ.

Но эта аллегорія, какъ говоритъ въ своемъ предисловіи поэтъ, иногда является не только выраженіемъ его внутренней жизни, но также ея „переряживаніемъ“. Этимъ онъ хочетъ сказать, что, „по гордости или по скромности, изъ отреченія или изъ стыда“, поэтъ иногда бываетъ принужденъ замаскировывать нѣкоторыя изъ своихъ переживаній или мыслей, раньше, чѣмъ на нихъ падетъ свѣтъ. Такія метаморфозы необходимы: онъ дѣлаетъ личность болѣе одушевленной, болѣе цѣльной: „представленная только собою, она можетъ показаться либо банальной, либо чрезмерно довѣрчивой“.

Многія „Фееріи“ въ этой книгѣ даютъ различныя состоянія души ума, сердца, тѣла. Но при развитіи аллегорій, которая какъ бы встаетъ между нами и непосредственной личностью, цѣнность этого произведенія, этой „какъ бы иллюстраціи внутренней жизни“ увеличивается еще общечеловѣческимъ значеніемъ. Поэтъ маскируется лишь для того, чтобы, такъ сказать, умножиться, возвеличить свою наготу, обрѣсти сходство съ самымъ широкимъ кругомъ чело-вѣчества.

Итакъ, этотъ рядъ поэмъ представляетъ собою какъ бы духовную автобіографію, написанную въ часы, болѣе или менѣе рѣшительные для мысли и чувства, преображающій трепетъ которыхъ пробѣгаетъ по всей жизни. Первые изъ этихъ поэмъ пользуются аллегоріей церковнаго окна, сквозь которое видны линіи и реальныя краски природы: внезапное видѣніе жизни и красоты, предстающее поэту внѣ догмы когда онъ вдругъ разбиваетъ стекло съ изображеніями, считающимися священными. Затѣмъ слѣдуютъ исканія смысла жизни среди инстинктовъ и страстей. Столкновеніе между собою всѣхъ истинъ уравниваетъ душу того, кто способенъ понимать чувства милосердія и преданности: это составляетъ лейтъ-мотивъ всей книги.

Но, среди нашей современности, что стало съ красотой? Сама жизнь „обратилась въ глыбу, которую слѣдуетъ рубить рѣзцомъ ваятеля и оживлять могучими словами и лучезарной музыкой“. Изъ божественной, красота превратилась въ чело-вѣческую; наступило ска-

зочное время; пришла истина, облеклась новой метаморфозой та, что не может умереть.—Это пріятіе жизни, какъ источника красоты, рѣшительно отдѣляетъ Сень-Поль-Ру отъ большей части символистовъ и значительно приближаетъ къ „научной поэзіи“.

Эту тему Красоты, покидающей свои старыя формы, и поэта, идущаго навстрѣчу ея всемогущаго явленія, находимъ мы во многихъ поэмахъ сборника. Такова великолѣпная аллегорія „Древа Радости“ (которое въ то же время и „Древо Познанія“) въ противоположеніи съ „Древомъ Жизни“ земного Рая. О томъ же говорятъ поэмы „Курица съ утиными яйцами“,—исполненная нѣжной наивности, и „Встрѣча Красоты“ и, особенно, ироническій отрывокъ „Рѣдкая монета“ (въ дни, когда золото стало столь же обыкновеннымъ, какъ булыжникъ, пришлось искать новаго, рѣдкаго металла, чтобы создать дорогую монету, и самымъ рѣдкостнымъ въ тѣ дни оказалась: идея!).

Другая основная мысль, тоже нѣсколько разъ повторяющаяся въ книгѣ, это—мысль о „атавистическихъ переживаніяхъ“. Поэтъ чувствуетъ „на перекресткѣ четырехъ вѣтровъ“, что въ крови его собрались поколѣнія его предковъ, и восклицаетъ страстно: „Счастливы тѣ, кто обрѣтаютъ въ себѣ одиночество!“. О томъ же говоритъ „Дружественный Адъ“, зубовный скрежетъ котораго звучитъ для поэта въ звонѣ колоколовъ, „отрывающемъ отъ минуты“. Тѣми же образами полна поэма „Кладбище покинутыхъ гробовъ“, въ которой слышится заклинательный голосъ, напоминающій живымъ о культѣ Воспоминанія..

Въ книгѣ есть также нѣсколько большихъ поэмъ, частью воспроизводящихъ старинныя сказанія, частью созданныя фантазіей поэта, сумѣвшаго сохранить всю непосредственность поэзіи примитивовъ, таковы „Паломничество святой Анны“, „Простодушная лодка“, Николай изъ Арденнъ\* „Кладбище, у котораго крылья“, „Колесо жизни“.

Мнѣ осталось еще упомянуть о тѣхъ страницахъ озаглавленныхъ „Poesia“, гдѣ Сень-Поль-Ру выразилъ, со страстностью, свои поэтическія вѣрованія. Это—ясная и возвышенная критика той рутины, въ которой непонятнымъ образомъ застыло „невѣжество или низость современныхъ поэтовъ“, за нѣсколькими исключеніями. „Къ чему повторять, а не говорить, къ чему переписывать, а не создавать? Среди всеобщаго освобожденія лишь одна поэзія оказывается упрямой затворницей“, утверждаетъ Сень-Поль-Ру и восклицаетъ, къ моему личному удовольствію: „Поймутъ ли они, наконецъ, что Поэзія можетъ сдѣлаться большимъ, чѣмъ указательницей Науки, что она ни что иное, по своей сущности, какъ та же самая Наука? Счастель прогресса, геній, пробуждается отъ столкновенія завоеваній

прошлаго съ гипотезами будущаго. Искусство состоитъ не только въ томъ, чтобы видѣть и чувствовать свое время, но, главнымъ образомъ, въ томъ, чтобы предвидѣть и предчувствовать то, что скрывается за гранью даннаго чувства,—идеи, еще неосуществленныя\*.

Эти страницы были написаны въ 1898 году. Важно замѣтить, что Сень-Поль-Ру медленно, путемъ разсужденія и опыта, 12 лѣтъ спустя послѣ того, какъ принципы „Научной Поэзіи“ были впервые изложены, дошелъ до тѣхъ же заключеній, которыя онъ такъ великолѣпно комментируетъ.

Всегда согласный съ той манерой продолженной аллегорій, которой пользуется создатель „Феерій“, его слогъ представляетъ собой цѣпь метафоръ (порою немного разрозненныхъ, будучи слишкомъ пьяными); встрѣчаются цѣлыя предложения, въ которыхъ каждое слово имѣетъ метафорическое значеніе. Мнѣ приходилось по поводу другихъ поэтовъ высказывать свой взглядъ на употребленіе образовъ въ нашей современной поэзіи,—и особенно въ „Научной Поэзіи“: мы должны воздерживаться отъ употребленія сравнительнаго образа, который бываетъ необходимъ лишь для того, чтобы давать ощущенія безконечнаго.

Впрочемъ, я мирюсь съ метафорической манерой выраженія Сень-Поль-Ру, потому что иначе этотъ поэтъ не былъ бы тѣмъ, что онъ есть; а также изъ-за его великолѣпія \*. Хотя все же надо сказать, что встрѣчаются у него преувеличенія, которыя кажутся только странными, какъ на примѣръ: „Несмотря на эти усилія воли, плечи мои выдавали плѣнные прыжки моего козленка рыданій!“

Но, повторяю, не будемъ останавливаться на подробностяхъ, которыя могли бы возбудить нашу критику; изъ этой книги запомнимъ лучше ея великолѣпіе, столь естественное и черпающее изъ самой природы, столь нѣжное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, столь исполненное мудростью жизни, что отъ всѣхъ страницъ книги словно вѣетъ прелестью и поучительностью легенды.

René Ghil.

\* Было время, когда Сень-Поль-Ру, не безъ ироніи, называли „великолѣпнымъ“. При чтеніи его новой книги, хочется сохранить этотъ эпитетъ уже въ серьезномъ смыслѣ, такъ какъ онъ идетъ къ его мечтѣ и къ его слогу.

# ИСКУССТВА

## СОВРЕМЕННАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ.

Принято утверждать, что у нас, итальянцевъ, имѣется особенная склонность къ самоуничтоженію, родъ слѣпой ненависти ко всему тому, что наше и что свидѣтельствуетъ о нашей разнообразной дѣятельности въ области искусствъ и въ области отвлеченнаго мышленія, и что, можетъ быть, никто другой въ мірѣ не отказывается такъ охотно отъ признанія значенія за духовными произведеніями своей собственной страны, какъ отказываемся мы, притомъ съ какимъ-то въ высшей степени выраженнымъ антипатріотическимъ чувствомъ. Остается, слѣдовательно, разсмотрѣть, дѣйствительно ли тѣ произведенія, которыя мы не признаемъ, являются выраженіемъ жизненныхъ силъ и дѣйствительно ли нашу ненависть можно назвать антипатріотической, или, наоборотъ, это есть не что иное какъ проявленіе ясности сознанія, которое не допускаетъ малодушія легкихъ восторговъ и лѣнливой покорности всему тому, что давно уже слѣдовало бы выбросить за бортъ и уничтожить навсегда.

Но если теперь юноши самаго послѣдняго поколѣнія, наиболѣе глубоко думающіе, говорящіе и дѣлающіе, направляютъ свои лучшія и наиболѣе непосредственныя силы на постоянное и сложное дѣло протеста и разрушенія,—не является ли это, быть можетъ знакомъ, что, нѣчто пробуждается и пробуждаетъ тѣхъ, кто покоится въ глубокомъ снѣ, не является ли это, быть можетъ, предвѣстіемъ новаго духа жизни и дѣйствія, который возстаетъ изъ гнили нищеты, чтобы наполнить собою каждую новую душу, способную воспринять его трепетъ и дать развиваться его энергіи?—Какъ все, что живетъ и хочетъ жить, Италия должна достигнуть самосознанія. Она должна умножать по всѣмъ разнообразнымъ и многообразнымъ областямъ своего существованія эти быстрые и неожиданные всплски молній, которыя показываютъ ей самыя темныя и самыя тайныя глубины ея души, потому что она по нимъ узнаетъ наиболѣе жиз-

ненные элементы и по нимъ измѣряетъ свои силы, оцѣнивая ихъ значеніе и плодотворность.

Самое значительное и самое печальное явленіе безсознательности проявляется въ Италіи въ настоящее время въ области художественной. Здѣсь безсознательность указываетъ на полнѣйшую растерянность и разбросанность силъ и является синонимомъ духовнаго упадка и нищеты. Обратимся, напримѣръ, къ живописи.

Я утверждаю, что въ Италіи существуетъ нѣсколько художниковъ (и ихъ немного, совсѣмъ немного, и частью они уже умерли), но не существуетъ итальянской живописи. Не существуетъ итальянской живописи такой, чтобы у нея былъ при всемъ разнообразіи ея стилей, ея направленій, ея индивидуальностей, нѣкоторый опредѣленный и своеобразный характеръ, который отличалъ бы ее отъ всякаго другого аналогичнаго проявленія міровой духовной жизни. Само собою разумѣется, что я ставлю здѣсь вопросъ въ смыслѣ качественномъ, а не въ смыслѣ количественномъ, въ данномъ случаѣ ничего не значущемъ. Пусть нѣкоторыхъ людей, легко удовлетворяющихся, ужэ одинъ тотъ фактъ, что существуютъ и носятъ одежду и печатаютъ томы нѣсколько сотъ кропателей жалкихъ стиховъ, заставляетъ думать о великомъ процвѣтаніи поэзіи; и одинъ тотъ фактъ, что нѣсколько сотъ лицъ мажутъ краской полотна и выставляютъ картины, заставляетъ думать о жизненномъ проявленіи живописи,—это для меня ничего не значитъ. Я рассуждаю иначе. Мнѣ итальянская живопись приводитъ на умъ войско въ походѣ, войско, въ которомъ за немногими доблестными предводителями слѣдуютъ длинные ряды калѣкъ и рахитиковъ, которые стараются подражать бодрой осанкѣ и свободной поступи своихъ предводителей, но всѣмъ этимъ вызываютъ только смѣхъ.

Когда выходишь изъ великихъ римскихъ музеевъ, изъ славныхъ пинакотекъ, пробывъ тамъ въ созерцаніи величайшихъ геніевъ, которые когда-либо проявляли человѣческое могущество въ искусствѣ, и попадаешь въ галереи новаго искусства, которыя должны были бы свидѣтельствовать о совершенно новомъ циклѣ исторіи искусства, то чувствуешь, какъ твой духъ сразу впадаетъ въ окончательное уныніе, и твое эстетическое чувство ничего не говоритъ тебѣ, и твоя мысль теряется. Въ этихъ залахъ твой духъ найдетъ еще кой-какія великія слова, нѣкоторый чистый свѣтъ, нѣкоторое лучезарное свидѣтельство жизни. Но когда отъ картинъ Морелли и Сегантини, Палицци и Микетти и немногихъ другихъ, достойныхъ сосредоточеннаго и внимательнаго разсмотрѣнія, онъ переведетъ свой взглядъ на множество большихъ и малыхъ полотенъ, вплотную покрываю-



сихъ стѣны, ему покажется, что онъ находится въ мірѣ вещей безполезныхъ и посредственныхъ, которыя не имѣютъ и не будутъ имѣть никакого духовнаго значенія, которыя могутъ говорить чѣмуду либо взгляду, но никакъ не уму, тѣмъ менѣе душѣ или чувствительности того, кто упражнялъ свой духъ созерцаніемъ великаго искусства и великихъ проявленій духа.

Кто покидаетъ молчаливыя частныя галлерей Италіи, которыя напоминаютъ о меценатствѣ и артистическомъ культѣ, не чувствуя уже больше; кто покидаетъ прозрачный мракъ церквей, монастырей и часовенъ, гдѣ великое христіанское искусство создало свои молчаливыя мелодіи тонами красокъ и гармоніей линий, и входитъ въ грубыя и нелѣпыя зданія, въ которыхъ бывають ежегодно выставки современной живописи,—тотъ можетъ подумать, что или онъ самъ вдругъ превратился въ идіота или попалъ въ міръ сумасшедшихъ. Чтобы понять и чтобы оцѣнить, онъ будетъ принужденъ принизить самого себя, произвести насилие надъ своимъ собственнымъ духомъ, сузить жизненную сферу, въ которой музыкально движется его воспламененная мысль и подвергнуться, наконецъ, такому же приспособленію, какому подвергается человѣкъ, проникающій въ темницу безъ оконъ, послѣ того, какъ онъ странствовалъ своей душой по гармоническимъ вершинамъ, или испытать то-же, что испытываетъ человѣкъ, который принужденъ заняться чтеніемъ мелкихъ стихотворцевъ, переполняющихъ итальянскія страны, послѣ того, какъ онъ долго находился въ близкомъ соприкосновеніи душой съ бессмертнымъ поэтомъ.

По такому удивительному выставленію на-показъ безполезныхъ вещей или жалкихъ заблужденій, мы должны заключить, что современное искусство дѣйствительно находится въ патологическомъ состояніи. Тутъ идетъ рѣчь, стало быть, о критическомъ случаѣ. Гдѣ же лѣкарство? Говорить о древнихъ образцахъ новымъ художникамъ—вещь безполезная, точно такъ же, какъ и утверждать эстетическіе принципы, ниспровергающіе ихъ методы, и доказывать, что все то, что они дѣлають, не есть искусство. Слѣдовало бы одновременно измѣнить состояніе души, которое лежитъ въ основѣ всего этого и даетъ ему поддержку и двигательную силу, оправдываетъ существованіе всего этого и способствуетъ его процвѣтанію.

Мы могли бы на это возразить, что все, что я говорю, болѣе или менѣе примѣнимо ко всему современному искусству, а не къ одной только итальянской живописи. И возраженіе покажется, быть можетъ, справедливымъ. Но лишь до известной степени. Въ итальянской живописи дѣло обстоитъ еще хуже, чѣмъ въ живописи какой угодно другой страны. Здѣсь—отсутствіе оригинальности и жизненности, кристаллизація ничтожныхъ устарѣлыхъ методовъ, рабское,

механическое подражаніе тому, что было совершено во Франціи за послѣдніи двадцать-тридцать лѣтъ и что тамъ свидѣтельствуетъ постоянно о личной силѣ и живомъ сознаніи, стремящемся къ подыскиванію техническихъ средствъ, вполне соответствующихъ своеобразности художественнаго воображенія и замысла. Франція стала центромъ иалученія всего этого новаго движенія искусства, и это движеніе, благодаря именно своей новизнѣ и рѣзкой противоположности, могло возникнуть и проявиться только революціоннымъ путемъ. Оно совпало съ моментомъ, когда современный духъ началъ освобождаться отъ цѣпей академизма, и имѣеть глубокія основанія въ непреклонномъ духѣ нѣкоторыхъ инициаторовъ, которые умѣютъ прямо подходить къ природѣ и трактовать ее и преобразовывать по своему желанію. Бываютъ моменты въ исторіи искусства, когда великіе умы начинаютъ собирать и резюмировать прошлое, переплавляя въ своей душѣ, какъ въ огромномъ тиглѣ, всѣ существенные элементы художественной жизни, которые проявились раньше ихъ, и преобразовывая и возвышая ихъ до величайшаго могущества выраженія. Бываютъ другіе моменты, когда умы болѣе подвижны, идутъ въ авангардѣ, отрицаютъ прошлое, готовятъ новый путь, создаютъ новую оріентировку, начинаютъ совершенно новый циклъ исторіи. Такъ бываетъ всегда, когда новые элементы жизни, воспріятія, чувства и разума проникаютъ въ душу людей и толпы; такъ бываетъ всегда, когда исторія духа человѣческаго вступаетъ въ новую фазу изслѣдованія и завоеванія и въ новый циклъ дѣяствія. Тогда возникаютъ вмѣстѣ съ этими чувствами и съ этими стремленіями новые элементы искусства и новыя формы, которыя изъ прежнихъ берутъ только то, что полезно или сообразно съ ихъ идеаломъ выраженія. И неизбѣжно—вслѣдствіе необходимости приспособить тотчасъ же средство къ цѣли—обновляется духъ искусства, разъ только обновляется его техника. Художникъ уже болѣе не ученикъ, но мятежникъ, уже болѣе не послѣдователь, но инициаторъ. Однако какой-то постоянный рѣкъ тяготѣетъ надъ піонерами каждой художественной революціи.

Художникъ, такъ называемый „мятежникъ“, имѣетъ въ видѣ точки отправленія какую-нибудь идею, концепцію, какое-нибудь замышленіе: отсюда у него апріоризмъ въ технику, предназначенность, которая подавляетъ его собственное ясное воображеніе, искажая его и уродуя. Я долженъ замѣтить, что въ Італіи свободные умы не особенно многочисленны, и въ то время, какъ натурализмъ—родъ какъ бы произвольной реакціи противъ Академіи—окончательно окаменѣлъ въ ничтожествѣ своихъ послѣдователей, болѣе молодые художники предались рабскому и западалому подражанію всѣмъ безъ разбора революціоннымъ жестамъ, имѣ-

шимъ особенный успѣхъ во Франціи, причемъ эти художники были не въ силахъ извлечь изъ нихъ ни живыхъ словъ, ни плодотворныхъ зародышей новаго истиннаго расцвѣта искусства, соответственнаго духу расы и пути исторіи. Отсюда возникла жалкая форма манерности, основанная на техническихъ и механическихъ замыслахъ. въ которыхъ духъ искусства совершенно подавленъ и уничтоженъ. Международныя выставки въ Венеціи привели въ болѣе близкое и непосредственное соприкосновеніе итальянскихъ художниковъ съ искусствомъ всѣхъ другихъ странъ Европы; но онѣ достигли лишь того, что развили въ нашихъ производителяхъ живописи несчастный критическій духъ, который сосредоточился и изсохъ на одной только въѣшности пластической изобразительности.

Такимъ образомъ, наши молодые художники, будучи поставлены лицомъ къ лицу съ иностраннымъ искусствомъ, не постарались установить близкой, сердечной и живой связи между своею душой и душами тѣхъ, которые были наиболѣе доступны для ихъ пониманія, — не попытались извлечь изъ нихъ тѣ элементы, которые они могли бы достойнымъ образомъ использовать, вводя ихъ въ свой собственный, художественный кругозоръ и положивъ на нихъ печать своего собственнаго темперамента. Они, наоборотъ, совершили своего рода духовное отреченіе и безаразсудно предались холодному и систематическому подраженію техническимъ приѣмамъ; и это называютъ возмущеніемъ, поисками за самобытнымъ, открытіемъ новыхъ путей! Подобно тому какъ политическія и социальныя революціи являются удобнымъ предлогомъ для всяческаго возвышенія низкой черни, точно также нѣкоторыя мнимыя художественныя революціи являются милостивыми распредѣлительницами масокъ и дипломовъ всевозможнаго рода глупцамъ и всякимъ мелкимъ душошкамъ, не способнымъ къ какому то ни было конкретному мышленію и къ какому-либо здоровому воплощенію жизни въ искусствѣ. Въ Италіи существуетъ нѣсколько незначительныхъ живописцевъ, которые называютъ себя революціонерами и не хотятъ признаться, что они — послѣдній жалкій соръ, оставшійся отъ революціоннаго кружка, уже больше не существующаго, и которые не хотятъ понять, что недостаточно одной маленькой кучки безпокойныхъ людей безъ оружія и безъ мыслей для того, чтобы произвести новую революцію!

Новое искусство прошло черезъ длинные и сложные періоды радикальныхъ реформъ и нововведеній; а извѣстно, что въ подобные періоды замѣчаются попытки, которыя остаются изолированными, появляются техническія нововведенія, которыя не удаются, гипертрофіи, которымъ суждено исчезнуть, преувеличенія, которыя остаются лишь, какъ психологическіе документы поисковъ за новымъ и имѣютъ исключительно историческое значеніе. Однако, въ

эти предварительныя попытки, которыя большое искусство должно похоронить вдоль своего пути, чтобы не измѣнить самому себѣ, всѣ они имѣютъ значеніе сѣмени, силу внушенія и плодотворность совѣта.

Я не знаю, кто и сколько изъ нашихъ молодыхъ художниковъ оказывается владѣльцемъ жизненной энергіи, пока еще скрытой, но готовой проявиться не нынче-завтра. Пока они только носятъ одежды, уже достаточно поношенныя, и покрываютъ свѣжимъ лакомъ маски, уже давно сброшенныя другими, и со своими бесполезными жестами мятежниковъ возмущаются самой сущностью искусства, которое не есть достиженіе оптическихъ иллюзій, или ловкость мастера, но созданіе и выраженіе жизни, схваченной и закрѣпленной въ ея существенныхъ чертахъ.

п.

Но это только одна изъ формъ манерности, вкоренившейся въ Италіи: это—манерность наиболѣе молодыхъ и наиболѣе пылкихъ художниковъ, тѣхъ, кто уже борется за побѣду и въ то же время едва прикосновененъ къ жизни искусства. Слишкомъ молодые, слишкомъ безпомощные! Изъ нихъ только очень немногіе счастливо выдѣляются яснымъ сознаніемъ своихъ средствъ и извѣстной искренностью замысловъ и работы. Но существуетъ и другой видъ окаменѣвшей манерности, который болѣе распространенъ, такъ какъ онъ болѣе древняго происхожденія. Чтобы понять его характеръ, нужно перескочить на нѣсколько лѣтъ назадъ отъ ничтожества новаго искусства къ тѣмъ временамъ, когда итальянская живопись расцвѣтала въ могучей роскоши, которая, казалось, была предназначена къ болѣе продолжительной жизни и къ болѣе счастливой судьбѣ. А именно, пробуждающая сила, которая распространилась изъ Франціи въ половинѣ прошлаго вѣка, была для художниковъ южной Италіи, которые болѣе сильно ее почувствовали, призывомъ къ древнимъ натуралистическимъ традиціямъ мѣстнаго искусства, освященнымъ школой неаполитанскихъ пейзажистовъ, начавшейся съ Сальватора Розы около 1600 года.

Франція явилась къ намъ, такимъ образомъ, съ предостерегающимъ голосомъ, тотчасъ же услышаннымъ нами, а не съ рядомъ образовъ, которые можно было бы предложить склоннымъ къ подражанію умамъ. Между прочимъ, въ то время, какъ въ Миланѣ, медленно утверждаясь, возникали попытки противоакадемическаго искусства, въ Неаполѣ существовала уже въ полномъ расцвѣтѣ натуралистическая школа, во главѣ которой стоялъ Филлиппо Палицци, и примѣръ этого своеобразнаго художника животныхъ и сельской жизни, въ высшей степени тонкаго наблюдателя истины, уже зажегъ въ ру

и воодушевление въ лирической до страстности душѣ Доменико Морелли. Такимъ образомъ, французское искусство, которое вернуло своимъ мятежнымъ крикомъ нашу живопись къ ея древнимъ путямъ, было для насъ лишь внушителемъ, а не тираномъ.

На ряду съ Палицци и Морелли возникли залитыя живымъ свѣтомъ картины Синьорини въ Тосканѣ, Фавретто и де-Марія въ Венеціи, Микетти въ Абруццо и Сегантини въ высокихъ пустыняхъ Альпъ,—возникли какъ будто для того, чтобы засвидѣтельствовать объ искусствѣ, дѣйствительно, нашемъ и о томъ, чѣмъ бы могла быть вся итальянская живопись при рѣзко выраженной индивидуальности и упорной, почти болѣзненной, искренности работы. Я могъ бы процитировать еще нѣсколько другихъ именъ и указать еще нѣсколько благородныхъ примѣровъ, но я не ставлю себѣ здѣсь задачей составлять списки или каталоги.

Я спрашиваю только себя, что создано и какая жизнь сокрыта въ душахъ и раскрывается въ произведеніяхъ этихъ нѣсколькихъ сотенъ разнообразныхъ художниковъ, которые пишутъ и выставляютъ картины за послѣднія двадцать лѣтъ и которые должны были бы быть законными представителями итальянской живописи. Послѣ того, какъ они увидѣли, что искусство уже рѣшительно обратилось къ реализму, они стали лицомъ къ лицу съ природой и съ современной жизнью, кишасей и волнующейся на площадяхъ и на улицахъ, веселой и ясной или печальной и утомленной, но лишь для того, чтобы показать великую жажду чувствъ, великую уаость фантазіи и исключительную озабоченность мелочной технической ловкостью. Я долженъ замѣтить: я въ принципѣ вовсе не противъ какой-либо реалистической тенденціи въ искусствѣ. Да, кромѣ того, слово „реализмъ“ со своими синонимами: „веризмъ“, „натурализмъ“ и проч., благодаря тому, что оно хотѣло обозначать слишкомъ много, кончилось тѣмъ, что оно больше не значитъ ничего: Идея, которую оно выражаетъ, обширна, какъ океанъ и измѣнчива, какъ небесная лазурь. Искусство Мазааччо было, несомнѣнно, чисто-реалистическое и развѣ былъ когда-нибудь болѣе тонкій, острый и проницательный изслѣдователь дѣйствительности, чѣмъ Леонардо да Винчи? Итакъ, ищетъ ли искусство своихъ сюжетовъ на небѣ или на улицѣ, изображаетъ ли оно самыя чистыя воплощенія духовной жизни или самыя грубые примѣры человѣческаго преступленія,—это все равно. Но искусство,—что бы оно ни изображало,—не можетъ не повиноваться своему основному закону, который является какъ его единственнымъ основаніемъ съ одной стороны, такъ и естественной дѣятельностью духа съ другой стороны. Искусство, это—возсозданіе жизни и, слѣдовательно, какъ я уже сказалъ, оно есть изображеніе существенной жизни вещей. Изученіе свѣта, внѣшнія техническія изыска-

нiя, вѣрное воспроизведенiе движенiй тѣла и естественныхъ явленiй,— все это всегда останется въ высшей степени важными вещами. Но это не искусство, этого не достаточно для созданiя истиннаго произведенiя искусства, если все это не соединится вмѣстѣ для того, чтобы (дать живую конкретную форму какой-либо точной интуици и живое конкретное выраженiе чувства, которое проникло бы въ душу зрителя, вовлекло бы ее въ свою сферу и разоблачило бы ей мiръ внутренней жизни, который до того ей былъ неизвѣстенъ.

Художникъ имѣетъ полнѣйшее право заняться живописью исторической, жанровой, пейзажной или живописью животныхъ. Но точно копировать пейзажъ и не понимать, что у каждой вещи есть невидимыя уста, говорящiя своимъ языкомъ, и что къ разоблаченiю этого тайнаго языка и долженъ стремиться художникъ,—это значитъ дѣлать фотографическую репродукцiю, болѣе или менѣе хорошо раскрашенную,—но фотографическiя репродукци не есть искусство живописи. Изобразить съ большей или меньшей ловкостью лицо или какое-либо скромное и по внѣшности самое незначительное явленiе повседневной жизни и не чувствовать, что оно имѣетъ право быть художественно изображеннымъ только для того, чтобы разоблачить скрытый видъ сложной и измѣнчивой души человѣческой,—это не значитъ создать произведенiе искусства.

Я кратко отмѣчаю все это не для того, чтобы излагать эстетическiе принципы (которые долженъ самъ чувствовать каждый художникъ), но только для того, чтобы сказать, что въ итальянской живописи ничего этого нѣтъ и что отъ такого отсутствiя исканiя и духовной мощи и происходитъ эта вторая манерность, о которой я уже упоминалъ. Болѣе, чѣмъ о настоящей манерности, дѣло здѣсь идетъ о постоянномъ духовномъ застоѣ, при которомъ каждый жизненный порывъ ослабѣваетъ и пропадаетъ.

Пустыя формы, довольно часто незначительныя или вульгарныя которыя повторяются съ небольшими измѣненiями, узкiй кругозоръ, поверхностныя чувства, немощныя эмоци, полнѣйшее отсутствiе страстности, недостатокъ внутренней теплоты и душевности, — вотъ въ чемъ, кратко говоря, несчастiе четырехъ пятыхъ итальянской живописи нашего времени. Недавняя миланская выставка показала это съ ясностью и очевидностью, которыя не оставляютъ никакого сомнѣнiя. Въ безконечномъ количествѣ залъ, наполненныхъ большими и малыми полотнами, даже самый розовый оптимизмъ не могъ бы открыть никакого слѣда истинной жизни, которая среди всего этого моря посредственности могла бы указать на начало пробужденiя или, по крайней мѣрѣ, могла бы свидѣтельствовать о возвращенiи къ здоровымъ традициямъ художественной исторiи. Никакого, рѣшительно

никакого слѣда! Съ одной стороны ужасающая посредственность, съ другой — мистифицирующая нелѣпость...

Но критика, что же дѣлаетъ итальянская критика современнаго искусства? Она слѣдуетъ по тому же самому ложному пути, по какому идетъ искусство, и подталкиваетъ его даже въ бездну ничтожества. Пропитанные поверхностными техническими знаніями, наши критики ограничиваются замѣчаніями о живости красокъ, о вѣрности рисунка, о соотвѣтственности размѣра, объ умѣніи владѣть колоритомъ въ тѣхъ картинахъ, на которыя они обращаютъ свое поверхностное вниманіе и передъ которыми они изощряютъ свой посредственный вкусъ. Они хвалятъ и порицаютъ, дѣлаютъ замѣчанія и классифицируютъ, но нисколько не заботятся разыскивать и изслѣдовать души или хотя сколько-нибудь подумать о томъ, въ чемъ заключается внутренняя сущность искусства. Теперь необходимо, чтобы, по крайней мѣрѣ, въ области критики появились эти могущественные эстетическіе реактивы, которые могли бы быстрымъ и дѣйствительнымъ способомъ разбудить спящихъ, ободрить тѣхъ немногихъ, которые кажутся еще бодрствующими, и уничтожить въ самомъ корнѣ посредственность настоящаго. Необходимо, чтобы критика стала сознаніемъ искусства: и объ этомъ прежде всего должны подумать эти юноши, достаточно смѣлые и гордые, которые задались цѣлью обновленія духовной жизни Италіи.

Неаполь.

Aldo de Rinaldis.



## ОТЪ РЕДАКЦИИ.

Въ 1908 году „Вѣсы“ вступятъ въ пятый годъ изданія и будутъ выходить по прежней программѣ и при прежнемъ составѣ сотрудниковъ.

Каждый № „Вѣсовъ“ будетъ содержать около 100 стр. текста и отъ 1 до 4 рисунковъ, воспроизведенныхъ съ подлинниковъ, принадлежащихъ редакціи или предоставленныхъ ей авторомъ.

Въ распоряженіи редакціи для беллетристическаго отдѣла 1908 г., между прочимъ, имѣется:

Валерій Брюсовъ. Огненный Ангелъ. Повѣсть изъ нѣмецкой жизни XVI в. Часть II-ая (главы XI—XVI).

Валерій Брюсовъ. Женщина съ бичомъ. Драма въ 5-ти дѣйствіяхъ, изъ итальянской жизни VI вѣка.

Валерій Брюсовъ. Обреченный. Цикль стихотвореній.

Андрей Бѣлый. Серебряный Голубь. Повѣсть изъ современной жизни.

К. Бальмонтъ. Пляска зноя. Цикль стиховъ.

Федоръ Сологубъ. Сладкая борьба. Разсказъ.

М. Кузминъ. Рѣшеніе Анны Мейеръ. Разсказъ.

М. Кузминъ. Куранты любви. Лирическая поэма.

М. Кузминъ. Ракета. Цикль стихотвореній.

Александръ Блокъ. Сказки.

Александръ Блокъ. Заклятіе огнемъ и мракомъ и пляской метелей. Поэма.

Неизданные стихи А. Пушкина и Е. Баратынского.

Новые стихи: З. Гиппіусъ, Ф. Сологуба, Андрея Бѣлаго, Вяч. Иванова и др.

Для отдѣла статей:

Д. С. Мережковский. О Лермонтовѣ. Критическое изслѣдованіе.

Андрей Бѣлый. Символизмъ въ современномъ русскомъ искусствѣ. Публичная лекція.



Андрей Бѣлый. Трилогія Д. Мережковского. Критическій очеркъ.

В. Бакулинъ. „Трагизмъ“ и „легкость“. Наблюденія надъ литературой нашихъ дней.

Оскаръ Уайльдъ. De Profundis. Неизданные отрывки записокъ изъ Рэдингской тюрьмы. Авторизованный переводъ съ рукописи.

Оскаръ Уайльдъ. Неизданные письма. Авторизованный переводъ съ подлинниковъ.

Робертъ Россъ. Воспоминанія о послѣднихъ годахъ жизни Оскара Уайльда.

Ренэ Гиль. Французская поэзія въ 1907 г.

А. Эліасбергъ. Франкъ Ведекіндъ, Людвигъ Шарфъ, Рихардъ Шаукаль. Статьи.

Максимилианъ Шикъ. Поэзія Стефана Георге. — Современные нѣмецкіе новеллисты. Статьи.

Для художественнаго отдѣла:

Н. Теофилактовъ Ложь. Трехцвѣтная автотипія.

Н. Теофилактовъ. Водоемъ. Фототипія.

К. Сомовъ. Cor Ardens. Хромо-литографія.

Карлъ Вальзеръ. Savigny-Platz. Въ двѣ краски.

Фр. Кристофъ. Рогъ изобилія.

Мельхиоръ Лехтеръ. Рисунокъ.

Дж. Гекстеръ. Портретъ Г. фонъ-Гофмансталя.

Оскаръ Гилья. Гермафродитъ.

Гг. годовые подписчики, доставившіе полностью подписныя деньги до выхода № 1, могутъ получить бесплатно изъ изданій к-ва „Скорпіонъ“, на сумму до трехъ рубл., слѣдующія книги:

**Валерій Брюсовъ.** Письма Пушкина и къ Пушкину. Новые матеріалы. Съ приложеніемъ факсимиле рисунковъ и рукописей Пушкина. Ц. 1 р. 50 к.

**Андрей Бѣлый.** Золото въ лазури. Первый сборникъ стиховъ. Обложка Н. Теофилактова. Ц. 2 р.

**Андрей Бѣлый.** Сѣверная симфонія (1-я героическая) въ 4 частяхъ. Обложка по рисунку Обри Бердслея. Ц. 75 к.

**Жагандъ.** Облака. Поэма въ прозѣ. Обложка Н. Теофилактова. Ц. 65 к.

**Ив. Коневской.** Стихи и проза. Посмертное собраніе сочиненій съ портретомъ автора и предисловіемъ Валерія Брюсова. Ц. 2 р.

**Зигмунтъ Красинскій.** Небожественная комедія. Пер. А. Курсинскаго. Изд. 2-е. Съ портретомъ З. Красинскаго. Ц. 60 к.

- Г. Ландобергъ. Долой Гауптмана! Переволь съ нѣмецкаго М. Семенова. Ц. 70 к.
- Н. Лернеръ. Труды и дни А. С. Пушкина. Хронологическія данныя жизни Пушкина. Ц. 1 р.
- М. Матерлинкъ. Избіеніе младенцевъ. Разсказъ. Со статьей А. ванъ-Бевра о жизни и творествѣ М. Матерлинка. Ц. 40 к.
- Ст. Шибышевскій. Ното Саріенс. Романъ въ 3 частяхъ. Пер. М. Семенова. Обложка Н. Теофилактова. Ц. 2 р. 40 к.
- Ст. Шибышевскій. Pro domo me a. De profundis. У моря. День Вознесенія. Вигилія. Аметисты. Сыны Земли. Пер. М. Семенова, Е. Троповскаго и С. Полякова. Обложка Е. Надельмана. Ц. 2 р. 40 к.
- Ст. Шибышевскій. Дѣти Сатаны. Романъ въ 4 частяхъ. Пер. Е. Троповскаго. Обложка Н. Теофилактова. Ц. 1 р. 30 к.
- Ст. Шибышевскій. Заупокойная месса. Въ часъ чуда. Городъ смерти. Поэмы въ прозѣ. Пер. М. Семенова, Е. Троповскаго и др. Обложка Фидуса. Ц. 1 р.
- Ст. Шибышевскій. Вѣчная сказка. Единственный разрѣшенный авторомъ переводъ Е. Троповскаго. Обложка Брунелески. Ц. 1 р.
- Ст. Шибышевскій. Сыны Земли. Романъ. Пер. Е. Троповскаго. Ц. 50 к.
- Федоръ Сологубъ. Жало смерти. Разсказы. Ц. 1 р. 50 к.
- Сѣверные цвѣты на 1901 г. Стихи, разсказы, статьи. Обложка К. Сомова. Ц. 1 р.
- Сѣверные цвѣты на 1902 г. Стихи, разсказы, статьи. Обложка К. Сомова. Ц. 1 р.
- Сѣверные цвѣты Ассирійскіе на 1904—5 г. Роскошное изданіе. Обложка и всѣ украшенія Н. Теофилактова. Ц. 3 р.
- Артуръ Шницлеръ. Зеленый попугай. Трилогія. «Парапельсъ». «Подруга». «Зеленый попугай». Перев. съ нѣмецкаго. Ц. 60 к.

Новые подписчики 1908 г., не имѣющіе „Вѣсовъ“ за 1907 г., могутъ получить въ числѣ этихъ книгъ также новое изданіе:

Валерій Брюсовъ. Огненный Ангелъ. Повѣсть изъ нѣмецкой жизни XVI в. Часть I (главы I—X) М. 1908 г. Ц. 2 р.

Вторая часть этой повѣсти (главы XI—XVI) будетъ напечатана въ „Вѣсахъ“ 1908 г.

Пересылка всѣхъ этихъ книгъ на счетъ заказчика по дѣйствительной стоимости. Если стоимость избранныхъ книгъ превыситъ 3 р., гг. подписчики съ большей суммы будутъ пользоваться обычною скидкой въ 15%. Гг. подписчики благоволятъ при указаніи избранныхъ ими книгъ прилагать причитающіяся съ нихъ деньги акъ на пересылку, такъ и на покрытіе цѣнъ, превышающихъ 3 р.

Въ противномъ случаѣ слѣдующая сумма будетъ взиматься—наложеннымъ платежомъ.

Условія подписки остаются прежнія: въ Россіи на годъ (12 №№) пять рублей съ пересылкой; на полгода три рубля съ пересылкой. За-границу семь рублей (18 фр).

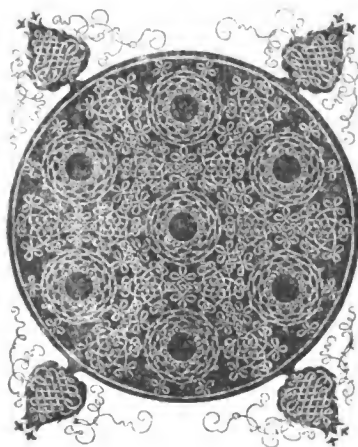
Всѣ подписчики „Вѣсовъ“ на 1908 годъ пользуются: при выпискѣ изъ редакціи изданій к-ва „Скорпіонъ“ и к-ва «Оры»—скидкой отъ 15 до 50%.

Подписка на „Вѣсы“ принимается: 1) въ Москвѣ, въ главной конторѣ журнала,—Театральная площадь, домъ Метрополь, кв. 23, книгоиздательство „Скорпіонъ“; 2) въ С.-Петербургѣ, въ отдѣленіи конторы—Садовая, 18, книжный складъ „Комиссіонеръ“; 3) въ Кіевѣ—въ магазинѣ Л. Идаиковскаго, Крещатикъ, 29; 4) въ Берлинѣ—у Edm. Meyer, Buchhandl., Berlin W., Potsdamerstrasse 24 в; 5) во всѣхъ большихъ книжныхъ магазинахъ Москвы, С.-Петербурга и провинціи.



---

Редакторъ-издатель С. А. ПОЛЯКОВЪ



# УКАЗАТЕЛЬ КЪ ЖУРНАЛУ «ВѢСЫ» ЗА 1907 ГОДЪ.

## УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВЪ.

### СТИХИ. РАЗСКАЗЫ. ПОВѢСТИ. ДРАМЫ.

- Ауслендеръ, С. Прекрасный Маркъ. Новелла. 3, 23.  
 — Корабельщики. Новелла. II, 21.  
 Балтрушайтисъ, Ю. Стихи. II, 9.  
 Бальмонтъ, К. Изъ книги „Птицы въ воздухѣ“. Стихи. I, 6.  
 — Радѣнія бѣлыхъ голубицъ. Стихи. 9, 7.  
 Блокъ, А. Незнакомка. Драма. 5, 21; 6, 15; 7, 17.  
 — Стихи. 12, 10.  
 Брюсовъ, Валерій. Огненный Ангелъ. Романъ. I, 39; 2, 45; 3, 33; 5, 29; 6, 23; 7, 25; 8, 25; 9, 25; 10, 31, II, 35, 12, 32.  
 — Обряды ночи. Стихи. I, 13. Три стихотворенія. 5, 15.  
 Бѣлый, Андрей. Панихида. Лир. поэма. 6, 6.  
 Волошинъ, М. Картины Парижа. Стихи. I, 9.  
 Гиппиусъ, З. Сокатилъ. Разсказъ. 8, 17.  
 — Стихи. 5, 10; 12, 5.  
 Гофманъ, В. Стихи. 7, 7; II, 11.  
 Гумилевъ, Н. Стихи. 7, 9.  
 Ивановъ, Вяч. Стихи. I, 16.  
 Кондратьевъ, А. Стихи. II, 18.  
 Кузминъ, М. Любовь этого лѣта. 12 стих. 3, 11.  
 — Кухетка тети Сони. Разсказъ. 10, 19.  
 Курсинскій, А. Стихи. II, 14.  
 Лербергъ, Ш. ванъ. Сверхъестественный оборъ. Сказка. 2, 29.  
 Лербергъ, Ш. ванъ. Панъ. Сатирическая комедія. 4.  
 Лесъминъ, Б. Лунное похмелье. Стихи. 10, 7.  
 Мелъ, Макъ. Разсказъ монастырскаго пастуха. Новелла. 9, 43.  
 Минскій, Н. Стихи. 5, 7.  
 Одинокій. Стихи. II, 13.  
 Огаревъ, Н. Незданные стихи. 2, 5.  
 Пушкинъ, А. Незданные стихи. I, 5; 3, 7.  
 Рафаловичъ, С. Стихи. 5, 19.  
 Рукавишниковъ, Ив. Стихи. II, 7.  
 Садовской, Б. Стихи. 7, 15.  
 — Черты изъ жизни моеѣ. Разсказъ. 12, 17.  
 Соловьевъ, С. Стихи. 8, 9.  
 Сологубъ, О. Литургія Мнѣ. Мистерія. 2, 9.  
 — Стихи. 8, 5.  
 Тарасовъ, Евг. Стихи. 8, 15.  
 Уайльдъ, Оскаръ. Флорентинская Трагедія. I, 17.  
 Элизъ. Стихи. II, 15.  
 СТАТЬИ. КРИТИКА. БИБЛИОГРАФІЯ.  
 А. Художественная жизнь въ Парижѣ. 5, 101.  
 — Замѣтки о книгахъ. 5, 90; 9, 94.  
 Аврелій. Памяти Г. Бахмана. 7, 54.  
 — Замѣтки о книгахъ. 3, 95; 7, 81.  
 7, 94.  
 Анничковъ, Евг. Allez! 2, 69.  
 Бальмонтъ, К. Малая зерна. Мысли и ощущенія. 3, 47.  
 Бакулинъ, В. Торжество побѣдителей. 9, 53.

- Бёрдетъ, О. Англійская литература за  
 (послѣднее десятилѣтіе. II, 71.  
 Блокъ, А. Письмо въ редакцію. 8, 81.  
 Боровицъ, И. Новое о декабристахъ.  
 I, 66.  
 — Русская историческая литература.  
 9, 58.  
 — Забѣтки о книгахъ. 9, 72.  
 Брюсовъ, Валерій. Академическій Пуш-  
 кинъ I, 74.  
 — Незданные стихи А. С. Пуш-  
 кина. I, 77.  
 — Писать или списывать? 3, 76.  
 — Новые сборники стиховъ. I, 69;  
 2, 83; 5, 62; 10, 45.  
 — Защитнику авторитета. II, 65.  
 — Забѣтки о книгахъ. 7, 80.  
 Бугаевъ Б. Противъ музыки. 3, 57.  
 — Штемпелеванная калоша. 5, 49.  
 — Синаматографъ. 7, 50.  
 — Дѣтская свистулька. 8, 54.  
 Бѣлый, Андрей. Художникъ оскорбите-  
 лямъ. I, 53.  
 — Забѣтки о книгахъ. 3, 83; 6, 66,  
 69; 7, 71; 12, 54.  
 Волошинъ, М. Эм. Верхарнъ и Валерій  
 Брюсовъ. 2, 74.  
 — Выставка М. В. Нестерова. 3, 105.  
 Германъ, Товарищъ. Трихина. 5, 68.  
 — Засобирились. 7, 82.  
 Гиль, Рене. Письма о французской поэзіи.  
 I, 81.  
 — По поводу одного недоразумѣнія.  
 6, 86.  
 — По поводу новой книги Верхарна.  
 8, 89.  
 — Новая книга Верлэна. 8, 83.  
 — Новая біографія Верлэна. 10, 74.  
 — Новые сборники французскихъ  
 стиховъ. 3, 88; 6, 83; 10, 80.  
 — Поль Клодель и С.-Поль-Ру. 12, 65.  
 — Забѣтки о книгахъ. 3, 94; 6, 88.  
 Гиппиусъ, З. Безъ міра. I, 57.  
 — Проза поэта. 3, 69.  
 — Тварное. 3, 71.  
 — Мы и они. 6, 47.  
 Городецкій, С. Тѣнь прочтенной книги.  
 8, 59.  
 Гофманъ, В. Ведекиндъ по-русски. 10, 58.  
 — Забѣтки о книгахъ. 9, 85, 89, 90,  
 92; 12, 56.  
 Грабаръ, И. Двѣ выставки. 3, 101.  
 — Голубая Роза. 5, 93.  
 Гумилевъ, Н. Выставка русскаго искус-  
 ства въ Парижѣ. II, 87.  
 Гурмонъ, Ж. де. Около преміи Гонку-  
 ровъ. Смерть Гюисманса. 6, 77.  
 Доброжелатель. Письмо въ редакцію. 8, 79.  
 Ивановъ, Вяч. Письмо въ редакцію. 9, 75.  
 Каллашъ, В. Забѣтки о книгахъ. 9, 70;  
 II, 62; 12, 62.  
 Кондратьевъ, А. Новое изданіе сочиненія  
 гр. А. Толстого. I, 75.  
 Крайній, Антонъ. Парижскія фотографіи,  
 2, 61.  
 — Человѣкъ и болото. 5, 53.  
 — На острѣвѣ. 5, 58.  
 — Братская могила. 7, 57.  
 — Анекдотъ объ испанскомъ королѣ.  
 8, 72.  
 — Письмо въ редакцію. 9, 74.  
 Кузминъ, М. О театрѣ Комиссаржевской.  
 5, 97.  
 — Письмо въ редакцію. 6, 74.  
 Курсинскій, А. Веселая книга. 8, 75.  
 — Слѣпой слѣпого. 7, 84.  
 — Забѣтки о книгахъ. 5, 76, 78; 6,  
 — 70, 71; 7, 77; 9, 64.  
 Лернеръ, Н. Забѣтки о книгахъ. 2, 89;  
 7, 68.  
 Ликиаропуло, М. Забѣтки о книгахъ.  
 2, 87, 92; 5, 88, 89; 6, 72.  
 — Три книги о Уайльдѣ. II, 79.  
 Лютеръ, А. Нѣмецкая литература въ  
 1906 г. 5, 81.  
 М. Л. Забѣтки о книгахъ. 2, 90; 5, 91.  
 Мейерхольдъ, Вс. И въ писемъ о театрѣ.  
 6, 93.  
 М—я, В. Нѣсколько словъ. I, 111.  
 Муратовъ, П. Выставки О-ва „Леонардо  
 да Винчи“. I, 106.  
 — Выставки „Союза“ и „Передвиж-  
 ная“. 2, 109.  
 — Выставки „Товарищества“ и „Пе-  
 редвижная“. 6, 99.  
 — Забѣтки о книгахъ. I, 92.  
 Матерлинкъ, М. О безсмертіи I, 90.  
 Останинъ, Н. Забѣтки о книгахъ. II, 57.  
 Папини, Дж. Дж. Карлуччи. 7, 87.  
 Пентауръ. „Золотое Руно“. 3, 74.  
 — Забѣтки о книгахъ. II, 63.  
 Петровская, Н. Забѣтки о книгахъ.  
 9, 68; 10, 67, 69; II, 59, 61; 12, 58,  
 59.  
 Полтавцевъ, В. Литературная конишка.  
 II, 50.  
 Р. Золотому Руну. 6, 75.  
 Р., Эрико. Забѣтки о книгахъ. 7, 93.  
 94, 8, 97.

- Ринальдизъ, А. де. Итальянская живопись. 12, 75.  
 Ричардсъ, М. Замѣтки о книгахъ. 8, 96; 11, 82.  
 Ростиславовъ, А. Неодѣянный трудъ. 7, 96.  
 В. С. Замѣтки о книгахъ. 3, 81; 12, 60.  
 Садовской, Б. Чернышевскій - критикъ. 6, 63.  
 — Замѣтки о книгахъ. 3, 84, 85; 7, 65; 10, 70.  
 Соловьевъ, С. Письмо въ редакцію. 9, 76.  
 Сологубъ, О. Вечеръ Гофманстала II, 84.  
 Шикъ, Макс. Берлинскія художественныя выставки. 1, 96; 2, 102.  
 Чуковский, К. Въ защиту Шелли. 3, 61.  
 — Замѣтки о книгахъ. 2, 94, 95.  
 Чуриковъ, Н. Московскій балетъ. 8, 99.  
 Элиасбергъ, А. Максъ Мелль. 9, 77.  
 Элиасбергъ, А. Хр. Моргенштернъ. 9, 80.  
 Элисъ. Пантеонъ современной пошлости. 6, 55.  
 — Поворотъ. 8, 65.  
 — Въ защиту декадентства. 8, 69.  
 — Объ афоризмахъ. 9, 50.  
 — Что такое литература. 10, 54.  
 — Замѣтки о книгахъ. 5, 73; 7, 75. 9, 66; 10, 44; 11, 54.  
 Эттингеръ, П. Выставка репродукцій Рембрандта. 1, 108.  
 — Уиль Брэдлей. 2, 97.  
 — Exposition du livre. 3, 108.  
 — Выставка-распродажа О-ва. Люб. Худ. 10, 89.  
 — Замѣтки о книгахъ. 3, 96; 5, 100, 101; 7, 101; 11, 89, 90, 91.  
 Эсмеръ - Вальдоръ. Замѣтки о книгахъ. 1, 95, 96.  
 — въ. Замѣтки о книгахъ. 9, 94.

## УКАЗАТЕЛЬ РАЗОБРАННЫХЪ КНИГЪ.

## Русскія книги.

- Альманахъ „Шиповника“. Кн. I. 5, 53.  
 — Кн. II, 8, 65.  
 Андреевъ, Л. Разказы. 7, 57.  
 Арнольдъ, Эдв. Свѣтъ Азии. 2, 89.  
 Бальмонтъ, К. Злыя Чары. 1, 69.  
 — Жаръ-Птица. 8, 59; 10, 45.  
 Башкинъ, В. Стихотворенія. 10, 53.  
 Бирюковъ, П. Л. Н. Толстой. 3, 81.  
 Блокъ, Александръ. Нечаянная Радость. 2, 83.  
 — Снѣжная маска. 5, 62.  
 Бодлеръ, Ш. Цвѣты зла. 7, 75.  
 Брюсовъ, Валерій. Земная ось. 3, 69.  
 — Лицейскіе стихи Пушкина. 7, 68.  
 Бунинъ, И. Стихотворенія 1903—1906 г. 1, 69.  
 Бѣлыя ночи. Альманахъ. 7, 71.  
 Ведекиндъ, Фр. Плискa мертвыхъ. }  
 — Духъ земли. }  
 — Весенніе побѣги. } 10, 58.  
 — Пробужденіе весны. }  
 — Княжна Русалка. }  
 — Фейерверкъ. }  
 — Музыка. }  
 — Музыка. }  
 — Гидалла. Музыка. }  
 Венгеровъ, С. А. Очерки по исторіи русской литературы. 10, 54.  
 Верхарпъ, Э. Стихи о современности. 2, 74.  
 — Обезумѣвшія деревни. 10, 64.  
 Вилькина, Л. Мой садъ. 1, 69.  
 Вопросы религіи. Сборникъ. 1, 57.  
 Галуновъ, А. Вереница этюдовъ. 3, 83.  
 Гершензонъ, М. Чаадаевъ. 12, 60.  
 Городецкій, С. Яръ. 2, 83.  
 — Перунъ. 10, 51.  
 Государственные преступленія въ Россіи. II, 62.  
 Гриневская, И. Сборникъ пьесъ и монологовъ. 10, 67.  
 Гутьяръ, Н. И. С. Тургеневъ. 10, 70.  
 Дѣнканъ, Айседора. Танецъ будущаго. 2, 90.  
 Довнаръ-Запольскій. Мемуары декабристовъ. 1, 66.  
 Древняя высшая магія. II, 63.  
 Зайцевъ, Борисъ. Разказы. 3, 71.  
 Зиновьева-Аннибалъ, Л. Трагическій звѣринецъ. 7, 57.  
 — Тридцать три урода. 7, 57.  
 „Золотое Руно“. № 1 и 2. 3, 74.  
 Жаковъ, К. О. Изъ жизни и фантазій. 5, 78.  
 Ивановъ, Вяч. Эросъ. 2, 83.  
 Ивановъ-Разумникъ. Исторія русской общественной мысли. II, 54.  
 Каменскій, А. Разказы. Т. I. 6, 70.  
 Ковальскій, К. Терновый вѣнецъ. 12, 58.

- Кондратьевъ, Ал. Сатиресса. 3, 84.  
 Корабли. Сборникъ. 5, 73.  
 Кречетовъ, С. Алая книга. 5, 62.  
 Кузминъ, М. Три пьесы. 7, 80.  
 — Приключенія Эме Лебефа. 7, 80.  
 Купринъ, А. Разказы. Т. III. 2, 69.  
 — Т. I, III. 9, 64.  
 Лемке, М. Политическіе процессы. 12, 62.  
 Молодая Бельгія. Сборникъ. 2, 83.  
 Муйжель, В. Разказы. Т. I. II, 59.  
 Найденовъ, С. Хорошенькая. 12, 59.  
 Новое слово. Сборникъ. I. 6, 71.  
 Пантюховъ, М. Тишина и старикъ. 3, 84.  
 „Переваль“ №№ 1—6, 5, 68.  
 Пальскій, П. Разказы. 9, 68.  
 Письма темныхъ людей. 9, 72.  
 Проталина. Альманахъ I. 7, 71.  
 Пушкинъ, Соч. Изд. Бр.-Эфр. Вып. I, II. 7, 65.  
 — Соч. Изд. Акад. Наукъ. I, 74.  
 Радищевъ, П. Собр. соч. Т. I. 9, 70.  
 Ремизовъ, А. Прудъ. 12, 54.  
 Рукавишниковъ, Ив. Стихотворенія. Книга IV. I, 69.  
 Сборникъ „Знанія“ XVI. 7, 57.  
 Свободная Совѣсть. Сборникъ. Кн. II. I, 57.  
 Сергѣевъ-Пенскій, С. Разказы. Т. I. 5, 58.  
 — Разказы. Т. II. II, 57.  
 Соловьевъ, С. Цвѣты и ладанъ. 5, 62.  
 Сологубъ, Ѳ. Малый бѣсъ. Романъ. 7, 77.  
 — Истѣвующія личины. 7, 77.  
 Спохои. Альманахъ I. 8, 75.  
 „Смыслнымъ и заключеннымъ“. Сборникъ. 7, 57.  
 Станюковичъ, В. Путевой альбомъ. II, 61.  
 — Пережитое. 10, 69.  
 Степнякъ-Кравчинскій, С. М. Собр. соч. Т. I—III. 9, 66.  
 Стражевъ, В. О печали свѣтлой. 10, 53.  
 Тухолка, С. Оккультизмъ. 7, 81.  
 Тхоржевскій, И. Tristia. 2, 83.  
 Уайльдъ, Оскаръ. Душа человѣка при социализмѣ. 2, 87.  
 — Социализмъ и душа человѣка. 2, 87.  
 — Собр. сочин. Т. IV. 6, 72.  
 Факелы. Кн. II. 6, 55.  
 Цвѣтникъ Оръ. Кошница I. 6, 66.  
 Чернышевскій, Н. Г. Полное собр. соч. Т. I, II, III. 6, 63.  
 Чулковъ, Г. Тайга. Драма. 6, 69.  
 Шелли. Полн. собр. сочиненій. 3, 61.  
 Оедоровъ, А. Камни. Романъ. 5, 76.  
 — Природа. Романъ. 5, 76.
- Оедоровъ А. Сонеты. I, 69.  
 — Разказы. 12, 56.
- Французскія книги.
- Arcos, René. La Tragédie des espaces. I, 88.  
 Baudelaire, Ch. Lettres. 6, 83.  
 — Etude Biographique d'Eugène Crépet. 6, 83.  
 Bazalgette, L. Emile Verhaeren. 3, 95.  
 Bever, Ad. van. Œuvre poétique du Sieur de Dalibray. 3, 94.  
 Binet-Valmer. Les Métèques. 6, 80.  
 Chabrier, Légrand. L'amoureuse imprévue. 6, 80.  
 Claudel, P. Connaissance de l'Est. 8, 97. 12, 65.  
 — Art poétique. 8, 97. 12, 65.  
 Corneille, Pierre. Galanteries. I, 95.  
 Divoire, F. Cerebraux. I, 96.  
 Drouot, P. La chanson d'Eliacin. 3, 91.  
 Duhamel, G. Des Legendes, des Batailles. I, 86.  
 Eshmer-Valdor. Les Thuribulums affaïsés. I, 84.  
 Ibels, A. Le livre du Soleil. 6, 83.  
 Léautaud P. In Memoriam. 6, 80.  
 Les largesses de Marianne. I, 95.  
 Lepelletier, E. Paul Verlaine. 10, 74.  
 Litschfousse, V. L'âme d'autrui. 3, 90.  
 Mandin, L. Ombres Voluptueuses. 6, 83.  
 Montfort, E. La Turquie. 6, 79.  
 Ott, J. L'effort des races. 10, 80.  
 Péladan. Le Nimbe noir. 8, 96.  
 Pelletier, A. Marie des Pierres. 10, 84.  
 Philippe, Ch.-L. Croquignole. 6, 79.  
 Roger le Brun. Corneille. I, 95.  
 Roux, Saint-Pol. Les fêtes. 12, 65.  
 Tharaud, J. et J. Dingley, l'illustre écrivain. 6, 77.  
 Valmy-Baysse, J. La vie enchantée. 6, 83.  
 Verhaeren, E. La Multiple splendeur. I, 81.  
 Verhaeren, E. La Guirlande des Dunes. 8, 89.  
 Verlaine, P. Voyage en France par un français. 8, 83.  
 Vildrac, Ch. Poèmes. I, 85.  
 Vielé-Griffin. F. Plus loin. I, 81.  
 Villetard, P. La Montagne d'Amour. 6, 79.  
 Walch, G. Anthologie des poètes français. 3, 88; 6, 86.



## НѢМЕЦКІЯ КНИГИ.

- Bab, J. Wege zum Drama. 9, 92.  
 Blei, Fr. Das Lustwäldchen. 9, 94.  
 Bartels, Adolf. Heinrich Heine. 5, 85.  
 Calé, Walter. Gesammelte Schriften. 5, 83.  
 Dauthendey, Max. Die ewige Hochzeit. 5, 83.  
 Dehmel. Sämtliche Werke, Bd. 1—2. 5, 82.  
 Eliasberg, A. Russische Lyrik der Gegenwart. 9, 85.  
 Frensen, Gustav. Peter Moors Fahrt. 5, 84.  
 Hegeler, Wilhelm. Pietro der Corsar. 5, 84.  
 George, Stefan. Zeitgenössische Dichter. 5, 82.  
 Hermann, Georg. Jettchen Gebert. 5, 84.  
 Henckel, K. Deutsche Dichtung. 5, 90.  
 Henckel, K. Schwingungen. 9, 90.  
 Hoffensthal, Hans. Helene Laasen. 5, 85.  
 Hoffmannsthal, Hugo v. Oedipus und die Sphinx. 5, 85.  
 Holm, Korfiz. Thomas. Kerkhoven. 5, 84.  
 Keyserling, Ed. Schwüle Tage. 5, 85.  
 Knoop, Gerhard. Nadeshda Bachini. 5, 85.  
 Kühl, G. Richard Dehmel. 9, 94.  
 Langaard, Halfdan. O. Wilde. 5, 89.  
 Morgenstern, Chr. Melancholie. 5, 91.  
 Münchhausen, Börries v. Balladen. 5, 83.  
 Mombart, Alfred. Der Sonne Geist. 5, 83.  
 Opale, Die. 5, 91.  
 Rilke, R. M., Buch der Bilder. 5, 83.  
 Schaukal, R. Gzoz Thanatos. 5, 90.  
 — Grossmutter. 5, 90.  
 — Richard. Grossmutter. 5, 85.  
 Schnitzler, Artli. Marionetten. 5, 85.  
 Spitteler, Karl. Imago. 5, 85.  
 Stegmann, Hermann. Die als Opfer fallen. 5, 84.  
 Sudermann, Hermann. Das Blumenboot. 5, 85.  
 Vollmoller, K. Der deutsche Graf. 5, 85.  
 Wassermann, Jakob. Die Schwestern. 5, 85.  
 Wedekind, Frank. Frühlings Erwachen. 5, 85.  
 Wilde, O. Der Priester und der Messnerknabe. 5, 88.

- Wolfskehl, Karl. Saul und David. 5, 85.  
 Zahn, Ernst. Finnwind. 5, 84.  
 Zuchhold, Hans. Vor den Toren der seligen Gärten. 5, 83.  
 Zweig, S. Die frühen Kränze. 9, 89.

## АНГЛИЙСКІЯ КНИГИ.

- Adams, A. H. London Streets. 2, 94.  
 Carpenter, E. Days with Walt Whitman. 2, 95.  
 Ingleby, L. C. Oscar Wilde. II, 79.  
 Mason, Stuart. O. Wilde. Art and Morality. II, 79.  
 — A Bibliography of the Poems of O. Wilde. II, 79.  
 Newmarch, R. Poetry and Progress in Russia. II, 82.  
 Sherard, R. H. The life of Oscar Wilde. 2, 92.

## ИТАЛЬЯНСКІЯ КНИГИ.

- D'Annunzio, G. Più che l'amore. 7, 93.  
 Cervasato, Arn. Piccolo libro degli eroi. 7, 94.  
 Orsini, Giulio. Poesie edite ed inedite. 7, 93.  
 Papini, G. Il tragico quotidiano. 7, 94.  
 — Il Crepuscolo dei Filosofi. 7, 95.  
 Prezzolini, G. et G. Papini. La cultura italiana. 7, 95.

## ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ИЗДАВАНІЯ

- Бенуа, А. Русск. школа живописи. 7, 69.  
 Билибинъ, И. Пушкинъ. Сказка о Царѣ Салтанѣ. II, 89.  
 Офорты Рембрандта. 5, 100.  
 L'Arte Mondiale alla VII Expositione di Venezia. 11, 91.  
 Delteil, Louis. Le peintre-graveur illustré. 7, 101.  
 Duret, Ch. Des peintres impressionnistes. I, 92.  
 Essling, Prince d'. Les Livres à figures véniennes. 3, 96.  
 Gogh, V. van. Briefe. 7, 101.  
 Michelangiolo Buonarroti. Die Handzeichnungen des. 5, 101.  
 Seelengaertelein. 5, 100.  
 Zeitschrift für Aesthetik. II, 90.

## УКАЗАТЕЛЬ ХУДОЖНИКОВЪ.

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Боннаръ, П. Вѣткн. 1.                 | Кристофъ, Фр. Рнсункн, вѣткн. 7.     |
| Брадлей, У. Рнсункн, вѣткн. 2.        | Левнтанъ, И. Рнсунокъ. 1.            |
| Верлэнъ, П. Автопортретъ. 8.          | Мейстеръ, Л. Вѣткн. 6.               |
| Вѣткн со старнннхъ гравюръ. 8.        | Снлннъ, А. Рнсункн, вѣткн. 5.        |
| Гекстеръ, Дж. Портретъ О. Уайльда. 1. | Сннъякъ, П. Вѣткн. 1.                |
| Денннъ, М. Вѣткн. 1.                  | Сомовъ, К. Рнсункн, вѣткн. 9.        |
| Де-Феръ. Рнсункн, вѣткн. 6.           | Стернжъ-Муръ, Т. Рнсункн, вѣткн. 11. |
| Дрнттенпрейсъ, В. Рнсункн, вѣткн. 10. | Судейкннъ, С. Рнсункн, вѣткн. 3.     |
| Дюреръ, А. Вѣткн. 12.                 | — Рнсунокъ. 12.                      |
| Заръцкнй, Н. Рнсункн, вѣткн. 7.       | Цорнъ, А. Портретъ П. Верлэна. 1.    |
| Инго, Е. Рнсункн. 8.                  | Феофнлактовъ, Н. Рнсункн. 4.         |
| Каррьеръ, Е. Вѣткн. 1.                | — Рнсунокъ 12.                       |
| Косси, Ф. Портретъ Э. Верхарна. 8.    | — Обложка, надпнсн. 1—12.            |





Подписная цѣна на годъ съ доставкой 5 р., полгода 3 р.  
Москва, Театральная площадь, домъ Метрополь, кв. 23.